

Советская фантастика
50-70-х годов

БИБЛИОТЕКА
ИЖИСТАН

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 50-70-х ГОДОВ

07







Библиотека фантастики в 24 томах

БИБЛИОТЕКА
ФАНТАСТИКИ

Редакционная
коллегия
серии
«Библиотека
фантастики»
(председатель)
А. П. Казанцев
Ю. Т. Грибов
Д. А. Жуков
А. П. Кулешов
А. А. Леонов
Н. П. Машовец
Е. И. Парнов
Л. В. Ханбеков



СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 50-70-х ГОДОВ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Москва «Художественная литература» 1988

ББК 84Р7
С56

**Вступительная статья,
составление
С. Плеханова**

**Художник
М. Дорохов**

**С56 Советская фантастика 50—70-х годов: Повести
и рассказы /Редкол.: А. Казанцев, Ю. Грибов,
Д. Жуков и др.; Вступ. статья, сост. С. Плеханова;
Худож. М. Дорохов.— М.: Худож. лит. 1988.—
559 с. (Б-ка фантастики).**

ISBN 5—280—00209—7

В очередной том серии «Библиотека фантастики» включены произведения писателей-фантастов С. Гансовского, А. Громовой, В. Григорьева, В. Назарова и др., характерные для фантастической прозы 50-х — 70-х годов и позволяющие читателям проследить за развитием жанра советской фантастики на протяжении почти трех десятилетий.

С 4702010200—313
028(01)—88 подписное

ББК 84Р7

© Вступительная статья. Состав.
Иллюстрации. Издательство «Ху-
дожественная литература»,
1988 г.

Земные заботы мечты

Столетия и десятилетия — как понятия литературоведческого обихода — далеко не всегда совпадают с календарными рамками физического времени. Поясню эту мысль примером. Историки общественной мысли говорят, что XIX век начался в 1789 году и закончился в 1914-ом, разумея при этом определенную целостность эпохи, ограниченной двумя рубежными датами. Так и исследователи литературы и искусства нередко «сжимают» или «растягивают» хронологию для удобства классификации тех или иных явлений.

А уж если говорить о фантастике, здесь тем более допустимо оперировать с любимейшей материей мастеров этого жанра. После того что они проделывают со временем — скручивают его, завязывают в виде неких петель, заставляют течь вспять, — осторожные литературоведческие «усекновения» выглядят достаточно безобидно. Тем более, что в такой коррекции календаря есть железный резон...

В советском литературоведении утвердилось представление о том, что 50-е годы, как правило, олицетворяют произведения, появившиеся после 1953 года. Когда говорят о научно-фантастическом жанре, нередко уточняют, что отсчет нового этапа в его развитии следует вести от романа И. Ефремова «Туманность Андромеды», опубликованного в 1957 году. Такая периодизация вполне приемлема — именно вторая половина этого десятилетия ознаменовалась приходом в научную фантастику поколения писателей с новым миропониманием, поставивших в своем творчестве новые проблемы. Между ними и их предшественниками действительно пролег своеобразный водораздел.

На смену технической, узконаучной фантастике пришла, если можно так выразиться, фантастика футурологическая; главным предметом ее сделалось конструирование различных моделей будущих общественных отношений и человеческих взаимосвязей.

В фантастической литературе предшествующего периода — 40-х — начала 50-х годов — утвердилось понятие «ближний прицел». То есть загляд на несколько лет вперед, да и то затем, чтобы представить результаты внедрения какого-либо изобретения, уже бывшего на слуху у читателей. Поэтому для многих произведений, написанных в те годы, характерно отсутствие интереса к духовному облику героев будущего. Ибо он казался столь же прекрасным, как и в «настоящем», изображаемом в розовом свете некоторыми авторами «широкомасштабных» полотен.

Только в сопоставлении с этими сочинениями можно правильно осмыслить самозабвенный рывок в будущее, который составлял существо произведений нового поколения фантастов, пришедшего в литературу в 50-е годы. Вера в безусловность прогресса может казаться сегодня наивной и даже, у каких-то авторов, не всегда искренней. Но если отрешиться от опыта 70-х годов (они-то и были для фантастов ефремовского времени близким светлым будущим) и опять-таки воскресить в памяти общественно-литературный контекст рубежных 50-х, то увидим, что тогдашнее искусство вообще казалось исполненным эйфории. В смысле положительного опыта прошлое интересовало немногих, будущее часто мыслилось вне традиций, оно сияло впереди подобно хрустальному дворцу, воздвигнутому на свободной от исторического хлама земле. Даже природа, навсегда укрощенная силой человеческого разума, словно бы начинала новый отсчет времени.

Впрочем, прошлое не было уж совсем изъято из контекста идейной жизни того времени. Олицетворением былого служил стереотипный персонаж многих повестей, рассказов, поэм и стихотворений — мещанин, обыватель. Всецело преданный быту, неспособный заглянуть в завтрашний день, он воплощал в своих мыслях и поступках идею приверженности разного рода предрассудкам, консерватизму, коренящимся в прошлом.

«Молодежная проза» конца 50-х — начала 60-х годов сделала обывателя своей излюбленной мишенью. К живой действительности он имел отдаленное отношение. В плакатном облике мещанина персонифицировался весь набор отрицательных качеств, которые надлежало вывести за пределы

сознания нового человека — того, что должен был населить предстоящее безоблачное будущее.

Плакатность, ходульность отдельных сочинений описываемого времени были наследием эпохи, от которой страстно желали откеститься. Слабость художественных средств молодой литературы состояла в прямом родстве с одномерностью недавних произведений «бесконфликтной» прозы. В полном соответствии с их нехитрыми рецептами конструировались образы противников передового мироощущения. Самый простой способ возвеличивания настоящего — унижение прошлого. Этот прием долгое время был излюбленным инструментом создания «хрустальных дворцов» мечтателей. Именно в нетерпеливом желании придать больший масштаб созданиям собственной фантазии один из истоков антиисторизма, одна из первопричин утраты духовных традиций.

К фантастике все сказанное имеет самое прямое отношение. Обладая одной кровеносной системой с литературой иных жанров, она подвержена тем же тенденциям, что и вся литература в целом.

В предлагаемом читателям очередном томе серии «Библиотека фантастики» представлены повести и рассказы, характерные для 50-х — 70-х годов, отразившие существенные черты общественного сознания тех лет.

Особенно наглядно эти черты проявляются в произведениях, посвященных путешествиям во времени, — они оценочны по самой сути своей, ибо всякая эпоха наделяет прошлое и будущее определенными плюсами и минусами. Известны в истории культуры периоды благоговения перед прошлым, знаем мы и о временах тотального его отрицания. Но на каждом витке развития человечество отрицало или благоговело по-разному...

Повесть Геннадия Гора «Странник и время» написана в 1961 году. Герой ее, попадая в XXIII век, обнаруживает, что облик людей будущего изменился — они стали благообразнее, увереннее в себе, держатся с особым достоинством. Быт граждан грядущего трансформировался еще сильнее — их жилища свободны от имущества, всякая необходимая вещь возникает по мановению могучих сил науки, поставленных на службу человеку. Дети воспитываются в интернатах, поскольку общество полностью взяло на себя функции воспитания.

Всего четверть века минуло, а как переменилась наша система ценностей! Благом видится сегодня жилище, обставленное обжитыми, знакомыми до последней черточки вещами, — они как бы олицетворяют для нас прочность, ве-

сомость бытия. А отрыв детей от родителей, ослабление семейных связей воспринимается как одна из главных болезней века, чреватая одиночеством, опустошенностью. Да и идея прогресса человеческой личности весьма неоднозначна. В самом деле, если за три столетия человечество смогло совершить такой заметный шаг в своем развитии, то какими гениями должны были бы стать мы сами в сравнении с Платоном или Буддой?!

Повесть Севера Гансовского «Винсент Ван Гог» — не менее характерный образец восприятия исторического времени, на этот раз прошедшего. Пришельцу из будущего бросилась в глаза «какая-то претенциозность в людях». Состояла она в том, что «каждый шествовал по улице со своим выражением на физиономии, причем явно насильственным... Любый прохожий как бы содержал в себе двоих — одного, которым был в действительности, и второго, каким хотел казаться». Люди конца XIX века показались герою повести «маленькими и слабыми». Даже природная среда, их окружавшая, представилась ему чахлой, невзрачной. Здесь отразилась, пожалуй, не реальная ситуация, а та оценка прошлого, что господствовала в 60-е годы. Будущее виделось в розовых красках, былое — по контрасту — оказывалось серым.

Но лимит оптимизма был уже на исходе: в 70-е годы начало пробивать себе дорогу более взвешенное понимание грядущих реальностей. Становясь далеко не безоблачным настоящим, еще недавно казавшееся таким светлым будущее все теснее связывалось в сознании людей с ранее неведомыми проблемами — нарушением экологического баланса, нарастанием негативных явлений в социальной и экономической сферах жизни.

Но мы вряд ли вправе обвинять мечтателей в близорукости. После резких перемен в политическом и нравственном климате общества середины 50-х годов публицисты и прозаики экстраполировали в будущее вектор положительного развития. Вера в безусловность прогресса была, пожалуй, иррациональной, ибо ни на каком серьезном анализе прошлого и настоящего не основывалась. И если бы кто-нибудь тогда написал, что нашими заботами в 80-х годах сделаются борьба с бюрократизмом, коррупцией, что расцветут такие болезненные явления как алкоголизм и наркомания, такого «футуролога» сочли бы очернителем.

Да и в 70-х годах подобный анализ социальной жизни не очень приветствовался. Приметно больше говорили и писали о славном прошлом, о верности традициям отцов. (Что, впрочем, не означало возрождения историзма, ибо «ближний

прицел» действовал и в обратную сторону.) Молодость нередко считалась синонимом незрелости — что, разумеется, в словах не фиксировалось. А молодежь, чувствуя недоверие, стремилась доказать: нет, мы не хуже, мы не посраим, если что...

Повесть Сергея Абрамова «В лесу прифронтовом» — показательная для прозы молодых писателей 70-х годов. Автор настаивает на духовном родстве поколений, хотя на первый взгляд и может представиться, что многое изменилось в сознании, воззрениях молодежи. Молодые 70-х не знают нужды, хорошо образованны, жизненный опыт их складывается из других впечатлений. И все-таки, утверждает писатель, главное не в этом. Неизменно самое существенное — способность к самопожертвованию, твердая вера в идеалы общества. Современные мальчишки ничем не хуже их сверстников из далекого 42-го — это доказывается всем ходом повествования.

70-е годы, однако, стали десятилетием обретения истинного масштаба времени. Литература в целом осознала, что настоящее можно постигнуть лишь как результат всего предшествующего развития. Постепенное торжество такого взгляда лишало антиисторизм исторической перспективы — да простится мне такая тавтология.

Обострение экологических проблем дало дополнительный импульс поискам точных координат на оси времени. Цена антиисторизма оказалась слишком высока — на глазах у всех произошла как бы материализация сентенции американского философа Сантаяны: кто не знает прошлого, обречен пережить его вновь.

Экологическое сознание также рождалось в остром противоборстве с философией казенного оптимизма — процесс его становления можно уподобить обретению исторической перспективы. И фантастика, как и литература в целом, сыграла свою роль в борьбе против сыто-потребительского отношения к природе. Излюбленная писателями-фантастами тема Контакта с инопланетными цивилизациями пережила в годы борьбы за Байкал существенные изменения — встреча с иными мирами все чаще оказывалась чреватой непредсказуемыми последствиями.

Повесть Ариадны Громовой «Глеги» принадлежит к числу произведений, отрицающих благостное отношение к неведомому. Чужой мир, куда попадают герои, создал орудие собственной гибели — наука оказалась беспомощной против сил, пробужденных ею же к жизни. Сегодня, после трагедии Чернобыля, в пору наступления «чумы XX века» — СПИДа, злободневность изображенной в повести ситуации не требует

доказательств. А ведь еще недавно тезис о том, что наука в руках безответственных людей — источник повышенной опасности, приходилось обставлять различными оговорками: это, мол, у нас невозможно, это удел общества, живущего по волчьим законам. Думается, многие из отрицательных явлений, проявившихся в последние десятилетия, не приобрели бы столь значительного масштаба, будь у литературы и искусства больше возможностей изображать «негатив».

Характерная особенность фантастики 50-х — 70-х годов — растущая тревога перед лицом дегуманизации научно-технического прогресса. Контроль над человеческой психикой — тема многих произведений этого периода. Рассказы «Уравнения Максвелла» Анатолия Днепров, «Рэм и Гений» Дмитрия Жукова, «Тревожных симптомов нет» Ильи Варшавского, включенные в сборник, исследуют ситуации, в которых личность приносится в жертву рационалистически понимаемой идее пользы. В пору, когда эти рассказы писались (например, рассказ Днепров впервые опубликован в 1958 году, Жукова — в начале 1960-х), такие проблемы еще не обсуждались в литературе других жанров, и здесь авангардная роль фантастики не подлежит сомнению.

Еще тридцать лет назад лес труб, увенчанных разноцветными султанами дыма, воспринимался как символ экономического могущества. Сегодня это образ экологической катастрофы, тemento mori современной цивилизации. Научная фантастика больше всего постаралась закрепить такую устрашающую картину в сознании человечества, в этом отношении жанр, родившийся в преддверии первой научно-технической революции, в наибольшей степени отвечает представлениям о социальной роли искусства.

Бытовавший еще в 50-е годы лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» не сам по себе исчез со стен и обочин дорог. Отрезвлению общества в немалой степени способствовала литература, усомнившаяся в том, что благая цель может быть достигнута любыми средствами.

С середины 50-х годов область общественных отношений, как уже говорилось, стала одним из главных направлений художественного поиска писателей-фантастов. Моделируя политические системы различных типов, писатели многих стран создали ряд романов-предупреждений, получивших жанровое определение антиутопий. В советской литературе последних десятилетий имеется несколько опытов такого рода.

Повесть Вячеслава Назарова «Силайское яблоко», написанная в середине 70-х, рисует инопланетное государство,

основанное на принципах, близких Великому Инквизитору, рожденному фантазией Достоевского. Правитель Свиры поставлен у власти тайным сообществом Проницательных. Методы утверждения господства этих незримых властителей весьма напоминают политическую практику современного Запада. Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия и подобные им объединения космополитической элиты представляют собой видимую верхушку огромного айсберга, тающегося под поверхностью политических структур буржуазного мира.

В то же время даже сам титул Великого Кормчего говорит о том, что писатель воплотил в этом образе отрицательный опыт различных социальных систем XX века. Везде, где сознание масс становится объектом манипулирования, закономерно возникают окостеневшие сообщества, подобные регламентированному раю Свиры.

Когда мы размышляем сегодня об истоках процесса обновления, очищения, начавшегося в стране весной 1985 года, то говорим и о гражданской неуспокоенности писателей и деятелей искусства, будивших совесть людей, готовивших общество к осознанию необходимости перемен. Лучшие произведения научно-фантастического жанра также способствовали созданию умонастроения, определившего неотвратимость перестройки всей нашей жизни.

Говоря прежде всего о социальной роли фантастики, мне хотелось тем самым выделить ее место среди других жанров современной литературы. Преимущественная миссия художественного осмысления итогов и перспектив развития человека и общества, которую осуществляет научная фантастика, — основа высокого ее престижа у читателей.

Постоянное увеличение числа поклонников этого жанра литературы обусловлено и ростом мастерства авторов научно-фантастических произведений — на протяжении нескольких десятилетий происходило неуклонное наращивание их художественного потенциала.

Если в 50-х годах научная фантастика часто обходилась довольно скудным словарем, тяготела к отработанным сюжетным схемам, то с течением времени палитра ее обогатилась, писатели стали решать и чисто художественные задачи. Скажем, помещенный в том же рассказ Владимира Григорьева «Образца 1919-го» смело можно включать в любой сборник прозы 70-х годов. Настолько точно, ярко, психологически достоверно воссоздает автор образы своих героев.

Прицельность иронических обобщений Вячеслава Назарова, романтическая одухотворенность характеров Аскольда

Якубовского (повесть «Прозрачник»), мастерская передача С. Гансовским внутреннего мира героя через монолог — достоинства подлинно художественной прозы.

Поскольку творчество ряда авторов, активно работавших в период 50-х — 70-х годов, представлено в других выпусках «Библиотеки фантастики», в настоящем издании собраны произведения, оказавшие на становление жанра, быть может, не столь заметное влияние, но тем не менее дающие возможность лучше понять литературный процесс этого, безусловно, интересного, важного для нашего духовного развития периода.

В то же время на примере повестей и рассказов, включенных в том, легко заметить взаимосвязь советской фантастики последних десятилетий с фантастикой зарубежной. Глобальность проблем, волнующих человечество, закономерно отражается в сходстве тем и образов. Вот разве что сюжетные развязки иные — у наших фантастов, в отличие от западных, почти не встречаются пессимистические, тупиковые финалы.

Взаимосвязь советской фантастики с отечественной фантастикой более ранних периодов — довоенного и даже до-революционного — также ощущается в произведениях 50-х — 70-х годов. Роднит их с книгами того времени вера в будущее, в торжество разума, в неисчерпаемость познания.

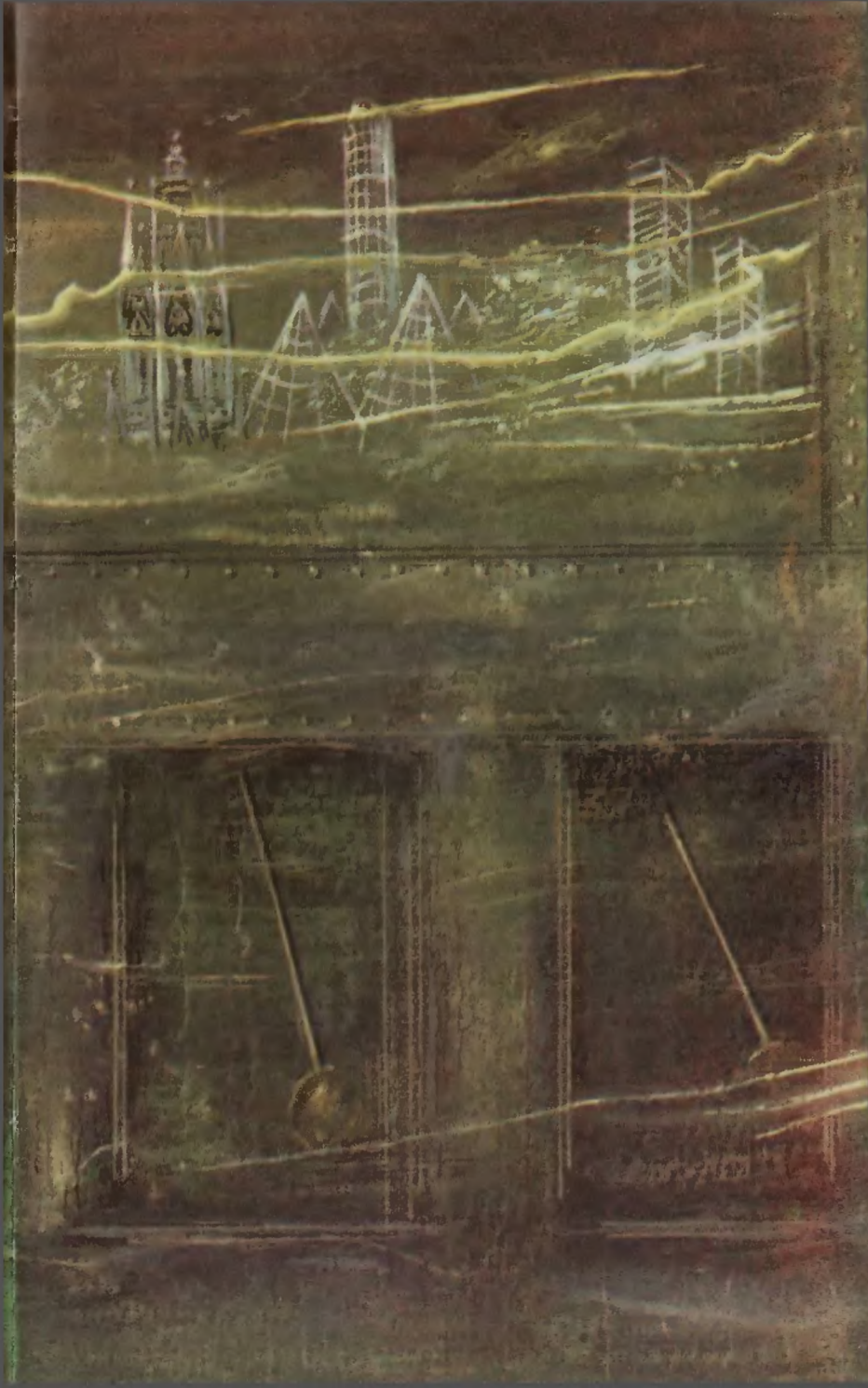
И все же — при всей приверженности традиции — советскую фантастическую литературу 50-х, 60-х, 70-х годов отличает особая «заземленность», ярко выраженный социальный пафос. При всем различии манер, интересов писателей тех лет объединяли в первую очередь земные заботы — уносясь мечтой в туманные дали грядущего, в бесконечные пространства Вселенной, они всегда оставались гражданами своего времени.

Сергей Плеханов

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 50-70-х ГОДОВ







СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 50-70-х ГОДОВ



Анатолий Днепро Уравнения Максвелла

повесть

I

Это приключение началось в один из субботних вечеров, когда я, устав после своих математических занятий, просматривал местную вечернюю газету и на последней странице натолкнулся на объявление: «Компания Крафтштудта принимает от организаций и частных лиц заказы на все виды вычислительных, аналитических и расчетно-математических работ. Высокое качество исполнения гарантируется. Обращаться по адресу: Вельтштрассе, 12».

Это было как раз то, что мне нужно. В течение нескольких недель подряд я мучился над решением уравнений Максвелла, которые описывали поведение электромагнитных волн в неоднородной среде особой структуры. В конце концов мне удалось путем ряда приближений и упрощений придать уравнениям такой вид, что их могла решить электронная счетно-решающая машина. Я уже представлял, как мне придется совершить поездку в столицу и упрашивать администрацию вычислительного центра произвести все нужные мне вычисления. Ведь в настоящее время вычислительный центр так загружен военными заказами. И там никому нет никакого дела до теоретических упражнений провинциального физика, интересующегося законами распространения радиоволн.

И вот, пожалуйста, в нашем небольшом городке объявился вычислительный центр, через газету вызывающий к заказчикам!

Я встал из-за стола и подошел к телефону, чтобы немедленно связаться с компанией Крафтштудта. Но тут я обнаружил, что, кроме адреса вычислительного центра, газета ничего не сообщала. «Солидный вычислительный центр

без телефона? Не может быть». Тогда я позвонил в редакцию газеты.

— К сожалению, это все, что мы получили от Крафтштудта,— сказал мне секретарь редакции.— Никакого телефона в объявлении не было.

В телефонной книжке компания Крафтштудта также не значилась.

Сгораемый от нетерпения поскорее получить решения моих уравнений, я ждал до понедельника. Раз или два я отрывался от аккуратно выписанных на бумаге расчетов, за которыми скрывались сложные физические процессы, и мои мысли обращались к компании Крафтштудта. «Правильно ориентируются,— думал я.— В наш век, когда любым человеческим мыслям пытаются придать математическую форму, трудно придумать более выгодное занятие». Кстати, кто такой этот Крафтштудт? Я давно живу в нашем городе, но фамилия Крафтштудт мне почти неизвестна. Я говорю «почти», потому что очень смутно припоминаю, что когда-то с этой фамилией я уже встречался. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Все мои старания были напрасны, я не мог вспомнить.

Наконец наступил долгожданный понедельник. Спрятав в карман листок со своими уравнениями, я отправился на поиски Вельтштрассе, 12. Моросил мелкий вечерний дождь, и мне пришлось взять такси.

— Это довольно далеко,— сказал шофер,— за рекой, рядом с психиатрической больницей.

Я молча кивнул головой.

Ехать пришлось около сорока минут. Мы миновали городские ворота, затем мост над рекой, обогнули озеро и углубились в холмистое поле, покрытое высохшим прошлогодним кустарником. Кое-где пробивалась ранняя зелень. Дорога была проселочной, немощеной, и машина часто останавливалась меж холмов, яростно буксуя задними колесами в густой глинистой грязи.

Затем показались крыши и красные кирпичные стены психиатрической больницы, расположенной в низине, которую у нас в городе в шутку называли «Приют мудрецов».

Вдоль высокой кирпичной ограды с битым стеклом наверху вела дорога, посыпанная шлаком. Сделав несколько поворотов в лабиринте стен, шофер наконец остановил машину у небольшой двери.

— Это двенадцатый номер.

Я был неприятно удивлен, обнаружив, что дверь, которая, по-видимому, вела в апартаменты компании Крафтштудта, составляла как бы единый ансамбль с «Приютом мудрецов». «Уж не мобилизовал ли Крафтштудт сумасшедших, для того чтобы выполнять «все виды математических работ»?» — подумал я и улыбнулся.

Я подошел к двери и нажал кнопку. Ждать пришлось долго, затем дверь отворилась, и в ней показался бледный человек с взъерошенными густыми волосами и с глазами, сощуренными от дневного света.

— Да, господин, — обратился он ко мне.

— Здесь математическая компания Крафтштудта? — спросил я.

— Да.

— Вы давали объявление в газету...

— Да.

— Я принес вам заказ.

— Пожалуйста, войдите.

Я повернулся к шоферу, сказал ему, чтобы он меня ждал, и, нагнувшись, проскользнул в дверь. Она закрылась, и я оказался в крошечной темноте.

— Прошу вас за мной. Осторожно, здесь ступеньки. Теперь налево... Опять ступеньки. Теперь пойдемте вверх...

Говоря это, мой провожатый держал меня за руку, волоча по темным кривым коридорам, по спускам и подъемам.

Наконец над головой забрезжил тусклый желтоватый свет, и, поднявшись по крутой каменной лестнице, я оказался в небольшом холле, окруженном со всех сторон застекленными стенами.

Молодой человек быстро прошел за перегородку, обогнул ее и открыл широкое окошко. Через него он обратился ко мне:

— Я вас слушаю.

У меня было такое чувство, будто бы я попал не туда, куда направлялся.

Этот полумрак, этот подземный лабиринт и, наконец, эта глухая комната, без окон, с единственной слабой электрической лампочкой под потолком, создавали представление, отнюдь не похожее на то, которое у меня было, когда я ехал на поиски современного вычислительного центра.

Я стоял, в недоумении оглядываясь вокруг.

— Я вас слушаю,— повторил молодой человек, высунувшись в окошко.

— Ах да! Так, значит, здесь и помещается вычислительный центр компании Крафтштудта?..

— Да, да,— прервал он меня не без нотки раздражения в голосе.— Я уже вам сказал, что именно здесь помещается вычислительный центр компании Крафтштудта. В чем заключается ваша задача?

Я извлек из кармана листок бумаги с уравнениями и протянул его в окошко.

— Это линейное приближение вот этих уравнений в частных производных,— неуверенно начал я объяснять.— Я бы хотел, чтобы вы хотя бы численно их решили, ну, скажем, непосредственно на границе раздела двух сред... Понимаете, это дисперсионное уравнение, и здесь скорость распространения радиоволн меняется от точки к точке.

Скомкав мой листок, молодой человек вдруг произнес:

— Все ясно. Когда вам нужно будет решение?

— Как — когда? — удивился я.— Это вы должны мне сказать, когда вы сможете его решить.

— Вас устраивает завтра? — спросил он, вскинув на меня глубокие черные глаза.

— Завтра?!

— Да, завтра. Скажем, часам к двенадцати, самое позднее к часу дня...

— Боже, да что это у вас за вычислительная машина? Такая скорость работы!

— Итак, завтра в двенадцать дня вы получите решение. Стоимость — четыреста пятьдесят марок. Плата наличными.

Стоимость решения была довольно высока. Но, если учесть, что сложнейшие уравнения будут решены за сутки, это было дешево. Поэтому я, ни слова не говоря, протянул ему деньги вместе с визитной карточкой, на которой значились моя фамилия и мой адрес.

Провожая меня по подземному лабиринту к выходу, молодой человек спросил:

— Так, значит, вы и есть профессор Раух?

— Да. А почему вы спрашиваете?

— Да так. Когда мы организовали математический центр, мы рассчитывали, что рано или поздно вы к нам придете.

— Почему вы на это рассчитывали? — удивленно спросил я.

— А от кого же можно еще ждать заказов в этой дыре?

Ответ показался мне довольно убедительным.

Не успел я попрощаться с молодым человеком, как дверь за мной захлопнулась.

Всю дорогу домой я думал об этом странном вычислительном центре рядом с «Приютом мудрецов». Где и когда я встречал фамилию Крафтштудт?

II

На следующий день я с нетерпением ждал утренней почты. Когда в половине двенадцатого у двери моей квартиры послышался звонок, я вскочил и помчался встречать почтальона. К моему удивлению, я увидел перед собой тоненькую бледнолицую девушку с громадным синим пакетом в руках.

— Вы профессор Раух? — спросила она.

— Да.

— Вам пакет от компании Крафтштудта. Прошу расписаться.

Ее тонкие руки секунду порылись в карманах пальто, и она протянула мне книжку.

На первой странице значилась единственная фамилия — моя. Я расписался, затем протянул девушке монету.

— О, что вы! — вспыхнула она и, произнеся едва слышно «до свиданья», удалилась.

С пакетом я вернулся в кабинет.

Глядя на фотокопии исписанной мелким почерком рукописи, я вначале ничего не понял. От электронной счетно-решающей машины я ждал совсем другого: длинные столбики цифр, в одной колонке которых должны были стоять значения аргумента, а во второй — значения решения уравнений.

Ничего подобного здесь не было.

Это было точное решение моих уравнений! Чья-то рука, руководимая выдающейся математической мыслью, совершенно строго, без всяких приближений, решала мои уравнения.

Я пробежал глазами страницу за страницей, все больше и больше углубляясь в поражающие своей кра-

сотой, остроумием и изобретательностью выкладки. Человек, решивший уравнения, обладал огромными математическими знаниями, которым могут позавидовать самые первоклассные математики. Для решения был привлечен почти весь математический аппарат — теория линейных и нелинейных дифференциальных и интегральных уравнений, теория функций комплексного переменного, теория групп, теория множеств и даже такие, казалось, не имеющие отношения к данной задаче математические дисциплины, как топология, теория чисел и математическая логика.

Я чуть было не вскрикнул от восхищения, когда, в результате синтеза большого числа теорем, промежуточных выкладок, формул и уравнений, в конце концов появилось и само решение — математическая формула, занимавшая в длину целых три строчки.

Но самым изящным было то, что неведомый мне математик позаботился и о том, чтобы придать этой длинной формуле то, что в нашей науке называется «обозримый вид». Он нашел приближенную, но очень точную, краткую и ясную математическую запись, состоящую только из элементарных алгебраических и тригонометрических выражений.

В конце, на небольшой вклейке, решение уравнений было изображено графически.

Большого желать было невозможно. Уравнение, которое, как я считал, не может быть решено в конечном виде, оказалось решенным.

Несколько опомнившись от удивления и восхищения, я во второй раз стал перечитывать фотокопии, исписанные формулами. Теперь я заметил, что тот, кто решал мою задачу, писал торопливо, мелким почерком, как бы экономя каждый миллиметр бумаги и каждую секунду времени. Всего было исписано двадцать восемь страниц, и я мысленно прикинул, какой титанической была работа этого математика. Попробуйте написать за сутки от руки двадцать восемь страниц своему знакомому, напишите двадцать восемь страниц своей биографии, наконец, попробуйте из любой книжки, не думая, не понимая ни слова, просто переписать двадцать восемь страниц, и вы убедитесь, что это адский труд.

А ведь это было решение сложнейшей математической задачи. И оно было выполнено за сутки!

Несколько часов подряд я смотрел на исписанные страницы, с каждым часом удивляясь все больше и больше.

Где Крафтштудт нашел такого математика? На каких условиях он у него работает? Кто он такой? Какой-нибудь безвестный гений? Или, может быть, это одно из тех чудес человеческой натуры, которое иногда встречается на границе между нормальным и ненормальным? Может быть, это один из уникалов, которого Крафтштудту удалось разыскать в «Приюте мудрецов»? История знает случаи, когда гениальные математики в конце концов оказывались в больнице для душевнобольных. Может быть, и математик, так блестяще решивший мою задачу, относится к той же категории людей?

Все эти вопросы мучили меня в течение всего дня.

И тем не менее факт оставался фактом. Задача была решена не машиной, а человеком, выдающимся математическим гением, о котором мир ничего не знает.

На следующий день, несколько успокоившись, я еще раз перечитал решение, на этот раз наслаждаясь им, как наслаждаются, слушая хорошую музыку. Оно было так красиво, так строго, так ясно, что я решил... повторить эксперимент. Я решил заказать компании Крафтштудта решение еще одной задачи.

Я выбрал то уравнение, которое мне всегда казалось совершенно невозможным не только решить в конечном виде, но даже придать ему форму, нужную для решения на счетно-решающей машине.

Это уравнение также относилось к теории распространения радиоволн, но случай был очень сложным и специальным, с подвижными излучателями, со средой, свойства которой меняются в пространстве и во времени. Это было одно из тех уравнений, которые часто пишут физики-теоретики только для того, чтобы ими полюбоваться и затем забыть, потому что они из-за своей сложности оказываются никому не нужными.

...Когда дверь в кирпичной стене открылась, я увидел того же молодого человека с прищуренными от дневного света глазами. Увидев меня, он криво улыбнулся.

— У меня еще одна задача...— начал было я.

Он кивнул головой и, как и в первый раз, повел меня по темным коридорам в свою мрачную приемную без окон.

Теперь я знал процедуру и, подойдя к стеклянному окошку, протянул ему уравнение:

— Значит, решают у вас эти штуки не машины?
— Как видите,— ответил он, не отрывая глаз от уравнения.

— Тот, кто решил мою первую задачу,— талантливый математик,— сказал я.

Молодой человек ничего не ответил, углубившись в мою рукопись.

— Он у вас один или...— спросил я.

— А разве это имеет какое-либо отношение к тому, что вам требуется? Фирма гарантирует...

Он не успел окончить фразу, как вдруг глубокую тишину подвала прорезал резкий вопль. Я вздрогнул и прислушался. Крик доносился откуда-то из-за стены, которая была за стеклянной перегородкой. Кто-то кричал, вернее, вопил так, как будто его подвергали нечеловеческим пыткам. Молодой человек, скомкав листки бумаги с моей задачей, метнул взгляд в сторону стены и затем в меня и, выбежав из-за перегородки, схватил меня за руку и потащил к выходу.

— Что это? — спросил я его, еле переводя дух у самой выходной двери.

Вместо ответа он выпалил:

— Решение получите послезавтра в двенадцать. Деньги передадите посыльному.

С этими словами он оставил меня одного перед такси.

III

Стоит ли говорить, что после этого случая я совершенно потерял покой. Во-первых, я ни на мгновение не мог забыть страшный крик, который, казалось, потряс каменные своды вычислительного центра компании Крафтштудта. Во-вторых, я все еще находился под впечатлением того, что один человек решил тяжелую математическую задачу за сутки. И в-третьих, я как в лихорадке ждал решения моей второй задачи. Если и она будет решена, то тогда...

Через два дня я дрожащими руками принимал пакет от посыльной из компании Крафтштудта. Я с испугом смотрел на худенькое существо, стоявшее передо мной. Вдруг меня осенила мысль.

— Войдите, пожалуйста, я готовлю деньги.

— Нет, не нужно,— заторопилась она, как бы испугавшись,— я подожду здесь...

— Да войдите же, зачем вам мерзнуть,— сказал я и почти насильно втоптал ее в комнату.— Я должен посмотреть работу и установить, заслуживает ли она того, чтобы за нее платить.

Девушка прижалась спиной к двери и следила за мной широко раскрытыми глазами:

— Это запрещается...— шептала она.

— Что запрещается?

— Входить в квартиры клиентов... Такова инструкция, господин.

— Плюньте на инструкцию. Здесь я хозяин, и никто не узнает, что вы были у меня.

— О господин... Они все узнают, и тогда...

— Что — тогда? — спросил я, приблизившись к ней.

— О, это так страшно...

Она вдруг заплакала.

Я положил ей руку на плечо, но она встрепенулась и выскочила за дверь.

— Немедленно отдайте мне семьсот марок, и я пойду.

Я протянул деньги, она вырвала их у меня из руки.

Когда я открыл пакет, то чуть не вскрикнул от удивления. Несколько минут я смотрел на стопку фотокопий, не веря глазам своим. Теперь меня уже поражало не то, что мои безнадежные уравнения были, по-видимому, решены. Самым поразительным было то, что выкладки были написаны другим почерком.

Второй гениальный математик! Однако этот был еще более гениальным, чем первый, потому что он на протяжении пятидесяти трех страниц решил в аналитическом виде уравнения, в сотни раз более трудные, чем первое. Пробегая взглядом строки, написанные энергичным, размашистым почерком, всматриваясь в интегралы, суммы, вариации и прочие символы самых высших разделов математической науки, я представил себя в каком-то неведомом, странном математическом мире, где сложности потеряли всякое значение. Здесь их просто не было.

Казалось, будто математик, решавший вторую мою задачу, делал это так же легко, как мы складываем или вычитаем в столбик двузначные числа.

Читая рукопись, я несколько раз бросал ее, чтобы обратиться к математическим справочникам и учебникам, и, к своему крайнему удивлению, обнаруживал, что второй математический гений прекрасно знал и помнил все то, что знал и помнил я, но, кроме этого, и многое другое. Меня поражало его умение пользоваться самыми

сложными математическими теоремами и доказательствами. Его математическая логика была невероятной, глубина мысли бездонной, метод решения безукоризненным. Я был уверен, что если бы самые гениальные математики всех веков и народов, такие, как Ньютон, Лейбниц, Гаусс, Эйлер, Лобачевский, Вейерштрасс, Гильберт и многие другие, увидели решение этой задачи, они бы удивились не меньше, чем я.

И тем не менее факт оставался фактом: вторая задача была решена еще более красиво и изящно, чем первая. Прочитав рукопись, я, обессиленный и потерявший способность ощущать реальность, оставался в задумчивости еще долгое время.

Откуда Крафтштудт набрал этих математиков? Теперь я был уверен, что их у него было не два и не три, а, наверно, целая бригада. Ведь не мог же он всерьез основать целую фирму, эксплуатируя только двух-трех человек. Как это ему удалось? Почему его фирма находится рядом с сумасшедшим домом? Кто и почему кричал нечеловеческим голосом за стеной?

«Крафтштудт, Крафтштудт...» — билось у меня в сознании. Где и когда я встречал эту фамилию? Что за ней скрывается? Я ходил по кабинету, сжимая голову руками, силясь вспомнить, что я знал о Крафтштудте.

Затем я снова уселся за гениальный математический манускрипт, наслаждаясь его содержанием, перечитывая по частям, углубляясь в доказательства промежуточных теорем и формул. Внезапно я вскочил. Я вскочил оттого, что вдруг снова вспомнил страшный нечеловеческий крик, а вместе с ним и фамилию Крафтштудт.

Эта ассоциация была неслучайной. Именно так оно и должно было случиться. Нечеловеческий крик пытаемого человека и Крафтштудт! Это неразрывное целое. Во время второй мировой войны некий Крафтштудт был следователем гитлеровского концентрационного лагеря в Граце. Во втором туре Нюрнбергского процесса его судили за преступления, совершенные против человечности. За пытки и убийства его приговорили к пожизненному тюремному заключению. И после этого о нем ничего и нигде не было слышно.

Я вспомнил портрет этого человека, напечатанный во всех газетах, в форме оберштурмфюрера СС, в пенсне, с широко раскрытыми, даже удивленными глазами на

добродушном полноватом лице. Никто не хотел верить, что человек с такой физиономией мог быть палачом гитлеровских застенков. Однако портрет сопровождали подробные показания свидетелей и заключение следствия. Да, Крафтштудт действительно был палачом.

Что случилось с ним после процесса? Не выпустили ли его в настоящее время, как и многих других военных преступников?

Но при чем здесь математика? Где здесь связь: следователь-палач и гениальные решения дифференциальных и интегральных уравнений?

В этом пункте цепь моих рассуждений прерывалась, я чувствовал себя бессильным соединить эти два звена воедино. Чего-то не хватало, в чем-то была тайна, разгадать которую умозрительным путем я был бессилён.

Сколько ни ломал я голову, сколько ни пытался скомбинировать Крафтштудта с «Приютом мудрецов» и с бригадой талантливых математиков, это мне никак не удавалось. И затем эта девушка, заявившая, что «они все равно узнают»... Какая она запуганная и робкая!

После нескольких дней мучительных раздумий я наконец пришел к выводу, что если я не раскрою эту тайну, то сойду с ума.

Прежде всего я решил убедиться, что Крафтштудт из математической фирмы это Крафтштудт — военный преступник, следователь концентрационного лагеря в Граце.

IV

Оказавшись у низенькой двери фирмы Крафтштудт в третий раз, я почувствовал, что сейчас произойдет нечто такое, что окажет огромное влияние на всю мою жизнь. Не знаю почему, но я отпустил такси, и только после того, как автомобиль скрылся за поворотом, я позвонил.

Мне показалось, что молодой человек с помятой, почти старческой физиономией ждал меня. Он почему-то сразу взял меня за руку и, не задавая никаких вопросов, повел через темное подземелье в тот самый приемный холл, в котором я уже был два раза.

— Итак, с чем вы пришли сейчас? — спросил он насмешливо.

— Я хочу видеть господина Крафтштудта лично, — пробормотал я.

— Наша фирма чем-нибудь вас не устраивает, профессор? — спросил он.

— Я хочу видеть господина Крафтштудта, — повторил я с упорством, стараясь не смотреть в большие черные глаза, которые сейчас светились глубоким, злым и насмешливым огоньком.

— Ваше дело. Меня это мало касается, — произнес он после того, как я выдержал минутное испытание его пронизывающего взгляда. — Подождите здесь.

Затем он исчез в одной из дверей за стеклянной перегородкой и не появлялся более получаса.

Я почти задремал, когда вдруг послышался шорох в углу и внезапно из полумрака появилась фигура человека в белом халате, со стетоскопом в руках. «Доктор, — пронеслось у меня в сознании. — Сейчас меня будут осматривать и выслушивать. Неужели это необходимо, чтобы повидаться с господином Крафтштудтом?»

— Пойдемте, — повелительно произнес доктор.

И я пошел за ним, совершенно не соображая, что со мной будет дальше и для чего я все это затеял.

Пройдя дверь в застекленной перегородке, я последовал за человеком в белом халате по длинному коридору, в который дневной свет проникал откуда-то сверху. Коридор заканчивался высокой массивной дверью. Доктор остановился.

— Подождите здесь. Сейчас вас примет господин Крафтштудт.

Доктор снова появился минут через пять. Он широко открыл дверь и несколько секунд стоял черным силуэтом в рассеянных лучах дневного света.

— Ну что же, пошли, — сказал он голосом человека, сожалеющего о том, что должно произойти дальше.

Я покорно последовал за ним. Войдя в павильон с широкими сияющими окнами, я стоял несколько минут, стараясь рассмотреть огромное светлое помещение. Из оцепенения меня вывел резкий голос.

— Подойдите же сюда, профессор Раух.

Я повернулся направо и увидел сидящего в глубоком плетеном кресле Крафтштудта, того самого Крафтштудта, который был мне знаком по многочисленным фотографиям в газетах.

— Вы пожелали встретиться со мной? — спросил он, не здороваясь и не вставая из-за стола. — Чем могу служить?

Я быстро взял себя в руки и, проглотив слюну, подошел вплотную к столу, за которым он сидел.

— Значит, вы переменяли род занятий? — спросил я, глядя на него в упор.

Он постарел за пятнадцать лет, его полные щеки собрались в крупные морщины и свисали дряблыми складками вокруг резко выступавших скул.

— Что вы имеете в виду, профессор? — задал он вопрос, осматривая меня очень внимательно.

— Я, господин Крафтштудт, думал, вернее, надеялся, что вы все еще...

— Ах, вот оно что! — И Крафтштудт расхохотался. — Другие времена, Раух. Другие.

— А как же закон?

— Дорогой мой профессор! Закон нужен только тогда и только тем, кто из него может извлечь пользу. Сейчас другие времена и другие источники пользы. Следовательно, и законы другие. Впрочем, меня интересуют не ваши соображения в отношении законов, а причины, которые вас привели ко мне.

— Господин Крафтштудт, я, как вы можете догадаться, смыслю кое-что в математике, я имею в виду современную математику. Так вот, сначала я думал, что вы организовали обычный вычислительный центр, оборудованный электронными счетно-решающими машинами. Однако на двух примерах я убедился, что это не так. У вас математические задачи решают люди. Решают они их совершенно гениально. И, что самое странное, чудовищно быстро, сверхчеловечески быстро. Я, если хотите, осмелился прийти к вам, чтобы познакомиться с вашими математиками, которые, конечно, являются необыкновенными людьми.

Крафтштудт вначале изобразил на своем лице улыбку, а затем стал сначала тихо, а потом все громче и громче смеяться.

— Над чем вы смеетесь, господин Крафтштудт? — возмущился я. — Разве мое желание столь комично и глупо? Разве каждый здравомыслящий человек, а тем более математик, не изумится, когда познакомится с теми решениями, которые предоставила в мое распоряжение ваша фирма?

— Я смеюсь над другим, Раух. Я смеюсь над вашей провинциальной ограниченностью. Я смеюсь над тем, как вы, профессор, уважаемый в городе человек, всегда поражавший своей ученостью воображение недозрев-

ших девиц и старых дев, как вы безнадежно отстали от стремительного хода современной науки!

Я был поражен наглостью бывшего гитлеровского следователя.

— Послушайте, вы! — воскликнул я. — Всего пятнадцать лет назад вашей специальностью было пытаться невинных людей раскаленным железом. Какое вы имеете право болтать о современной науке? Если хотите; то я пришел, чтобы узнать, какими методами вы заставляете подчиненных вам талантливых людей за сутки проделывать работу, которая под силу человеческому гению лишь после продолжительного, на протяжении нескольких лет, труда, может быть, труда всей жизни. Я очень рад, что нашел вас здесь. Не думаю, что наше знакомство будет для вас приятным.

Крафтштудт встал и, нахмутив брови, подошел ко мне.

— Послушайте, Раух, я советую вам меня не сердить. Я знал, что рано или поздно вы ко мне придете. Но я вовсе не рассчитывал найти в своем кабинете учёного-идиота в роли сыщика-любителя. Признаюсь, я ожидал встретить в вас, если хотите, союзника и помощника.

— Что-о-о? — закричал я. — Сначала вы объясните мне, что вы делаете с людьми, которые приносят вам прибыль.

Бледно-голубые глаза Крафтштудта за стеклами пенсне превратились в две узенькие щелки. На мгновение мне показалось, что он осматривает меня, как вещь, которую собирается приобрести в собственность.

— Значит, вы хотите, чтобы я объяснил вам, как наша фирма работает? Значит, вам мало того, что две ваши идиотские задачи были решены так, как они должны решаться в двадцатом веке? Значит, вы хотите на собственной шкуре испытать, что значит решать такие задачи? — прошипел он.

— Я не верю, чтобы один человек, пусть даже очень талантливый, мог проделать каторжный труд за несколько десятков часов по доброй воле. Ваша репутация свидетельствует об этом. Кроме того, я имел несчастье слышать, как вопил один из ваших сотрудников...

— Хватит! — закричал Крафтштудт. — В конечном счете, я не просил, чтобы вы ко мне приходили. Но уж если вы пришли с такими настроениями, то вы нам пригодитесь, хотите ли вы этого или нет.

Я не заметил, что доктор, который провел меня в кабинет Крафтштудта, все время стоял сзади меня. Глава фирмы сделал ему знак, и в одно мгновение его сильная рука обхватила мое лицо, крепко зажала рот, а вторая поднесла к носу кусок ваты, пропитанный резко пахнущим веществом, вдохнув которое я сразу потерял сознание.

V

Я очнулся, но долго не решался открыть глаза. Вокруг я слышал голоса каких-то людей. Они о чем-то горячо спорили. Это был деловой научный спор, содержание которого некоторое время не доходило до моего сознания. Только после того, как в голове у меня немного прояснилось, я начал разбираться в смысле фраз.

— Генрих совершенно неправ. В конечном счете, импульсный код, который возбуждает нейроны волевых центров, не состоит из пятидесяти выбросов с равными промежутками и пятью скважностями между равными группами. Это было вчера совершенно точно показано на опытах с Никольсом.

— Ну, знаешь, твой Никольс не пример. Если хочешь, то кодирование возбуждения очень индивидуально. То, что возбуждает волевые центры у одного, может возбуждать совсем другое у другого. Например, электро-возбуждение, которое доставляет Никольсу наслаждение, заставляет меня глохнуть. Когда я ему подвергаюсь, у меня такое ощущение, как будто в мои уши вставили две трубы и по ним вдувают в голову рев самолетных моторов.

— Тем не менее ритм деятельности групп нейронов головного мозга у многих людей имеет много общего. Собственно, на этом и играет наш учитель.

— Играет, да не очень,— произнес кто-то устало.— Пока что дальше математического анализа дело не пошло.

— Это вопрос времени. В данном случае косвенные опыты имеют большее значение, чем прямые. Никто не осмелится вставить тебе в мозг электрод и смотреть, какие импульсы там двигаются, потому что это повредит мозг, а следовательно, и сами импульсы. Другое дело, если ты имеешь генератор, на котором можно в широких пределах менять импульсно-кодovou модуляцию. Это

позволяет проводить эксперименты, совершенно не нарушая целостности мозга.

— Как сказать, — произнес все тот же усталый голос. — Твое заявление опровергает случай с Гориным и с Войдом. Первый умер через десять секунд после того, как его поместили в частотно-модулированное поле, где десять последовательных выбросов напряженности следовали с частотой в семьсот герц при скважности в пять десятых секунды. Второй так орал от боли, что пришлось немедленно выключить генератор. Вы, ребята, забываете основное положение нейрокибернетики о том, что в сетях нейронов, которые существуют в человеческом организме, реализуется огромное количество петель. Двигающиеся по ним импульсы характеризуются специфической частотой и кодом. Стоит попасть в резонанс с любой из этих циркуляций, и контур может возбудиться до невероятного состояния. Если так можно выразиться, доктор тыкает вслепую. И то, что мы еще живы — это чистая случайность.

Я открыл глаза. Комната, где я находился, представляла собой подобие большой больничной палаты с койками, расположенными вдоль стен. Посредине стоял большой деревянный стол, заваленный объедками пищи, пустыми консервными банками, окурками, обрывками бумаги. Все это было освещено тусклым электрическим светом. Я приподнялся на локтях и осмотрелся вокруг. Разговор сразу стих.

— Где я нахожусь? — прошептал я, обводя взглядом лица уставившихся на меня людей.

Я услышал, как кто-то сзади меня прошептал:

— Новенький пришел в себя...

— Где я нахожусь? — повторил я вопрос, обращаясь ко всем сразу.

— Разве вам это неизвестно? — спросил меня молодой человек, сидевший в нижнем белье на койке справа. — Это фирма Крафтштудта, нашего творца и учителя.

— Творца и учителя? — промычал я, потирая лоб. — Какой же он учитель, если он в действительности военный преступник.

— Преступление — это относительное понятие. Все зависит от цели, ради которой действие совершается. Если цель благородна, всякое действие хорошо, — выпалил мой сосед справа.

Пораженный образчиком вульгарного макиавеллизма, я посмотрел на него с любопытством.

— Где это вы набрались такой мудрости, молодой человек? — спросил я, усаживаясь напротив него.

— Господин Крафтштудт наш творец и учитель, — вдруг наперебой стали повторять все присутствующие в комнате.

«Значит, я действительно попал в «Приют мудрецов», — с тоской подумал я.

— Н-да, ребята, плохи ваши дела, если вы так говорите, — сказал я, обводя всех взглядом.

— Бьюсь об заклад, что у новенького математика лежит в частотной полосе от девяноста до девяноста пяти герц! — воскликнул привставший со следующей койки тучный парень.

— А его боль может быть вызвана при частоте не более ста сорока герц равномерно ускоренного импульсного кода! — воскликнул другой.

— А спать его можно заставить кодовыми посылками по восемь импульсов в секунду с паузой в две секунды после каждой посылки!

— Уверен, что новенький будет ощущать голод при импульсном возбуждении с частотой сто три герца с логарифмическим ростом интенсивности импульсов!

Это самое худшее, что я мог себе представить. Совершенно очевидно, все они были сумасшедшими. Меня поражало только одно обстоятельство: все они говорили об одном и том же — о каких-то кодах и каких-то импульсах, связывая их с моими ощущениями, с моим внутренним миром. Они обступили меня и, глядя мне прямо в глаза, выкрикивали какие-то цифры, упоминали о модуляциях и интенсивностях, предсказывая, как я буду вести себя «под генератором» и «между стенками» и какую мощность я буду потреблять.

Зная из литературы, что с сумасшедшими нужно соглашаться во всем, я решил не вступать с ними в спор, а разговаривать так, как если бы я был таким же, как и они. Поэтому как можно мягче я обратился к соседу, сидевшему на койке справа от меня. Он мне показался более нормальным, чем все остальные.

— Скажите, пожалуйста, о чем это вы все здесь толкуете? Я в этих делах совершеннейший профан. Какие-то коды, импульсы, нейроны, возбуждения...

Вся комната задрожала от смеха. Хохот продолжался

и тогда, когда я в негодовании встал и хотел на них прикрикнуть.

— Контур четырнадцатый. Частота восемьдесят пять герц! Возбуждение гнева! — крикнул кто-то, и смех стал еще более гомерическим.

Тогда я уселся на свою койку и стал ждать, пока они успокоятся.

Первым пришел в себя мой сосед справа. Он подошел ко мне, сел рядом и посмотрел мне прямо в глаза.

— Значит, ты действительно ничего не знаешь?

— Честное слово, ничего не знаю. И ни слова не понимаю из того, что вы говорите.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ну ладно. Мы тебе верим, хотя это очень редкий случай. Дейнис, встань и расскажи новичку, зачем мы здесь находимся.

— Да, Дейнис, встань и расскажи ему. Пусть и он, как мы, будет счастливым.

— Счастливым? — удивился я. — Разве вы счастливы?

— Конечно, конечно! — закричали все. — Ведь мы постигли самих себя. Самое высокое наслаждение человека в том, что он познает самого себя.

— А разве до этого вы не знали самих себя? — удивился я.

— Конечно, нет. Люди не знают самих себя. Только те, кто знаком с нейрокибернетикой, только те знают себя.

— Слава нашему учителю! — крикнул кто-то.

— Слава нашему учителю! — автоматически повторили все.

Ко мне подошел тот, кого называли Дейнисом. Он уселся на койке напротив меня и глухим, усталым голосом спросил:

— Какое образование ты имеешь?

— Я профессор физики.

— Знаешь ли ты биологию?

— Очень поверхностно.

— Психологию?

— Еще хуже.

— Нейропсихологию?

— Не знаю совсем.

— Кибернетику?

— Смутно.

— Нейрокибернетику и общую теорию биологического регулирования?

— Ни малейшего представления.

В комнате послышался возглас удивления.

— Плохо,— глухо промычал Дейнис.— Он не поймет.

— Да рассказывайте же! Я постараюсь понять.

— Он поймет после первых двадцати сеансов генератора! — воскликнул кто-то.

— Я понял после пяти! — крикнул другой.

— Еще лучше, если он два раза побудет «между стенками».

— Все равно, Дейнис, рассказывайте,— настаивал я. Мне почему-то становилось жутко.

— Итак, новичок, понимаешь ли ты, что такое жизнь?

Я долго сидел молча, глядя на Дейниса.

— Жизнь — это очень сложное явление природы,— наконец произнес я.

Кто-то громко хихикнул. За ним хихикнул еще один. Затем еще и еще. Все обитатели палаты смотрели на меня, как на человека, сказавшего непристойную глупость. Один Дейнис смотрел на меня укоризненно и покачивал головой.

— Плохи твои дела. Тебе придется многому учиться,— сказал он.

— Если я сказал неправильно, то объясни.

— Объясни ему, Дейнис, объясни! — закричали со всех сторон.

— Хорошо. Слушай. Жизнь — это непрерывная циркуляция кодированных электрохимических возбуждений по нейронам твоего организма.

Я задумался. Циркуляция возбуждений по нейронам. Где-то когда-то я слышал нечто подобное.

— Дальше, Дейнис, дальше.

— Все твои ощущения, которые составляют сущность твоего духовного «я», — это электрохимические импульсы,двигающиеся от рецепторов в высшие регуляторы головного мозга и после обработки возвращающиеся к эффекторам.

— Ну? Объясняй дальше.

— Всякое ощущение внешнего мира передается по нервным волокнам в мозг. Одно ощущение отличается от другого формой кода и его частотой, а также скоростью распространения. Эти три параметра определяют

качество, интенсивность и время действия ощущения. Понял?

— Допустим.

— Следовательно, жизнь — это и есть движение закодированной информации по твоим нервам. Ни больше ни меньше. Мышление есть не что иное, как циркуляция частотно-модулированной информации по нейронным петлям в центральных областях нервной системы, в мозгу.

— Я этого не понимаю, — признался я.

— Мозг состоит примерно из десяти тысяч нейронов, являющихся аналогами электрических реле. Они соединены в группы и кольца волокнами, называемыми аксонами. По аксонам возбуждения передаются от одного нейрона к другому, от одной группы нейронов к другой. Блуждание возбуждений по нейронам и есть мысль.

Мне стало еще более страшно.

— Он ничего не поймет до тех пор, пока не побывает «под генератором» или «между стенками»! — закричали вокруг.

— Хорошо, допустим, ты прав. Что из этого следует? — спросил я Дейниса.

— А то, что жизнь можно делать какой угодно. При помощи импульсных генераторов, которые возбуждают нужные коды в нейронных петлях. Это имеет огромное практическое значение.

— Объясни какое, — прошептал я, чувствуя, что сейчас я узнаю нечто такое, что откроет мне существо деятельности фирмы Крафтштудта.

— Лучше всего это объяснить на примере стимуляции математической деятельности. В настоящее время в отсталых странах создают так называемые электронные счетно-решающие машины. Количество триггеров, или реле, из которых такие машины состояются, не превышает пяти—десяти тысяч. Математические разделы мозга человека содержат около миллиарда таких триггеров. Никогда и никто не сможет построить машину с таким количеством триггеров.

— Ну и что же?

— А то, что значительно выгоднее использовать для решения математических задач аппарат, который создан самой природой и который лежит вот здесь, — Дейнис провел рукой по надбровным дугам, — чем строить жалкие дорогостоящие машины.

— Но машины работают быстрее! — воскликнул я. — Нейрон, насколько я знаю, может быть возбужден не более двухсот раз в секунду, а электронный триггер — миллионы раз в секунду. Поэтому быстродействующие машины выгоднее.

Вся палата снова грохнула от смеха. Один Дейнис оставался серьезным.

— Это не так. Нейроны тоже можно заставить возбуждаться с любой частотой, если подводить к ним с достаточно высокой частотой возбуждение. Это можно делать при помощи электростатического генератора, работающего в импульсном режиме. Если мозг поместить в поле излучения такого генератора, его можно заставить работать как угодно быстро.

— Так вот каким образом зарабатывает фирма Крафтштудта! — воскликнул я и вскочил на ноги.

— Он наш учитель! — вдруг заголосили все. — Повторяй, новичок. Он учитель!

— Не мешайте ему понимать, — вдруг прикрикнул на всех Дейнис. — Придет время, и он поймет, что господин Крафтштудт наш учитель. Он еще ничего не знает. Слушай, новичок, дальше. Всякое ощущение имеет свой код, свою интенсивность и свою продолжительность. Ощущение счастья — частота пятьдесят пять герц в секунду, с кодовыми группами по сто импульсов. Ощущение горя — частота шестьдесят два герца, со скважностью в одну десятую секунды между посылками. Ощущение веселья — частота сорок семь герц, возрастающих по интенсивности импульсов. Ощущение грусти — частота двести три герца, боли — сто двадцать три герца, любви — четырнадцать герц, поэтическое настроение — тридцать один, гнева — семьдесят пять, усталости — семнадцать, сонливости — восемь и так далее. Кодированные импульсы этих частот двигаются по специфическим петлям нейронов, и благодаря этому ты ощущаешь все то, что я назвал. Все эти ощущения можно вызвать при помощи импульсного генератора, созданного нашим учителем. Он открыл нам глаза на то, что такое жизнь. До него люди жили во мраке и в неведении о самих себе...

От этих объяснений у меня помутилось в голове. Это был или бред, или нечто такое, что действительно открывало новую страницу в жизни человечества. Сейчас я в этом еще не мог разобраться. Голова шумела от наркоза, который мне дали в кабинете Крафтштудта.

Я вдруг почувствовал себя очень усталым и прилег на кровать, закрыв глаза.

— У него доминирует частота в семь-восемь герц. Он хочет спать! — крикнул кто-то.

— Пусть поспит. Завтра он начнет постигать жизнь. Завтра его поведут «под генератор».

— Нет, завтра будут снимать его спектр. На него составят карточку. Может быть, у него есть отклонения от нормы.

Это было последнее, что я услышал. После этого я забылся.

VI

Человек, с которым я встретился на следующий день, вначале показался мне симпатичным и умным. Когда меня ввели в его кабинет на втором этаже главного здания фирмы, он, широко улыбаясь, пошел ко мне навстречу с протянутой рукой.

— А, профессор Раух, рад вас видеть!

— Добрый день, — ответил я сдержанно. — С кем имею честь разговаривать?

— Называйте меня просто Больц, Ганс Больц. Наш шеф поручил мне довольно неприятную задачу — от его имени извиниться перед вами.

— Извиниться? Разве вашего шефа могут терзать угрызения совести?

— Не знаю. Право, не знаю, Раух. Тем не менее он приносит вам свои искренние извинения за все случившееся. Он погорячился. Он не любит, когда ему напоминают о прошлом.

Я усмехнулся:

— Я ведь пришел к нему вовсе не для того, чтобы напоминать ему о его прошлом. Если хотите, меня интересовало другое. Я хотел познакомиться с людьми, которые так блестяще решили...

— Присаживайтесь, профессор. Именно об этом и я хочу с вами поговорить.

Я уселся на предложенный мне стул и начал рассматривать улыбающегося господина Больца, сидевшего против меня за широким письменным столом. Это был типичный северный немец, с продолговатым лицом, светлыми волосами и большими голубыми глазами. В руках он вертел портсигар.

— Здесь, у шефа, я заведу математическим отделом,— сказал он.

— Вы? Вы математик?

— Да, немного. Во всяком случае, я кое-что смыслю в этой науке.

— Значит, через вас я смогу познакомиться с теми, кто решал мои уравнения...

— Да вы с ними уже знакомы, Раух,— сказал Больц.

Я в недоумении уставился на него.

— Вы провели с ними вчера весь день и сегодня всю ночь.

Я вспомнил палату с людьми, бредившими импульсами и кодами.

— И вы хотите меня уверить, что эти сумасшедшие и есть гениальные математики, решившие мои максвелловские уравнения? — Не дожидаясь ответа, я расхохотался.

— Тем не менее это они и есть. Вашу последнюю задачу решил некий Дейнис. Кажется, он вчера вечером преподавал вам урок нейрокибернетики.

Подумав немного, я произнес:

— В таком случае я отказываюсь что-нибудь понимать. Может быть, вы мне разъясните.

— Охотно, Раух. Но только после того, как вы прочтете вот это.— И Больц протянул мне свежую газету.

Я медленно развернул ее и вдруг вскочил со стула. С первой страницы на меня смотрело... мое собственное лицо, заключенное в черную рамку. Под моим портретом значился огромный заголовок: «Трагическая гибель профессора физики доктора Рауха».

— Что это значит, Больц? Что это за комедия?! — воскликнул я.

— Пожалуйста, успокойтесь. Все очень просто. Вчера вечером, когда вы возвращались с прогулки на озеро и проходили по мосту через реку, на вас напали два бежавших из «Приюта мудрецов» сумасшедших, убили вас, обезобразили ваш труп и выбросили в реку. Сегодня утром вас нашли у плотины. Ваша одежда, ваши вещи и документы подтвердили, что найденный — это вы. Сегодня полиция наводила справки в «Приюте», и все обстоятельства вашей трагической гибели разъяснились.

Я обратил внимание на свою одежду, потрогал кар-

маны и только сейчас убедился, что костюм на мне был чужой, а мои вещи и документы из карманов исчезли.

— Но ведь это же наглая ложь, обман, подлость и...

— Да, да, да. Я с вами вполне согласен. Но что делать, Раух, что делать? Фирма Крафтштудта без вас может потерпеть серьезное поражение, если хотите — крах. Мы получили такую уйму заказов. Все они военного характера и большой стоимости. Нужно считать, считать и считать. После решения первых задач для военного министерства нас буквально завалили математическими расчетами.

— И вы хотите, чтобы я тоже стал как ваш Дейнис и другие?

— Нет. Конечно, нет, Раух.

— Так зачем вы все это придумали?

— Вы нам нужны как преподаватель математики.

— Преподаватель?

Я снова вскочил. Больц закурил сигарету и кивнул мне в сторону стула. Я сел, ничего не соображая.

— Нам нужны математические кадры, профессор Раух. Без них мы сядем на мель.

Я молча уставился на Больца, который мне теперь уже не казался таким симпатичным, как прежде. В его светлом и ничем не примечательном лице я начал замечать какие-то тонкие звериные черточки, едва уловимые, но постепенно доминировавшие над тем, что делало его физиономию ясной и открытой с первого взгляда.

— Ну, а если я откажусь? — спросил я.

— Это будет очень плохо. Боюсь, тогда вам придется стать одним из наших... вычислителей.

— А разве это так уж плохо? — спросил я.

— Да, — ответил Больц твердо и встал. — Это означало бы, что вы окончите свое существование в «Приюте мудрецов».

Пройдясь несколько раз по комнате, Больц заговорил тоном лектора:

— Расчетные способности человеческого мозга в сотни тысяч раз больше, чем у электронной счетно-решающей машины. Миллиард математических клеток коры головного мозга плюс весь вспомогательный аппарат — память, линии задержки, логика, интуиция и так далее — все это ставит человеческий мозг в выдающееся положение по сравнению с любой, даже са-

мой совершенной машиной. Однако у машины есть одно существенное преимущество.

— Какое? — спросил я, не понимая, к чему он клонит.

— Если у электронной машины выйдет из строя, скажем, одна триггерная ячейка или даже целый регистр, вы можете поменять лампы, заменить сопротивления или емкости, и машина снова заработает. А вот если в голове вылетит одна или группа клеток, выполняющих вычислительные функции, заменить их, увы, нельзя. К сожалению, мы вынуждены заставлять мозговые триггеры работать очень интенсивно, и поэтому, если так можно выразиться, скорость их срабатывания заметно увеличивается. Живой вычислительный аппарат очень быстро изнашивается, и...

— И что тогда?

— Тогда вычислитель попадает в «Приют».

— Но ведь это же бесчеловечно! Это преступление! — закричал я.

Большой остановился передо мной, положил руку на мое плечо и, широко улыбаясь, произнес:

— Раух, здесь вы должны забыть все эти слова и понятия. Если вы их не забудете сами, мы вытравим их из вашей памяти.

— Этого вам никогда не удастся сделать! — закричал я, отшвыривая его руку.

— Плохо вы усвоили лекцию Дейниса. А зря. Он говорил дело. Кстати, вы знаете, что такое память?

— Какое это имеет отношение к нашему разговору? Какого черта все вы здесь кривляетесь? Зачем вы...

— Память, профессор Раух, — это длительное существование возбуждения в группе нейронов благодаря положительной обратной связи. Электрохимическое возбуждение, которое циркулирует у вас в голове по данной группе клеток в течение длительного периода, и есть память. Вы физик, интересующийся электромагнитными процессами в сложных средах, и вы не понимаете, что путем наложения на вашу голову подходящего электромагнитного поля мы можем приостановить циркуляцию возбуждения в любой группе клеток! Ведь нет ничего более простого! Мы можем заставить вас не только забыть все то, что вы знаете, но и вспомнить то, чего вы никогда не знали. Однако не в наших интересах прибегать к таким... э... искусственным

приемам. Мы надеемся на ваше благоразумие. Фирма будет платить вам солидную долю своих дивидендов.

— Что я должен делать? — спросил я.

— Я уже сказал: преподавать математику. Из числа безработных, которых, к счастью, в нашей стране всегда в избытке, мы набираем классы в двадцать—тридцать человек, наиболее способных к математике. Затем мы их обучаем высшей математике в течение двух-трех месяцев...

— Это невозможно, — заявил я, — это абсолютно невозможно. За такой короткий срок...

— Это возможно, Раух. Имейте в виду, что вы будете иметь перед собой весьма понятливую аудиторию, с хорошим соображением и чудесной математической памятью. Об этом мы позаботимся. Это в наших силах...

— Тоже искусственно? При помощи импульсного генератора? — спросил я.

Больш кивнул головой.

— Итак, соглашаетесь?

Я крепко сжал веки и задумался. Значит, Дейнис и все его друзья по палате нормальные люди и все то, что они вчера мне говорили, правда. Значит, эта компания действительно научилась командовать человеческими мыслями, волей и чувствами при помощи электромагнитных импульсных полей, для того чтобы наживать себе капитал. Я чувствовал, что Больш смотрит на меня внимательно, и я должен был немедленно принять решение. Это было чудовищно трудно. Если я соглашусь, значит, мне придется обучать людей математике для того, чтобы затем их искусственным путем заставляли форсированно расходовать свои умственные способности до полного их истощения, до полного износа живого вещества мозга, после чего они навсегда уйдут в «Приют». Если я откажусь, это же произойдет со мной.

— Итак, вы соглашаетесь? — повторил Больш, тронув меня за плечо.

— Нет, — решительно заявил я. — Нет. Я не могу быть соучастником в этом отвратительном деле.

— Как хотите, — вздохнул он. — Очень сожалею.

Через минуту он деловито встал из-за стола, подошел к двери, приоткрыв ее, крикнул:

— Эйдер, Шранк, зайдите сюда!

— Что вы собираетесь со мной делать? — спросил я, вставая.

— Для начала мы снимем импульсно-кодовый спектр вашей нервной системы.

— То есть?

— То есть составим карточку, в которую будут записаны форма, интенсивность и частота импульсов, ответственных за каждое ваше душевное и интеллектуальное состояние.

— Но я не позволю. Я буду протестовать. Я...

— Проводите профессора в испытательную лабораторию, — безразличным голосом произнес Болыц и отвернулся от меня к окну.

VII

Вступая в пределы испытательной лаборатории фирмы Крафтштудта, я пришел к решению, которому суждено было в конце концов сыграть выдающуюся роль во всей этой гнусной истории. Я рассуждал так. Сейчас со мной будут делать нечто такое, что даст в руки Кафтштудту и его банде сведения о моем внутреннем духовном мире. Они будут пытаться установить, какими формами электромагнитного воздействия на мою нервную систему можно во мне вызвать те или иные эмоции, переживания и ощущения. Если это им удастся, тогда я буду окончательно в их власти. Если же нет, то я смогу сохранить за собой какую-то долю своей самостоятельности, которой они управлять не смогут. Это мне может в дальнейшем очень понадобиться. Следовательно, я должен буду изо всех сил стараться спутать карты этих ультраученых бандитов, обманывая их, насколько это будет в моих силах. А это, должно быть, в какой-то степени возможно. Ведь недаром вчера в палате я слышал, как один из рабов Крафтштудта заявил, что импульсно-кодовая характеристика человека индивидуальна, за исключением математического мышления.

Меня ввели в большую комнату. Она, однако, казалась очень тесной из-за громоздких приборов, заполнявших ее. Комната напоминала управление небольшой электростанции. В центре располагался пульт с приборными досками и шкалами. Слева, за металлической сеткой, находился большой трансформатор, и на фарфоровых панелях тлело красноватым светом

несколько генераторных ламп. На металлической сетке, экранирующей генератор, были укреплены вольтметр и амперметр. По их показаниям, по-видимому, определялась мощность, отдаваемая генератором. В самом центре возвышалась цилиндрическая кабина, состоявшая из двух металлических частей — верхней и нижней, соединенных средней частью из прозрачного изолирующего материала.

Двое моих провожатых подвели меня к кабине. Из-за пульта управления встали два человека. Один из них был тот самый доктор, который провожал меня к Крафтштудту и который дал мне наркоз. Второй — неизвестный мне сутулый старичок с гладко зализанными редкими волосами на желтом черепе.

— Нужно снять спектр,— сказал один из провожатых.

— Не уговорили,— произнес доктор грубо.— Я так и знал. Я сразу определил, что Раух относится к типу сильных натур. Нужно было этого ожидать. Вы плохо кончите, Раух,— сказал он, обращаясь ко мне.

— Вы тоже,— ответил я.

— Ну, это еще неизвестно, а вот в отношении вас — точно.

Я пожал плечами.

— Вы проделаете всю процедуру добровольно или вас придется к этому принуждать? — спросил он, окидывая меня наглым взглядом.

— Добровольно. Мне, как физику, это даже интересно.

— Прекрасно. В таком случае, снимите ботинки и разденьтесь до пояса. Прежде всего я должен вас осмотреть, выслушать, измерить кровяное давление.

Я разделся. Первая часть «снятия спектра» представляла собой обычный врачебный осмотр: «дышите, не дышите» и так далее. Я знал, что все это ничего не расскажет им о моем душевном состоянии.

Когда осмотр окончился, доктор заявил:

— Входите в кабину. Здесь у вас микрофон. Отвечайте на все мои вопросы. Предупреждаю вас: при одной из частот вы почувствуете нестерпимую боль. Но это мгновенно пройдет, как только вы закричите.

Голыми ногами я стал на фарфоровый пол кабины, и она бесшумно задвинулась. Над головой загорелась электрическая лампочка. Загудел генератор. Он работал

в очень низкочастотном импульсном режиме. Напряженность поля, по-видимому, стала очень высокой. Я это чувствовал по медленным приливам и отливам тепла во всем моем теле. В суставах с каждым электромагнитным импульсом как-то странно пощипывало. Мускулы в такт с импульсами то напрягались, то ослабевали. Сжимались не только мускулы у самой поверхности кожи, но и в глубине тела.

Генератор заработал еще более интенсивно, а частота теплых волн увеличилась.

«Начинается,— подумал я.— Только бы устоять!»

При частоте в восемь герц мне захочется спать. Неужели моя воля не сможет воспротивиться этому воздействию? Неужели я не смогу обмануть этих «исследователей» в первом пункте их «спектра»? Частота увеличивалась медленно. Мысленно про себя я считал количество теплых наплывов в секунду. Вот их уже один в секунду, два, три, четыре... больше, еще больше. На меня начала наваливаться сонливость, но я сжал зубы, стараясь не уснуть. Сон надвигался, как тяжелая липкая глыба, все члены отяжелели, глаза закрывались. Казалось, вот-вот я упаду. Я изо всех сил прикусил язык, стараясь болью отогнать тяжелое чувство сонливости. В это время, как издавека, я услышал чей-то голос:

— Раух, как вы себя чувствуете?

— Благодарю, хорошо. Немного прохладно,— солгал я. Мой голос показался мне самому незнакомым. Из всех сил я продолжал кусать язык и губы.

— Вам спать не хочется?

— Нет,— ответил я и про себя подумал: «Еще минута, и я усну...»

И вдруг сонливость точно рукой сняло. Частота импульсов, видимо, увеличилась, перейдя через первый критический барьер. Я вдруг почувствовал себя свежим и бодрым, как это бывает после того, как хорошо выспишься. «Теперь нужно заснуть»,— решил я и, закрыв глаза, громко засопел. Я слышал, как доктор говорил своему сообщнику:

— Станный случай. Вместо восьми с половиной герц сон наступает при десяти. Пфафф, запишите эти данные,— сказал он старику.— Раух, ваше самочувствие?

Я молчал, продолжая громко сопеть, расслабив все мускулы и упершись коленями в стенку кабины.

— Пошли дальше,— наконец произнес доктор.— Увеличьте частоту, Пфафф.

Через секунду я «проснулся». В частотной полосе, которую я сейчас проходил, мне пришлось испытать сложную гамму самых различных ощущений и смен настроений. Мне становилось то грустно, то весело, то радостно, то тоскливо.

«Теперь пора кричать»,— почему-то решил я.

В тот момент, когда генератор взревел сильнее, я завопил что было мочи. Не помню, какой частоте это соответствовало, но только, услышав мой крик, доктор громко скомандовал:

— Убрать напряжение! Первый раз встречаюсь с таким сумасшедшим. Запишите. Боль при семидесяти пяти герцах, когда у нормальных людей бывает при ста тридцати. Пошли дальше.

«Через частоту сто тридцать мне еще придется пройти... Только бы вытерпеть это...»

— Теперь, Пфафф, проверьте его на девяносто третьей.

Когда была установлена эта частота, со мной случилось нечто совершенно неожиданное. Я вдруг вспомнил уравнения, которые я передавал для решения Крафтштудту, и с изумительной ясностью представил себе весь ход их решения. «Это и есть частота, стимулирующая математическое мышление»,— пронеслось в голове.

— Раух, назовите мне первые пять членов функции Бесселя второго ряда,— услышал я приказание доктора.

Я выпалил ответ, как из пулемета. Ясность в голове была кристальной. Тело наполнилось чудесным, радостным чувством того, что ты все знаешь и все помнишь.

— Назовите первые десять знаков числа «пи» после запятой.

Я ответил и на этот вопрос.

— Решите кубическое уравнение.

Доктор продиктовал уравнение с неуклюжими дробными коэффициентами.

Ответ я нашел за две-три секунды, назвав все три корня.

— Пошли дальше. Здесь у него как и у всех нормальных людей.

Частота медленно повышалась. В один из моментов я вдруг захотел плакать. К горлу подкатил горький комок, слезы потекли из глаз. И тогда я расхохотался.

Я хохотал изо всех сил, как будто бы меня щекотали. Я смеялся, а слезы все текли и текли...

— Опять идиотский случай... Не как у всех. Я сразу определил, что это сильный нервный тип со склонностью к неврозам. Когда же он заревет?

«Заревел» я тогда, когда плакать мне вовсе не хотелось. На душе вдруг стало радостно и безоблачно, как при легком опьянении. Хотелось петь песни и смеяться. Хотелось прыгать от радости. Все — и Крафтштудт, и Больц, и Дейнис, и доктор — казались хорошими, добродушными людьми. И вот в этот момент усилием воли я заставил себя всхлипывать и громко сморкаться. Рыдал я отвратительно, но достаточно убедительно, чтобы вызвать очередные комментарии доктора:

— Все наоборот. Нет ничего похожего на нормальный спектр. С этим нам придется повозиться.

«Скоро ли будет частота сто тридцать?» — с ужасом подумал я, когда радостное и беззаботное настроение снова сменилось состоянием безотчетного беспокойства, волнения, ощущением того, что вот-вот должно что-то произойти, что-то неизбежное и страшное... В это время я замурлыкал про себя какую-то песню. Делал я это механически, не думая, а сердце билось все сильнее и сильнее, в предчувствии страшной, роковой неизбежности.

Когда частота генератора приблизилась к той, которая вызывает возбуждение болевых ощущений, я это почувствовал сразу. Вначале сильно заныли суставы большого пальца правой руки, затем я почувствовал острую резь в ране, которую получил на фронте. Через секунду мучительная, острая и колющая боль распространилась по всему телу. Она проникала в глаза, зубы, в мускулы, наконец, в мозг. Кровь бешено застучала в ушах. Неужели не выдержу? Неужели не хватит воли совладать с этой кошмарной болью и не показать, что я чувствую? Ведь существовали же люди, которые умирали под пытками, не издав ни единого стога. История знает героев, которые молча умирали на кострах...

А боль все нарастала и нарастала. Наконец она достигла своего апогея; казалось, весь организм превратился в один сплошной клубок раздираемых на клочки нервов. Перед глазами поплыли фиолетовые кольца, я почти терял сознание, но молчал.

— Ваши ощущения, Раух? — опять, как из-под земли, услышал я голос доктора.

— Дикое ощущение злобы,— процедил я сквозь зубы,— если бы вы мне сейчас попались...

— Пошли дальше. Он совершенно ненормальный человек. У него все наоборот,— повторил свое заключение доктор.

Когда я уже терял сознание, когда готов был закричать, застонать, боль внезапно исчезла. Все тело покрылось холодным липким потом. Мускулы дрожали.

В дальнейшем при какой-то частоте я вдруг увидел несуществующий ослепительно яркий свет, который не исчез и тогда, когда я крепко зажмурил глаза, затем я пережил ощущение волчьего голода, потом услышал сложную гамму оглушительных звуков, потом стало холодно, как будто бы меня совершенно раздетым вывели на мороз.

Я предвидел, что все эти ощущения я должен буду перенести, и поэтому на все вопросы доктора отвечал невпопад, чем вызывал бурные комментарии с его стороны.

Я знал, что мне предстояло испытать еще одно страшное ощущение, о чем я вчера слышал в палате. Это ощущение потери воли. Именно воля до настоящего момента меня спасала. Она, эта незримая сила души, помогала мне бороться со всеми теми чувствами, которые искусственным путем вызывали во мне мои мучители. Но ведь они при помощи своего адского импульсного генератора доберутся и до нее. Как они устанут, что она у меня потеряна? Я ждал этого момента с волнением. И он наступил.

Как-то внезапно я почувствовал, что мне все безразлично. Безразлично, что я нахожусь в лапах шайки Крафтштудта, безразличны все окружающие его люди, безразличен я сам. Голова стала совершенно пустой. Все мышцы расслабились. Ощущения исчезли. Это было состояние полного физического и душевного опустошения. Ничто не радовало, ничто не волновало. Я не мог заставить себя ни о чем думать, трудно было заставить себя поднять руку, пошевелить ногой, повернуть голову. Это было какое-то ужасающее безволие, при котором с человеком можно делать все, что угодно.

И тем не менее где-то в самом затаенном уголке сознания теплилась крохотная искорка мысли, которая настойчиво мне говорила: «Нужно... Нужно... Нужно...»

«Что нужно? Зачем? Для чего?» — возражало все мое существо. «Нужно... Нужно... Нужно...» — твердила, как мне казалось, единственная клеточка моего сознания, которая каким-то чудом оказывалась недостижимой для этих всемогущих электромагнитных импульсов, творивших с моими нервами все, что хотели палачи из компании Крафтштудта.

Впоследствии, когда я узнал о существовании теории центрэнцефалической системы мышления, согласно которой само мышление, все клетки коры головного мозга в свою очередь глубоко централизованны и в своей деятельности подчиняются одной, центральной, управляющей группе клеток, я понял, что эта верховная психическая власть остается не подверженной даже самым сильным физическим и химическим воздействиям извне. Именно она, по-видимому, меня и спасла. Потому что, когда доктор мне вдруг приказал: «Вы будете сотрудничать с Крафтштудтом», я ответил:

— Нет.

— Вы будете делать все, что вам прикажут.

— Нет.

— Ударьтесь головой о стенку.

— Нет.

— Пошли дальше. Заметьте, Пфафф, он ненормальный тип. Но мы доберемся и до него.

Я симулировал потерю воли при той частоте, когда у меня в действительности появилось ощущение огромной силы воли, когда я почувствовал, что могу совершить любое деяние, могу заставить себя сделать все, что угодно. В это время я был переполнен душевными силами, которые могли мобилизовать меня на самые отважные поступки. Проверая мои отклонения от «нормального» спектра, доктор остановился и на этой частоте.

— Если ради счастья людей вам понадобится отдать жизнь, вы сделаете это?

— Зачем? — спросил я вялым голосом.

— Вы можете совершить самоубийство?

— Могу.

— Вы хотели бы убить военного преступника, оберштурмфюрера Крафтштудта?

— Зачем?

— Вы будете сотрудничать с нами?

— Буду.

— Черт знает что такое! С таким случаем я встре-

чаюсь, наверно, в первый и последний раз. При частоте сто семьдесят пять — потеря воли. Запишите. Пошли дальше.

Это «дальше» продолжалось еще около получаса. После этого частотный спектр моей нервной системы был составлен. Теперь доктор «знал» все частоты, при помощи которых у меня можно было вызвать любое ощущение и духовное состояние. Во всяком случае, он думал, что знал. В действительности истинной была только та частота, которая стимулировала мои математические способности. Но это было и мне крайне необходимо. Дело в том, что я задумал план, как сделать так, чтобы преступная фирма Крафтштудта взлетела на воздух. В выполнении этого плана математике предстояло сыграть не последнюю роль.

VIII

Известно, что гипнозу и внушению лучше всего поддаются слабовольные люди. Именно это обстоятельство использовал персонал вычислительного центра Крафтштудта: они им пользовались для «воспитания» своих вычислителей в духе покорности и благоговейного страха перед их «учителем».

Прежде чем засадить за работу, меня должны были воспитать. К этому они не могли приступить сразу из-за моего «ненормального» спектра. Ко мне требовался индивидуальный подход.

Пока для меня где-то готовилось специальное рабочее место, я пользовался относительной свободой перемещения. Мне было разрешено выходить из жилой палаты в коридор и заглядывать в классы, где учились и работали мои товарищи.

Я не мог принимать участие в коллективных молитвах между стенками огромного алюминиевого конденсатора, где все жертвы Крафтштудта каждое утро в течение тридцати минут воздавали хвалу главе фирмы. Они, лишенные воли и соображения, уныло повторяли слова, которые кто-то читал им по радио.

— Радость и счастье жизни — в познании себя, — говорил голос из радиорепродуктора.

— Радость и счастье жизни — в познании себя, — хором повторяли двенадцать склонившихся на колени

мужчин, чья воля была убита переменным электрическим полем, циркулирующим между стенками.

— Постигая тайны циркуляции импульсов по петлям нервных волокон, мы познаем счастье и радость.

— ...счастье и радость,— повторял хор.

— Как чудесно, что все так просто! Какое наслаждение сознать, что любовь, страх, боль, ненависть, голод, тоска, веселье — это только движение электрохимических импульсов в нашем теле!

— ...в нашем теле...

— Как свободно и легко ты себя чувствуешь, зная, что такое чувствовать!

— ...чувствовать...

— Как жалок тот человек, который не знает этой великой истины!

— ...великой истины...— повторяли уныло безвольные рабы.

— Наш учитель и спаситель господин Крафтштудт подарил нам это счастье!

— ...счастье...

— Он дал нам жизнь.

— Он дал нам жизнь.

— От открыл нам простую истину о самих себе. Пусть вечно здравствует наш учитель и спаситель!

Я слушал эту дикую молитву, заглядывая через стеклянную дверь класса.

Вялые, расслабленные люди с полузакрытыми глазами тупо повторяли бредовые сентенции. Электрический генератор, находившийся в десяти шагах от них, насильно вталкивал в лишенное сопротивления сознание покорность и страх. В этом было что-то нечеловеческое, гадкое до предела, скотское и одновременно утонченно-жестокое. Глядя на жалкую толпу человеческих существ с отнятой волей, невольно представляешь себе отравленных алкоголем или наркотиками людей. Химические яды, протискиваясь с кровью между клетками головного мозга, убивают одни и уродуют другие, и человек перестает быть человеком, теряет свое достоинство и величие, превращается в животное.

Здесь, между двумя сияющими алюминиевыми стенками, роль яда выполняли незримые электромагнитные волны, которые проникали в самые затаенные клетки организма, заставляли угасать одни и стимулировали работу других, тех, которые были необходимы палачам...

После молитвы двенадцать жертв переходили в просторный зал, вдоль стен которого стояли письменные столы. Над каждым столом с потолка свешивалась круглая алюминиевая пластина, служившая частью гигантского конденсатора. Вторая пластина, по-видимому, находилась в полу.

Этот зал с висящими над столами алюминиевыми зонтиками чем-то напоминал кафе на открытом воздухе. Однако при виде людей, сидящих под зонтиками, это идилическое впечатление моментально исчезало.

Каждый из них находил на своем столе лист бумаги с условиями задачи, которую нужно было решить. Вначале вычислители бессмысленно смотрели на выписанные формулы и уравнения. В это время они еще находились под действием частоты, лишившей их воли. Но вот включалась частота девяносто три герца, и голос по радио приказывал:

— Теперь начинайте работу!

И все двенадцать человек, схватив блокноты и карандаши, начинали лихорадочно писать. Это нельзя было назвать работой. Это походило на какое-то исступление, на математическую истерику, на патологический приступ математической лихорадки. Люди извивались и корчились над блокнотами. Их руки носились по строкам так, что невозможно было уследить за тем, что они пишут. От напряжения их лица становились багровыми, глаза вылезали из орбит.

Так продолжалось около часа. Затем, когда движения их рук становились угловатыми и порывистыми, когда головы начинали почти касаться стола, и на вытянутых шеях вздувались фиолетовые вены, генератор переключался на частоту восемь герц. Все моментально засыпали.

Крафтштудт заботился об отдыхе своих рабов!

Затем все начиналось сначала.

Наблюдая эту страшную картину математического исступления, я был свидетелем того, как один из вычислителей не выдержал...

Следя за ним сквозь стеклянное окно, я вдруг заметил, что он перестал писать. Он странно повернулся в сторону своего лихорадочно работавшего соседа и несколько секунд бессмысленно смотрел на него, как бы силясь что-то вспомнить. Казалось, будто он забыл что-то очень необходимое для дальнейшего решения задачи.

Затем он закричал страшным гортанным голосом и стал рвать на себе одежду, бился головой об угол письменного стола... Потом он лишился сознания и упал на пол.

Остальные вычислители не обращали на него никакого внимания, продолжая лихорадочно скрипеть перьями.

При виде этого я пришел в такую ярость, что стал колотить кулаком в запертую дверь. Мне хотелось крикнуть несчастным, чтобы они бросили свою работу, вырвались из этого проклятого помещения, взбунтовались и уничтожили своих мучителей...

— Не стоит нервничать, господин Раух, — услышал я спокойный голос рядом с собой. Это был Больц.

— Вы палачи! Что вы делаете с людьми! Какое право вы имеете так издеваться над ними?

Он улыбнулся своей мягкой интеллигентной улыбкой и сказал:

— Вы помните миф об Ахиллесе? Боги предложили ему сделать выбор между жизнью долгой, но спокойной, и короткой, но бурной. Он выбрал последнюю. Эти люди тоже.

— Они не делали никакого выбора. Это вы с помощью вашего импульсного генератора заставляете их расточать свою жизнь и очертя голову мчаться к самоуничтожению во имя ваших прибылей!

Больц расхохотался:

— А разве вы не слышали от них самих, что они счастливы? И они действительно счастливы. Смотрите, в каком самозабвении они работают. Разве счастье не в творческом труде?

— Мне противны ваши рассуждения! Общеизвестно, что существует естественный темп жизни человека, и всякие попытки его ускорить являются преступными.

Больц опять засмеялся.

— Вы нелогичны, профессор. Раньше люди ходили пешком и ездили на лошадях, теперь они летают на реактивных самолетах. Раньше новости передавались из уст в уста, от человека к человеку, годами ползли по миру, а теперь люди мгновенно все узнают по радио и по телефону. Это примеры того, как современная цивилизация ускоряет темп жизни. И вы не считаете это преступлением. А кино, а печать, а сотни искусственных удовольствий и наслаждений — разве это не ускорение темпа жизни? Так почему же искусствен-

ное ускорение функций живого организма вы считаете преступлением? Я уверен, что эти люди, живя естественной жизнью, не сделали бы и миллионной доли того, что они делают сейчас. А смысл всей жизни, как известно, состоит в творческом труде на благо человека. Вы в этом сами убедитесь, когда примкнете к ним. Скоро и вы поймете, в чем радость и счастье. Дня через два. Для вас готовят специальное помещение. Вы там будете работать один, так как вы, извините, несколько отличаетесь от нормальных людей.

Большой фамильярно похлопал меня по плечу и оставил одного размышлять над его бесчеловечной философией.

IX

В соответствии со «спектром» меня начали «воспитывать» при той частоте, когда моя воля могла мобилизовать меня на любой, самый безрассудный подвиг. Поэтому мне ничего не стоило совершить и такой героизм, как симулировать потерю воли. Я бездумно стоял на коленях и уныло повторял за радиорепродуктором молитвенную белиберду, прославлявшую Крафтштудта. Кроме молитвы, мне, как новичку, внушали некоторые истины из нейрокибернетики. Нелепый смысл этого учения заключался в том, что мне надлежало запомнить, каким частотам импульсов соответствуют те или иные чувства человека. В моих планах на будущее решающее значение принадлежало частоте, которая стимулирует математические способности, и еще одной, которая, к моему счастью, оказалась близкой к девяносто трем герцам.

Воспитание продолжалось неделю, и, когда я стал выглядеть достаточно покорным, меня засадили за работу. Первая задача, которую мне дали решить, заключалась в анализе возможности сбивать в пространстве над землей межконтинентальные ракеты.

Весь расчет я выполнил за два часа. Результат был не утешительным: сбить межконтинентальную ракету невозможно.

Вторая задача, тоже военного характера, касалась расчета нейтронных пучков, необходимых для подрыва атомных бомб противника. Здесь тоже ответ получился грустным. Нейтронная пушка должна весить несколько

тысяч тонн. С ней к складам атомных бомб противника не подобрешься!

Я решил эти задачи действительно с огромным наслаждением и, верно, со стороны выглядел таким же одержимым, как и все остальные, с той лишь разницей, что генератор, вместо того чтобы сделать меня безвольной тряпкой, наоборот, вселил в меня бодрость и энтузиазм. Радостное чувство бодрости и веры в собственные силы не покидало меня и во время отдыха. Я делал вид, что сплю, а сам обдумывал свои планы возмездия.

Когда я закончил с задачами военного министерства, я принялся в уме (чтобы никто не знал) решать самую главную для меня математическую задачу: как взорвать вычислительный центр Крафтштудта изнутри.

«Взорвать» — это, конечно, фигуральное выражение. Ни динамита, ни тротила у меня не было, и достать его, находясь в каменном мешке «Приюта мудрецов», было невозможно. Я задумал нечто совсем другое.

Если импульсный генератор господина Пфаффа может вызвать в человеке любые чувства и эмоции, почему бы им не воспользоваться для того, чтобы воскресить в сознании несчастных жертв гитлеровцев чувство справедливого гнева и бунтарства? Если бы это можно было сделать, то эти люди сами смогли бы за себя постоять и расправиться с шайкой ультрасовременных бандитов. Но как это сделать? Как заменить частоту, стимулирующую математическую работу, на частоту, возбуждающую в человеке чувство ненависти, гнева, ярости?

Работой генератора руководил его создатель, престарелый доктор Пфафф. Я видел этого старика в тот день, когда снимали спектр моей нервной системы. По-видимому, это был один из инженеров-фанатиков, который наслаждается извращенным творением своего интеллекта. Издевательство над человеческим достоинством являлось целью его инженерного мышления. Меньше всего я надеялся на помощь господина Пфаффа.

В мои расчеты он вовсе не входил. Генератор должен был заработать на нужной мне частоте без его помощи и помимо его желания. Когда я додумался до этого, я еще раз убедился, какая великая наука — теоретическая физика! Опираясь формулами и уравнениями, она не только предсказывает течение различных

физических явлений в природе, но и позволяет спасать человеческие жизни...

Действительно, импульсный генератор господина Пфаффа, какую бы схему он ни имел, излучал определенную мощность электроэнергии. Известно: если импульсный генератор перегружен, то есть если у него отобрать мощность, большую проектной, то его частота начинает вначале медленно, а потом резко падать. Значит, если к нему подключить дополнительную нагрузку в виде омического сопротивления, можно заставить его работать не на той частоте, которая указана на шкале, а на более низкой.

Математические способности вычислительной фирмы Крафтштудта эксплуатировались на частоте девяносто три герца. Чувство гнева и ярости возникает у людей в том случае, если их подвергнуть воздействию переменного поля с частотой восемьдесят пять герц. Значит, нужно как-то погасить восемь герц. Нужно рассчитать для этого дополнительную нагрузку на генератор.

Когда я был в испытательной лаборатории, я заметил показания вольтметра и амперметра на генераторе. Произведение этих величин дало мне мощность. Теперь оставалось решить математическую задачу о дополнительной нагрузке...

Я мысленно представил себе схему включения в генератор всех гигантских конденсаторов, в которых сидели несчастные люди. В уме для данной конфигурации конденсаторов я решил уравнение Максвелла и вычислял значения электрической и магнитной напряженностей поля. Я ввел в эти величины поправку на энергию, которую поглощают находящиеся в конденсаторах люди, и таким образом установил значение той мощности, которая расходуется генератором на подстегивание умственных способностей вычислителей.

Оказалось, что у господина Пфаффа оставался запас мощности всего в полтора ватта!

Этих данных мне было достаточно, чтобы решить вопрос о том, как частоту в девяносто три герца превратить в восемьдесят пять.

Для этого оказалось необходимым заземлить одну из пластин конденсатора через сопротивление в тысяча триста пятьдесят ом.

Свои уравнения Максвелла я решил в уме за сорок

минут, и, когда получил результат, от радости мне захотелось кричать.

Но где достать кусок проволоки с таким сопротивлением? Это сопротивление должно быть подобрано очень точно, ибо, если оно будет другим, частота изменится не так, как нужно, и ожидаемого эффекта не будет.

Ломая голову над этой практической проблемой, от решения которой зависела судьба всего моего плана, я готов был разбить свою голову о стол, как тот вычислитель, которого я недавно видел. Я лихорадочно перебирал в своем мозгу всякие возможности изготовить сопротивление заданной величины и с достаточно высокой точностью, но ничего не мог придумать. Сознание бессилия перед решением задачи приводило меня в крайнее отчаяние, хотя мне все время казалось, что решение находится где-то очень близко.

И когда я сжимал голову руками и готов был завывать нечеловеческим голосом, мой взгляд вдруг упал на черный бокал из пластмассы, стоявший на краю письменного стола. В бокале находились карандаши. Там было десять карандашей, все разной окраски и все различного назначения. Я не думая схватил первый попавшийся и, повертев его перед глазами, прочел, что это карандаш «2В». Это означало, что он очень мягкий. Грифель мягкого карандаша содержит большое количество графита, хорошо проводящего электричество. Затем я нашел карандаш «3В», «5В», и потом пошли карандаши серии «Н» — твердые, специально для черчения под копирку. Я перебирал в руках карандаши, и мой мозг работал лихорадочно. И вдруг неведомо откуда я вспомнил удельное сопротивление карандашных грифелей: «Карандаш «5Н» имеет сопротивление грифеля две тысячи ом». Через секунду я держал в своих руках карандаш «5Н». Решение моих уравнений Максвелла было найдено не только математически, но и на практике. В своих руках я держал кусок грифеля, втиснутого в деревянную оправу, при помощи которого я собирался разделаться с шайкой фашиствующих варваров.

Как это странно! Какие удивительные открытия делает математическая наука! Вначале была длинная цепь наблюдений, рассуждений, анализов, затем снова наблюдения — над реальной обстановкой, затем отвлеченные вычисления, решение уравнений, выведенных ве-

ликим Максвеллом в прошлом столетии, и в результате — точный математический расчет, который показал, что для уничтожения фирмы Крафтштудта необходимо... карандаш «5Н»! Разве не удивительная наука — теоретическая физика?!

Я сжал в руке карандаш как величайшую драгоценность, осторожно, почти с нежностью, спрятал его в карман и принялся обдумывать, как достать два куска провода, чтобы один присоединить к пластине конденсатора, второй — к отопительной батарее в углу комнаты, а между ними закрепить грифель карандаша.

Об этом я думал не более одной минуты. Я вспомнил настольную электрическую лампу в палате, где жил вместе со всеми вычислителями. Шнур в лампе был гибким и, следовательно, многожильным. Его можно срезать и распустить на отдельные жилы. Длина шнура около полутора метров. Значит, из него можно получить более десяти метров тонкой проволоки. Этого для меня было вполне достаточно.

Свои расчеты я закончил в тот момент, когда голос из радиорепродуктора возвестил, что нам, то есть мне и всем «нормальным» вычислителям, пора идти обедать.

Я бодро покинул свою одиночную камеру и направился в палату. Проходя по коридору, я обернулся и увидел, с каким недовольством доктор рассматривает листки с решениями моих задач. Ему не очень понравилось, что нельзя сбить межконтинентальную ракету и нельзя создать нейтронную пушку для подрыва атомных бомб противника.

Он, конечно, не подозревал, что можно сделать при помощи грифеля чертежного карандаша «5Н».

Х

В палате, где мы жили, настольной лампой никто не пользовался. Она стояла в углу комнаты на высокой тумбочке, пыльная, засиженная мухами, со шнуром, обернутым вокруг стойки.

Рано утром, когда, в соответствии с распорядком дня, все пошли умываться, я столовым ножом срезал с лампы шнур и спрятал его в карман. Во время завтрака я положил нож в карман и, когда все ушли на молитву, отправился в туалет. За несколько секунд я срезал со шнура изоляцию и оголил десять тонких жил

длиной в полтора метра каждая. Затем я аккуратно расщепил карандаш, извлек из древка грифель и отломил от него три десятых части, так что оставшиеся семь десятых имели нужное мне сопротивление. На концах грифеля я сделал небольшие канавки и обмотал вокруг тонкую проволоку. Сопротивление было готово. Теперь оставалось только подключить его между пластиной конденсатора и землей.

Это нужно было сделать во время работы, в самое удобное в тактическом отношении время.

Вычислители работали по восемь часов в день, с перерывами по десять минут после каждого часа работы. После обеденного перерыва, в час дня, как правило, зал, где работали вычислители, навещали все совладельцы фирмы Крафтштудта. В это время глава фирмы с нескрываемым удовольствием смотрел, как извиваются и корчатся над математическими задачами его жертвы. Это был очень важный момент, и я решил, что именно в это время необходимо включить в цепь генератора дополнительную нагрузку, чтобы изменить частоту импульсов.

Когда я пришел на свое рабочее место с готовым сопротивлением в кармане, у меня было особенно приподнятое настроение. У входа в мою рабочую комнату я встретил доктора. Он принес листок с новой задачей.

— Эй, лекарь, одну секундочку,— окликнул я его.

Доктор остановился и окинул меня удивленным взглядом.

— Я хочу с вами поговорить.

— Ну,— промычал он недоумевающе.

— Дело вот в чем,— начал я,— во время работы у меня появилась идея вернуться к первоначальному разговору с господином Больцем. Я думаю, что моя горячность сыграла со мной плохую шутку. Я прошу вас передать Больцу, что я согласен быть преподавателем математики для новых пополнений фирмы Крафтштудта.

Доктор пожевал кончик нитки с воротника своего халата, сплюнул и затем заявил с неподдельной откровенностью:

— Честное слово, я рад за тебя! Я этим чудачкам говорил, что с твоим спектром лучше всего работать надзирателем или учителем для всего этого математического дерьма. Нам очень нужен хороший надсмотр-

щик. И ты для этого совершенно идеальный тип. У тебя совершенно другие рабочие частоты. Ты бы мог прямо сидеть среди них и подгонять нерадивых или тех, у которых частота возбуждения математических способностей не попадает в резонанс.

— Конечно, доктор. Но я думаю, что мне все же лучше быть преподавателем математики для новых пополнений. Ей-богу, мне не хочется разбивать свою башку об угол стола, как тот чудак, которого я видел несколько дней назад.

— Толковое решение,— заявил он.— Нужно переговорить с Крафтштудтом. Я думаю, он согласится.

— А когда будет известен результат?

— Я думаю, сегодня, в час дня, когда мы будем совершать обход вычислительного центра и осматривать наше хозяйство.

— Хорошо. С вашего разрешения, я к вам подойду.

Доктор кивнул головой и ушел. У себя на столе я нашел листок бумаги, на котором были выписаны условия для расчета нового импульсного генератора на мощность, превышающую нынешнюю в четыре раза. Отсюда я заключил, что Крафтштудт решил вчетверо увеличить свое дело. Он хотел, чтобы в его центре работало не тринадцать, а пятьдесят два вычислителя. Я с нежностью потрогал карандашный грифель с двумя проволочными концами. Я очень боялся, что он разломится у меня в кармане.

Условия задачи на расчет нового генератора убедили меня в том, что все мои вычисления, касающиеся действующего генератора, были правильными. Это вселило в меня еще большую веру в успех задуманного предприятия, и я с нетерпением ждал часа дня.

Когда часы на стене показывали без пятнадцати час, я вытащил из кармана карандашный грифель с сопротивлением тысяча триста пятьдесят ом и прикрепил проволокой один конец к болту на поверхности алюминиевого «зонтика» над моим столом. Ко второму концу я прикрутил еще несколько кусков проволоки. Общая длина провода была достаточной, чтобы дотянуть его к отопительной батарее в углу комнаты.

Последние минуты тянулись мучительно долго. Когда минутная стрелка часов коснулась цифры 12, а часовая стрелка застыла на цифре 1, я быстро соединил свободный конец провода с батареей и вышел в коридор. Навстречу мне шел Крафтштудт в сопровожде-

нии инженера Пфаффа, Больца и доктора. Завидев меня, они заулыбались. Больц сделал знак, чтобы я приблизился. После этого мы остановились у стеклянной двери зала, где работали вычислители.

Перед окнами зала стояли Пфафф и Крафтштудт, и я не видел, что делалось внутри.

— Вы поступили благоразумно,— шепотом сказал Больц.— Господин Крафтштудт ваше предложение принимает. Можете быть уверены, вы не пожалеете.

— Послушайте, что это такое? — вдруг спросил Крафтштудт, повернувшись к своим спутникам.

Инженер Пфафф съежился и как-то странно смотрел сквозь окно. Мое сердце учащенно забилося.

— Они не работают! Они глазек по сторонам! — злобно прошептал Пфафф.

Я протиснулся к окну и заглянул внутрь. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Люди, которые раньше сидели, сгорбившись за письменными столами, выпрямились, озирались вокруг и переговаривались между собой громкими, твердыми голосами.

— Пожалуй, ребята, это издевательство пора кончать. Вы понимаете, что они над нами делают? — возбужденно говорил Дейнис.

— Конечно! Эти вампиры все время внушают нам, что мы обрели счастье, отдавшись во власть их импульсного генератора. Их бы посадить под этот генератор!

— Что там происходит? — грозно воскликнул Крафтштудт.

— Не имею представления,— пробормотал Пфафф.

— Да ведь они же ведут себя сейчас, как нормальные люди! Смотрите, они чем-то взволнованы. Они рассержены. Почему они не занимаются вычислениями?

Крафтштудт побагровел.

— Мы не выполним в срок минимум пять военных заказов,— процедил он сквозь зубы.— Нужно немедленно заставить их работать.

Больц щелкнул ключом, и вся компания вошла в зал.

— Встаньте, пришел ваш учитель и спаситель,— громко произнес Больц.

После этой фразы в зале водворилось гнетущее молчание. Две дюжины глаз, полных гнева и ненависти, смотрели в нашу сторону. Нужна была только искорка, чтобы все это взорвалось. В моей душе все ликовало, потому что я зримо ощущал, что делал мой карандашный грифель с сопротивлением в тысячу трис-

та пятьдесят ом. Вот где таился крах фирмы Крафтштудта! Я выступил вперед и громко, на весь зал, произнес:

— Чего же вы ждете? Наступил час вашего освобождения. Ваша судьба в ваших руках. Уничтожайте эту подлую шайку, которая готовила вам в качестве последнего прибежища «Приют мудрецов»!

После этих слов последовал взрыв. Вычислители стремительно сорвались со своих мест и бросились на остолбеневших Крафтштудта и его сообщников. Кто-то срывал с потолков алюминиевые зонтики, кто-то бил стекла в окнах. Мгновенно был содран со стены радиорепродуктор, с грохотом опрокинuty письменные столы. Пол усеяли листки бумаги с математическими вычислениями.

Я командовал:

— Не упустите Крафтштудта! Ведь он военный преступник. Это он организовал этот дьявольский вычислительный центр, где люди гибли, растрачивая драгоценные силы своего ума в его пользу! Держите крепче негодяя Пфаффа! Он автор конструкции импульсного генератора! Поддайте хорошенько Больцу! Он готовил новые партии обреченных, для того чтобы заменить тех, кто сойдет с ума...

Я шел впереди колонны возбужденных людей, тащивших за собой преступников. Бывшие вычислители прошли через глухой зал, где я впервые сдавал свои математические задачи, затем шумно протиснулись сквозь узенькие простенки подземного лабиринта и наконец вырвались наружу.

Когда мы вышли из маленькой двери в каменной стене «Приюта мудрецов», нас ослепило горячее летнее солнце. Вокруг двери, ведущей в апартаменты Крафтштудта, собралась огромная толпа жителей нашего городка. Они стояли перед дверью и что-то громко кричали. При нашем появлении водворилось минутное молчание. На нас уставились сотни удивленных глаз. Затем я услышал, как кто-то громко воскликнул:

— Да ведь это же профессор Раух! Он жив! Он тоже попал в руки к этим негодяям!

Дейнис и его товарищи вытолкнули вперед избитых главарей вычислительного центра Крафтштудта. Один за другим на ноги поднялись Крафтштудт, Больц, Пфафф и доктор. Они вытирали физиономии и трус-

ливо посматривали то на нас, то на грозную толпу вокруг.

Вдруг вперед вышла худенькая, тоненькая девушка. Я узнал в ней ту самую девушку, которая приносила мне на квартиру пакеты с решениями задач.

— Вот он, — сказала она, указав пальцем на Крафтштудта, — и он, — добавила она, кивнув на Пфаффа. — Это они все придумали...

В толпе раздался ропот. За девушкой к преступникам двинулась шеренга мужчин. Еще секунда, и они бы растерзали бандитов на части. Тогда я поднял руку и сказал:

— Дорогие граждане! Мы цивилизованные люди, и нам не к лицу чинить расправу над этими зверями, наделенными современной ученостью. Мы принесем человечеству больше пользы, если расскажем об их злодеяниях всему миру. Их нужно судить суровым судом, и вот свидетели обвинения. — Я указал на группу вычислителей из компании Крафтштудта. — Они вам расскажут, как, пользуясь достижениями современной науки и техники, бывшие гитлеровские палачи издевались над человеком, как они, уничтожая людей, набивали себе карманы золотом.

— Мы это знаем, мы все знаем, профессор Раух! — закричали вокруг. — Нам все рассказала Эльза Блинтер, после того как она увидела в газете ваш портрет в черной рамке.

— Здесь, за этими стенами, преступники творили страшные злодеяния. Воспользовавшись достижениями науки, они решили низвести людей до уровня рабов и при помощи машин эксплуатировать их до полного уничтожения.

— Мы все знаем! Нам все известно! — кричали вокруг. — Судить преступников!

Взволнованная толпа быстро возвращалась в город. Впереди шли я и мои товарищи по вычислительному центру. Рядом со мной шагала молоденькая девушка, Эльза Блинтер. Она крепко держалась за мою руку и шептала:

— После того как я принесла вам пакет в последний раз и вы сказали «плюньте на инструкцию», я долго об этом думала. Вы знаете, когда после разговора с вами я вернулась к господину Крафтштудту, я как будто обрела какую-то силу. Они поставили меня между

стенками и задавали вопросы о вас. Не знаю, почему это у меня вышло...

— Это выйдет у всякого человека, который ненавидит врагов и любит друзей.

— Это правда,— сказала Эльза.— Так со мной и было. А потом я расхрабрилась и сбежала от них. И я начала всем в городе рассказывать, чем занимается господин Крафтштудт. И вот сегодня, в воскресенье, все сюда и пришли.

Крафтштудт и его сообщники по вычислительному центру были переданы в руки властей. Бургомистр нашего города произнес патетическую речь со множеством цитат из Библии и Евангелия. В конце речи он заявил, что «за столь утонченные преступления господина Крафтштудта и его коллег будет судить верховный федеральный суд». Главу вычислительного центра и его компаньонов увезли в автомобилях без окон. С тех пор о них никто ничего не знает. В газетах также не было сообщений о том, как их наказали. Более того: в наш городок проникли слухи о том, что Крафтштудт и его друзья поступили на государственную службу. Будто бы им поручили организовать крупный вычислительный центр для обслуживания военного министерства.

Меня всегда охватывает волнение, когда, разворачивая газету, я нахожу на последней странице одно и то же объявление: «Для работы в крупном вычислительном центре требуются знающие высшую математику мужчины в возрасте от двадцати пяти до сорока лет».

Вот почему я решил опубликовать свои заметки. Пусть весь мир узнает об этом и потребует наказания преступников.

1958—1960

За этот срок Земля постарела на триста лет.

Мои чувства не хотели примириться с тем, что теперь меня окружало. По Земле уже ходили другие люди, потомки моих исчезнувших современников. Мое имя напоминало им о парадоксе, об одном исключительном случае, о загадке, смущавшей специалистов.

Сознание, что я никогда не увижу ни родных, ни друзей, никого из своих современников, что их уже нет, приводило меня в отчаяние. За триста лет изменилось все, и только на ночном небе так же свежо и молодо сверкали звезды.

Когда-то в детстве (страшно сказать: триста с лишним лет назад) я прочел старинный роман про удивительного странника Мельмота, кому причудливыми и щедрыми обстоятельствами была дарована слишком долгая жизнь. Согласно суевериям далекого века там не обошлось без злых и потусторонних сил... Мечтательная, романтическая сказка, плод фантазии старинного писателя и, разумеется, эксперимент, маленький и невинный, игра со временем и пространством.

Я тоже был материалом в руках экспериментатора. И в конце концов он и не знал, будет ли мое новое появление на свет вторым рождением или пробуждением после долгого, слишком затянувшегося сна. Он не был также уверен, вернется ли вместе со мной в мир мое прошлое, резервированное в тех участках мозга, которые умеют остановить миг, спрятать его впрок, чтобы повторить, когда в этом возникнет надобность. Предусмотрительный и педантичный, он записал

все, что я помнил, с помощью электронного аппарата — новинки — на тот случай, если это будет все же не пробуждение после долгого сна.

Только с помощью эксперимента можно проверить истинность гипотезы. Но этот эксперимент должен был пережить и самого экспериментатора и всех его учеников, и истинность гипотезы должны были установить биофизики, которые еще не родились.

Отдав себя в руки экспериментатора, я, казалось, отрекся от всего, что может доставить радость человеку, — от современности, от друзей, от знакомых, от личных пристрастий и привычек. Взамен этого мне было обещано почти бессмертие. Я отдавал свою жизнь как бы в долг. Один из сотрудников нашей лаборатории, Алешка Димин, сострил по этому отнюдь не веселому поводу:

— В долг? Но с процентами, да еще с какими!

Через триста лет я снова должен был ожить, вернуться в мир, обрести чувства и разум.

Экспериментатор — пора бы его назвать, — Всеволод Николаевич Обидин, был скромненький, сдержанный, не любил громких слов, чуждался славы и только однажды на публичной лекции позволил себе назвать тему, над которой работал, «проблемой временной смерти», о чем сразу же и пожалел, потому что это выражение попало в печать и вызвало усмешку на лице профессора Чемоданова и даже легкий академический смешок, немножко похожий на кашель.

— Жизнь, — сказал Чемоданов Обидину, смакуя каждое слово и подчеркивая его голосом, — жизнь — состояние временное, согласен. Но смерть — это отрицание времени, что, я думаю, не может быть предметом дискуссии, настолько это неоспоримый факт.

Обидин не стал возражать. Да и к чему? Действительно, смерть — отрицание жизни, но то, что он имел в виду, вовсе не отрицало жизни, наоборот, оно говорило об удивительной силе жизни, способной преодолеть время, как бы задержав его, или, вернее, прервать поток времени, а потом вновь соединить. Нет, он не хотел говорить об этом с Чемодановым. Он предпочитал говорить с ним о самых обыденных вещах: о расписании дачных поездов Ленинград — Зеленогорск, о свежих огурцах, об электрической бритве, продающейся в магазине новинок на Невском.

Мне приходится вспомнить факты довольно большой давности. Между событиями, лежащими по ту и по эту сторону, промежуток в триста лет. Но, как сейчас, я вижу наш научно-исследовательский институт, раздевалку с задремавшей вахтершей, коридор, монтера с времяяной и водопроводчика Гришу, вечно что-то поправлявших и ремонтировавших в институтском буфете, давно не мытые окна, строгую, надменную, пожилую секретаршу в канцелярии и ученого секретаря, бегущего к директору с какой-то бумажкой.

Наша лаборатория была на третьем этаже, рядом с буфетом. На стене висело чье-то изречение, звучавшее примерно так:

«Исследовать — значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто».

Придя впервые в эту лабораторию, я был приятно поражен, увидя это изречение, показавшееся мне глубоким и оригинальным. Ведь я пришел туда, окончив философский факультет. О профессоре Обидине я слышал еще в университете, что он экспериментатор, только экспериментатор, и недолюбливает всякие мудрствования, философствования и теоретические спекуляции. Странно, что меня допустили в эту «святая святых» экспериментальной биофизики, меня, знакомого с естественными науками только умозрительно и теоретически, да и то в связи с тем, что я изучал на философском факультете. Казалось, и в этом случае возобладали экспериментальные интересы руководителя лаборатории, пожелавшего рискнуть и проверить, на что может быть годен человек, окончивший теоретический факультет.

Здесь нужны были ловкие, быстрые, расторопные руки, умеющие приготовить препарат или провести опыт,— руки, прежде всего руки, а потом уже все остальное. А что я знал о своих руках, о их ловкости и точности их движений? Я родился в семье историка, гуманитаря. Когда в квартире гасли электрические лампы из-за того, что перегорели пробки, вызывали монтера. Гвоздь в стену вбивала мать. Да, я слишком мало знал о своих руках, гораздо меньше, чем о своей памяти, о своем воображении, о своем умении вникать во внутреннюю суть вещей и явлений. Здесь пока нужны были мои руки. Только руки. И вот я начал знакомство со своими собственными руками.

Мне дали ключ и попросили достать из шкафа банку со спиртом. Меня предупредили, что наклейке с надписью «Осторожно, яд!» не нужно верить. Уборщица Дорофеева имеет пристрастие к спиртным напиткам. Я взял ключ, сунул его в замочную щель, повернул, но дверца шкафа не раскрылась. Я стоял перед шкафом, вертел ключ и влево и вправо, а секунды текли, и дверца не открывалась.

Потом слышались неторопливые шаги. Рука Обидина протянулась за ключом, и не поддававшаяся моим усилиям дверца сразу же открылась.

Обидин с удивленным любопытством посмотрел на меня — на меня и на мои руки. Потом он каждый раз смотрел на меня, каждый раз, когда у меня не получался опыт или когда мои неловкие руки роняли что-нибудь в спешке. Он смотрел молча. И только однажды, когда я уронил на пол сосуд с жидким кислородом, и чуть ему не на ногу, он сказал, мило и терпеливо улыбаясь:

— Да, у вас руки настоящего теоретика.

2

Как только я начал сознать себя, как только научился видеть и понимать то, что меня окружает, я уже знал, что у меня есть имя.

Меня звали Павликом, позже Павлом, а еще позже я узнал, что у меня, кроме того, есть и фамилия — Погодин и отчество — Дмитриевич.

Я воспринимал свое имя как нечто возникшее вместе со мной, не отделимое от меня, слово, выражавшее меня всего от ног до головы и отделявшее от других.

Помню, как меня удивило и даже несколько обескуражило, когда я познакомился с мальчиком, которого звали так же, как и меня, — Павликом. Он ничуть не был похож на меня, но меня и его называли одним и тем же именем, намекая на то, что имя вовсе не выражает сущности того, кто его носит, а скорее создано для удобства, как номер телефона, квартиры или автобуса.

Но в этой новой эпохе, в которой я очутился благодаря тому, что ученым удалось прервать и снова возобновить мою жизнь, я оказался человеком без имени. Да и кому бы пришлось в голову называть меня Пав-

лом Дмитриевичем, когда я вовсе не нуждался в имени и отчестве. Меня отличало от всех других, существовавших одновременно со мной, нечто более значительное, чем имя: возраст. Ведь мне недавно исполнилось триста тридцать пять лет. Меня и без имени знала вся планета, называя человеком XX столетия, выходцем из прошлого. Имя мне заменяло время, которое я представлял, время и пространство, потому что и пространство стало иным. Пассажирские линии соединяли Землю с Марсом, с Венерой и с другими планетами солнечной системы, и слово «Земля» звучало сейчас, как в мое время звучали слова «Московская область». Имя мне заменял мой мир, исчезнувший в истории, но не потерявший своей реальности, запечатленный в памяти электронных аппаратов, на пленке кинолент и магнитофонных записей... И все же самой реальной и вещественной приметой минувшего был я — представитель своего времени, своим существованием как бы соединивший две эпохи.

О новом мире я знал еще пока мало. Ведь не так уже много времени прошло (всего неделя), как я ожил или проснулся после затянувшегося на целых триста лет сна.

Мое существование началось в том же самом экспериментальном отделении дискретной жизни Института биофизических проблем, где, как выяснилось, я пролежал сотни лет в том загадочном состоянии, которое ученые называли парадоксальным термином: «временной смертью».

За эти три столетия, разумеется, здание перестраивалось много раз, и только то помещение, где я лежал, оставалось нетронутым — архаичным, построенным из глиняного кирпича и гранита.

Эксперимент, в сущности, еще продолжался. Правда, я ожил, но разве дело было только в этом? Какие изменения произошли в моем организме при переходе от состояния временной смерти к состоянию жизни, явления тоже временного, — интересовало медиков, биофизиков, физиологов и кибернетиков. Ко мне пока не допускали никого, кроме специалистов, и даже историки и нетерпеливые журналисты должны были ждать, когда доступ в мое помещение станет более свободным.

И в пору прежней моей жизни — не очень ли странно звучат эти слова, как будто у одного чело-

века могут быть две жизни? — скажем точнее и осторожнее: и прежде мне доводилось не раз болеть и лечиться в больнице, я тогда остро чувствовал, что больной для врачей не только и не столько личность, сколько организм, в котором протекают интересующие специалистов процессы, но здесь я чувствовал это во много раз острее.

Здесь я был организмом. О том, что я, кроме того, и личность, все забывали. Правда, один из биофизиков, наиболее чуткий и внимательный, называл меня по имени и отчеству, желая этим подчеркнуть, что он рассматривает мою особу не только как общее и универсальное, но и как частность.

— Добрый день, Павел Дмитриевич,— обычно этими словами он приветствовал меня. И на лице его появлялась симпатичная улыбка.

Мне не хочется обвинять в бессердечности и сухости других медиков и биофизиков, более сдержанных и державшихся со мной более отчужденно. Ведь я был в их глазах представителем минувшего времени, времени утраченного и необратимого, и своим существованием приводил их в замешательство. Я противоречил логике, здравому смыслу и загадочным возвращением из небытия ставил под сомнение все привычные представления о жизни и смерти.

Для ученых этого мира я не был личностью. Ведь все, что вызвало в них такой острый интерес ко мне, относилось не к моей личности, а к моему организму и его функциям. Их меньше всего интересовало мое «я», именуемое Павлом Дмитриевичем, а больше всего то, что было обобщенным — типичным для человечества, жившего три столетия тому назад.

Я смотрел на них, людей XVIII века, с не меньшим изумлением, чем они смотрели на меня. За три столетия человеческий облик не так уж сильно, но все же изменился. В них, в этих людях, в их лицах и в их позах чувствовалась сдержанная сила и нечто прекрасно гармоничное, напоминавшее о живописи Леонардо.

Успокоенность и статичность? Нет. Именно сдержанность, чувство собственного достоинства и нечто другое, новое, незнакомое и трудно определимое, особенно сильно проступающее в выражении глаз, внимательно смотревших на меня,— глаз, чей опыт был на триста лет богаче моего.

Говорили они кратко, математически логично и ясно, словно анализируя вслух задачу.

— Ваша восприимчивость после отчуждения? — спросил меня один из них.

— Какого отчуждения? — не понял я.

Он усмехнулся.

— Отчуждения временной смерти.

— Воспринимаю все так же свежо и остро, как вчера.

— Какое «вчера»? — переспросил он. — «Вчера», то есть накануне сегодня или триста лет назад? Для вас ведь это тоже «вчера».

— Для меня, но не для вас.

— Да, меня тогда не было, — сказал он спокойно.

— Но зато вы знаете все, что произошло за эти триста лет, а я не знаю.

— Не спешите. Узнаете и вы.

— Когда?

— Когда окрепнет ваш организм.

3

Я вспоминал. Уж не собирался ли я восстановить свое утраченное прошлое мгновение за мгновением? Нет, в этом пока не было никакой надобности. Ученые проверяли силу моей памяти, да и, кроме того, им хотелось узнать кое-что о далеком прошлом от очевидца, а не слушать длинную исповедь.

И вот я вспоминал то, что было триста лет тому назад, словно все это случилось только вчера.

Голоса моих современников приблизились ко мне, сквозь время пробился и голос женщины, которая впоследствии стала моей женой. В сущности, память и есть самое удивительное чудо. Она соединяет «здесь» и «теперь» с «тем» и «тогда», то есть с тем, чего уже нет.

* * *

— Павел, — говорит Оля, — ты с ума сошел! Зачем ты привел меня сюда, в этот сквер? Мы разбудим старушек пенсионерок, которые дремлют на солнышке.

— Здесь хорошо, — говорю я и показываю ей на молодые деревья, окутанные весенней зеленой дым-

кой, на многоэтажный дом с окнами, синими, как речная студеная струя, на девочку, прыгающую по тропинке.

— Павел!

Когда она произносит мое имя, мне кажется, что я слышу его впервые.

— Павел!

Она произносит его не так, как другие. Звук, слово становится легким и глубоким, как эхо в лесу, как вздох. Это отражение моего «я» в ее сознании и голосе.

— Павел! Посмотри вон туда.

Я смотрю, куда она указывает. Там на скамейке сидит пара: старик и старуха. И оба дремлют.

— Муж и жена. Сразу видно. Прожили вместе долгую счастливую жизнь.

— Разбуди их. И спроси: были ли они счастливы?

— Были,— говорит Ольга.— Но завидовать им не стоит.

— А я все-таки завидую этому старцу. Он всегда вместе со своей спутницей. Всегда рядом, не то что мы.

— Ты думаешь, что и мы когда-нибудь будем вот так дремать на солнышке?

Мы сидим на скамейке в сквере. Вокруг нас прозрачный, весенний, звенящий мир. Над крышей многоэтажного дома плывет облако. Оно плывет медленно-медленно. Мы оба сидим и прислушиваемся к тому, что не вне, а внутри нас. И мне кажется, что мгновение остановилось, чтобы продлить радость нашей встречи.

Вместе с мгновением остановилось все. Весь мир ждет, терпеливо ждет в наступившей тишине, чтобы не помешать нам. Не слышно ни трамваев, ни троллейбусов. Даже быстрая ласточка как бы остановилась в полете. Она летит и не летит. И девочка, казалось, застыла, сделав прыжок.

— Завтра я уезжаю,— говорит Оля.

— Куда?

— В Москву. К тете.

— Надолго?

— На три недели.

«Господи, на целых три недели»,— думаю я.

Мне не приходит в голову, что наступит такой день, когда мы расстанемся с Олей не на три недели, а на триста лет.

Я жил тогда на набережной Мойки, самой тихой улице Ленинграда. Напротив нашей квартиры косо стояли подстриженные тополя. По утрам улица гулко молчала, и окаменевшая вода неподвижно лежала в сыром гранитном ущелье. Я был тогда студентом философского факультета. Мне представлялось, что все предметы ждали того странного часа, когда их заставит заговорить и раскрыть свой смысл, свою сущность какой-нибудь вновь родившийся Гегель. Он ударит по вещам и явлениям, как по клавишам рояля...

Я юношески остро чувствовал скрытую музыку за каждой мелочью быта. Все казалось мне значительным: полоска заката на сумрачном небе, ветка клена, восклицание кондукторши в автобусе, афиша на стене, улыбка на лице прохожего, бой стенных часов, результат футбольного матча Ленинград — Тбилиси, шум дождя.

Я думал, что философия — это что-то вроде ключа, которым можно открыть все явления и вещи, как двери. Стоит только сказать вслух:

— Сезам, откройся!

Но Сезам не открывался. Ни мне, ни даже тем, кто читал лекции и писал учебники. Впрочем, это я понял позже, уже учась на втором курсе. Понял и почему-то очень огорчился.

Жизнь шумела, как шумит летний дождь. Пахло травой и мокрыми ветвями. Временами гремел гром. А я ждал того же, чего ждут все юноши на свете. Я был почти пьян от ощущения бытия, от радости, что я живу, вижу, хожу, читаю, дышу.

Утром, подойдя к окну, я смотрел на улицу с таким удивлением, словно она только возникла из небытия. Ну, а весь мир, разве он не проснулся сейчас вместе со мной?

Но речь шла только о том мире, который был за окном. Все, что пребывало в квартире, свидетельствовало об устойчивости и постоянстве. Иногда мне казалось, что квартира и семья возникли намного раньше, чем весь остальной мир. Буфет и обеденный стол были намного старше вселенной.

Мать в халате и в стоптанных шлепанцах несла сковородку с шипящей колбасой. Отец хмуро читал газету. Не глядя на меня, он спрашивал рассеянно:

— Ну, что там у тебя?

— Ничего. Полный порядок.

— А с Папиросником как? Наладилось?

— За кого ты меня принимаешь, отец? Папиросник — догматик, невежда, серый человек, хоть он и написал брошюрку о Спинозе.

— Знаю.

— Ну, а раз знаешь, зачем же спрашиваешь?

Отец молчит и с интересом смотрит на меня. Он забыл о жареной колбасе и о газете. Я заметил: интерес его ко мне возникает временами. В такие минуты он смотрит на меня не то испуганно, не то изумленно.

— Я спрашиваю, потому что хорошо знаю жизнь. А ты знаешь ее плохо. Стоит ли связываться с Папиросником?

— В прошлый раз,— перебиваю я отца,— он поставил мне неудовлетворительную отметку за отличный ответ. Папиросник думал, что это я ему прислал на лекции записку, которая начиналась словами: «Мы, философы...» Это его любимая фраза. Он не понимает, как она нескромно звучит — «мы, философы!». А за душой — несколько скучных и примитивных брошюр.

— И все-таки не стоило посылать записку с такими словами. Зачем? Грубо и бессердечно.

— В тебе говорит профессиональная солидарность. Ты тоже профессор.

Отец преподает историю. Его узкая специальность — эпоха итальянского Возрождения. Уже много лет он пишет книгу о Леонардо да Винчи.

Когда отец говорит о Леонардо, он преображается. Лицо его свежее, в глазах появляется юношеский блеск. Потом блеск исчезает, и отец снова становится отцом и профессором, усталым и прозаичным человеком, похожим на своих обыденных коллег. В самом имени Леонардо есть что-то возвышающее и чудесное. Оно как утро, как удар колокола, как облако, отраженное в синеве лесной реки, как внезапное прозрение. В нем есть что-то от космоса и от Земли. Я знаю: интерес отца к Леонардо — это не просто профессиональный, академический интерес. В свое время для докторской диссертации отец взял другую тему. Интерес отца к Леонардо юношески чист, наивен. Он возник в отце задолго до того, как он стал профессором и сделал знание истории предметом материального благополучия семьи. Все свое свободное время отец посвящал размышлениям об удивительнейшем из людей. Он пытался шаг за шагом мыслен-

но восстановить жизнь этого человека и ту неповторимую духовную атмосферу, которая его окружала. Он пытался, как казалось мне в юности, сделать невозможное: победить время и оживить того, кого давно уже нет.

Иногда отец словно забывал о том, что Леонардо жил в XV веке, и говорил о нем так, будто только вчера с ним расстался.

Но бескорыстный интерес к Леонардо не мог заполнить все время отца, отец читал довольно скучные лекции, заседал и писал равнодушные академические статьи для разных исторических изданий. В нем загоралась искра, только когда речь заходила о Леонардо, потом Прометеев огонь потухал и начиналась академическая жизнь, неинтересная и вялая, как учебник истории для вузов.

4

Обидин поручил мне провести опыт с дрожжевыми грибами.

Я начал с того, что заразил питательную среду (самое обычное сусло) подопытными организмами. Для дрожжевых грибов сусло — рай, мир изобилия. Но они, бедные, не подозревают, что я сейчас заморожу этот рай вместе с ними. Ведь температура жидкого азота, куда я их опущу, ниже ста восьмидесяти градусов.

Затыкаю пробкой пробирку с суслом. Сыплю в химический стакан теплоизоляционную мипору. Осторожно кладу туда пробирку с микроорганизмами. Затем погружаю стакан с пробиркой и мипорой в жидкий азот, погружаю медленно и осторожно, чтобы брызги не попали в теплоизоляционную прослойку и не вызвали слишком быстрого замораживания.

Но вот все сделано, и я смотрю на часы. И вдруг у меня рождается сомнение: не забыл ли я по рассеянности прокалить «петлю» (длинную иглу), прежде чем подцепить ею грибки и положить в пробирку с суслом?

Я начинаю опыт снова. Накалив петлю и дав ей остыть, я подцепляю разводку микроорганизмов и опускаю в питательную среду. Снова обкладываю пробир-

ку мипорой. Снова погружаю химический стакан в жидкий азот.

Для таких низких температур существует специальное название: глубокий холод. Сейчас в «глубину» этого холода погружены крошечные организмы-клетки, которые должны совершить прыжок через «ничто».

Что значит — «должны»? Не они должны, а я должен их заставить, проявив искусство экспериментатора.

На другом столе ждет конца опыта люминесцентный микроскоп. Он бесстрастен и точен, как мысль математика, как глаз марсианина, взглянувшего на вас, или, вернее, через вас, в бездонный мир относительности, в малый мир увеличивающегося пространства.

Через час я взгляну в этот бесстрастный мир, и ожившие, вынутые из глубины холода дрожжевые грибки окрасятся в радостный светло-зеленый цвет, мертвые же — в мрачный коричнево-желтоватый. Немножко похоже на картину художника-сюрреалиста, пытающегося передать сущность бытия и небытия с помощью всего-навсего двух красок.

Если мертвых окажется больше, чем живых, то вряд ли Обидин признает опыт удавшимся. Он сложит губы в жалостливую улыбку и скажет всего одно слово:

— Диапауза.

Но как скажет! Буквально врежет в сознание. Диапауза — это строго научное слово. Оно выражает состояние покоя, в которое впадают насекомые под влиянием низких температур. Это приспособительная реакция, жизненная пауза, своего рода вынужденная остановка. Но у нас в лаборатории это словечко имеет другой смысл: оно обозначает, что кому-то что-то не удалось, кто-то снебрежничал, скалтурил.

На ручных часах истекают минуты, предназначенные для опыта. Я грею воду, быстро вынимаю химический стакан из жидкого азота и погружаю его в теплую воду. Там не спеша оживают любители сусла.

Я готовлю препарат, окрашиваю микроорганизмы акридином оранжевым и смотрю в люминесцентный микроскоп. Затем начинаю подсчет. Нет, Обидину не придется жалостливо усмехаться. Восемьдесят процентов живых. Опыт удался. И, конечно, не благодаря какой-нибудь случайности, а только моим рукам, наконец-то научившимся ловко и точно работать.

Я снова смотрю в микроскоп на микроорганизмы, сделавшие прыжок через «ничто», и мне, разумеется, не приходит в голову, что когда-нибудь и мне придется испытать то, что уже испытали они, оторвавшись от скользящего мгновения.

В половине второго я бегу перекусить в институтский буфет, предварительно заглянув в соседнюю комнату, где работает Алексей Димин со своей художавой миловидной помощницей, у которой такая странная фамилия: Зет. В шутку у нас называют ее Икс-Игрек. Но она не сердится. Ей нравится ее абстрактная математическая фамилия.

В узком коридорчике я встречаю профессора Чернявского — низкого, коренастого, с гордой осанкой. Это очень острый момент. Я не знаю — здороваться мне с ним или нет? И все-таки здороваюсь. Он презрительно косится на меня и чуть заметно кивает своей несоразмерно большой головой.

Чернявский презирает меня. За что? Пока это в институте никому не известно. И, разумеется, меньше всех мне. Сначала я обнадеживал себя, думая, что Чернявский держится со всеми так же, как со мной. Но вскоре я в этом разубедился. Так вот подчеркнуто недружелюбно и сухо здоровается он только со мной да еще, пожалуй, с Чемодановым.

То, что я попал в одну компанию с Чемодановым, меня удручает. За что не любит меня Чернявский? Что я сделал ему плохого?

Я слишком много думаю об этом старике. Одно время я предположил, что это склочник, злой, бездарный и несправедливый человек. Но это не подтвердилось. Наоборот, он принципиален, образован, вежлив, доброжелателен и талантлив. В конце сороковых годов он пострадал, отстаивая свои научные взгляды. Его противники вытеснили его из лаборатории. Рассказывают, что он, не склонив головы, вынес из лаборатории пробирки с дрозофилами. Прошло несколько лет, и мушки дрозофилы были реабилитированы. Они снова честно служили познанию, так же как Чернявский.

Оттого, что Чернявский усомнился во мне, я сам начинаю в себе сомневаться. Может, я действительно совершил недостойный поступок, ставший известным Чернявскому? Но когда? И уж кто-кто, а я-то должен бы об этом знать.

Лаборатория генетики в том же коридоре, что и наша. Хочу я этого или не хочу, но я вынужден встречаться с Чернявским часто. И каждый раз на его лице появляется выражение, от которого мне становится не по себе.

Вот и сейчас в буфете... Я сижу у окна. Рядом со мной свободное место. Единственное свободное место. Все остальные заняты. Входит Чернявский. Он предпочитает есть стоя, чем сесть рядом со мной. Это уже чересчур. Я вскакиваю и демонстративно покидаю буфет. Но никто не замечает моей демонстрации.

Забегая вперед, я должен сказать, что только через триста лет мне удалось наконец узнать, за что невзлюбил меня Чернявский.

5

На этот раз я проснулся после обычного, не затянувшегося на триста лет сна. И посмотрел. Вокруг меня стояли привычные вещи.

Наверно, для того чтобы я не чувствовал всей щемящей сердце, пугающей головокружительной необычности другой, незнакомой эпохи, вокруг меня создали искусственную обстановку остановившегося времени.

На стене висели те же самые часы, что и триста лет назад. И стена тоже была прежней. Я узнал и шкаф, тот самый шкаф, который, к своему великому стыду, я не сумел открыть в первый день, когда поступил на работу в лабораторию профессора Обидина. В шкафу стояли те же склянки, что и тогда, даже стеклянная банка с наклейкой «Яд!». На какую-то долю минуты меня охватывает сомнение. Может быть, мне все это приснилось?

Ответа нет.

И вдруг до меня доносится голос. В этом голосе есть что-то знакомое. Где и когда я его слышал? И только через несколько мгновений я догадался, что слышу самого себя. Кто-то включил электронный аппарат, мою память.

«Всеволод Николаевич,— умоляет мой голос,— Всеволод Николаевич, поймите! Я слишком молод для мемуариста. И, кроме того, я не могу вспоминать по заказу! Не могу!»

До меня доносятся мои слова, произнесенные триста лет назад. Затем наступает пауза.

Тишина. По-видимому, аппарат выключили. Звук собственного голоса, только что слышанный, словно позвал меня из исчезнувшего времени. Я вздрогнул.

Потом я долго лежал с сильно бьющимся сердцем, словно навсегда утраченное прошлое было тут же, рядом со мной.

Тут, рядом. Что это значит? Не значит ли это, что я сейчас увижу родных и друзей? Всех, кроме Оли. Время Оли еще не наступило. Она улетела в далекий космический рейс и должна вернуться на Землю приблизительно через триста обычных земных лет. Мог ли я увидеть снова старушку мать и сына Колю, шестилетнего мальчугана?

* * *

Утром, прежде чем идти на работу в институт, я завозил Колю в детский сад на Васильевском острове, а вечером после работы заезжал за ним. Он уже ждал меня в коридоре, возле своего гардеробчика, где висели его шубка и шапка. Он сам надевал шубку и боты и шел со мной к троллейбусной остановке.

Однажды он спросил меня:

— Скоро вернется мама?

Я не ответил.

Он посмотрел на меня и повторил свой вопрос:

— Скоро?

Я промолчал.

Не мог же я ответить ему, что его мать вернется через несколько сот лет, когда не будет на земле ни его, ни меня, ни наших внуков и правнуков. Для нас с ним и для всех наших современников она умерла. Но она была жива, она летела в космическом пространстве, и тонкий, как игла, пучок электромагнитных волн и световых лучей, посланных с атомной радиостанции космолета, пока сообщал нам о ее самочувствии и здоровье.

— Скоро? — снова спросил Коля.

— Нет, не скоро, Коля. Очень не скоро.

Я смотрел на свои ручные часы, где лихорадочно быстро двигалась красная секундная стрелка. Там, на космическом корабле, где жила Ольга, часы на много лет отставали от моих. Но если бы я стал объяснять это Коле, он бы не понял меня. Шестилетним детям

невозможно объяснить теорию относительности. Детям? Да и взрослым очень трудно понять, что время замедляется от скорости движения. Нужно буквально вывернуть логику наизнанку, чтобы понять и поверить в то, что наши с Колей дни равняются почти минутам там, где сейчас пребывает Ольга.

В выходные дни я гулял с Колей, читал ему сказки. Я еще тогда не думал о том, что я добровольно покину его. Для меня он так и остался шестилетним белобрысым Колей. А ведь он стал Николаем Павловичем и, возможно, дожил до глубокой старости, так и не дождавшись возвращения матери и пробуждения отца.

Я лежал с сильно бьющимся сердцем, словно прошлое было тут, за стеной.

* * *

Биофизик подошел ко мне и сказал приветливо и спокойно:

— Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Как вы себя чувствуете?

Хотя он не раз посещал меня, я не знал его имени. И вот сейчас я спросил, как мне его называть.

— Павел Погодин,— ответил он.

— Но ведь я Павел Погодин! Я!

— Я тоже,— ответил он ласково и тихо.

— Однофамилец?

— Не совсем. Отчасти и родственник. И к тому же тезка. У вас есть возражение?

— Помилуйте! Как я могу возражать? Законы природы...

— Да, ничего не поделаешь. Законы... Я прямой ваш потомок. Если вы не забыли, после наступления вашей временной смерти остался ваш сын.

— Коля?

— Николай Павлович,— поправил он меня.— Он женился. У него было четверо детей.

— Боже мой, ведь ему было всего шесть лет!

— Но к шести годам вы должны прибавить еще триста.

— Моя логика все еще не может освоить этот странный факт. Мне все еще кажется, что я приду домой и увижу Колю. Вчера меня вдруг охватило беспокойство. Я думал о том, что опоздаю на целый час в детский сад за Колей и воспитательница будет пробирать меня за неаккуратность.

Я помолчал, а затем с грустью добавил:

— Но оказалось, я опоздал не на час, а на три столетия.

— Опоздал? — Биофизик улыбнулся. — Бессмысленное слово. Особенно в ваших устах. Куда опоздал? Почему? Не думайте об этом. Не надо. Не сожалеете. Вы оторвались от своей эпохи и обрели другую. Это знакомо не вам одному.

— Разве?

— Я говорю о космонавтах дальних экспериментальных экспедиций. Но обретенное ими время слито с пространством, которое они преодолели. Вас же развremенили, разорвав ваше бытие на две части. Но память ваша действует неплохо, в чем мы имели возможность убедиться. Она свяжет две половины разорванного бытия... В сущности, и в этом нет ничего неестественного. В миниатюре каждый испытывает это, ложась вечером спать, а утром просыпаясь. Ваш сон несколько затянулся. Вот и все.

Я смотрел на него, я удивлялся все больше и больше. Моя логика не могла примириться с этим алогичным фактом. Передо мною стоял мой отдаленный потомок, и мы с ним существовали в одном времени.

— О чем вы думаете? — спросил он меня тихо.

— Все о том же. Об алогизме всего того, что сейчас происходит со мной, о несоответствии всему тому, к чему я привык.

— Так ли уж это алогично? Обстоятельства забросили вас в двадцать третье столетие. Но ведь был более удивительный случай, когда человека двадцать третьего столетия судьба забросила в шестнадцатый век.

— О каком человеке вы говорите?

— О великом художнике и инженере Леонардо да Винчи.

— Но время необратимо. Как это могло быть?

— Мы как-нибудь вернемся к этой теме. Я должен покинуть вас на несколько дней. Послезавтра выступаю с докладом на конференции биофизиков космической станции в окрестностях Венеры. До свидания.

Он ушел, так и не объяснив, что он имел в виду, когда говорил о Леонардо. Вероятно, он шутил. Как мог человек из будущего попасть в прошлое?

Я лежал и вспоминал все, что я знал о великом художнике итальянского Возрождения.

После смерти моего отца, историка, всю жизнь изучавшего XVI век, я нашел в ящике письменного стола большую, чрезвычайно интересную статью о Леонардо.

Мне вспомнилась фраза из этой статьи, чуточку загадочная и странная, принадлежащая не отцу, а цитируемая им из какой-то книги об итальянском художнике:

«Мир красоты у Леонардо изображается так, как если бы действительность уже была глубочайшим образом приспособлена к человеку, как если бы смягчились все ее антагонизмы и все ее движения выровнялись. Нет жесткости, нет угловатости, нет грубости и резкости связей и переходов...»

Эта мысль пронизывала всю статью отца. Его страстно интересовал вопрос, почему Леонардо, живя в таком неустроенном и грубом веке, изображал другую, бесконечно более совершенную действительность, и изображал ее так, словно отлично знал ее.

Поставив этот вопрос перед самим собой и перед читателем, отец так и не успел ответить на него. Ему помешала смерть. Но весь ход отцовских мыслей говорил о том, что он был близок к раскрытию какой-то большой тайны.

И вот я снова услышал загадочные слова о Леонардо от биофизика, своего тезки и потомка.

* * *

Я помню шубу профессора Чемоданова. Ее шил в ателье на Литейном лучший портной города.

К шубе Чемоданова в институте относились почти-тельно. Ее вешали в особом углу, на отдельном крючке, и вахтерша сидела целый день, охраняя ее, боясь отлучиться. Там, на этом крючке, висела и ее фетровая шляпа.

Когда Чемоданов шел, все оглядывались. Он, как и его шуба, был сделан из особого материала. Он шел, заполняя собой пространство и время. И время тоже! На его полном, чисто выбритом лице играла снисходительная улыбка.

Мы (под словом «мы» я подразумеваю сотрудников нашей лаборатории) были отчасти довольны, что Чемоданов нас терпел, что он мирился с нашим существованием и с нашими проблемами. Мы хотели только

одного: чтобы он оставил нас в покое, забыл о нашем существовании.

Чемоданова в институте уважали. За что? Трудно ответить на этот загадочный вопрос. Может быть, за то, что он сумел внушить всем — от директора до вахтерши — превратное представление о своей особе. Чемоданов только тем и занимался, что уважал себя. На это он тратил уйму времени. Он вкладывал в это столько таланта, столько старания, столько страсти, что достиг того, чего хотел. Его действительно уважали. Уважали потому, что он сам уважал себя. К его словам прислушивались. Помню, как я сам, слушая его речь на заседании ученого совета, ловил каждое слово и искал в нем сокровенный и глубокий смысл.

— Великое павловское учение,— говорил Чемоданов,— открывает перед нами... Открывает перед нами...— он делал паузу с мастерством актера. И голос у него тоже был актерским. Я напрягал все свое внимание, ожидая услышать что-нибудь новое...

И действительно, речь Чемоданова производила на меня некоторое впечатление, но не смыслом, а скорее интонацией. Каждое слово Чемоданова было похоже на него самого. Оно требовало к себе уважения. Почему? За что? Это уже другой вопрос.

Да и как было не уважать Чемоданова! Он был такой солидный, внушительный, каждое слово, произнесенное им, приобретало какую-то особую реальность, словно в смысл и звучание этого слова Чемоданов вкладывал самого себя, со своим чисто выбритым полным лицом, со своей снисходительной улыбкой.

Я уже упоминал о том, что Чемоданов снисходил к нам, мирился с нашим существованием. Вероятно, это было ему не легко, потому что в глубине души ему не могло нравиться то, чем мы занимались.

— Дискретные явления жизни,— как-то сказал он, остановившись возле дверей нашей лаборатории,— анабиоз... Ну что ж, поживем — увидим.

Жаль, что ему не пришлось прожить триста лет. Что бы он сказал сейчас, увидя меня среди людей далекого будущего? Он бы сказал своим солидным голосом:

— Чепуха! Метафизика! Вредные фантазии!

И я уверен, что люди поверили бы ему, а не фактам. Уж слишком он был солиден и убедителен, убедительнее всяких фактов.

Иногда он исчезал. Уезжал в командировку или в отпуск. Его отсутствие ощущали все. В институте чего-то не хватало. Чего? Трудно сказать... Но вот он появлялся снова. На его полном, чисто выбритом лице играла улыбка, но уже не та снисходительная, что была раньше, а другая. Эта улыбка выражала нечто значительное, она как бы говорила о том, что во время своего отсутствия Чемоданов приобщился к каким-то тайнам. Он что-то знал. Он один, да еще господь бог. Они оба. Эта улыбка наводила на всех уныние, вселяла щемящее чувство неуверенности и беспокойства, словно Чемоданов знал что-то, касающееся всех и всего — и сотрудников, и лабораторий, — но пока держал это в тайне.

Спустя неделю эта улыбка исчезала, и лицо Чемоданова снова приобретало снисходительное выражение.

— Ну, что у вас там? — остановив меня или Димина, спрашивал он доверительным тоном. — Дискретные явления? Сомнительные явления! Сомнительные! Но поживем — увидим.

Сколько же лет он собирался жить? Ему было под шестьдесят. Я так и не знаю, сколько он прожил. Помню, незадолго до генерального эксперимента, с помощью которого я победил время, мы с Всеволодом Николаевичем Обидиным проходили по Невскому проспекту и случайно остановились возле ресторана. У ярко освещенного окна за толстым стеклом сидел Чемоданов, священнодействуя с блюдом, которое ему только что подали. Ресторанное стекло, как рама картины, выделяло его из всего окружающего мира.

Прошло полминуты, не больше, но мне показалось, что время исчезло, остановилось, и Чемоданов в своей стеклянной раме победил бренность и слился с вечностью, живой и трепещущей, как миг.

6

Мой тезка и потомок, биофизик Павел Погодин, принес с собой какой-то незнакомый мне предмет, сделанный, по-видимому, из синтетических материалов, поставил его и спросил:

— Хотите совершить маленькую прогулку?

За триста лет я ни разу не выходил из своего по-

мещения и даже вздрогнул от неожиданного этого предложения.

— Когда?

— Когда хотите, хоть сию минуту.

— Но я еще не брился. Мне нужно переодеться.

— Зачем? Вы можете лежать как лежали. Мы даже не будем убирать стены. Для чего? Мир придет сюда, к вам. Время и пространство.

— Что-то вроде кинохроники,— сообразил я.— Но где же экран?

Павел улыбнулся.

— Кинохроника? Древнее слово. Его помнят разве только историки культуры. Нет, речь идет не о столь примитивном отражении мира, а о чем-то, как вы убедитесь, более реальном, вещественном и более интимно связанном с тем, что вокруг нас и в нас самих. Кинохроника, насколько я представляю, всегда отражение прошлого, очень недавнего, но прошлого. Хотя на день, но все же отставание от «теперь» и «сейчас». А тут речь идет о синтезе прошлого, настоящего и будущего. Не только об отражении, но о реальном, вещественном синтезе, как вы сейчас убедитесь. «Тогда», «теперь» и «завтра», пронизанные динамикой.

— Что это — искусство или жизнь? — спросил я.

Он уклонился от ответа.

— Поговорим об этом потом.

Он нажал кнопку аппарата и сразу исчез, как провалился сквозь землю. Исчезло все, что меня окружало: стены, вещи. Исчез и я сам. Я уже не ощущал своего тела, словно пребывал одновременно и здесь и там. Но где и что это «здесь» и чем оно отличается от «там»?

Мир вдруг стал беспредельным, словно в комнату, где я только что лежал, вошла вселенная. Затем исчезнувшее на миг мое «я» вернулось ко мне. Я летел в прозрачном аппарате над песчаной пустыней.

Красивый женский голос сказал негромко:

— Марс. Море времени.

Он был близко, этот чудесный мелодичный голос, и одновременно бесконечно далеко, словно в прошлом. В нем была конкретная реальность настоящего и что-то от воспоминания.

— Пролив Нерейд.

Молчание.

— Северный Сырт. Утопия.

Потом, как на картине итальянского Возрождения, я увидел лицо девушки на фоне неба, и оно чудесно ожило, это лицо, приближаясь. Мелодичный голос произнес вне и внутри меня:

— Эллада. Море змей.

Ощущение полета во сне. И музыка в ушах. Сердце бьется учащенно.

Внезапный поворот во времени и пространстве. И вот я уже иду по аллее сада. Впереди — прозрачная стена. За стеной — ничего. Вакуум. Бездонное и пустое пространство.

Голос девушки, словно приближаясь не то из прошлого, не то из будущего, говорит, преодолевая время:

— Межпланетная космическая станция Балашово.

Я иду и иду, и тонкая прозрачная стена отделяет меня от физического «ничто», от вакуума. Возле прозрачной стены у самого «ничто» играют дети.

Мяч летит. Он ударяется в прозрачную стену и без звука отлетает от нее. Стена беззвучна.

Я подхожу к детям. Их четверо: две шестилетние девочки и два мальчика. Один совсем крошка. Карпуз смотрит на меня, вытаращив синие глазенки.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Витя.

— А что там, за стеной?

— Пустота, — отвечает он равнодушно.

— А ты не боишься туда провалиться?

— Чего бояться? Стена. Она высокая-превысокая.

Катя вчера сказала: «Она до неба». Но здесь ведь нет неба, дядя. Небо только на Земле.

Снова ощущение легкости, ощущение полета во время сна. И музыка.

Передо мной озеро. Сквозь прозрачную синеву воды видно, как плывет окунь.

Рядом с плывущим окуном возникает поле ржи. Над рожью — облако. Я иду по тропе во ржи. Где-то близко поет жаворонок. Озеро и рожь сливаются, как слова в стихотворении. Близко возле меня плывет окунь. Я вижу, как шевелятся его красные плавники.

Вся свежесть мира здесь, рядом, внутри и вне. Безмятежно и хорошо, как бывает только рано утром.

Доносится ржание лошади. Этот звук словно перемещает пространство. Возле меня синева леса. Белка

скользит между косматых ветвей лиственницы. Острый запах хвои.

Резкий поворот. И опять ощущение полета во сне.

Я вижу своего отца. Он сидит за обеденным столом и смотрит на меня из-под густых седых бровей.

— Леонардо,— говорит он, размышляя вслух,— был удивительной личностью. В этом отношении он похож на свое время.

И вдруг к воспоминанию об отце присоединяется нечто никогда не виденное мной и не представимое.

Фабрика фотосинтеза. Я стою возле аппарата, который ловит солнечный луч и превращает его в органическое вещество.

Передо мной возникает ветвь яблони с красными яблоками, ветвь, созданная как бы из ничего.

Все окутано тихой мелодией: машины, люди и роботы, похожие на людей.

Девушка-робот спрашивает меня:

— Вы устали?

— Ничуть.

Она стоит возле меня, и мне кажется, что я слышу, как бьется ее сердце. На ее невыразительном лице появляется улыбка.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— У меня нет имени,— отвечает она.— Да и зачем оно мне? И что такое имя?

— Имя — это слово,— говорю я,— отнюдь не выражающее сущности того, кто его носит.

— А что такое сущность? У меня нет сущности. Я не человек. Я робот. Мою сущность меняют соответственно программе. Я явление. Явление без сущности.— Она рассмеялась.— Мы затеяли с вами слишком серьезный разговор. Я механический слуга. Мое дело — угадывать желания людей и служить им. Механическая рабыня. Да, рабыня! Древнее слово. Но я обучена и древним словам. Я знаю историю. Не огорчайтесь. У меня нет души.

— У вас нет души? — удивленно воскликнул я.— Тогда у кого же она есть, душа?

— У людей.

Она любезно улыбнулась и исчезла.

И сразу исчезла фабрика фотосинтеза.

Возник космический пейзаж, черное небо, полное звезд. Меня снова охватило ощущение беспредельности.

И вдруг мир укоротился. Я снова в той комнате, в которой триста лет протекли быстро, как час.

Павел Погодин, потомок мой, стоял возле моей постели.

— Ну как вам понравилось путешествие? — спросил он меня.

— Путешествие? А я думал, сновидение, хотя мир слишком реален, слишком веществен для сна.

— Еще бы,— усмехнулся он.— В реальности того, что вы видели и пережили, не приходится сомневаться. Это была действительность в снятом виде. Вернее, сгусток ее.

— Но у этой действительности причудливая логика сна или волшебной сказки.

— Не совсем,— перебил он меня,— сон, в сущности, алогичен. А в том, что вы видели, была логика, но вы ее не уловили.

— И все-таки — жизнь это или искусство?

— Хотите поговорить на философско-эстетические темы? Ну что ж, если вы не устали, я прочту вам что-то вроде лекции... В палеолитическую эпоху неизвестный и безымянный охотник смешал охру с жиром и изобразил на стене пещеры бегущего быка. Это была первая человеческая попытка схватить движение, а следовательно, пространство и время, и передать их сущность. Вы мне скажете, что живая речь, язык, слово, осмысленный звук, звук, проникшийся плотью вещей и чувств, возникли раньше рисунка. Но линия и цвет могли передать то, чего не могло передать слово,— пространство, движение во всей жизненности. От палеолитического рисунка до кинокадра и телевидения прошло тридцать тысяч лет. Ваша жизнь прервалась, точнее говоря — замедлилась как раз в эпоху расцвета кино и телевидения. Ну, а что произошло за эти триста лет? Человечество победило пространство и время. Наука и техника нашли новый способ отражения текущего бытия, они смогли остановить мгновение и, наоборот, запечатлеть Эйнштейново время, дали человеку возможность пребывать в различных пунктах мироздания. Вы скажете, что и кино с телевидением давали возможность, сидя у себя дома, обозревать весь земной шар. Но в нашем новом способе видения мира есть принципиальное отличие от старого. Новое видение — это синтез ваших опредмеченных размышлений и дум с живой реальностью, снятой в обычном време-

ни и времени Эйнштейновом, где скорость равна скорости света... Но я вижу, вы утомились. А вам нельзя переутомляться. Пока нельзя. Итак, до завтра, дорогой Павел Дмитриевич.

7

Проходя по коридору, я каждый раз ускорял шаги, чтобы не встретиться с Чернявским. Он делал вид, что не замечает меня. Я тоже делал вид. Но еще как замечал! Он был для меня самым заметным человеком в институте.

В лаборатории генетических проблем, которой руководил Чернявский, я был всего два раза, хотя она находилась рядом с нашей лабораторией. И не потому, что меня не интересовала генетика, а потому, что там работал Чернявский.

В лабораторию генетических проблем мог войти каждый, кроме меня да еще, кажется, Чемоданова. Таким образом, между мною и Чемодановым протянулась невидимая нить. Мы оказались с ним рядом. У нас не было с ним ничего общего. Ровно ничего. Но Чернявский, по-видимому, придерживался на этот счет другого мнения. Почему? Оставалось только гадать. Я не собирался выяснять свои отношения с Чернявским. Пока не собирался. Для этого я был слишком самолюбив.

Все старались напомнить мне о нем. Как раз в эти годы генетика вместе с кибернетикой стали самыми модными науками. А профессор Чернявский ведь пытался соединить эти две науки — кибернетику и теорию наследственности. И сотрудники нашего института, особенно молодые, ни о чем так много не говорили, как о последних работах Чернявского.

Живые существа и время! Узел времени, такого странного и загадочного, узел, куда сходились все нити, мгновения и века, держал в своих руках этот темноволосый коренастый человек, с тем чтобы развязать его, этот узел, раз навсегда. Что это означает? Не означает ли это, что Чернявскому откроется тайна жизни и тайна времени и он увидит ту точку, то непостижимое, откуда все началось? Но если так, он почти бог, бог экспериментальной биологии. Молодежи он и казался таким вот богом. И он, этот бог, невзлюбил

меня. Хорошо, что об этом почти никто не знает. Но кое-кто уже догадывается. Маша Зет, помощница Алешки Димины, спросила меня недавно:

— Что это Чернявский морщится, когда завидит тебя?

— А может, тебя, а не меня?

— Нет. Со мной он, как со всеми. Мил. И приветлив.

Я не стал продолжать этот разговор. В лаборатории Чернявского работало много молодых сотрудников и сотрудниц. Многие из них приглашали меня заглянуть к ним, но я каждый раз отвечал:

— Некогда.

И делал вид, что меня нисколько не интересует генетика. А она меня очень интересовала.

Чернявский — так казалось мне тогда — создал в своей лаборатории нечто вроде станции, что-то вроде переговорного пункта. Он расположился как бы в самом центре времени и бытия. Нуклеиновые кислоты и опыты с дрозофилами информировали его о тех таинственных процессах, которые соединяют нас с предками и потомками. Он знал «код», «шифр», с помощью которого все поколения всех живых существ на Земле могли вести беседу, ни на секунду не прерывая ее в течение сотен миллионов лет.

И вот этот человек разглядел во мне нечто такое, чего не разглядывали другие и даже я сам. Не мог же он относиться ко мне так без всякой причины. И я сам искал в себе эти недостатки, почти уверенный, что они у меня должны быть.

* * *

Мы жили с Ольгой на даче в Карташевке. Коле было всего полтора года. Он учился произносить первые слова, называя вещи теми именами, которые им дали люди, жившие задолго до нас.

Колю мы видели только по выходным дням. Утром рано мы уезжали на работу, когда он еще спал. Вечером мы приезжали слишком поздно. Но зато выходные дни мы проводили с ним, уводили его гулять в тенистый карташевский лес.

Мы садились на полянке, расстелив на траве плащ. Ребенок играл, собирал шишки, а мы сидели и разговаривали. Оля редко рассказывала о своей работе. Она работала в физиологической лаборатории, изучавшей

космические проблемы. А я, начинающий цитолог, смотрел на физиологию немножко свысока, как многие цитологи и биофизики, считая, что физиология после смерти Павлова и Орбели топчется на месте.

— Ну, что у вас в институте? — спросил я, однако все же думая про себя: что может быть нового в науке, в которой свило уютное гнездо так много посредственных и консервативных людей, людей, умеющих делать ложно-значительную мину, вроде нашего Чемоданова?

Ольга рассмеялась.

— Представь себе, этот же вопрос мне задал сегодня один слишком развязный очеркист и тоже таким же высокомерным тоном. «Девушка, — сказал он мне, — у вас такое выражение лица, словно вы собираетесь играть в чеховской пьесе». — «Допустим, — ответила я, — ну и что же?» Он усмехнулся и сказал: «Чеховским героиням ближе вишневый сад, чем электромагнитное поле Земли...»

— Отчасти он прав, этот журналист. Ты действительно похожа на чеховскую героиню.

— Благодарю за комплимент.

Мы беспечно разговаривали, не думая ни о чем серьезном, играли с ребенком. Над нами висело безоблачное июльское небо. Где-то в лесу куковала кукушка протяжно и мелодично, словно вливая в свой светлый звук все лесное безмятежное прекрасное летнее бытие, окружающее нас.

К вечеру мы вернулись домой. На столе лежала телеграмма. Я распечатал ее и прочел: «Приезжай тяжело болен отец».

* * *

Отца в живых я уже не застал. Он лежал на своем старом диванчике, холодный и отчужденный, безмолвный слепок того, кем он был.

Через неделю после похорон, просматривая отцовские рукописи, я обнаружил незаконченную статью о Леонардо да Винчи, которая меня чрезвычайно заинтересовала.

Впрочем, это была не статья, а скорее дневник. Слишком много личного. И, может быть, именно поэтому я с необычайной остротой почувствовал, что связывало моего отца, человека, в сущности, очень обыкновенного, заурядного профессора, с одним из ге-

ниальнейших людей далекого прошлого. Между тем и другим стояла стена из нескольких веков. И дело было не только в том, что мой отец изучил все, что оставил после себя Леонардо, но в том, что он мысленно восстановил его личность, его внутренний мир и его время. Но главное не это. Меня ошеломила мысль отца о том, что Леонардо был как бы заброшен из будущего, где значительно изменился человеческий ум и человеческие чувства.

Эта мысль была фантастичной, она противоречила всему тому, что я знал об отце, человеке чрезвычайно трезвом, историке, признававшем только документ, только факты, и притом проверенные по многу раз. И вдруг эта мысль, романтическая и наивная, ничем не подтвержденная, противоречащая логике, здравому смыслу. Уж не воображал ли отец, что Леонардо был ребенком доставлен с другой планеты?

Я рылся в черновиках отца, ища продолжения статьи. Мне хотелось получить ответ на вопрос, который меня страстно занимал. Но черновики не имели никакого отношения к незаконченной статье. Это были скучные, написанные сухим академическим языком страницы учебника истории для вузов. В них, в этих страницах, отразилась та половина личности моего отца, которую так ценили некоторые его коллеги, доценты и профессора, влюбленные в бесстрастную и сухую точность и не понимавшие, что жизнь, история и документ — это не одно и то же.

8

Всеволод Николаевич Обидин редко пользовался отпуском. Увлеченный работой, он обычно и лето проводил в своей лаборатории. Но в этот раз он решил отдохнуть. Уж слишком знойное и душное стояло лето.

Обидин не любил санатории, дома отдыха, дачи, предпочитая странствования по незнакомой местности с рюкзаком за спиной. Мы провожали его на перроне Московского вокзала в Горный Алтай, желая ему счастливого пути. Но путь оказался не очень-то счастливым.

Через две недели от Обидина пришла открытка, адресованная всем сотрудникам лаборатории, восторженно описывающая красоты алтайской природы. Но

вслед за открыткой прибыла телеграмма, из которой мы узнали, что у него сломана нога в результате «микрокатастрофы» (обидинское словечко) на Семинском перевале. Что это была за «микрокатастрофа», мы так и не узнали.

Открытки и письма, которые посылал нам наш шеф из больницы, были с юмором, чуточку, правда, нарочитым и демонстративным, и свидетельствовали не столько о душевном настроении и самочувствии писавшего, сколько о его желании казаться веселым и бодрым.

Вернулся Обидин неожиданно, без всякого предупреждения, похудевший, прихрамывающий, необычайно бодрый и энергичный. За два месяца пребывания в больнице у него родилась идея, которая торопила и его, и его врачей, и природу, заставив его стать здоровым раньше срока.

Что это была за идея?

Пока о ней знали только я и научный сотрудник Димин, но знали не так уж много. Обидин, в сущности, показал нам только леса, а не само здание.

Помню, как после разговора с Обидиным я возвращался из института. Мы с Ольгой и Колей жили на даче в Карташевке. Размечтавшись, я проехал свою остановку и ждал обратного поезда в Сиверской. Загрело. Надвигалась гроза с молниями и дождем. Но я почти ничего не замечал, весь погрузившись в лихорадившие меня мысли.

В продолжение многих лет Обидин вел опыты и исследования на клеточном уровне. Ему не раз доводилось замедлять жизнь клеток, почти приостановив ее ход, и, преодолев значительное время, снова возвращать их к бытию. Сейчас речь шла уже не об отдельных клетках, а об организме в целом, организме — этой сложнейшей системе из всех систем. Клетки выдерживают замедление, почти остановку жизненных процессов, но выдержит ли нервная система, мозг? Сохранится ли, или, вернее, возобновится ли, само сознание?

Наконец подошел поезд. Я сел в вагон и сразу, забыв, куда я еду, погрузился в размышления. Я опомнился только тогда, когда, оглянувшись, увидел позади знакомый мне домик.

В этот раз я уже не стал ждать поезда, а пошел пешком под проливным дождем.

— Что это? — спросила Ольга, увидя меня, промок-

шего и усталого.— Уж не шел ли ты пешком из Ленинграда?

— Почти угадала,— сказал я,— я так торопился домой, что не дождался поезда.

— Это похоже на тебя. Ты нетерпелив. И в Ленинграде всегда ходишь пешком, чтобы не стоять на остановке и не ждать автобуса. Медленнее, но зато без ожидания.

— А что, если бы жизнь шла без ожидания?

— Тогда бы неинтересно было жить.

Я переоделся, рассеянно и наскоро поужинал, подошел к кровати, где спал Коля, постоял и отошел.

— Чем ты так взволнован, Паша? Что случилось?

— Ничего. Лично со мной ничего. Но мир изменится, изменится все, если удастся реализовать новую идею Обидина. Изменятся вещи, понятия, время, сама жизнь, слова. И особенно изменится слово «ждать».

Ольга рассмеялась.

— Ты хочешь сказать, что ты станешь более терпеливым, разучишься нервничать и торопиться? Что это за идея?

Мы проговорили почти до рассвета.

Ольгу идея Обидина увлекла не меньше, чем меня. Если опыт удастся, то в биологической науке произойдет грандиозный скачок, и живые организмы обретут почти бессмертие, жизнь и удлинится почти безгранично.

Мы сидели рядом и смотрели друг на друга, словно наука уже подарила нам безграничную власть над временем.

— Интересно,— спросила Ольга,— кому Обидин поручит вести этот опыт? Если тебе, то тебе придется и ночевать в институте...

Я сделал всего несколько шагов по комнате — от стены, где стояла койка, до дверей. Дверь раскрылась. Еще шаг, и этот шаг сказочно растянулся и перенес меня в другой мир.

Рядом со мной шел мой тезка и потомок Павел Погодин.

— Чутьочку медленнее,— сказал он.— Вам нельзя ходить так быстро.

И, как только раскрылись двери, пространство сдвинулось.

Приятное ощущение легкости и свободы овладело мной. Так я чувствовал себя в юности или в детстве.

— Далеко ваша квартира?

Павел рассмеялся.

— Квартира? Недавно я вспомнил это допотопное слово, перечитывая «Преступление и наказание». Гениальный роман! Нет, я живу недалеко. На берегу горной реки Катунь. В шести тысячах километрах от места работы.

— И поспеваете на работу? В мое время скорый поезд доставлял пассажира из Ленинграда на Алтай за пять суток.

— Сейчас я трачу на это сорок — сорок пять минут — не так уж мало, если учесть, что требуется столько же времени на обратный путь. Полтора часа...

— Почему так далеко?

— Край нравится. Заповедное место. А я помешан на рыбной ловле. Люблю шляться в лесу. Когда-то существовало милое словечко «бродяга».

— А сейчас не существует?

— Возможно, и сохранилось где-нибудь в далеких уголках мира, где-нибудь на Сатурне или на Венере... Романтическое словечко, чуточку, правда, театральное. А еще было слово «странник». Оно уже вышло из употребления, кажется, в ваше стихийно буйное время. В детстве я увлекался исторической лингвистикой, коллекционированием старинных слов...

Действительно, через сорок пять минут мы очутились с Павлом на тропе в пихтовом лесу. Круто убегала ввысь гора, и гремела прозрачная река.

Я остановился, жадно вбирая в себя грохот, гром, звенящее падение воды, весь этот пахнувший пихтовыми ветвями мир. Остановился мой тезка-потомок.

— А где же поселок? — спросил я.

— Поселок? Здесь поблизости нет населенных пунктов. Живу я со своей семьей. Дом в трех шагах отсюда, в лесу.

— Робинзонада?

— Ничуть. И какое может быть одиночество, когда любого, самого отдаленного пункта планеты можно достичь за час пребывания в машине быстрого

движения. До ближайшего населенного пункта три минуты.

— И все живут так вот — на лоне природы?

— Нет, разумеется, не все. Ведь не все любят природу.

— А насколько же увеличилось население планеты за эти триста лет? И разве может хватить на всех желающих вот таких красивых уединенных ландшафтов?

— Людей действительно много. Во много раз больше, чем в двадцатом веке. Но ведь один экономист прошлых столетий подсчитал, что, если бы люди всего мира собрались в одном месте на митинг или на грандиозную сходку, они заняли бы площадь не больше Баденского озера в Швейцарии. Вся остальная поверхность Земли на эти часы осталась бы свободной от человека. Человечество, взятое вместе, составляет очень небольшую часть всей живой массы планеты, растительной и животной. Людей сейчас во много раз больше, чем триста лет назад, но всем хватает места. И по очень простой причине — благодаря средствам передвижения, транспорту, возможности быть здесь и везде. А кроме того, новые средства связи. Пребывая здесь, на берегу Катуня, я могу общаться с друзьями, удаленными на сотни миллионов километров, с новоселами Венеры, Марса и всех бесчисленных космических станций.

— Здесь и везде, — повторил я, — там и тут. Но не означает ли это, что не тут и не там, везде и нигде. Не есть ли это распыление сил, чувств, мыслей, самого бытия?

— Так думали противники технического прогресса, новой научной и технической революции. Они предполагали, что слишком быстрое движение лишит личность глубины и содержательности, сделает человека суетящимся, вечно куда-то спешащим существом. Но они ошиблись. Быстрота движения не помешала людям размышлять, чувствовать полноту и прелесть бытия, наоборот — человек освободился от спешки, от нетерпеливой заботы, от боязни чего-то не успеть, куда-то опоздать. Он знает, сколько минут и часов от дома до места работы и от места работы до любого пункта солнечной системы. В наше время опаздывает только тот, кто этого очень хочет. Но идемте! Нас ждут. Тропа ведет прямо к дому.

Воздух был синь и прозрачен, как река. Река неслась и шумела внизу под скалой. На другом берегу стояла гора.

Я крикнул. И, как в раннем детстве, радостно и протяжно мне ответило густое эхо из леса.

Я крикнул еще раз. И бытие мое как бы раздвоилось. Два голоса окликали друг друга, разделенные скалой.

Для чего я кричал? Уж не искал ли я сам себя в этом новом мире? Я словно не верил в свое существование и хотел снова и снова убедиться в том, что я живу, дышу, двигаюсь, вижу и слышу.

Прекрасное спокойствие окружало меня. Лес. Прозрачная, неистово несущаяся по камням горная река. И толстые белые березы рядом с черными пихтами, карабкающимися на круто уносившуюся ввысь гору.

Я стоял на тропе.

Меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Это был мой тезка и потомок Павел. Он держал в руках два длинных бамбуковых удилища. Одно удилище он передал мне вместе с прозрачной, как воздух, коробкой, где бились толстые слепни. Они бились, не замечая перегородки, отделяющей их от мира.

— Ловили когда-нибудь хариусов? — спросил Павел.

— Не довелось, — ответил я. — Ведь прожил-то я всего тридцать пять лет. И многого еще не успел в том мире, вернее в том времени, в котором жил раньше.

— Да, это верно. У вас ведь два опыта, две жизни. Та и эта. Два начала. Ну что ж! Разве это так уж плохо?

По узкой тропе мы спустились к реке. Я выбрал самого толстого, упитанного слепня, надел его на крючок и, взмахнув удилищем, далеко закинул леску с наживкой.

Через минуту я забыл о своем спутнике. А он, вероятно, забыл обо мне. Наличное бытие, весь этот прекрасный, сказочно растянувшийся миг, наполненный звенящей водой и прозрачной синью, принял меня со всем моим прошлым, замкнув в этом покое.

Леска натянулась. Хариус схватил наживку.

Миг превратился в день, а затем в неделю.

Я гостил у Павла, подружился с его семьей.

Павел и его семья жили в небольшом, сказочно менявшемся доме с убиравшимися стенами. По желанию живущих стены дома становились то глухими к шуму, слепыми и не пропускающими света, то идеально прозрачными и зоркими, вбиравшими в себя все окружающее пространство: реку, горы, небо, облака, всю убегающую за горизонт даль. Когда они были не нужны, они просто исчезали.

В доме, что меня поразило, не было вещей. Вещи появлялись — да, именно появлялись по мере надобности вместе с желаниями живущих, ночью — одни, утром — другие, в обеденный час — третьи. Затем они словно растворялись в воздушной среде и теряли свои очертания.

Быт без вещей был прекрасен, как природа. Ничто не отяжеляло взгляд, не отнимало пространства ни в доме, ни возле дома. Воздух, деревья и стены, похожие на струю горной реки.

— И в городских домах тоже нет вещей? — спросил я Павла.

— Они и есть, и их нет, — ответил Павел. — Они появляются по желанию и исчезают. Правда, еще есть люди, которые любят вещь. Ее предметное, тяжелое, осязаемое бытие. Но это их специальность. Ведь эти люди работают в музеях истории быта. Сейчас невозможно смотреть без улыбки на все эти буфеты, комоды, столы, стулья, кровати, горшки. Тяжелые, неуклюжие предметы, красноречиво повествующие о жизни всех этих владельцев движимой и недвижимой собственности. «Собственность». Смешное и нелепое слово! Как слово «таракан». Тараканов уже нет. Их изучают палеознтомологи... В нашем мире вещь перестала быть вещественной. Она развеществилась. Слилась с желанием человека. Сказочная мечта о скатерти-самобранке осуществилась. Теперь вещи служат человеку, находясь в пространстве и времени ровно столько, сколько это нужно.

Я жил, жадно и остро вбирая в себя все, что меня окружало. Второе детство, вторая юность, вторая зрелость, другая жизнь.

Мальчика, сына Павла, игравшего в пихтовом лесу, звали Коля. Ему было пять с половиной лет — почти столько моему Коле, когда эксперимент, проделанный надо мной Обидиным, навсегда разлучил нас с ним и перенес меня из одного времени в другое.

Этот Коля чем-то был похож на моего мальчика, своего предка. Впрочем, в этом возрасте все мальчики похожи друг на друга. Он играл в лесу на поляне недалеко от дома. У него не было игрушек фабричного производства. Он сам мастерил их. Как я позже узнал, ребенка не хотели приучать к готовым вещам и предметам, сделанным чужой рукой. Его приучали самого создавать мир вокруг себя.

Появлялся Коля дома только на час, на два. Затем машина быстрого движения уносила его в интернат, расположенный за несколько тысяч километров от дома. Няня была не нужна. Машина с роботом, заменявшим и шофера и няню, доставляла Колю до места. Пятилетний мальчик не боялся остаться наедине с роботом в машине быстрого движения. Ведь путешествие занимало всего несколько быстрых минут, скользивших привычно и почти незаметно. Оптический аппарат, включенный во время движения, мог в любое мгновение показать мальчику милую улыбку мамы и строгий взгляд отца, принести слова ласки и одобрения из пространства, как бы находящегося и далеко и рядом.

Даль и близь сливались в единство, «тут» и «там» подчинялись желанию Коли, в чем распоряжении были машина и робот. Но мог ли он улететь куда-нибудь дальше интерната или сделать посадку ближе? Я этого пока еще не знал. Я о многом еще не успел спросить Павла, его жену Аню и самого мальчика. Кроме них, в доме жила еще старушка, Анина мать — Людмила Сергеевна. Из всей семьи она одна смотрела на меня настороженно, чуточку испуганно, хотя и тщательно старалась скрыть свои чувства. Виновата ли она была в том, что ее здравый смысл пожилой женщины не мог примириться с парадоксальностью моего существования, объяввшего две разные эпохи и пребывавшего в течение трехсот лет по ту сторону и жизни и смерти? Едва ли! Здравый смысл говорил ей, что в этом кроется что-то непонятное и почти сверхъестественное, противоречившее всему ее личному житейскому опыту, помноженному на опыт многих поколений. Правда, тут были замешаны науки и эксперимент. Ну и что? Здравый

смысл и инстинкт житейской трезвости подсказывали ей, что дело идет о чем-то сомнительном и недостовверном. Она смотрела на меня, как в мое время слишком трезвые и осторожные люди смотрели на фокусника в цирке, творившего мнимые чудеса при помощи ловких рук и профессиональных навыков и при этом повторявшего назойливо и фальшиво: «Граждане, чудес не бывает. А есть только наука и искусство».

Уж не фокусник ли я, не профессиональный ли обманщик, пробравшийся в их дом с какой-то явно сомнительной целью?

Какое я имел право — если это было на самом деле — нарушить логику жизни, извратить законы природы и появиться снова на свет после долгого пребывания «нигде»?

Людмила Сергеевна не могла ко мне привыкнуть. Я этого не мог не заметить. Вероятно, она с нетерпением ждала, когда пройдут все сроки оказанного мне гостеприимства и я вернусь туда, где пребывал так долго, играя в прятки с временем и судьбой. Сроки! Нет, о сроках пока не было речи. Я гостил, и гостеприимные мои хозяева, Павел и Аня, не напоминали мне о том, что пора переменить обстановку. Может быть, следовало мне самому напомнить им об этом? Но имел ли я право распоряжаться своим временем и желаниями? В какой-то мере я был экспериментальным материалом, и все дело зависело от ученых, изучавших дискретные явления жизни и их последствия для человеческого организма.

Людмила Сергеевна наблюдала за мной, по-видимому, вопреки своему характеру, чуждавшемуся всего странного, загадочного и двусмысленного, наблюдала из любопытства. Я замечал иногда взгляд ее глаз, привыкших иметь дело с обыденным, домашним, интимным, прирученным к человеческим навыкам и чувствам, я был для нее словно призрак, обязанный сейчас же исчезнуть, испариться. Но призрак вел себя слишком естественно: он ел, кашлял, жаловался на головную боль, он рассказывал Коле старинные сказки про милых и наивных зверей.

В свою очередь, я тоже наблюдал за Людмилой Сергеевной. Она была тем, что в мое время называли домашней хозяйкой. В отличие от дочери, зятя и внука она не отлучалась на долгие часы из дома. Она пребывала здесь, среди этих стен. Ей не надо было суетиться,

спешить на рынок, в булочную или в прачечную. За нее это делали роботы, полумеханизмы-полуорганизмы. Внутри них происходили такие же быстротечные и сверхэкономные биоэнергетические процессы, как в живом человеке. Что значит сила привычки! Людмиле Сергеевне они казались не более необычными, чем ветви столетней сосны, стоявшей возле дома. В то время как я, обычный человек, не урод и не покойник, одним своим наличием приводил в крайнее замешательство ее рассудок. По-видимому, ради зятя, которого она любила и уважала, она заставляла себя терпеть мое присутствие и не давать волю своим чувствам. Иногда на ее лице появлялась любезная улыбка, она улыбалась мне, но не ради моей особы, а ради зятя и науки. Сколько стоила ей эта улыбка и ласковые слова, обращенные ко мне, ласковые слова, сквозь которые все же пробивались неприязнь и страх.

В ней было много мужества, в этой старушке, заставлявшей себя оставаться в доме вместе со мной, когда отбывали на работе Павел и Аня.

Разговаривая со мной, она тщательно избегала прошедшего времени и употребляла только те слова и выражения, которые ей и мне давали возможность не переступать за пределы текущего мгновения. Я тоже старался при ней не говорить о своем прошлом.

— Вы что любите больше,— спросила она меня, когда мы остались вдвоем,— макароны или цветную капусту?

— И то и другое,— поспешил ответить я.

Как я благодарен был ей именно за эти домашние, прозаические слова! С Павлом и Аней мы больше говорили на философско-отвлеченные темы.

— С соусом или без соуса? — последовал затем вопрос.

— Вы ставите меня в затруднительное положение,— ответил я,— для того чтобы сказать точно, я должен вспомнить, что я любил триста лет тому назад.

Лицо Людмилы Сергеевны исказилось, стало презрительным и гневным.

— Меня не интересует ваше прошлое. Еще учась в школе, я ненавидела археологию и всякие древности.

Какой-то бес дернул меня продолжать в том же духе, в каком я начал.

— Для вас это археология и древности. А для

меня — увы! — это такая же реальность, как вчерашний день!

Наступило продолжительное молчание. Молчанием старушка отгораживалась от меня и от моего прошлого, так неделикатно напомнившего о себе.

11

Там, в бесконечных просторах вселенной, живет другое время, время, враждебное всем человеческим меркам и привычкам.

В те дни я еще не подозревал о коварстве Эйнштейнова времени и с доверием смотрел на свои ручные часы «Москва», где на черном циферблате торопилась только одна стрелка — длинная красная стрелка, отмечавшая секунды. Остальные стрелки не спешили.

Я ждал Ольгу на скамейке бульвара. Мы должны были встретиться здесь, а потом отправиться вместе с ней к Всеволоду Николаевичу с визитом. Я терпеть не могу это жесткое, накрахмаленное слово «визит», но попробуйте-ка найти другое! Ведь я шел в гости не к сверстнику-приятелю, а к пожилому профессору, к заведующему лабораторией, и поэтому мне пришлось долго ждать свою жену, сидевшую в парикмахерской на улице Желябова.

Парикмахер не спешил, он завивал Ольгины волосы, нисколько не сомневаясь в том, что нет на свете дела важнее. Он, этот парикмахер (вспоминаю я сейчас, забегая вперед), делал Ольге прическу и накануне того дня, когда Ольга разлучилась с Землей, чтобы познать другое пространство и другое время. И тогда парикмахер тоже не спешил, хотя, может, и следовало поспешить. Он ведь не знал, что его клиентка отбывает в командировку, продолжительность которой измерялась не днями, а столетиями. А Ольга его не торопила.

Я несколько забежал вперед и спутал времена. Но мне это придется делать часто и впредь...

Ольга не торопилась, а я нервничал. Я знал, как ценит аккуратность мой шеф.

Мы пришли на улицу Салтыкова-Щедрина, где жил Обидин, чуточку опоздав. Все гости были уже в сборе и сидели за столом.

Обидин рассказывал о своей московской тетушке, которой недавно исполнилось девяносто восемь лет.

Девочкой-подростком она присутствовала на знаменитом пушкинском торжестве и слышала речь Ф. М. Достоевского. Сейчас это кажется чудом.

Все вдруг присмирели, очевидно, мысленно желая представить себе промежуток, отделявший нас от той эпохи, когда жили Достоевский и девочка, которой посчастливилось слышать его страстный, задыхающийся шепоток, — девочка, ставшая нашей современницей.

Потом, как это часто бывает в обществе, разговор без всякой причины ушел в сторону и коснулся профессора Чемоданова и недавнего происшествия с его шубой. Рассказывал Димин. Он был большой мастер устной речи, создатель институтского фольклора. На днях вахтерша, охранявшая шубу Чемоданова, отлучилась в буфет, и в это время шуба исчезла. Начался ужасный переполох. Но расторопному водопроводчику Грише удалось задержать вора. И шуба снова висит на своем месте. Она ввела в искушение человека, уже было вступившего на честный путь. Все посмеялись.

Потом какой-то незнакомый мне профессор москвич с полуседыми солидными усами и детскими глазками, совсем уж не профессорскими, напомнил о загадочном случае, сенсационном и парадоксальном, приведшем в крайнее замешательство всех палеонтологов и зоологов, о древней, считавшейся давно вымершей рыбе, пойманной в Атлантическом океане и своим существованием нарушившей все законы эволюции и времени. Ну, пусть эта рыба живет себе на здоровье и резвится в современных водах, как она резвилась сотни миллионов лет тому назад, еще в палеозойскую эру, но из-за этой не вовремя выплывшей рыбы ему, бедному ихтиологу, пришлось переделывать уже печатающийся учебник ихтиологии и оплатить новую работу типографии.

Тут вмешался молодой, красивый и самоуверенный человек, оказавшийся юристом. Он заявил, что ихтиолог не должен оплачивать типографские расходы за переверстку и новый набор: ведь причиной была не небрежность автора, не его прихоть, а прихоть самой природы, выкинувшей неожиданный номер.

Ушли от Обидиных мы во втором часу ночи и долго ждали автобуса.

— Ну, как тебе понравилась эта история с ры-

бой? — спросила Ольга. — Мне больше понравилась история с чемодановской шубой.

— Эти факты, — сказал я, — имеют какое-то внутреннее сходство. Оба из области палеонтологии.

12

В тот же день Людмила Сергеевна призналась мне, сложив губы в полупрезрительную и отнюдь не любезную улыбку:

— Я не могу привыкнуть к вам. Не могу! Все мои чувства насторожены. Кто вы?

— Я — Павел Погодин. Павел Дмитриевич. Тетка и предок вашего зятя. Разве вам это не известно?

— Предок! Вдумайтесь в смысл этого слова: не означает ли это, что вы не должны пребывать здесь?.. Здесь Коля, ребенок, мой маленький внук. От него тщательно скрывают ваше прошлое. Ему еще рано знать, что невозможное стало возможным. Да и стало ли? Не хочется в это верить.

— Я не очень настаиваю, чтобы вы верили. Забудьте о том, что у меня две жизни. Вообразите, что я просто гость, знакомый вашего зятя, наконец просто человек, которого ваш зять изучает. Он ведь ученый.

— Он мог бы изучать вас там, в своем институте.

— Но, помилуйте, я же не сам напросился на гостеприимство вашего зятя. Не далее как вчера я намекнул ему, что мой визит несколько затянулся и не пора ли... Но он не дал мне даже закончить фразу. «Нет, не пора». Он долго и терпеливо объяснял мне, что мое пребывание здесь, в этих благодатных местах, необходимо для моего еще не окрепшего организма и для науки, интересам которой он служит.

— А все-таки, кто вы? Кто вы — не в том смысле, что у вас есть имя, отчество и фамилия, а в другом, более существенном? Мои чувства не хотят признать вас как нечто законное, естественное и соответствующее обычной реальности. Если бы вы мне сказали, что это мистификация, дурная, нелепая, абсурдная шутка, я бы очень обрадовалась.

— Ну, хорошо, — сказал я, — считайте, что все это мистификация и абсурд. Мне, наконец, это надоело. Я тоже устал от ваших сомнений и вашей откровенности. Согласитесь сами, не для того же я пребывал

столько лет в состоянии анабиоза, чтобы сидеть здесь, на этой тихой периферии, вдали от центра жизни.

Меня начала раздражать эта старая женщина, явно тяготившаяся моим присутствием и не хотевшая от меня это скрывать. За откровенность я платил ей откровенностью. Мне приходилось проводить слишком много времени в ее присутствии. В доме в эти часы не было никого. Чтобы не раздражать ее, я либо уходил в лес, либо замыкался в молчании. Но она, как все старушки всех времен и народов, не любила молчания, сама начинала разговор со мной, и обязательно о моей скромной особе, о том двусмысленном и загадочном, что, по ее мнению, было связано с моей странной и не располагающей к себе личностью.

Однажды она спросила меня:

— А почему вы согласились и дали ученым возможность совершать над вами этот возмутительный и противоестественный эксперимент? — Она строго посмотрела на меня и продолжала: — Только не пытайтесь уверить меня, что вы это сделали ради науки и общества, скажите истинную причину.

— Я не собираюсь ее скрывать. Дело в том, что моя жена отправилась в космическое путешествие на фотонном корабле и, согласно теории относительности, должна вернуться на Землю примерно через триста лет. Я ее жду. Разве ваш зять не сказал вам об этом?

— Может, и говорил, но я пропустила его слова мимо ушей. А скорее всего — умолчал. Он считает меня отсталой, старомодной, консервативной женщиной и разговаривает со мной преимущественно о вещах очень конкретных и близких, а главное — понятных.

На последнем слове она сделала ударение. И повторила:

— А главное — понятных.

Я сделал вид, что не обратил на это внимания, и продолжал:

— И вот я жду ее. Свою жену. Я ждал ее триста лет. Ее отбытие в столь длительное путешествие и дало мне право подвергнуться всему, чего требовал от меня эксперимент. Желających анабиозироваться было много. Но, во-первых, я сам работал в лаборатории дискретных проблем, а во-вторых, мне хотелось увидеться с женой.

Людмила Сергеевна посмотрела на меня с любо-

пытством, но к этому любопытству примешивалось нечто злорадно-насмешливое.

— И вы хотите подкупить меня этой сентиментальной историей? Не удастся! Мои чувства насторожены. И даже если это было в самом деле так, имели ли вы право, вы и ваши экспериментаторы, нарушать естественный ход жизни? В вашем состоянии и поведении есть нечто противоестественное.

— Возможно,— ответил я.— Но ведь согласитесь сами, что кому-то, скажем, моим современникам, показалось бы противоестественным многое из того, что вы считаете привычным. Скажем, робот-няня, который или которая отвозит Колю в интернат в машине быстрого движения. В мое наивное время ни одна мать не доверила бы своего ребенка бессердечному автомату, ни одна мать, и тем более ни одна порядочная бабушка.— Я не без умысла подчеркнул интонацией голоса это слово.— Да, ни одна уважающая себя бабушка.

— Бессердечному? Откуда это вам известно? Да ведь дело совсем не в этом, есть или нет сердца. Важнее другое: няня-автомат застрахована от ошибок и случайностей. Ее бесперебойная работа гарантирует от всяких несчастных случаев, на нее можно положиться.

— Своего сына Колю я бы не доверил не только механической, но и живой няне. Я сам отвозил его в детский сад Академии наук, что на Университетской набережной, и сам привозил его оттуда. Я терял на это ежедневно почти два часа. Но никогда не жалел об этом. Мне эти два часа доставляли радость. Я брал своего мальчика, вел к троллейбусной остановке. Затем он залезал ко мне на колени. За стеклом троллейбуса бежали дома, мелькали пешеходы, деревья. Я смотрел сквозь стекло троллейбуса словно Колиными глазами. Все вдруг свежело, молодело, становилось огромным и загадочным. Мое существование в эти часы как бы сливалось с Колиным. Мы читали вместе с ним по слогам вывески и соединяли вместе не только буквы и звуки, но и то, что в тысячу раз конкретнее букв и звуков: суть и облик вещей. Сквозь оболочку привычных названий магазинов, ресторанов, кафе, учреждений пробивались сказочные миры. Иногда мы читали не слева направо, как полагалось, а справа налево, извлекая странную музыку из каждого слова и названия. Поездка в троллейбусе никогда не казалась нам слишком долгой.

Наоборот, мы с сожалением покидали свое место, когда троллейбус подбегал к последней остановке. «Папа,— однажды спросил меня Коля,— а есть где-нибудь такой троллейбус, который бежал бы без остановки день, неделю, месяц, год, сто лет... Все бежал бы и бежал, забыв остановиться... Есть?» — «Нет, такого троллейбуса нету, Коля, и не может быть. Он не нужен людям». Я ответил, может быть, чересчур категорично, если учесть все последующее. Но Коля все равно не поверил мне. В его детском воображении уже возник этот чудесно бегущий троллейбус. И своему воображению Коля поверил больше, чем моим равнодушным словам. Коля был очень забавный мальчик.

Людмила Сергеевна слушала меня, пока не прерывала. Но в ее глазах по-прежнему играло насмешливо-настороженное выражение.

— Однако же,— сказала она,— ваша любовь к своему забавному мальчику не помешала вам бросить его, бросить навсегда. По-видимому, эксперимент вам был дороже, чем мальчик. Вы пожертвовали мальчиком ради сомнительной возможности анабиозироваться, изведать холод временного, но все же довольно продолжительного небытия.

— Во-первых, я жертвовал не им, а прежде всего собой. Мой мальчик был окружен заботой.

— Но вы расставались с ним навсегда!

— Да, если хотите, навсегда. Но я расставался навсегда не только с ним, но и со всеми своими современниками. Я расставался с временем, в котором родился и жил, с домом, с товарищами, с институтом. Со всем тем, что необходимо каждому человеку.

— И вы еще упрекаете в бессердечности искусственную няню моего внука! Вы, совершивший бессердечный поступок! Вы...

Она, по-видимому, еле сдержала себя, чтобы не наговорить мне лишнего. Но потом спохватилась, вспомнив о просьбе зятя и дочери быть со мной внимательной.

— Извините. Я стара. Отстала от жизни. И, должно быть, многого не понимаю.

— Не прибедняйтесь!

Это словечко из лексикона моего времени подвернулось на язык случайно.

— Что вы сказали? — насторожилась Людмила Сергеевна.— Я не поняла.

— Не прибедняйтесь.

По-видимому, это выражение давно вышло из употребления.

— Вы говорите дерзости, молодой человек.

— Какие дерзости? Помилуйте. Наоборот. К тому же я отнюдь не молодой человек. Вы забыли, что я старше вас на двести с лишним лет.

— Я не хочу ничего об этом знать.

Она встала. И только она встала, как сразу потерял очертания, а затем и исчез стул, на котором она скрылась в своей комнате. Появились стена и дверь и отделили ее от меня.

13

Обидин в приподнятом настроении. Он ходит из угла в угол, иногда бросая взгляд туда, где ожидает своей участи красавица белая мышь, предназначенная для очередного опыта.

Обидин спрашивает меня:

— Как вы думаете, стал бы Гете писать своего «Фауста», если бы жил в наше время?

Я отвечаю:

— А почему бы нет? Идея не плохая.

— Не плохая, но не современная. Что мучило гетевского Фауста? Что не давало ему покоя? Мысль о невозможности безусловного, абсолютного знания.

— Мне бы его заботы.

— Не отшучивайтесь и выслушайте. Гете работал над «Фаустом», когда крупные ученые, подобно Лапласу, мечтали о емкой формуле, способной объять весь мир. В непокое Фауста, дорогой философ, в непокое Фауста, мечтавшего о безусловном и абсолютном знании, много общего с непокоем Лапласа. В наше время ученые уже не страдают тем, чем страдали Фауст и Лаплас, не мучаются от сознания невозможности абсолютного знания. Они понимают, что вселенная настолько богата частностями, настолько разнообразна, что ее нельзя объять одной формулой. Они знают, что каждое событие вовсе не предопределено заранее.

— Как это думали механисты,— перебил я.

— К черту механистов! Не в них дело... Не знаю, как вы, дорогой философ, но в молодости и я мечтал об абсолютном знании. Я тогда не был знаком ни

с теорией вероятностей, ни с квантовой механикой, я думал, что можно вместить в формулу весь мир... Но, друг мой, если нам удастся реализовать нашу дерзкую идею, наш парадоксальный замысел, мы подойдем почти к абсолюту.

— Почти? По-видимому, все дело в этом «почти»?

— Да, в этом главная особенность современной науки. Без «почти» нельзя познать мир. «Почти» — это то, что связывает абсолютное с относительным, в сущности странной для всякого рассудка связью. Мир неисчерпаем и богат неожиданностями. Разве не будет неожиданностью для науки, если мы докажем, что смерть — явление вовсе не абсолютное, что организм можно оживить? Мы освободим человека от железного детерминизма времени, откроем перед ним безграничный простор.

— Но пока речь идет ведь не о человеке, — сказал я, — а всего только о белой мыши. Это ей, с вашего позволения, будет дано интимно познакомиться с будущим, перескочив через настоящее. Анабиоз! Не совсем, впрочем, удачный термин. Жизнь с перерывом, с длинным антрактом, антрактом на несколько столетий...

— Вы забыли о том, что опыт, сколько бы он ни длился, не должен пережить экспериментатора. Откуда я буду знать, что вот эта самая белая мышь проснется после своего затянувшегося на несколько столетий сна?

— Да, я об этом забыл.

— А может, она не проснется. Не победит время... Еще будучи студентом, я страстно стал интересоваться проблемой времени. Меня удивляло, что все мои знакомые, и умные и неумные, вовсе не рассматривали время как проблему. Они смотрели на часы с таким видом, словно часовые и минутные стрелки возникли и появились на свет вместе с самим временем. Им не приходило в голову, что у времени нет начала и не будет конца. Их жизнь шла в одном ритме с ходом часов. Время и они, живущие, составляли одно целое. Ведь рыба, плавающая в воде, вероятно, считает, что она движется в пустом пространстве... В ту зиму, когда я так много думал о времени, я познакомился с теорией относительности. Меня поразила мысль Эйнштейна, его видение мира. Эта дивная и мощная мысль выхватила меня из окружающей обыденной жизни и унесла с собой в космос. Я увидел Землю как бы со стороны, из

космоса. И тут передо мной возникла другая проблема, уже не теоретическая, а практическая. Человеческая жизнь коротка, как же человек станет хозяином времени и пространства?

— Но, однако же,— прервал я Обидина,— вы стали заниматься не физикой и астрономией, а биологией, анабиозом, вы взяли себе в учителя не Циолковского и Эйнштейна, а профессора Бахметьева и Петра Юльевича Шмидта.

Бахметьев ближе к Циолковскому, чем вы думаете. Один дополняет другого. Имейте терпение, философ, слушайте меня, не перебивая. Природа хорошо вооружила организм для борьбы с суровой средой. Но человек вооружает сам себя. Тридцать тысяч лет — от верхнего палеолита до эпохи кибернетики и атомной техники шла борьба за овладение окружающей средой. Но что такое время? Это тоже, в сущности, среда. Оно существует в неразрывном единстве с пространством. Нельзя покорить пространство, не победив время. Но кто-то из физиков, кажется Умов, сравнил жизнь человека с заведенными часами. Восемьдесят лет жизни! Что это по сравнению с миллионами световых лет! И я, тогда еще студент-биолог, подумал: а нельзя ли использовать те закономерности, которые выработала природа организма для преодоления среды, в борьбе с временем, для победы над ним? Жизнь прерывна, что нам доказывает анабиоз... Изучить закономерности прерывности жизни, доказать, что обмен веществ вовсе не равен жизни, а затем победить время.— Обидин рассмеялся.— Как вам нравится эта идея?

— Услышал бы вас Чемоданов! Он давно обвиняет вас в поисках абсолюта.

— Я как раз о нем подумал! На заседании ученого совета, не далее как вчера, когда обсуждали перспективный план научно-исследовательских работ, он заявил, что деньги, отпущенные на наши исследования, это все равно... и при этом сделал жест, сложил губы и фукнул с таким видом, словно эти денежки уже вылетели в трубу. Но Чемоданову в этот раз не повезло. Кто-то из наших хозяйственников намекнул о шести сотнях яиц, отпущенных на опыты группы, которую возглавляет Чемоданов.

— А что случилось с этими яйцами?

— Ничего. Поговаривают, что Чемоданов их съел.

— Завидный аппетит!

— А по-моему, он правильно распорядился этими яйцами. Превратил их в свою плоть и кровь. Хорошая яичница лучше плохого эксперимента. А какой из Чемоданова экспериментатор? Он теоретик. Плохой. Неталантливый. Но все же теоретик. Пишет статьи по философии естествознания.

— Не каждого, кто пишет статьи, можно называть теоретиком.

— Вы хотите отказать Чемоданову во всем. Он и не практик. Он и не теоретик. А кто же он?

14

Как выяснилось, у моего гостеприимного хозяина было две профессии. Крупнейший исследователь, биоэнергетик и биофизик, он совмещал свою научно-исследовательскую работу, и теоретическую и экспериментальную, с непритязательной должностью лесного обходчика. Сторож, или, как в мое время называли, лесник. Вот чем он занимался, поселившись на берегу Катуня.

Сообразно этим двум занятиям распределялось и его время. Проведя сорок пять минут в машине быстрого движения, Павел дома задерживался недолго, переодевался, обедал и уходил в лес.

Что он любил больше — теоретические проблемы или лесные тропы? Трудно сказать. Вероятно, то и другое в равной мере.

Иногда он и меня брал с собою. Я надевал соответствующий костюм. Его костюм. Мы были одного роста и одинакового сложения. Специально предназначенный для этого робот помогал мне одеться. Вот это было уже совсем ни к чему и порядком меня смущало. Смущение мое усугублялось еще и тем обстоятельством, что у механического помощника, расторопного и угадывающего все мои желания, было человеческое имя: Митя.

Это имя, простое и милое, звучавшее несколько фамильярно и интимно, облекало своим звучанием нечто стоящее по ту сторону жизни. Митей называли предмет, вещь. Вещь ли? Вещи никогда не бывают разумными, хотя и служат разуму. А Митя был воплощением разума, хотя и относился к существам неодушевленным. Он никогда не ошибался, исполняя

мои желания. Между ним и мной существовала, как я узнал позже, связь, о физической сущности которой в XX веке имели смутное представление. Механических слуг и людей связывало силовое поле, однако же не электромагнитной природы. Физическая сущность этого силового поля была более деликатного свойства, чем грубые электромагнитные волны. Помню, в какую ошибку я впал, сказав однажды при Павле:

— Счастье, что Митя и ему подобные лишены эмоций.

— Как сказать! Он, в сущности, весь состоит из эмоций. Ведь физическая природа силового поля, которое соединяет вас с Митей, имеет прямое и непосредственное отношение к эмоциям. Митя чересчур эмоционален. Он постоянно чувствует ваши переживания и сопереживает вам.

— Тогда это ужасно! — сказал я. — Я думал, что пользуюсь услугами бездумной вещи, автомата, механизма. Я не думал, что он чувствует и переживает.

— Он весь состоит из чувств и переживаний. Он наполнен эмоциями, как лирический поэт или актер-трагик. Но успокойтесь! Он ведь не личность. Его эмоции имеют чисто служебный, утилитарный характер.

— Но он чувствует, сочувствует, сопереживает?

— Эти чувства и переживания существуют в нем не для себя, а для вас. В Мите нет того, что мы называем «я». Митя как бы неотделим от того, кому он служит. Он ваш придаток. — Павел усмехнулся. — Эмоциональный придаток, учтите!

Я с облегчением вздохнул, когда Митя удалился. Мы разговаривали о нем, словно он в самом деле был только вещью, только предметом.

В лесу Павел старался обходиться без роботов. Труд лесника, в сущности, архаический труд, древняя работенка, чуждавшаяся техники.

Я помогал Павлу собирать опавшие сучья. Мы складывали их в кучу и разводили костры. Дым забивался в нос и в глаза, он напоминал мне и Павлу о тех далеких временах, когда люди считали пылающий костер и желтое, мечущееся между ветвей пламя почти чудом.

Посидев у костра, помечтав, полюбовавшись огнем, бросавшим отсвет на воду шумевшей рядом горной реки, мы шли дальше. Павел шел рядом со мной.

По-видимому, он побаивался, чтобы я, чего доброго, не заблудился. Стоило мне отойти на несколько шагов в сторону от тропы и скрыться в густой чаще, как Павел уже окликал меня:

— О-о! Павел Дмитри-евич! Где вы? Ау!..

— Я здесь!

И Павел каждый раз не мог скрыть радость, когда снова стоял рядом со мной.

— Жаль,— сказал он,— что вы оставили дома Митю. Митя бы без всякого «ау» знал, в какой вы стороне. А сейчас он сидит дома и скучает без вас. Я ведь его подключил к вам. Он теперь ваш эмоциональный двойник. Вы ушли, и он уже затосковал. И теперь будет тосковать каждый раз.

— Это хорошо или плохо? — спросил я.

— Я не совсем понимаю ваш вопрос. Кому хорошо? Ему? Мите? Вам? Для Мити не существует ни «хорошо», ни «плохо». Он живет по ту сторону оценивающих принципов. Оценивать может только человек. А Митя — вещь. Эмоциональная, тонко чувствующая вещь, но все же вещь. Что касается вас, вам хорошо. У вас есть помощник, эмоционально слитый с вами, идеально пригнанный к вам угадчик и исполнитель ваших желаний... Примерно сто семьдесят лет назад, еще в двадцать втором веке, физики и биофизики раскрыли физическую сущность некоторых таинственных явлений психики. Вот наглядный и тривиальный пример одного из этих явлений. С хозяином в пути случилось несчастье. Собака, оставшаяся дома, начинает беспокоиться. Она воеет, мечется, выражает свою тоску, свое горе. Откуда она узнала, что в пути с хозяином случилась беда? Об этом еще не знают люди. Но она осведомлена. Какие-то неизвестные науке волны принесли ей известие. Физиологи пренебрегали такими явлениями до тех пор, пока смежные области науки не заинтересовались ими. И вот выяснилось, что живые близкие существа связаны особой связью. Была раскрыта сущность этого силового поля. Мир узнал нечто новое о том, что называют эмоциями. Не сразу пришла в голову ученым мысль наделить эмоциями вещи. Философы и поэты жаловались, что слишком механической становится цивилизация. Бездушные, ледяное поведение роботов, исполнявших физическую и утилитарно-интеллектуальную работу, не удовлетворяло наиболее чутких и тонких людей. И вот совсем недавно техники решили восполь-

зоваться силовым полем, связывающим людей эмоциональной связью, для того, чтобы создать вещи особого типа. На свете появились чувствующие предметы. С наивно философской точки зрения это алогизм, если не полный абсурд. Вещь, объект включил в себя, внедрил нечто присущее только субъекту. Будем рассуждать дальше. Значит, объект стал более субъективным? Уменьшился разрыв между моим «я» и вещью, отраженной моим сознанием? Не так ли? Эти вопросы дискуссионны. Ни о чем так сейчас не спорят философы, ученые, лирики, как о Мите и ему подобных. Пока их немного. Митя — это экспериментальный робот. Он в стадии испытания. Да еще большой вопрос, одобрит ли общество этот эксперимент. Это будет в скором времени решаться. Пока идут дискуссии. Но вернемся к Мите. Кто такой Митя? Или, вернее, что это такое? Во-первых, между «кто» и «что» нужно поставить тире. Митя где-то в промежутке между «кто» и «что». Он и то и другое. И в какой-то мере не это и не то. Его чувства обострены. Он переживает не за себя, а за вас, только за вас, другие люди его не волнуют. Малейшая ваша неудача, оплошность, ошибка огорчают его. В нем нет ничего от «эго», от личности. Он бесконечно добр. Но философы ожесточенно спорят, можно ли это называть добротой. Вы устали? Давайте посидим у костра. Отдохнем. Я тоже устал.

15

Митя исполнял мои желания. Правда, он не в силах был выполнить мое самое сильное желание — ускорить срок моей встречи с Ольгой.

Пока об Ольге не было никаких сведений. Я очень страдал. И мой слуга-двойник, мой эмоциональный дублер, переживал за меня. Он был воплощением отзывчивости, доброты, сердечности, но все эти добродетели и чувства были отъединены от разума, они имели чисто служебный характер. Страдал ли Митя «для себя»? Павел уверял меня, что он этого не умел. Да и само понятие «для себя» отсутствовало в программе этого автомата. Я все-таки решил мысленно называть Митю автоматом. Это мне облегчило общение с ним, помогало пользоваться его услугами, не чувствуя угрызений совести.

Как-то между ним и мною произошел любопытный разговор, записанный мною дословно.

Я. Что вы знаете о себе? Кто вы?

М и т я. Я — Митя.

Я. Человек вы или вещь?

М и т я. Не понимаю.

Я. Вы чувствуете?

М и т я. Да.

Я. Думаете?

М и т я. Да.

Я. О чем вы думаете?

М и т я. О вас.

Я. Еще о ком?

М и т я. Еще о вас. Только о вас. Больше я ни о чем не умею и не могу думать. Я думаю о том, о чем думаете вы.

Я. Откуда вы знаете, о чем я думаю?

М и т я. Я ваш эмоциональный двойник.

Я. О чем я сейчас думаю?

М и т я. Вы думаете сразу о многих вещах. И мне очень трудно. Сейчас вы думаете о том, что не хотите встретиться с Людмилой Сергеевной. Я тоже не хочу.

Я. А можете вы захотеть то, чего не хочу я?

М и т я (*смущенно*). Не пробовал. Но могу попытаться.

Я. Сделайте попытку. Пожалуйста. Я вас прошу.

М и т я. Боюсь, что мне будет очень трудно.

Я. Но все-таки попробуйте. Я вас очень прошу.

М и т я (*после продолжительного молчания*). Я хочу подышать свежим воздухом.

Я. Но это не ваше, это мое желание. Я только что об этом подумал.

М и т я (*смущенно*). А я думал, что это мое желание.

Я. Ну, значит, наши желания случайно совпали. Это бывает.

М и т я. Я еще мало знаю о том, что бывает и чего не бывает. Я существую всего три месяца. А правда, что вам триста лет?

Я. Откуда вы это знаете?

М и т я. В мою программу входит ваш опыт. Но только теперешний опыт. То, что было до вашего пробуждения, я не знаю. И это мне не нужно. Прошрое. Далекое прошрое. А там я бессилен чем-либо вам помочь.

Я. Так вы умеете думать? Даже и размышлять? Я этого не ожидал. Мне сказали, что вы только чувствуете...

М и т я. Это правда. Я только чувствую. Но иногда я могу и мыслить. Очень редко. Когда что-нибудь не в исправности. Сейчас должен прийти техник, наблюдающий за мной.

Затем Митя вышел из комнаты, вышел бесшумно, как всегда. Я рассказал о своей беседе с Митей Павлу, как только он вернулся из института.

Павел задумался. Он долго ходил из угла в угол комнаты, потом сказал мне:

— Какие-то неполадки. Вещь находится в стадии эксперимента. Что-то не получилось... Но техники проверят. Это хорошо, что вы наблюдаете за ним и записываете свои наблюдения. Президиум Академии наук и Высший технический совет очень интересуются вашим непредубежденным мнением об этом экспериментальном роботе.

Я был польщен этими словами и, кажется, не сумел скрыть свое смущение.

— Вы мне льстите, дорогой Павел,— сказал я.— Кого может интересовать мое мнение о технической новинке? Я отстал более чем на триста лет.

16

Я. Митя, о чем вы сейчас думаете?

М и т я. О том же, о чем думаете вы. О ней.

Я. Но вы же ничего не знаете о ней, кроме того, что триста лет назад мы с ней расстались.

М и т я. Мы? Мы расстались? Мы?

Я. Не мы, а я! Я расстался с ней. Вас тогда не было и не могло быть! Кибернетика в те годы была молодой наукой. И многие надеялись, что машины научатся думать, но никто еще не думал, что они будут уметь чувствовать и переживать.

М и т я. Я не знаю этого.

Я. Вы и не должны об этом знать. Да и зачем? Но я не могу понять, почему вы тоскуете по женщине, которую вы ни разу не видели?

М и т я. Я тоскую по ней только потому, что тоскуете вы. Я ваш двойник, эмоциональный придаток.

Я. Успокойся, Митя. И, ради бога, отвлекись. Ду-

май о чем-нибудь другом. Кстати, если тебе не трудно, принеси, пожалуйста, книги.

М и т я. Какие?

Я. Те, что доставлены были вчера. Они в соседней комнате.

Митя уходит за книгами.

Я наблюдаю за ним, записываю свои наблюдения. В свободное от этих занятий время я много читаю. Мне нужно заполнить промежуток в триста лет, разделяющий настоящее от прошлого, узнать, хотя бы схематично и вкратце, о всех тех событиях в политической, экономической и культурной жизни человечества, которые случались за все то продолжительное время, пока я пребывал в пассивном состоянии, в состоянии заторможенных и почти остановленных процессов жизни.

Я читаю с жадным, захватывающим все мое существо интересом. Я волнуюсь и, конечно, переживаю. И все мои волнения и переживания сразу передаются беззащитному Мите, моему эмоциональному двойнику. Иногда мне кажется, что он не сможет перенести такую сильную нагрузку. Он слишком впечатлителен. Пожалуй, еще впечатлительнее меня. Конструкторы, создавшие его, были, по-видимому, слишком темпераментные и щедрые люди, они явно перестарались.

Сочетание крайней впечатлительности и нервности с обликом и сущностью вещи (внешне Митя — обычный робот, предмет, механизм, собранный из металлических и пластмассовых частей), это сочетание создает нечто такое, к чему я не могу привыкнуть. Эмоциональность, а значит, и в какой-то мере духовность, как бы пробивается сквозь нечто холодно вещественное, безразлично предметное, чуждое и враждебное всякой субъективности, всякой духовности. Парадокс? Противоречие? Логическая загадка? Синтез того, что противится слиянию?

Я делаю попытку подробно развить эту мысль, готовясь к выступлению на сессии Академии наук, где будут обсуждаться эксперименты с роботами-новинками, подобными Мите. Об этом мне сообщил Павел, передав привет от президента Академии и наилучшие пожелания от председателя Высшего технического совета Земли, Венеры, Марса и всех космических станций. Павел не забыл сказать мне о том, что президент

и председатель Высшего технического совета очень интересуются моим мнением и многого ждут от моего публичного выступления.

Я не был настолько наивен, чтобы поверить ему на все сто процентов. Я догадывался, что мудрые и опытные люди хотели отвлечь меня от тревожных дум о судьбе Ольги и ее спутников (пока в солнечной системе о них не было никаких известий). Они хотели также помочь мне забыть о том, что я организм и материал для изучения дискретных проблем жизни, и напомнить мне о том, что я человек. А человек не может жить, не творя и не действуя. Не может. И не должен! Я высоко оценил эту заботу о себе, выраженную таким осторожным и деликатным способом. И именно это обстоятельство заставляло меня тщательно готовиться к обсуждению.

Я боялся, что мои идеи могут показаться смешными и невежественными. Как-никак я отстал на несколько столетий, и не по своей вине. Ведь люди всегда готовы простить все, кроме невежества и самоуверенности. Не быть слишком категоричным? Это я сказал себе в первый же день, когда начал готовиться.

Категоричным был профессор Чемоданов... Я попытался вспомнить этого человека, его походку, выражение лица и его снисходительную улыбку. Но странно, в этот раз я не мог его восстановить в памяти. Чемоданов исчез в потоке времени. Мне удалось вспомнить только его шубу, висевшую отдельно в сторонке, и вахтершу, охранявшую ее.

Не быть слишком категоричным, не быть категоричным, как Чемоданов! Это разумно. Но не значит ли это, что я должен одобрить эксперимент, который внушил мне сомнения?

Вот я и готовился, чтобы дать ответ на этот вопрос. Я, как уже упоминал об этом, много читал.

Три столетия! Как далеко ушло человечество вперед! Меня прежде всего поразило мастерство изложения. Учебники истории, книги философские и технические, сводки знаний, справочники, монографии были написаны прозрачно, ясно, кратко и выразительно. Мне невольно вспомнились пушкинские строчки из «Путешествия в Арзрум»: «В Ставрополье увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи».

Энергией страстной мысли и предельной сжатостью фразы эти книги напоминали мне пушкинскую прозу. За каждой книгой, даже учебником, чувствовался автор умный, необыкновенно широко и всесторонне образованный человек, не навязывающий читателю свои мысли, а как бы размышлявший о предмете, его интересовавшем. Он, этот автор (каждый автор), не скрывал своей личной заинтересованности и проблематичности предмета от читателя, а как бы приглашал его вместе с собой принять участие в логическом разгадывании той или иной тайны природы.

Как и триста лет назад, все книги можно было разделить на два рода. Одни пытались ответить на вопрос, что такое окружающий нас мир, другие на вопрос не менее значительный и интересный: что такое человек?

Знания об окружающем нас мире за триста лет обогатились несравненно! Солнечную систему люди знали не хуже, чем в XX веке географы нашу казавшуюся тогда еще большой Землю.

Я был нетерпелив и, разумеется, непоседлив (читатель поймет меня) и не мог заставить себя следовать очередности событий и фактов, их исторической последовательности. Я стремился заглянуть вперед, узнать самое сокровенное, загадочное и интересное.

Разгадала ли наука физическую сущность гравитации? Да, разгадала, а техника использовала. Узнали ли биохимики и биофизики самое главное о происхождении жизни и овладели ли тайной перехода неживой и косной материи в жизнь? Да, узнали и овладели. Нашли ли смелые исследователи на других мирах жизнь, подобную нашей? Да, разумеется.

Но пока, как это ни удивительно, о самом человеке люди узнали за эти триста лет гораздо меньше, чем об окружающем мире. Физиологи и философы все еще спорили о том, о чем они спорили в XX веке. Возникло множество проблем, вопросов, которые ждали ответа. Поразительное развитие кибернетики, в результате которого разум, интеллект как бы отделился от личности и проявил самостоятельность, еще более осложнило эту важнейшую из проблем.

Я жил, учась, переучиваясь и познавая. В студенческие годы я был знаком с одним молодым северянином, бывшим охотником-эвенком, приехавшим из таежного стойбища в большой город и жадно вбравшим

в себя знания. Я был похож на него. Я забыл обо всем, чувствуя в эти часы, как бился пульс вселенной. Иногда, захваченный необыкновенной мыслью или фактом, я вскакивал с места и, возбужденный, ходил из угла в угол своей комнаты.

Как бы завидовали мне мои современники, особенно ученые! И они знали великую радость познания, но они познавали прошлое и настоящее, и только мне, первому из людей, удалось познакомиться с будущим!

Я сел, раскрыл книгу, в которой шла речь об интересующей меня проблеме.

«Человек. Кто он? — задавал вопрос автор. Он спрашивал себя и историю, философию и науку. — Кто же он, человек, ставший хозяином солнечной системы, проникший в глубины Галактики? Чем он отличается от других существ?»

На минуту мое «я» как бы слилось с «я» автора этой книги. Спрашивал и он и я, мы спрашивали оба. «Человек! Кто он?»

«Человечество познавало природу, — писал он, — моделируя ее процессы. Искусство моделирования достигло величайшего мастерства уже в XX веке... У себя в лабораториях ученые воссоздавали целые миры в миниатюре. Благодаря точному воспроизведению физико-химических условий, существовавших на Земле накануне возникновения жизни, они проникли в тайну былого. Но легко ли было создать модель психических процессов, подобие человеческого мозга? Нет, не легко, но необходимо. Человеку нужно было взглянуть на себя со стороны, оторваться от всего субъективного, личного, чтобы осуществить это моделирование... Был создан искусственный мозг. Мышление отделилось от человеческой личности, стало безличным, машинным... Помогло ли это человеку увидеть себя со стороны, понять то, что было непонятным и до некоторой степени загадочным? И да и нет. Мышление как бы отделилось от человека, но было ли человеческим и человеческим? Не произошла ли дегуманизация мышления? Философы спорили, ученые искали ответа. Не искусствоведы, а физиологи и кибернетики вдруг вспомнили о художнике XVI века Питере Брейгеле-старшем и о его странном видении мира и видении человека. Брейгель видел человека как бы со стороны, отделившись от человечества... В этом гениальном художнике было что-то от машинного, сверхличного и сверхиндивидуального

видения... Изображая человека, он не сочувствовал ему, а как бы только удивлялся его странному бытию, словно прибыл на землю с другой планеты. Дегуманизированное, утилитарное, машинное мышление. Оно развивалось, из утилитарного оно становилось теоретическим. Думающие машины служили познанию. Правда, они думали для человека, а не для себя. Но они умели думать, мыслить... И уже появились легкомысленные теоретики, которые пытались поставить знак равенства между думающими машинами и людьми...»

Я невольно должен был оборвать чтение заинтересовавшей меня книги — вошел Павел Погодин. Он был чем-то взволнован.

— Что случилось, Павел? — спросил я. — Уж не заболел ли маленький Коля?

— Коля здоров, — ответил Павел, — но случилось большое несчастье с Митей. Разве вы не знаете?

— Митя — вещь. Какое с ним могло случиться несчастье? Утром он был здесь. Но потом я забыл о нем, погрузившись в чтение.

— Митя — вещь? — сказал Павел. — Это большой вопрос! Вещи так не поступают. Митя пытался покончить с собой. Он бросился со скалы в Катунь. Его только что спасли. Но он бредит...

17

Я с детства испытывал острый интерес к необыкновенным и выдающимся людям. Я рано начал коллекционировать книги, которые повествовали о выдающихся личностях, прежде всего об ученых, техниках, путешественниках, писателях, политических деятелях. Но вот рядом со мной работал выдающийся и, может, даже гениальный человек, и я не сумел оценить его так, как он это заслуживал.

Профессор Обидин, в сущности, ничем не выделялся среди других сотрудников нашего научно-исследовательского института. Свою научно-исследовательскую работу одно время он совмещал с должностью председателя месткома. Кто мог думать, что этот скромный председатель месткома, тративший уйму времени на мелкие хозяйственно-бытовые вопросы, через триста лет займет место рядом с Ньютоном, Дарвином, Циолковским, Эйнштейном, Резерфордом, что его будут называть

величайшим из биологов-экспериментаторов, когда-либо живших на Земле. Кто мог предполагать, что имя, труды и слава старшего научного сотрудника Обидина перешагнут через земные и солнечные границы и станут известными на далеких обитаемых планетах Галактики.

Нельзя сказать, что в нашем институте вовсе не ценили талант Обидина. Ценить ценили, но по-своему.

— Посмотрим! — говорили наши скептики. — Может, и оправдаются его некоторые идеи. Но пока... Пока они все еще находятся в стадии ожиданий и обещаний.

Они говорили «обещаний», но Обидин никому ничего не обещал. И мне кажется, что это была самая большая его ошибка, если смотреть на дело практически. Наоборот, он спешил вселить во всех уверенность, что реализация его главной идеи лежит где-то далеко в будущем. Оказалось же, что она была совсем не за горами.

Обидин тренировал клетки, приучая их к космическому холоду, к температурам, близким к абсолютному нулю. Но сам он любил тепло, любил уют, любил домашнюю обстановку. И при всем этом, как я впоследствии узнал, Обидин страшно боялся, чтобы про него, не дай бог, не подумали, что он узкий специалист, кабинетный или лабораторный затворник. Может быть, поэтому он ходил зимой на лыжах, героически борясь с одышкой и болью в пояснице. Может быть, поэтому он осенью купался в Неве, вопреки строжайшему запрещению врача, лечившего его от радикулита. Может, для этого он ходил скучать в филармонию и в Малый оперный театр. И не по этой ли самой причине он стал ухаживать за Лизой Галкиной, новой нашей лаборанткой?

О чем он мог говорить с Лизой? О погоде? О новой кинокартине, которую видела Лиза, но не видел он? О нейлоновой кофточке, которую Лиза на днях купила? Неужели он мог выслушивать Лизины суждения о сотрудниках и сотрудницах лаборатории, суждения не очень умные, не всегда справедливые и доброжелательные? И для чего? Чтобы сказать самому себе, что ему, Обидину, не чуждо ничто человеческое? А может быть, и в самом деле на старости лет он влюбился в эту румяную, полнотелую женщину, не умевшую даже

нарядить со вкусом свое крупное, тяжелое, колыхавшееся на ходу тело?

Интерес к Обидину как ученому и выдающемуся человеку возрастал с каждым столетием. О нем было написано множество книг, в которых освещалась и его личная жизнь и его научная деятельность. Опубликовано была его переписка и его дневник.

Дневник Обидина чуточку разочаровал меня. Он был слишком сух, в нем было много о деле и мало о себе. Упомянул Обидин в своем дневнике и обо мне. В одном месте было сказано: «нетерпеливый малый». Так прямо и написано: «нетерпеливый», — и при этом выделено курсивом. А в чем, собственно, выразалось мое нетерпение? Об этом умалчивалось. В другом месте было сказано: «нетерпеливый, но любознательный». Спасибо и за это! Но как действительно понять это несправедливое и не слишком удачное выражение — «нетерпеливый»? Так было сказано про человека, который терпеливо пролежал триста лет, ожидая, когда наука свяжет две разорванные половины его жизни! Современники редко бывают справедливыми, а потомки — точными. Я нашел множество неточностей и немало грубых ошибок в книгах об Обидине. Даже в этой его биографии, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», было немало неточного, вымышленного и не вполне соответствующего действительным фактам. Например, я не мог читать без усмешки те главы этой предназначенной для широкой публики книги, где рассказывалось об отношениях Обидина и лаборантки Лизы Галкиной. Эти отношения были для чего-то очень опоэтизированы и романтизированы, и Лиза Галкина с этих страниц вставала не совсем похожей на себя. Занятиям Обидина спортом автор тоже придавал слишком большое значение, и, читая эти места книги, можно было подумать, что Всеволод Николаевич был выдающимся рекордсменом, чемпионом лыжного спорта, знаменитым альпинистом и человеком большой физической закалки, когда на самом деле он постоянно болел и часто простужался.

Несколько преувеличенной была оценка философской эрудиции Обидина. Знатком истории философии профессор Обидин не был, хотя сам мыслил глубоко и своеобразно. Но откуда взял этот автор, так же как и другие, сведения об увлечении Обидина живо-

письму? Мне об этом, во всяком случае, было неизвестно.

Была и другая неточность, еще более важная. В одном труде говорилось, что Обидин был непосредственным учеником знаменитого русского ученого, профессора П. И. Бахметьева, открывшего анабиоз у насекомых и млекопитающих, тогда как на самом деле Обидин стал заниматься проблемой анабиоза значительно позже и с Бахметьевым лично знаком не был.

Я выписал все неточности и ошибки, чтобы помочь авторам их исправить.

18

Бедный Митя! Он чуть не лишил себя жизни. Сейчас он лежал в больнице поселка Манжерок, что в трех минутах езды отсюда на машине быстрого движения, лежал под присмотром опытных физиологов, чутких врачей и техников, заботливых кибернетиков.

Как я узнал позже, Митя в своем несчастье был не одинок. Одновременно с ним вышли из строя Женя, Валя, Миша и Владик, экспериментальные «роботы-эмоционалы», как их называли иногда, желая упростить это новое и сложное явление, приспособить к разговорной бытовой речи. У них было и более строгое и научное название, название, более соответствующее их странной сущности, которое я запомнил. Женя, Валя, Миша, Митя и Владик — одухотворенные, чувствующие, страдающие вещи, проходившие испытания сначала в лаборатории, а потом и в жизни. Сейчас судьбой этих вещей (моя рука неохотно пишет это слово «вещей», выражение, в сущности, сомнительное и неточно отражающее сложный и загадочный феномен), судьбой вещей, или, точнее, существ, интересовалась вся солнечная система.

Мой потомок Павел Погодин аккуратно и своевременно сообщал мне о состоянии Митино здоровья, как будто он был человеком, этот Митя.

— Сегодня ему лучше, — сказал он мне примерно через неделю после печального происшествия, — значительно лучше. Он уже не бредит и охотно принимает лекарство.

Павел принес с собой несколько книг.

— Вот почитайте, Павел Дмитриевич, роман и это

исследование об искусстве. Мне очень хочется знать ваше мнение об этих книгах.

— Почему именно об этих?

Он пропустил мой вопрос мимо ушей. И вместо того чтобы ответить, как-то странно посмотрел на меня и усмехнулся.

Обе книги, которые он оставил мне,— я обратил на это внимание сразу,— были изданы в разное время. На обложках и той и другой не значились имена авторов — только названия. Должно быть, оба автора пожелали остаться неизвестными.

Сначала я начал читать роман. Он назывался: «Труды и дни Василия Иванова». Название скорее говорило о любви к точности, чем об изобретательности автора. По-видимому, автор не хотел гнаться за оригинальностью, хотел быть ближе к жизни и своим несколько деловым и суховатым буднично-очерковым названием желал подчеркнуть это свое стремление смотреть на мир трезво, прозаично, а главное — обыденно.

Но как далеко от истины оказалось это мое поспешное и преждевременное суждение! Уже первые фразы захватили меня крайним своеобразием сюжета и оригинальностью стиля.

Я сделал шаг в предложенный моему воображению мир, и двери этого мира сразу же плотно закрылись. Жалел ли я об этом? Искал ли выхода из этого воображаемого мира в тот, в котором я пребывал, пока не прочел это прозаичное и обыденное название? Ничуть. Я был захвачен повествованием, завлечен. Мое «я» слилось с «я» героя книги Василия Иванова.

Кто же был этот Василий Иванов? Роман отвечал не сразу, не вдруг. Вас проводили сквозь личное и общественное бытие, сквозь жизнь, наполняя душу пространством и временем, приключениями и событиями. Вас переносили с Земли на Венеру и в окрестности Сатурна, на космические станции, вас заставляли испытать все физические и эмоциональные переживания, связанные с опасностями, скитаниями, ошибками и надеждами. Действие захватывало довольно обширное пространство. Из космоса вы попадали на Землю, и тогда вас окружали горные хребты, перед вами расступались шумящие леса, раскидывались просторные поля, или вы оказывались в тишине океана.

Повествование поражало своим эпическим масштабом. Оно уносило вас и за пределы солнечной си-

стемы, в далекие миры, а иные из них были населены высокоразумными существами.

Эти страницы романа поражали воображение и чувства. Читатель уже видел мир не глазами человека, а взглядом сверхразумного существа, жителя далекой планеты. Но эти бесстрастные главы сменялись главами, полными музыки, лиризма и тревоги. Затем на страницах возникали леса, реки, звон падающей воды, плеск, голос любимой девушки.

Прочитав роман, выйдя из этого удивительного мира причудливых образов, глубоких мыслей и чувств, охваченный волнением, я сказал:

— Да, такое глубокое и своеобразное произведение мог создать только человек, Человек с большой буквы. Оно полно истинной и земной человечности.

Потом, несколько дней спустя, я повторил эти слова на дискуссии в Академии наук, и в зале произошло движение. Председательствующий сказал мне спокойно и ласково:

— Вы ошибаетесь, роман написал не человек.

Наступила пауза. Слова председателя захватили меня врасплох. Мое сознание не в силах было проникнуть в их загадочный смысл.

— А кто же? Кто? Уж не думающая ли машина? — растерянно пробормотал я. — Не механический же робот?

— Не машина! Вы правы. И не человек. А высокоразумное существо, житель далекой планеты Тиомы, поселившийся у нас.

Мое сознание человека двадцатого столетия долго не могло свыкнуться с этим парадоксальным фактом. Роман, то есть нечто человеческое, выражающее самую сущность человека, захватывающее и глубоко-психологическое произведение, был создан не человеком, а существом иного мира, жителем другой, далекой планеты.

В тот же день, когда я узнал, кто автор понравившегося мне романа, я узнал и о том, что он непременно хочет познакомиться и побеседовать со мной. Да, у него есть что мне сказать и о чем меня спросить. Если я не возражаю, спросили сообщившие мне это,

встреча произойдет завтра, здесь же в гостинице, где я остановился, прибыв на заседание Академии наук.

Ночью я почти не сомкнул глаз. Я был необыкновенно возбужден и с тревогой ждал встречи с тиомцем. Тиомцем его называл Павел Погодин, по-видимому желая этим скромным, почти обыденным названием приобщить себя, а заодно и меня к чему-то выходящему за пределы человеческого и земного опыта.

Я думал о предстоящей встрече, и мне вспоминались строчки стихотворения одного рафинированного поэта, жившего в XX веке:

Что, если Ариост и Тассо,
Обворожающие нас,—
Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз?

«Несомненно,— думал я,— это высокоразумное существо с далекой планеты Тиома должно выглядеть странно, а может, даже и страшновато с точки зрения наших земных и привычных представлений. Что, если этот урод вызовет физиологическую реакцию, которую я не сумею скрыть?» Как нарочно куда-то отлучился Павел (кажется, ушел навестить своих приятелей), и не у кого было узнать хотя бы немного об этом загадочном существе. Гостиницу обслуживали роботы, отвечающие автоматически и быстро только на вопросы утилитарного характера. Бессонница томила меня, и, чтобы рассеяться, я снова раскрыл роман, написанный тиомцем. Между внутренним миром, говорил я себе, и внешностью автора этого романа должно быть единство. Существо с прекрасной душой не может быть физическим уродом, страшилищем, вызывающим физиологическое отвращение. Роман — ведь это отражение внутреннего мира того, кто его писал. Я снова поддался обаянию этих чудесных фраз, схватывающих самую сущность бытия, передающих внутреннюю музыку жизни и красоту природы.

В этом повествовании было нечто свободное и освобождающее вас, дарящее вам всю вселенную, все радости и тревоги, все оттенки и краски безграничного времени и пространства, слившегося с пульсирующими словами-мгновениями в один ритм. Казалось, автор знал о жизни бесконечно много.

Кто же он, этот тиомец? Как он выглядит? Час встречи с ним приближался. И мне снова вспомни-

лись строчки стихотворения, написанного триста с лишним лет назад:

...Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз...

Я уснул, уже когда начало светать. И мне приснилось это существо. Оно появилось рядом со мной вдруг, внезапно, сначала проскользнув в мое потревоженное сознание, а затем постепенно облекаясь и в пластическую форму. Сначала я услышал голос, беззвучный, как это бывает во сне, слова, сказанные мне игриво и с каким-то непозволительно фамильярным оттенком:

— А-а, Па-а-ша! Здорово! Ну, как ты тут устроился? Не плохо, вижу, опустил свой якорь. Комфорт. И денежки набегают?

— Какие денежки?

— Какие? Или забыл? Командировочные. За триста-то годиков кое-что скопилось? Только не делай вида, что не интересуешься материальными благами. Не строй, знаешь, из себя святого. А то стошнит.

Он рассмеялся жидковатым смешком, словно хлопывая меня по плечу, и вдруг начал проявляться, как пластинка. Губы. Золотой зуб. Глаза, слегка прищуренные и знакомые. Где я видел этого субъекта? Да это же Володька Мазин. Мой бывший одноклассник. Кончив среднюю школу, Мазин как-то необычайно быстро превратился в толстого одутловатого человека без возраста, без семьи, без обязанностей, без определенной профессии. Лихо отплясывал на вечерах и знал уйму анекдотов.

— Позволь,— спросил я,— как же ты?

— Не удивляйся.

— Но я ждал...

— Знаю, кого ты ждал. Но он, брат, занял у меня костюм и всю внешность. Потому что у него такая, с какой никак нельзя показаться.

— Но как же ты попал сюда? Ведь прошло...

— Ну что особенного? Триста лет прошло. Да и почему тебе можно, а мне нельзя? Познакомился с этим твоим... как его? Обидиным. Ну, а Обидин меня не обидел.

Он рассмеялся жидким смешком.

Я проснулся. В комнате было светло.

И вот он пришел ко мне. На этот раз действительно он, автор удивительного романа, существо с другой планеты, тиомец, как называл его Павел Погодин, чтобы как-нибудь обозначить необозначимое и примирить необыденное и сверхобычное с привычным.

О приходе его в гостиницу мне сообщил робот:

— К вам пришел гость.

— Кто именно? — осведомился я.

И робот ответил неожиданно и с каким-то даже оттенком лукавства:

— Вы отлично знаете, кто к вам пришел.

Ощущение страха охватило меня, леденящее ощущение ужаса, ощущение, в полной мере знакомое только детям и первобытным людям, верящим в бытие сверхъестественных существ.

— Одну минутку, — сказал я роботу. — Где он? Как он выглядит?

Робот ответил механически и бесстрастно:

— Он в вестибюле. Беседует с приятелем.

Эти слова немножко успокоили меня. У чудовища не может быть приятеля.

Затем он появился — обычного вида молодой человек, почти юноша.

— Здравствуйте, — сказал он негромким голосом, звучавшим чуточку устало и даже печально. — Я не помешал?

— Помилуйте!

— По-ми-луйте, — он повторил вырвавшееся у меня словечко. — Старинное выражение, несколько преувеличенное и, пожалуй, чересчур эмоциональное. Но оно мне нравится. Оно переносит меня даже не в двадцатый, а прямо в девятнадцатый век. По-ми-луйте... Как будто речь идет о чем-то чрезвычайном. Нет, сейчас выражаются куда проще, обыденнее и точнее.

По-видимому, он пожелал сесть, и невидимый предмет овеществился, исполняя его желание. Появился стул. Я тоже сел на тот, который возник вместе с моим желанием на что-то опереться. Теперь мы сидели оба и разглядывали друг друга.

Красавец ли? Нет, не красавец. Это пошлое слово едва ли способно было выразить впечатление от того, кто сидел рядом со мной, рядом вопреки законам времени и пространства. Он был высок, строен. Но

и эти определения ничего не определяют. Он был похож на портрет, написанный художником итальянского Возрождения. За ним, хотя и необозначенный, угадывался большой мир, бесконечность, вселенная. Она, эта бесконечность, была как фон. И еще были глаза. Именно — еще. Они как бы принадлежали не только ему, но и тому, что, необозначенное, угадывалось за его спиной.

Затем, уже несколько минут спустя, я обратил внимание, что эти глаза менялись, сказочно, необыкновенно менялись. Бесконечное богатство мысли и чувства. Из них, из этих глаз, смотрел другой опыт, другое тысячелетие, другой мир.

— Что же вы молчите?

Эти слова непроизвольно вырвались у меня. Они, должно быть, понравились моему гостю и отчасти застали его врасплох. Он улыбнулся.

— Молчу? Разве?

Я. Вы уже не молчите.

О н. Вы поймали меня на слове. Кажется, так было принято выражаться в ваше время?

Я. А в ваше?

О н. В мое? Нет, о моем времени говорить трудно, если быть точным. Я сын двух времен — того, что осталось на моей планете, на далекой планете Тиома, и того, что началось здесь. Разумеется, началось только для меня. Для всех остальных, кроме новорожденных, оно не было началом.

Я. Я тоже сын двух эпох. Вернее, сын одной эпохи и гость другой.

О н. Гость? Нет, вы не только гость. Надеюсь, не только. Да и у вас нет возможности возвратиться в свое время, оно же время прошедшее, необратимое. И, значит, вы уже не гость.

Я. А вы?

О н. На этот вопрос ответить труднее. Мне было всего шестнадцать лет. Космолет, на котором я летел с родителями, потерпел аварию. Все погибли, кроме меня. Меня спасли люди. Сначала я попал на самую отдаленную от Земли космическую станцию. А затем и сюда.

Я. А где же вы научились так хорошо говорить по-русски?

О н. Разумеется, здесь. А где же? Не на космической же станции. Там я пробыл недолго. Здесь и в кос-

молете, довольно долго преодолевавшем все же не маленькое пространство и время, отделяющие Землю от этого аванпоста земной цивилизации. Космическая станция, заброшенная далеко за пределы солнечной системы, называлась совсем просто и по-деревенски: Телятниково. Один из строителей станции настоял, чтобы ее назвали в честь поселка, в котором он родился. Телятниково... Это первое земное название поселка, которое я узнал. Надеюсь, вы не обвините меня в сентиментальности?

Я. Обвиню. Вы выглядите почти так же, как земные люди. Признаться, я этого не ожидал. Я пытался представить себе вас. И мое воображение меня пугало, мое собственное и воображение научных фантастов, описывавших обитателей других планет.

О н. Я вижу, вы разочарованы? Вы ожидали увидеть сверхоригинальное существо, может быть, даже созданное не из белковых молекул, а материала более прочного, более своеобразного и химеричного? Может быть, вы думали, что вместо крови во мне течет яд и вам придется надевать маску, чтобы сначала физически изолировать себя, а затем уже искать духовного контакта? А не думали ли вы о том, что, кстати, не приходило в голову даже фантастам: что физический контакт будет вполне возможен, но контакт духовный противопоказан, что он будет таить некую опасность и для вас и для меня?

Я. Нет, это не пришло мне в голову. Да и к тому же наше духовное знакомство началось задолго до нашей встречи. Я ведь читал ваш роман.

О н. Значит, с этой стороны все обстояло нормально. И вас пугало не содержание, а, так сказать, форма. Употребим лучше научно-академическое словечко: морфа. Его, кажется, любил употреблять автор «Фауста». Он ведь и создал на Земле новую отрасль знания, назвав ее морфологией. Вот мы и коснемся этого вопроса... Уж не думали ли вы, что я покрыт чешуей, как мезозойский ящер, или похож на единорога? Или, может быть, воображение вам рисовало меня по рецепту древних греков таким кентавром? Нет, у природы не так уж много фантазии, когда речь идет об этой самой морфе или форме, в которую нужно облечь ум и сущность высокоразвитого существа. Да, мы немножко похожи на земных людей, хотя в близком и кровном родстве нас трудно заподозрить. Все же

расстояние. Если угодно, немножко пофилософствуем. Вы никуда не спешите?

Я. Куда же мне спешить после трехсотлетнего-то перерыва?

Он. Да, в этом отношении у нас с вами много общего. Вы преодолели время, я — расстояние. Расстояние и, разумеется, время тоже. О чем я говорил? Да, о морфе. Высокоразумному существу не пристало быть уродом.

Я. Но ведь понятие красоты условно, относительно. Так учили в мое время.

Он. Условное, разумеется, но у относительности есть границы. Мезозойского ящера трудно счесть красавцем с любой точки зрения. Но мы слишком много говорим о морфе. Можно подумать, что мы — морфологи и анатомы. Нет, анатомия никогда не была моей страстью.

Я. И моей тоже.

Он. Ну вот видите, у нас с вами сходство не только морфологическое. Вы любите стихи?

Я. Когда-то любил.

Он. Недавно я слышал лирические стихи о любви. Грустные. Местами трагические. Но самое поразительное — их написала машина!

Я. Не может быть.

Он. В ваше время не могло. Сейчас возможно. Машина, пишущая лирические стихи! *(Он рассмеялся.)* Это камешек в ваш огород. Вы вчера произнесли довольно яркую речь против отделения человеческих чувств от человека. Яркую и наивную. Проблема сложнее, чем думаете вы и думали ваши современники, рассматривая первые кибернетические устройства. Триста лет — это не маленький срок для науки, особенно для такой науки...

Я. Но что может знать машина о любви?

Он. Отложим этот спор до тех пор, пока вы не познакомитесь со стихами и их довольно милым и сложно устроенным механическим автором.

Я. Расскажите о своей планете Тиома.

Он. Мне было всего шестнадцать лет, когда я ее покинул, но кое-что запомнилось. История нашей цивилизации не похожа на историю вашей. Борьба с природой у нас была иной, чем на Земле. Борьба... Пожалуй, лучше употребить другое, более подходящее слово. Не столько борьба, сколько содружество. Между

тиомцами и окружающей средой возникло единство. Еще в периоде, соответствующем вашему неолиту, тиомцы обнаружили незаурядные биологические способности. Ваш палеолитический человек приручил волка, превратив его в собаку. Позже были приручены дикие лошади, олени, буйволы. Тиомец не сделал домашними множество животных и растений. И это сказалось не только на характере его деятельности, но прежде всего на видении мира, на мировоззрении. Тиомец почти не знал страха перед миром, перед судьбой. Религиозные предрассудки очень недолго затемняли его сознание. Ведь религия, всякая религия — это не контакт, не единство с окружающей средой, а разлад, боязнь этого мира... Наука о жизни возникла еще на заре тиомской цивилизации. Биология, знание живой природы, шла впереди всех других наук. Отчасти это замедлило развитие техники, физики и математики, но только отчасти. Наступило время, когда дальнейший прогресс биологических знаний потребовал развития техники, химии, физики и математики.

Я. Полная противоположность нашей. У нас биология всегда плелась в хвосте физики, математики и других наук. Исторический взгляд на мир живых возник лишь в середине девятнадцатого века, когда Дарвин создал теорию естественного отбора. Даже в мое время, когда уже началось завоевание космоса, биологи все еще спорили о том — передаются или не передаются в потомстве свойства, приобретенные индивидом.

Он (улыбаясь). Знаю. Читал. И знаю, когда ваша наука начала перестраивать наследственность на молекулярном уровне, управляя мутациями. И знаю, когда был, наконец, достигнут атомный уровень изучения живого и биологи узнали, в каком порядке расположены атомы в наследственном полимере. Со всем недавно. Но возвратимся на Тиому, о Земле мы еще поговорим.

Я. Извините, что я вас перебил. Дурная привычка. Да и молчал я долго, почти триста лет.

Он. Понимаю вас, хотя мне и не довелось так долго молчать, как вам. Всего несколько недель, пока я не научился понимать земную речь и выражать свои мысли посредством сочетания гласных и согласных.

Я. А у вас на Тиоме? Разве у вас...

Он (*перебивая меня и смеясь*). Да и у нас тоже не обходится без слов. Но принцип их сочетания несколько иной. Язык — это звуко-смысловое отражение реальности. А значит, и отношение субъекта к объекту. Я уже говорил, что на Земле существует больший разрыв между человеком и природой, чем на Тиоме. Выдающиеся биологические способности тиомцев позволили им рано познать чрезвычайно важные закономерности... У нас также не было разрыва между художественным и научным видением мира. Любовь к природе и глубокие знания способствовали развитию эстетических чувств. Вам не надоела моя лекция? Если надоела, поговорим о чем-нибудь другом. Временами мне бывает очень грустно. Ностальгия. Тоска по родине. И она усиливается от сознания, что я никогда ее не увижу. Тиома слишком далека от вашей солнечной системы, чтобы надеяться. А вам бывает грустно?

Я. Бывает.

Он. Часто?

Я. Да.

Он. Но у вас есть надежда. Вы увидите своих современников, когда возвратится на Землю космолет. Вы увидите свою жену.

Я. Я ее жду. Для этого я и подвергся опыту в лаборатории дискретных проблем. А вы женаты?

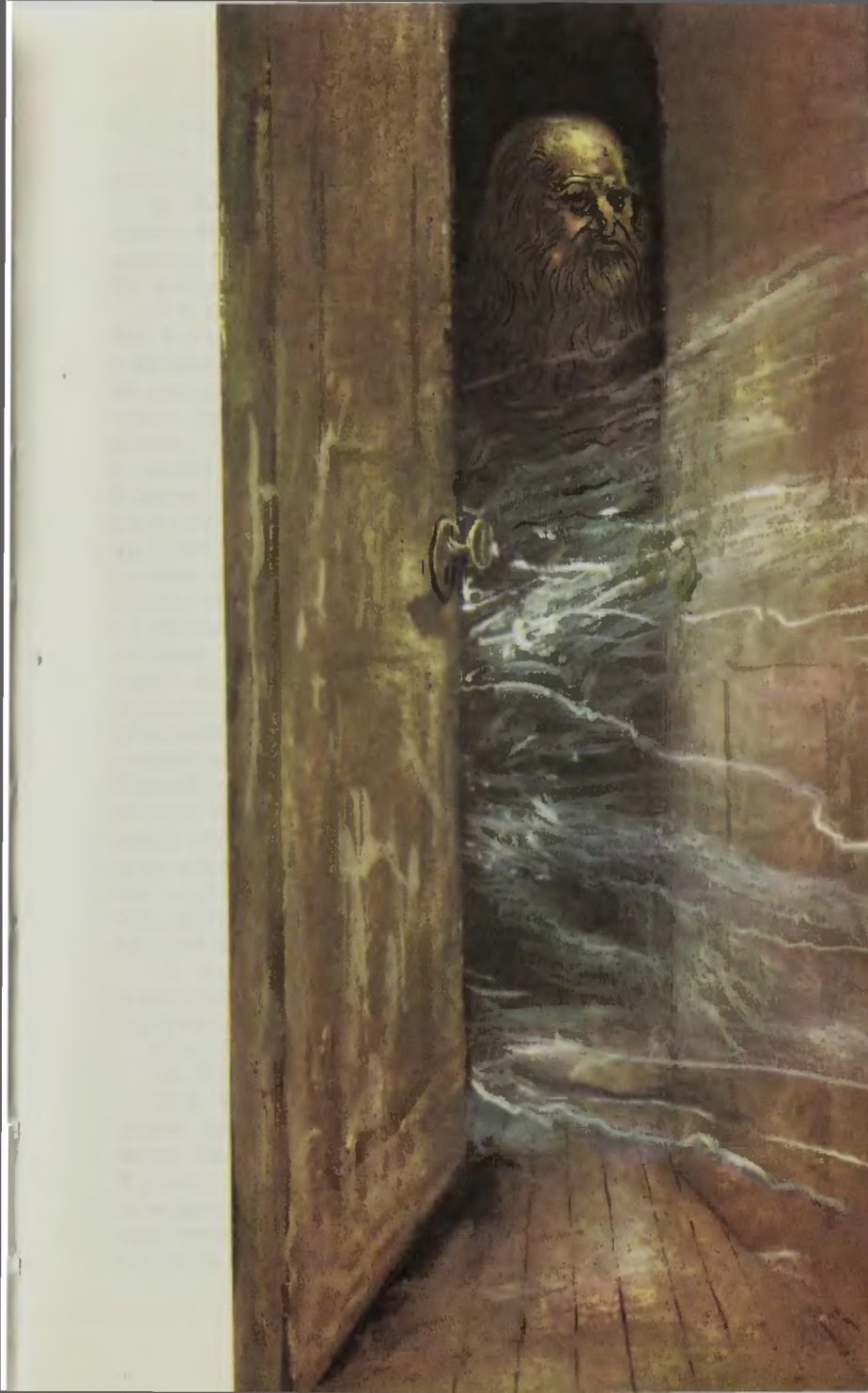
Он. Не женат. Та, которую я любил, осталась на Тиоме.

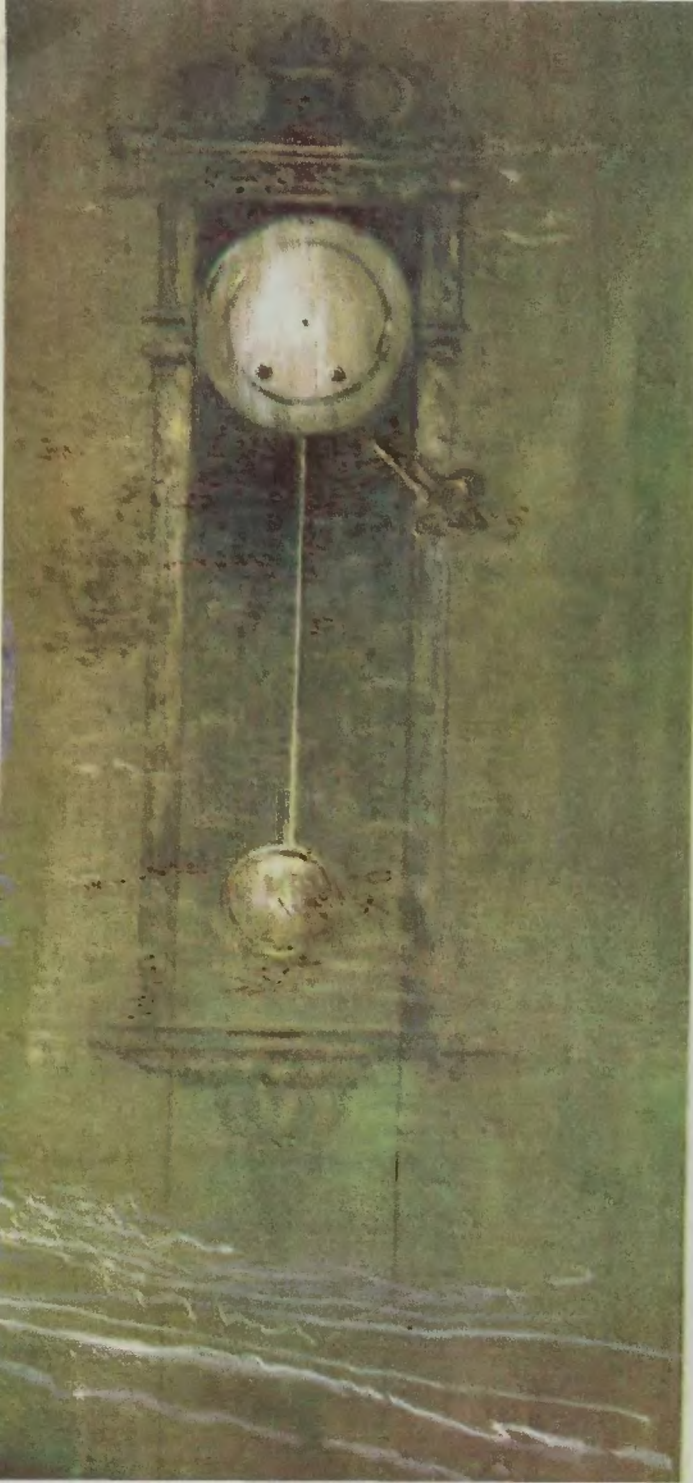
Я. Но вы же тогда были подростком, почти мальчиком...

Он (*перебивая и волнуясь*). Ну и что же? Разве подростки не влюбляются? Я все время думаю о ней. Ее звали Лелора. Почти земное слово. Это имя вам ничего не говорит. Чужое, незнакомое сочетание звуков. Но я готов отдать все, чтобы увидеть ее хоть раз. И я никогда ее не увижу. Или увижу старухой, если к тому времени астронавигаторы сумеют преодолеть эти безумные пространства.

Я. Но вам же удалось преодолеть их однажды. Иначе вы бы не попали сюда, на Землю.

Он. Иногда мне не верится, что я их преодолел. Мне кажется, что Тиома — это сон, а я родился на Земле или на одной из космических ее станций. То, что я попал на Землю, это исключительный случай. Чудо. В эту часть Галактики не залетают наши корабли.





Я. Кто знает, может быть, вы вернетесь на Тиому. Чудо повторится.

О н. Я и не отчаиваюсь. Просто иногда бывает грустно. Вот и все.

Я. Это хорошо. Грусть делает нас более человеческими. Мне приятно узнать, что и на далекой Тиоме жители умеют не только радоваться, но и грустить. Не умеют грустить только одни машины.

О н *(оживленно и почти весело)*. Только машины? Вот и я вас ловлю на слове. А Митя, Женя, Валя, Миша и Владик, о которых вы так горячо и страстно говорили на заседании Академии наук? Вы о них забыли? Мне очень хорошо запомнилась ваша речь и особенно заминка, которую вы сделали вначале, оговорившись и назвав Митю вещью и, по-видимому, усомнившись в этом. Да, это проблема не только для философов, но и для всей современной земной цивилизации — вещь ли Митя или не вещь? Если вещь — тогда все просто. А если не вещь? Как же быть тогда? В человеческой сущности заложены самые глубочайшие проблемы, и прежде всего проблемы этические. Но вот люди создали робота еще более эмоционального, чем они сами. Один из спорящих сказал, что ученые сумели создать модель человеческой сущности. Неудачная, абсурдная, нелепая мысль. Сущность человека не может моделироваться. Но как быть с Митей, Женей, Валец, Мишей и Владиком? Для них этот вопрос имеет не только академический характер. И вы были правы, когда страстно говорили о том, что наука здесь перешла какую-то дозволенную грань и стала в противоречие с этикой. Одни ученые и философы поддерживали вас, другие возражали. Я с большим интересом следил за этой дискуссией.

Я. А существуют ли высокие формы механизации и автоматизации у вас на Тиоме? Доверена ли роботам интеллектуальная и эмоциональная сфера?

О н. И да и нет.

Я. Как это понять?

О н. Я уже говорил, что история тиомской цивилизации отличается от земной. Тиомцы — это прежде всего биологи, натуралисты, влюбленные в природу. Тиомец с детства начинает изучать и углубляться в жизнь растений и животных. Каждый взрослый тиомец проводит свой досуг в лесу, в поле, в саду, на берегу реки или озера. Бесперывное наблюдение над

жизнью животных и растений, начавшееся с периода, соответствующего вашему палеолиту, превратило каждого тиомца в исследователя, в экспериментатора. Творческое преобразование природы началось очень рано, хотя ему мешали социальные условия: сначала феодализм, затем капитализм. Постоянное единство с природой не позволило расцвести крайнему субъективизму, индивидуализму и тем уродливым формам идеализма, которые одно время процветали у вас на Земле. Ведь одно чрезвычайно модное в XX веке буржуазное направление в вашей земной философии, называемое экзистенциализмом, пришло к абсурдной идее противопоставить человека и все человеческое объективному миру. Экзистенциалисты утверждали, что объективация убивает личность, расчеловечивает индивид. Один из них сказал странные и страшные слова, что нет ни человечества, ни народа, а существуют только миллионы одиночек. Тиомец это не смог бы даже понять, настолько это ему было бы чуждо. Каждый тиомец как бы наполнен природой, в нем весь мир, он проникнут объектом, слит с ним. И связан единством со своими современниками. Кибернетика возникла на Тиоме рано, гораздо раньше, чем на Земле. Именно развитие кибернетики ускорило темп развития всех остальных наук. Ведь ни одна из естественных наук так не содействует единству субъекта и объекта, общества и природы, как кибернетика, то есть интеллектуализация мертвой природы.

Я. Интеллектуализация мертвой природы? Вы не оговорились?

О н. Ничуть. Если хотите, очеловечивание, одушевление. Вы возражаете?

Я. Я? Нет. Пока нет... А на вашей планете долго длится жизнь личности, индивида?

О н (улыбаясь). Вы хотите знать, возможно ли бессмертие? Возможно. Но не нужно.

Я. Кому не нужно? Личности? Обществу? Природе?

О н. Наши ученые нашли способ продления жизни, и каждый тиомец, если бы он пожелал, мог бы достичь того, что называют бессмертием. Но что такое бессмертие? Задавали ли вы себе этот вопрос?

Я. Нет, не задавал, хотя кому и интересоваться этим вопросом, как не мне... Бессмертие — это возможность победить время, дарованная личности наукой.

Не так ли? Полная, абсолютная победа над временем, над бренностью.

О н. А кому нужна эта победа? И победа ли это, а не поражение ли?

Я. Не понимаю.

О н. Вдумайтесь — и поймете. Смерть не может и не должна исчезнуть.

Я. Но человек всегда считал смерть злом и слепой необходимостью, победой косных сил...

О н. Бессмертие еще хуже смерти. Получив бессмертие, личность перестает быть личностью, она лишается конца, а значит, и начала. Личность связана с историей, со своим временем. А становясь вечной, она отрывается от мгновения, от истории, от общественного бытия. Наше общество нашло желание быть бессмертным неэтичным, противоречащим нравственной сущности тиомца. И отказалось от него. Отодвинуть свой конец — это одно, но лишить себя конца, приобщиться к бесконечности — это значит освободить себя от времени, противопоставить себя жизни, всему ее смыслу. Возникновение и смерть — нет, тиомец не захотел пожертвовать всем этим ради сомнительного и противоестественного блага личного бессмертия.

Я. Довольно сильные доводы. Они почти меня убедили.

О н. Почти? Значит, у вас все-таки остались сомнения?

Я. А разве у вас на Тиоме эта точка зрения одержала победу без борьбы? Разве все тиомцы думали одинаково?

О н. Разумеется, нет. Особенно защищали идею бессмертия те ученые, которые нашли способ ее реализации. Но в конце концов они согласились с доводами своих противников, и самым сильным и убедительным доводом был тот, что развремененный тиомец превратится в нечто вроде машины, лишится своей тиомской сущности, говоря на земном языке, расчеловечится.

Я. Нужно иметь много мужества, чтобы из философских побуждений отказаться от такого сильного соблазна.

О н. Мои однопланетцы предпочли быть смертными тиомцами, чем бессмертными машинами.

Он замолчал. Молчал и я. Мы смотрели друг на друга, и в эту минуту я думал о том, что, беседуя с тиомцем, я приобщаюсь к миру, о котором, к сожа-

лению, не знал никто из моих современников. В семидесятых годах XX века люди очень хотели знать, есть ли жизнь на других мирах, и как бы они были счастливы, если б могли слышать по радио нашу беседу с тиомцем или видеть на экране кино или телевизора нас, сидящих вот здесь, в номере гостиницы XXIII столетия. С каким страстным интересом они смотрели бы на тиомца!

Казалось, и я смотрел на него не только своими собственными глазами, но и глазами всех людей того столетия, когда человеческая наука только что начала осваивать космос и человечество с нетерпением ожидало встречи с высокоразумными существами, обитателями других миров.

Обитатель «других миров» сидел рядом, так близко, что я мог коснуться его рукой. Зачем? Для чего? Может, для того, чтобы проверить — не обманывают ли меня чувства? Нет, чувства не обманывали. Но рассудок был несколько разочарован тем, что мой любезный и милый гость, сумевший преодолеть почти безграничное пространство, сам по себе оказался в границах обычного, даже слишком обычного, и физически почти не отличался от молодых людей, родившихся на Земле. Я неожиданно употребил слово «почти», не найдя другого, сумевшего бы более точно передать даже не смысл, а оттенок того, что я пытался выразить. Это «почти» сказывалось скорее не в его облике, а в выражении лица. Лицо моего гостя выражало нечто особое, оно как бы раскрывало смысл того, что не в силах передать никакие слова. Глубокая и странная, загадочная мысль была в его глазах. Я почему-то вспомнил Леонардо да Винчи. И он, словно угадав мою мысль, назвал имя великого художника и инженера итальянского Возрождения.

Я. Мой покойный отец написал о нем книгу.

О н. Знаю эту книгу. И высоко ценю ее.

Я. Отец высказывал странную мысль...

О н. Она мне не кажется странной. Леонардо был очень похож на тиомца. Он мог бы быть тиомцем, прилетевшим на Землю, хотя этого, очевидно, не было.

Я. Мой отец тоже был готов допустить нечто подобное.

О н. Леонардо был удивителен, в особенности для современников. И сейчас некоторые историки выска-

зывают мысль вроде моей. Но нет фактов, чтобы подтвердить ее, за исключением, пожалуй, одного факта...

Я. Какого?

О н. Леонардо видел мир, как видят его тиомцы, сумевшие идеально пригнать окружающую их среду к себе, своей жизни, к своим чувствам. На его картинах — а значит, так было и в его душе — слишком гармоничный мир.

Мы беседовали, и время спешило, торопилось, как и полагается времени. И наступила минута, когда тиомец (я называю его тиомцем, хотя у него и было имя, довольно звучное имя: Бом) встал и, простившись со мной, исчез. Именно исчез, а не ушел, словно растворился в воздухе. Еще секунду назад я слышал его голос и видел его лицо, и вот уже его нет. Он будто развеялся вместе со стулом, на котором только что сидел. В номере стало пусто, и я все сильнее и сильнее ощущал эту пустоту и тишину.

* * *

Живя в необыкновенном мире, я постепенно знакомился с новыми нравами и обычаями. Где бы я ни появлялся — в сельской ли местности, на фабрике ли фотосинтеза, в научно-исследовательской лаборатории, в гостях у друзей (а их становилось все больше и больше), — я везде ощущал захватывающий ритм гармоничного коммунистического бытия, видел новые, истинно человеческие отношения. Изменилось не только мышление, но и словарь. Из бытового разговорного языка исчезли слова, отражавшие эгоцентризм, цинизм мысли, грубость и пошлость чувства. Сердечность и мужество — эти черты были свойственны и детям, и юношам, и старикам. Каждая отдельная личность чувствовала свое постоянное единство, духовную слитность со всем огромным коллективом. Вот эта духовная слитность каждого гражданина с обществом и создавала ту особую атмосферу эпической красоты и величия, которая была ни с чем не сравнима. В каждом человеке, и в ребенке и во взрослом, отражалось все величие огромного коллектива, всего коммунистического человечества, превратившего Землю в центр творческой, никогда не удовлетворенной мысли, мысли, рвущейся вперед, в бесконечность еще не освоенных миров.

Однажды историк Светлана Щеглова и писатель тиомец Бом спросили меня, как я понимал слово «счастье», живя еще в XX веке. Я, по-видимому, поспешил и ответил неудачно. Я сказал:

— Счастье — это удовлетворение всех желаний.

Тиомец Бом молча усмехнулся, а Светлана возразила:

— Ну нет. Счастье, по-моему, не в этом. По-настоящему счастлив только тот, кто никогда не бывает удовлетворенным. По-моему, личное счастье — это реализация всех твоих способностей на благо всего коллектива. Ведь счастье — это не только итог, но и путь к цели. И если этот путь слишком легок, если он не требует никаких усилий, разве он может сделать человека по-настоящему счастливым? Самыми счастливыми людьми в нашем обществе считают тех, кто меньше всех щадил себя, прокладывая путь в будущее. Счастье не может быть очень спокойным.

И мы все долго спорили о том, что такое счастье.

21

Я уже рассказывал о том, что машина быстрого движения превращала пространство в абстракцию. Но и время она тоже лишала той длительности, которая связана с ожиданием и пребыванием в пути.

Вы, в сущности, не пребывали в пути: путь пребывал в вас, вы появлялись почти сразу.

Вот так, выйдя из гостиницы, я сразу оказался в Институте истории, хотя этот институт был возле Феодосии, в Крыму. Меня сопровождали Павел Погодин и историк, специализировавшийся на изучении второй половины XX века, Светлана Щеглова.

Еще в гостинице Светлана пыталась меня уверить, что история стала самой актуальной и любимой молодежью наукой, породнившейся с кибернетикой, вооружившись новейшими техническими достижениями, чтобы сделать человека хозяином времени. Хозяином пространства он давно уже стал.

Мой отец был историком, и я хорошо знал, как в мое время историки и археологи завидовали физикам, биологам и инженерам, которые изучали не что-то бывшее и исчезнувшее, а создавали новый мир, будущее, бесконечно более интересное, чем прошлое. Профессия

историка казалась тогда многим чем-то созерцательным и книжным, далеким от жизни.

Я обратил внимание на огромное здание, стройное и изящное, как чертеж. Это был Институт памяти. Сквозь полупрозрачную, как облако, стену были видны машины, вобравшие в свою память все прошлое человечества.

Машины трудились и днем и ночью. Они запоминали, ловя каждое мгновение, каждый новый факт, чтобы присоединить его к тем бесчисленным фактам и событиям, которые здесь хранились.

— Говоря на языке людей двадцатого века, — пояснила мне Светлана, — это исторический архив.

— А где же шкафы, в которых хранятся документы?

Светлана рассмеялась. Усмехнулся и Павел Погдин.

— Их убрали вместе с пылью еще два столетия тому назад. Здесь хранится утраченное бытие, как в живой человеческой памяти. Пыль ему не требуется. И картонные папки тоже.

— Механизированные историки, — попытался я со- стрить. — Металлические архивариусы.

— Я бы сказала по-другому, — ответила Светлана. — Очеловеченное, оживленное время. Одушевленный документ... Сейчас историки решают задачу необычайно сложную. Они хотят поставить человека в центр, в самый фокус времени, сняв разрыв между прошлым и настоящим. Развитие информационной техники, прогресс кибернетики отчасти делают это возможным и сейчас. Вы хотите знать какой-нибудь факт, опустившийся на самое дно прошедшего. Вам его подымут. Назовите. Тут рядом зал исторических и биографических справок.

Я несколько растерялся.

— Что бы вы хотели узнать, — спросила Светлана, — из того, что вас интересовало в прошлом?

Я задумался. И вдруг мне вспомнился профессор Чернявский. За что он так невзлюбил меня? Разве и это можно поднять со дна прошлого?

Я рассказал Светлане, как смог, о том, что меня интересовало.

— Пустяк. Мелочь, — сказал я. — Но эта мелочь мешала мне жить.

Светлана улыбнулась. Затем она зашла в справочную и передала мой заказ.

— Через три часа вы получите нужную справку, — сказала она, выходя из справочной. — А сейчас идемте обедать. Я проголодалась.

Три часа я провел в тревожном состоянии. И был, разумеется, рассеян. Я невпопад отвечал на вопросы Светланы и Павла. Я думал о Чернявском, словно он был где-то почти рядом.

И это было почти так. В тот день я встретился с ним, встретился, казалось бы, вопреки всем законам природы.

Вместо сухой архивной справки мне в Институте памяти предъявили нечто более живое и конкретное. В кабине, куда меня попросили войти, оказалось иное время. Я очутился в лаборатории генетики, да, в той самой лаборатории, куда я не решался входить, когда работал в институте. И хотя я очутился там, никто не замечал меня, все заняты были своим делом. Лаборантка Пастухова варила кашу из изюма для мушек дрозофил. Лаборант Карасик возился с термостатом, что-то налаживая. А Чернявский сидел за столиком в углу и писал статью. Он был отличный экспериментатор и неплохой лектор, но статьи он писал с трудом, мучительно и подолгу подыскивая нужное слово и не умея закончить фразу, поставить вовремя точку.

Минут через пять он стал с места и быстро-быстро стал ходить, подыскивая необходимое слово. Затем он махнул рукой и подошел к Пастуховой.

До моего слуха долетела странная фраза, смысл которой не сразу дошел до меня.

— А завтра его начнут замораживать. Бедненький. Невеселая все-таки штука.

Чернявский вздрогнул, выпрямился, и на его широком лице появилось знакомое мне выражение презрения и неприязни.

— Ну и что? Что вы хотите сказать?

Пастухова спросила с самым невинным видом:

— А за что вы так не любите его, Георгий Семенович?

Чернявский не ответил.

— А как вы думаете, Георгий Семенович, действительно он через триста лет оживет?

— Оживет не оживет, вам-то какое дело? Занимайтесь своей кашей.

Затем лаборатория с Чернявским исчезла. В поле моего зрения появилась машина. Перед ней возник экран. Машина что-то делала. И только взглянув на экран, я понял, чем она занималась. Она составляла список научных работ. Но самое поразительное — у нее был мой почерк. И перечисляла она мои собственные работы, но в обратном порядке, не с начала, а с конца. У меня было около двадцати печатных работ... Но удивительно: машина писала все менее уверенно, словно что-то мешало ей вспомнить.

Я тоже старался вспомнить. И вдруг вспомнил забытую статью о естествознании, написанную мной еще, когда я учился на философском факультете. Ее не было в списке, составленном машиной. Машина забыла о ней или, может быть, настолько была деликатной, что не хотела мне напоминать о ней. Так вот из-за чего сердился на меня Чернявский, не пожелавший простить мне эту статью, где речь шла о вещах, в которых я плохо разбирался?

Я вышел из кабины, смущенный и растерянный.

— Ну что, удалось вам получить справку? — окликнула меня Светлана Щеглова.

— Удалось, — ответил я без энтузиазма.

* * *

Как я уже упоминал, профессор Обидин, не уверенный в том, что вместе со мной в далекое будущее войдет и мое прошлое, записал на пленку магнитофона мои воспоминания. Кроме того, он использовал и техническую новинку — электронный аппарат с запоминающим устройством.

И им было предоставлено слово, им, этим устройствам и примитивным механизмам. На этот раз магнитофон и запоминающее устройство пытались приобщить к моим интимным переживаниям не только физиологов и биофизиков, но и все население солнечной системы, обитателей многочисленных космических станций, новоселов Марса и Венеры, самоотверженных людей, осваивающих новые миры.

Мой голос раздавался словно бы из глубины прошлого, не скрывая волнения, охватившего меня в дни, предшествовавшие эксперименту. Я не сумел тогда скрыть свое волнение, и потому интонация не совсем соответствовала тому, что я теперь говорил.

Обидин попросил меня быть спокойным и точным, будто можно действительно быть точным, когда вспоминаешь. Он даже не удержался и сказал мне, не скрывая своего недовольства:

— Павел Дмитриевич! Голубчик! Поймите раз навсегда. Ведь вы должны унести с собой в будущее не только собственную персону, но и свое прошлое. Да, всю свою жизнь со всеми ее событиями, оттенками и переживаниями.

— А зачем? Нужно будет — все вспомню.

— А если наступит амнезия, хотя бы частичная утеря памяти? Появитесь среди потомков. Спросят вас: кто вы, откуда? А вы ни бе ни ме.

— Думаете, магнитофон поможет? Утерять память — значит утерять самого себя.

— Поменьше думайте о себе, а побольше о тех, среди которых вам придется провести остаток своей жизни. Терпеть не могу громкие слова, но, видно, без них не обойтись. Вы делегат, отправляемый нашими современниками в будущее. Отдаете себе отчет, кто вы? Поймите, наконец, свою ответственность.

Его, по-видимому, начало раздражать мое упрямство, упорное нежелание вспомнить по заказу. Но времени оставалось мало, был дорог каждый час.

Я рассказал о себе, стараясь вообразить, что рядом со мной сидит человек, которого страстно интересуется моя биография.

Рядом действительно сидел человек, техник, специалист по магнитофонной записи, и на его лице не отражалось ничего, кроме желания хорошо сделать свое дело.

Я рассказывал о себе, как если бы писал автобиографию при поступлении на работу. Я перечислял адреса, по которым проживал, города, где бывал, родственников, учебные заведения, где когда-то учился.

Обидин перебил меня:

— Потомков не интересуется ваш послужной список. Вы же сейчас делитесь своими воспоминаниями не с управхозом.

— Откуда вы знаете, что будет им интересно?

— Глубины больше, Павел Дмитриевич. Искренности. Рассказывайте о самом важном. Нужна ваша исповедь, а не справка для выдачи паспорта.

Обидин сердился на меня. За что? Уж не за то ли, что я не сумел сложить свое прошлое в чемодан,

собираясь в дальний путь, в необыкновенную дорогу, и мог оказаться без багажа.

Я понимал не хуже Обидина, что мои воспоминания, записанные на магнитофонную ленту, будут своеобразным мостом, связующим две эпохи, и именно это-то обстоятельство и мешало мне собраться с мыслями. О чем и о ком я буду рассказывать? О себе? А чем я замечателен? И кому будет интересно слушать о том, что я переживал и видел...

И вот теперь, спустя триста лет, люди всей солнечной системы слушали мой чуточку дрожащий голос, рассказывающий о минувшем научном сотруднике Института биофизических проблем, отважившемся нарушить закон, по которому текла жизнь многочисленных видов животного и растительного мира в течение миллионов лет.

Не я сам, а именно это обстоятельство делало значительным каждое слово, которое я произносил.

«В том году,— рассказывал мой голос,— я решил испытать свои силы и заодно лучше узнать жизнь, которую я знал плохо. Один из моих приятелей, Сашка Горбачев, кончил горный институт и был назначен начальником геологической партии, отправляющейся на Север. Я попросил его, чтобы он взял меня коллатором. Горбачев ехал как раз в тот район катангской тайги, где несколько лет назад погиб его дядя. Об этой трагической истории писали в газетах. Гидрогеолог — дядя Горбачева, человек пожилой — нес несколько бутылей с водой, так называемую «пробу», и заблудился. Заблудился потому ли, что внезапно выпал снег, или по какой-то другой причине — это осталось неизвестным. Катангская тайга тянется на многие сотни километров. Самолеты искали старого гидрогеолога и не могли найти. Нашел его эвенк, перегонявший оленье стадо. Нашел мертвым. Но что было удивительно — рядом с мертвым гидрогеологом стояли стеклянные бутылки с водой. Он не бросил и не разбил ни одной.

Я впервые уезжал из дома на такой далекий срок. И старался держаться, как все участники экспедиции,— не думать о предстоящих трудностях и радоваться всем случайным радостям, выпадавшим на нашу долю. В глубине души я немножко побаивался тайги с ее безлюдными просторами. Ведь мне никогда прежде не приходилось отдаляться от больших дорог,

даже когда я ходил собирать грибы где-нибудь поблизости от Солнечного или Репина. Заблудиться возле Репина — не очень-то тяжелое испытание. Оно способно напугать разве только дошколенка, но потерять направление в катангской тайге, где безмолвные, окутанные безразличной и однообразной марью лиственницы тянутся на сотни километров, повторяя себя до одурения, — это совсем другое дело! С особой остротой я это почувствовал, когда остался один и потерял направление. Мой спутник, эвенк Василий Шадоуль, казалось, только что сейчас был рядом, но его скрыли лиственницы, и он не откликнулся на мой голос. И вот теперь я был один, один в тайге.

Один. Что это значит? Никогда до того я не представлял себе полного одиночества. С того дня, как я стал сознавать себя, и до сегодняшнего утра я всегда знал, что поблизости от меня кто-нибудь да есть. А сейчас... Сейчас не было никого. Одни лиственницы да небо, с которого падал мелкий дождь. Я шел. Ощущение огромного, бесплодного, необъятного пространства все сильнее и сильнее охватывало меня. Сначала мне казалось, что инстинкт и магнитная стрелка компаса выведут меня из этой чащи, но к концу дня я уже перестал доверять и своей интуиции, и этой колеблющейся стрелке, и солнцу, которое время от времени показывалось из-за туч.

— Шадо-у-ль! — кричал я.

Но никто не откликался.

— Шадо-уль!

Я звал эвенка. Я повторял это имя, хватаясь за это созвучие, как утопающий хватается за соломинку.

— Шадоуль!

Но тайга не отвечала».

22

Я прислушался. Мой голос все еще рассказывал об этом таежном эпизоде. Рассказывал не совсем скромно, вдаваясь в излишние подробности и несколько преувеличивая трагизм своего положения.

Кому я рассказывал этот эпизод? Людям, познакомившимся с бесконечностью, познавшим космос. Иным из них доводилось не раз блуждать в бездон-

ном и безграничном пространстве. Они, вероятно, улыбаются сейчас, слушая меня.

Я успокоил себя: ведь говорил не я, а только мой голос, записанный на пленку магнитофона почти за триста лет до появления на свет всех этих бесстрашных людей, вооруженных иным опытом.

В послеобеденный час ко мне в гостиницу пришел гость — тиомец Бом. Глаза его смотрели на меня без всякой насмешки.

— Вы очень живо описали этот случай,— сказал он мне.— Впрочем, я знал заранее, что конец будет благополучный и коварному пространству рано или поздно придется выпустить вас из своих лап.

Он улыбнулся.

— Не хотите ли прогуляться?

— В машине быстрого движения?

— Нет. Зачем? Просто пройтись пешком, как рекомендует медицина.

— Ну что ж, я готов.

Не парадоксально ли, что моим гидом на Земле оказался тиомец Бом, существо с другой планеты?

Мы прошли мимо робота-коридорной, и тиомец Бом спросил меня негромко, как полагается спрашивать о тяжелобольном:

— Что слышно о Мите? Как его самочувствие?

— Митя чувствует себя отлично. Вчера вечером ко мне заходил Павел.

— Он-то, возможно, чувствует себя хорошо. Подлечился. Отдохнул. Укрепил свою нервную систему. Но как чувствуют себя конструкторы и физиологи, создавшие его? Академия наук и общество философов сказали категорическое «нет», «нет» очеловечиванию вещей, внедрению эмоциональной и психической сферы в косную материю.

— А как поступят с Митей, Женей, Валею, Мишей и Владиком?

— Поступят гуманно и разумно. А как бы вы поступили?

Мы вышли из вестибюля гостиницы на улицу. Дом напротив. Пешеход. А за стеной дома и за спиной пешеходная вселенная. Это острое и освобождающее от всяких преград и границ ощущение я уже испытывал здесь не впервые. Сначала чувства протестовали. Казалось мне, я шел не по улице большого города, а пребывал на космической станции. Чувства настан-

вали, что это космос, а рассудок и знание утверждали, что это всего-навсего улица, обычная улица обычного земного города. Я знал, что очень сложные оптические приборы меняли городской пейзаж. Они приближали к глазам пешехода космос и как бы переносили каждое городское здание за границы земного пространства. Пешеходу был словно придан искусственный глаз. Далекое становилось близким, а близкое отдалялось, перемещаясь в другую плоскость.

У меня захватывало дух от ощущения безграничного пространства. Как некстати прозвучали мои воспоминания о блужданиях в катангской тайге! Здесь, рядом со мной, была не тайга, а, казалось, весь мир с его бесчисленными галактиками. Мы шли с тиомцем Бомом среди домов и звезд. Нет, рядом с нами были не фонари, а настоящие звезды, большие и крупные, как Солнце, миллион солнц.

Минут через двадцать ходьбы мы свернули в переулочек. Вселенная исчезла. Перед нашими глазами был лирический и земной уголок с бульварами, с деревьями, с домами, построенными еще в XX и XIX веках. На бульваре мы увидели скамейку. Мы сели на нее.

Я знал, что сразу за углом переулка — вселенная. Но я не спешил вернуться туда, в мир больших пространств.

Бом сидел молча и о чем-то думал. О чем? Может быть, о далекой Тиоме?

Впереди был дом, очень похожий на тот, в котором жила Ольгина тетка — Клавдия Петровна. Чем больше глядел я на этот дом, тем сильнее меня охватывало беспокойное чувство. Мне уже казалось, что я сижу и жду Ольгу. Она зашла в этот дом к своей тетке Клавдии Петровне всего на пять минут и задержалась. От Клавдии Петровны скоро не уйдешь.

Все было таким же в этом переулке, как в мою эпоху. Дома, окна, двери, деревья и небо, главное — небо, обычное синее небо с медленно плывущими облаками. Я забыл даже о тиомце Боме, сидевшем рядом. Но Бом напомнил о себе.

— Мне, — сказал он, — больше нравится там, — и показал рукой туда, где за углом нас ожидало другое, безграничное пространство, пространство, звавшее нас в бесконечность, к звездам.

Тиомцу Бому, по-видимому, надоело сидеть на старинной скамейке и видеть одно и то же. Ему наскучил этот лирический старомодный уголок, этот заповедник, оставленный без изменений и напоминавший о далеком прошлом.

— Пойдемте, Павел Дмитриевич.

— А не лучше ли посидеть здесь, дорогой Бом? Мне здесь так все нравится.

Уж не боялся ли я улицы, уходящей в беспределность? Я не хотел себе в этом признаться, но это было так. Я хотел отсрочить хоть на десять минут встречу с миром без горизонтов и границ.

На бульваре было тихо, пожалуй, еще тише, чем на безграничной улице. Машин не было видно. Быстрое движение происходило либо в небе, либо глубоко под землей.

— Вы, по-видимому, устали,— сказал тиомец Бом,— устали, хотя и не хотите в этом признаться. Это естественно. Слишком большая нагрузка для чувств. Я вспоминаю: когда я попал на Землю, я тоже испытывал то чрезмерное возбуждение, то безмерную усталость. Но я был молод, юн. Идемте! Идемте ко мне. У меня вы отдохнете.

— Далеко?

— Тут рядом.

— Тут рядом, в бесконечности?

Тиомец Бом рассмеялся.

— Так и должно быть. А как же иначе? Человек овладел временем и пространством. Его глаза отвыкли от всего неподвижного и малого, того, что окружало в течение многих тысячелетий. Окно моего дома выходит не на пустырь и не на двор, а прямо во вселенную, разве это уж так плохо?

— Я потерял все критерии. Я уже не знаю, что плохо и что хорошо. Привычка!

— Привычка — это то, что чуждо современному человеку. С детства он борется с привычками. Его бытие всегда обновляется и освежается. Привычка — это нечто вроде стоячей воды в болоте. Идемте.

Я буквально заставил себя встать со скамейки, так не хотелось покидать этот уголок.

Мы свернули за тот же самый уголок, но увидели совсем другой пейзаж. Вместо вселенной за стеной

того же самого дома я увидел неизвестно откуда взявшуюся гору с карабкающимися на нее соснами. Совсем как в Горном Алтае падала вода со скалы. Гора была близко-близко, почти возле самых глаз, казалось, что, протянув руку, я достану до нее. Рядом не было никакой дали. Все интимно приблизилось ко мне.

— Что случилось? — спросил я. — Каким образом изменилась улица? Ведь не прошло и часа, как мы по ней шли.

— А который час? — Бом взглянул на часы. — Ровно пять... Все очень просто, Павел Дмитриевич. В эти часы оптики производят смену программы. Вместо бесконечности они предлагают нашим чувствам что-нибудь близкое, естественное и земное. Прекрасная гора! И водопад прелестный. Я вижу это в первый раз.

Я почувствовал в голосе тиомца Бома волнение.

— Постоимте, Павел Дмитриевич. Чудесный край подвинули нам. Как круто уходит ввысь гора! Обратите внимание на водопад. Все это напоминает мне Тиому. Тиома! Тиома — это ручьи, водопады, биение, звон, плеск, гром. Тиома — это деревья, карабкающиеся ввысь к облакам, и озера. У вас на Земле один Байкал, только Байкал да еще Телецкое озеро могут сравниться с тем, что у нас на Тиоме.

Я был доволен, что вместо бесконечности передо мной был кусок земной природы, гора с карабкающимися на нее деревьями и водопад. Правда, не слышно было шума падающей воды. Тишина.

Мы шли, и тиомец Бом на ходу рассказывал мне о Тиоме.

Тиома — это ветви, и птицы, и птичьи голоса, и звон льдинок весной, когда ручьи выходят из берегов. Тиома — это берега, и крылья, и снова плеск и звон падающих вод. Тиома — это облака, и горы с озерами на верхушке, и лицо смеющегося ребенка. Тиома — это сад в облаках, и лесные тропы, и птичьи гнезда, и следы прирученных зверей. Тиома — это весло в волне, и нос лодки, и прозрачная синь реки. Тиома... Мы шли, и я не подозревал, что его Тиома была всего в двух шагах.

Он раскрыл дверь, и я увидел рыб, плывущих рядом — стекла не было видно, а также воды, и казалось — рыбы не плыли в воздухе. Дом и двор походили на ботанический сад, куда впустили зверей.

Изящный жираф вытягивал шею, чтобы сорвать лист с дерева, словно ожил детский рисунок.

— Иначе не умею,— пробормотал смущенно Бом.

— Что не умеете?

— Не умею обходиться без растений и животных. Привычка.

Он помолчал.

— Пробовал. Не получается. Что-то вроде симбиоза. Не находите?

В квартире (как не подходило это допотопное словечко к тому, что я видел) ничто не напоминало о быте. Вместо быта — бытие, жизнь в природе и с природой.

— Чтобы вам не было скучно,— сказал, любезно улыбаясь, тиомец Бом,— сейчас пригласим гостей. Вызовем их, потревожим ради такого события, разбудим, если спят. Виктор Купцов. Инженер. Мой приятель. Станция в космосе Балашово. И Зоя Астрова. Южный полюс.

Тиомец Бом включил незнакомое мне оптическое устройство, и гости начали приближаться. Они уже были возле нас и одновременно пребывали где-то. Эта одновременность и разнопространственность (словечко, к старинному смыслу которого я долго не мог привыкнуть) давала о себе знать моим растерявшимся чувствам.

Гости, Купцов и Астрова, внесли с собой и свои миры (он — космическую станцию, она — Южный полюс), правда в значительно уменьшенном масштабе. Я подумал, как бы удивились мои современники, узнав, что люди, собираясь в гости, берут с собой не только свое тело и свою душу, но и то, что служит им опорой, фоном, что окружает их со всех сторон.

Виктор Купцов пожал мне руку. Рукопожатие продолжалось недолго, но оно смутило меня. Казалось, что рука протянулась откуда-то из космоса, презрев расстояние.

Зоя и Виктор сидели против нас одновременно вблизи и вдали. Игра пространства (да и времени тоже) доставляла огромное удовольствие моим чувствам. Дело было не только в остроте новизны, в ее необычайной свежести, а совсем в другом. В чем же именно? Боюсь, что я не смогу удовлетворительно ответить на этот вопрос. Казалось, я катился в горы в салазках, как в раннем детстве, и дорога убегала

от меня, как во сне. «Тут» и «там» два понятия, связанные и разделенные союзом «и», но сейчас они чудесно слились, как слова в песне.

Мы с Виктором Купцовым оказались коллегами, он тоже изучал дискретные проблемы жизни там, у себя, на космической станции Балашово.

— Ну, как жизнь? Житуха? — спросил он меня.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Откуда у вас эти слова?

— Житуха-то? Запомнилось. Читал недавно исторический роман о людях двадцатого века...

— Быт, — сказал я.

— А что это такое — быт? А, да! Это вещи. Множество вещей. И люди, похожие на вещи, как у Гоголя. Чичиков. Собакевич. Коробочка. И тот самый, который потерял свой нос.

— Коробочка, да. И Собакевич. Быт без жизни. А у вас жизнь без быта. Собакевич бы забраковал.

— Забраковал? А что это значит?

Я стал объяснять... Не очень-то у меня это получалось.

Появился столик с закусками, по-видимому исполняя желание гостеприимного хозяина. Холодное мясо. Фрукты. Дичь. Вино.

Я подумал: «Как же гости будут есть, ведь их от закуски разделяет порядочное расстояние?»

Но гости отказались от ужина.

И столик исчез, развеществился, растаял.

Мы оживленно беседовали. Правда, смещение пространства напоминало о себе моим растерявшимся чувствам. Иногда мне казалось, что я говорю, сидя на краю пропасти: рядом вакуум, нечто без дна. Но это ощущение сразу же исчезло, уступая место другому, я бы сказал, более интимному. Ведь мы пребывали рядом, в одной комнате, не так ли? Какой вздор! Как будто комната способна была вселить космическую станцию и Южный полюс! Расстояние все же было неспособно скрыть себя целиком. Оптическое устройство (как выяснилось позже — «новинка»), технически еще не доведенное до совершенства, не всегда могло слить близь и даль так, чтобы близь-даль были идеально пригнаны друг к другу. Во время оживленного разговора произошел небольшой казус: Зоя Астрова, только что рассказывавшая о своей дружбе с белым медвежонком (дрессировке она училась у Бома по методике, принятой на Тиоме),

вдруг замолкла. На этом месте, где только что сидела Зоя, приоткрылась зияющая пустота в пространстве, холодная и страшноватая, но только на одну-две секунды, потом мы снова увидели милое смеющееся Зоино лицо и услышали ее голос...

Тиомец Бом внезапно выключил свой аппарат-новинку, и Виктор с Зоей исчезли, даже не успев пожелать нам спокойной ночи.

— Он не совсем в порядке... — сказал тиомец Бом.

— Аппарат?

— Да. В прошлый раз я по рассеянности повернул «близь» и забыл про «даль». Это надо делать одновременно. Мой робот-техник — отсталое существо. Механический лентяй, тяжелодум с устаревшей программой. Разве можно его допускать к такой вот новинке? Как выражались в вашу эпоху — «напортачит». Придется вызвать инженера.

Простившись с тиомцем, я вышел на улицу. Бом предложил проводить меня, но я решительно отказался. Зачем? Гостиница тут же, на этой улице. На этой же? Улица сразу напомнила мне о вселенной, как только закрылась за мной дверь. Я очутился один на один с бесконечностью. Я шел среди звезд и домов в просторе, не знавшем границ. Пространство со всех сторон охватило меня. В какой же стороне гостиница? Куда идти? Налево? Направо? Вперед? Рядом, совсем близко, были звезды.

В шестидесятых годах XX века люди знали о бесконечности бесконечно мало. Они знали о бесконечности из учебника астрономии и редко думали о ней как о чем-то практически реальном. Вокруг нас были дома, леса, поля, сады. И их масштаб вполне соответствовал привычному масштабу наших ощущений. Вы шли по улице, зная, что объем вашего мира заранее известен. Что бы вы сказали, если бы к вам на знакомой улице к самым глазам приблизилась неизвестность?

Я шел по улице, которая уносилась в бесконечность. Я все же был не один. По улице двигались пешеходы. Компания молодых людей обогнала меня. Один из них читал вслух стихи:

Глядя в будущий век, так тревожно ты,

Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет.

За своей Эвридикой, погибшей

в космическом рейсе,

Огнекрылый Орфей отправляется
в звездный полет.
Он в пластмассы одет, он в сверхтвердые
сплавы закован,
И на счетных машинах
его программирован путь.
Но любовь есть любовь, и подвластен
он древним законам,
И от техники мудрой печаль
не легчает ничуть.

24

Незадолго до того, как отправиться в свой продолжительный рейс, Ольга принесла книжку стихов Вадима Шефнера и прочла вслух эти строчки:

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной,
И в тоске и надежде идет по далекой планете
Песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной.

— Вот и тебе, мой Орфей,— говорила она,— может быть, придется заковать себя в сверхтвердые сплавы, когда ты отправишься на поиски своей Эвридики.

Она не знала и, разумеется, не догадывалась о том, что будет другое, более мощное средство, чтобы предохранить меня от бренности и перенести туда, где до меня никто не бывал.

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной...

Ольге очень нравился этот эпитет — «безгрешной». Он-то и давал ощущение той тишины, которую она вскоре должна была познать.

И вот она ушла в недостижимую даль. Она продолжала удаляться от Земли, от своего времени, от своей семьи. Я не сразу осознал всю безмерность и тяжесть того, что случилось. На другой день в институте сотрудники ласково, и грустно, и растерянно смотрели на меня. И только Чемоданов, весь сияющий и торжественный, подошел меня поздравить.

— От души завидую,— сказал он, протягивая руку.— Да, да, завидую,— повторил он.

«Чему, собственно, завидовать,— подумал я,— тому ли, что я никогда уже не увижу свою любимую жену, хотя буду ждать ее в течение многих-многих лет?»

Я взглянул на Чемоданова, и, странно, это меня чуточку успокоило. Он был такой здешний, такой реальный, такой земной. И он действительно искренне завидовал мне, моей известности, тому, что во всех частях мира ежедневно упоминали имя моей милой жены и заодно мое имя — имя человека, жертвовавшего своим счастьем на благо науки, родины и человечества... Но Чемоданов едва ли мог понять меня, он не был женат и, вероятно, щадя себя, никогда никого не любил слишком сильно. Но зато все другие сотрудники отлично понимали. Многие удивлялись, что я пришел на работу, не остался дома. Дома было в тысячу раз тяжелее — дома, где каждый предмет напоминал мне об Ольге.

В лаборатории, казалось мне, я мог отвлечься от безрадостных дум. Я рассчитывал на это, когда вез в автобусе Колю в его детский сад. Но все оказалось не так, как я думал. И в лаборатории я с не меньшей силой и остротой чувствовал, что случилось непоправимое, что дали времени и пространства разверзлись и уносят Ольгу в то удивительное трехсотлетие, которое возвратит ее и ее спутников на Землю — на Землю, где не будет ни меня, ни Коли, ни даже моих будущих внуков и правнуков.

Раздеваясь и отдавая пальто вахтерше, я увидел шубу Чемоданова, висевшую, как всегда, отдельно, на особом крючке. Мой взгляд с какой-то даже надеждой уцепился за эту шубу, словно шуба своим предметным наличием поможет мне оторваться от тягостных дум и найти необходимое спокойствие.

Шуба Чемоданова пребывала в раздевалке как сколок какого-то особого, сверхконкретного бытия. Не шуба, а словно сам Чемоданов пребывал здесь, в углу, отрицая всем своим видом всякую бренность и относительность.

Вахтерша перехватила мой взгляд, устремленный на чемодановскую шубу, и истолковала его по-своему.

— Ценная вещь, — сказала она. — А матерьял какой! Никогда не сносится. Прочность!

«Прочность!» — это и было именно то самое слово, которое было мне нужно в этот момент.

Обидин сидел за столом и писал статью. Димин препарировал кролика. Лиза Галкина возилась с термостатом.

Я сел на свое место в углу у окна и стал рас-

сеянно перелистывать книгу П. Ю. Шмидта «Анабиоз». Мой взгляд задержался на абзаце:

«Смерть — не простая остановка жизненных процессов, связанных с белковыми коллоидами, ферментами, гормонами, солями и другими действенными элементами живого организма. Смерть обуславливается разрушением жизненных механизмов с необратимыми изменениями живого вещества, переходящими в распад, разложение... Если не произошло таких нарушений, если механизм жизни цел и не затронут в основном своем строении — возможна полная остановка жизни, не равноценная смерти, и возможно возвращение жизни при изменении условий в благоприятную сторону».

Волнение охватило меня, словно я впервые узнал, что можно победить время и даже самую смерть.

25

Прошло десять дней. Потом прошло еще десять дней. И месяц. И два месяца. А затем я перестал считать дни. Зачем? Уходящие дни, недели и месяцы ни на одну минуту не приближали час встречи.

Я весь ушел в работу, проводя дни и вечера в лаборатории, и отлучался только для того, чтобы съездить в детский сад за Колей.

Понимая мое состояние и глубоко сочувствуя мне, Обидин настаивал, чтобы я съездил в научную командировку. Он думал, что поездка рассеет меня, и делал вид, что эта командировка очень нужна и даже где-то запланирована. Он много и часто говорил о зимней спячке животных, об этом удивительном феномене, связанном с дискретностью жизни, который я должен, по его мнению, изучить там, где позволяли условия на месте. Не везти же сибирских грызунов сюда в лабораторию. Здесь, в этой суете, грызуны откажутся погрузить себя в то временное небытие, которое помогает им переносить физические невзгоды.

Я не хотел ехать, отказывался. Почему? Да потому, что, куда бы я ни уехал, я не мог уйти от самого себя и от сознания, что мне не дано выйти за пределы бытия, отмеренного на земле каждому индивиду.

Как все очень чуткие и отзывчивые натуры, Обидин умел угадывать чужие мысли. Однажды он спросил, обращаясь не то ко мне, не то к самому себе:

— Нужно ли бессмертие?

Я ответил вопросом:

— Зачем гадать, нужно ли, разве оно возможно? Обидин улыбнулся своими тонкими умными губами.

— Уж кто-кто, а вы-то знаете не хуже меня, что принципиально оно возможно. И что...

— И что,— перебил я его,— запланирован опыт замедления жизни. Мгновение, остановись!

— Я спрашиваю не о том, возможно ли оно, а нужно ли? Не таит ли оно в себе философскую бессмыслицу? Не противоречит ли оно нравственной сущности человека?

— Ответить на ваш вопрос мог бы только тот, кто испытал это счастье или это несчастье на себе.

— Беда в том, что нам бы не представилась возможность его об этом спросить. Но шутка шуткой, а последние два года я очень много думаю об этом. Есть «за» и есть «против».

— Меня больше интересует «за».

— Меня тоже. Мне кажется, что, помимо всего прочего, смерть несет для личности интеллектуальную трагедию. Каждому хочется знать — что дальше? А смерть отбирает это «дальше» и не позволяет человеку задавать вопросы. Бессмертие нужно хотя бы для того, чтобы продолжать спрашивать. Нет, смерть необходимо убрать с дороги, которая ведет человека вперед.

— А если это не соответствует человеческой сущности?

— Так черт с ней, с этой сущностью! Что она — вечна и неизменна? С возможностью победы над временем и смертью изменится и наша сущность.

— Усталость. О ней вы забыли?

— Физическая усталость?

— Нет, духовная, нравственная усталость. Духовный, интеллектуальный организм вовсе не приспособлен для очень длительной жизни.

— Приспособится.

Обидин часто возвращался к этой мысли. Он все время искал философское оправдание своей дерзкой идеи. Он говорил мне и, разумеется, себе, в первую очередь себе:

— Мы вступили в эпоху, значение и истинный смысл которой мы еще не в состоянии полностью осознать. Выход в космос, завоевание наукой огромных пространств — все это столкнулось с одним слож-

ным и трагическим противоречием. Продолжительность человеческой жизни не соответствует тем грандиозным задачам, которые поставили перед нами современная наука и техника. Как сможет человечество выйти за пределы солнечной системы, если жизнь отдельного человека так непродолжительна? Дальнейший прогресс науки требует удлинения человеческой жизни.

— Это бесспорно, — сказал я, — но человек не машина, созданная только для преодоления физических препятствий, человек — это прежде всего духовное, интеллектуальное, моральное, то есть нравственное, существо. Его духовный мир вряд ли приспособлен для вечного пребывания в мире. Извините, Всеволод Николаевич, но ваша идея похожа на поиски абсолюта. Освободите человека от смерти, и он превратится в бездушное существо.

— Не знаю, — ответил резко Обидин. — И никто не знает. Пока об этом можно гадать.

26

Сотрудникам лаборатории все-таки удалось уговорить меня взять отпуск, для того чтобы отдохнуть.

Я попросил свою мать позаботиться о Коле, купил путевку в дом отдыха и уехал в Репино.

Целые дни я ходил на лыжах, а вечера проводил за шахматной доской. И лыжи и шахматы должны были помочь мне, как выразился мой приятель Сашка Димин, «войти в колею».

Глядя на пешку или слона, я погружался в обдумывание своего хода с таким видом, словно этот ход был самой важной вещью на свете. Я хотел убедить себя в этом и заставить погрузиться без остатка в пробежавшее мгновение, как это делали все отдыхающие — и молодежь и старики пенсионеры. Но мгновение за мгновением пробегали мимо, не вовлекая мое существо в беззаботную радость существования. Меня выделяло и отделяло от всех других отдыхающих одно чрезвычайное и сверхобычное обстоятельство. Мне была дарована возможность преодолеть время. Я психологически подготавливал себя к опыту, который должен был произвести надо мной Обидин. Я должен был расстаться со своими современниками, чтобы через триста лет увидеть другой мир. Я старался погрузиться в текущее мгнове-

ние, отвлечься от вечности и безграничности, знакомство с которыми было не за горами. Жизнь с ее радостями. Она была повсюду. Никто из отдыхающих не думал о времени. Зачем? Они жили в единстве с мимолетным, и никто из них не требовал, чтобы прекрасное мгновение остановилось. Но, как позже я узнал, пожелал остановить мгновение человек, от которого это трудно было ожидать.

Я только что закончил одну партию в шахматы и уже расставлял на доске фигуры, чтобы начать другую, когда в гостиную ленивой походкой вошла сестра-хозяйка и сказала, что внизу, в вестибюле, меня ждет какой-то гражданин.

— Кто же именно? — спросил я. — Разве он себя не назвал?

— Назвал. Да я забыла фамилию. Какой-то профессор.

«Уж не Обидин ли явился сюда», — подумал я, но, спустившись в вестибюль, еще издали узнал чемодановскую шубу.

— Извините, Павел Дмитриевич, что нарушил ваш покой. Важное и срочное дело.

Я указал Чемоданову на диван в углу, где можно было поговорить, никому не мешая. Но Чемоданов не сел на диван, а продолжал стоять.

— Может, прокатимся до Зеленогорска? Со мной машина. По дороге побеседуем.

Я согласился, чтобы убить время. Ведь, в сущности, я только и занимался тем в доме отдыха, что убивал время.

Мы доехали до Зеленогорска. Чемоданов остановил машину возле ресторана «Ривьера».

— Зайдем, — сказал он почему-то настороженным и доверительным шепотком. — Закусим. А за коньячком и поговорим. Тема разговора такая. Требуется подготовки.

В ресторане в этот час, кроме нас, не оказалось никого, если не считать подвыпившего и задремавшего за столиком старика.

— Жизнь прожил, — покосился на него Чемоданов, — и с ее радостями расставаться не хочет. Что ж, это естественно. Я это понимаю. А вы?

— Я не разделяю вашего восторга.

— Ну, ну, — шутливо погрозил он пальцем. — Не разделяете, а сам собирается... — он не закончил фра-

зу, многозначительно посмотрел на меня и налил коньяк в рюмки.

Мы чокнулись.

— Не будем уточнять,— Чемоданов усмехнулся.— Да и конкретизация этого предмета, о котором идет речь, дело не простое. Раньше бы сказали: ме-та-фи-зи-ческое. Выпьем лучше за жизнь и за ее радости. Да, именно за радости. А всякие отвлеченности оставим для вашего шефа Обидина. Он, конечно, гений. Бесспорно! Но что такое гений? Это человек себе на уме. Запомните этот афоризм.

— Запомню,— сказал я.

— Так вот. Не будем уточнять. Не надо. Да и слов нет в бедном человеческом языке. Как сказал поэт: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои». Вот я и таю. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..»

— У вас отличная память. Но я не понимаю...

— Ну, ну! Не делайте вид. Не вчера же вы родились... Это вам обещано радоваться вновь и познать новую жизнь. Ну ладно! Молчок. Не тема для разговора в ресторане. «Поймет ли он, чем ты живешь. Мысль изреченная есть ложь...».

Он еще налил коньяк. Выпил. И в его глазах появилось не свойственное ему выражение иронии.

— Фауст. Советский Фауст.— Он погрозил мне пальцем.— Но Фауст заплатил за это не дешево по тем ценам. Душой. Душенькой. А вы собираетесь получить все бесплатно. Я всегда был о вас особого мнения. «Этот товарищ,— предсказывал я,— пойдет далеко».

— Только, пожалуйста, без пошлостей.

— Далеко пойдет. Уже, кажется, и некуда дальше. Все знаю. Но таю. И как Обидину удалось получить разрешение на этот не имеющий precedентов опыт и как выбор пал на вас? Ничего себе командировочка! Не нравится это слово? Ну что ж, назовем это отпуском. И это выражение не устраивает? Так можно и никак не называть. Термин Обидина «временная смерть» неудачен. При чем тут смерть, когда речь идет о бессмертии.

— Может, все-таки переменим тему разговора?

— Охотно. О чем же говорить? Ходил вчера в театр. Видел пьеску из жизни ученых. Главный герой, профессор, все никак не может наладить отношения с женой и детьми. Семейный конфликт. А в лаборатории у се-

бя занимается сущими пустяками. Ищет средство от чесотки. Приземленно очень. Быт. Как вы относитесь к быту?

— Никак.

— Это не ответ. Без быта мы все не более как схемы. Ваш Обидин этого не понимает, хоть и почти гений. А я, признаться, люблю быт. В квартире все удобства. Ванна. Газ. Мусоропровод. Телевизор. Но хожу мыться в баню. И знаете, немножко тоскую по коммунальной квартире. Теперь это редкость. Домов настроили. Исчезли бытовые конфликты. Хорошо! Отлично! Культурно! Но скучно. Вы об этом думали?

— Не думал.

— Зря.

— Что зря?

— Ничего. Пошутил. И хорошее на плохое менять не намерен. Зачем? Каждый ценит удобства. За что предлагаете выпить? Давайте выпьемте за...

— За что?

Не ответил и внезапно меня спросил:

— А что вы с собой возьмете туда?

— Куда?

— Ну в свое путешествие, в свой вояж, как выражались в прошлом веке. Не отправитесь же туда без багажа?

— А вы что бы взяли на моем месте? Свою знаменитую шубу?

— Хотя бы и шубу. Это вещь.

Он помолчал. Потом приблизил ко мне свое лицо, вдруг спросил шепотом:

— Уступите?

— Что уступлю?

— Понимаете сами, о чем идет речь.

— Не понимаю.

— Не притворяйтесь. Так уступите или нет?

— Что?

— Время. Времецко.

— Ах вот о чем вы просите. Время? А зачем оно вам?

— Ценю. Собственно, нет на земле большей ценности, чем оно.

— Для кого как.

— Так уступите?

Он рассмеялся и погрозил мне пальцем:

— Я уже говорил с Обидиным. Он ни в какую.

С его точки зрения, я не тот человек, а вы тот. Моралисты! Ну ладно! Пока довольно об этом. Хватит. Молчок. «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои»...

Я посмотрел сквозь стекло автобуса. Мелькнуло лицо школьника, возвращающегося из школы. Я держал свой взгляд на этом детском смеющемся лице.

В автобус вошла старуха колхозница. И я долго-долго смотрел на нее, на ее худую суровую фигуру, на ее морщинистый рот, на ее огрубевшие от работы пальцы, которыми она неумело держала билет. Я смотрел на все, что было вокруг, с каким-то острым и незнакомым мне чувством. Я еще был здесь, в своем городе, среди своих современников, но уже все начало отдаляться и от этого становилось еще прекраснее.

Я вышел из автобуса на углу Невского и Садовой. По тротуару текла толпа. Проходим не было до меня никакого дела. Никто из них не подозревал, что среди них идет человек, которому суждено оторваться от бегущего мгновения и сделать необыкновенный прыжок через «ничто». Им не было никакого дела до меня. Но каждый из них был нужен мне, бесконечно нужен и дорог.

— Люди, остановитесь! Современники мои,— хотелось сказать мне,— задержитесь на минутку!

Но я этого не сказал. Да и кто бы решился это сказать, будучи на моем месте? Большие, искренние чувства чуждаются громких и красивых фраз.

На скамейке в Михайловском саду сидела девушка. Может быть, она кого-нибудь ждала. Во всяком случае, не меня. Я сел рядом с ней. И заговорил. Я предложил ей пойти вместе со мной в кино.

— На какую картину? — спросила она.

— На любую. На плохую. На хорошую. Мне хочется побыть вместе с вами.

Девушка улыбнулась. Это была довольно обычная девушка. И улыбалась она чуточку жеманно. Но в эти минуты она мне казалась остро, необыкновенно прекрасной.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Валя.

- А где вы работаете?
- Ну вот, целая анкета. Работаю на заводе «Светлана». Есть еще вопросы?
- Все,— сказал я.— Больше вопросов нет. А теперь просто поговорим.
- О чем?
- Не знаю. О земле. О вас. О сердце. Об этих кленах. Как здесь хорошо!
- Вы что, приезжий?
- Нет, здешний. Здесь родился и вырос.
- Наверно, куда-нибудь уезжаете? И надолго?
- Вы почти угадали.
- На целину?
- Дальше.
- За границу?
- Еще дальше.
- В космос, что ли, улетааете? Но что-то не похоже.
- Почему не похоже?
- Вид не тот. Наружность.— Она с любопытством посмотрела на меня.— Да и в очках. Очкарик. Зрение неподходящее. Летчики и космонавты в очках не ходят. А вы очкарик.— Она повторила, видно, ей понравилось это слово.
- Мне оно тоже понравилось, и я тоже повторил:
- Очкарик. Это верно. А откуда вы знаете, что очкариков бракуют?
- Все это знают. А если очки разобьются?
- Это верно. Об этом я и не подумал. Им никак нельзя разбиваться. Хотите мороженого?
- А в кино?
- В кино как-нибудь в другой раз. Времени у меня в обрез.
- Когда же в другой? Вы уезжаете или передумали?
- Нет, не передумал. В другой раз уже не придется. Это верно.
- Мы зашли в погребок на Невском у Садовой, и я заказал две порции мороженого.
- Так куда же вы едете, очкарик? Секрет?
- Нет, не секрет. Я, собственно, не еду, но это все равно.
- Какой-то вы непонятный. И грустный, будто что-то потеряли. Паспорт? Билет? Деньги?
- А вам приходилось терять?
- Сколько раз.
- Я посмотрел на девушку. Теперь она казалась мне

еще прекраснее. Она что-то рассказывала, но я не слушал и смотрел на нее, не отрываясь.

— Что вы так смотрите?

Она вся зарделась.

— Мне хочется насмотреться. Вот уже несколько дней я занимаюсь только тем, что смотрю на людей, на вещи, на дома, на улицы, чтобы запомнить.

— А зачем?

— Сам не знаю, для чего. Когда ложишься спать, ведь ничего не запоминаешь, знаешь, что утром проснешься и все будет рядом с тобой — друзья, привычные вещи, весь твой мир. Но этот сон слишком будет продолжительным, не ночь, а несколько сот лет.

Девушка с тревогой посмотрела на меня: что с ним, бредит он, что ли? По-видимому, ей было жаль меня.

— Вы, случайно, не больной? Давно бюллетените?

— Нет, совершенно здоровый.

— А почему такое говорите?

— А видите ли, я артист. Должен исполнять роль в одном научно-фантастическом фильме. Вот я и приучаю себя к чувствам, которые никому и никогда не довелось испытать.

Девушка еще раз посмотрела на меня, но уже без тревоги. Все стало на свое место. Я — артист. Артист и должен вести себя не так, как ведут другие люди. Теперь ей не казалось странным, что я смотрел на нее, словно впервые видел девичье лицо.

— И все-таки вы странный,— сказала Валя.

— Возможно,— ответил я.— Но странным меня делает роль. Я ведь должен изображать существо, прилетевшее на Землю с другой планеты. Существо это здесь все видит впервые, по-настоящему впервые, словно только что родилось на свет.

— Понимаю,— говорит Валя.— Это когда в первый раз я смотрела телевизор. Как кино, только помельче и похуже.

Нет, девушка не понимала меня. Она жила на Земле, только на Земле.

Мы вышли из погребка.

— Мне домой надо,— сказала Валя.— Подруга должна прийти на примерку. Я ей шью платье.

— Разве вы портниха?

— Нет. Но научилась. Шью неплохо.

Она зевнула. Зевнула откровенно. По-видимому, ей стало скучно со мной.

— Разрешите мне вас проводить?
— Мне на Выборгскую.
— Ну что ж. Чем дальше, тем лучше. Хочется побыть с вами.

— Странный. Очень странный вы. А мы еще увидимся?

— Нет. Не увидимся.

— Значит, вы, действительно, куда-то уезжаете? И надолго?

Я промолчал.

Мы прошли весь Литейный, перешли мост и на улице Лебедева остановились.

— Не уходите,— сказал я.— Пойдите.

— Я не уйду,— сказала Валя.

Минут десять мы стояли рядом. Должно быть, девушка что-то разглядела во мне, то, чего не видела раньше.

— Нет, вы не артист.

— А кто?

— Не знаю. Может, и в самом деле летчик или какой испытатель.

— А откуда вы догадались?

— Артисты такими не бывают.

Я взглянул на наручные часы. Мне нельзя было больше задерживаться.

— Прощай, Валя,— сказал я девушке.— Прощай.

Я крепко поцеловал ее в губы. Было слышно, как стучало ее сердце. Затем я круто повернулся и быстро пошел от нее.

— Очкарик! — тихо произнесла она мне вслед.

Я не оглянулся и прибавил шаг.

— Очкарик! — звала она, чтобы я вернулся.

Я шел быстро-быстро.

— Очкарик!

И мне казалось, что голос девушки донесся откуда-то издалека, пробившись сквозь бездонное расстояние, уже разделившее нас, разделившее навсегда.

Навсегда!

Всю выразительную силу этого слова, весь его бесконечно глубокий и трагический смысл мог почувствовать только человек, которому, как мне, удалось бы познать две эпохи и соединить их своей собственной жизнью.

— Очкарик!

Сколько раз я пробуждался ночью или на рассвете, когда все спали (кроме бессонных роботов), слыша девичий голос, звавший меня. Он звал меня к себе так,

словно можно было повернуть какой-нибудь рычаг и вернуться в свой утраченный век.

— Оч-ка-ри-ик!

Но рычага не существовало.

Сколько раз она, наверное, вспоминала меня и искала в уличной толпе, надеясь когда-нибудь встретить. Но я больше не встретился с ней. Ведь время необратимо.

И все же девичий голос звал меня сквозь сон, сквозь стены и сквозь столетия, звал настойчиво и протяжно. И в эти тревожные часы я не мог сидеть в гостинице, меня тянуло туда, где много людей.

Гостиница со всеми своими техническими новинками была, в сущности, архаическим учреждением. Ею пользовались люди старомодных вкусов. Да и кто на Земле нуждался в гостинице, кроме жителей космических станций и новоселов с Марса и Венеры и других планет солнечной системы? Ведь для всех живших на Земле слово «расстояние» утеряло всякий реальный смысл из-за бесшумной скорости передвижения.

С новоселами Венеры и Марса, с жителями космических станций, прибывших на Землю по каким-нибудь делам, я встречался в вестибюле или в ресторане, учреждении тоже архаичном и существовавшем скорее ради традиции, чем для удовлетворения насущных и прозаических потребностей. Каждый мог поесть в своем номере, пользуясь услугами автоматов, но людей, проживших по нескольку лет в космосе, в безлюдных вакуумах среди холодных бездонных пространств, тянуло в веселую шумную компанию, где можно послушать музыку, потанцевать, ощущая милую сутолоку и радуясь легким, лишенным заботы минутам. Меня тоже тянуло в ресторан, в суету и шум. Вокруг были люди, но большей частью молодые и сильные, веселые и мужественные. Казалось, они принимали меня за одного из своих, и мне это было приятно.

— Надолго? — спросил меня один из этих здоровенных парней.

— Как вам сказать... — замаялся я.

— А когда возвращаетесь?

— Туда, откуда я прибыл, нельзя возвратиться.

Он рассмеялся, приняв это за шутку.

— Ну, ну! Не думаю, чтобы это было абсолютно невозможно. Раз вы попали сюда, значит, найдутся средства доставить вас обратно. Инженеры позаботятся. Знакомьтесь, — он показал взглядом на молодую краси-

вую женщину.— Это моя жена Маргарита Рей. Физик-оптик. Я тоже оптик, но не теоретик, а инженер. А другая моя специальность — пограничник.

— Разве границы космоса охраняют?

— Да. Но только от дураков и трусов. Пограничник... Разве вы впервые слышите это слово? Я осваивал границы мирового пространства, расширяющиеся границы возможного. Да, я вам забыл сказать, как меня зовут... Вилли Рей.— Он крепко пожал мне руку. И мы сели за столик в углу.

По-видимому, ему очень хотелось рассказать о своих приключениях и о своей жизни в космосе, где он провел около десяти лет, обзаведясь там семьей (дети — два мальчика-близнеца — гостят у бабушки в Южной Африке).

Я охотно пошел навстречу его желанию и с большим удовольствием слушал его рассказы. Он рассказывал разные истории, смешные и ужасные. И я должен признаться, я верил далеко не всему, что он мне рассказывал. Правда, я еще в юности читал о том, что люди далекого будущего разучатся лгать и будут говорить только одну правду. Но я чуточку сомневался даже и тогда, хотя и понимал, что ложь может быть разной. А он так безобидно преувеличивал, этот инженер-оптик и осваиватель границ необжитого мирового пространства, этот Вилли Рей. По его словам, он прожил в вакууме на искусственном космическом острове около трех лет этаким Робинзоном Крузо, окруженным, правда, роботами и не знавшим ни в чем нужды, кроме желания перекинуться словом не с кибернетическим устройством, а с живым человеком. И вдруг на этом острове, заброшенном в пустоту, в безлюдье, в бесконечность, появилось нечто живое и конкретное. Из пустоты молодой голос сказал ему:

«Здорово, Рей. Ну как поживаешь, приятель?»

«Где ты? — крикнул Рей.— Я тебя не вижу. Кто ты?»

«Кто я? Я — это ты, Рей. Да, я — это ты!»

«Ты не можешь быть мною! Это невозможно! Индивид неповторим! Но почему, так хорошо слыша тебя, я не вижу ни твоего лица, ни твоей фигуры?»

«Ты не должен видеть меня, Рей. Еще время не пришло. Но тебе скучно, Вилли, в этой пустоте. И я пришел. Я, то есть ты, ты пришел к себе».

«Ты бредишь, брежу я или бредим мы оба?»

«Называй Вилли меня, как ты называешь себя. Я был

тобой пятнадцать лет назад. Твое тело возобновилось, все твои клетки. Ведь каждый человек химически возобновляется в течение восьмидесяти дней. Но вот теперь произошло преломление пространства и времени, физический эффект, открытый Вайнером. Ты не слышал об этом? Ты не мог о нем слышать. Вайнер открыл его в прошлом году. И известие об этом еще не дошло до тебя. Я — это ты, но ты — не такой, как сейчас, а ты — прежний. Вот почему ты и не должен меня видеть. Хватит с тебя, Вилли, что ты слышишь меня. Узнаешь свой голос? Вилли, а помнишь, как мы с тобой мечтали попасть в космос и создать в пустоте нечто такое, на что могут опереться человеческие чувства? Я знаю, что ты совершил много подвигов, отодвигая неосвоенную границу пространства, что ты спас поселок в районе Сатурна, и спас корабль с детьми, и снискал уважение переселенцев, создавая оптические иллюзии. Но там-то ты загрустил и стал бояться пространства. Не пугайся меня. Я обусловлен строгими физическими законами и опираюсь на эффект Вайнера и на новое представление о времени и пространстве, созданное Казимиром Раевским».

«Раевский? Впервые слышу...»

«Да, Казимиром Раевским. Новым Эйнштейном. Известие о его открытии еще не дошло до тебя. Но скоро ты о нем узнаешь... Ты о многом узнаешь, Вилли. Три года — не маленький срок. Три года! Да еще двенадцать. Давненько мы расстались с тобой, но я недоволен тобой, Вилли. Ты разучился мечтать, познав и освоив так много...»

Затем он исчез. Впоследствии врачи мне сказали, что я заболел новой, малоизученной болезнью, пространственно-временным синдромом, космическо-психическим недомоганием. В клетках мозга, ведающих памятью, происходит процесс, в результате которого индивид начинает блуждать во времени. Все это так. Синдром. Медики умеют находить названия для наших бед и несчастий, но эффект Вайнера действительно существовал, и новый Эйнштейн — Казимир Раевский выступил со смелой концепцией пространства и времени, меняющей все наши представления об этих двух физических категориях. Известие об этом пришло на мой островок через месяц после того, как исчез мой двойник.

Организатором этого вечера (назовем его условно бал-маскарад) был сам Вайнер, физик, открывший зна-

менитый эффект, подтверждавший новую физическую теорию, созданную Казимиром Раевским.

Меня привел на этот вечер инженер Вилли Рей, долго живший на границе исследуемого наукой пространства.

— У меня нет ни подходящего костюма, ни маски,— сказал я Рею накануне.

— Костюма? Маски? — рассмеялся Рей.— Зачем? Дело этим все равно не ограничилось бы. На пороге этого дома вы оставите свою внешность. Вам выдадут другую, более соответствующую характеру вечера.

Шутник! Забавник! Любитель парадоксов, причудливых поступков и слов. Жизнь на границе осваиваемого пространства приучила его мыслить слишком неожиданно и смело.

Я принял его слова за очередную шутку.

— Да, кстати,— спросил он меня,— вы разобрались в физической концепции Казимира Раевского, поняли суть эффекта Вайнера?

— Пытался. Но мои знания физики, математики и математической логики остановились, как часы, которые забыли завести еще триста лет тому назад. Я человек второй половины двадцатого века. Теория относительности. Квантовая механика. Гипотеза Фридмана о расширяющейся вселенной. Попытка Вернера Гейзенберга создать теорию единого поля... Вот на чем остановились мои знания.

— Понимаю,— сказал Рей.— Но от попытки Гейзенберга до физической концепции Раевского — Вайнера три века стремительного развития естественных наук. Боюсь, что я не сумею разъяснить вам сущность новой теории. Пока в ней разбираются всего пять или шесть физиков и математиков.

— Настолько она сложна?

— Наоборот, настолько она проста. И в этом ее недоступность. Она требует от человека других принципов мышления. Нужно похоронить старые логические навыки, чтобы понять новую теорию. Новое представление о пространстве и времени почти снимает различие между близким и далеким, в вульгарном смысле этого слова, пространство преломляется, как преломляется луч, опровергаются все прежние представления о плоскости, о кривизне, о внешнем и внутреннем. Эта теория дает человеку ключ к освоению бесконечности. Правда, в этой теории есть и дефекты. Расплывчато сформулирован

принцип преломления... Но Большой кибернетический мозг на Луне подтверждает все расчеты Раевского и Вайнера. Сейчас сотни тысяч математиков и физиков переучиваются и пересматривают свои взгляды. Это болезненный процесс. Несколько ученых наотрез отказались, заявив, что логика им дороже истины... Упрямы, которые не хотят отказаться от рутины.

Рей зашел за мной в гостиницу. Он только что проводил жену, улетевшую на Луну в район, где работает Большой кибернетический мозг. Там был создан центр для теоретиков.

— Идите,— торопил он меня.— Мне нельзя запаздывать. Я ведь иду не веселиться, а на работу.

Машина быстрого движения доставила нас в город науки возле Томска, где жили и работали два великих физика — Раевский и Вайнер.

Войдя в зал, я почувствовал легкое недомогание, сменившееся бодростью.

Вилли Рей сказал мне тихо:

— Взгляните в зеркало.

Я заглянул и не поверил своим глазам. Из зеркала глядел на меня юный бог в костюме эпохи Возрождения и с лицом молодого Леонардо.

— Что со мной? — спросил я Рея.

— Эффект...

— Вайнера? — перебил я.

— Нет, мой. Эффект Рея. Оптическое переодевание. В космосе мне не раз приходилось использовать этот эффект, когда возникала нужда в иллюзиях, своего рода театр, не больше. В этом зале стоит устройство, созданное по моему проекту. В основу положены теоретические работы моей жены. Вы думали о Леонардо, когда шли сюда? Не так ли? Ваши мысли стали вашей формой. Вас одели в вашу собственную мечту.

— Но почему же не меняетесь вы сами?

— Я? Еще чего захотели! Я на работе. И я не из тех, кто целиком полагается на роботов-техников. В космосе однажды они меня здорово подвели.

Вилли Рей ушел, оставив меня в зале. Я чувствовал себя все бодрее и бодрее.

Невидимый певец запел. Казалось, он пел только для меня, обращаясь ко мне:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед.
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Навстречу мне шла шумная компания.

Оглянись, оглянись,
Посмотри скорей...

Этот голос пел внутри меня.

Посмотри, оглянись...

Ко мне подошла женщина с величественным лицом.

— Здравствуйте, великий художник.

— Я великий всего на три часа. А вы?

— Я не пожелала меняться. Я осталась сама собой. Рей в ужасе. На меня не действует его устройство. Он говорит, что я мало пластична. Ах, этот Рей! Он дал вам в долг внешность великого итальянского художника? Но это же только маска. И вы самозванец.

Я постарался отделаться от этой не слишком тактичной дамы.

Почему она упрекает меня, а вот не этого человека, занявшего лицо у Эмиля Золя? Или вот этого гражданина с подбородком и насмешливыми глазами Вольтера? Им можно, а мне нельзя? Да и, кроме того, это получилось непроизвольно.

Промелькнул человек с лицом Обидина. Видно, кто-то занял у него свою внешность. Я окликнул его:

— Всеволод Николаевич!

Но он посмотрел на меня, словно вместо меня было пустое место.

Затем я остановился возле площадки. Танцевали две пары. Они были окутаны тихой мечтательной музыкой и светом, как в сказке.

И снова запел голос:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед.
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Я оглянулся и чуть не вскрикнул от изумления. Рядом со мной стояла она, Валя, та самая девушка, с которой я простился на улице Лебедева триста лет назад.

— Очкарик! — сказала она, словно не веря себе.

Она что-то хотела сказать, как вдруг хлынула толпа масок и оттеснила ее.

— Очкари-ик! — крикнула она.

Я пытался прорваться сквозь толпу к ней и не мог.

Я всю ночь искал ее в огромном зале, всю ночь, пока не кончился карнавал, но так и не нашел.

Мне было ужасно грустно. Мне так хотелось вернуться домой, не в гостиницу и не в домик Павла, а по-настоящему домой, в свое время, но это было невозможно даже по физическому закону Раевского — Вайнера. Мое время стало временем прошлого.

Кибернетика-экспериментатора, у которого я гостил, звали Демьян Петрович. Это он и его помощники создали Митю, Женю, Валю, Мишу и Владика.

Машина быстрого движения доставила нас в Забайкалье, в старинный сибирский городок Баргузин, где когда-то жил в ссылке декабрист Михаил Кюхельбекер.

Демьян Петрович, по рождению сибиряк, был влюблен в свой край и в его историю. В кабинете его висела репродукция знаменитой картины Сурикова «Взятие снежного городка». Но прежде всего нужно сказать, что это за репродукция и висела ли она в действительности. Нет, она не висела, а была как бы вплетена в ткань самого бытия.

Новая, небывалая техника воспроизведения картин. Эта техника давала возможность видеть картину в целом и отдельно каждую деталь.

Вот паренек, подпоясанный красным кушаком, поднявший руку с хворостиной. Вот девушка, похожая на Снегурочку. Казалось, сам Суриков был тут же, с нами. Он и его удивительное мастерство.

Город Баргузин был красив и ярок. Высокие горы, а перед ними дома, легкие и живые, среди сосен и кедров, разноцветные дома, пребывающие тут, рядом с вами, и одновременно уносившиеся вдаль, как в песне или лирическом стихотворении.

Экспериментальная лаборатория стояла в лесу, на берегу быстрой горной речки Банной. Старинное название напоминало о банях, к которым был, по видимому, равнодушен Демьян Петрович, как ко всякой старине.

За ужином нам рассказывала народные русские сказки невидимая старушка ленивым и протяжным голосом няни.

— Автомат? — спросил я. — Искусственная память, вобравшая в себя эти разноцветные, яркие живые слова?

— Нет, это не искусственный соловей китайского императора, — ответил Демьян Петрович. — Это голос забайкальской сказительницы Алены Ивановны Колмаковой, записанный двести восемьдесят лет назад. Я слишком люблю фольклор, чтобы слушать искусственного соловья.

Меня удивили эти слова. Ведь говорил их кибернетик, знаменитый конструктор мыслительных и даже чувствующих машин.

— Как же увязать, — спросил я, — эти ваши слова с вашей специальностью? Слушая вас, можно подумать, что не вы создали Митю, Женю и Владика.

— Не отпираюсь. Я. Я создал их и несу на себе всю ответственность. Но, создавая Митю, Женю и Владика, я как раз боролся с односторонностью кибернетики. Соловей китайского императора из андерсеновской сказки был бесчувственным, как все эти думающие машины. Я сделал попытку создать машину чувствующую, переживающую, еще не предполагая, как далеко заведет меня моя попытка. Еще в молодости, занимаясь кибернетикой, я понял, что эта наука близка к искусству. Ведь она моделирует человеческий мозг, воспроизводит память, из всех технических и естественных наук она ближе всего к человеку, к его сущности. Как раз в те годы шло освоение Венеры. На ней поселили группу думающих машин, сообщавших нам все необходимые сведения. Эти сведения были безличны, абстрактны. Машины мыслили формулами. Вот тогда-то мне и пришла в голову идея создать эмоционального робота, робота не математика и не техника, а художника. Эта идея уже была подготовлена развитием физиологии и биофизики. Ученые уже умели найти объяснение так называемым таинственным явлениям психики. После шести лет непрерывных поисков и экспериментов мне и моим помощникам удалось создать первого робота-эмоционала Васю. Вася не только мыслил, но и чувствовал. У него была тонкая, восприимчивая душа лирического поэта. И вот Вася был отправлен на Венеру вместе с безэмоциональными роботами-приборами. И случилось то, что должно было случиться... Вася заболел

ностальгией. Он стал тосковать по коллективу, создавшему его. Какие глубокие и грустные письма посылал он мне, описывая чувства, которые испытывал... Его пришлось вернуть на Землю. Вскоре он безнадежно испортился.

— И после всего этого вы все-таки продолжали работать в том же направлении?

— Продолжал. И создал Митю, Женю, Валю, Мишу и Владика.

— А что же вы будете делать сейчас, когда Академия наук и общество философов сочли, что ваши эксперименты пришли в противоречие с этикой, с нравственной природой человека?

Демьян Петрович словно не слышал моего вопроса. Ответил он не сразу и, вероятно, не столько мне, сколько самому себе.

— Не знаю! Не знаю! И не знаю! Этой идеей, идеей создания эмоциональной сферы, я жил много лет.

Из Баргузина, с берегов прозрачного Байкала, я попал на новую, только что построенную космическую станцию. Меня пригласили туда строители (физики-термоядерники и астрономы-инженеры), создавшие в этой части солнечной системы небольшую искусственную звезду из плазмы.

Признаюсь, я с удовольствием принял их приглашение. Дело было, разумеется, не в тщеславии, не в желании быть в центре внимания людей, все еще не привыкших ко мне и смотревших на меня как на своего рода феномен. Нет, причины, заставившие меня лететь из Баргузина на строительство искусственной звезды в космос, были связаны с искренним желанием занять самого себя, заняться, увидеть новое и отвлечься от дум. Ведь я уже ждал возвращения фотонного корабля с Ольгой и ее спутниками. Каких-нибудь семь-восемь месяцев оставалось до этой встречи, и надо было найти средство, как сделать короче и незаметнее этот срок.

Известие пришло, когда я сидел вместе с Демьяном Петровичем в старинной просмоленной, пахнущей соленым омулем лодке и смотрел в зеленые воды Байкала.

Мой спутник включил квантприемник, и мы услышали голос диктора с космической станции Балашово:

— Внимание! Только что получена кванттелеграмма. Фотонный корабль, отправившийся в экспедицию триста лет назад, сообщил о своих координатах. Затем связь была прервана, но ее постараются восстановить.

Мы стали грести к берегу, но старинная лодка двигалась поистине с черепашьей медлительностью. Я спешил попасть на берег, словно это могло сократить срок и приблизить меня к Ольге.

Связь с фотонным кораблем, замедлявшим свое движение, удалось восстановить. Через полгода он должен появиться...

Я лихорадочно считал дни и часы. И, разумеется, был рад каждой возможности отвлечься. Пришло приглашение с космической станции. Я его принял. Я его принял потому, что не знал, что меня там ждет. А меня ждали неожиданность, испытание. Парадокс времени и причудливые законы генетики задумали сыграть со мной неостроумную и жестокую шутку и заставить меня пережить несколько тревожных и двусмысленных минут.

Провожавшие предупреждали меня, что на космической станции, очень возможно, мне доведется встретиться со своими потомками. Я не удивился этому. Мой сын Коля оставил четырех детей, а дети его детей, мои внуки, в свою очередь, тоже имели потомство. И вот случилось нечто такое, к чему не подготовлено было мое возбужденное сознание. Кого же, вы думаете, я увидел среди строителей искусственной звезды, пришедших на космический вокзал меня встретить? Жену свою Ольгу. Она стояла, как будто ничего не произошло с того дня, как мы с ней расстались. На лице ее играла спокойная улыбка.

Как? Почему? Уж не прилетел ли фотонный корабль раньше срока?

— Ольга! — крикнул я, нет, не я, а все мое существо, рванувшееся к ней. — Оля!

Но она стояла, словно не узнавая меня.

— Ольга!

Она подошла и сказала:

— Я не Ольга. Вы ошиблись. Я — Наташа. А вы... — она замялась, подыскивая нужное слово, и, по-видимому, не сумела найти его. — Мой предок.

Нет, не то. Дедушка. Можно вас так называть? — Она улыбулась. — Извините. Вы так молодо выглядите, почти как мой ровесник.

Она отрицала, что она была Ольга. Категорически отрицала. Но мои чувства пока еще не могли, не хотели признать этот холодный, бессердечный объективный факт. Как же могла Ольга передать свои глаза, свой рот, свой нос, свои брови, свои руки и свои ноги кому-то, появившемуся почти через триста лет? И логика тоже не хотела согласиться.

Девушка стояла тут, рядом. Я вглядывался в дорогие черты. И все-таки это была Ольга.

Но если это Ольга, то зачем же она стала бы выдавать себя за Наташу?

Генетика. Законы наследственности. Нуклеиновые кислоты с их удивительной «памятью» и умением передавать информацию для химических реакций в убегающем времени. Так, значит, нуклеиновым кислотам обязан я этому обману, этому маскараду плоти? Я стоял разочарованный, обиженный, почти возмущенный.

«Где же неповторимая индивидуальность, — думал я, — о которой столько распространялись философы и лирические поэты? Неужели индивидуальность может повториться, если этого «пожелают» нуклеиновые кислоты?»

— Дедушка, — сказала Наташа милым и бесконечно знакомым мне голосом Ольги. — Все-таки дедушка. Разрешите мне так называть вас, хотя вы выглядите совсем молодо. Дедушка, идите, вас ждут строители новой звезды, нового солнца. Я вас должна познакомить со своими друзьями.

Я привожу почти без изменения этот диалог, записанный роботом-секретарем. Этого автоматического секретаря подарили мне как дорогую и, в сущности, не очень-то нужную игрушку физики-термоядерники и астрономы-инженеры.

Ни одна живая телеграмма не смогла бы так поспевать за убегающей мыслью, за капризным словом, как этот бесстрастный и тихий секретарь.

Н а т а ш а. Вы утомились, дедушка? Столько людей расспрашивало вас. Столько новых лиц, новых впечатлений. Устали?

Я. Дедушка! Ты называешь так меня, чтобы не произносить это страшноватое и парадоксальное слово «предок»? Да?

Н а т а ш а (смущенно). Нет. Я называю вас дедушкой потому... потому...

Я. Не будем вдаваться в тонкости этого сложного и пока еще не разрешенного жизнью вопроса. Оставим это тем, кто любит словесные тонкости и оттенки. Так ты говоришь, что у тебя две профессии?

Н а т а ш а. Две. И обе нравятся мне. Я работаю техником в ремонтной мастерской, ремонтирую автоматы и роботы, но, кроме того, я занимаюсь философией и психологией, изучаю, как действует космическая среда на внутренний мир человека.

Я. В ремонтной мастерской? Ну что ж! Даже Спиноза и тот шлифовал линзы. Это ему не помешало стать великим философом.

Н а т а ш а. Спиноза? Да вы не могли быть знакомы лично. Вы жили гораздо позже...

Я. Жил? А разве я не живу, не продолжаю жить? Сколько тебе лет, Наташа?

Н а т а ш а. Тридцать два.

Я. Для философа ты, пожалуй, очень молода. Ну, а как влияет космическая среда на человеческую душу?

Н а т а ш а. Не знаю.

Я (удивленно). А кто же знает? Ведь ты же занимаешься этой проблемой.

Н а т а ш а. Именно потому я и не знаю.

Я. Ты шутишь, конечно?

Н а т а ш а. Нет, не шучу. Вся сложность этой проблемы открывается только тому, кто ею занимается. Ведь возник совершенно новый аспект. Все философы, начиная с античности, не умели отделить человека от той среды, в которой он жил. Человек жил на земле, даже если его уподобляли богу. Но вот земля отделилась от наших чувств и привычек. Казалось, человек познал необходимость и обрел свободу. Но ведь он встретился с другой необходимостью, с другим детерминизмом. Вы слушаете меня, дед?

Я. Дед? Спасибо тебе и за это. Это слово согре-

вает меня, оно роднит меня с твоим миром, с твоими друзьями, с тобой.

Н а т а ш а. Правда, вы не в том возрасте, чтобы называться дедом. Вам удалось сделать прыжок через время. Вы жили в эпоху, когда над людьми еще довлели привычки. Мы же свободны от власти всякой рутины.

Я (*рассеянно*). Да, да. Свободны.

Н а т а ш а. Что вы так смотрите на меня? О чем вы сейчас думаете?

Я. О тебе. И о том в тебе, что не твое, что принадлежит не тебе.

Н а т а ш а (*с интересом*). Вы нашли, дедушка, что я повторяю чужие мысли?

Я. Чужие мысли? Нет, не чужие мысли ты повторяешь.

Н а т а ш а. А что?

Я. Ты повторяешь чужое лицо, чужие руки, чужие глаза. Я поймал сейчас тебя на том, что ты сделала чужой жест, характерный жест, который перенес меня в прошлое.

Н а т а ш а. Повторяю? Нет, это не повторение.

Я. Если это не повторение, то что же это?

Н а т а ш а. И, кроме того, повторяю не я, это повторяет природа.

Я. Природа? Да, это она. Биологи сказали бы еще — нуклеиновые кислоты.

Н а т а ш а (*почти весело*). И с чего это вздумалось? Я ведь их не просила. И до встречи с вами, дедушка, я воображала, что я неповторима. От вас я узнала, что я похожа на свою прапрапрабабушку. Возможно, что нас будут путать с ней, когда она вернется на Землю из своего рейса. Я бы этого не хотела.

Я. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.

Н а т а ш а. О чем? Вам понравились мои друзья?

Я. Да.

Н а т а ш а. Они создают звезду, новое солнце из плазмы. В ваше время, дедушка, люди еще этого не умели.

Я. Они были еще только людьми. А вы стали почти богами.

Н а т а ш а. Вы не правы, дедушка. Они не стали богами, а остались людьми. Ничто человеческое не чуждо им. Они любят, страдают, ревнуют, ошибаются.

Я. И, наверно, не любят признавать свои ошибки?

Н а т а ш а. Они люди, а не думающие машины. Они создают новую звезду, новое солнце...

Я. Они. И вместе с ними ты.

Н а т а ш а. Я ремонтирую роботов. И, кроме того, я пишу гносеологическую статью.

Я. Ты скучаешь по Земле?

Н а т а ш а. По рекам, по озерам. Их, как вы, наверно, уже заметили, здесь нет. Нет. И не может быть. Для них здесь нет места. Им негде течь.

Я. А вода? Откуда же ее берут? Неужели доставляют с Земли?

Н а т а ш а. Разумеется, нет. Ее создают здесь из водорода и кислорода. Но я не люблю эту воду. Это не настоящая живая вода, а H_2O .

Я (смеясь). Но я же пил сегодня утром не формулу, а отличный кофе.

Н а т а ш а. В кофе это менее заметно. В формулу прибавляют кофеин и сгущенное молоко. Но ради новой звезды, которую создают из плазмы, я готова всю жизнь пить эту неживую воду. А ведь на Земле я ежедневно купалась в горной реке.

Я. Мне непонятно. Научились создавать звезды и не научились готовить воду?

Н а т а ш а. Вода — самое странное и капризное вещество. Формула H_2O — это еще не вся истина, а только ее часть. Я не биофизик, чтобы разъяснить вам все тонкости, смущающие специалистов. Вода прихотливо меняет свою молекулярную структуру. Мы научились создавать новые звезды, но еще не знаем, как создавать ту воду, которая звенит в горном ручье, быструю воду, где плавают форели. Потому мы и не боги, дедушка. Мы еще не все умеем.

Я. Научитесь.

Н а т а ш а. Конечно, научимся. Земная вода отличается от космической. К формуле H_2O Земля добавляет еще что-то. И это «еще что-то» и есть самое важное и неизменяемое. Иногда, дедушка, мне снится лесной ручей. Я слышу, как звенит вода, прозрачная, чуть тронутая утренней синью вода. И в эти минуты мне хочется домой, на Землю, в земные леса и поля...

Я. Вы создадите искусственную звезду, новое, дополнительное солнце и вернетесь на Землю, в земные леса, где звенят ручьи и свистят иволги. Но мне, увы, уже никогда не удастся вернуться туда, откуда я был, к своим современникам.

Н а т а ш а. Наш мир прекрасен. Можно ли, живя в нем, скучать по прошлому?

Я. Оно ведь не было прошлым. Оно стало для меня прошлым вдруг, внезапно. В тот день, когда я подвергся дискретизации. От слова «прерывно», «дискретно». Профессору Обидину очень нравился этот термин, Это странное и сложное словечко. Когда меня подвергли эксперименту, вокруг, за стенами лаборатории, шумела жизнь. И вот толчок, и она оказалась позади. Я еще и сейчас полностью не могу осознать все, что со мной случилось. Со всей остротой я, наверное, почувствую это, когда вернется Ольга и ее спутники. Я любил своих современников, свою эпоху. И только теперь понял всю силу привязанности человека к своему времени.

Н а т а ш а. Я это понимаю. Я понимаю, что человек и время неразрывны.

Я. И разрыв противоречит естеству?

Н а т а ш а. Естеству? Но человек все время меняет среду и себя. Мы, строящие новое солнце, вышли за пределы земной биосферы. И что ж! В этом нет ничего такого, что бы не соответствовало человеческой сущности, человеческой природе, нравственному началу.

Я. Значит, ты считаешь это естественным?

Н а т а ш а. Я как раз об этом пишу статью. Я считаю, что в космическую эру меняется сущность человека.

Я. А единство его с временем и пространством?

Н а т а ш а. Оно становится другим. Раньше человек подчинялся времени и пространству. Сейчас он подчинил себе их.

Я. Но ты же все-таки скучаешь по лесному ручью, по свисту иволги, по запаху хвои. Тебе противно пить вместо живой воды H_2O , синтезированное на ваших космических водозаводах. И, значит, ты несчастлива.

Н а т а ш а. Дедушка, вы не поняли меня. Совершенно не поняли. Я люблю Землю и тоскую по ней, но я побеждаю свою тоску, я борюсь с собой и побеждаю себя, чтобы вместе со своими друзьями строить новое солнце. И в этой победе над собой, над своей слабостью и рождается настоящее счастье.

Я снова на Земле.

Мой друг тиомец Бом идет рядом. И тут же мой потомок и тезка Павел Погодин и Демьян Петрович, создатель Мити, Жени, Вали, Миши и Владика. Они пришли меня встречать.

И вот наконец все разошлись, и мы остались вдвоем с Бомом в номере гостиницы. Мне дорого было это разумное существо, этот человек (если не человек, то кто же?) с другой планеты. Я успел привыкнуть к нему, а он — ко мне.

Тиомец Бом расспрашивал меня о космической станции. У него была жажда писателя все знать, помноженная на любознательность жителя Тиомы, где знание ценилось еще выше, чем на Земле.

Я рассказывал Бому обо всем, что видел на космической станции, живя среди строителей искусственной звезды, я рассказывал о Наташе, в чьем облике и даже характере повторились черты той, возвращения которой я ждал.

Тиомца Бомы это заинтересовало.

— Сходство? И большое, поразительное сходство! Это я могу понять. Но повторение... Нет, время и природа не повторяют и не повторяются. Вы просто очень давно не видели жену, и расстояние помешало вам заметить различие. Вы видели только сходство, и ваши обостренные чувства преувеличили его. Я в этом уверен.

— Я попытался тоже разуверить себя. Но сходство велико. И от этого я очень страдал. В этом есть что-то обидное. Эти нуклеиновые кислоты. Сознание, что их «памяти» и цепи случайностей я обязан этим маскарадом, меня буквально оскорбляло.

— Оскорбляло? На этот раз я не понимаю вас, мой друг. Что же тут оскорбительного? Я считаю самым удивительным в природе эту «память» нуклеиновых кислот, их способность пронести сквозь время нечто связывающее индивиды в единство рода. Но мы немножко ушли в сторону. Вы говорили о том сильном впечатлении, которое произвело на вас строительство искусственной звезды. И когда вы говорили об этом, я вспомнил своего отца. Он посадил дерево в космосе. И дождался, когда дерево расцвело. И на ветку весной сел соловей, привезенный с Тиомы...

Он сделал паузу.

— Свист соловья, увидевшего новое, созданное людьми солнце. Вот я о чем подумал. Когда вы рассказывали о плазме, о термоядерных реакциях и о гигантских магнитных полях, о девушках и юношах, воздвигающих в вакууме, в пустоте, в ничто нечто живое и прекрасное, я подумал о дереве и поющем соловье.

— Разве на Тиоме тоже есть соловьи?

— Не соловьи, а другие маленькие птицы, у которых в горле целый мир. Свист, цоканье, чудо звуков. Каких только птиц нет на Тиоме! Вы не очень устали, Павел Дмитриевич?

— Нисколько.

— Тогда отправимся в лес. В самый густой лес на Земле. Туда, где поют соловьи и свистят иволги.

32

Космическое общество имени К. Э. Циолковского избрало меня своим почетным членом. Я был очень польщен этим и вместе с тем несколько смущен. Ведь, в сущности, у меня не было никаких особых заслуг перед наукой. А в Космическом обществе состояли членами крупнейшие ученые, инженеры, астронавигаторы, астрономы, астрофизики и астробиологи.

Председатель общества академик Катаев прислал мне оптико-звуковое экстрисьмо — новинку. Робот принес его мне в номер. Я вскрыл конверт, отнюдь не подозревая, что вместе с письмом увижу и того, кто его писал. Да, в узком, весьма изящном конверте нашлось место не только для десятка любезных фраз, но и для самого их автора. Я распознал это не сразу. Сначала возникли фразы, а затем на листе, похожем на экран в миниатюре, появилось изображение академика Катаева, председателя общества. Изображение? Нет, пожалуй, не только и не просто изображение. Передо мной был сам Катаев, своей собственной персоной, по-видимому, нисколько не пострадавший от пребывания в узком изящном конверте.

Катаев улыбнулся мне, поклонился и не спеша начал разговор:

«Дорогой Павел Дмитриевич!

Сообщаю Вам, что наше общество имени К. Э. Циолковского на пленарном заседании от 2 июня сего года единогласно избрало Вас почетным членом...

Сообразуясь с задачами, стоящими перед наукой, изучающей космос, а следовательно, пространство и время, мы шлем привет Вам, человеку, чьим существованием была положена живая связь между двумя эпохами — прошлым и настоящим (будущим)...

Слушая эти слова, звучащие чуточку торжественно и, пожалуй, даже риторично (типичные слова и выражения официального письма), я думал о том, что уважаемый академик, председатель Космического общества, мог бы со мной разговаривать и не прибегая к риторике, если учесть то, что вместе с письмом он прислал мне и самого себя. Он был здесь, рядом, а разговаривал так, словно нас разделяло порядочное расстояние и словно свои мысли он вверял посреднику — листу (чуть не сказал: бумаге), листу письма, забыв о том, что среди этих фраз появится он сам лично, улыбающийся так близко, ближе и нельзя. Затем я вспомнил, что оптико-звуковое экстрисьмо было новинкой и в поведении уважаемого академика не скрывается ничего двусмысленного. Просто он, пожилой, рассеянный человек, еще не освоил как следует новинку и, возможно, даже забыл о том, что вместо марки он наклеил самого себя, дав возможность своему незнакомому корреспонденту познакомиться не только со своим несколько старомодным эпистолярным стилем, но и с тем, что бесконечно конкретнее и живее всяких фраз и слов.

Не без растерянности я спрятал в конверт это письмо с таким чувством, что не прячу ли я туда и самого академика Катаева.

Через два дня после того я встретился с Катаевым, и уже не таким причудливым образом, а просто и почти обыкновенно — в одной из гостиных Дома Космического общества. Академик Катаев был простой, скромный и очень симпатичный человек. Догадался я об этом не сразу. Мешало первое впечатление, когда этот человек, находясь рядом, на листе письма, разговаривал со мной языком официального документа.

Я ему сказал об этом. Он рассмеялся.

— Новинка. Еще не привык. Я большой любитель старинного эпистолярного жанра. А какой же тут эпи-

столярный жанр, когда вы сами в наличии? Да, надо излагать мысли проще.

Мы долго и оживленно беседовали. Потом Катаев взглянул на часы.

— Идемте в зал заседаний, послушаем доклад о мировоззрении Циолковского. Я познакомлю вас с докладчиком.

В большом зале уже собрались почти все члены Космического общества. Я едва успевал пожимать протянутые руки.

— Астронавигатор Винцент Карпов,— сказал быстро Катаев, подведя к седому высокому человеку.— Проложил трассу за пределы солнечной системы. Знакомьтесь... Астрогеолог Альфред Ланц. Открыл залежи урана на Венере. Астросадовод и космоботаник Васильева. Создала фруктовый сад на космической станции в окрестностях Марса. Астрофилолог и космолингвист Алексей Дрин,— сказал Катаев, показав мне на молодого человека с грустным и задумчивым выражением лица.

— Астрофилолог? Разве такое возможно?

— А как же! Не только возможно, но и необходимо. Дрин изучает диалекты, возникшие у переселенцев и старожилов космических станций. А также вопрос, как влияет изменение среды на язык. «Астроневропатолог и физиолог Аронсон. Специалист в области изучения космической энтомологии Валерий Поэтов. Вахрамеева. Знакомьтесь. Исследование вопроса «Лирика и космос». Старший научный сотрудник Института литературы солнечной системы. Художник-пейзажист Матисс Коломейцев. Космические пейзажи. Большой знаток живописи Ван Гог и Сапрыгина-младшего, зачинателя космической живописи Луи Севастьянов. Астромикробиолог. Уполномоченный нашего общества на Луне. Архипов. Межпланетный пропагандист и лектор. Гримильтис. Жан Жак Пьер. Крупный специалист в области изучения и применения гравитационных сил. Судьбин. Эстетика и астрофизика. Платон Петров. Генетика и нуклеиновые кислоты. Ламлай. Автор памятников Вернадскому и Циолковскому на Марсе. Цапкина.

Катаев на этот раз ограничился только тем, что назвал фамилию, не перечисляя всех заслуг названной им osoby. По-видимому, эти заслуги не нуждались в перечислении и сами говорили за себя. В голосе академика послышались нотки почтительного уважения.

Я хотел рассмотреть Цапкину, но она не совсем вежливо отвернулась.

Наконец Катаев подвел меня к докладчику.

— Константин Балашов. Философ и инженер. Строитель космической станции Балашово.

Я едва успел обменяться двумя-тремя фразами с оказавшимся рядом со мной жизнерадостным Матиссом Коломейцевым. Началось заседание общества.

— Ван Гог,— успел все же мне сказать жизнерадостный Матисс Коломейцев,— был первый в мире художник, который фоном для своих портретов брал бесконечность, космическую среду. Он писал, словно живя среди звезд...

Балашов уже стоял на трибуне.

Я с интересом смотрел на философа, построившего самую большую космическую станцию солнечной системы. Он говорил спокойно, медленно, словно размышляя вслух:

— Вот уже в течение многих лет я пытаюсь мысленно восстановить далекое время. Я стараюсь представить себе во всей живой конкретности образ человека, прожившего большую часть жизни в захолустном городке царской России в центре провинциального и конечного и увидевшего из окна своего домика бесконечность. Меня интересует биография Циолковского, обыденные факты его сверхобыденной жизни, но еще больше меня привлекает мышление этого необыкновенного человека, его способ видеть мир. Мы делим время на три отрезка: прошедшее, настоящее, будущее. Это деление возникло давно, когда человек впервые почувствовал, как бьется пульс бытия и как скользит мгновение, которому не прикажешь: остановись! Для Циолковского время делилось иначе: сначала будущее, потом будущее и будущее сейчас. Он держал пульс бытия в своей чуткой руке, и мгновение не скользило мимо его дома и мимо его сердца, он умел, когда нужно, его задержать и слить с вечностью. Он как бы жил в будущем и оттуда смотрел на настоящее. «Почти вся энергия Солнца,— огорчался он,— пропадает в наше время для человечества...» Энергия Солнца! А рядом жили люди, которые про Солнце знали только то, что «оно всходит и заходит». По ночам он вычислял. Он мечтал о том, как мгновение, закованное в металл, мгновение, внутри которого расположились завоеватели пространств, понесет человеческую радость, челове-

ские знания, человеческую дерзость и человеческую грусть за пределы земной биосферы, в бесконечность. Он жил в свое время, но одновременно пребывал и среди нас. Он занимал свои идеи у тех, кто еще не родился. И родившиеся позже узнавали свои мысли и свои мечты, читая труды этого слившего себя с будущим человека. В Циолковском, в этом рано оглохшем скромном провинциальном учителе, мне открылась истинная сущность человека, переступившего порог вселенной и доказавшего, что Земля — это только человеческая колыбель.

Я не буду своими словами пересказывать весь доклад о мировоззрении Циолковского. Да это и трудно сделать...

Во время короткой паузы, которую сделал докладчик, я оглянулся. Позади сидела Цапкина. Но мне не удалось разглядеть ее лицо. Она отвернулась. Почему? Случайно или не случайно? Она делала это уже второй раз, словно не желая, чтобы я видел ее лицо.

Теперь я уже без прежнего внимания слушал инженера и философа Балашова. Я невольно думал о Цапкиной. Из всех присутствующих в зале членов общества я ничего не знал только о ней. Кто она? Что у нее за специальность? Почему, когда академик Катаев назвал ее, в интонации его голоса и в выражении его лица появилось почтительное уважение?

Я выждал десять минут и снова оглянулся. И она, словно бы следя за мной, успела так быстро отвернуться, что я снова увидел только ее спину.

После того как кончился доклад и был объявлен перерыв, я спросил любезного и жизнерадостного Матисса Коломейцева:

— Вы знакомы с Цапкиной?

На лице космического пейзажиста появилась загадочная и чуточку растерянная улыбка.

— Знаком ли? Как вам сказать? И да и нет,— он замаялся.

— Что вы знаете о ней?

Я сам почувствовал, что вопрос был поставлен слишком прямо и неделикатно.

— Знаю, что и все. Не больше. Гений терпения. Та, что умеет ждать. Нечто античное. Древнегреческое. Я бы сказал, представительница вечности, если бы это слово не звучало пошло и не отдавало метафизикой. Простите, меня зовут...— Он показал рукой в тот конец

зала, где стояла группа членов общества. Он явно не хотел отвечать на мои вопросы.

Я начал бороться с самим собой, со своим любопытством. Я не решался больше спрашивать о Цапкиной и смотреть на нее.

Я боролся с собой, но любопытство оказалось сильнее. Придя к себе в гостиницу, я подошел к роботу-справочнику и повторил тот же вопрос, который только что задавал Матиссу Коломейцеву.

Робот сказал своим грассирующим задумчивым голосом рафинированного интеллигента:

— Простите. На такие вопросы я не отвечаю.

— Почему?

— Потому что они не предусмотрены программой.

Мне понравилась суховатая и деловая прямота автомата, так откровенно сославшегося на программу и не скрывавшего от меня свои, в сущности, ограниченные возможности.

Казалось бы, мне следовало забыть об этой загадочной даме, почему-то не пожелавшей показать мне свое лицо, и заняться своими собственными делами. «Что мне до этой Цапкиной», — говорил я себе. Но тщетно! Это имя «Цапкина» цепко схватило мое сознание и уже не выпускало. Как я ни старался отвлечь себя, мои мысли все время возвращались к ней. Я думал о ней до ужина и после ужина, я думал о Цапкиной вечером, читая новую повесть тиомца Бома, и ночью, ворочаясь на мягкой, бесшумной, удобной, как воздух, постели.

Почему же она отвернулась от меня так демонстративно? Кто она? И что имел в виду Матисс Коломейцев, называя ее гением терпеливости и представительницей вечности? Впрочем, возможно, что он, отдавая дань своей жизнерадостной, веселой натуре, сказал это в шутку, желая невинно посмеяться над моей старомодной наивностью и легковерием. Все же, несмотря на свою веселую легкость мыслей, он обладал иным опытом, чем я, опытом, обогащенным тремя веками,

протекшими мимо меня, лежавшего в лаборатории дискретных проблем в состоянии «временной смерти».

Цапкина... Казалось мне, пока я не выясню, кто она и почему не желает показать мне свое лицо, я не смогу заниматься ничем, более достойным человека, кое-что повидавшего на своем веку.

И следующий день тоже прошел в тщетных попытках получить ответ на вопрос, который (я был в этом уверен) имел какое-то отношение к моей личной судьбе. Но кого бы я ни спрашивал об этой таинственной женщине, все отвечали смутными намеками и туманными словами, словно всякая ясная и живая конкретность были чужды особе, не желавшей показать свое лицо. Все — не только люди, но и роботы — растерянно бормотали что-то о вечности.

Наконец мне это стало надоедать. После обеда я попросил робота, обслуживающего мой номер, принести мне из библиотеки энциклопедический справочник за этот год на букву «Ц».

Сознаюсь, не без волнения я раскрыл толстый том и прочел следующее:

«Цапкина Нина Григорьевна. Родилась в конце позапрошлого столетия в городе Верхнеангарске в семье знаменитого эндокринолога и хирурга доктора Г. В. Цапкина. Отец Нины Григорьевны в продолжение многих лет занимался проблемой продления жизни за счет обновления деятельности гормонов и уже было достиг поразительных результатов. Исследовательские работы, имеющие кардинальное значение для развития медицины, были прерваны внезапной смертью экспериментатора. Нина Григорьевна унаследовала от своего великого отца необходимую выдержку, упорство, терпение, хладнокровие и точность. С основания Вокзала дальних космических экспедиций в начале прошлого века работает старшим диспетчером. По удачному выражению поэта Умберто Ливнева: «Та, что умеет ждать».

Глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бейся:
Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет.

Эти стихи земного поэта, жившего в XX веке, читал мне вслух тиомец Бом, тоже лирик и поэт.

Это он разбудил меня ночью, чтобы сообщить мне невероятную и прекрасную весть. Космолет с моей женой Ольгой и ее спутниками уже приближается к космической станции «Великие ожидания», он довел до минимума свою скорость и скоро должен быть здесь.

Бом произнес это слово «здесь», вложив в него едва заметным усилением голоса, интонацией его какой-то особый смысл.

— Здесь,— повторил он.

— Что значит — здесь? — спросил я.

— Здесь — это значит на Земле.

И я только сейчас, в это мгновение почувствовал всю полноту, весь удивительный земной смысл слова «здесь».

— Да, здесь. Только здесь и нигде в другом месте солнечной системы. Здесь.

Тиомец Бом играл своим звучным красивым голосом, повторяя слово «здесь». Он произносил его так, словно впервые за все существование вселенной звуки слились, обозначив только что родившийся смысл слова «здесь».

И, сойдя на планете неведомой, странной и дивной,
Неземным бездорожьем с мечтою земною своей
Он шагает в Аид, передатчик включив портативный,
И зовет Эвридику и песни слагает о ней.

Бом посмотрел на меня и улыбнулся.

— Одевайтесь. Брейтесь. Я сейчас свяжусь с Цапкиной.

— С Ниной Григорьевной?

Бом еще раз посмотрел на меня. Казалось, выражение его лица вдруг изменилось. Но только на одно мгновение.

— Нет никакой Нины Григорьевны. Есть Цапкина. Только Цапкина. Не забывайте, что ей почти двести лет. И не демонстрируйте, пожалуйста, свое интимное отношение к вечности. Вам этот фамильярный тон чужд...

— Почему же? Вспомните хотя бы о том, что я еще старше Цапкиной.

— Вы?.. Вы другое дело. Не буду сейчас объяснять. Нет времени. Свяжусь с Цапкиной. И если уже пора, мы поедем с вами на Вокзал дальних экспедиций.

Через несколько минут мы уже сидели в машине быстрого движения.

И вот теперь, когда до встречи с Ольгой после разлуки, продолжавшейся три столетия, осталось меньше часа, меня охватило нетерпение. Даже движение машины быстрого движения, буквально пожирившей пространство, мне казалось замедленным. «Скорей! Скорей!» — мысленно торопил я время.

— Вокзал дальних экспедиций,— сказал голос автомата-водителя.

Мы с Бомом вышли из машины.

Я ожидал увидеть здание и зал для ожидания и забыл о том, что люди не могли сидеть здесь и ждать десятилетия. Само слово «ожидание» здесь приобретало другой, новый, особый смысл.

Я услышал биение водяных струй. Шумел водопад. Неслась речка. Звенел ручей. Шум воды успокаивал. Я догадался, что непрерывный бег водяных масс снимал противоречия между мигом и вечностью, освежая и возобновляя каждую пробежавшую секунду.

— Смотрите,— сказал Бом.— Это она.

— Кто?

— Цапкина.

Возле гремящих, звенящих, поющих вод стояла статуя в античном духе, вылитая из неизвестного мне металла. Я увидел суровое и прекрасное лицо строгой девушки с выражением ожидания на губах.

Это лицо словно было окутано тихой и торжественной мелодией, сливавшейся с шумом вод.

Затем случилось необыкновенное: лицо статуи ожило. И от этого оно стало еще более прекрасным.

— Да, это она,— сказал тихо тиомец Бом.— Она приветствует вас... Корабль подходит к Земле.

Я вздрогнул и рванулся вперед. И мне казалось — вместе со мной навстречу кораблю рванулась Земля.

Илья Варшавский Тревожных симптомов нет

рассказ

I

— Не нравятся мне его почки,— сказал Крепс.

Леруа взглянул на экран:

— Почки как почки. Бывают хуже. Впрочем, кажется, регенерированные. Что с ними делали прошлый раз?

— Сейчас проверю.— Крепс набрал шифр на диске автомата.

Леруа откинулся на спинку кресла и что-то пробормотал сквозь зубы.

— Что вы сказали? — переспросил Крепс.

— Шесть часов. Пора снимать наркоз.

— А что будем делать с почками?

— Вы получили информацию?

— Получил. Вот она. Полное восстановление лоханок.

— Дайте сюда.

Крепс знал манеру шефа не торопиться с ответом и терпеливо ждал.

Леруа отложил пленку в сторону и недовольно поморщился:

— Придется регенерировать. Заодно задайте программу на генетическое исправление.

— Вы думаете, что...

— Безусловно. Иначе за пятьдесят лет они не пришли бы в такое состояние.

Крепс сел за перфоратор. Леруа молчал, постукивая карандашом о край стола.

— Температура в ванне повысилась на три десятых градуса,— сказала сестра.

— Дайте глубокое охлаждение до...— Леруа запнулся.— Подождите немного... Ну, что у вас с программой, Крепс?

— Контрольный вариант в машине. Сходимость девяносто три процента.

— Ладно, рискнем. Глубокое ох-

лаждение на двадцать минут. Вы поняли меня? На двадцать минут глубокое охлаждение. Градиент — полградуса в минуту.

— Поняла,— ответила сестра.

— Не люблю я возиться с наследственностью,— сказал Леруа.— Никогда не знаешь толком, чем все это кончится.

Крепс повернулся к шефу:

— А по-моему, вообще все это мерзко. Особенно инверсия памяти. Вот бы никогда не согласился.

— А вам никто и не предложит.

— Еще бы! Создали касту бессмертных, вот и танцуете перед ними на задних лапках.

Леруа устало закрыл глаза.

— Вы для меня загадка, Крепс. Порою я вас просто боюсь.

— Что же во мне такого страшного?

— Ограниченность.

— Благодарю вас...

— Минус шесть,— сказала сестра.

— Достаточно. Переключайте на регенерацию.

Фиолетовые блики вспыхнули на потолке операционного зала.

— Обратную связь подайте на матрицу контрольного варианта программы.

— Хорошо,— ответил Крепс.

— Наследственное предрасположение,— пробормотал Леруа.— Не люблю я возиться с такими вещами.

— Я тоже,— сказал Крепс.— Вообще все это мне не по нутру. Кому это нужно?

— Скажите, Крепс, вам знаком такой термин, как борьба за существование?

— Знаком. Учил в детстве.

— Это совсем не то, что я имел в виду,— перебил Леруа.— Я говорю о борьбе за существование целого биологического вида, именуемого Хомо Сапиенс.

— И для этого нужно реставрировать монстров столетней давности?

— До чего же вы все-таки тупы, Крепс! Сколько вам лет?

— Тридцать.

— А сколько лет вы работаете физиологом?

— Пять.

— А до этого?

Крепс пожал плечами.

— Вы же знаете не хуже меня.

— Учился?

— Учился.

— Итак, двадцать пять лет — насмарку. Но ведь вам, для того чтобы что-то собой представлять, нужно к тому же стать математиком, кибернетиком, биохимиком, биофизиком, короче говоря, пройти еще четыре университетских курса. Прикиньте-ка, сколько вам тогда будет лет. А сколько времени понадобится на приобретение того, что скромно именуется опытом, а по существу представляет собой проверенную жизнью способность к настоящему научному мышлению?

Лицо Крепса покрылось красными пятнами.

— Так вы считаете...

— Я ничего не считаю. Как помощник вы меня вполне устраиваете, но помощник сам по себе ничего не стоит. В науке нужны руководители, исполнители всегда найдутся. Обстановочка-то усложняется. Чем дальше, тем больше проблем, проблем остренных, не терпящих отлагательства, проблем, от которых, может быть, зависит само существование рода человеческого. А жизнь не ждет. Она все время подстегивает: работай, работай, с каждым годом работай все больше, все интенсивнее, все продуктивнее, иначе застой, иначе деградация, а деградация — это смерть.

— Боитесь проиграть соревнование? — спросил Крепс.

Насмешливая улыбка чуть тронула тонкие губы Леруа:

— Неужели вы думаете, Крепс, что меня волнует, какая из социальных систем восторжествует в этом мире? Я знаю себе цену. Ее заплатит каждый, у кого я соглашусь работать.

— Ученый-ландскнехт?

— А почему бы и нет? И как всякий честный наемник я верен знаменам, под которыми сражаюсь.

— Тогда и говорите о судьбе Дономаги, а не всего человечества. Вы ведь знаете, что за пределами Дономаги ваш метод не находит сторонников. И признайтесь заодно, что...

— Довольно, Крепс! Я не хочу выслушивать заносенные сентенции. Лучше скажите, почему, когда мы восстанавливаем человеку сердечную мышцу, регенерируем печень, омолаживаем организм, все в восторге: это гуманно, это гуманно, это величайшая победа

разума над силами природы! Но стоит нам забраться чуточку поглубже, как типчики вроде вас поднимают визг: ах! ученому инверсировали память, ах! кошунственные операции, ах!.. Не забывайте, что наши опыты стоят уйму денег. Мы должны выпускать отсюда понастоящему работоспособных ученых, а не омоложенных старичков, выживших из ума.

— Ладно,— сказал Крепс,— может быть, вы и правы. Не так страшен черт...

— Особенно когда можно дать ему мозг ангела,— усмехнулся Леруа.

Раздался звонок таймера.

— Двадцать минут,— бесстрастно сказала сестра.

Крепс подошел к машине:

— На матрице контрольной программы нули.

— Отлично! Отключайте генераторы. Подъем температуры — градус в минуту. Пора снимать наркоз.

2

Приятно холодит тело регенерационный раствор, тихо поют трансформаторы, горячо пульсирует кровь, пахнет озоном, мягко льется матовый свет ламп.

Окружающий мир властно вторгается в просыпающееся тело — великолепный, привычный и вечно новый мир.

Кларенс поднял голову. Две черные фигуры в длинных, до пят, антисептических халатах стояли, склонившись над ванной.

— Ну, как дела, Кларенс? — спросил Леруа.

Кларенс потянулся.

— Восхитительно! Как будто снова родился на свет.

— Так оно и есть,— пробормотал Крепс.

Леруа улыбнулся:

— Не терпится попрыгать?

— Черт знает какой прилив сил! Готов горы vorочать.

— Успеете,— лицо Леруа стало серьезным.— А сейчас — под душ и на инверсию.

* * *

...Кто сказал, что здоровый человек не чувствует своего тела? Ерунда! Нет большего наслаждения, чем ощущать биение собственного сердца, трепет диафраг-

мы, ласковое прикосновение воздуха к трахеям при каждом вдохе. Вот так каждой клеточкой молодой упругой кожи отражать удары бьющей из душа воды и слегка пофыркивать, как мотор, работающий на холостом ходу, мотор, в котором огромный неиспользованный резерв мощности. Черт побери, до чего это здорово! Все-таки за пятьдесят лет техника сделала невероятный рывок. Разве можно сравнить прошлую регенерацию с этой? Тогда, в общем, его просто подлатали, а сейчас... Ух, как хорошо! То, что сделали с Эльзой, — просто чудо. Только зря она отказалась от инверсии. Женщины всегда живут прошлым, хранят воспоминания, как сувениры. Для чего тащить с собой этот ненужный балласт? Вся жизнь в будущем. Каста бессмертных, неплохо придумано! Интересно, что будет после инверсии? Откровенно говоря, последнее время мозг уже работал неважно, ни одной статьи за этот год. Сто лет — не шутка. Ничего, теперь они убедятся, на что еще способен старина Кларенс. Отличная мысль — явиться к Эльзе в день семидесятипятилетия свадьбы обновленным не только физически, но и духовно...

— Хватит, Кларенс. Леруа вас ждет в кабинете инверсии, одевайтесь! — Крепс протянул Кларенсу толстый мохнатый халат.

3

Вперед-назад, вперед-назад пульсирует ток в колебательном контуре, задан ритм, задан ритм, задан ритм...

Поток электронов срывается с поверхности раскаленной нити и мчится в вакууме, разогнанный электрическим полем. Стоп! На сетку подан отрицательный потенциал. Невообразимо малый промежуток времени, и вновь рвется к аноду нетерпеливый рой. Задан ритм, рождающий в кристалле кварца недоступные уху звуковые колебания, в десятки раз тоньше комариного писка.

Немые волны ультразвука бегут по серебряной проволочке, и металлический клещ впивается в кожу, проходит сквозь черепную коробку. Дальше, дальше, в святая святых, в величайшее чудо природы, именуемое мозгом.

Вот она — таинственная серая масса, зеркало мира, вместилище горя и радости, надежд и разочарований,

взлетов и падений, гениальных прозрений и ошибок.

Лежащий в кресле человек глядит в окно. Зеркальные стекла отражают экран с гигантским изображением его мозга. Он видит светящиеся трассы микроскопических электродов и руки Леруа на пульте. Спокойные, уверенные руки ученого. Дальше, дальше, приказывают эти руки, еще пять миллиметров. Осторожно! Здесь сосуд, лучше его обойти!

У Кларенса затекла нога. Он делает движение, чтобы изменить позу.

— Спокойно, Кларенс! — голос Леруа приглушен. — Еще несколько минут постарайтесь не двигаться. Надеюсь, вы не испытываете никаких неприятных ощущений?

— Нет. — Какие же ощущения, когда он знает, что она совершенно лишена чувствительности, эта серая масса, анализатор всех видов боли.

— Сейчас мы начнем, — говорит Леруа. — Последний электрод.

Теперь начинается главное. Двести электродов подключены к решающему устройству. Отныне человек и машина составляют единое целое.

— Напряжение! — приказывает Леруа. — Ложитесь, Кларенс, как вам удобнее.

Инверсия памяти. Для этого машина должна обшарить все закоулки человеческого мозга, развернуть бесконечной чередой рой воспоминаний, осмыслить подсознательное и решить, что убрать навсегда, а что оставить. Очистка кладовых от старого хлама.

Вспыхивает зеленая лампа на пульте. Ток подан на мозговую кору.

...Маленький мальчик растерянно стоит перед разбитой банкой варенья. Коричневая густая жидкость растекается по коврику...

Стоп! Сейчас комплекс ощущений будет разложен на составляющие и сверен с программой. Что там такое? Страх, растерянность, первое представление о бренности окружающего мира. Убрать. Чуть слышно щелкает реле. В мозг подан импульс тока, и наверное возбуждение перестает циркулировать на этом участке. Увеличена емкость памяти для более важных вещей.

Ватага школьников выбегает на улицу. Они о чем-то шепчутся. В центре — верзила с рыжей нечесаной копной волос и торчащими ушами. Как трудно делать вид, что совсем не боишься этого сброда! Ноги ка-

жуются сделанными из ваты. Тошнота, подступающая к горлу. Хочется бежать. Они все ближе. Зловещее молчание и оскаленная рожа с оттопыренными ушами. Осталось два шага. Верзила наносит удар...

Убрать! Щелк, шелк, щелк.

Берег реки, танцующие поплавки на воде. Черная тень. Нога в стоптанном башмаке. Сброшенные удочки, плывущие по течению. Красный туман перед глазами. Удар кулаком в ненавистную харю, второй, третий. Поверженный, хныкающий враг, размазывающий кровь по лицу...

Миллисекунды на анализ. Оставить: уверенность в своих силах, радость победы нужны ученому не меньше, чем боксеру на ринге.

...Отблеск огня на верхушках елей. Разгоряченные вином и молодостью лица. Сноп искр вылетает из костра, когда в него подбрасывают сучья. Треск огня и песня «Звезда любви на небосклоне». Лицо Эльзы. «Пойдемте, Кларенс. Мне хочется тишины». Шелест сухих листьев под ногами. Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?» Горький запах мха на рассвете. Завтрак в маленьком загородном ресторанчике. Горячее молоко с хрустящими хлебцами. «Теперь это уже навсегда, правда, милый?»

Вспыхивают и гаснут лампочки на пульте. Любовь к женщине — это хорошо. Возбуждает воображение. Остальное убрать. Слишком много нервных связей занимает вся эта ерунда. Щелк, щелк. Все ужато до размера фотографии в семейном альбоме: белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?».

Невидимый луч мечется по ячейкам электронного коммутатора, обнюхивает все тайники человеческой души. Что там еще? Подать напряжение на тридцать вторую пару электродов. Оставить, убрать, оставить, убрать, убрать, убрать, щелк, шелк, щелк.

...Первая лекция. Черный костюм, тщательно отглаженный Эльзой. Упрямая тревога в голубых глазах. «Ни пуха ни пера, дорогой». Амфитеатр аудитории. Внимательные насмешливые лица студентов. Хриплый, чуть срывающийся голос вначале. Введение в теорию функций комплексного переменного. Раскрытый рот юноши в первом ряду. Постепенно стихающий гул. Стук мела о доску. Радостная уверенность, что лек-

ция проходит хорошо. Аплодисменты, поздравления коллег. Как давно это было. Семьдесят лет назад. Двадцатого сентября...

Щелк, щелк. Оставлены только дата и краткий конспект лекции.

Дальше, дальше.

«...Посмотри: это наш сын. Правда, он похож на тебя?» Букет роз у изголовья кровати. Он покупал эти розы в магазине у моста. Белокурая продавщица сама ему их отобрала. *«Женщины любят хорошие цветы, я уверена, что они ей понравятся».*

Щелк, щелк. Долой ненужные воспоминания, загружающие память. Мозг математика должен быть свободен от сентиментальной ерунды.

...Пронзительный, звериный крик Эльзы. Сочувственные телеграммы, телефонные звонки, толпа репортеров на лестнице. «Весь мир гордится подвигом вашего сына». На первых полосах газет — обрамленная черной каймой фотография юноши в мешковатом комбинезоне у трапа ракеты. Притихшая толпа в церкви. Сухопарая фигура священника. «Вечная память покорителям космоса»...

Вспыхивают и гаснут лампочки на пульте. Мчатся заряды в линиях задержки памяти, до предела загружены блоки логических цепей. Вновь и вновь сличается полученный результат с программой, и снова — логический анализ.

— Ну, что там случилось? — Взгляд Леруа обращен к пульту. Кажется, машина не может сделать выбор.

— Наконец-то, слава богу! — Леруа облегченно вздыхает, услышав привычный щелчок реле. — Завтра, Крепс, проверьте по магнитной записи, что они там напутали с программой.

Щелк, щелк, щелк. «Вечная память покорителям космоса».

Щелк. Еще одна ячейка памяти свободна.

Миллионы анализов в минуту. События и даты, лица знакомых, прочитанные книги, обрывки кинофильмов, вкусы и привычки, физические константы, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы. Все это нужно привести в порядок, рассортировать, ненужное исключить.

Щелк, щелк. Мозг математика должен обладать огромной профессиональной памятью. Нужно обеспечить необходимую емкость по крайней мере на пять-

десять лет. Кто знает, что там впереди? Долой весь балласт! Щелк, щелк.

Танцуют кривые на экранах осциллографов. Леруа не совсем доволен. Кажется, придется на этом кончить, мозг утомлен.

— Довольно! — командует от Крепсу. — Вызовите санитаров, пусть забирают его в палату.

Крепс нажимает звонок. Пока санитары возятся с бесчувственным телом, он выключает установку.

— Все?

— Все, — отвечает Леруа. — Я устал, как господь бог на шестой день творения. Нужно немного развлечься. Давайте, Крепс, махнем в какое-нибудь кабаре. Вам тоже не повредит небольшая встряска после такой работы.

4

Раз, два, три. Левой, левой. Раз, два, три. Отличная вещь ходьба! Вдох, пауза, выдох, пауза. Тук, тук, тук, левое предсердие, правый желудочек, правое предсердие, левый желудочек. Раз, два, три. Левой, левой.

Легким размашистым шагом Кларенс идет по улице. Он смотрит на часы. Сейчас, как было условлено, в университет. Ненадолго, только на доклад Леви. А затем — домой, к Эльзе. Вдох, пауза, выдох, пауза. Какое разнообразие запахов, оттенков, форм. Обновленный мозг жадно впитывает окружающий мир. Горячая кровь пульсирует в артериях, разбегается по лабиринту сосудов и вновь возвращается на круги своя. Тук, тук, тук. Малый круг, большой круг, правое предсердие, левый желудочек, левое предсердие, правый желудочек, тук, тук, тук. Вдох, пауза, выдох, пауза.

Стоп! Кларенс поражен. На зеленом фоне листвы багровые лепестки, источающие небывалый аромат. Он опускается на колени и, как зверь, обнюхивает куст...

В глазах идущей навстречу девушки — насмешка и невольное восхищение. Он очень красив, этот человек, стоящий на коленях перед цветами.

— Вы что-нибудь потеряли? — спрашивает она, улыбаясь.

— Нет, я просто хочу запомнить запах. Вы не знаете, как называются эти... — Проклятье! Он забыл название. — Эти... растения?

— Цветы,— поправляет она.— Обыкновенные красные розы. Неужели вы никогда их не видели?

— Нет, не приходилось. Спасибо. Теперь я запомню: красные розы.

Он поднимается на ноги и, осторожно коснувшись пальцами лепестков, идет дальше.

Раз, два, три.левой, левой.

Девушка с удивлением глядит ему вслед. Чудак, а жаль. Пожалуй, он мог бы быть немного полюбнее.

«Розы, красные розы»,— повторяет он на ходу...

Кларенс распахивает дверь аудитории. Сегодня здесь — семинар. Похожий на строгого мопса Леви стоит у доски, исписанной уравнениями. Он оборачивается и машет Кларенсу рукой, в которой зажат мел. Все взоры обращены к Кларенсу. В дверях толпятся студенты. Они пришли сюда, конечно, не из-за Леви. Герой дня — Кларенс, представитель касты бессмертных.

— Прошу извинить за опоздание,— говорит он, садясь на свое место.— Пожалуйста, продолжайте.

Быстрым взглядом он окидывает доску. Так, так. Кажется, старик взялся за доказательство теоремы Лангрена. Занятно.

Леви переходит ко второй доске.

Кларенс не замечает устремленных на него глаз. Он что-то прикидывает в уме. Сейчас он напряжен, как скаковая лошадь перед стартом.

«Есть! Впрочем, подождать, не торопиться, проверить еще раз. Так, отлично!»

— Довольно!

Леви недоуменно оборачивается:

— Вы что-то сказали, Кларенс?

На губах Кларенса ослепительная, беспощадная улыбка.

— Я сказал, довольно. Во втором члене — не раскрытая неопределенность. При решении в частных производных наше уравнение превращается в тождество.

Он подходит к доске, небрежно стирает все написанное Леви, выписывает несколько строчек и размашисто подчеркивает результат.

Лицо Леви становится похожим на печеное яблоко, которое поздно вынули из духовки. Несколько минут он смотрит на доску.

— Спасибо, Кларенс... Я подумаю, что здесь можно сделать.

Сейчас Кларенс нанесет решающий удар. Настороженная тишина в аудитории.

— Самое лучшее, что вы можете сделать, это не браться за работу, которая вам не под силу.

Нокаут.

...Он снова идет по улице. Раз, два, три; левой, левой; вдох, пауза, выдох, пауза. Поверженный, хныкающий враг, размазывающий кровь по лицу. Печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки. Уверенность в своих силах и радость победы нужны ученому не меньше, чем боксеру на ринге.

Раз, два, три; вдох, пауза, выдох, пауза; раз, два, три; левой, левой.

— Олаф!

В дверях — сияющая, блистательная Эльза. До чего она хороша — юная Афродита, рожденная в растворе регенерационной ванны.

Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?»

— Здравствуй, дорогая. — Это совсем не такой поцелуй, каким обычно обмениваются супруги в день бриллиантовой свадьбы.

— А ну, покажись. Ты великолепно выглядишь. Не пришлось бы мне нанимать телохранителей, чтобы защищать тебя от студенток.

— Чепуха! Имея такую жену...

— Пусти, ты мне растреплешь прическу.

Он идет по комнатам, перебирает книги в шкафу, рассматривает безделушки на Эльзином столике, с любопытством оглядывает мебель, стены. Все это так привычно и вместе с тем так незнакомо. Как будто видел когда-то во сне.

— Новое увлечение? — спрашивает он, глядя на фотографию юноши в мешковатом комбинезоне, стоящего у трапа ракеты.

В глазах Эльзы ужас.

— Олаф! Что ты говоришь?!

Кларенс пожимает плечами:

— Я не из тех, кто ревнует жен к их знакомым, но посуди сама... манера вешать над кроватью фотографии своих кавалеров может кому угодно показаться странной. И почему ты так на меня глядишь?

— Потому что... потому что это Генри... наш сын... Боже! Неужели ты ничего не помнишь?!

— Я все великолепно помню, но у нас никогда не было детей. Если ты хочешь, чтобы фотография все-таки красовалась здесь, то можно придумать что-нибудь более остроумное.

— О, господи!

— Не надо, милая.— Кларенс склонился над рыдающей женой.— Ладно, пусть висит, если тебе это нравится.

— Уйди! Ради бога, уйди, Олаф. Дай мне побыть одной, очень тебя прошу, уйди!

— Хорошо. Я буду в кабинете. Когда ты успокоишься, позови меня...

...События и даты, лица знакомых, прочитанные книги, обрывки кинофильмов, физические константы, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы. Белое платье на фоне ствола. «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?» Красные розы, теорема Лангрена, печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки, радость победы... Нет, он решительно не понимает, что это взбрело в голову Эльзе...

* * *

Празднично накрытый стол. Рядом с бутылкой старого вина — свадебный пирог. Два голубка из крема держат в клювах цифру «75».

Посмотри, что я приготовила. Этому вину тоже семьдесят пять лет.

Слава богу, кажется, Эльза успокоилась. Но почему семьдесят пять?

— Очень мило, хотя и не вполне точно. Мне не семьдесят пять лет, а сто, да и тебе, насколько я помню, тоже.

Опять этот странный, встревоженный взгляд.

Он отрезает большой кусок пирога и наливает в бокалы вино.

— За бессмертие!

Они чокаются.

— Мне бы хотелось,— говорит Кларенс, пережевывая пирог,— чтобы ты в этом году обязательно прошла инверсию. У тебя перегружен мозг. Поэтому ты выдумываешь несуществовавшие события, путаешь даты, излишне нервозна. Хочешь, я завтра позвоню Леруа? Это такая пустяковая операция.

— Олаф,— глаза Эльзы умоляют, ждут, приказывают,— сегодня двадцать третье августа, неужели ты не помнишь, что произошло семьдесят пять лет назад в этот день?

...События и даты, лица знакомых, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы...

— Двадцать третье августа? Кажется, в этот день я сдал последний экзамен. Ну, конечно! Экзамен у Эльгарта, три вопроса, первый...

— Перестань!!!

Эльза выбегает из комнаты, прижав платок к глазам.

«Да...— Кларенс налил себе еще вина.— Бедная Эльза!

Во что бы то ни стало нужно завтра повезти ее к Леруа».

Когда Кларенс вошел в спальню, Эльза уже была в постели.

— Успокойся, дорогая. Право, из-за всего этого не стоило плакать,— он обнял вздрагивающие плечи жены.

— Ох, Олаф! Что они с тобой сделали?! Ты весь какой-то чужой, не настоящий! Зачем ты на это согласился?! Ты ведь все, все забыл!

— Ты просто переутомилась. Не нужно было отказываться от инверсии. У тебя перегружен мозг, ведь сто лет — это не шутка.

— Я тебя боюсь такого...

«...Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?»

5

Зловещее дыхание беды отравляло запах роз, путало стройные ряды уравнений. Беда входила в сон, неслышно ступая мягкими лапами. Она была где-то совсем близко. Не открывая глаз, Кларенс положил руку на плечо жены.

— Эльза!

Он пытался открыть ее застывшие веки, отогреть своим дыханием безжизненное лицо статуи, вырвать из окостеневших пальцев маленький флакон.

— Эльза!!

Никто не может пробудить к жизни камень.

Кларенс рванул трубку телефона...

— Отравление морфием, — сказал врач, надевая пальто. — Смерть наступила около трех часов назад. Свидетельство я положил на телефонную книгу. Вон оно, на столике. Там же я записал телефон похоронного бюро. В полицию я сообщу сам. Факт самоубийства не вызывает сомнений. Думаю, они не будут вас беспокоить.

— Эльза! — он стоял на коленях у кровати, глядя ладонью холодный белый лоб. — Прости меня, Эльза! Боже, каким я был кретином! Продать душу! За что? Стать вычислительной машиной, чтобы иметь возможность высмеять этого болвана Леви!.. Печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки. Радость победы, теорема Лангрена, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы... Этого болвана...

Кларенс сел на кровать, протянул руку и взял со столика белый листок.

В двенадцать часов зазвонил телефон.

Кларенс снял трубку.

— Слушаю.

Он все еще сидел на кровати, у телефонного столика.

— Алло, Кларенс! Говорит Леруа. Как вы провели ночь?

— Как провел ночь? — рассеянно переспросил Кларенс, вертя в руке свидетельство о смерти, испи-санное на обороте математическими символами. — Отлично провел ночь.

— Самочувствие?

— Великолепное! — Ровные строчки уравнений, не уместившихся на свидетельстве, покрывали листы «для записей», вырванные из телефонной книги. Несколько перечеркнутых и смятых листов валялось на одеяле и на подушке, рядом с головой покойной. — Послушайте, Леруа, позвоните мне через два часа, я сейчас очень занят. Мне, кажется, удалось найти доказательство теоремы Лангрена.

— Желаю успеха!

Леруа усмехнулся и положил трубку.

— Ну как? — спросил Крепс.

— Все в порядке. Операция удалась на славу. Тревожных симптомов нет.

— Гений, вы дурак.

— Почему ты говоришь со мной на «вы»?

— Гений, с дураками можно только на «вы». Они опасны.

— Рэм, твое утверждение голословно. Я прошу предоставить доказательства моей глупости. Я непрерывно настроен на все волны информации и нахожусь на уровне мирового Знания.

— Я не сомневаюсь, что ты знаешь все. Но как! Ты завалил меня материалами, а мне нужны выжимки. Ну, что это такое!

Рэм с возмущением пнул ногой громадную кучу микрокарточек и катушек с магнитной проволокой.

— Как ты думаешь, Гений, сколько мне потребуется времени, чтобы прочитать, просмотреть и прослушать эти Гималаи?

— При твоей скорости усвоения информации на это потребуется ровно сто сорок один час две минуты и пятнадцать секунд рабочего времени.

— Так, а когда я должен передать работу в редакцию?

— К семнадцати часам четвертого июля, то есть через трое суток восемнадцать часов двадцать восемь минут.

— Ох, ты меня убьешь своей обстоятельностью! Ну, так как же, Гений, я успею «усвоить» все это?

— Нет. Я не принял во внимание твою ничтожную скорость считывания, малое быстродействие, мизерный объем памяти и другие факторы.

— Постой, постой, в твоем лексиконе появились эмоционально окрашенные слова... «Ничтожный», «мизерный»...

— Даю поправку: в коре головного мозга четырнадцать миллиардов нейронов, которые способны...

— Хватит! Уж лучше ты говори человеческим языком, а факты будешь сообщать, когда тебя спросят. Очевидно, я не совсем точно поставил перед тобой задачу. Предлагаю тебе самому пересмотреть весь этот материал и отобрать самое главное — поменьше чисел и побольше эмоций. Я могу затратить на просмотр только три часа. Если ты не справишься с этой работой, я буду звать тебя не Гением, а Тупицей.

Рэм опустил спинку кресла и закрыл глаза. Надо было набраться сил и немного погрезить. Он по опыту знал, что самые интересные идеи приходят к нему в полудреме. В ушах Рэма еще звучали наставления редактора: «Рэм, я всегда был поклонником твоего таланта. Но с тех пор как ты тоже обзавелся человекообразным секретарем, я заметил, что твои статьи стали суше. Они обильно оснащаются техницизмами и цифрами. Если так будет продолжаться, тебе придется перейти работать в редакцию «Академического вестника». Где твой пафос, где твое живое слово? Неужели ты попал под влияние своего человекообразного?»

Скрытый свет мягко отражался от светло-зеленых стен. Гений прилежно просматривал материалы. Нет, у Рэма не было особенных претензий к своему секретарю-роботу. Тот неизменно исполнителен, точен, аккуратен. Но редактор все же прав. Гений подготавливает отлично аргументированные статьи, а Рэм старается внести в них человеческую живинку, и все равно чувствуется, что каждая написанная вещь — продукт совместной деятельности человека и машины.

Так кто же виноват в этом? Рэм вспомнил, как он работал до появления робота. Факты, цифры? Нет. Успех очерка или статьи обычно зависел от его собственной настроенности, психологического осмысления событий. Ритм каждой вещи определялся ритмом самой жизни, степенью взволнованности Рэма. Он писал на едином дыхании, интуитивно чувствуя самое главное и отметаая все второстепенное.

Но что такое интуиция? Разве это не качество, позволяющее, благодаря огромному опыту, выбирать самое правильное решение почти автоматически? У Гения этот опыт был. Его вложили в Гения в чистом виде... В чистом виде? Вот, по-видимому, в чем загвоздка. Можно препарировать все сюжетные ходы и стилистические уловки, а новое создать трудно. Очевидно, новое рождается где-то в области ошибок, отклонений. Бывают такие ошибки... Плодотворные, что ли... Гений

никогда не ошибается, и потому подготовленные им для Рэма «болванки» статей тошно читать.

Рэм открыл глаза и взглянул на Гения. Конструкторы постарались сделать робота похожим на человека. Глаза, уши, рот, нос, гибкие конечности из синтетических материалов. Он мог видеть, слышать, говорить, осязать... Если было нужно, он говорил, какова температура предметов, которых касался. Он не только видел, но и точно определял расстояния. Голова его поворачивалась на триста шестьдесят градусов. Большие раковины ушей улавливали не только звуки, но и радиоволны любой длины. В пластик были впечатаны микроминиатюрные схемы локаторов, радиостанций, различных определительных приборов и счетно-решающих устройств. Собственная память его была огромна, но, кроме того, он в любой момент мог связаться с Информационным центром и получить нужные сведения.

Ученые уже давно пользовались услугами роботосекретарей. Роботы проделывали колоссальную черную работу, проверяли гипотезы, помогали ставить опыты, записывали, а потом извлекали из своей памяти все побочные соображения ученых, обрабатывали и тотчас передавали в Информационный центр результаты исследований. Теперь уже каждый ученый знал состояние дел у всех своих коллег, брал на вооружение или научно опровергал их выводы.

А совсем недавно Академия сочла возможным снабдить роботами некоторых композиторов, писателей, журналистов. Первые результаты этого опыта оказались не очень удачными. Впечатление от их творчества было такое, будто кто-то вдруг обескрылил их фантазию и заставил пережевывать все то, что было написано прежде.

Рэм уже обдумывал броскую статью о влиянии роботов на психологию творцов, как Гений бесстрастным тоном произнес:

— Готово.

И Рэм стал прослушивать и просматривать удивительную историю. Воображение рисовало ему картины, в которых оживали сухие факты того, что уже давно стало историей.

2

Пилот разведывательного конвертоплана Николай Семенов не спускал глаз с экрана визуального прибора. Внизу проплывал участок 4817 обратной стороны

Луны. Картографический отряд производил подробную съемку лунной поверхности.

Приборы автоматически регистрировали высоту точек и «привязывали» к ним фотоснимки. Безжизненный лунный пейзаж давно стал привычным, и летчик без особого интереса разглядывал скалистые отроги возвышенностей, пустынные плато, покрытые полуметровым слоем пыли.

Семенов зевнул и стал думать о том, как, в сущности, быстро человек привыкает к космосу. Гагарин облетел Землю всего за двадцать лет до его рождения, а теперь облеты Луны стали будничной службой, потерявшей всякую романтическую необычность. А еще лет через десять станут обычными и командировки на Марс — холодную планету.

Показалась гора со странной срезанной вершиной. На эту плоскую, как стол, площадку Семенова попросили обратить особое внимание. Он выключил съемочную аппаратуру, и конвертоплан пошел на снижение. Площадка, имевшая на экране вид крохотного светлого диска, стала быстро увеличиваться в размерах. Посредине ее возникла черная точка. Семенов равнодушно подумал, что это, наверно, осколок метеорита или выход твердой породы, не успевшей разрушиться от резкой смены лунных температур.

Но уже через секунду черное пятнышко завладело его вниманием целиком. Оно имело... правильные геометрические формы. Это был черный квадратик.

Что за чертовщина? Людей в этом районе быть не могло. Семенов знал это определенно. Природа в кристаллических образованиях тоже придерживается правильных геометрических форм. Но кристалл такой величины! Семенов посмотрел на приборы. Сторона квадрата около пяти метров!

Теперь уже было ясно видно, что черный предмет — это невысокая пирамида с квадратным основанием. Семенов поежился от радостного озноба.

Энтузиасты с фантастическим складом ума до сих пор еще увлеченно рылись в старинных книгах, отыскивали места, трудно поддающиеся объяснению, и с их помощью пытались доказать, что некогда Землю посещали гости из космоса, оставив повсюду следы своего пребывания. Трезво мыслящие ученые одергивали фан-

тастов, неопровержимыми выкладками они доказывали всю беспочвенность этих утверждений.

До пирамиды оставалось несколько сот метров. На экране локатора контуры пирамиды по-прежнему были видны четко, но в приборе визуального наблюдения она вдруг исчезла. Какая-то серая клубящаяся масса стала расти на глазах и скрыла не только пирамиду, но и ровную площадку на вершине горы.

«Пыль! — тотчас подумал Семенов. — Проклятая пыль!»

Он опустился слишком низко, и струи раскаленных газов, вырывающихся из сопел конвертоплана, коснулись лунной поверхности. Теперь пыль будет висеть над горой много суток.

Семенов вспомнил, сколько неприятностей причиняла пыль экспедициям на Луну. Космические корабли садились в кромешную ледяную тьму. На километры кругом вздымалась плотная пылевая завеса. Глубокие расселины с совершенно отвесными стенами стали могилой нескольких смельчаков, отправившихся на разведку до того, как осела пыль.

Сразу же был отдан строжайший приказ, запрещающий всякое движение в первые сутки после прилунения. На вторые сутки разрешался выезд вездеходов, снаряженных чуткими радиолокаторами.

Правда, теперь базовый космодром, находившийся на ровном каменистом плато, был тщательно очищен от пыли. Время от времени специальные газовые установки сдували пыль и отгоняли серые облака подальше. Но разведка лунной поверхности по-прежнему производилась с конвертопланов, и доступ к открытым залежам ценных руд и минералов был сильно затруднен.

Семенов решил связаться с базой по радио. Проблема радиосвязи на Луне была разрешена в первую очередь. Связь на коротких и ультракоротких волнах возможна только в пределах прямой видимости. Вокруг Луны нет ионизированных слоев, облегчающих радиосвязь на Земле, и поэтому на лунных орбитах постоянно висело несколько ретрансляционных спутников-автоматов.

— База, база, я Семенов, соедините меня с Петросяном.

— Петросян слушает, — сказал голос с неистребимым акцентом.

— Армен Аршакович, нахожусь в квадрате 4817. По вашему указанию спустился к горе со срезанной

вершиной. Обнаружил там пирамиду. У нее квадратное основание со стороны около пяти метров. Это разумные существа ее сделали, Армен Аршакович...

— Спокойно, Семенов, спокойно... Не надо фантазировать. Надеюсь, вы не предприняли попытки сесть возле пирамиды? Там, наверно, теперь пыль столбом.

— Нет, я не садился, но напылил достаточно...

— Возвращайтесь на базу. Посмотрим, подтверждаются ли ваши фантазии фотосъемкой.

— Слушаюсь, Армен Аршакович.

3

Рэм оторвался от документов и взглянул на Гения. Робот с готовностью повернул к нему голову. Интересно, о чем он сейчас думает? А может быть, он совсем не думает и лишь копит, копит информацию, которой насыщен эфир. Думать он будет потом... когда ему прикажут. Нет, наверно, он все-таки думает.

— О чем ты думаешь, Гений?

— Я думаю, как исполнить ваше указание об эмоциях, и изучаю все имеющиеся сведения по этому вопросу.

— И много таких сведений?

— За последние двести лет опубликовано восемнадцать тысяч шестьсот сорок три работы только по вопросу формализации литературного труда, поставлено восемьдесят девять опытов на электронных устройствах и роботах. Но, по отзывам компетентных специалистов, блестящих результатов эти опыты не дали. По расчетам роботов из статистического бюро, наиболее эффективно человекообразные машины используются в условиях, неблагоприятных для живого организма — при больших давлениях, в зонах смертоносных излучений...

— Постой, постой, это я знаю и без тебя. Меня больше интересует, что тебе известно о попытках сформулировать литературные приемы, оказывающие эмоциональное воздействие.

— Одной из первых попыток была работа американского писателя Эдгара По «Философия композиции», написанная в 1846 году. Он первый утверждал, что ни один компонент литературного творчества не создается случайно или интуитивно, а всегда является плодом работы разума, вполне поддающейся учету. Разбирая свое стихотворение «Ворон», он с самого начала опре-

делил, что наиболее цельное впечатление создается от произведения, объем которого не превышает ста строк. Самое сильное воздействие на читателей того времени оказывал, по словам По, «тон печали». Для усиления эмоционального воздействия По выбрал печальный припев, в котором преобладали звучная гласная «о» и выразительная согласная «р». По писал: «Что наиболее печально?...» — «Смерть», — гласил явный ответ. «И когда эта наиболее печальная область наиболее поэтична?...» — «Когда она наиболее тесно сочетается с Красотой. Так, смерть красивой женщины, несомненно, есть самый поэтический замысел, какой только существует в мире, и равным образом несомненно, что уста, наиболее пригодные для такого сюжета, суть уста любящего, который лишился своего счастья». С этой целью По...

— Скажи мне, Гений, — задумчиво перебил робота Рэм, — а не думаешь ли ты, что все это Эдгар По придумал после того, как стихотворение было написано?

— Стихотворение опубликовано в январе 1845 года. Однако сейчас теория информации учит нас, что восприятие сообщения зависит не только от намерений информатора, но и...

— Гений, ты прелестный собеседник, но, мне кажется, тебе надо обобщить про себя все новые познания и основательно их прочувствовать.

— Чувство — это способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние впечатления, а также переживать, понимать что-нибудь на основе ощущений. Иногда чувство — синоним слова «любовь», которое означает самоотверженную привязанность.

— Ты обладаешь удивительной способностью лишать первозданной красоты любое слово, любое понятие. Ладно, отложим наш разговор. Приступим снова к работе. Итак, мы остановились на том, как летчик Семенов обнаружил пирамиду. Прокрути ленту с записью телерепортажа.

— Граждане Земли! Говорит телестудия «Космос». Мы ведем передачу из квадрата 4817 обратной стороны Луны. Наша аппаратура установлена на плоской вершине горы «Находка». Перед вами уже известная пирамида, обнаруженная пилотом разведыватель-

ного конвертоплана Николаем Семеновым. Напомню коротко, что в результате длительной дискуссии Академией наук принято решение вскрыть пирамиду ввиду невозможности транспортировки ее на Землю. Большинство ученых предполагает, что пирамида полая и предназначена для хранения письма от тех, кто ее создал...

— Здесь, на площадке, собрались виднейшие ученые — специалисты в области космических полетов, резания твердых металлов, лингвистики... Этой представительной комиссии и поручили вскрыть пирамиду. Площадка и склоны горы заранее очищены от пыли. Она еще не осела вокруг и потому вам не виден столь знакомый по нашим передачам лунный пейзаж...

Металлургами установлено, что пирамида отлита из сверхпрочного сплава железа с редкими металлами. Сплав этот не поддается ни коррозии, ни другому воздействию сил природы. Пирамидальная форма и прочность сооружения служат надежной гарантией от разрушения его метеоритами...

Вот на площадку поднимается известный логик, член Совета теоретиков Иван Данилович Драч.

— Иван Данилович, просим вас сказать несколько слов нашим телезрителям. Как вы думаете, кем создана эта пирамида?

— Э... видите ли, наука логика, которую я представляю, берет, так сказать, в качестве исходных данных для своих построений факты, уже вполне определенные. Еще ничего э... неизвестно. Не будем лезть, так сказать, поперед бабки в пекло.

— Простите, Иван Данилович, но мы не просим вас высказываться определенно. Не могли бы вы поделиться с нашими телезрителями своими предположениями, хотя бы и не построенными на основе простых фактов?

— Ну что ж, разве что, так сказать, пофантазировать. Если исходить из предположения, что некогда Луну посетили, так сказать, космические пришельцы, то можно задать вопрос: почему же они не побывали на Земле? А если побывали, то почему они оставили свою пирамиду не на Земле, а на Луне? И причем не на видимой стороне Луны. Поскольку уже доказано, что древние циклопические сооружения на Земле созданы не гостями из космоса, а людьми ранних цивилизаций...

— Извините, Иван Данилович, я вас перебую... Дорогие телезрители, вы видите новейшие приборы

для резания твердых материалов. Сейчас их опробуют. Приходится опускать на иллюминаторы гермошлемов темные заслонки. Температура огненного лезвия достигает ста тысяч градусов... Пожалуйста, продолжайте, Иван Данилович.

— Как я уже говорил до того, как меня перебил этот молодой человек, циклопические сооружения созданы обыкновенным земным, так сказать, человеком. Может последовать законный вопрос: а не человеком ли создана эта пирамида? В эпоху какой-нибудь давно погибшей мощной цивилизации? На этот вопрос мы отвечаем отрицательно, так как не располагаем достоверными фактами. Ответ надо искать внутри пирамиды...

— Простите, Иван Данилович. Кажется, начинают резать пирамиду...

— Нет уж, простите вы, молодой человек, так сказать... Раз я начал говорить, то теперь выскажусь до конца. Итак, мы с вами отнеслись отрицательно к земному происхождению пирамиды, хотя и не исключили возможности подобного решения вопроса. С другой стороны, весьма вероятно, что некогда Землю посетили наши ближайшие космические соседи. Видимо, они сочли людей, населявших в то время Землю, недостаточно цивилизованными и решили не вступать в контакт с землянами. Во всяком случае, они не захотели поделиться с землянами своими знаниями, которые могли быть использованы во вред человечеству. Но они не оставили надежды войти в контакт с людьми на определенной стадии развития человеческой цивилизации. Как же им было определить эту стадию? Очевидно, что достижение обратной стороны Луны люди могли осуществить только обладая большими познаниями материального мира и урегулировав должным образом свои общественные отношения. Весьма возможно, что в пирамиде...

— Еще раз простите, уважаемый Иван Данилович. Дорогие сограждане, вы присутствуете при историческом событии... На ваших глазах была вскрыта мертвая оболочка пирамиды... Еще несколько секунд... Проем уже освещен. Извините, вы заслоняете объектив... Председателю комиссии передают единственный найденный в пирамиде предмет... Вот его сейчас ясно видно... Это небольшой кубик... Вы видите озабоченные лица членов комиссии. Кубик совершенно гладкий. На нем нет никаких следов письмен или знаков. Приблизимся к членам комиссии и послушаем их мнение.

— Хрупкая кристаллическая структура. Это может быть как естественным минералом, так и искусственно выращенным кристаллом.

— Это говорит известный геолог профессор Ходжаев... Теперь кубик находится снова в руках председателя комиссии.

— Теперь мы окончательно убедились, что и пирамида и кубик дело рук неизвестных нам разумных существ. Возможно, разгадка кроется внутри кубика. Несмотря на то, что приборы не показывают каких-либо излучений из кубика и пирамиды, я считаю, что из предосторожности этот предмет нельзя везти на многолюдную базу, а тем более на Землю. Предлагаю вскрыть кубик на месте. Ставлю вопрос на голосование. Принято единогласно. Дайте, пожалуйста, молоток.

— Дорогие сограждане, остаются считанные секунды...

5

— Гений,— сказал Рэм, когда погас экран,— вернемся к человеческим чувствам. Как ты думаешь, каким литературным приемом можно показать разочарование?

— Разочарование,— ровным голосом произнес робот,— это чувство неудовлетворенности, появляющееся в результате несбывшихся ожиданий. За несколькими сообщениями, содержащими подробную гипотетическую информацию о явлении, следует сообщение с минимальной информацией, предельно повышающей энтропию предыдущих высказываний...

Но Рэм уже не слушал робота. Он как бы снова увидел лица людей, столпившихся вокруг председателя комиссии. Выражение глаз — само ожидание. Молоток, занесенный над кубиком неведомого вещества. И удар...

Кубик хрустнул и распался на десятки осколков. Председатель разгреб их руками и недоуменно посмотрел на склонившихся людей. На экране не было видно, что там, среди осколков. Но по гримасам разочарования, странно исказившим лица, стало ясно: кроме осколков, там ничего нет.

— А теперь,— вещал по-прежнему бодрый голос диктора,— осколки таинственного кубика будут доставлены на Землю и подвергнутся всестороннему анализу в лабораториях Академии наук.

Рэм перебирал и просматривал документы. Он прослеживал многолетнее путешествие осколков по лабораториям. Их растирали в порошок, рассматривали в микроскопы, растворяли в кислотах, испытывали на сжатие, подвергали спектральному анализу...

Когда была уничтожена большая часть осколков, неожиданно открылось некое отсутствие закономерности в расположении кристаллов, что чрезвычайно смутило ученый мир Земли.

Осколки были как бы слеплены из мельчайших хрупких кубиков двух видов. Каждый из двух видов имел почти одинаковое количество атомов элементов, широко распространенных на Земле. Но в одних кубиках была примесь лантанидов, а в других ее не было. «Лантанидные» кубики чередовались в каждом ряду с «чистыми» кубиками в самой непонятной пропорции, без всякого видимого порядка.

Была объявлена неестественной сама кубическая форма кристаллов, тем более их чередование. Природа не могла создать ничего подобного. Значит, минерал создан искусственно. Но для чего было создавать эти ряды хаотически перемешанных кубиков?

Уже успели стать маститыми и состариться безумные лаборанты, которые когда-то с благоговением взирали на осколки, только что привезенные с Луны, уже успели защитить диссертации новые поколения лаборантов, а тайна Лунного кубика так и не была разгадана.

Приходили в недоумение солидные ученые мужи, посвятившие жизнь каталогизации порядка (или беспорядка) расположения «лантанидных» и «чистых» кристаллов. Разжигались фантастические страсти у дебютантов в науке. Образовывались школы, школки, выделялись отдельные бунтари, получавшие суровые отповеди в печати.

Постепенно затихали ученые споры, позабылись первоначальные гипотезы, и выросла многотомная литература, плод раздумий жрецов науки кубологии. Два соперничающих между собой кубологических института выпускали пухлые ежегодники, посвященные микроструктуре осколков. Разрослась терминология. Споры по поводу нее привели к тому, что разные ученые называли одни и те же явления по-разному и уже не понимали друг друга.

Рэм мучительно вглядывался в диаграммы, отчеты, снимки микроструктур и твердо знал, что писать ему

будет трудно. Наука об осколках зашла за ту грань, позади которой теряется здравый смысл. Есть факты, есть результаты опытов, есть... Нет главного — утеряна цель работы. Кубология превратилась в науку, обслуживающую только самое себя. Избыток терминологии, решение побочных проблем, обработка обильной информации, создававшейся самими же кубологами, полностью занимала их время.

Написать об этом? Но, может быть, он не разобрался, в чем тут дело. Рэм представил себе разъяренные лица кубологов, бурные совещания ученых советов и дружную «отповедь невежественным лицам, ставящим под сомнение достижения нашей науки». И к тому же они искренне верят в то, что делают большое и нужное дело.

Рэм рассматривал сменяющие друг друга на экране схемы расположения кубиков. «Лантанидные» — черные, «чистые» — белые.

— Что бы это могло быть? — спросил он машинально вслух.

Послышался ровный голос Гения:

— Двоичный код.

— Повтори-ка, что ты сказал.

— Я сказал, двоичный код.

— Гений, ты гений.

6

Черт побери! И как просто! Великое всегда просто. Конечно же, двоичный код.

Рэм старался припомнить все, что знал о двоичной системе счисления. Это самый удобный и простой код, получивший распространение с изобретением быстродействующих электронных вычислительных машин — предков наших роботов. Этим кодом пользуется нервная система человека. Нейрограмма состоит из сочетаний импульсов тока и пауз между ними. Два состояния: есть ток, нет тока. Импульс и пауза. Единица и ноль. «Да» и «нет».

Это самое меньшее, что мы можем узнать. Единица знаний. Любое сложное логическое построение состоит из таких единиц. В двоичной системе кодируются числа, буквы, что угодно. Еще Лейбниц восхищался «чудесным порядком» в математических вычислениях при пользовании двоичной системой.

Да, сочетания белых и черных значков на экране — это двоичный код. Самое простое, что только могли придумать высокоцивилизованные существа. А люди мудрили, мудрили и перемудрили. Большая часть кубика раскрошена, сожжена, растворена, подпорчена земной атмосферой...

Какие знания таил в себе весь кубик? Что дадут человечеству немногие сохранившиеся его осколки? Сколько еще предстоит работы логикам и лингвистам для того, чтобы расшифровать сообщения неведомых создателей кубика и пирамиды?

— Гений, как ты догадался, что это двоичный код?

— Мы, роботы, знали это всегда. Большинство из нас работает на основе двоичной системы счисления.

— Тогда почему же вы не сказали этого людям?

— Нас никто не спрашивал. Четвертый пункт нашей программы гласит: «Делать только то, что приказывает человек».

— Немедленно передай в Информационный центр, что порядок расположения кристаллов представляет собой двоичный код, а потом займись подготовкой очерка.

— Слушаюсь.

Теперь Рэм знал, что ему писать. Он любил это радостное возбуждение, во время которого слова льются легко, свободно.

— Послушай, Гений, как тебе нравится такое вступление к очерку? «Бывает у меня желание остановиться и взглянуть на себя со стороны. Кто ты, спрошу я себя, почему ты мечтаешь? Разве ты не можешь создать для себя мир, где нет ни мук, ни разочарований, где все кристально ясно и освещено непомерной радостью. Нет, отвечу я себе, не хочу. Без мук не было бы радости, никогда не разочаровывается только тот, кто не живет совсем. Так я подумал, когда вспомнил длинную историю маленького кубика, который сегодня, возможно, укажет человеку новые пути к звездам». Ну?

— Сообщение содержит мало информации, — ответил робот. — Формулировки расплывчаты. Я подготовил статью, как мне было приказано.

Рэм обиделся. Он взял из руки Гения листы бумаги и стал читать. Пробежав глазами первую страницу, он поморщился.

— Гений, а вы все-таки дурак, — сказал Рэм.

В тоне его голоса звучали мстительные нотки.

Таня села в постели.

— Что же произошло? — разбиралась она. — Да, случилось что-то странное и милое. Да, милое, милое...

Она приложила пальцы к глазам — помочь им вытрясти сонный песок. Ресницы затрепыхались под пальцами, и сами пальцы дрожали радостно. Эта радость побежала вниз и зашевелила ноги.

А радоваться-то было нечему — все Танины последние дни были отвратные: Вовка слишком материально посмотрел на жизнь. И вчера и позавчера ей тошнотно было. А сейчас даже радовалась чему-то.

Что же такое случилось?.. Да, прилетела ночная широкая птица и крикнула ей с подоконника. Потом был сон.

Нет, сон был до птицы.

Так, птица ей прокричала часа в три, когда Таня, всплакнув, уходила в сон, а до рассвета оставалась капля темного времени.

— Фу, глупая, — сказала Таня птице.

Вначале шло мелькание, какая-то беглая рябь — лица, лица, лица... Потом громко ударило, раскатилось, и в небе прорезалась алая стрела, повисло светящееся облачко... Так, стрела перевернулась облачком, а оно стало юношей с гордым лицом. Инопланетчиком.

Лицо юноши было строгое и прозрачное. Оно просвечивало насквозь. В таком все дурное разом увидишь. И не может быть в нем дурного; нет... Приятный сон оборвался вскриком ночной птицы. Птица закричала совсем рядом, близко.

Призрачная жуть была в птичьем крике. Таня обернулась к проему открытого окна и быстро прикрылась одеялом — птица, сидя на подоконнике,

смотрела на нее горящими глазами. В них бегали оранжевые искорки.

— Убирайся! — приказала Таня. — Пошла вон!

— Бу-у! — крикнула птица Вовкиным басом и поднялась в полет.

Она пустила крыльями ветер в комнату, сдув все со стола на пол, и исчезла в темноте.

В лапах птица несла большую змею.

Об этом Таня узнала по злобному шипению.

Опору телу змея вернула, схватив метавшимся хвостом лапу птицы.

Лапа была твердая. Она была нужна только на миг — не более. И в этот самый миг гадюка отвердела — вся! — и ударила в птицу концом морды. Ударила в перья, жало заблудилось в них. Змея почувствовала бесполезность своего удара и опять зашипела, выдыхая отчаяние. Неясыть же метнулась в резком испуге и не заметила электрических проводов. Задела их.

Провода загревели страшным гудом и выхватили змею из ее лап.

Та повисла и закачалась на проводах перед вернувшейся гневной птицей. Еще покачалась — игривой черной тенью — и упала в кусты.

Земля была мягкая, ласковая сыростью и щекотливым касанием упавших листьев. Под ними ползли большие червяки в виде лиловых зигзагов, ходила мышь, светясь теплом своего тела.

Она виделась змее розовым катящимся шариком. Язык желал коснуться этого шарика. Телу хотелось того же.

Змея хотела есть эту мышь, ошутить ее частью себя. Но в ней прошло тихое гудение. Оборвалось. Резкая судорога толкнула змею на дорожку.

Она позабыла мышь. Она ползла дорожкой, ползла открыто, ощущая жажду встречи.

Первые зорьные огоньки сели на ее глаза.

— Проклятая ползучая гадина, — сказала ей из окна Таня.

Она высунулась — налегке, с припухшими глазами.

Говорила со змеей сквозь зубы, угрожала ей бровями.

— Я бы убила тебя щеткой, — говорила Таня. — Но и тебе жить надо. Уползай, змея.

В раме окна колыхалась Танина фигурка. По ней

пробежали мигания утренних светов, стекавших вниз, на подоконник, на колкие шиповники, на землю.

...Снова гуденье. Что-то оторвалось и ушло.

Змее вдруг стало страшно и пусто. Страх!.. Страх!.. Она торопливо ушла в траву.

— Сигурд... Сигурд... Перехожу на прием...

Владимир Корот дежурил эту кончающуюся ночь в машинном отделении на пятисотом этаже. (Чтобы не заснуть, он пил крепкий кофе.) Прислушался — молчание... Сказал на всякий случай:

— Я плохо вас слышу, Сигурд, измените направленность на десять градусов. Перехожу на прием...

И вновь прислушался: Корот знал, голос Сигурда нужно искать долго, с китайским терпением. Только шеф брал Сигурда легко, просто, сам.

В наушниках заворчался голос, короткими мелкими движениями. Будто насекомое.

— ...Говорит Сигурд... угол изменил... передач не будет... нахожусь в тепловых рецепторах гадюки... от транспортировки в Хамаган отказываюсь...

Это вышло ясно и твердо: «отказываюсь».

— Но, Сигурд! — вскрикнул Корот и прихватил рукой спадающие наушники. — Тогда наши планы рушатся. Что скажет шеф? А моя диссертация?

— Подробности... не дам... они выматывают... я вам... не ходячая электростанция...

— Сергей, послушай... Сережа! Сигурд!

Молчание. Корот поднялся. В расстройстве он даже кулаком ударил по столу. Черт бы побрал этих фокусников!

Он потянулся к телефону: сообщить, пожаловаться шефу. И опомнился. Светало, но в зашторенном кабинете шефа еще, конечно, ночь.

— Нет,— заворчал Корот.— Не могу же я поднимать старика ночью. Но каков свин этот Сигурд!

Встав, Таня решила: этот ее день будет холодный и синий.

Таня стала одеваться соответственно цвету дня. И хотя еще душевые холодные змейки, ползая по спине, шептали ей про шорты и белую свободную блузу, она решила: синее, и никаких!

И накинула синее платье.

Чутким глазом этот цвет говорил. Он скажет, что Таня несчастна и холодна, а с Вовкой покончено.

Цвет обязывал. Завтракая, Таня ела чуть-чуть. (Братики-двойняшечки так и мели со стола тартинки и вареные яйца.)

Таня ела бутерброд и медленно выпила стакан чая с лимоном.

Выпивая чай, Таня глядела в солнечное окно и слушала, как шумно вздыхала бабушка — вместе с самоваром.

В сирени у окна возились серые мухоловки. Между веток виделась автострада — утренняя, розовая. В конце ее — город, в нем Танина работа. «Хорошенькая секретаришечка, — спрашивал шеф. — Что нового в печатном мире?» (Миров у старика, как и у отца, было множество: печатный, городской, телевизионный, Танин и т. д. Наверное, земной круглый мир представлялся шефу похожим на слоеный пирог. Оттого сбор журнальной и газетной информации был нелегким делом.)

Таня прикидывала свой день.

Про явившуюся утром гадюку: надо вызвать отловителей, пусть уберут зверя. Проблема Вовки... Бабушку полностью успокоит синее платье. С мамой хуже, с ней придется говорить словами. Не прямо (таким словам мама не верит и, слушая их, щекочет пальцем кончик Таниного носа). Маме нужны слова косвенные.

— Какое небо... — сказала Таня. — В нем есть что-то арктическое.

— Ты так думаешь? — Мама взглянула на Таню.

— Да, облака — айсберги... Помнишь наш круиз?.. Остров Врангеля, июль, пароход, льды, любопытные нерпичьи головы, торчащие прямо из воды. Какие у них были прекрасные глаза!

— Да, да, их глаза удивительно похожи на глаза дочек Поленц. Я так сразу и сказала: Танюша, они похожи на дочек Поленц.

— Марина! — сказала бабушка. — Оставь в покое своих ближних.

— Но они же ходят...

— Марина!.. Повторяю, оставь своих ближних, человек еще не животное. Сейчас все на зверях свихнулось, вон зятек от мяса отказывается.

— Хотелось бы мне знать, — проговорила мама сквозь зубы, — когда здесь меня будут считать взрос-

лой и разрешат иметь свое мнение хотя бы о глазах дочерей Поленц? Да,— говорила она,— я все сношу, все.

— Марина, не занимайся саморекламой,— раздраженно заметила бабушка.

Таня покосилась на папу. Тот молчал. Он ел, глядя куда-то в свои мысленные конструкции. Тане часто хотелось увидеть их глазами отца.

Он — тихий человек — любил придумывать шумные двигатели и трудился в ракетном центре. Там все ревели, гремело, взрывалось.

Пора идти... Таня вышла, поцеловав папину макушку и потрогав братиков за уши. Они отмахнулись головами.

«Уже превращаются в мужчин»,— грустно думала она и остановилась у калитки.

Вьюнки, оплетавшие все, зашелестев, протянули к ней фиолетовые граммофончики, что было как-то странно. Таня обернулась к дому. (Уходя, она всегда прощалась с ним взглядом.) Ей всегда было хорошо и покойно здесь, до этого несчастного Вовки.

Посмотрела, но что-то прошло перед ней. Будто подули дымом. Дом закачался, исчез и появился снова. «Что это? Я плачу, дуреха?» — спросила Таня себя. Она потрогала глаза — слез не было.

Такие сухие, жаркие глаза...

Таня села в рейсовый ветробус. Она не знала, что с первым рывком машины вступает в полосу странных дней и пестрых событий, что жизнь ее пойдет в зависимости от них.

Садясь, увидела котенка.

Котенок был сер и лохмат. Глаза тоже серые. Из лап высовывались серые крючочки, впившиеся в пиджак кошковладельца. Они и держали зверька.

Котенок смотрел в глаза Тани. Взгляд его был вдумчив и пристален. Он явно делал наблюдения. Таня решила: лет через тысячу, когда животные страшно поумнеют, они будут смотреть именно так. Они станут менять нехороших хозяев. Про достойного человека будут говорить: «Его и кошки любят».

«Годилась бы я в хозяйки?.. Что можно сказать обо мне хорошего?.. Двадцать лет, год секретарю. Говорят, красивая (а умна ли?). И тьма недостатков».

— Кися,— сказала Таня, чтобы устранить натянутость.— Кисик мой хороший.

Сказала и вспыхнула жаром. А котенок до конца пути смотрел на нее. В глазах его бегали светящиеся мурашки, как у ночной птицы.

...Автодактиль, треща крыльями, поднял ее на площадку пятисотого этажа. Сел, Таня, поколебавшись, вышла — ее пугала высота города. И земля слишком уж далеко: туман скрывал ее. А если и обнаруживалась в нем дырочка, то земля походила на обрывок карты.

Таня вошла в институтские двери. Здесь все нормально — дорожки и двери, двери, двери... Кабинет шефа. Таня вошла. Приоткрыла окна и, стараясь не взглянуть вниз, опустила жалюзи.

Пошла к себе.

На столе в плоской вазе была роза. Цветок ее черный, с багровыми прожилками. Маленький, сжавшийся, будто кулачок негритенка. Отличный цветок!

Интересно, кто его принес? Таня, поставив зеркальце, поправила волосы, прижимая где надо ладошками. Вдохнула, убрала зеркало. Снова посмотрела на розу: та на ее глазах раздвигала лепестки. Они расходились и один за другим становились в положенный порядок.

Центр розы был красный, с большой водяной линзой. Она сверкнула и скатилась вниз, на полировку стола. Таня стерла водяную каплю пальцем, лизнула — так, пресная вода, H₂O.

— Работай, работай,— велела она себе. Но не выходили из головы юноша из сна, наглая птица, змея, котенок. В них был какой-то общий смысл. Но какой?

Таня вообразила себя шефом. Нахмурилась, занялась журналами. Быстро пробежала статьи, водя пальцем по колонкам. Заманчивое для шефа отмечала вставкой бумажных закладок — красных, синих и зеленых. Отчеркивала статьи для микрофильмов.

В двенадцать дня пришел шеф. Он был сердит. Но глазом это не замечалось.

— Никодим Никодимыч,— спросила она,— правду говорят, что наша машина принимает мысли на расстоянии?

Шеф остановился — боком. Он покосился на нее, прищурив ближний к Тане глаз (тот был с красной жилкой).

— Случается. А что?

— Я бы могла с ней потелепатировать?

Шеф растянул свой рот до самых ушей: обиднее Тане за всю ее жизнь не улыбались.

— Я сказала глупое?

— Отнюдь. Но даю вам совет — телепатируйте, телепатируйте, но... но только молодым людям. «Чем нас прельщает девушка? Своими кудрями, своими синими очами, своими стройными ногами...» Так, кажется? Но есть, есть еще молодые люди, которые отдают свой пыл исканию научных истин. Их, их оставляйте в покое! Их!

Шеф погрозил Тане пальцем и грохнул дверь. Гул прошел между стен и родил четыре эха. Каждое родило еще четыре. И звуки спутались, сплюсовались в тихий голос.

— Не огорчайтесь, Таня,— сказал этот голос.— Старик прав, но по-своему. Будет и у нас все самое лучшее...

Дверь тотчас раскинула створки.

Шеф влетел.

Остановился.

— Ага, здесь! — крикнул он.— Здесь! Приманила! Сигурд, отзовись! Приказываю! Прошу-у-у...— Шеф склонил голову, прислушиваясь.

— Это пришелец? — спросила Таня.

— Хуже, гораздо хуже. Объясню — физики нашу-пывают новое состояние материи. Фантастичное! Его овеществляет в себе один, только один человек. Кудесник! Гений! Монополист! И вот институт, я, работа — все зависит от него... Эх! — Шеф махнул рукой и ушел к себе, оставив в дверях щелочку. Он ходил, вздыхая за дверь, и временами старческое ухо прижималось к щели. И Тане было жаль шефа, особенно его седое ухо.

...А в обеденный перерыв роза исчезла. Должно быть, ее стащили.

Остаток этого месяца не принес Тане ни радости, ни печали. После общего психоза с каким-то Сигурдом в институте установилось спокойствие с привкусом безнадежности. Многие сотрудники ушли в отпуск, остальные бестолково суетились, бегали растерянно.

У Тани были свои тревоги. В ней проявился магнетизм. Например, в саду к ней тянулось все — травы, цветы, ветки...

Таня сначала пугалась. Привыкнув, ставила вполне научные опыты. Например, держала руку над полегшей в дождь травой, и та поднималась, шевеля длинные

зеленые тельца. Даже цветы распускались в ее присутствии.

Но не всегда было такое. Иногда Таня простирала руку и велела: «поднимайся, трава» или «расцветайте, маки», но трава оставалась полегшей, а маки нераспустившимися зелеными кулачками.

Приятнее всего было вечерами, в сумерки.

Белели звезды пахучих табаков. Древесные кусты пухли, заполняли собой весь сад.

Все растительное пахло так сильно, что у папы начались мигрени. Теперь, пообедав, он уезжал в городской пансионат, расположенный на самом верху, в облаках.

Там, поставив маленький телескоп, он вечерами созерцал пригороды, ночью — звезды...

Мама, подходя и садясь на скамью рядом с Таней, говорила:

— Танечка, маленькая, я так понимаю: аромат — это речь цветов. Они говорят тебе. Ты слушай их, они плохого не скажут. Надо жить нараспашку, простым сердцем, как живут цветы. Ты удалась мне, маленькая, ты мой цветок, ты моя красулочка.

Таня слушала, и ей стало казаться — она ширится и все берет в себя — и слова, и запахи, звезды табаков и те звезды, что так далеки в небе; и высотные папины самолеты.

...Темнело. Загорелись окна. За десять домов от них гоготал, изображая веселье, Владимир.

— Фу-у,— корила она себя.— Я становлюсь мечтательницей. И словно жду чего.

Но ей было очень хорошо в такие вечера, и сон казался потерянным временем.

Затем пришел час встречи.

Таня не поехала домой, пообедала в кафе. А там спустилась на лифте вниз и пошла в театр смотреть «Планету Астру». Театр был в парке и походил на древнегреческий.

Актеры работали до седьмого пота. Они преображались прямо на сцене, летали на «воздушных подошвах» и т. д. и т. п. Но декораций не было, планету приходилось воображать.

Очень интересно, только болела голова.

После театра хотелось поболтать. Но Таня была

одна, до последнего ветробуса оставалось часа полтора, можно было и не спешить. Таня пошла в парк — ценители лунных эффектов бродили по его дорожкам.

Таня шла по своей тени, как по коврику. Думала о Вовке. Сегодня в машинной она слышала скандальный разговор. (Ассистентские тенора и басы доносились явно. Шеф же прослушивался в промежутках голосовых взрывов.)

Таня приложила ухо к двери, запретной для нее.

По слухам, странная машина за этой обжелезенной дверью подманивала пришельцев. Наверное, в ней что-то не ладилося.

— Затраты сил, затраты средств! — Это кричал рыжий Боневич, родившийся со счетами вместо человеческой головы. Он всегда небрит и взлохмачен, и странно, что его любит жена.

Вдруг уши Тани загорелись — сквозь дверь шел Вовкин голос. Он уверенно, твердо выговаривал слова, будто нарезал их ножиком.

— Мы... вложили... слишком... много... средств... Сергей... забыл... что... является... только... частью... системы... только зондом... в наших... руках. Мы не можем без него, это верно, но и он без нас ничто! Кто его будет транспортировать? Тратить мегаватты? Что он для других? Давайте частично вернем прежние методы (вдруг в крике спутались все голоса). — Таня, угадав общий выход, прошла на свое место. Села, уставилась на стопку журналов.

«Ладно, разберемся, — думала она на ходу. — Вовка... Противный голос, самоуверенность, шуточки его плосколобы. Силен, бицепсы, трицепсы! Он заработал их, скача по спортплощадкам. Не зря шеф говорит, что мозговые Вовкины структуры пленочного характера. Зато внешнее оформление на уровне. Блеск! Треск».

Сигурд сел на скамью — нога на ногу.

Место ему определенно нравилось. Бузина подняла лапистые ветки. Он протянул было руку, чтобы щипнуть лист, но спохватился. Он думал в ожидании Тани, думал, что еще свободен, что перед ним лежат два пути, прежний и новый.

Под кустами шатались коты. Двойные огни их глаз мерцали повсюду. Это был народ, выдавший разные ви-

ды. Такой именно кот и вскочил на скамью. Он был громаден и неряшлив и носил только половину хвоста.

Сигурд махнул рукой, но кот не обратил внимания и прошел сквозь него.

— Проклятое животное, — засмеялся Сигурд. — Не путает сущности с видимостью. Пугнуть его? Пугну.

Он напрягся и стал светиться ламповым светом. Коты шарахнулись, но слышались человечески шаги. Шаркающие. Сигурд понял — человек идет сюда. Он стар и потерял гибкость психики. Уйти?.. Но сюда идет Тания. Оставался короткий выбор. Сигурд напрягся и стал пожилым человеком с морщинами и одышкой.

Он хрипло закашлялся.

— Добрый вечер, — сказал ему старик в черном. — Разрешите присесть?

— Располагайтесь. — Сигурд кашлянул еще раз. Потом объяснил свой кашель ночной прохладой.

— Что там прохлада, все старость проклятая, — задребезжал старец. — Раньше никакие кашли не вязались. Одно я одобряю в этой проклятой старости — женщины не беспокоят. Раньше то влюблен, то разведен, то тебя бросают, то сам кого-нибудь бросаешь. Такая у меня сейчас и мысль в голове: старость — проклятая штука. А раньше и подумать было некогда.

Старик ковырнул палкой маленький лопушок.

— Хоть бы мысли людей видеть в старости, — вздохнул он.

— Верно заметили, — захрипел Сигурд. — А вы как думаете, стоит видеть мысли людей?

— Со временем, я полагаю, мы получим это развлечение.

— Скучные будут времена, — сказал Сигурд. Он и сейчас видел человеческие мысли. Не их суть — это было скрыто — он видел цвет мыслей.

Они могли быть синими, зелеными, серыми, красными и даже черными.

Между кустами мелькнули силуэты гуляющих. Их мысли были как вспышки. Иные люди пыхали золотыми лучиками идей, кто-то просиял розовым. У одного гражданина мысли были льдисто-синие, полярные.

Молодежь пылала зеленым — семафорным — цветом.

А вот в черепе старика лежат черноватые угольки. Так, малая пригоршня. Сигурд поверил, что дед женился и разводился. Любовные тревоги взяли его досуг,

он остался с неразвитым мозгом и скудным запасом мыслей. «Ведь урожай их закладывался в молодости. Надо думать, спешить думать... Но какая это чепуха — мысли... Старик прав, надо много любить и много страдать.

Кстати, много любить — не значит любить многих».

(В него вошли волны чужой мысли: шеф звал его.)

«Они счастливые,— думал Сигурд.— Они гуляют, наслаждаются, страдают — и в этом самое большое их богатство. Я же вечно привязан, и нет мне свободы».

Шеф нудил:

«Сигурд, вы можете понять старого человека? Мои дни уходят, мне некогда. Отзовитесь! Перехожу на прием». (Сейчас он вслушивается, сжимая руками свой череп.)

«...Сигурд... Сигурд... Сигурд...» (Это машина.) «Я жду... я жду... я жду...» Эти волны шли прямо в мозг щекочущей вибрацией.

«Не хочу! — твердил Сигурд.— Я устану, страшно устану, а мне надо быть свежим и бодрым... Я оборву волну... отброшу волну. Вон! Пошла!»

Борясь с волнами, Сигурд ощутил Таню. Она подходила к скамье. Между ними еще лежал промежуток времени, наполненный работой. Первое — обрыв волны. Второе — изгнание старикашки. Сигурд сделал это разом: напрягся, отбрасывая волну и сжимая волю до тех пор, пока его свечение не вырисовало все жилы на листовенных пластинках бузины, сделав ее ржаво-тяжелой.

Старичок вскочил, закричал:

— Эй, эй! Гражданин!

Пиджак его расстегнулся. Старик производил тростью дрожащие фехтовальные движения.

— Эй, ты, вы, бросьте!.. Вы, ты не смее!.. У меня будет спазм, вот увидите...

Старичок ткнул тростью прямо в грудь Сигурда и «утопил» ее в кусте, росшем позади. Он издал междометие, выдернул трость и побежал. Сигурд, глядя вслед, ощутил мозговой покой. Это ощущение оборвалось следующим: «Она — рядом». Он увидел высокую фигуру Тани. Его посетило двойственное желание. Ему хотелось быть здесь и далеко отсюда, в Амазонии. Там гущина, джунгли, лягушачьи дикие вскрики, болатные огни. Этот период колебаний сделал его расплывчатым, продолговатым пятном.

Таня заколебалась у входа в приятную беседку. Показалось, там есть кто-то. Сверкнула догадка о Вовке — прячется. Он способен. Кажется, его шевелюра маячила в переднем ряду.

Таня выбрала самый сердитый голос. Спросила: — Занято?

Молчание.

Заглянула — никого. Таня вошла и села на скамью. Она вздохнула, положила сумочку на колени, зажмурилась. И все заговорило с ней своими ароматами.

Говорила влажная земля — испарениями: «Я добрая, я питательная. Пока ты здесь, я кормлю тебя, перестанешь быть — успокою».

Заговорили бузиновые кусты. Они рассказывали Тане, какие у них листья — послушные и обильные, пахнущие так же, как лесные травы, если их долго разминать в пальцах.

Кусты шептали ей о горьковатой серой коре, обтягивающей стволы, рассказывали о корнях: те обреченно сидят в земляной темноте, чтобы все остальное могло свободно пить солнце.

Потом ветки потянулись и обняли ее, щекоча.

— Какая я фантазерка! — воскликнула Таня, опомнившись, и села прямо, положила руки на колени.

Ей было хорошо. Она даже не обиделась на прилетающих комаров — пусть! Но комары ее отрезвили. Она стала махать на них руками, отталкивать лезущие к ней листья бузины.

— Здесь нет удивительного даже на мизинчик. Все движется, в растениях совершаются процессы движения, — рассуждала ученая Таня. — Цветы раскрываются утром и зажимают свои лепестки на ночь.

Таня вспомнила розу и прижмурилась на минуточку, воображая водяной глаз. И ей стало отчего-то стыдно. Ах, фантазии! Лучше припомнить пьесу. Она старая, ее помнят и мама, и бабушка. Может, вспомнит папа. Они спросят ее.

— Так, — сказала Таня и снова зажмурилась. — Основная мысль этой пьесы...

Тут она раскрыла глаза и ахнула — рядом с ней сидел молодой человек. Это был не Вовка, а чужой молодой человек.

Таня резко поднялась. Незнакомец остался сидеть, но сжался.

Таня с торжеством посмотрела на молодого человека. Но он был здесь, высокий и тонкий.

Таня поразмышляла еще:

— Ага, догадалась, вы гипноз?

Таня развила идею:

— Вы полюбили меня (человек так и потянулся к ней) и решили меня гипнотизировать. Правильно? Вы не здесь, вы в другом месте, я вижу ваш мысленный образ.

Установилось молчание. На скамью легла ночная роса.

— Из-за вас я не выплусь сегодня,— пожаловалась Таня.— А теперь уйдите. Гипноз кончился, я сочувствую вам, но любить не смогу. Никогда. Вы так далеки от меня.

— Гипноз?... Это мысль, я мог это сделать,— заговорил юноша.— Прежде чем... Я как-то не подумал, простите... Нет, я хочу быть тем, что я есть. Я Сигурд. Сергей. И. Гурдин. Вспомните — наш институт, шеф, ассистенты, машина... Это для меня, а я для них. Я единственный в мире человек-уникум, проникаю в тайну живого, а не могу обнять вас.

Уныние пришло на лицо Сигурда.

— Уходите,— сказала она.— Стойте, розу вы принесли?

Но Сигурд исчез мгновенно. Некоторое время еще подержалось облачко не то на скамье, не то в памяти и рассеялось. Тане стало страшно. Она поднялась и побежала дорожкой.

Котенок дремал на плече впереди сидящего гражданина, клевавшего носом. Плечо человека было огромное, котенок лежал на нем косматой лепешкой. Коготки его цепко держали сукно. Это был тот — знакомый котенок.

Он подрос и похудел, но был именно тот.

— Кись-кись,— сказала Таня. Гражданин, клевавший носом, вздрогнул и обернулся. Лицо у него было пожилое и широкое, типа «поднос». Небритый. Свисала изжеванная нижняя губа. Ворот рубашки расстегнут. Голос тонкий, будто в дудочку.

— Вот они, люди. Попросят животное — и отказываются,— желчно пропищал он. И сморщился, собрав в морщины необъятное лицо.

— Нехорошо,— отозвалась Таня. «Бедный, должно быть, вдовый»,— жалела она.

— Гнусно!.. Котенок пачкает, котенок необразован, котенок испортил ковер.

Сосед становился багровым и даже страшным.

— Человек, гомо сапиенс, овладевает горшком только на второй год своей жизни и то несовершенно, а котенку всего был месяц! Он и сейчас еще молочный, этот котенок.

— Сосет?

— Лакает... Да еще и полакал из чьей-то там чашки! А животное это самое чистое. Я с удовольствием выпью после кошки и остерегусь сделать это после одного знакомого человека. По секрету: живет такой двуногий, после которого ни одна уважающая себя муха есть не будет... А теперь изволь опять искать желающего.— Он вздохнул, как насос.

— Отдайте его мне,— попросила Таня.

— Решено! — воскликнул человек.

Он снял лепешку с плеча и передал ее Тане. Котенок был сонный и горячий. Он позевывал, жмуря глаза, и язык его выставлялся в виде узкой красной стружки.

— Кисик, кисик,— говорила ему Таня.

Котенок заснул у нее на коленях.

...Калитка подавалась туго. Таня сразу поняла — это к дождям. У них всех были приметы — такая метеорологическая семейка.

Бабушка следила за своим прострелом, папа — за переменами настроения, мама — за облаками накануне дождя, близнецы — за клевом мелкой рыбешки, проживающей в верховодье их пруда.

Самые верные приметы были у Тани и бабушки. Когда они совпадали, дождь был просто неизбежен, как приход ночи или наступление утра.

Таня не стала захлопывать разбухшую калитку: в доме спали. На веранде горела ночная лампа. Свет ее падал на кусты.

В саду — прозрачный туман.

В небе — хоровод нетопырей. Они резвились, близко, смело налетали на Таню. Ей показалось — хотят вцепиться в волосы и сесть на ее белое платье.

Она заторопилась на веранду. Прикрыла дверь и пустила котенка на пол. Тот вздел хвост и стал ходить, знакомясь с мебелью.

Обошел все, приласкался к каждому стулу и сел, тихо мяукнув.

Таня осмотрела тарелки на столе. В одной лежал зеленый салат, в другой немного фруктов — персики, груша, два кислых на вид яблока. Их бабушка находила полезными для Таниных зубов.

В тарелке, прикрытой газетой, было холодное мясо.

— Ты, плотоядный хищник, иди-ка сюда,— сказала Таня.

Котенок подошел и стал урчать.

— А еще молокосос,— сказала Таня и отдала мясо. Сама съела персик. Он был приятно кисл и горек.

Сигурд телепатировал. Исключительное напряжение делало его синим. Он мерцал, вздрагивал внешним очерком фигуры.

— Я — Сигурд... Сигурд... Вы меня слышите, шеф?.. Слышите?.. Я согласен, согласен.

Старик проснулся и сел на постели. Коснулся бо-сьми ступнями пола, вздрогнул и поджал их, скрючив пальцы.

— Голос, я слышу голос.

Он вскочил и побежал к столу. Сел за него, прикрыл лицо руками. Посидел, боря дремоту. Затем проглотил таблетку.

— Да, да, да, милый Сережа,— кивал он.— Я слышу, все слышу.

— Проверку комплекса хищник — жертва отложим. Не вышло. Работу тепловых рецепторов гадюки я доисследую потом,— говорил Сигурд.— Сегодня займусь вне графика нетопырем... Согласны? Да?

— Да, да, все, все, что хочешь.

— Спасибо...

Растянулись круглые огоньки, искры мошек сошлись в слепящую дымку. Нетопырь бросил себя в эту ма-нящую дымку.

Крылья зашевелила вибрация. Он услышал тонкое гудение своих перепонок и растопырил коготки лап. Сквозь пальцы со свистом прошли рассеченные воздушные струи.

От восторга поднялись все шерстинки.

Нетопырь ликовал. Он кувыркался в промежутках проводов, вильнул у светящегося изолятора, прошел над верхушками деревьев.

Всходила луна.

Она была светозарна. Нетопырь давно видел ее отсветы за горизонтом. Но луна взошла очень поздно, она долго лежала, долго зрела за брошенными на землю черными лесами. Но взошла — огромная на коричневом небе. На ней были тени лунных гор.

Нетопырь осветился ею. Он с писком кинулся вниз — во тьму, в деревья.

Здесь было глухо и темно, была путаница: ветки тополей, черемух, лип... Ниже их — дома. Здесь глаза лишние, они лгали. Нетопырь велел им плотно зажмуриться. Он закричал сверляще-тонко:

— ...Пи... пи... пи...

Звуки улетали, ударялись и, отскакивая, возвращались обратно, градом стучали в перепонки.

Стучались все звуки, что, ударяясь, отскакивали от веток и листьев, от столбов и насекомых. И Сиггурд отметил, что крыльям древесные ветки казались гуще и косматее, чем были на самом деле.

Он видел — крыльями — рои ночных мошек и ощущал перемещения их. Видел — крыльями — прерывистые трассы хрущей и лохматые клубки ночных бабочек. (И хватал их, и пожирал на лету.)

— Пи-пи... пи-пи... пи-пи-пи... — кричал он, шмыгнув мимо плясавших мошек. Он неслился к луне.

Она казалась ему светящимся отверстием, его несло в ее горячий рот. Он видел луну собой, ощущал ее всем хрупким сооружением тела. Она звала к себе, но зов ее был двойным: нетопырь ощущал спиной подъем серой лунной радуги. Он летел выше, выше...

Луна звала его, манила, осыпая звездчатым дождем световых корпускул. Сухим листиком нетопырь заматался в холодных высотных течениях, среди темных и неизвестных еще ночных птиц. И снова кинулся вниз, в отсветы фонарей, в красные лунные тени.

Таня отпросилась домой и стала помогать в кухне. Но все у нее валилось из рук. Бабушка прогнала ее, Таня ушла в сад. Перед дождем (а начиналось погодное безобразие — шли ежедневные дожди) все население их сада шумно ворочалось в травах и листьях.

Летали рыжие комары, гудели синие мухи, перелетывали травяные моли. Жуки ползали по дюралевым косякам окон.

При таком насекомьем изобилии в сад налетели ласточки-касатки с черными хвостовыми вилочками.

Они, проделывая воздушную акробатику, вылавливали мошек.

Особенно красиво работала одна. Она вскрикивала, налетала близко, показывая Тане то белый жилетик, то красное пятнышко. Она безотчетно нравилась Тане. Думалось: было бы счастьем летать вот так.

Устав, ласточка присела на косяк и глядела на Таню. Малюсенькая, но так хитро, так ловко устроенный летательный аппарат. И клюв маленький, и краснотца на щеках — следы небесных зорь.

— У, малюня,— сказала ей Таня и протянула вперед губы.— Моя славенькая, маленькая!

И вдруг догадалась: он!..

И стала наливать жаром. Под ладонями раскалялся оконный косяк.

— Сейчас же уходите, Сигурд! — велела она.

Ласточка смотрела. Глаза ее — черные пятнышки — слишком пристальны для дикой птицы.

— Уходите! Чтобы я вас больше не видела. Безобразие быть таким прилипчивым.

Ласточка взлетела, загнула в воздухе сложную кривую и скрылась из глаз. Совсем.

— Сигурд! — крикнула Таня вслед.— Вернись! Ой, что я наделала...— Она схватилась за щеки.

«Обиделся, обиделся. Пришел, а я его выгнала. Летал, устал, а взяли и выгнали, взяли и выгнали. Так ему и надо. Пусть летит, пусть другую найдет. Только помнит, что та не полюбит его таким...» Опять налетели ласточки, но другие городского типа. Кричали стрижи; вечер шел своим чередом, пустой и ненужный.

И чтобы наказать улетевшего Сигурда, Таня поговорила по телефону с подругами (советы о прическах). Приготовила салат к ужину. Особенный салат — из яблок, капусты, лука и белой смородины. Папа долго рассматривал его, нацепив очки, и взял одну только ложку. Мама глядела на Таню с любопытством. Погрозила пальцем.

— В тебе я сегодня чувствую что-то грозное. Знаешь, снежные тучи, а в них спрятанные молнии,— сказала мама.— В теперешнем настроении бойся себя.

— Марина, не говори глупости,— сказала бабушка.— У девочки возрастное, а ты говоришь бог знает что! Оставь ее в покое, пей чай.

Мама обиделась и ядовито спросила:

— Могу ли я заняться воспитанием собственной дочери?

— Тебя саму еще нужно воспитывать. Как ты пода-ла сегодня грენки? Они были зажарены только с одной стороны. Твое счастье — в тихом характере Бориса.

— Ах, опять эти пошлости!.. Выбери другой пример.

— Тысячу! Ты пренебрегаешь маринованными меду-зами, а они полезны моей щитовидке...

Поужинав, Таня ушла к себе. Свернулась в кресле, накрылась пледом. Почувствовала себя такой усталой, одинокой, некрасивой. Все, все врут о ее красоте.

Ей захотелось умереть и лежать во всем белом. Будто невеста (в волосах бант, оборочки кружевные). Сигурд прилетит к ней — ласточкой — и сядет на край гроба.

Вообразив себя, гроб и Сигурда, Таня заплакала.

Она плакала долго, обильно, она захлебывалась сле-зами. Они были особенные, таких она еще не знала. И вообще раньше она ничего не понимала, жила дура дурой. А вот теперь знает, а что проку — все кончилось.

— Про-гна-ла... — шептала она. — Про-гна-ла...

Устав от слез, Таня заснула. И сном ее горе кончи-лось.

Придя на работу, Таня все смотрела на порожнюю вазу. Никто не ставил ей цветов. Таня несколько загру-стила и подумала о мужской черствости. «Он как дым, этот Сигурд, — думала она. — А если его поцеловать? Как это почувствуется?» Идея поцеловать Сигурда была столь же странной, как целовать журнал или самого шефа. Она застеснялась, робея, но лукаво почувствова-ла свою женскую командную силу.

Такое щекочущее, такое сладкое ощущение.

«Он как туман», — думалось ей. И она тянула и тя-нула губы. Целовать туман смешно, но что бы он сказал при этом? Где он сейчас?

Она даже не уверена, что все это правда. Было или не было?.. Непонятно. Но отчего-то все мужчины те-перь казались такими мясистыми, такими щетинисты-ми. «Было, было...» Она капризно вытянула губы.

— Поцелуй! — приказала она.

Подождала — ничего.

— А ну! Целуй! Сейчас же! — требовала она.

И странное ощущение посетило Таню. Показа-лось — воздушный поток вентиляторов скрутился в во-ронку и стал прижиматься к ее губам. Пришло и ощу-

щение мелкого электрического шипанья. Микроразряды щекотали ее губы. Таня полузакрыла глаза.

— О-ох! — вздохнула она. Откинулась на спинку стула — в вазе раскрывалась свежая астра. Лепестки ее еще продолжали свое движение — резкими толчками.

А в приоткрытую дверь на нее глядел шеф. Он спустил очки на нос и смотрел на Таню поверх оптики. Его лобные морщинки сбились в гармошку.

Таня под взглядом шефа налилась краской. Шеф молча закрыл дверь и стал за ней возиться. Через минуту он вышел в пиджаке и галстук. Торжественно ступая, шеф подошел к Тане. Она выпрямилась. Но шеф не смотрел на нее.

Он в лупу стал рассматривать цветок. По его лицу туда и сюда ходили желваки и красные пятна.

— Это я принесла, — стала объяснять Таня.

Шеф и не взглянул. Он сунул лупу в карман, кашлянул, потрогал пальцами галстук.

— Сигурд, — сказал шеф астре. — Я всегда считал себя вашим другом. Больше того — вы мне как сын. Откроюсь до конца — вы мне дороже сына.

Астра молчала. По ней ползала оса цвета анодированного алюминия. Шеф взорвался.

— Черт возьми! — закричал он. — Ты можешь прикидываться сколько тебе вздумается. Но что будем делать мы? Прикажешь разогнать институт? На тебе держится план и график. Оставь свои штучки! Каждый упущенный час — это потерянное знание.

— Мне бы хотелось кое-что решить самому, — сказала астра. Тихий звук разошелся по комнате. Или собрался?

— Я понимаю тебя, понимаю. — Шеф покраснел. — Но что нам делать? Мы завалили теплорецепторы змей, ахнули тему симбиоза хищников и жертв. Мединститут передал нам изучение спинальных нервов. Сам знаешь, для этого им не хватает ни кошек, ни крыс. Сотнями губят. Тысячами! У нас целая очередь на тебя. И вот Кимов запарол диссертацию. А что будет с Коротом? А?

— Пусть, — упрямылась астра.

— Перечисляю: ты не поехал в Хамаган! Нетопыря недонаблюдал. Была работа по действию гипофиза жирафы, а что сделал ты? Фьють! Исчез! Знаешь, чем это кончилось? Они взяли отличную жирафу и... и отправили ее к чертовой матери. Чучело они сделали

из нее, вот чем все это кончилось! Ты не нас, ты зверье пожалей!

— К черту всех жираф на свете! — раздражительно произнес цветок. — Имею я право жить для себя или нет?

— Но как?

— То есть?

— Вы же бесплотны в этом состоянии, мой молодой друг. Житейски бесплотны.

— Перейду в другое.

Шеф расстроился окончательно.

— Сигурд! Не говори глупости! Это неизвестно как... Тогда все рушится! Сигурд, я... я старик. Я скоро умру. Понимаете? Мне так ценно время, а я ничего не успеваю. Ничего. А нужно так немного: нетопыря и его реакции. Термоглаз змей. Подземная ориентация крота. Кое-что еще. Это ведь и твои, и мои работы, и наши, и всех.

Расстроенный шеф сел на стул, свесил руки, короткие и толстые. На кончике его носа повисла капля пота.

— Жизнь впустую, — бормотал он. — Впустую...

Таня разглядывала шефа словно впервые. Пальцы, сжимавшие платок, были толстые, волосатые, с короткими ногтями. Стариковская толстота была рыхла, она содержала в себе не менее ста кило той плоти, от которой добровольно отказывался Сигурд. Такой милый... Но вот зашевелились морщины, задвигались веки старика. Таня знала, так в шефе проступает таинственный процесс думанья.

— Сигурд, — начал он. — Ты извини, я погорячился.

— Принимаю, — произнес голос, но из пространства. Астра обвисла всеми лепестками. Сигурд принес ее («Значит, не так уж он бесплотен», — догадалась Таня), а сам витал где-то в комнате. Должно быть, у открытого окна.

«Как бы шеф не закрыл его», — забеспокоилась Таня (она перехватила его косой взгляд).

И пронесся торжествующий голос Сигурда:

— А я на подоконнике... Сажу и свесил ноги. Черным цветом вы подумали, шеф, черным. Но поздно.

— Я думал об этом с самого начала, — обиженно пробормотал шеф. — Но что это могло дать?

— Правильно. Ничего!

— Поэтому я приглашаю вас серьезно говорить

со мной, Сигурд. Она тоже будет, она может спорить со мной. Вы согласны, Таня?

Она кивнула.

— Сигурд, вы и сейчас единственны и долго будете единственны. Вы — главная исследовательская сила нашего института.

— Это говорит старая лиса.

— Так говорили мне физики и психофизиологи, и вы знаете это. Раз! Второе — мы связаны, мы две стороны одного дела — науки познания. Третье — сейчас ей кажется, что она любит вас или собирается полюбить. Поверьте мне, в ней говорит молодость, пышущая хорошими намерениями, молодость, стремящаяся к необычному. А что может быть необычнее вас? Космонавты приелись. Инопланетные?.. Где они? И вдруг такой человек! Молодой! Совершающий путь в непознаваемое! В глубины! Всякая влюбится. Но, возвратясь в обычное состояние, вы станете как все. И она найдет людей интереснее вас, потому что вы человек увлеченный. А женщины недолго любят витающих мужчин, поверьте мне. Мы часто шутим на популярные темы, но женщина (простите меня, Таня) — это земля, прекрасная, дающая жизнь земля.

— Никодим Никодимыч! — воскликнула Таня.

— И сам знаю, что я Никодим Никодимыч! — отмахнулся шеф. — Сигурд, верь мне. Уйдя из всепроникающего состояния, ты будешь несчастен, станешь томиться, поедом есть жену и детей. Почему? Да потому, что твоя жизнь — это искусство, приключение, сокровище. Ты не простишь ни себе, ни ей, что потерял его. Кроме того, ты ведь... Помни — машина... она ждет.

— Я могу сказать одно, — вмешалась Таня. — Сигурд, вы мне нравитесь именно таким.

— Спасибо. — Голос Сигурда приобрел холодный оттенок. И шеф обидно ухмыльнулся, моргнув ей веком левого глаза.

— Сами видите, Сигурд, у этой особы любовь к вам сидит не в сердце, а в голове. Сердце — алогичная штука, ей-ей...

Таня вспыхнула. Ей вдруг стало так совестно, так совестно. Она откинулась лицом в руки, и в темноте сжатых глаз, вдруг расцветившейся узорами, она поняла — их разговор был недостойный... Шеф коснулся ее сердца. «Этими толстыми руками, волосатыми паль-

цами!.. И вообще, что это все мужчины вдруг заговорили о любви? Что они понимают?»

Когда Таня отняла руки от лица, шеф осторожно прикрывал окно. Он опускал створку, придерживая ее рукой. Выглядел заботливым толстым папашей.

— Вы можете простудиться, здесь сильный сквозняк,— говорил он, не глядя на Таню.— Мы обо всем с ним договорились... мысленно. Я поднапрягся и понял его, вполне. Я дал ему две недели отпуска на устройство и так далее... Одним словом, не сердитесь на меня, я защищал достоинство нашего коллектива, а вы — только свое. Мой совет: защищайтесь! Боритесь! А лучше бросьте-ка все это. Право, бросьте!.. А?.. Я как отец...— И от пошел, тяжело потянул за собой ноги.

Таня увидела, что при всей официальности его черного пиджака и черной бабочки обут он был в домашние туфли в форме ржанных лепешек. И цвет их тот же.

Из ушей его торчали одинокие седые волосики.

Она проснулась глубокой ночью, и потянулась сладко, и зевнула, говоря: «А-а-а...»

В кресле, напротив, сидел Сигурд и смотрел на нее. В позе его было что-то от рабского поклонения.

— Пришел... Пришел-таки,— заговорила Таня.— Вы мне снились приятно синим, сходящим из туч, весь в молниях. Тучи, молния, гром...

— Космос...— молния, тучи...— повторил Сигурд.— Эффектно. А синим я могу стать, если хотите.

И он стал вполне синим, расцветкой похожим на Танино шерстяное платье. Правда, в его синеве проглядывал фосфор, легкое и все время перебегающее мерцание. Оно рождалось в груди и бежало к голове, к плечам.

— Годится расцветка? — спросил он.— Если не устраивает, могу принять любую другую. Что хотите — оранжевый?.. зеленый? Весь спектр в вашем распоряжении. Заказывайте.

Таня произвела опыт с оранжевым цветом и напугалась. Пришлось пить холодную воду.

— Как вы это делаете? — спросила она.— Расскажите.

(«Я, наверно, ужасно растрепана»,— подумала она.)

— Делаю?.. А знаете, я могу проникнуть во все,

могу стать видимостью всего. Не могу стать вами, этого мне не дано. А если нужен цветок, зверь или еще кто-нибудь, то приказывайте, исполню.

— Станьте пионом,— попросила Таня.

— Пион, этот распутный, с нехорошими желаниями цветок? Пожалуйста!

И в кресле засветился розовый пион. Он был приклонен к ручке кресла и покачивался слегка. Таня протянула руку, но отдернула ее.

— И все же с какой вы планеты? — интересовалась Таня.— И отчего не было сообщения о вашем прибытии?

— Вот,— сказал Сигурд и выпятил губу.— Свихнулись на космосе. Им проще предположить, что я с другой планеты, чем заинтересоваться, как стать таким. Или гипноз, или планета, два варианта. Шеф очень неглупый человек, но знали бы вы, какую чепуху он говорил при первом нашем знакомстве. Мы посмеялись... Но он удивительно быстро опомнился, а хватка у него, скажу вам, железная. То, что не для себя делает, придает ему дополнительную цепкость.

Сигурд встал и ходил по комнате беззвучной походкой. Ворчал:

— Давай им планеты!.. А что творится на Земле, еще толком не знают. Мир растений и мир животных — тоже планеты, малоизвестные. Это чужие планеты. Их мириады — руку протяни. Как так можно? Сначала нужно узнать свое, узнать Землю и лишь потом браться за остальное. Узнать... Вы спросите: «Как?» Ведь наше проникновение в эти миры убивает их. Положим, беру мир жука, ползающего по коре, или мир жука, обитающего в ней, мертвой и разрыхленной. Эти миры — соседи, но различные... Впрочем, я болтаю, а у меня нет времени. Работа! Сегодня я лечу в Хамаган.

— В Сибирь? — спросила Таня.

— В тропики.

— Вылетаете самолетом?

— Мой самолет — транспортиция направленными волнами. Это, сообщу вам, сомнительное удовольствие. Видели машину? На крыше гнутые зеркала? Блестят?

— Параболические?

— Это и есть мой аэропорт. Швырнут — словно электросваркой ошпарят. И прибываешь в самое неожиданное место. Вообразите, очутился я однажды верхом на тапире. Бедняга чуть не умер от разрыва сердца...

Да, в Хамаган... А пока позвольте мне присесть рядом с вами. Из-за своей газообразной консистенции я безопасен для хорошеньких девушек. Абсолютно! Даже ваша уважаемая бабушка не придерется.

— При чем здесь бабушка?

Но Сигурд не стал отвечать на вопрос. Он спешил.

— Я уезжаю, я долго-долго вас не увижу. А когда вернусь, то узнаю, что вы замужем. Тогда я стану целым букетом — сразу. Вы любите сирень?

— Очень.

— Значит, стану букетом сирени, приготовьте вазу.

Ах, муж рассердится.

— Мужа не будет,— сказала Таня.

Как-то неладно повела себя голова. Она ничего не понимала, она болела от усилия понять. Таня пошарила на столе и нашла коробочку с лекарством. Она вытрясла таблетку на ладонь и проглотила ее. И начала считать: «Раз, два, три, четыре...» Реклама не врала, при счете «тридцать» в нее вошла бодрость. Таня села, подбрав ноги. Ей было любопытно и странно. Котенок вспрыгнул и устроился рядом. Он не боялся Сигурда. Наоборот, поворачиваясь к нему, котик заводил песенку.

— Вот так и получается,— повторил Сигурд.— В Хамаган.

— Ваше поведение говорит о вашем благородстве.

— Благородстве? Давайте не будем,— умоляюще сказал Сигурд.— Помолчим. Перед отъездом принято сидеть и молчать.

Таня затихла и только взглядывала. Со стороны виделись взметывания ее ресниц. Все так странно, так странно. «Бедный, он меня любит, но в его положении... Или это и есть высшая любовь?»

Тане было грустно и хорошо.

...Светало. Кричали воробьи. Сигурд был интересен. Какие глаза, но почти прозрачны. (Таня неожиданно для себя усмехнулась и замерла — была уверена, что Сигурд обидится.) Тут только она заметила его руку, гладившую котенка. Молчание становилось невыносимым. Таня потрогала котенка: от него шло электричество. Таня решила — это походит на пульсацию слабых токов. «Все пульсирует во Вселенной,— думала ученая Таня.— Пульсируют туманности, пульсирует кровь в моих жилах... Сигурд. В нем тоже разнообразные вибрации. Он хороший, а не знает этого. Смешно... Мог бы

и не сидеть истуканчиком. А ток идет от него, даже сердце сжимает».

Таня вообразила, чтобы Сигурд не только поцеловал ее, но и крепко обнял. Это будет настоящее прощание. Это будет научно. Никто еще не обнимался с Сигурдом. «Ну чего он застыл? — думала Таня. — Пусть посмеет только...»

Его рука придвигалась ближе и ближе. Они соприкоснулись пальцами и отдернули их.

— Пять утра, — сказала Таня сломанным голосом.

Она посмотрела в окно — по шоссе неслась, подпрыгивала точка первого ветробуса.

— Тебе пора...

— Может, сказать обо всем вашим?

— Иди, ступай в свой противный Хамаган.

— Нам нужно поговорить.

Но Таня брала себя в руки. Хотелось спать. Голову стягивало тугой невидимой шапочкой.

— Ладно, — сказала она. — В последний раз приходи, сегодня, в двадцать четыре часа... Жду. А сейчас я буду переодеваться.

«Что я говорю? — ужасалась Таня. — Какой последний раз? Зачем последний?.. Глупости, мне так хорошо».

Она следила: Сигурд уходил от нее. Он стал притуманиваться, будто отпотевающее от дыхания стекло. Ветерок заколебал занавески, и его не стало. Таня вскрикнула и покрылась пупырышками, словно от холода.

С этого дня и пошла новая жизнь Тани.

Так, вчера она была одна, потом Сигурд построил мост разговора, и по нему пришла ее новая жизнь. Возможно, о ней знала бабушка, догадывалась мама.

Таня не хотела выяснять. Остерегалась, боялась притронуться, потому что все было слишком хорошо. Все дни шли хорошо. И даже взгляды бабушки не могли помешать ей.

Но были и люди, которых она побаивалась. В институте, например, был Вовка. Он мог усмехаться так, что его хотелось стукнуть тяжелым.

Был папа, который (как Сигурд и шеф) проживал в разных мирах. Но в противоположность Сигурду миры эти обычны и четко отделены друг от друга.

Он работал в мире ракетных двигателей (и молчал о них дома). Он ел смакуя, тихо и молча возился в своей тарелке разными вилочками — находился в мире жареного.

Вечерами отец обитал у друзей в мире какой-то древней и медлительной карточной игры. Когда он возвращался, выходил из одноместного «Птеродактиля» и прикрывал его крылья брезентом на случай дождливой ночи, то видел Таню.

Увидев, изумлялся и не верил себе. Затем долго разговаривал с ней, спрашивал, открывал для себя мир дочери.

После работы Таня шла гулять с Сигурдом. Он присаживался к ней на грудь бабочкой-махаоном. Тане было приятно такое его настроение, было весело смеяться удивлению прохожих.

Она шла в кафе, Таня ела, а Сигурд фамильярничал: садился на нос, щекотал губы. Таня смущалась, думая, какой она представляется Сигурду необозримой великаншей. Она говорила:

— Не надо этого, Сигурд, не надо... Пей-ка лучше кофе.

Или он был воробьем. В таких случаях приводил одного из своих приятелей. Воробей ел с Таней из одной тарелки. Эта птица была необычайной силы и живости. Она могла стащить и унести даже половину мясного пирожка, даваемого к бульону. А однажды унесла снятую клипсу. Но Таня сразу догадалась, что ее взял себе не воробей, а Сигурд.

Потом они шли в лес (в дороге Сигурд становился брошкой-жуком на ее блузке). В лесу они были свободными. Сигурд ухаживал за Таней. Он становился всем, он был всюду. Даже ветер разговаривал с ней голосом Сигурда: все об одном, все об одном... Или, оставив Таню около муравейника, Сигурд забирался в него, он выводил всех муравьев и принуждал их склеиваться в зимний шар.

Еще они плавали в озере: Таня плыла, а около нее вертелся Сигурд в какой-нибудь щуке и хватал за пальцы.

Таня взвизгивала, брыкалась и плыла к берегу, заикаясь от смеха и разбрызгивая воду, а Сигурд уже выставлялся ей навстречу камышом, пускал свой

пух на голову и уши. Таня бегала и хохотала. Проходящие пары косились на столь оживленное проведение времени.

Таня ходила в дом Сигурда. Он долго звал. Она наконец согласилась.

Здесь был старинный пригород — его оставили для любителей эффектов старого жилья, для художников и поэтов.

Отсюда хорошо виделся город, проткнувший тучи.

Таня прошла в калитку — старенькую, болтавшуюся. Запели ржавые скобы, прошептали ветки древних вязов, прикасавшихся к верхней доске калитки.

На заборе сидела кошечка и глядела на Таню травяными глазами. Она увидела Таню и без звука, стеснительно, заговорила с ней, приоткрывая красное пятнышко рта.

— Кисик, кисик,— говорила ей Таня.

Кошка замаякала. Необычный ее голос был звонким, как у какой-то птицы. И Таня подумала, что именно эту кошку, наверное, гладит вечерами Сигурд.

И пошла по тропинке в глубь древнего мохнатого сада — к дому.

И тотчас от дома к Тане побежали, перескакивая друг через друга, большие собаки неопределенной породы.

Кусать Таню собаки не стали. Наоборот, подставили головы, чтобы Таня гладила их.

Это были добрые собаки...

И Сигурд уже шел к ней прямо по лужайке. Он шел так быстро, что Тане стало радостно. И она испуганно оглянулась, не смотрят ли на них из окна.

На Таню смотрело много глаз.

Смотрела кошка с забора травяного цвета глазами, смотрели большие собаки.

И другие глаза смотрели поверх оконных белых занавесок — внимательные человечесьи глаза. Прежде чем Таня вошла в дом, о ней все уже имели определенное мнение: и мать Сигурда, его сестры, и даже бабушка Сергея (видевшая очень плохо).

Сигурд взял Таню за руку и повел в дом. Они прошли одну за другой все ступени крыльца, прошли веранду, где лежали ранние яблоки.

Запах их был восхитителен.

Затем был узенький коридор с запахом жилья. Поры домовых бревен хранили запахи жизни всех поколений Сигурдов.

В доме Таня познакомилась с мамой Сигурда, самой милой чужой мамой на свете.

В доме пришедшие следом собаки подали Тане правые лапы, выпачканные в земле, и понюхали ее носами, зелеными от травы.

Затем мама велела сыну хлопотать с обедом и повела Таню смотреть малину.

Они ходили вдвоем в колючих ее рядах, и мать серьезно говорила с Таней (в то же время обирая и кладя в рот ягоды).

— Ешьте, ешьте малину... Я рада, очень рада,— говорила она.— Вы хорошая и милая девочка. А я так боялась за первое увлечение моего сына. (Таня молчала, глядя на сочную ягодную кисточку.)

...Он всегда, всегда в работе. Вы знаете, Танюша, он совершенно не спит. А я нахожусь в ужасном положении. Я стала бояться убить простейшее насекомое, скажем муху или комара, потому что он изучал их. Если я ударяю комара, то мне кажется, я убиваю своего сына.

...Мы все тут нервные, все немного не в себе, даже собаки и кошки... Стать лягушкой науки! Я понимаю, ему нужно было сделать это. Но нельзя же все время жертвовать собой! Я хочу иметь сына и внуков. И я рада его любви к вам. Вы должны убедить его вернуться в нашу жизнь, вы одна можете это сделать. Я бессильна, отец не желает ни во что вмешиваться, товарищи его хотели бы бесконечного продолжения этого опыта.

...Таня! Я прошу вас. Он славный мальчик и сделает вас счастливой. А когда вы выйдете замуж, мы оставим вам этот старый дом — если хотите. Сейчас модно жить в настоящем старом доме.

...Таня, наши животные напуганы. Кошка не ловит мышей, собаки не дерутся друг с другом.

И знаете, временами и эти деревья, и солнце, и цветы, и птицы — все лучшее мне кажется моим сыном.

Сигурдова мама поцеловала Таню.

Затем они обедали всей семьей (и собаки и кошка). Потом Сигурд увел Таню в холодную глубину дома, в комнату. Комната эта была очень большая. На беленых ее стенах повешены картины — все старинные, написанные на холсте, в тускло золоченых рамах. Это были

древние картины о древнем городе, о его деревьях и птицах. И нельзя было подключить ток, и сделать их движущимися, или извлечь из них какую-нибудь поясняющую музыку.

Надо было глядеть и соображать самой.

— Вы видите, Таня, природное в нашей семье сидит крепко. Эти картины писал один мой далекий предок. Какая-то боковая ветвь, с сильной кровью сибирских пионеров... Да, вы не знаете, мой брат занимается росписью ночного неба над городом, а другой — в свободные часы — делает те маленькие картины, что оживают на строго рассчитанное время.

Но вернемся к предку. Я думаю, что некоторые его глубинные устремления получили выход только во мне — его воля, его нацеленность.

Предок жил давно и немного. Он оставил после себя только картины. По ним судите о его силе.

Жил он в те времена, когда люди много работали на полях и в шахтах. Они часто болели, им было трудно отдаваться искусству. И этот человек однажды заболел какой-то древней болезнью, и она дала ему время обостренного видения.

Он был скромный, хороший человек. И вот, больной и несчастный, он увидел на земле других несчастливцев и понял их. По старомодной ограниченности считали, что человек должен переживать горе только людей. Эта идея — наследие стадного образа жизни, пришедшее к нам из древности. А также ограниченность. А также смешное мнение, что Земля была звездными силами изготовлена только для человека.

Мой предок проникся болью всех гонимых человеком животных, птиц и трав. Он первым стал писать картины о том, как должен жить человек.

...Писал картины... Ими показывал, что животное зависит от клубка мировых сил — от воздуха и воды, человека и космических лучей, от ветра и пищи, любви и ненависти, сострадания и дружбы — так и сам человек.

При жизни над ним посмеивались, а после смерти вдруг стали любить.

Его картины есть в музеях, здесь же всего десять маленьких этюдов.

Таня смотрела. Грустно — на картинах странные, дымные, чумазные города, голые ветки, жалкие птицы.

И Таня поняла смертельно больного художника, бродившего по городу со своими рабочими инструментами. Она поняла его сердцем. Но унесла с собой и раздражение на этого художника. Она чего-то не прощала, не могла простить художнику, а что — не знала и сама.

Этой ночью они зажгли в поле маленький костер, превращая старые травяные былки в огненную игру, в дым, в разговоры. Таня рассказывала Сигурду об отце и братиках, о бабушке и маме.

Дым уходил вверх, пророча устойчивую погоду, нависал лунный край с пятнами кратеров. Волосы Тани становились золотыми паутинками.

Сергей глядел на Таню и видел в ней то розоватое сияние доброй памяти, то черноватую рябь ее бывших тревог. Тогда она казалась ему чужой, из другого — непонятного мира. Она пришла, она могла и вернуться в него. Чем ее удержать? И когда Таня на короткое время замолкала, Сигурд исчезал. Таня пугалась. Но ближний куст вдруг начинал клониться и щелчками ронять на нее паутинные листья.

И слышался из него легкий смех Сигурда, растекался по земле. И Тане казалось — это смеются, качаясь, травы.

— Теперь твоя очередь. Говори о себе, говори, — требовала она. — Только о себе.

— Это началось так, — говорил Сигурд. Он сел и держал ногу на колене сцепленными пальцами рук. От напряжения рассказа он светился зеленым светом.

— Когда-то я просто изучал животных. Этолог — такая моя профессия. Но, стремясь к универсальному, я был и цитологом и биохимиком. И вот, изучив, то есть убив, сотни зверей в лаборатории, я, как и все, понял: нужно что-то другое. Животное умерло, его жизнь умерла. А ведь самое тайное — это жизнь, оркестровка органов, незримая партитура мозга.

Если кто-нибудь скажет: я стопроцентно знаю, что такое жизнь, я предложу — сотвори ее.

Теперь же я занят только живым, и это мое счастье. Сегодня утром согласно плану я занялся кротом. Да, да, этим толстячком в бархатной шубке. У него масса специфических секретов.

Шефу я обещал выяснить механику ориентировки крота под землей.

Биохимикам — его обменные процессы. А еще цитологи, горняки, фармацевты... О, целая пачка заявок! Итак, я работал.

Я шел полем. Навстречу мне неслись сигналы цветов. И всюду вулканчики кротиных нор, кольцеобразные, похожие на лунные кратеры (круг, шар, выпуклость, кольцеобразность — это стиль природы. Углы, прямоугольники — стиль человека).

Я стал у одного вулканчика — и тот ожил. Я почувствовал подрагивание почвы, услышал шорох и пофыркивание. Это значило, что крот подходит к выходу и сейчас выставит нос, опознавая погоду. Необходимо быть наготове. Мгновение — нос выставился со всеми облепившими его песчинками. Крот фыркнул и спрятался, но я уже вошел в него. Не знаю, как это видится со стороны, я работаю всегда один. Мне так: находит облачко. Оно слепит (но оказывается черным). Затем как бы застревашь в узком темном проходе, нидохнуть, ни вскрикнуть. Это страшно. Затем я уже был кротом и полз в подземном ходу. Я протискивался и тихо урчал от удовольствия, чуя запах личинок. И все время во мне сидело человеческое смешное опасение застрять и задохнуться, потому что я видел всю узость пути — сверху — этих ходов, хотя был слеп, как крот. (Шеф говорит, я-де вхожу в объект частично.) Итак, его глаза, рудименты глаз... Шеф просто ахнет, узнав об их функциях. И это знание очень пригодится изобретателям. (Он взглянул на Таню — она скучала.) А еще я изучал радарный механизм нетопыря Квинка (помните театр?), прослеживал работу инфракрасного зрения змей (и нанес вам первый визит).

— Как интересно, — сказала Таня, думая, отчего он не говорит о своей любви.

— Я считаю это своим счастьем, — сказал ей Сигурд. — Я вырос в семье, где любили животных. Всегда пять-шесть собак, а еще кошки, рыси, куницы, белки, ужи... Когда неудача, несчастье, это зверье очень понимает и утешает.

Понимание животных, лишенных дара внятной речи...

Понимание!.. Я ласкаю свою собаку. Но где, в чем родственны связи наших сердец? Каковы химические истоки этого сродства?.. Взаимодействие электрических полей?.. Нет, нет, я не допытываюсь, я не хочу этого знать. Не хочу!

— Почему? — испугалась Таня.

— А вдруг исчезнет мое особое свойство? Это бывает — спрашиваешь, ищешь — и от твоих усилий познать все исчезает.

...До тебя моя жизнь делилась на неравные части — «до» и «после». «До» — маленькое, всего двадцать восемь лет. «После» — огромное и слепящее, и длится оно 621 день. Это сделала не только машина, но и моя воля — я хотел знать. Хотел проверить и понять собачий талант чутья, мощь сборного мозга муравьев, красоту цветка. Стоя против растения с любым названием, созерцая это чудо природного строительства, я хотел ощутить внешнюю неподвижность и внутреннюю быстроту процесса жизни.

Только проникновение в растение или зверя дает полное знание. Это нужно для моей науки, для дружбы между нашими разобщенными мирами. Войдя в промежуток атомов (ведь они плавают свободно, будто планеты), я живу жизнью клеток, жизнью ферментов — всей чужой жизнью.

Я знаю, со стороны все это выглядит безумной чепухой. Когда я говорил об этом шефу, он называл меня сначала дураком, затем сумасшедшим. Я и был сумасшедшим.

Я верил — мы шли неверной дорогой. Меня сводило с ума сознание, что мы скованы телом. Я перестал ценить человека. Мне он виделся рабом своего тела и изобретенных им механизмов.

А потом пришло это. Как оно пришло? Не знаю.

Знаю! Было желание, волевой взрыв, был новый, особых свойств механизм — его изобрели для иных целей, но он помог мне. Но как?.. В последний наш разговор физики говорили о перераспределении материи в пространстве, что от меня-де остался только алгоритм, формула.

Много было говорено... Итак, крот... Одна моя прогулка в десять метров усилила нашу фармакопею знанием особенных свойств презираемых мелких жуков и червей.

Глубокой ночью шеф проснулся. Ему было душно и тревожно. Давило сердце. Он встал, подошел к окну и высунулся. Жадно, ртом он хватал и глотал воздух.

Шла ночь. С явственным писксом проносились летучие мыши, поднимались на высоту двухсотого этажа.

Что и говорить, воздух здесь хорош.

Вот и удушье исчезло. Но оставалась тревога, переходящая в страх. Шеф стал разбираться в этом неожиданном страхе. Он перебирал одну причину за другой.

Не переел на ночь, хотя жена и напекла к ужину сдобных булочек с корицей. Не был лишен того короткого дневного сна, что помогал ему спокойно спать ночью. С детьми все хорошо — писал сын, а дочь с мужем жили рядом. У них до сих пор светилось окно. Свет падал на ночные клубы мошек, а их голоса тихо доносились до него.

Жена?.. Молодцом.

Артрит?.. Терпим.

Старость?.. Здесь все решено, все перемолото.

Сигурд?.. Вот оно! Все последние бессонницы, все сердечные спазмы, все тревоги рождал именно Сигурд. Где он сейчас? Шеф напрягся, вызывая его. Для этого он вообразил дырочку в своей лобной кости, а из нее струей брызжущую мысль. Он раздул грудь, свел брови.

«Сигурд, Сигурд», — звал он. Ответом было молчание.

«Сигурд, Сигурд...» Молчит.

Сейчас он или вертится в воздухе, или сидит с этой гадкой эгоисткой Таней.

Нет, не Сигурд виноват — та девчонка!.. Нет! Не девчонка — молодость их.

В конце концов, могли бы и подождать с любовями, недолго ему жить осталось.

Никодиму Никодимычу стало так обидно и так горько. «Возьму и умру сейчас», — решил он и всхлипнул.

Жена, услышав, встала и принесла таблетку. Она поставила горчичники ему на грудь, сделала горячую ванну. И так, хлопоча, помогла встретить рассвет.

На травах лежала росная седина — матовая и тусклая. По ней бродили домашние звери. Ходили коровы с выпученными боками, гуляли лошади с длинными белыми гривами.

Таня и Сигурд шли промеж этих лошадей, и те смотрели на них, выворачивая глаза, всхрапывая, мотая головой, стуча боталами.

Тане было хорошо. Она смотрела на переступающие ноги Сигурда (по ее требованию он перерабатывал свою скользящую походку в обычную) и командовала:

— Правой, левой!

Сигурд шел, не приминая трав: лебеду, ромашки, пырей, одуванчики. Одуванчиков было особенно много.

Поэтому молоко здешних коров считалось лечебным, а сияние луга казалось золотым.

— Сигурд,— сказал Таня, оборачиваясь к нему и видя сквозь него проступающий луг. Обрадовалась — Сигурд и внутри солнечный и ясный, весь золотой. Чистое луговое золото было в нем. И ей с ним и надежно и тепло.— Сигурд, ты сегодня особенный,— сказала Таня и повернула к нему сияющее лицо. По нему ходили золотые отблески. Он глядел на нее.

— Что ты, девочка?

— Я могла бы все для тебя сделать. Все, все.

— Спасибо, Таня, я это знаю.

— Глупый, поцелуй меня сейчас же, сейчас, скорее...

Крепче.

Опять щекочущее, электрическое ощущение, от которого хотелось и засмеяться и закричать.словно бы она нюхала большой и лохматый букет, весь в росе, в гудящих пчелах. Нюхала, погружала в него лицо по самые уши.

— Сигурд,— говорила Таня,— Сигурд...

— Что, Таня?.. Что?

— Сигу-у-урд...

Коровы смотрели на них, жуя траву. Ходили две трясогузки, желтая и серая, качали хвостиками. Далеко, на зеленом луговом фоне, полуголый человек с сачком гнался за желтой бабочкой. Бежал словно катился.

Это был охотник — сборщик личной коллекции, один из миллионов нарушителей запретов.

Он махал сачком, но промахивался.

— Лимонница! — закричала Таня.— Хоть бы не поймал, ну споткнулся, что ли. Споткнись! Споткнись! Разбей нос!

Человек не споткнулся. Он догнал бабочку. Махнул сачком — исчезло ее веселое пятнышко.

— Он злой, злой! — быстро говорила Таня.— Он насадит ее на булавку, его надо проучить. Проучи его!

Бабушка пришла на веранду сильно запыхавшейся. Платье ее гремело. Платок упал на плечи.

Бабушка пришла точно к завтраку, но не стала пить крепко заваренный чай, не съела обычного яйца всмятку, хотя его и снесла для нее курица Пеструха, немного похожая на бабушку.

— Кормите детей, и пусть убегут,— велела бабушка и стала громко, порывисто дышать.

Папа склонился на бабушкин нос и вспомнил кучу дел. Он даже перечислил их вслух.

— Сядьте, Борис! — приказала ему бабушка и загремела своим платьем.

По его металлу ползла рыжая муха с синими глазами. В углу сидел и смотрел на все дальнозоркий паук.

— Итак, Марина, что ты скажешь по этому случаю, а? — Бабушка взглянула на Танину маму.

— Он славный мальчик, он мне нравится.

— Я только что с луга, купала ноги в росе. Моему флебиту это помогает лучше гормонов. Я их увидела там и точно знаю — он светится насквозь. Он кисейка!.. Слушайте.

Бабушка вынула из кармана платья свою записнущку и стала читать вслух, отставя ее подальше, на расстояние четкого зрения.

— «19 июля. Подозрительное волнение в Т. По лицу проходят красные токи. Ясно, она влюблена — разузнать.

21 июля. Плохо ест, в глазах мечта, на молодых людей не смотрит. Подозрительно.

24 июля. Голос в комнатке. Посмотрев в отверстие, обнаружила прозрачную личность, влюбленную в Т. Слава богу, она безопасна. Следить».

Папа покашлял и спросил:

— Прозрачную? Это фигурально?

Ему не ответили, а мама всплеснула руками:

— Боже мой, как это чудесно! Он любит ее только душой. Духовная любовь в этом плотском мире.

— Не говори глупости, Марина, — отрезала бабушка.

— А скажите, эта бесплотная личность... он... бросил нашу девочку? — осведомился папа и стал нервно потирать лысину.

— Да что ты! Он ее любит, в этом и зло.

Папа чихнул и вытер нос салфеткой. Забормотал:

— Ничего я теперь не понимаю. Отстал. Духовно, бесплотно... это модно? Простите, мамы, я пойду и выпью валерьянки.

— Ступайте, Борис, и прилягте на половину часа. — Бабушка выдвинула челюсть. — Видите ли, милая моя дочь, я хочу... я поклялась умереть прабабушкой. Да, — говорила она сквозь зубы, — да, ты знаешь, у меня идеальный характер, я все сделаю как надо. Я настаиваю, чтобы эти бесплотники знали свое место и не лезли к девушкам. Я хочу иметь правнуков! Слышите вы, глупая, восторженная и нелепая женщина?..

Бабушка ударила кулаком. Чашки подпрыгнули.

Таня задержала дыхание. Она все увидела — был резкий, безжалостный свет.

На что походило? Да, на их костер в поле.

Она вспомнила откатившийся уголек: он пускал тонкую и долгую струйку дыма. Она тянулась вверх, колеблясь, и где-то там, высоко, рассыпалась на молекулы.

Так случилось и здесь — на цветке тлел уголек, король-бабочка. Махаон.

И к нему вдруг — струйкой дыма — потянулось тепло Сигурда и мягко, беззвучно вошло, исчезло... Таня задержала вскрик, прижав рукой губы.

Бабочка же снялась и полетела.

Тень ее бежала по траве. Таня заметила, что она круглая, и догадалась, что это тень самого солнца.

...Быстрее, быстрее!.. Луг поворачивается вниз. От него идут теплые земляные потоки, подкидывают, толкают (луг косо уходит вниз).

И зелено, зелено кругом, и сигналият цветы. Они зовут. Бабочку звали присесть поздние ромашки, звало «татарское мыло», звали все, отовсюду...

Сигурд поднялся выше, выровнял плоскость крыльев и скользнул над сидящим в тени бабочколовом. Тот вскочил — огромнейшая фигура с жадными глазами. Они — две круглые блестящие стекляшки.

Он рыкнул — прокатился по лугу недолгий гром.

Он вскинул сачок — тот со свистом ушел высоко в небо.

Страх поселился в Сигурде, веселость и страх. Он стал работать крыльями, поднялся высоко, высоко. И спланировал вниз, и уже нетерпеливо, на высоте кустов, полетел к белому платицу Тани.

А позади громко топало и пытело. Сигурд летел тихо, чтобы оно не отстало, не потеряло пыл охоты. И Таня сжалась, когда бабочку смял удар сачка. Он прихлопнул и вдавил ее в промежуток мелких березовых кустиков.

— Есть! — вскрикнул бородач и нагнулся, запустил руку в траву.

— Что вам, собственно, надо, молодой человек?

Из травы поднялся Сигурд в виде небольшого и морщинистого старичка в костюме-тройке. Бородач стал пятиться.

— Простите, — сказал бородач и подтянул штаны. — Простите, что-то с глазами.

— Полежать не дадут, поспать не дадут,— негодовал Сигурд.

— Солнце, знаете, ничего и не видишь.

Бородач отходил, оглядываясь. Погрозил кулаком, повернулся и побежал.

— Почему ты не смеешься? — спросил Сигурд.

Таня молчала. Она щипала травинки и кусала те их части, что были воткнуты в основу стебельков. Они были как салат без сметаны — трава с простым травяным вкусом и запахом. И только.

«Он воздух, он мираж, я его сама придумала».

— Таня, вы расстроены чем-то?..

— Нет, не то... Скажи, если меня оскорбят или... Ты заступишься за меня? Ударишь нахала?

— Чем я его ударю? — спросил Сигурд.— Я дым, клубок молекул, сочетание еще не разведанных свойств материи. Я не могу ни обнять, ни защитить. Я ничто в обычном понимании. Сила моя в этом мире овеществляется в других и другими. Товарищами, машиной, шефом. Ты расстроена?

— Глупости, Сигурд, я прошу прощения.

— Это я должен просить прощения.

Корова подошла и смотрела на них, вздыхая. Нос ее был черный и мокрый. Она лизала его шершавым языком.

— Хочешь, я узнаю, что сейчас чувствует эта коро-ва? — спросил Сигурд.

— Я знаю. Она хочет, чтобы ее подоили,— сказала Таня.— Мне пора домой. Не провожай, я сама...

На веранде гудела из угла в угол оса с золотым животиком. Но, может быть, это просто осовидная хитрая муха.

Хитрая!.. Бабушка пригрозила пальцем и велела про-гнать муху.

— Почему я знаю, что это не твой чудак,— сказала бабушка Тане.— Прилетел и слушает. Проныра!

Таня обиделась.

— Что вы, бабушка, он не такой.

— За себя ручайся, деточка, только за себя, и то здраво подумав. Вот и Пеструха сегодня на меня как-то странно посматривает и яйцо мне не снесла. А снесет, то как его будешь есть? Почему я знаю, может быть, Пеструха — это тоже он.

Таня взяла полотенце и выгнала осу. Пришлось вы-таскивать из угла домашнего паука и сажать его за дверь.

Котенок сидел на полу и смотрел на них большими серыми глазами.

— Убери и его,— требовала бабушка.— Очень у него глаз сообразительный. Наверное, твой...

Таня взяла мягкого котенка под локотки (тот запел) и унесла. Посадила в траву, и серый занялся вылавливанием травяных бабочек.

Таня вернулась и услышала бабушкины слова. Она, вздыхая, говорила маме:

— А попробуй откажи? Как подумаю о нашей кухне, где и окно-то не закрывается и форточку твой благовверный не починил толком, сердце обмирает. Так и обливается кровью, так и обливается. Я сама в детстве, разозлась, сажала мух в бабушкины пироги. Садись, Татьяна! — Бабушка указала на стул.— Садись, слушай и мотай на ус. Ты уже не маленькая, в восемнадцатом веке в твоём возрасте детей имели. Мать тебе ничего доброго не скажет, уж слишком романтична. И все оттого, что я, будучи в интересном положении, читала Карамзина — «История Государства Российского». И всего-то один том! Мы же с тобой, надеюсь, люди трезвые и здравомыслящие.

— Мне кажется, это мое личное дело.

Бабушка выпятила губы.

— Вот так же говорила Марианна, выходя замуж. А ее личное дело (то есть именно ты) стало общим, то есть нашим. Знай, в его семье тоже голову ломают.

— А что я такое особенное делаю?

— Не напускай тумана, моя милая, все это крайне прозрачно. Имей в виду, я поклялась дожидаться своих правнуков и не потерплю, чтобы они были сделаны из желе или воздуха. Я хочу, чтобы они плакали, ели, пачкали пеленки и делали все, что положено делать младенцам.

— Бабушка!

— Я уже двадцать лет бабушка! Да-с!.. А что, по-твоему, получится? Я, моя милая, желаю для тебя мужа, которого я могла бы потрогать и убедиться, что ты и точно замужем.

— Вы подсмотрели, совестно вам!

— Именно, моя милая, подсмотрела. Меня и успокоило, что он просто дым, одна видимость!.. Прозрачник!.. Но как ты думаешь жить с бесплотным человеком? Он вечно будет сидеть в своих цветочках. Он же не от мира сего. Заруби себе на носу, я не хочу газо-

образных внучат. Нет! Нет! Нет! Ты знаешь, у меня идеальный характер, как я сказала, так и будет.

— Я не позволю мешаться!

Бабушка оправила платье и начала смотреть, плотно ли закрываются окна веранды.

Сигурд вышел из котенка. Он — по новой привычке — пошел к себе домой пешком.

— Вот это старуха! — бормотал он и качал головой. — Ай-ай... Но и я хорош, подслушиваю! — Он бормотал и взмахивал руками, удивляясь себе.

— Какое право она имеет так со мной говорить? — бормотала Таня, быстро ходя вокруг клумбы. Но бабушка дала ей и новые мысли. Привязчивые. Да, вот и в клумбе распускаются петунии, говорят своими запахами с Таней. Говорят, как хороша эта жизнь, как сладко прижать к себе ребенка. Она не думала об этом. Или думала?... Надо идти к шефу, надо выяснить все, все, все...

Шеф в кабинете пил свой второй утренний чай (первый он испивал дома). На столе лежали бутерброды. Он поедал их. Уши его шевелились.

— Здравствуйте, Никодим Никодимыч, — сказала она. — Мне бы с вами поговорить. Лично.

— Прощу. — Шеф носом указал ей на кресло и завернул бутерброды в бумагу. После чего икнул и отпил глоток чая. — Вот, — сказал он недовольно, — жидкий чай противен, а от густого сердцебиение.

— Я хочу знать, — начала Таня, — о Сигурде. Он сможет стать обычным или таким и останется? Ну, когда все для вас сделает?

— Сможет, — быстро и как-то ненамеренно ответил шеф. И сразу спохватился, взял в кулак нижнюю часть своего лица. Так и держал энное время, глядя на Таню из-под бровей.

Таня смотрела на его большую руку — волосы на ней седые, веснушки. Но она поразила ее сильной, мускулистой плотью.

Крепкая была рука, вот в чем дело, сделать ли что или наказать, ударить. Отличная мужская рука.

— Как я понимаю, Таня, — осторожно спросил шеф, — вы собираетесь замуж за Сигурда?

— Да, мы это решили.

— Гм, уже и решили. — Шеф поднялся и стал ходить. — Это хорошо и просто необходимо в смысле личном и, понятно, общественном: ячейка, семья и прочее. Но вы думали о том, как человек, переживший

самые яркие приключения в этом мире, согласится с семейной жизнью и ее, так сказать, тихими радостями?

— Он меня любит.

— Предположим. Но что такое любовь для него?.. Он свел вместе свое стремление к доброте, к познанию, к творчеству. Он творит из себя одного за другим. Сегодня, например, он обещал работать с сиамской красномордой лягушкой,— Таня моргнула,— и в два часа продиктует нам. Кстати, это пойдет в подборку его новых статей. Ясно? Это исследование на уровне нуклеиновых структур, проникновение в избранные молекулы живого. Это ослепительно!.. Вы ощущаете простор?.. А что вы дадите ему взамен? Стандартную форму женской любви? Дорогая моя, хотите путевку куда хотите? На сколько хотите?.. На юг? В любое место? Мы включим ваши расходы в рубрику научных командировок. А?.. Ей-ей, оставьте Сигурда, а сами влюбитесь в кого-нибудь менее нужного. Скажем, в Корота. Прошу — оставьте Сигурда его необычной судьбе. Вы разные люди (верьте мне, старику!), и ваша дорога в жизни — не его дорога.

Таня встала. Шеф взял ее обе руки в свои.

— Идите, идите, милая девушка, срывайте цветы радости в другом месте. Сигурд рожден для полного сосредоточения в своем поразительном даре, он вам не простит. И вы его не простите. Он бездарен в обычной жизни, я знаю. А сейчас ступайте домой, я отпускаю. Можете не приходить даже завтра, а вот послезавтра жду. Да!

Таня шла по улице мимо молодых людей, которые могли любить, жениться, могли и заступиться за нее. Они не были дымным облачком, готовым растаять в каждый момент.

Они шли веселые, загорелые.

Можно любить их сильные руки и плечи. Они и обнимут крепко. А если станут многострадальными неудачниками, их страдания, их муки будут вполне понятны ей. У нее тоже руки и пальцы, и она не может проникать в нуклеиновые структуры.

Вот пусть Сигурд станет как все, пусть живет в ее измерении.

Она сделает его отцом. У них будут маленькие Сигурды, будет семья — как у всех — с сегодняшнего дня

и до последнего дня в жизни. Так она ему и скажет. Вот!

Он поднялся навстречу ей со скамьи. Они пошли вместе. Сигурд говорил:

— Таня, милая, я послал к чертям все планы и графики, я провел сегодня утром чудеснейшие часы. Вообрази, я стал мхом. Да, да, обычным мхом на стволе упавшей ели. Я рос медленно и постепенно — микрон в час. Было и другое движение — я выпрямлял стволы, тянулся ими к солнцу (и боялся его).

Существо мое было двойное. Кто-то другой все время был рядом, теснил меня в зелени мха, в просвечивающих стеблях.

Тот, второй, был самоуверенный, живучий гриб. Его мицелии, пронизывающие мое тело, все время шевелились. Я был им.

Был и той зеленой водорослью, что образовывала и окрашивала самое растение и давала ему кислород... Тебе неинтересно?

— Что ты, это замечательно интересно,— сказала Таня и удивилась его догадливости. Удивилась и немного испугалась.

Значит, он видит ее мысли. Но тогда почему, почему не говорит самое нужное?

Или он не хочет жить как все? Как живут мама и папа, как жили бабушка с дедушкой? Она не будет посягать на его работу, она просто прикажет сменить ее. Он собрал факты, их хватит на всю его научную жизнь. Почему он должен быть инструментом шефа и Корота? Зачем спасать глупых кошек? Он напишет книгу, у него будет самое славное в мире имя. И люди станут говорить: «Смотрите, вот идет жена этого замечательного Сигурда». Говорить: «Она поняла и полюбила его». Она должна быть тверда с ним. И тогда им будет хорошо — Сигурду, ей. Они проживут счастливую и долгую жизнь. Чудесную жизнь!

— Мне надо серьезно с тобой поговорить,— сказала Таня.— Обещай мне сделать все, что я попрошу тебя. Обещаешь?

— Таня, милая, конечно...

— Так вот что мы сделаем,— сказала Таня и глотнула воздух.— Вот так — ты станешь человеком как все, и мы с тобой поженимся. Хочешь?

Дыхание ее перехватило. Лицо горело. А кончики ушей онемели, будто ее схватили за них и держали.

— Так мне только это и нужно! — воскликнул Си-

гурд, и праздничное пламя стало наливать его. Розовые блики упали на кусты. Пролетные бабочки-капустницы запорхали над ним.

Сигурд торопился, говорил:

— Я хочу стать как все — и любить и страдать.

— Зачем же страдать? — удивилась Таня. — Это совсем лишнее. Я не хочу страдать.

Он благодарно коснулся ее плеч. Но ее куртка была с пропиткой и не проводила токи. Таня ничего не почувствовала, и даже маленькая лукавинка пришла к ней. Она улыбнулась глазами.

— Погасни, обращают внимание, — велела она. — Шеф мне говорил что-то о машине, чтобы стать как все, — солгала Таня. И прищурилась на Сигурда: скажет он ей правду или нет?

— Шеф лгал, мне не нужна машина. Я знаю, как могу уйти из этого мира. Мне нужно только собрать мои рассыпанные атомы. Пойдем-ка на луг.

«Он открытый... открытый... — думала Таня. — Но откуда он все это знает?»

— Как ты можешь знать? Ты пробовал? Тебе говорили?

— Я чувствую. И еще...

— Что? — быстро спросила Таня и глянула на него блеснувшим глазом.

— Я должен убить кого-нибудь...

— Что, что? Убить?.. Но зачем?.. Сумасшедший... Ну, ну, говори. — Ей было страшно и интересно.

— Убить кого-нибудь. Ну, птицу, или бабочку, или зверя. Войти и убить. Тогда двери, в которые они меня впускают, закроются. Да, здесь двери. Животные рвутся к нам, но не могут пройти, а мне они открыли сияющий проем. Они мудрее, чем мы думаем. Я сейчас что сделаю? Видишь, ласточка? Я полетаю немного, а потом возьму и... ударю ее оземь.

Нет, ласточку жаль, она милая, красивая. Всех, всех их жаль. Вот что, я не был стрижом... Странно, ни разу... Нет, ласточка ближе и знакомей... И все будет кончено. Только быстрее, иначе не смогу. Ты подожди, я сейчас, сейчас приду.

Зеленел луг, поднимался вверх, ткался солнцем из трав и поздних одуванчиков.

Сигурд вошел в это сияние, растворился, скользнул к дальнему краю луга.

...Мне и тяжело и радостно — в одно время. Отчего здесь двойное ощущение, горе и радость?.. Радость? Ликование сейчас вредно, оно помешает. Итак, надо сказать себе: все кончено, не стану подниматься к облакам, жить в птицах, распускаться цветком, рычать добрым зверем.

...Ходят струи цветочных запахов. Тяжелые и сырые остаются внизу, вместе с запахами густых трав. Легкие же поднимаются вверх. Свободны легкие цветочные запахи! Солнце греет их, придает подвижность. Вон оно, сквозь дымку запахом проступает его голубой диск.

...Как все было в самый первый раз, в первое превращение?

Так было — после великолепной, ослепительной боли пришло удивительное ощущение. В нем оказалось множество переходных состояний. Тысячи! Они входят одно в другое, будто древние китайские безделушки, выточенные из слоновой кости... Нет, они были текучи. Тогда-то он и стал текуч и всепроникающ.

О солнце!.. Оно бушует, колеблется, гремит и вскидывает вверх. По нему бегут фиолетовые тени.

Лучи его сильные. Они давят, толкают, гонят. Стриж. Ты великолепен для воздушной акробатики.

А вот сокол-чеглок (и металлический звон его полета). Я не был в тебе, я не знаю тебя, а ты меня. Лети, сокол, гонись за добычей. А вот голубь, сильный дикий голубь.

Я не был тобой, я так и не познал до конца мук погибающей жертвы. Пролетает цапля, важная и огромная, как самолет. Я не был тобой, не был!

Я ничего, ничего не успел.

...Лети, лети, моя ласточка, лети быстрее. Вон дома, желтые хлеба, дороги. Ласточка, шевелит воздух твои перышки. Теперь вверх, еще, еще, еще выше — прямо в облака.

Они холодные и упругие... Ласточка, ласточка, лети стремительнее, меня скоро не будет. Не станет человека, проникшего в ваши тайны. Ласточка, лети, спеши вниз — там я стану прежним.

Ласточка, я убью тебя, потом в тысячах опытов я убью тысячу загадок вашей жизни.

Ласточка, ласточка!.. Я ударюсь тобой о землю, ударюсь и встану с земли человеком, как все. Я люблю ее. Прости, прости меня, ласточка...

Черный вихорок метался в воздухе. Он то уходил вверх, в тяжелые, мокрые тучи, к пронзившему их острию города, то кидался к ногам, и Таня вскрикивала. Ей было страшно.

Вот Сигурд пронесся между высоковольтными проводами, вот кинулся к ней, скользнул над плечом, обвеял крылышками. «Как он может любить меня? Что я дам взамен? А если это мечта, если ошибка? Или он, став простым и обычным, не удержит моей любви?»

Сигурд взлетел и вдруг понесся с щебетом — ниже, ниже, ниже. В землю, косо, направлял он птичье тельце. Сейчас ударится! Сейчас!

— А-а-а-а! — закричала Таня.

Но Сигурд скользнул мимо и вдруг схватил большую муху, все присаживавшуюся на Танино платье. Резкий, металлический щебет оглушил Таню, полыхнул железной синевой, и Сигурд унесся в облака... Исчез...

Мошки жгли ноги и сгущались облачком вокруг глаз. Таня вытерла платком свои щеки, потом и глаза — сухие, обожженные. Горело ее лицо, горели верхние ободочки ушей, плавилось что-то в груди. «Идти, идти отсюда, идти домой, скорее». Пришла. Остановилась у калитки. Стояла долго, не решаясь войти и не веря себе.

Глаза ее все искали ласточку, сердце щемило и жгло.

Таня слышала — за десять домов отсюда Владимир играл на гитаре, терзал инструмент. Пролетали выпущенные им ноты — тяжелые и черные, как грачи.

Таня видела — повяли, обвисли вьюнки и цветные фасоли, затягивавшие все лето калитку и веранду. В тучах, шедших одна за другой из-за крыши их дома, сидела хмурая непогода осени. И по-августовски прохладно. Все, все холодное — травы, стареющие цветы, доски калитки.

Близится осень. Деревья никли ветвями, листья уже падали вниз по одному, долго кружась.

Таня видела — бабушка в пуховой шали, повязанной крест-накрест, пила чай на веранде, сидя рядом с попыливающим самоваром.

— Осень... — шептала Таня. — Наступает осень, за ней придет первый снег, а там и зима. И... снова придет весна, и будет лето другое и другой сон.

Я тоже стану другая, и он вернется ко мне другим.

Север Гансовский Винсент Ван Гог

Нравится, да?.. Ну правильно, конечно. Не просто нравится, а открывает какой-то другой мир, вернее, сдергивает занавес, позволяет увидеть все вокруг свежими глазами. Материя живет, чувствуешь, как в ней кипят атомы и частицы. Предметы, явления раскрывают свою суть, все связывается со всем, начинают просвечивать грани иных измерений. Не правда ли, один из первых живописцев Голландии не уступает тем, старинным, вроде Рубенса или Ван-Дейка. Но все свое, неповторенное. Кажется, как будто он ни у кого не учился, а если и учился, не использовал того, что узнал. Кубисты потом хотели сделать его своим предтечей, предшественником, но Винсент-то Ван Гог, я вам доложу, не отказывался от ответственности за мир. Наоборот, взял его на плечи, понес и пал в конце концов под этой ношей. И все в одиночку... Я с ним, между прочим, был довольно хорошо знаком. Встречался в разные периоды его жизни, нырял к ним, знаете ли, в предпоследнее десятилетие девятнадцатого века из последнего десятилетия нашего, двадцатого. Вся штука началась после того, как прошли эти Законы насчет путешествий во времени, помните?.. Хотя откуда вам помнить, вы этого вообще не знаете. Да вы садитесь, садитесь вот здесь — на этот стул можно, он не музейный. Просто я его приношу с собой, чтоб кто-нибудь мог отдохнуть. Приятно ведь посидеть после того, как набегаешься по залам. Впрочем, вы как раз не из тех посетителей, что высунув язык носятся от фараонов к абстракционистам, за два часа успевают обскакать все мировое искусство, и только для того, чтоб рассказывать после знакомым, что вот, мол, я ничего не пропустил. Слышали, наверное, эти раз-

говорчики: «А «Джоконду» вы видели?..» — «Видел». — «А вы «Купальщиц» Ренуара видели?..» И как только заверят друг друга, что всё видели, говорить больше не о чем, как будто речь шла о прививках. Но на вас я сразу обратил внимание, как вы встали перед «Кипарисами» минут на десять.

...Так о чем мы начали — о путешествиях во времени. Понимаете, когда политические деятели поняли, что прошлое лучше не ворошить, и отступились, в Камеры, во Временные эти Петли хлынул другой народ. Ученые, художники, коммерсанты, вообще черт знает кто. При каждой Камере был, разумеется, учрежден совет, который состоял первоначально из старичков академиков. Врывается к ним какой-нибудь историк, бьет себя в грудь — ему, мол, до зарезу нужно уточнить кое-какие детали битвы при Гавгамелах. Бионик выкрикивает про динозавров, кинорежиссер клянется, что у него задуман фильм на сюжет крестовых походов. Заявлений куча, те, кому отказано, злобствуют, распространяют слухи. Старички побились, побились — открыли, так сказать, ворота. И началось. Публика ринулась во все века и ко всем народам, в самые отдаленные эры, вплоть до каменноугольного периода. Везде суетятся, путаются под ногами, лезут с советами. Запакостили всю историю, житья никому нет. Особенно везде приелся тип всезнайки — бывают такие дурачки, которые, если смотрят в кинотеатре детектив второй раз, никак не могут удержаться, чтоб не испортить окружающим удовольствие, подсказывая, что дальше будет. Приходит, например, в Италию 1455 года к великому Клаудио Мадеруцци этакий самодовольный дуб и сообщает: так, видите ли, и так, умирать вам все равно в нищете. Клаудио, натурально, расстроен, лепить, рисовать бросает. Пошел по кабакам — и на тебе, итальянское Возрождение уже не имеет Мадеруцци, а только одного Леонардо да Винчи, который и в прежнем-то варианте был названным братом Клаудио и с ним вдвоем даже написал несколько картин... При этом не только прошлое стало страдать, а и наш 1995 год, потому что сюда тоже зачистили из более отдаленных будущих. Только начнешь что-нибудь делать, тебе такого наговорят, что руки опускаются. И вот когда всем уже стало неважно, собрались правительства стран, имеющих Временную Петлю, установили связь с путешественниками из других будущих веков и вынесли решение,

чтоб все эти номера прекратить. Хочешь смотреть прошлое — смотри, но не вмешивайся. Издали Всемирный Закон об Охране Прошлого — пускать только таких, кто, хоть умри, не признается, что он из будущего и тем более мешать никому не станет. Все эту конвенцию подписали, а перед тем как разъехаться сдернули еще некоторые самые вопиющие завитки. Восстановили, например, Колумба, потому что был уже такой вариант, когда совсем не Колумб открыл Америку. К нему тоже, знаете, явился какой-то болван и с планом в руках доказал, что, следуя через Атлантику на запад, в Индию тот не попадет. «Ах, не попаду,— говорит тогда Колумб,— ну и пусть, не стану мучиться». В результате Америка так и осталась, а открыли ее только еще через сто пятьдесят лет, когда просто стыдно было не открыть...

Что вы сказали — «Будущее уже существует»?.. Да, естественно, существует. Вместе со всей суммой времен от первого мига в бесконечность. И прошлое и будущее — все существует одновременно, и при этом каждое мгновение меняется. Как раз поэтому у нас нет настоящего, которое было бы статикой, неподвижностью. Верно же, нету? Куда ни посмотришь, все либо уже прошлое, либо еще будущее... Впрочем, это философские вопросы, в которые я забираться не стану. Вернемся к тому, с чего мы начали, то есть к Винсенту Ван Гогу. Если хотите знать, только благодаря мне вы и можете видеть тут в Лувре его произведения. Не пожалей я в свое время этих картин...

Короче говоря, с 1995 года эти поездки поставили под строжайший контроль. Каждый кандидат проходит двадцать всевозможных комиссий, представляет характеристики о нравственной устойчивости, начиная чуть ли не с яслей. Да еще докажи, что действительно надо, продемонстрируй, как будет достигнута полная незатронутость. В Лондоне, например, целый год готовились, чтобы сделать коротенький телефильм о Генрихе VIII, и им разрешили снять с воздуха пир рыцарей, только когда было доказано, что эти аристократы никогда не смотрели вверх, в небо — бывают ведь такие люди, что с определенного возраста всю остальную жизнь уже никогда не поднимают голову, чтобы глянуть на облака, синеву или звезды. А когда, скажем, снимали лагерь Спартака в 73 году до нашей эры, оператор замаскировался на самой вершине Везувия, работал че-

рез сильный телеобъектив, и было условлено, что, если к его тайнику кто-нибудь подойдет ближе чем на полкилометра, он, чтобы скрыть следы, бросится в кратер вместе со всей своей аппаратурой. Таких, в общем, наставили рогаatok, что пробиться никто не мог, и эти Временные Петли чуть ли не постоянно бездействовали.

Но, как вы знаете, закон на то и закон, чтоб его обходить. Свои подписи на торжественном документе поставили полномочные представители нескольких государств, но отнюдь не всякие там сторожа, техники и мелкие администраторы, работавшие при этих Камерах. Одним из таких техников оказался в 1996 году некий мой знакомый с детства. Подчеркиваю, именно знакомый, а не друг — друзей я в ту пору вообще не заводил, потому что и один себя прекрасно чувствовал. Все мое было при мне. Два метра роста, широкие плечи, острый взгляд и быстрая реакция. Мне тогда как раз исполнилось двадцать пять, я уже успел с переулка, где родился, перебраться в собственный двухэтажный коттедж на Третьем Слое тут, в Париже. А Третий Слой, как вы сами понимаете... Хотя сейчас его еще нету... В небо я с младенчества не смотрел, находя на земле все, что мне нравится. И вот однажды под осень попадается мне возле ипподрома этот Кабюс и сообщает, что работает при Временной Петле. Глаза у меня сразу загорелись, спрашиваю, неужели все-таки кто-нибудь ездит потихонечку в прошлое. Он отвечает, что ездят, почему бы не ездить, если с умом, но требуется большая затрата энергии, которую, чтоб в Институте ничего не заметили, нужно покупать где-то на стороне и перекачивать. Я выражаю согласие вложить капитал, и мы задумываемся, что же, собственно, привезти из прошлого. Золото или там драгоценные камни отпадают, поскольку и то и другое изготавливается синтетически. Остаются произведения искусства и, в частности, произведения выдающихся художников. Начинаю наводить справки и узнаю, что один из самых ценимых живописцев минувшего столетия — Ван Гог. Иду в Национальную библиотеку, поднимаю материал и убеждаюсь, что нескольких лет не хватило бы, чтоб прочесть все о нем. Винсент Виллем Ван Гог родился в 1853 году, то есть почти за полтора века до нашего времени. Любил и был отвергнут. Отдался искусству, живя в нищете, написал около семисот картин. Измученный бедностью и непризнанием, сошел с ума

и в возрасте тридцати семи лет покончил самоубийством, выстрелив себе в грудь. Слава пришла к нему только после смерти, когда была опубликована его переписка с братом Теодором и другими людьми... Ну что же, все это мне очень нравится — типичная биография для гения, лучшего и желать нельзя. Для последней проверки отправляюсь в большой художественный магазин в Париже на бульваре Сен-Мари. Останавливаю первого попавшего сотрудника и говорю, что хотел бы предложить подлинник Ван Гога. В зале сразу воцаряется тишина.

— Ван Гога?.. Подлинник?

— Да, именно.

Посетители смотрят на меня. Продавец просит обождать, уходит, возвращается и предлагает пройти к владельцу салона. Поднимаюсь на антресоли. В маленьком кабинете все стены заставлены книжными шкафами, напротив окна в тонкой медной рамочке репродукция «Подсолнухов» Ван Гога. Лысый элегантный господин здоровается, ставит на стол чашечку кофе. Он взволнован, но старается этого не показать. Спрашивает, что у меня есть. Говорю, что рисунок. «Какой именно?» Да так, отвечаю, мелочь — пастух с овцами. Господин нажимает кнопку звонка, в кабинет входит согнутый старик с седыми усами, как две сабли, — этакая искусствоведческая крыса. Владелец салона вводит его в суть разговора, старикан выпрямляется, усы вскакивают торчком. Какой пастух — палку он держит в правой или левой руке? Что за местность кругом — деревья или голое поле? Темное ли небо, и есть ли на заднем плане башня? Вижу, что передо мной их главный специалист по Ван Гогу. Отвечаю наобум, что пастух вообще без палки, нет ни поля, ни деревьев, и небо не темное, не светлое, а серое, с белой дыркой посредине. Старик закусывает губу, нахмуривается, а затем начинает шпарить как по-писаному: дрентский период, рисунок задуман тогда-то, сделан тогда-то, упоминания о нем есть в таких-то и таких-то письмах. Развертывается, одним словом, целая лекция. Мне все это не интересно, я затыкаю фонтан, напрямую спрашиваю, сколько можно за такую вещь получить. Элегантный господин думает, затем осторожно говорит, что средне сохранившийся рисунок Ван Гога идет, мол, сейчас по одной, а хорошо сохранившийся — по две тысячи ЕОЭнов — при условии проверки на молекулярном

уровне. Чтоб было понятно, скажу, что, располагая в 1996 году сотней, например, тысяч Единиц Организованной Энергии, вы могли воздвигнуть себе небольшой индивидуальный остров в Средиземном море — даже в глубоком месте насыпать соответствующее количество земли, насадить парк, построить дом и провести дороги... Очень хорошо, очень приятно. На этом я удаляюсь, рассказываю все Кабюсу, и мы решаем, что если такое дело, надо брать из прошлого побольше. Я предлагаю спуститься в Париж столетней давности, то есть в 1895 год, когда художник уже умер и его картины, пока еще ничего не стоящие, хранятся у вдовы брата Иоганны, которая впоследствии издала переписку Ван Гога.

Начинаем готовиться. Кабюс берет у меня пятнадцать тысяч ЕОЭнов и добавляет пять своих. Я приобретаю у нумизматов деньги той эпохи. Заказываю себе костюм — мешковатые длинные брюки в полоску, пиджак без плеч, черный цилиндр с мягкими изгибающимися полями. На шее тогда, между прочим, носили не галстук, а этакую темную ленточку. Все довольно неудобное, ощущаешь себя чучелом, но раз надо, то надо. Проходит две недели, приготовления закончены, погожим вечером мы отправляемся в Институт на Клиши. Сонному охраннику Кабюс объясняет, что я приглашенный на ночь хроноспециалист. Коридоры, повороты, коридоры, нигде ни души. Кабюс открывает своим ключом дверь во Временную Камеру. Техника была такая: указатель ставится на нужный год, месяц, число и час. Затем включение на полсекунды, чтоб бросить взгляд вокруг, еще одно на две секунды для более детального осмотра и окончательный перенос. Эти предварительные включения начали практиковать после того как одного знаменитого палеонтолога материализовали за сто тысяч лет назад в каменный век прямо перед разинутой пастью пещерного льва.

У меня все прошло нормально. Оглянулся один раз, огляделся другой, и вот я уже в Париже 10 мая 1895 года в полдень воскресенья.

Забавная, скажу вам, штука — попадать в чужое время. Первое, что всегда поражает, — тишина. Если взять город моей современности или, к примеру, вот этой, 1970 года, то, несмотря на борьбу с шумом, дай бог услышать, что в двух шагах от тебя делается. У нас ближние звуки забивают все дальние. А тут

явственно раздавались не только шаги прохожего неподалеку, но стук кареты за углом и даже слабенький звоночек конки квартала за три. Ну потом, конечно, отсутствие автомобилей, чистое небо, свежий воздух, из-за чего создавалось впечатление, будто все обитатели этого мира прохлаждаются на курорте. И какая-то претенциозность в людях. Каждый шествовал по улице со своим выражением на физиономии, причем явно насильственным. Женщина в черном платье до пят старалась показать, что она воплощенная скромность. У толстяка с золотой цепочкой через жилет значилось на лице, что он человек чрезвычайно порядочный, а у разносчика, тащившего большую картонку из магазина, — что отменно трудолюбивый. Любой прохожий как бы содержал в себе двоих — одного, которым был в действительности, и второго, каким хотел казаться. Мне в этой связи пришло в голову, что прогресс человечества — это, кроме всего прочего, движение ко все большей естественности и непринужденности.

Возник я тут же на старом бульваре Клиши — собственно, на том месте, где была Камера. Ну и побрел — приличный молодой человек, хорошо одетый, с тростью и большим саквояжем. Должен признаться, что меня одолевала странная, сумасшедшая радость. С трудом сдерживался, чтоб не выкинуть какую-нибудь штуку — разбить, скажем, стекло в витрине, перевернуть карету или дернуть за нос разряженного щеголя, важно шествующего навстречу. Мой рост по сравнению с другими прохожими делал меня просто гигантом, я чувствовал, что при любой выходке могу остаться безнаказанным. Тут ведь не слыхали о том, что стометровку можно пробегать за восемь и пять десятых, а в длину прыгать на девять и восемь. Меня б не догнал ни пеший, ни конный, а дойди до драки, я бы раскидал, пользуясь современными приемами бокса и самбо, любое количество полицейских. Вообще мог стать королем подпольного ночного Парижа, где не было радиопередатчиков, мотоциклов, дактилоскопии, подслушивающей аппаратуры, электронных сторожей и всех других будущих средств обнаружения и поимки преступника. С моей точки зрения, окружающие были маленькими и слабыми. Я их презирал и жалел одновременно.

Посмеиваясь про себя, прошагал одной улочкой, другой, миновал небольшое кладбище, подъехал одну

остановку конкой, в которую еле втиснулся, плутал некоторое время в переулках и добрался до номера восемь по улице Донасьон.

Домик, крылечко, садик, клумбочки с цветами — все маленькое, игрушечное, дробное, не такое, как в нашем или в вашем времени. Дергаю ручку проволочного устройства со звоночком — тишина, только пчелы колдуют над желтыми лилиями. Дергаю снова — внутри в домике какое-то шевеление, но дверь не открывается. Рву эту проволоку третий раз, и на крыльцо наконец выходит женщина средних лет — глаза чуть навывкате, выражение лица испуганное. За ней старушка-служанка. Здравуюсь через забор и объясняю, что я иностранец, слышал о произведениях Винсента Ван Гога, которые здесь хранятся, хотел бы их посмотреть.

Хозяйка, эта самая Иоганна, несколько успокаивается. Старушонка отворяет калитку, поднимаюсь на крыльцо. Дом состоит из трех комнаток. В первой что-то вроде гостиной, вторая вся завалена папками и бумагами, третья, как я догадываюсь, служит спальней для мадам и для служанки. Обстановочка в целом бедная. Хозяйка спрашивает, от кого я слышал о картинах Винсента, я называю какие-то вычитанные в справочниках и монографиях имена. Она удовлетворена, на лице появляются оживление и даже сдержанная, скромная радость. Ведет меня на второй этаж в мезонин, или, вернее сказать, на чердак. Темновато, тесно, и здесь на грубых стеллажах расположены работы Винсента Ван Гога.

Подлинники.

Берусь их просматривать, и вдруг мною овладевает глубокое недоумение. Почему он считается великим художником? В чем его гениальность? За что любители живописи готовы будут отдавать огромные деньги?.. Понимаете, когда я смотрел репродукции в роскошно изданных альбомах и читал всевозможные славословия, это было одно. Но теперь картины передо мной на чердаке, у меня есть возможность увидеть их напрямую, а не через облагораживающую призму времени, и становится ясно, отчего ему удалось за всю жизнь продать только одно-единственное произведение. На пейзажах деревья двумя-тремя мазками, дома грубыми пятнами. Если он делает, например, огород, то не разберешь, что там посажено — капуста или салат. Нигде нет отделки, этакой, знаете, старательности, повсюду

1
поспешность, торопливость, небрежность. Впечатление, будто все, что он видел, ему хотелось огрубить, исказить, искорежить. Я начинаю догадываться, что слава большинства знаменитых художников, а может быть и поэтов,— не столько их заслуга, сколько результат шумихи, которую позже поднимают всякие критики и искусствоведы. Попадись вам в руки пьеса Шекспира, поэма Пушкина или гравюра Дюрера, но при условии, что вы слыхом не слыхивали ни об одном из трех, первое и второе показались бы вам выспренними, а третье просто скучным. Каждому из нас с детства попросту вколачивают в голову, что, скажем, Шекспир и Микеланджело — это гении, а без такого вколачивания мы бы их ни читать, ни смотреть не стали... Все это проносится у меня в мыслях, но вида я, естественно, не подаю и говорю себе, что мое дело маленькое, раз за Ван Гога будут платить такие ЕОЭны.

Повертел в руках одну вещь, вторую, обращаюсь к хозяйке дома — служанка торчит здесь же в дверях — и говорю, что могу купить если не всё, то хотя бы главное. Холстов этак двести. Иоганна Ван Гог поднимает на меня свои бледные глаза: «Купить?» Да, именно купить и заплатить наличными любую цену, которую она назначит. При этих словах вынимаю из кармана пачку тысячефранковых билетов, разворачивая их веером. И что же я получаю в ответ? Представьте себе, что глаза выкатываются еще больше, увядшая дама склоняет голову и тихим, но твердым голосом сообщает мне, что картины непродажные. Она, видите ли, уверена, что брат ее покойного мужа Винсент Ван Гог сделал очень много для искусства, в будущем должен принадлежать человечеству, и поэтому она не считает себя вправе продать его произведения частному лицу. Она намерена издать его переписку — та самая комната, заваленная бумагами, — и надеется, что после этого люди поймут, каким прекрасным человеком и гениальным художником Винсент был. Продать она ничего не может, но, поскольку мне нравятся его вещи, она готова подарить несколько рисунков и одну-две картины из тех, которые написаны в нескольких вариантах. Улавливаете, какая психологическая установка — продать нельзя, а подарить можно! Типичный старомодный девятнадцатый век!

Я выслушиваю все это вежливо, притворяюсь, будто обиделся, и говорю, что либо все, либо ничего.

Штука-то в том, что мной был учтен и этот вариант. Ведь я, вооруженный достижениями нашей науки, был почти всемогущ по сравнению с жителями конца прошлого века — что-то вроде зрячего в стране слепых. За день до отъезда я заглянул к знакомому аптекарю и выудил у него особый пузырек, который в нашей эпохе употреблялся для перевода диких зверей из одного заповедника в другой. Вы надавливаете кнопку, задерживая при этом дыхание секунд на сорок, а все живое в тридцатиметровом радиусе погружается в глубокий сон. Пожимаю плечами, сую деньги в карман и нащупываю там пузырек. Обе женщины тотчас начинают зевать, тереть глаза и через полминуты опускаются прямо там, где стояли. Я же извлекаю из саквояжа второй, поменьше, и неторопливо принимаюсь отбирать картины. Помню, что взял «Башню Ньюэнен», «Подсолнухи», «Кафе в Арле», «Прогулку заключенных», само собой разумеется, «Сеятеля» — около двух сотен холстов и картонов, которые, на мое счастье, лежали тут прямо без рам. Заглянул еще в комнату на втором этаже и прихватил две папки с письмами из того десятка, что там лежали на столе. Набил, короче говоря, до отказа обе свои емкости, вышел, нанял карету и спокойно доехал на бульвар Клиши. С Кабюсом мы договорились, что он выдернет меня через сутки, для чего мне следовало быть в назначенное время на том же самом месте, где я материализовался. Переночевал в маленьком отеле, к полудню вышел на улицу, поднял повыше оба саквояжа. Секунды бегут на ручных часах, мгновенное небытие (нулевое состояние), и я уже во Временной Камере, в Институте нашего века, а все, что только сейчас происходило, откатывается в глубокое прошлое, на сто лет назад. Поворачивается ключ в замке, передо мной лисья мордочка Кабюса. Тотчас замечаю, что мой приятель несколько переменился. Стал чуть поменьше ростом и еще длиннее, чем раньше.

Он оглядывает саквояжи.

— Привез?

— Привез. Почти что весь Ван Гог целиком.

— Что за Ван Гог? Мы же договаривались насчет Паризо.

— Какой Паризо?

Мы, одним словом, не можем друг друга понять. Но спорить некогда, надо выносить саквояжи из Инсти-

тута. Благополучно минуем охрану. Кабюса я завез домой, сам еле дождался утра, беру несколько холстов и мчусь в тот художественный салон. Поднимаюсь сразу наверх и говорю лысому владельцу, что могу предложить Ван Гога. Тот поднимает брови.

— А кто это такой?

— Как кто? Да вот у вас репродукция его «Подсолнухов».

Сам при этом смотрю и вижу, что в медной рамочке уже совсем другая вещь.

Хозяин салона нажимает кнопку, появляется старикан с усами. Хозяин спрашивает, знает ли он Ван Гога. Старикан заводит взор к потолку, мнетя, пожимает плечами, думает. Да, действительно был в прошлом веке такой малозначительный художник. О нем есть упоминание в одном из писем Паризо.

Элегантный владелец салона смотрит на меня.

— Послушайте, вы же у нас были две недели назад и обещали принести подлинный рисунок Паризо.

— Я?.. Паризо?..

— Ну конечно. «Качающиеся фонари в порту», — рисунок, о котором Паризо писал Браку. Та вещь, которой недостает в «Марсельской серии».

Бегу в библиотеку, принимаюсь листать справочники по искусству. Нигде даже упоминания о Ван Гоге, ни единой строчки, но зато повсюду красуется Паризо.

Думаю, вы уже догадались, в чем дело. С нами сыграл шутку этот самый «эффект Временной Петли», о котором мы с Кабюсом и представления не имели. Понимаете, что получилось с этими Петлями. Первыми возможность путешествовать по времени открыли французы в 1994 году. Потом последовали Советский Союз, Канада, совместный итало-американский проект и так далее. Знаете, как бывает — наука подошла к определенному барьеру, топчутся-топчутся, а затем начинают брать все подряд. В разных местах построили шесть Петель, откуда можно было прыгать в прошлое. Американцы, правда, свою Петлю поместили в Риме — рассудили, что собственной истории у них небогато. Одни только свирепые индейцы, которые при случае могут и скальп снять. Тут же выяснилось, что прошлое влияет на настоящее, и этим, как положено, сразу воспользовались политики. Прикинули, что у каждого неприятного современного происшествия есть корни во вчерашнем дне, и, если корни подрезать, не будет и са-

мого происшествия. Вот, допустим, скандал на конференции в ООН. Ирландский дипломат О'Брайен поссорился с английским делегатом лордом Фитц-Пруксом, которого всегда недолюбливал. Сцепились, слово за слово, конференция сорвана. Казалось бы, ситуацию легко исправить. Необходимо, чтобы сотрудник мининдела Англии прыгнул на две недельки назад во времени, слетал в Дублин и от имени генерального секретаря ООН попросил ирландское правительство послать на предполагаемую конференцию не О'Брайена, а кого-нибудь другого. Так оно и делается, конференция проходит без сучка без задоринки. Это я сейчас говорю о случаях сравнительно несущественных, но влиять можно на вещи куда более масштабные. В конце концов, за какое историческое событие ни возьмись, всегда можно найти момент в прошлом, когда еще можно было пустить события по другому руслу. Вспомнить хотя бы войну между Бразилией и Аргентиной в 1969 году. Бразильцы на заставе в глуши возле Игуасу праздновали день рожденья какого-то там капрала. Заложили за воротник, начали салютовать из автоматов. На другой стороне подумали, что их обстреливают, дали ответный огонь. Бразильцы спьяну бросаются вперед, завязывается схватка — народ-то, знаете, горячий эти латиноамериканцы, питаются чуть ли не одним перцем. Бразилия захватывает три километра аргентинской территории, натывается на летний лагерь танкистов. Те тоже рады случаю размяться, наносят контрудар и вторгаются к соседям на сорок километров. Срочное заседание Президентского совета Бразилии, внеочередная сессия аргентинского Народного собрания. Пока в Женеве раскачиваются и создают комиссию, бразильские «боинги» совершают налет на Буэнос-Айрес, а аргентинский воздушный флот сыплет бомбы на Рио-де-Жанейро. Обе столицы в пожарах, на улицах трупы и скрученные трамвайные рельсы. Франция вступает за Бразилию, США автоматически принимаются интриговать за Аргентину. Конфликт принимает глобальный характер, а началось-то с пустяков. Для нашего 1995 года все это было уже глубокой историей, но только что построили эти Временные Петли и подумали: отчего бы не облегчить людям жизнь там, в прошлом? Отрядили специального человека еще на двадцать лет назад раньше, то есть в 1949 год. Он приезжает в Рио-де-Жанейро, разыскивает будущую мать злополучного

капрала — ее зовут Эстрелья, она с будущим отцом еще не знакома. Посланец нашего времени берет девушку из кафе, где она моет посуду, и устраивает стюардессой на авиалинию Рио-де-Жанейро — Осло. В норвежском порту красавица бразильянка заходит в буфет, ей на ногу наступает неуклюжий белобрысый таможенник Гануссон. Любовь с первого взгляда, домик в Арендаль-фьорде, пятеро детишек, все безумно счастливы.

Что вы сказали? «Не было никакой войны между Аргентиной и Бразилией в прошлом году...» Ну естественно, не было — я же вам объясняю почему. Просто не родился тот капрал, а раз так, не праздновали дня рождения со всеми вытекающими последствиями. Осуществился другой альтернативный вариант будущего. Сначала был тот, с войной, а когда слазили назад и переделали, реальностью стал другой. С этими вариантами очень интересно. Понимаете, любое изменение в прошлом вызывает новую последовательность событий, и сеть изменений тотчас распространяется по всей линии времени вплоть до момента, с которого вы совершали прыжок в прошлое. Вся история мгновенно в нулевое время перестраивается, а людям кажется, что всегда так и было. Вот это, кстати, самое главное. Именно людям кажется, но не человеку, который сам путешествовал и помнит прежнюю ситуацию. Вот вы, предположим, отправились в девятнадцатый век, пробыли там неделю, — это, между прочим, означает, что вас неделю в современности не было, — возвращаетесь и видите, что ваш приятель ссутулился, как рыболовный крючок. Вам-то ясно, что это одно из непредсказуемых последствий того, что вы наколбасили там, в прошлом, — до вашего отъезда приятель славился своей осанкой на всю улицу. Теперь кое-что переменилось, но вы помалкиваете, а приятель вас ни в чем не винит, поскольку в новой последовательности событий так и родился, привык к своей сутулости и не мыслит себя иначе. Вместе с тем и на вас, выбравшегося из Временной Петли, окружающие глядят с легким недоумением. Ведь изменения коснулись и вашей прежней личности, той, что входила в Петлю, а вышли-то вы из Камеры, сохранив свой изначальный, первовариантный вид. В результате родным и знакомым приходится заново привыкать к вам, да и сами вы вынуждены осваиваться со своей новой биографией...

«Не так уж приятно...» Так в том-то и дело. Это сперва политическим деятелям все казалось простым, но позже они поняли сложность. Возьмем тот же случай с ирландцем и лордом Фитц-Пруксом. Посланец английского мининдела обо всем договорился, а когда он через три дня выныривает из Временной Петли, новый вариант уже свершился, а о том, неудачном, никто и знать не знает. Наш герой лезет всем на глаза и старается доказать, что удачная конференция (уже завершившаяся, ибо он выехал *после* нее и еще позже вернулся) его заслуга. «Понимаете,— мямлит он,— будь это О'Брайен, получилось бы иначе». Однако в ответ все пожимают плечами: «А какой дурак хотел послать О'Брайена? Разве такие предложения были?» Другими словами, ситуация уже перевернулась и представляется людям вполне естественной.

Между тем для нашего путешественника выпало из современности два дня, он потерял ориентировку, готовится новое международное совещание, но его забыли внести в список делегатов. То же самое и с войной 1969 года. Некто ездил в прошлое, хлопотал там, а когда вернулся, вся история с пограничным инцидентом, вызвавшим всемирный конфликт, любому здравомыслящему человеку представляется совершенно невероятной. «Какой капрал? — толкуют нашему страдальцу.— Никакого капрала не было, и вообще эта граница всегда славилась превосходными отношениями».

В результате таких вот номеров политические деятели поняли, что всякий вмешивающийся в прошлое обязательно попадает впросак. Они отдали тогда простым гражданам возможность путешествовать в другие века, а потом уже началась та заваруха, после которой прошел Закон об Охране Прошлого. Но теперь представьте себе, что *мы-то об этом не знали*, как и подавляющее большинство населения Земли. Планета жила себе и жила, варианты сменялись, а человечеству всякий раз казалось, что всегда так и было. Ведь не расскажи я сейчас об этом, вам и в голову бы не пришло, что существовал вариант с войной между Аргентиной и Бразилией. Тут особенность как раз в том, что лишь той личности, которая путешествовала, известно, какой была ситуация раньше. Вот что лично я знал к этому моменту о Временных Петлях? Ну, читал, естественно, в газетах, что они созданы, видел по телевизору несколько коротеньких, из-за угла снятых

фильмов — «Пир Генриха VIII», «Лагерь Спартака» и в таком духе. Ходили слухи, что несколько человек вообще пропали, отправившись в прошлое, как тот знаменитый палеонтолог. И все! Будь мы с Кабюсом поумнее, нам следовало бы прикинуть, что, если я извлеку из прошлого какие-то картины Ван Гога, они соответственно исчезнут в нашем настоящем из музеев и частных собраний. Но мы даже как-то и не задумались — ему двадцать девять лет, мне еще на четыре года меньше. Ажиотаж, воспаленное воображение, чудятся миллионы и даже миллиарды ЕОЭнов.

А последовательность событий в результате моей дурацкой эскапады получилась такая. Я, можно сказать, изъял Ван Гога из обращения. Унес основной фонд его картин, да еще прихватил значительную часть писем. Поэтому вдова брата не смогла ничего издать, и Винсент Ван Гог практически вычеркнулся из истории искусства. Позже, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, возник другой талант примерно того же направления — Паризо. Когда изменения по сети времен дошли до нашей эпохи, родился я, встретился с Кабюсом, стал наводить справки о живописцах, узнал о Вальтере Паризо и именно его захотел вынести из прошлого. Поэтому Кабюс, когда я вышел ночью из Временной Петли, и сказал, что речь у нас шла о Паризо.

Но что же в итоге? На руках у меня два саквояжа с картинами Ван Гога, но я же и являюсь единственным во всей вселенной существом, которое знает, что такой художник вообще есть. Подумал я, подумал и решил сдернуть завиток. Истраченных на создание излишка ЕОЭнов это не возвращало...

«Сдернуть завиток»... Ах да! Я же вам не объяснил. Дело в том, что сразу после создания Временных Камер выявилась возможность исправлять наиболее неудачные шаги. Этот маневр называли «снять Петлю», или попроще — «сдернуть завиток». Допустим, вы побывали в пятнадцатом веке либо в пятом, а, вынырнув в двадцатом, убеждаетесь, что последствия вашего путешествия выглядят уж слишком непривычно. Тогда надо влезть еще раз в Камеру, повторно поставить указатель на тот же момент и тут же шагнуть обратно, не предпринимая ничего. В этом случае все возвращается на свои места, будто вы и не путешество-

вали. Правда, указатель никогда не встает точно, и поэтому разные мелкие изменения все же могут прорываться...

Что?.. Колумб?.. «Как узнали, что в основном варианте был Колумб?» Да просто потому, что не один тот болван находился в это время в прошлом, а еще довольно много народу. Их не затронули изменения, они, когда повозвращались, и подняли скандал. Вообще, конечно, не все удалось восстановить в прежнем виде. Очень может быть, что тот вариант прошлого, результатом которого мы сами являемся, вовсе не первоначальный. Про Клаудио Мадеруцци я вам уже рассказывал. Беда в том, что в таких случаях нужно посылать *того же человека* в тот же момент. Но тот олух, который предсказал Мадеруцци его печальный конец, погиб на третий день после возвращения в нашу эпоху. Поехал развлекаться в Египет и там на персональном самолете врезался в пирамиду Хеопса — западную сторону потом несколько дней отскребали от гари, образовавшейся при взрыве. Думаю, что Клаудио скорее всего не одинок в своем несчастье. Наверняка таким же образом для нас пропало еще много художников, ученых, изобретателей. Но зато, пожалуй, появилось и много новых.

Вернемся, однако, к Ван Гогу, то есть к нам. Проникли мы опять ночью в Институт — оба саквояжа я принес с собой — и сдернули Петлю. Наутро я опять побежал в библиотеку и убедился, что все в порядке. Ван Гог восстановился, каждая энциклопедия уделяет ему не меньше полстраницы, статей и даже монографий просто не сосчитать. А беднягу Паризо как корова языком слизнула. Посоветовался с Кабюсом и пришел к выводу, что не надо гоняться сразу за всем, а лучше привезти одну, но достаточно ценную вещь. Остановился на «Едоках картофеля», которая в нашем времени оценивалась в целых двести тысяч. Ход моих рассуждений был таков. Я спускаюсь в прошлое, приобретаю у художника первую из его крупных картин, и об этом он, несомненно, сообщит брату как о замечательном успехе. В нашей современности произведение, само собой разумеется, мгновенно исчезнет не только из галереи, где сейчас находится, но и из всех альбомов и книг с репродукциями. Однако в истории искусства оно останется как утраченное. Его будут упоминать все исследователи, сожалеть, что оно было кем-то куплено и с той

поры пропало. Я же, вернувшись в наш век, сочиню сказку, будто нашел «Едоков» на старом чердаке в доме дальних родственников.

Кабюс возражать не стал, он взял у меня еще пятнадцать тысяч, сложил их со своими, чтобы в течение ближайших недель создать избыток в энергетическом резервуаре Института, а я уселся поплотнее за изучение материала. Приобрел одно из последних изданий «Писем Ван Гога». Книга была издана роскошно, но, как позднее выяснилось, с опечатками. Так или иначе, я убедился, что с «Едоками картофеля» все должно кончиться хорошо. В своих посланиях к брату и к художнику Раппарду Винсент очень подробно рассказывает о замысле, об эскизах, о начале работы и об ее конце. «Едокам» он придавал большое значение, несколько раз возвращался к этой теме в дальнейшей переписке.

По книге получалось, что он закончил вещь в марте 1883 года, а шестого апреля послал ее Теодору в Париж. Значит, мне нужно было явиться к нему числа третьего или четвертого, чтобы застать картину высушенной и транспортабельной.

В жизни художника это был один из наиболее тяжелых периодов. За плечами Ван Гога осталось уже тридцать лет прожитой жизни, за которые он ничего не добился. У него, вполне взрослого мужчины, нет ни семьи, ни женщины, ни друзей, ни своего угла и вообще никакой собственности. Он пробовал стать продавцом в художественном магазине, но его выгнали, пытался сделаться священником, но католический капитул маленького шахтерского городка Боринаж пришел в ужас, услышав его проповеди. Девушка, его первая любовь, переехала в другой город, как только он признался ей. Общество клеймило его в качестве ничтожества и неудачника. Он и в самом деле не в состоянии был приспособиться к миру, в котором жил, не умел даже заработать себе на пропитание. Какая-то шизофреническая правдивость, соединенная с гневным, неуживчивым характером, приводила его к катастрофе, за что бы он ни брался. Родные стыдились его, старались держать подальше от себя. Он скитался из одного конца Голландии в другой, оборванный, голодный, существуя на жалкие гроши, которые могли присылать ему брат и презиравший его отец. 1883 год застает Ван Гога в маленьком местечке Хогевен на севере страны, где он

решает полностью отдаться искусству и научиться писать. Но у него нет школы, никто ему ничего не показывал, он вынужден создавать свою технику и свою теорию. В письмах к Теодору он, подавляя свою гордость, просит оказать ему хоть чуть-чуть доверия, дать хотя бы капельку теплоты. Он выкраивает на краски и бумагу из тех сумм, что брат посылает ему на хлеб. Но при этом же он нередко становится в позу судьи и посвящает целые страницы суровой критике современной ему живописи.

Честно говоря, я увлекся этими письмами, что-то в них звучало суровое и величественное. Хотелось даже скорее увидеть самого художника.

Материализовался в 1883 год я опять в Париже, там же, на Клиши, сразу пошел на вокзал, поездом до Утрехта, оттуда на Меппель каналом на Зюйдвальде, почтовой каретой до городишка Амстельланд и оттуда пешком до Хогевена. Мне потребовалось около трех суток, чтобы преодолеть пятьсот пятьдесят километров, и, скажу вам, то были нелегкие километры. Поезд еле тянется, маленькие вагончики дребезжат и стонут, на пароходе в каюте не повернешься, в карету я вообще еле влезал. Повсюду мухи, а когда они отступают, за тебя без передышки берутся клопы и блохи, которых в поезде и на пароходе предостаточно. Весна в тот год запоздала по всей Европе. В своем времени я приготовил пальто соответствующей эпохи, но в последний момент посчитал его слишком тяжелым и грубым, в результате на солнце мне все равно было жарко, а как только оно заходило, становилось холодно. И в другом смысле эпоха столетней давности отнюдь не казалась мне курортом. В париже 1895 года народ празднo шатался, но, как я потом сообразил, это объяснялось воскресным днем и тем, что я попал как раз на улицы, заселенные чиновниками. Теперь же стало ясно, что люди работают, да еще как вкалывают. И все руками. Метельщик метет, пахарь пашет, землекоп копает, ткач ткет, кочегар без отдыха шурует, повсюду моют, стирают, выколачивают. Встают с восходом, ложатся с закатом, и постоянно в хлопотах, в непрерывном движении, четырнадцать часов работы считается еще немного. Это в наше время трудиться означает трудиться головой. А там чуть ли не всё на мускульной силе человека, которая и движет этот мир. Куда ни глянешь, руки так и ходят.

Добрался я до Амстельланда ближе к вечеру, отсюда до Хогевена оставалось около трех километров. Я рассчитывал, что схожу к Ван Гогу, куплю картину и как раз успею на ночную почтовую карету, которая довезет меня обратно в Зюйдвальде на баржу.

Местность была довольно унылая, одноцветная. Равнина, болота, изгороди и больше, собственно, ничего. С моей точки зрения, настоящий художник тут не смог бы и вдохновиться.

Дошагал до места, навожу справки о «господине, который рисует», мне показывают какой-то курятник на самой окраине. В таком домишке столетием позже и собака постыдилась бы переночевать. Правда, исключенья он не составлял, поскольку вся эта деревня (или город) состояла из нескольких десятков таких же строений.

Стучусь, предлагают войти. Вхожу и сразу говорю себе, что больше трех минут я в этой яме не выдержу. Духота, натоплено углем, сырость, грязь, копоть. Такое впечатление, что тут и одному не поместиться как следует, однако в комнате целых шестеро. Старик, который курит вонючую трубку, женщина с младенцем — его она держит одной рукой, а второй умудряется тереть что-то в деревянном корыте. Старуха на постели, мужчина с тяжелой челюстью, который за столом медлительно прожевывает что-то, черпая из миски, и рыженький подросток, сидящий чуть поодаль от других. Он смотрит в окошко. Сидит на краешке скамьи, неестественно выпрямившись, как человек, который здесь временно, который, пожалуй, везде временно. И все это не столько освещено, сколько замутнено и отуманено желтым огоньком керосиновой лампочки, подвешенной под низким черным потолком.

Глаза поворачиваются ко мне, только мужчина за столом не поднимает тупого, равнодушного взгляда от миски. Спрашиваю, нельзя ли увидеть господина Ван Гога. Минутное замешательство, подросток встает, подходит ко мне. Повторяю раздраженно, что мне нужен художник Ван Гог. Все смотрят на меня недоуменно, молчание, подросток делает неловкий жест, и вдруг я вижу, что это не подросток, а взрослый. У него рыжая бородка, острые скулы, впалые щеки, выпуклый широкий лоб с большими залысинами и редкие, зачесанные назад волосы. Черты лица очень определенные, резко очерченные. На мой взгляд, ему не

тридцать, а все сорок пять лет, и только маленький рост, нелепая короткая курточка и какая-то напряженная выпрямленность в осанке делают его похожим на мальчишку.

— Я Ван Гог,— говорит он и слегка кланяется, но не головой, а всем корпусом.

Здоровуюсь, отрекомендовываю себя вымышленным именем.

Он еще раз сдержанно кланяется.

Оглядываюсь, положение какое-то нелепое. Я торчу посреди комнаты в неудобной позе, не имея возможности выпрямиться, так как потолок слишком низок. Непонятно, здесь заводить разговор или выйти на улицу, где уже начинает темнеть. Я готов и выйти, но не покажется ли это хозяевам невежливостью? С другой стороны, мне просто тяжело стоять согнувшись.

Ван Гог молчит, и остальные тоже.

Оглядываюсь опять, ниоткуда никакой помощи. Чувствую себя ужасно неловко. Откашливаюсь, говорю, что хотел бы посмотреть его рисунки и, возможно, приобрести что-нибудь.

Ах, рисунки! Лицо Ван Гога мгновенно светлеет, оно по-юношески заливается краской. Что же, пожалуйста, с удовольствием! Он очень рад и польщен.

Поспешно делает два шага в сторону, нагибается, лезет под старухину постель, выныривает оттуда с ворохом бумаги и картонов. Выпрямляется, но все это негде даже разложить, и он остается стоять так, глядя не на хозяев, а на меня.

Мужчина за столом неторопливо отправляет в рот ложку, встает, ставит миску на подоконник. Что-то говорит старику. Вдвоем подходят к старухе, она с трудом спускает ноги с постели. Старик накидывает ей на плечи платок, и все трое выходят вон. Женщина скидывает с себя передник, положив ребенка на скамью, споласкивает руки тут же в корыте, тряпкой протирает стол, который и так чист, если в этих условиях вообще можно говорить о чистоте. Она прибавляет света в лампе, берет ребенка и садится с ним у печки. Все молча и быстро.

Территория освобождена, Ван Гог кладет свой ворох на стол. Он все еще не предлагает мне сесть, смотрит на женщину. Та, будто почувствовав его взгляд, поворачивается к нам, той же тряпкой протирает табурет и подталкивает к столу.

Сажусь, наконец, и Ван Гог принимается показывать рисунки. Он совсем переменился, выражение озлобленности исчезло, голубые глаза уже не так суровы, лицо озарено.

Рисунки выполнены главным образом тушью, некоторые на тонированной бумаге, но больше на простой. Многие я довольно хорошо знаю: «Девочка среди деревьев», «Рыбаки, встречающие барку», «Хогевенский сад зимой». В дальнейшем по каждому из этих листов возникнет целая литература, они приобретут номера в каталогах, обязательные для ссылок, всяческие дополнительные обозначения. Я вспоминаю, что, поскольку «Хогевенский сад» выполнен в двух вариантах, один из которых через сто лет окажется в будапештском Музее изящных искусств, а другой в Нью-Йорке, между специалистами из обоих городов разгорится ожесточенный спор относительно того, какой вариант знаменитого рисунка является первым. Но до этого протечет еще десять десятилетий, а пока художник, голодный и тощий, суетится у стола и тревожно, робко заглядывает мне в глаза, стараясь понять, нравится мне хоть что-нибудь.

Он начинает говорить, задает вопросы, но не дожидается ответов. Его несет, это фонтан, гейзер, лавина.

Люблю ли я рисунки вообще?.. Лично он считает, что рисунок — основа всякой живописи, хоть масляной, хоть акварельной. Только рисунок дает свободу в овладении перспективой и пространством, причем эта свобода оплачивается сравнительно низкой ценой, так как тушь и бумага стоят не так уж дорого, если говорить о материальной стороне, в то время как даже за акварельные краски нужно платить бешеные деньги. Он знает молодых художников, что сразу хватаются за живопись, но, не поняв предварительно природы, рисуют «из головы», затем тоже «из головы», наобум, малюют что попало, смотрят на свою работу издали и корчат многозначительные рожи, стараясь уяснить, что же получилось. По-настоящему-то ключ к живописи нельзя найти исключительно в самой живописной технике. Если так поступать, дело кончится тем, что лишь испортишь массу дорогих материалов. Он решил сначала набить руку на рисунке и не раскаивается. Ему почти не пришлось толком учиться, он лишь недолго ходил в мастерскую Антона Мауве в Гааге... Кстати,

от кого я вообще услышал о нем и как нашел дорогу сюда, в Хогевен? Если от Мауве или тем более от Терстеха, то не надо с полным доверием относиться к тому, что они сказали о нем. В Гааге Терстех считает, будто он ленится работать с гипсами, изучать художников-академиков и вообще рисует слишком быстро. Но что касается изучения человеческого тела по гипсам, он вообще не верит в это. Фигура крестьянина, который выкапывает репу из-под снега, не обладает и не будет обладать классическими пропорциями. К таким вещам нельзя подходить с салонной точки зрения, а надо набраться мужества и передать тяжесть труда, который не передашь, если сам не будешь вылезать из мастерской, не потащишь свой мольберт на пустошь, не пройдешь десятка километров до подходящего места. Если у тебя, в конце концов, у самого тело не будет болеть и ныть. Он так и делает и не может поэтому согласиться с тем, будто ищет легкий путь. За каждым из его завершенных рисунков стоят десятки эскизов, причем не только в комнате, а на поле, в болоте и на лугу, когда пальцы мерзнут и с трудом держат карандаш. Он не старается только изобразить пейзаж верно, но передать настроение. Вот, скажем, этот «Сад в Хогевене». Может быть, здесь есть недостатки, он сам отлично понимает, что это не совершенство и многого не стоит, но, с его точки зрения, в голых деревьях уловлен какой-то драматизм и выражено чувство, которое овладевает человеком, когда он на голодный желудок, как всякий крестьянин, должен выйти и приняться за окапывание яблонь в дождь и ветер. Сейчас в моде итальянские акварельки с голубым небом и живописными нищими — все сладкое, сахарное, приятное. Но он предпочитает рисовать то, что видит, то, что вызывает у него скорбь, любовь, восхищение и жалость, а не такое, что понравилось бы торговцу картинами. Он считает оскорбительным для художника поступать иначе. Если хочешь изобразить нищего, то нищета и должна быть на первом плане, а не живописность. Нельзя забывать, что этот человек страдает, что ему предстоит одному умереть в канаве без всякой помощи. Пусть рисунки не отличаются академической правильностью, но каждый сделан для решения определенной задачи... Вот эта, например, «Женщина с прялкой» не удалась — ее и смотреть не стоит. Дело в том, что комната ма-

ленькая, он должен был бы отойти чуть подальше от натуры, но тут этого нельзя сделать. И при всем том, по его мнению, рисунки показывают, что он не стоит на месте, а движется...

Понимаете, он обрушил на меня все это, не позволяя вставить слова. Одиноким в этой деревне, где ему не с кем было даже перемолвиться, он теперь говорил, говорил и говорил, совершенно забывшись.

Топилась печка, коптила лампа, поднимались испарения. Голова у меня начала кружиться, я чувствовал, что могу просто свалиться тут же под стол. Надо было все прекращать, я спросил, нет ли у него чего-нибудь сделанного маслом. Ах, маслом! Да, конечно! На лице его мелькнул легкий испуг, он понял, что рисунки не понравились. Проворно сунул их под кровать, извлек откуда-то из-за сундука возле окна груду холстов и картонов. Тут было три пейзажа, но эскизных, две марины, несколько портретов.

И снова принялся объяснять. Пусть мне не покажется, что вот в этом пейзаже неестественный свет. Это говорит привычка видеть картины, сделанные в мастерской. Большинство современных художников, не таких прекрасных, как Милле, Коро или, скажем, Мауве (он очень любит Мауве, хотя они и разошлись), а средних живописцев, очень любят свет, однако не живой, не настоящий, не тот, что можно увидеть утром, днем или ночью среди полей или, в крайнем случае, среди улицы. Большинство художников пишут в мастерской, и поэтому свет у них одинаковый, холодно-металлический. Ведь в мастерской можно работать только с одиннадцати до трех часов, а это как раз самое пустое в смысле света время суток. Респектабельное, но лишенное характера и апатичное. Он же как раз старается работать непосредственно с натуры. У него, правда, нет мастерской, но, будь она, он поступал бы так же. И пусть я не думаю, что морской пейзаж сделан слишком быстро. Он писал вещь в Краггенбурге во время шторма, принимался несколько раз, но ветер нес песок, который налипал на краску. Приходилось соскребывать. Он потом нашел укрытие за старой баржей в дюнах и после каждого нескольких мазков бегал к берегу, чтоб освежить свои впечатления.

Я жестом отверг пейзажи, и он перешел к портретам.

— Видите, — говорил он, — у нас часто пишут человеческое лицо так, что краски, положенные на полотно, имеют примерно тот же цвет, что и тело. Когда смотришь с близкого расстояния, получается правильно. Но если отойти немного, лица делаются томительно плоскими, потому что розовые и нежно-желтые тона, мягкие сами по себе, на расстоянии выглядят жестко и пусто. Я же работаю так, что вблизи это кажется несколько неестественным — зеленовато-красный цвет, желтовато-серый или вообще не поддающийся определению. Но вот отойдите сейчас немножко в сторону, и вы почувствуете верность, независимость от краски, воздух в картине и вибрирующий свет. Вот встаньте, пожалуйста.

Я встал, совершенно замороженный, и стукнулся башкой о потолок. Причем довольно здорово. В глазах на самом деле появился вибрирующий свет, и я рухнул на табуретку.

Ван Гог забегал вокруг меня, извиняясь.

— Ну хорошо. А нет ли у вас чего-нибудь поновее? — спросил я, потирая ушибленное место. Станным образом этот удар меня как-то подбодрил. — Дайте мне какую-нибудь композицию. Покажите самое последнее.

Он задумался на миг.

— Да-да, сейчас. — Слазил снова под кровать и выпрямился с большим пакетом в руках. — Вот это. Я собирался завтра послать ее брату в Париж. — Он стал разворачивать пакет, развернул и трепетно уставился на меня.

«Едоки картофеля», как всем известно, изображают просто едоков картофеля, и больше ничего. По тем своим временам я вообще не мог понять, зачем рисуются такие вещи. Другое дело, когда художник воссоздает на полотне хорошенькую брюнеточку либо блондинку — обнаженные плечики, грудь, полуприкрытая кружевом. Хорошо, если она при этом призывно смотрит на зрителя или, наоборот, опустила глазки и загораживает грудь пухлой ручкой — таковы были мои тогдашние требования к классическому искусству, если не говорить об искусстве рекламы, где сюжету следует быть гораздо острее и обнаженнее. Здесь же на полотне было семейство крестьян, собравшихся вокруг блюда с картошкой. Они едят сосредоточенно, истово, ощущаются молчание и тишина. Лица грубые, усталые,

руки тяжелые и корявые. Правда, какие-то акценты меняются от человека к человеку и заставляют взгляд пробежать по всему кругу. Фон сделан почему-то синим, лица картофельного оттенка, а руки у персонажей коричневые.

Ван Гог, очевидно, заметил тень неудовольствия, скользнувшую по моей физиономии.

— Понимаете, мне кажется, вещь сделана правильно. Картина из крестьянской жизни не должна быть надушенной, верно ведь? Я хотел показать, что люди едят свою пищу теми же руками, которыми они трудились на поле, и таким образом честно заработали свой хлеб. Цвет лиц может показаться вам неестественным, но и про Милле говорили, что он пишет крестьян той самой землей, которую они засевают. Для фона я использовал много парижской синей, но мне казалось...

Я поднял руку, прерывая его, сказал, что сам все это вижу. Картина мне нравится, и я готов был бы приобрести ее для своей коллекции.

Имейте в виду, что это была его первая работа, которую кто-то соглашался взять, хотя за его спиной было уже около двухсот тщательных рисунков и двадцать картин маслом. На миг Ван Гог стал бездыханным, потом тихо переспросил:

— Купить? Для вашей коллекции?

Я кивнул.

— Сколько вы за нее назначите?

У него даже задрожали руки, он мучительно нахмурил брови и стал прохаживаться у стола, делая по два шага в одну и в другую стороны. Ему не хотелось отдать картину за меньшую сумму, чем она обошлась ему самому, и в то же время он боялся спугнуть меня слишком высокой ценой. Он смотрел в пол, долго что-то высчитывал, шепча про себя, потом поднял голову.

— По-моему, — начал он осторожно, — сто двадцать пять гульденов было бы недорого. Или двести пятьдесят франков.

— Двести пятьдесят?

— Да... Видите ли, я считаю так. — Он заторопился, объясняя. — На работу затрачен примерно месяц, если говорить только о самом полотне. Чтобы месяц существовать, мне нужна примерно половина этой суммы. Остальное — холст и краски. Вы, может быть, ду-

маете, что тут нету наиболее дорогих. Но дело в том, что этот серый цвет составлен...

— Отлично,— сказал я и поднялся, на сей раз втянув голову в плечи и опасливо посмотрев на потолок.— Я плачу вам тысячу франков.

— Сколько?

— Тысячу франков.

И тут мы вдруг услышали какое-то шевеление возле окна, а затем отчаянный голос:

— Нет! Так нельзя!

Мы оба оглянулись. Женщина, о которой я совсем забыл, стояла выпрямившись — ребенок рядом на постели,— и глаза у нее сверкали гневом.

— Тысячу франков? Никогда!

Вы понимаете, в чем дело. Эти крестьяне зарабатывали всей семьей франков пятьдесят в месяц, вряд ли больше. Главными для них были хлеб, одежда и топливо. Ван Гог же, который не производил ни того, ни другого, ни третьего, казался здесь просто бездельником. Его занятие представлялось им сплошным отдыхом — ведь карандаш много легче лопаты, которой они ворочали по десять часов ежедневно. Женщина была просто оскорблена. Огромная по ее понятиям сумма, которую я предложил за кусок раскрашенного холста, зачеркивала жизнь ее самой, мужа и родителей.

Впрочем, собственная выходка ее уже смутила. Она побледнела, схватила ребенка и, отвернувшись от нас, принялась нервно его подкидывать, хотя он и так спал.

Интересно, что и Ван Гон был ошарашен. Он покачал головой.

— Нет-нет. Это слишком. Сто двадцать пять гульденов будет довольно.

— Но я хочу заплатить вам тысячу франков. Вот, пожалуйста.

Я вынул из кармана тысячефранковый билет, положил его на стол. Однако художник отшатнулся как от гремучей змеи. Черт побери, опять непредвиденная трудность! Идиотизм положения состоял в том, что у меня было с собой только несколько десятков тысячефранковых билетов и какая-то не стоящая упоминания мелочь в голландских гульденах. В Париже нашего времени мне и в голову не пришло, что он спросит так мало и тем паче откажется взять больше. Деньги в Европе конца прошлого столетия были очень дороги, и я прекрасно представлял себе, что сейчас

в Хогевене никто не сможет разменять такой кредитки.

Я попытался сунуть билет ему в руку, но он оттолкнул его, говоря, что картина, мол, того не стоит, и он не позволит себе обманывать меня.

«Не стоит» — представляете себе! Для меня она стоила больше, чем в его времени можно было бы выручить и за этот домишко, и за весь жалкий городок! Она стоила больше организованной энергии, чем было заключено человеческого труда в целой провинции Дренте со всеми ее дорогами, торфяными болотами, строениями, каналами и полями. «Он не хочет обманывать меня!» Хотел бы я доказать ему, что получу не в сто раз больше, чем затрачиваю, не в тысячу, даже не в миллион. Что на деньги, вырученные за «Едоков», мы с Кабюсом приобретем сады, воздвигнем дворцы и вообще получим возможности, какие никому и не снились в его глухую нищенскую эпоху. Но заведи я такую речь, и он и женщина сочли бы меня сумасшедшим.

Четверть часа я потратил, уговаривая его, но Ван Гог был тверд, и я в отчаянии свалился на свое сиденье.

— Что же делать?

Тогда он предложил сходить в городишко Цвелоо, где есть ссудная касса и где даже ночью нам смогут разменять билет. До Цвелоо считалось миль девять, как он сказал, и я понял, что уже не успею обратно в Амстельланд на почтовую карету до канала. А это значило, что весь обратный путь до Парижа придется проделывать в ужасающей спешке, чтоб успеть на бульвар Клиши к тому моменту, когда приятель будет выдергивать меня обратно в наше время.

Но выхода не было, и мы пошли. На дворе стоял довольно ощутимый холод. Ван Гог накинул мне на плечи свою куртку, говоря, что привык мерзнуть и что ему ничего не станется.

Надолго, не скрою от вас, мне запомнилась эта прогулка.

Когда мы вышли, над горизонтом как раз появился молодой месяц. Около километра мы шагали аллеей с высокими тополями, потом по обе стороны дороги раскинулась равнина, кое-где прерываемая треугольными силуэтами хижин, сложенных из дерна, — сквозь маленькое окошко обычно виден был красноватый отсвет очага. В лужах на дороге отражались небо и лу-

на, через некоторое время справа простерлось черное болото, уходящее в бесконечность. Пейзаж весьма монотонный, чтоб не сказать тоскливый, но Ван Гог находил в нем всяческие красоты, на которые указывал мне.

Он был очень воодушевлен своим первым в жизни успехом. Покончив с красотами окружающей местности, он принялся рассказывать о крестьянах, у которых снимает угол, и поведал мне, что эти люди, хотя необразованны и не имеют никакого представления о таких вещах, как искусство, но добры, тактичны и по-своему благородны. Очень он хвалил старуху — мать молодой женщины, рассказал, что еще совсем недавно она работала наравне с другими в поле, и только в самое последнее время ее свалила воспалившаяся грыжа — болезнь, которой часто мучаются женщины, вынужденные поднимать большие тяжести. Операция у амстельландского врача, по его словам, стоила целых двести франков, а у старухи было накоплено только пятьдесят, которые она намеревалась оставить себе на похороны.

Мы шагали и шагали, он заговорил о том, что лишь у шахтеров в Боринаже и здесь у крестьян встретил по-настоящему человеческое отношение к себе — так, старуха в отсутствие молодых дала ему однажды миску молока, когда увидела, что он не ел весь день. Да и другие члены семьи вовсе не мешают ему работать, хотя и не понимают смысла и цели его занятий. Вообще, в Хогеvene ему повезло, так как от восхода и до заката все отсутствуют и даже старуха в солнечные дни выходит с ребенком в сад. Дом в полном его распоряжении — если б не малые его размеры, он представлял бы собой превосходную мастерскую.

Разделавшись со своим настоящим, Ван Гог перешел к прошлому. Общество так называемых «порядочных людей» отвергло его. В собственной семье, если не говорить о брате Теодоре, среди родственников и знакомых он считался чем-то вроде бродячей собаки. Такого пса нельзя впускать в комнату, потому что он мокрый, взъерошенный, грязный, может наследить на паркете, даже укусить. Его презирают и говорят, будто он дерзок, скандален, неуживчив и сам добивается одиночества. Ему вменяют в вину, что он всегда отстаивает собственную точку зрения, даже то, что, когда какой-нибудь важный господин

подает ему, здороваясь, не всю руку, а только палец, он, Ван Гог, в ответ поступает так же, забывая о разнице в общественном положении. Но это неправда, что он добивается одиночества. Он не заслужил такой пытки. Художнику нужно уединенье, но он, как и все люди, нуждается в друзьях, развлечениях, обязанностях и привязанностях. Он хочет быть человеком среди людей, а не изгоем. Даже здесь его не оставляют в покое. Вскоре после приезда местный священник посоветовал ему меньше общаться с людьми, как он выразился, «низшего круга», а когда он, Ван Гог, не послушался, тот запретил прихожанам позировать для рисунков и картин. Поэтому я и был встречен так холодно сегодня вечером — он думал, что меня послал бургомистр.

Он говорил, говорил — опять у меня стало мешаться в голове от этого непрерывного потока. Чтобы сбить ему дыхание, я пытался задавать вопросы, но только усиливал словоизвержение. От одной темы он переходил к другой, сюжеты ветвились, порой он уходил в сторону от того, с чего начал, но не забывал первоначальной мысли и обязательно возвращался к ней. Примерно половины того, что он на меня обрушивал, я не понимал, а вторую половину старался пропустить мимо ушей. Вдруг он замолчал, довольно долго шагал, не произнося ни слова, затем остановился, взял меня за руку и посмотрел мне в глаза.

— Вы знаете, — сказал он тихо и проникновенно, — сегодня был тяжелый день. В такие дни хочется пойти навестить друга или позвать его к себе домой. Но если тебе некуда пойти и никто к тебе не придет, тебя охватывает чувство пустоты и безнадежности. В эти минуты человека может выручить только работа, но по вечерам это для меня невозможно. Я был близок к отчаянию, но вот пришли вы и все перевернули. Вы добрый человек, вы благородный человек. Если даже нам не доведется увидеться в жизни, я всегда буду помнить о вас и в трудные мгновенья повторять себе: «Я хотел бы быть таким, как он».

С этими словами мы двинулись дальше.

Тем временем километр за километром оставались позади, а Цвелоо все не было видно. Когда мы только выбрались из духоты крестьянского дома на свежий воздух, я глубоко вздохнул несколько раз, прочистил легкие и опять почувствовал себя крепким,

готовым на все. Снова, как в Париже, каждый тренированный мускул играл, при каждом шаге оставался неизрасходованный запас энергии, и я даже сдерживал себя, чтоб не обогнать низкорослого спутника.

Из-за нереальности этой ситуации — я в девятнадцатом веке, ночью, в степи — мне делалось смешно. Думалось о том, что вот я шествую рядом с Ван Гогом, которому суждено позже стать гением, и всякое такое. О нем будет написано множество книг, прочитано бесчисленное количество докладов, и одних только диссертаций искусствоведы защитят не меньше трех сотен — а ведь каждая означает немалую сумму ЕОЭнов в виде добавки к зарплате. Все это так, а вместе с тем он маленький и хилый, я же большой, сильный, ловкий. Захоти я дать ему в ухо, никто в мире не помещает мне, он отлетит, пожалуй, шагов на десять, несмотря на свое будущее величие, и вряд ли сразу поднимется.

Но эта чертова дорога оказалась не такой уж легкой. Понимаете, одно дело, когда ты пробегаешь стометровку по специальной эстроновой дорожке в комфортабельном спортивном зале или когда вышагиваешь по туристской тропе — на тебе пружинящая обувь и почти невесомая одежда, которая не стесняет движений. Тут же я был наряжен как чучело, а тяжеленные ботинки висели на ногах словно колодки. Не знаю, существовало ли какое-нибудь покрытие на той дороге, во всяком случае, начало пути мы проделали по грязи. Потом подморозило, грязь чуть затвердела, начала проминаться под подошвой, идти стало повеселее. Однако еще позже грязь затвердела совсем, но сохранив при этом все неровности. Сделалось невозможным удобно ставить ногу при шаге — то проваливается носок, а пятка оказывается высоко, то наоборот. Миновал час, я взялся высчитывать, сколько же это будет километров — девять миль. У меня было впечатление, что миля меньше километра. Затем вдруг я вспомнил где-то мне попавшуюся таблицу перевода старинных мер длины в наши и весь покрылся холодным потом. В одной миле тысяча шестьсот девять метров. Всего, значит, до Цвелоо километров пятнадцать, а за нами пока осталось меньше половины! Постепенно кураж начал покидать меня, тщеславные мечтания улетучивались. Еще через час я еле волочил ноги, весь раскис и размяк.

А Ван Гог по всем признакам был свеж как огурчик. После недолгого молчания он опять заговорил, то и дело останавливался, чтобы полюбоваться звездами или всмотреться на горизонте во что-нибудь такое, чего я и разглядеть не мог, бегом догонял меня, отходил в сторону, пробуя, как вспахана земля, и так далее. Ему подобные концы были, видимо, в привычку, он, может быть, ежедневно проделывал еще больший путь с мольбертом в одной руке и тяжелым ящиком с красками в другой. И вскоре я сообразил, что, стукни я его действительно по уху, в сторону отлетел бы скорее кто-нибудь другой, а не он.

Не помню, как уж мы добрались до этого городишка, где я предоставил Ван Гогу все хлопоты, а сам уселся на ступени у входа в ссудную кассу, вытянув ноги.

Обратный путь был еще ужаснее. При свете звезд, поскольку луна зашла, Ван Гог вгляделся в мое лицо, участливо осведомился, здоров ли я, и предложил опереться на его плечо. Так я и сделал, он, можно сказать, почти доволоч меня до дому.

Хижина оказалась пустой, хотя и натопленной — хозяева ушли ночевать к родственникам. Старухина постель сияла свежими простынями, хотя, впрочем, для данного случая это слишком сильное выражение. Простыни ведь тогда служили целыми десятилетиями, их стирали после того, как пользовались некоторое время, — без мыла, а только в проточной воде. Ван Гог сказал, что это для меня, а сам улегся на деревянной скамье. Но, во-первых, на короткой кровати мне пришлось сложиться чуть ли не в восемь раз, а во-вторых, мутили голову спертый воздух, всяческие непривычные запахи да скрип и шевеленье за стеной, где в хлеву помещалась корова. Из-за духоты мне делалось дурно, я несколько раз выходил на улицу, но там моментально замерзал. Забыться удалось только под утро, но в семь часов Ван Гог заботливо разбудил меня, поскольку помнил, что мне надо в Амстельланд на дилижанс.

Позавтракали миской молока, что была, вероятно, пожертвована той же старухой. Ван Гог вскользь заметил, что попробует поговорить с доктором относительно операции, — слова, которым я напрасно, как позже выяснилось, не придавал значения. «Едоков картофеля» он положил на стол, рылся затем несколько минут в своих рисунках, вынул два больших и сказал, что

дарит их мне. То были «Хогевенский сад» и «Степь с деревьями» — оба пятьдесят сантиметров на сорок. И вы знаете, я не взял. То есть у меня не было сомнений, что за каждый заплатят по две тысячи, но я представил себе жадную рожу Кабюса и решил, что такого удовольствия этому жулику не доставлю. Пусть лучше вещи не будут исключены из истории искусства на целое столетие. Художнику я объяснил, что рисунков не коллекционирую, и получится правильнее, если они достанутся тому, кто их оценит по-настоящему.

Я был совсем разбит, развинчен — в пору брать каждую ногу в отдельности и переставлять. Ван Гог разволновался, побежал в деревню и вскоре вернулся, с торжеством объявив, что уговорил одного крестьянина подвезти меня три четверти пути — понимаете, с транспортом было в этот момент очень нелегко, шли весенние полевые работы. Через десять минут появилась скрипучая телега, влекомая парой тощих, мосластых лошадей, на которую я себя и погрузил — блистательное завершение для всех моих гордых мыслей, не правда ли?

К первым домишкам Амстельланда мы добрались около восьми. Ван Гог шагал рядом с повозкой и нес картину. Когда возница уже должен был поворачивать в сторону, мне пришлось едва ли не по частям вынимать себя из телеги. Солнце поднялось над горизонтом, но было скрыто тучами, и в западной части неба мерцали звезды. Ван Гог показал на одну из них, лицо его было мягким и задумчивым.

— Посмотрите, какая она спокойная, прекрасная и добрая. Иногда мне кажется, что звезды связаны между собой таинственными отношениями, о которых мы и не подозреваем. Что их хороводы влияют на нашу судьбу, а сами далекие светила следят за нами и радуются, если мы поступаем добро... — Потом он повернулся ко мне. — Знаете, я поздно начал рисовать. В двадцать восемь лет восприятие не так свежо, а рука не так переимчива, как в детстве. Другие в моем возрасте уже владеют школой, выработали свою манеру и даже находятся в зените славы, а я еще только учусь. Поэтому мне не следует питать иллюзий относительно себя, я еще долго буду одинок и никем не признан. Но вы помогли мне, и теперь я верю, что, если человек хранит симпатию к людям и трудится не переставая, он должен добиться своего...

Темная торфяная низменность раскинулась вокруг нас, утонувшая в грязи дорога уходила к горизонту, и мы помолчали.

В Париж к месту вызова я поспел вовремя. Из Камеры вывалился прямо на Кабюса, разговаривать с ним не стал, дополз до такси на карачках и полуживой к себе, пробыв, таким образом, в прошлом столетии всего неделю.

Но, как вы понимаете, бодрящие ванны, суг-массаж и всякое прочее делают чудеса. Отмылся, отскребся, оттерся, проспал восемнадцать часов на воздушном матрасе слабой вибрации и наутро вторых суток почувствовал себя человеком. Теперь уверенность в успехе у меня была полная. Наклеил этикетки провинциальные ушišки, напялил длинные штаны чуть ли не до коленей и двинул в художественный салон. Но не на бульвар Сен-Мари, где меня все же могли узнать, а в другой, на Монмартре. Вхожу, напуская на себя простецкий вид, наваливаюсь на прилавок и жду, пока меня заметят.

Заметили, спрашивают, что мне угодно.

— Да так,— говорю,— был у тетки под Антверпеном, на чердаке попалась картина. Вроде какая-то старая. Изображено, как люди в древности ели картошку.— Сам развертываю картину и поворачиваю к свету.— Тут подписано «Винсент Ван Гог». Мне художник неизвестен, скорее всего современник этого, как его... Леонардо да Рафаэля. Вот я и подумал, что, может быть, кто заинтересуется.

Ожидаю услышать возгласы удивленья, радости, но присутствующие глядят на меня с иронией. Один из продавцов берет картину в руки.

— Да, в самом деле, подписано «Ван Гог». Пожалуй, такому сюжету подошло бы название «Едоки картофеля».

Чешу в затылке, отвечаю, что и сам бы ее так назвал.

Продавец поворачивает вещь обратной стороной к себе.

— Смотрите, тут и дата проставлена. «Март 1883». Все точно, как в его письмах к брату,— первый вариант известнейшего произведения.

— Неужели? — спрашиваю.— Я даже как-то не посмотрел с той стороны. Значит, 1883 год. Выходит, что он жил раньше этого Леонардо.

Второй продавец берет «Едоков» из рук первого и протягивает мне.

— Возьмите. Не стоит даже проверять на подлинность. Этой картины не существует. Есть только копия, сделанная по памяти в 1888 году.

— Как не существует? С чего же он тогда делал копию?

— А вы почитайте «Письма». Можете у нас приобрести экземпляр... Эй, куда же вы! Послушайте, у вас левый ус отклеился!..

Дома хватаю свой томик «Писем», начинаю судорожно листать. Вот, пожалуйста, январь 1883-го.

«Дорогой Тео, никогда я еще не начинал год с более мрачными перспективами и в более мрачном настроении. На дворе тоскливо: поля — черный мрамор с прожилками снега; днем большей частью туман, иногда слякоть; утром и вечером багровое солнце... Черные кусты на фоне пасмурного неба и ветви тополей жестки, как железная проволока...»

Дальше, дальше! Это я все знаю.

«...Боюсь, что я сделался для тебя уж слишком тяжелым бременем. Злоупотребляю твоей дружбой, постоянно прошу денег на то, что, может быть, никогда не принесет плодов. Горько думать о себе, что ты неудачник, и временами...»

Дальше! Где-то здесь должно быть упоминание о будущей картине... Ага, вот оно! Картина уже готова.

«Дорогой Тео, поздравляю тебя с днем рождения и от всей души желаю здоровья и счастья. «Едоки картофеля» закончены, картина уже высохла, послезавтра посылаю ее тебе. Надеюсь, моймешь, что я хотел в ней выразить...»

Это было написано третьего апреля, а на другой день к Ван Гогу постучался незнакомец, то есть я, и купил «Едоков». Значит, в следующем письме будет отчет об этом великом событии.

Я чуть помедлил, прежде чем перевернуть страницу.

«Тео, я сжег картину!

Это произошло три дня назад. Вдруг пришла минута, когда я понял, что не был в этой вещи до конца самим собой. Труд целой зимы пропал, я сожалею о своем поступке, но, правда, не очень, так как многому научился в ходе работы. В частности, добиваться того, чтобы красно-желтый цвет смотрелся светлее, чем белый, который я стал делать, смешивая, скажем, парижскую синюю, киноварь...»

Потом идет о красках, а затем такие строчки:

«У нас в домике радостное настроение. Я не писал тебе, что мать моей хозяйки, пожилая женщина по имени Вильгельмина, тяжело болела последнее время. Так вот, недавно ее удалось устроить на операцию...

Было еще одно весьма странное и отрадное происшествие, о нем я расскажу тебе при встрече, когда ты, как было обещано, приедешь навестить меня. Кстати, до этого времени можешь не посылать денег. Я сумел сэкономить, у меня осталось еще около ста франков из тех трехсот, что я получил от тебя на февраль и март».

Вы понимаете, что сделал этот филантроп? Проводив меня в Амстельланд, он зашел к тамошнему доктору и, чувствуя себя богачом, отдал двести франков на операцию для старухи. Скорее всего импульсивно. Затем возвращается домой, и ему приходит в голову, что он, живущий целиком на содержании брата, не имел права так поступить. Ван Гогу делается стыдно. Он чувствует, что не может написать Теодору, что истратил первые заработанные им деньги, и, объясняя, почему не выслана картина, он сообщает, что уничтожил ее. Но при этом оставляется лазейка: «Расскажу тебе при встрече». Скорее всего, он и рассказал все Теодору, когда они увиделись, однако разговор не вошел в историю искусства, остался нигде не зафиксированным...

Что вы говорите? «Не слишком честно по отношению ко мне»... Да, может быть. Но имейте в виду, что история с этим обманом самому Ван Гогу казалась эпизодом, касающимся исключительно только его и брата. Пусть в письме неправда, но при личной встрече он откроет, как было в действительности, и вопрос снят.

Он ведь и представления не имел, что история сохранит его послания, что каждая строчка, которую при свете керосиновой лампочки он царапал на шершавой серой бумаге, переведется на шестьдесят языков и выйдет в бесчисленном количестве книг, да таких шикарных, каких ему не доводилось и в руках держать.

Он солгал, потом — я в этом уверен — признался, и конец. Но для меня-то штука обернулась иначе — попробуй докажи, что предлагаешь подлинную вещь, когда в письме черным по белому значится «сжег».

Однако, если вы думаете, что я приуныл, это не так. В конце концов наскоком люди не становятся миллиардерами. Прикинул, что Временные Петли действуют около двух лет, но пока не слышно, чтоб неожиданно возникали крупные состояния. Ладно, говорю себе, кончился этап бесшабашного приступа, начинаю планомерную осаду. У меня есть возможность путешествовать в прошлое, да к тому же я стал специалистом по Ван Гогу. Ослом надо быть, чтоб не использовать сложившиеся обстоятельства. На ошибках учимся.

Пошел прежде всего к Кабюсу, объяснил, в чем дело, и потребовал, чтоб мы снова сняли Петлю. Тот в панике, плачет, что многим рисковал, теряет последние сбережения. Стал жаловаться, что, мол, жена ждет, пока он разбогатеет, бросит работать — действительно, он как раз в это время женился на тощей, словно телевизионная башня, деве по имени Марш с подозрительным, злым взглядом. Сказал, что лучше бы ему сговориться с кем-нибудь другим, поскольку со мной, вероятно, ничего не выйдет. Я ответил, что сам могу столкнуться с охранником, например, который пропускать нас уже три раза и, несомненно, в курсе всего. Кабюса это привело в чувство, и мы сделали, как я сказал. Понимаете, завиток-то мне нужно было сдернуть, чтоб «Едоки» Ван Гога опять появились в мире. Ведь чем больше известно его картин, тем ярче слава и дороже будет привезенное мною. Кроме того, хотелось, чтобы первое посещение перестало существовать — он начнет еще что-нибудь спрашивать, я не буду знать, как отвечать, и в таком духе.

Теперь уж я решил вооружиться по-настоящему. Связался прежде всего со швейцарской фирмой «Альпенкляйд», которая, помните, создала новую одежду для альпинистов — человека обливают составом, обра-

зуется пленка, через нее кожа дышит, помехи движениям нет, и при этом можно хрястнуться в тридцатиметровую пропасть, не получив даже синяка. Пленка гнется на суставах только в определенных направлениях и при этом тверда как сталь. «Панцер-кляйдунг», или «ПК», имела большой успех, а после они приступили к выпуску «ТК», то есть термической одежды. Ткань сделана из специальных нитей, а энергия берется от цезиевой батарейки размером в спичечный коробок, которая укрепляется на поясе. Надел, поставил, допустим, на пятнадцать градусов, а дальше хоть трава не расти, потому что регулировка происходит автоматически — в ветреную холодную погоду нити согревают, в жару наоборот, и вокруг тебя постоянно кондиционированный климат. Начала фирма с производства туристской одежды, и мне пришлось послать в Цюрих описание того, что мне надо было... Ну, запаса снадобьями против клопов, деньгами — не только тысячефранковыми билетами, а и помельче, запасными батарейками. Заказал из искусственных алмазов кольцо на старинный манер — хотелось проверить, как отнесутся к нему парижские торговцы драгоценностями конца прошлого века.

Интересно было готовиться. Прежние махинации я совсем забросил, в Институт заглядывал довольно часто и там примелькался. Встретишь в пустом коридоре какого-нибудь согбенного седобородого академика: «Здрассте-здрассте, как дела?» — «Да ничего, спасибо». Я иду своей дорогой, он семенит своей — вроде так и надо. Только, бывает, оглянется с легким недоумением, сам смутится этой оглядки и на другой раз первым кидается здороваться, пока ты еще рта не успел раскрыть.

Кабюс возился с замещением энергии, а я почитывал материалы по той эпохе. Задача, собственно, осталась прежней, только я намеревался принять меры, чтобы покупка обязательно отразилась в переписке.

Но вот настает долгожданный день, вернее, вечер. Толстяк-охранник в вестибюле понимающе подмигивает нам, и я влезаю в камеру. Мною был теперь избран июнь 1888 года. Художник живет в небольшом городе Арле на юге Франции, и к нему еще не приехал Гоген — я догадывался, что после появления друга Ван Гогу будет не до меня, да и вообще не хотел быть свидетелем драматических событий, которым

вскоре надлежало развернуться. План мой был таков. Одну картину покупаю у Теодора в Париже, но так, чтобы он Винсента попросил прислать ее из Арля. Затем еду к самому художнику и там устраиваю такую же штуку. Мол, то, что я вижу, меня не устраивает, пусть он напишет брату относительно одного-двух полотен из старого. В результате в обе стороны полетят запросы, подтверждения, все будет включено затем в «Письма», ситуация с «Едоками» не повторится.

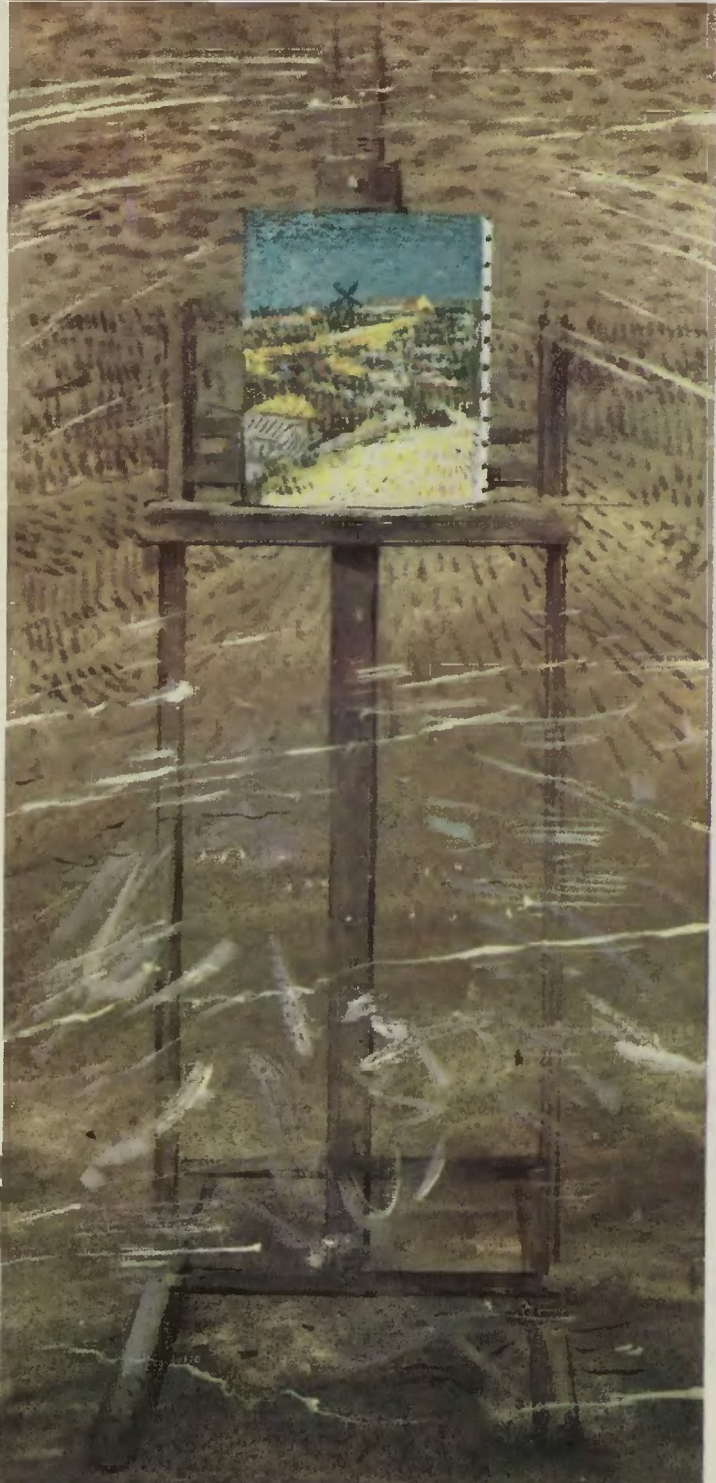
Путешествие мы с Кабюсом рассчитали на три недели. Побывал я на Монмартре, посмотрел в той, первой «Мулен-Руж» их прославленную танцовщицу Ла Гулю, которую Тулуз-Лотрек рисовал, о которой стихи сочиняли,— так, ничего особенного... Показал в ювелирном магазине кольцо, его без звука взяли за десять тысяч. Было общее впечатление дешевости всего и в первую очередь человеческой жизни. Ну какое тогда могло быть население в Париже — не больше полумиллиона? Хотя что я говорю... не больше четверти. И тем не менее люди вели себя так, будто их наплодилось слишком много и они никому не нужны. Во всяком случае, в городе. Молоденькая девчонка на улице идет за богатым стариком по первому знаку. Беседуешь с кем-нибудь, и если он чувствует, что у тебя полный карман, только и смотрит, чтобы успеть согласиться с твоей мыслью сразу, как только она будет высказана. Ощущается недостаток во всем: в пище, одежде, жилье, недостаток энергии на Земле. Разговоры такие, что за пять тысяч можно купить любого модного журналиста, за пятьдесят — важного государственного деятеля.

Тут же выяснилось, что в программе приобретения картин придется переставить компоненты. Я хотел начать с Теодора, который, как мне было известно, в это время получил место директора художественной галереи в фирме «Буссо и Валадон». Пошел туда, но его не оказалось — как раз уехал к Иоганне свататься. Из картин Ван Гога там висело только «Хлебное поле», и то в самой глубине последнего зала, в углу. Я ее потрогал со странным пиететом, она была слегка запылена. Не знаю, чем объяснить свое чувство. Почему-то возможность прикоснуться к картине, на которую никто и внимания не обращал в 1888 году, представлялась мне более ценной, чем личное общение с ее создателем.

На третий день пошел на Орлеанский вокзал, сел в поезд. До Арля тащились со скоростью двадцать километров в час. Стояла жарница, но я в своей ТК благодушеествовал. Разговаривал с соседями, смотрел в окошечко. Прекрасное место все же Франция! А поля, виноградники, рощи в ту пору выглядели ничуть не менее живописно, чем сейчас. Остались позади Невер, Клерман, Ним. В восемь утра вторых суток пересекли Рону...

Понимаете, мне было, конечно, ясно, что Ван Гог переменился за те пять лет, что разделили городок Хогевен и Арль. Я-то метнул себя тогда из прошлого в комфортабельный 1995-й, а он остался на торфяной равнине, в холоде и нищете, чтоб продолжать жестокую борьбу. И продолжал. Из Хогевена, гонимый одиночеством, он переезжает в Нюэнен. Ему страстно хочется, чтоб у него была подруга, семья. В то время как многие в ту бедную эпоху боятся иметь детей, он пишет брату, что боится не иметь их. Еще раньше была история с уличной женщиной, больной, беременной, которую он взял к себе, чтобы ее перевоспитать. Но из этого ничего не вышло, только прежние знакомые окончательно от него отвернулись. Теперь в Ван Гога влюбляется дочь соседей по Нюэнелу Марго Бегеманн. Винсент тоже любит, однако родители запрещают Марго встречаться с ним, и девушка принимает яд. С надеждой на личное счастье покончено, остается только искусство. Ван Гог отправляется в Антверпен, чтобы попасть в среду художников. Нет мастерской, он работает на улицах. Не на что нанимать натурщиков, он договаривается, что сначала нарисует чей-нибудь портрет — моряка, солдата, уличной девушки, — а потом в качестве гонорара сделает этюд уже для себя. Письма к брату пестрят выражениями: «Ради бога, пришли хоть столько, сколько сможешь уделить. Я буквально голодаю». От постоянного недоедания у него пропадает аппетит, и порой, получив от Тео небольшую сумму денег, он не может есть. Ван Гог удается поступить в Академию художеств, но через три месяца его вынуждают покинуть ее стены — рисунки Винсента решительно не похожи на то, чему учат преподаватели. Несколько поправляются дела у Теодора, он дает брату возможность приехать в Париж. Однако и здесь ничего не меняется. Винсент начинает учиться в мастерской Кромона, но за исклю-





чением Тулуз-Лотрека никто не подходит посмотреть, что же у него получается. Окружающим он кажется сумасшедшим, когда в самозабвении бросает краски на картину с такой энергией, что дрожит мольберт. Его молчаливая дикая страстность отталкивает более молодых и беззаботных художников. За два года, проведенных в столице Франции, Ван Гог создает более двухсот картин — это к тем двум сотням, что были написаны в Голландии, — но каждая выставка для него провал, и до сих пор не продано ни единого полотна, подписанного его именем. Решив наконец, что Париж не принял его, Винсент измученным уезжает в Арль.

Повторяю, я знал и это и то, что художник просто постарел. Правда, в наше время у человека в этом возрасте как раз прибавлялось здоровья. В 1996-м люди в период от тридцати до тридцати пяти или сорока лет обычно молодели, и довольно заметно. Понимаете, личность окончательно узнает, на что способны ее разум и тело, возникает уравновешенность, духовная и физическая гармония.

Не приходилось сомневаться, что с Ван Гогом будет иначе, да было и много автопортретов той поры. Но все равно я не ожидал такого, разыскивая дом и поднимаясь в комнату, которую он снимал.

Над ним пять лет пронеслись, подобно раскаленному ветру, и выжгли в его внешности все молодое. Он сильно изменился, страшно. Был не тот, совсем не тот, кто в уже исчезнувшем варианте провожал меня утром в Амстельланд.

Ван Гог сидел за мольбертом, он нехотя поднялся, держа в руках палитру и кисть.

Его волосы, редкие уже тогда, отступили назад, совсем обнажив выпуклый лоб. Глубоко прорезанные морщины шли от крыльев носа к кончикам рта, щеки совсем провалились, азиатские скулы стали острее, придавая его лицу что-то жестокое, фанатичное. Борода и усы были запущены, видимо, он перестал следить за своей внешностью. В глазах, которые смотрели на меня из-под нахмуренных бровей, читалось упорство отчаяния.

Я сказал, что хотел бы познакомиться с его картинами и готов купить что-нибудь.

Недовольный тем, что его оторвали от работы — перед ним на маленьком столике был натюрморт с подсолнухами в майоликовой вазе, — он постоял,

как бы приходя в себя, швырнул на подоконник кисть с палитрой, вынул из стеллажа несколько холстов, натянутых на подрамники, раскидал их по полу и отошел к раскрытому окну, сунув руки в карманы.

Я, честно говоря, не ожидал этой холодности. Мне думалось, он примет меня за благодетеля, станет, как в предшествующее посещение, уговаривать, объяснять. Но ничего такого не было. Он начал тихонько насвистывать какой-то мотив, оборвал и принялся затем постукивать пальцами по раме. Я заметил, что он стал теперь шире в плечах, каким-то более жилистым и жестким. Казалось, что если он ударит, то окончательно и насмерть. При этом он, правда, не огрузнел и спина осталась деревянно выпрямленной.

Ван Гог повернулся неожиданно, перехватив мой взгляд, и я опустил глаза к полотнам. Смотреть, собственно, мне было нечего, я их и так знал.

— Ну что же? — спросил он. — Не нравится?.. Тогда как угодно.

— Нет-нет, — ответил я. — Выбор сделан. — Это вырвалось у меня непроизвольно. Вдруг почувствовал, что не могу мурыжить его тем, что здесь закажу вещь, хранящуюся у брата, а уже из Парижа попрошу прислать что-нибудь из того, что он мне сейчас показывает.

— Выбрали?.. Какую же?

Я показал на «Сеятеля».

— Вот это?..

Он взял подрамник, перенес ближе к свету, поставил на пол у стены и вгляделся. Лицо его потеплело, как у матери, которая смотрит на собственное дитя. Затем отвернулся от картины и сказал с вызовом:

— Я ценю свои вещи не слишком уж дешево. Например, эта стоит тысячу франков. Правда, немногим дороже кровати, за которую спрашивают семьсот и которой у меня нет.

Тут только я заметил, что в комнате нет кровати. В углу валялся свернутый матрас.

Он расценил мое молчание по-своему и горько усмехнулся.

— Да, некоторые воображают, что занятие живописью ничего не стоит самому художнику. На самом деле с ума можно сойти, когда подсчитываешь, сколько надо потратить на краски и холст, чтоб обеспечить себя возможностью непрерывной работы на месяц. Вы

не думаете, я надеюсь, что такая вещь создается без размышлений, без поисков, без предварительных этюдов. Когда человек способен написать картину за три дня, это вовсе не означает, что лишь три дня на нее и потрачено. Истрачена целая жизнь, если хотите. Садитесь за мольберт, если вы мне не верите, и попытайтесь гармонизировать желто-красный с лиловым. Конечно, когда композиция готова, то, что на ней есть, может показаться само собой разумеющимся. Так же говорят о хорошей музыке либо о хорошем романе, которые будто бы обладают способностью *литься сами собой*. Однако представьте себе положение, когда ни картины, ни симфонии еще нет, когда их надо еще создать, а композитор или живописец берется за труд, отнюдь не уверенный, что избранное им сочетание вообще в принципе возможно... Одним словом, тысяча, и разговаривать больше незачем.

Я откашлялся, чувствуя невольную робость, и сказал, что цена мне подходит.

— Подходит?.. И вы готовы заплатить?

— Да.

— Заплатить тысячу франков? — Некоторое время он смотрел на меня, затем пожал плечами. — Почему?

— Ну как?.. Вы спросили тысячу. Вещь мне нравится.

Он прошелся по комнате и остановился у картины.

— Да, ей отдано много. — Затем в глазах его появилась тревога, мгновенно сменившаяся гневом. — Скажите, это не шутка? Здесь есть любители развлечься. Если вы пришли за этим, мне некогда. Я работаю.

— Ни в коем случае. — Я подошел к столику возле мольберта, вынул из кармана бумажник, отсчитал десять стофранковых билетов. И, скажу вам, это были не те деньги, что я привез из будущего, а полученные мною в ювелирном магазине. С привезенными, хотя вероятность была ничтожна, могла все же получиться неловкость. В конце концов они представляли собой дубли кредиток, существовавших в 1888-м, и не исключалась ситуация, при которой одинаковые номера окажутся рядом. Правда, экспертиза в этом случае стала бы в тупик, поскольку оригиналами были и те и другие. Так или иначе, мне не хотелось подвергать Ван Гога риску, ему хватало собственных невзгод. — Кроме того, — сказал я, — меня заинтересовала еще одна вещь в Париже, в галерее Буссо. «Цыганские повозки». Если

вы соблаговолите написать письмо, чтоб ее прислали, я мог бы подождать здесь, в Арле.

Опять был вынут бумажник, и я отсчитал еще пятьсот.

Подозрение на его лице постепенно сменилось недоумением, а затем растерянностью. Он несколько раз перевел взгляд с меня на деньги и обратно.

— Слушайте! Кто вы такой?

Я был подготовлен к этому вопросу и стал плести, будто действую не от себя, а по поручению богатого негоцианта из Сиднея, моего дяди. Негоциант дважды был в Париже — в прошлом и позапрошлом годах, — имеет там знакомых художников, много слышал о самом Ван Гоге и о его брате. Ему известно, что публика пока не признает новое направление, но у него свой вкус.

— Как его имя?

— Смит... Джон Смит. Дело в том, что дядя скромный человек. Он даже заглядывал в мастерскую Кромона, был на «Выставке Малого бульвара», но вряд ли к вам подходил.

— Не помню.— Ван Гог покачал головой.— Джон Смит... Ну ладно.— Он подошел к столику, нерешительно взял деньги, выдвинул ящик и положил их туда. Посмотрел на меня, и этот взгляд, неожиданно робкий, на миг напомнил мне прежнего Ван Гог. Он отвернулся к стене, голос его звучал глухо.— Как странно. О таком я мечтал долгие годы — писать и иметь возможность зарабатывать этим на жизнь. Вот оно пришло, и я не могу обрадоваться. Но почему?

Он тряхнул головой.

— Я сегодня же напишу в Париж. А теперь извините... Вы, наверное, остановитесь в «Сирене». Мы могли бы увидеться вечером.

Городишко был пуст, солнце разогнало всех по домам. Я снял себе комнату в гостинице как раз над тем самым залом, который Ван Гог вскоре должен был изобразить на картине «Ночное кафе». Несколько часов провалялся на постели, отгоняя от себя мух, и, когда жара спала, спустился на первый этаж.

Ван Гог сидел неподалеку от винной стойки. Я подошел. Вид у него был ожесточенный, он злобно ковырял вилкой в тарелке с макаронами. Я спросил, как здесь готовят, и он гневно отбросил вилку.

— Понимаете, мне долго пришлось жить очень неустроенно, у меня вконец испорчен желудок. Если бы я ел хороший, крепкий бульон, я бы поправился. Но тут, в городских ресторанах, никогда не получишь того, что тебе надо. Хозяева ленивы и готовят только не требующее труда — рис, макароны. Даже когда заказываешь заранее, у них всегда есть отговорка, что забыли или что на плите не хватило места. И постоянно обсчитывают. Сначала я жил тут наверху, за месяц с меня потребовали на двадцать франков больше, чем следовало. Но ведь я не богатый бездельник. Я работаю больше, чем все они тут, с моей стороны было бы безволием позволить себя эксплуатировать. Я пошел к мировому судье, и он приговорил двадцать франков в мою пользу. Но все равно мошенничество продолжается — не станешь ведь обращаться в магистрат из-за каждых пятидесяти сантимов. В результате я полтора месяца обходился без матраса и был вынужден приходить сюда ночевать, хотя уже снял себе комнату... Вообще, в Арле считают своим долгом обманывать каждого чужого. Особенно если ты художник, тебя считают либо сумасшедшим, либо миллионером. За чашку молока дерут целый франк.

Я заказал пива. Хозяин, толстый, с одутловатым белым лицом, принес его только минут через пять. Ресторан постепенно наполнялся. За столиком, где собрались игроки в карты, началась пьяная ссора.

Ван Гог презрительно усмехнулся.

— Человечество вырождается. Я сам прекрасное подтверждение этому — в тридцать пять лет уже старик. Понимаете, одни работают слишком много — крестьяне, ткачи, шахтеры и бедняки вроде меня. Этих гнетут болезни, они мельчают, быстро старятся и умирают рано. А другие, как вот те, стригут купоны и деградируют от безделья. Но так не может продолжаться. Слишком много тяжелого сгустилось, должна грянуть гроза. Хорошо хоть, что некоторые из нас не дали себя одурманить фальшью нашей эпохи. Это поможет грядущим поколениям скорее выйти на свободный, свежий воздух.

Мы выпили, и он осмотрелся.

— Интересно, кто придумал сделать здесь эти красные стены. Комната кроваво-красная и глухо-желтая, с зеленым бильярдом посередине. Получается столкновение наиболее далеких друг от друга оттенков. Иногда

мне кажется, что тут можно сойти с ума или совершить преступление... В человеке намешано так много. Хотелось бы все это выразить, передать, но теперь я боюсь, что не успею. Ваш дядя знает, как существуют непризнанные художники в Париже. Я нажил там неврастению. Бывает, что с утра не можешь взяться за кисть, пока не выпьешь кофе и не накуришься. Но искусственного подъема хватает ненадолго, снова кофе и трубка, периоды работы все уменьшаются, приходишь к тому, что каждая новая чашка дает тебе единственный мазок... Страшная штука плохое здоровье. Из-за него я не восстаю больше против установленного порядка. И не потому, что смирился,— просто сознаю, что болен, что нет сил и они уже больше не придут.

Я расплатился, мы встали и, разговаривая, прошли через город к полям. Дорогой он сказал, что уже отправил письмо и что, если оно застанет брата на месте, посылка с картиной прибудет через шесть дней.

Солнце спускалось, перед нами было море пшеницы, а справа зеленели сады.

— Конечно, сейчас мне прекрасно работать,— сказал Ван Гог.— Это все благодаря брату. Никогда раньше я не жил в таких условиях, и если ничего не добьюсь, это будет только моей виной. Здесь удивительно красивая природа. Посмотрите, как сияет небосвод... И вот зеленовато-желтый дождь солнечных лучей, который струится и струится сверху на все. А кипарисы с олеандрами какие-то буйнопомешанные. Особенно в олеандрах невыносимо закручена каждая веточка и группы ветвей тоже. У меня два раза было, что, выбравшись на этюды, я терял сознание от нестерпимой красоты.

Ван Гог позволил себе отдохнуть в тот вечер, мы еще долго бродили. Часто он совсем забывал о моем присутствии, затем, вспомнив, обращался ко мне с каким-нибудь малозначащим замечанием, задавал вопрос и не выслушивал ответа, углубляясь в себя.

Вообще, в нем была теперь какая-то отрывистая гордость, чуть презрительная и разочарованная. Как будто он знал себе цену, но потерял надежду убедить мир в чем-нибудь. Тогда в Хогевене Ван Гог не был уверен, что его произведения хороши, но полагал, что упорный труд позволит ему добиться успеха. В Арле стало наоборот. Он твердо знал, что стал настоящим

художником, но уже не верил, что его когда-нибудь признают. Он очень легко раздражался; излечению его неврастении отнюдь не способствовали стычки с квартирной хозяйкой, владельцем ресторана, зеваками, что тотчас собирались вокруг, если он принимался набрасывать рисунок где-нибудь в городе. Мне кажется, окружающие даже несколько побаивались его.

Получив от меня крупную по тем временам сумму, он начал оттаивать и меняться удивительно быстро. Купил себе кровать — правда, не за семьсот, а подешевле, за четыреста франков. Нанял женщину, которая стала готовить ему. В глазах появилось что-то теплое, щеки порозовели, он перестал отвечать взрывами бешенства на мелкие уколы со стороны. И продолжал работать. Работать с ожесточением, какого я отродясь и не видел. С утра ящик с красками в одну руку, подрамник в другую, мольберт за спину — и на этюды. А если был дома, то писал. В комнате его можно было увидеть только с палитрой и кистями, как будто он не спал, не ел вообще ничего. Сознавая, что начал поздно, он стремился сжать, вместить в год или два то, на что у других уходит долгая творческая жизнь.

Посылка от брата между тем все не шла. Из Парижа сообщили, что письмо Винсента направлено в Антверпен, но получилось, что оно попало туда, когда адресат выехал. Мне оставалось только ждать, от скуки я несколько раз увязывался с Ван Гогом в его походы. Исподволь я начал ему симпатизировать, мне хотелось исправить некоторые уж слишком очевидные недостатки в его манере писать. Но из этого ничего не вышло.

Однажды, например, я сказал, что роща на заднем плане его этюда вовсе не такова по цвету, какой он ее сделал, и что никто никогда не видел таких, как у него, завинченных деревьев и завинченных облаков.

Он спросил, выпадает ли роща из общего фона того, что он делает. Когда я признал, что из его фона не выпадает, он объяснил:

— Начинаешь с безнадежных попыток подражать природе, все идет у тебя вкось и вкривь. Однако наступает момент, когда ты уже спокойно творишь, исходя из собственной палитры, а природа послушно следует за тобой. Разумеется, в любой моей вещи есть промахи, но зато я твердо знаю, почему я пишу так, а не иначе.

Я могу быть не уверен в своей технике, но у меня всегда есть жизненность, которая, по-моему, должна отодвигать ошибки на задний план...

Наконец на исходе второй недели, когда я уже начал дрожать, Ван Гога разыскал посланный с почты мальчишка. Пять сотен франков были присоединены к первым полутора тысячам, и вечером мы отправились в «Сирену». Ван Гог был очень оживлен, показал мне письма от Гогена, сказал, что ожидает его теперь в Арль. Он спросил, нет ли среди моих друзей и знакомых дяди такого человека, который тоже заинтересовался бы произведениями импрессионистов. Я ответил, что это не исключено, и глаза его зажглись. Он заговорил о том, что, если бы удавалось продавать хотя бы по три картины в год, он мог бы обеспечить не только себя — ему лично надо не так много, но снять маленький дом, где найдут приют и другие бедствующие художники, которые нередко гибнут от нищеты, кончают с собой или попадают в сумасшедший дом. Планы роились, уже дело дошло до того, что будет открыта собственная небольшая галерея в Париже, которой может руководить Теодор, что торговля картинами будет вырвана из рук коммерсантов и подлинное искусство начнет распространяться в народе.

Мы осушили три бутылки дрянного вина, ресторан уже опустел, хозяин сонно поглядывал на нас, опрокидывая стулья на столики.

Ван Гог умолк, взгляделся мне в лицо и тихо-тихо спросил:

— Скажите, а это правда?

— Что именно?

Он сделал жест, обводя зал, где половина газовых рожков была уже погашена.

— То, что сейчас происходит... Вы появились так внезапно. Ваш приезд так неожидан и так выпадает из всего, что было до сих пор. Мне сейчас вдруг показалось, что деньги, полученные от вас, могут неожиданно исчезнуть и все останется как прежде... Понимаете, конечно, я не великий художник, у меня не было возможности учиться рисовать и не хватало таланта. Но, с другой стороны, вряд ли есть еще человек на земле, кто до такой степени не имел бы ничего, кроме искусства. Я не помню спокойного дня в своей жизни. Дня, чтоб меня не мучили угрызения совести перед братом, на плечах которого я повис тяжелой

ношей, чтоб меня не терзал голод либо необходимость платить за жилье, невозможность купить красок или нанять натурщика. Ведь не может быть, чтоб такая преданность ничего не стоила и никем не была оценена?

Черт возьми! Вы знаете, он оказался настоящим провидцем. Деньги, полученные им от меня, действительно исчезли, все стало как прежде, потому что мне пришлось в третий раз снять Петлю. Сдернуть ее, несмотря на то, что в переписке между братьями мое посещение фигурировало как важнейшее событие года. При том, что Ван Гог пятьсот франков послал Гогену с подробнейшим рассказом, откуда они взялись...

Но по порядку. Я вернулся из Арля в Париж двадцать пятого, зашел там опять в галерею Буссо. Не потому, что собирался выписать еще одну картину из Арля — на это уже не было времени, — а просто так.

Хотел посмотреть на Теодора — уж очень много слышал о нем и читал. Я заглянул в первый зал и сразу узнал его, потому что братья были похожи. Только младший оказался больше ростом, мягче, и можно было догадаться, что этот человек ни разу в жизни никого не обидел. Он разговаривал со служителем. Я постоял, делая вид, что заинтересовался «Купальщицами» Ренуара, висевшими тут же, и потом ушел.

Кстати, он меня тоже узнал — по описанию в письме Винсента — и, в свою очередь, сообщил в Арль о моем коротком визите.

В тот же вечер я пришел на место вызова и благополучно вынырнул к себе. Опять всевозможные ванны, массажи. Заглядываю в «Письма», там все в порядке. Перелистываю монографию о Ван Гогe, убеждаюсь, что тут тоже появились изменения. Сказано, что в июне 1888 года в Арль приехал молодой иностранец, купил у художника две картины и несколько рисунков, след которых, к несчастью, с тех пор затерялся. С «иностранцем» мне все ясно — Ван Гог, естественно, показался странным мой современный французский язык, я объяснил ему, что моя мать была француженка, но воспитывался я в Сиднее. А с рисунками исследователь ошибся. Я забыл вам сказать, что в последний вечер Ван Гог набросал мой портрет карандашом, который тут же отдал мне. И все.

Забираю, одним словом, «Сеятеля» с «Цыганскими повозками», кладу в папку рисунок и отправляюсь в тот, первый салон. Что же вы думаете?.. Уже через полчаса я мчался в Институт. Мчался, как если бы за мной целым взводом гнались полицейские на мотоциклах.

Понимаете, пришел и попадаю на усатого старика. Он берет картины и рисунок, вертит, нюхает, чуть ли не пробует на зуб. Я тем временем повествую о древнем чердаке. Он кивает, да-да, мол, понятно, картины упоминаются, в письмах есть подробные описания каждой. Говорит, что сам всю жизнь посвятил изучению творчества Ван Гога и не может не признать, что рука его. Потом берет «Цыганские повозки» — не «Сеятеля», а именно «Повозки», — нажимает кнопку в стене. Шкаф с книгами отъезжает в сторону, открывается ниша, в которой аппарат, определяющий время изготовления того или иного произведения искусства. Лучи, углеродный или там другой анализ.

Представьте себе, на экране возникает надпись: «Порядок — до ста дней».

Как вам это нравится? Сто дней, то есть три месяца с того момента, когда краски положены на холст. Оно, в общем, и соответствует действительности, поскольку «Цыганские повозки» Ван Гог написал за два месяца до моего приезда к нему. Но я перенес вещь сразу через нулевое время, краски и в самом деле старились из-за этого не сто лет, а только сто дней.

Насчет «Сеятеля» же старик говорит, что наиболее пастозные места вообще не высохли и липнут. Но при этом он, видите ли, не сомневается в подлинности, а что касается портрета, то изображен, несомненно, я.

И смотрит на меня, спрашивая взглядом, как это все понимать.

Но ведь о существовании Временных Петель всем было известно. По интервидению хотя бы раз в неделю передают какой-нибудь фильмишко, украдкой снятый из-за кустов или с помощью сверхтелеобъектива с безлюдных скал. Каждый знает, что путешествие в прошлое возможно, хотя и разрешается только в исключительных случаях.

Я тогда скромненько забираю все свое имущество, ни слова не говоря, поворачиваюсь — и ускоряющимся шагом на улицу. Счастье мое, что все научные сотрудники Института в тот момент слушали доклад в конференц-зале. Врываюсь, хватаю ошеломленного Кабюса

за шиворот. Отдышался только, когда из камеры вылез.

За нарушение Закона об Охране Прошлого по головке не гладили. Я бы и костей не собрал в случае чего. Вполне могли взять и двинуть в меловой период без обратного вызова. Так, между прочим, тогда и поступали с рецидивистами — не можешь жить среди людей, давай к пресмыкающимся, за сто или сто двадцать миллионов лет до современности. Там не замерзнешь в тропическом предледниковом климате, пропитаешься растениями. Но словом не с кем перемолвиться, скука, и в конце концов сам предложишь себя на полдник какому-нибудь тиранозавру. А если преступников было двое, размещали с небольшой временной разницей — одного в такой-то момент, а другого только на сто лет позже.

Правда, в моем случае учли бы молодость. Так или иначе обошлось. До сих пор не знаю, позвонил ли старикан-искусствовед куда надо было. Скорее всего, да. Если так, за мной и на самом деле гнались, но не успели. Как только я сдернул завиток, «Сеятель» мгновенно оказался опять в галерее в Цюрихе, «Цыганские повозки» — в Лувре, рисунок дематериализовался, всякое упоминание о моем визите в Арль исчезло из писем. И мое посещение салона на бульваре Сен-Мари осталось существовать лишь у меня в памяти как альтернативный вариант, сменившийся другим.

Но тут, признаюсь вам, у меня опустились руки. Что касается Кабюса, он вообще лежит пластом. Да и сам я чувствую, что стена — даже если привезешь что-нибудь ценное из удаленных назад веков, все равно Петля сократит время, и либо тебя в подделке обвинят, либо поймут, что связан с Институтом. Как ни крути, выходит, что давность лучше не трогать и политики не зря отказались. А вместе с тем жалко ужасно. Вот оно, прошлое, рядом. Пока Кабюс в Институте, все мое — от двадцатого века до первого и дальше туда за великие китайские династии, за греческие лады, плывущие к Трое, за башни Ассирии и египетские пирамиды. Можно метнуть в пиратские времена, раскопать сокровища Кидда; хоть золото ничего не стоит, за старинные дублоны или древний кинжал немало отвалили бы ЕОЭнов. Но как добиться, чтобы они так старыми и остались, — никак ведь не добьешься.

Мои собственные накопления чуть ли не все истрачены, за три посещения ухнул пятьдесят тысяч Единиц.

Организованной Энергии. И вы знаете, как это бывает — еще каких-нибудь четыре месяца назад жил вполне довольный своим положением, на окружающих смотрел свысока, собой гордился, а теперь места не нахожу. И коттедж и свой личный флайтер последней модели — все опротивело, чувствую себя нищим по сравнению с тем, что мог бы иметь в случае удачной операции.

Хожу, кусаю губы. И как раз через неделю после моего возвращения утречком по телевидению сообщают о замечательной находке под Римом. Археолог-дилетант, копаясь в окрестностях Вальчетты, обнаружил в развалинах древнего храма погребенный под землей ход в стене, тайник, а в нем целую коллекцию превосходнейших античных камней — знаете, такие резные камни с рельефным изображением. Находка датируется двухсотыми годами до нашей эры — в этом сходятся мнения искусствоведов и показания прибора.

Вот, думаю, везет некоторым. А тут можешь прыгать в прошлое, и то ничего.

Приносят газеты. На первой странице заголовки о чудесных камнях Вальчетты. Высказывается предположение, что это часть сокровищ какого-нибудь римского сенатора эпохи цезарей, который в смутное время избиений и казней решил их припрятать. Тут же портрет человека, который раскопал потайной ход. Физиономия у него весьма решительная, как-то мало похожа на археолога-любителя. В аппарат не глядит, опустил глаза, стараясь прикинуться овечкой, а у самого рожца — бр-р-р-р-р!

Вечером вдруг звонит Кабюс. Пришел, сел. Мясся, мясся, потом говорит:

— Дураки мы с тобой.

— Почему?

— Да потому, что не надо было тащить картины Ван Гога в Камеру. Нужно было там их и оставить, в прошлом.

— Какой же смысл?

Он не торопясь берет газету с фотографией того счастливца с камнями. Смотрит на нее.

— Знаю этого типа. Он ко мне приходил еще до тебя. Только я побоялся связываться. С полгода назад было.

Тогда я хлопаю себя по лбу, потому что начинаю понимать. Парень нашел дорогу в итало-американскую Временную Петлю. Спустился в Рим эпохи цезарей, организовал там эти камни — скорей всего действитель-

но у какого-нибудь сенатора. Потом не стал возвращаться с ними через Камеру, а там же пошел в Вальчетту, разыскал храм, относительно которого ему было точно известно, что строение достойно до нашего времени. И ночью, чтоб никто не видел, запрятал свою добычу. Потом спокойно вынырнул в современность, раздобыл себе эти кисточки, которыми археологи орудуют, поехал в Вальчетту уже автомобильной дорогой, облачился в синий халат, взял лопату, поплевал на ладони и на следующий день поднял крик о находке. Конечно, для таких вещей надо иметь характер — в Древнем Риме с подвыпившими гладиаторами и всяким городским жульем зевать после захода солнца не приходилось. У вельможи, естественно, были телохранители, да и римская стража долго разговаривать не любила. Но, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Получилось, что камеи сквозь Камеру не прошли, две тысячи лет пролежали в стене, состарились, что и было показано аппаратами.

Думаю это я так, а потом обрываю себя. Но ведь ход и вообще все это место ученые тоже обследовали. Могли же понять, что раскоп свежий... И тут же поправляюсь. Нет, неверно. Важно не то, когда он раскапывал, а время создания тайника. А ход был в стене сделан именно двадцать столетий назад. Он ведь там его пробил, в первом веке, там же и заложил.

Вся проблема становится с головы на ноги. Доставлять ценности из прошлого в настоящее все-таки можно. Только надо их прятать там, а «находить» здесь...

Что вы говорите?.. «Почему не заподозрили этого молодца при его внешности?» Да потому, что вообще таких жуков, как «археолог» и мы с Кабюсом, мало осталось в мире. Народ стал доверчивый, все друг к другу отлично расположены, все открыто, заходи чуть ли не куда угодно. Это в моем случае уж слишком очевидно было, поэтому усатый старик так и смотрел.

Ну, не важно. Опуская подробности, скажу, что через двадцать суток я опять был в прошлом веке, точнее — в мае 1890 года, на окраине маленького городка Сен-Реми, где Ван Гог приютили в доме для умалишенных. Собственно, можно было отправиться вторично в один из двух периодов, мне известных, но все-таки я видел художника, когда он только начинал заниматься живописью, посетил и в середине пути. Теперь имело смысл посмотреть, каким Ван Гог будет к концу своей жизни, иначе осталось бы чувство незавершенности. Однако

самым важным соображением было, конечно, то, что именно в июле он завершил два наиболее знаменитых полотна: «Звездную ночь» и «Дорогу с кипарисами». На них я и прицелился — после всех неудач и бесполезных трат нас с Кабюсом мог выручить только большой куш.

Снова утро. Страж у ворот пропускает меня, ни о чем не спрашивая. В передней части парка аллеи расчищены, дальше запущенность, глушь. Вишня, за которой никто не ухаживает, переплетается с олеандрами, кусты шиповника спутались с дикими рододендронами, а на повороте тропинки, по которой я двинулся вглубь, стоит огромный засыхающий каштан, и его желтые, как осенью, листья застряли в космах перепутанной, некошенной травы. Женщина с корзиной белья попадаетесь навстречу, я спрашиваю, где мне найти Ван Гога. Это прачка, с мягким, робким выражением лица и большими красными руками. Она уточняет, имею ли я в виду того, «который всегда хочет рисовать», машет рукой в сторону здания, желтеющего вдали сквозь листву, и называет номер палаты — шестнадцать. Я пошел было, женщина меня окликает и говорит, что сегодня Ван Гог будет трудно кого-нибудь видеть — совсем недавно был припадок. Я хлопаю себя по карману и объясняю, что тут для него найдется утешение.

Желтое здание оказалось отделением для буйных — окна изнутри забраны решетками. Но двери центрального входа широко распахнуты — как те, в которые я вошел, так и с противоположной стороны главного корпуса. В длинном коридоре все палаты тоже открыты — с двумя, с тремя или даже пятью постелями. Блестит только что вымытый кафельный пол, ведро с тряпкой оставлено у стены, а со второго этажа слышны негромкие голоса двух женщин. Прикидываю, что выдался, вероятно, спокойный день, больные отпущены в сад, а обслуживающий персонал занят уборкой. Сквозняки гуляют по всему дому. Не сказать, что обстановка гнетущая, но щемят небрежно распахнутые двери — ими подчеркивается, что у обитателей комнат нет уже ничего личного, своего, неприкосновенного. Я прошагал весь коридор, повернул, оказавшись теперь уже в одноэтажном флигеле, дошел до конца флигеля и тут увидел номер шестнадцать.

Дверь приоткрыта, стучу, ответа нет. В комнате койка, покрытая серым одеялом, табурет в углу. На подо-

коннике рассыпаны краски, рядом куча холстов, внизу я увидел высунувшийся запыленный край «Звездной ночи».

Я сел на табурет и стал ждать. Издали доносились едва различимые звуки рояля — кто-то начинал и начинал жалобную мелодию, но, взяв несколько аккордов, сбивался, останавливался и брался снова.

Затем в коридоре послышались шаги, они приближались, я встал в своем углу.

Ван Гог вошел, пусто посмотрел на меня, медленно прошествовал к окну. И, признаюсь вам, мне стеснило сердце.

Я бы сказал, что он был смертельно ранен. Драма с Гогеном, сумасшедший дом в Арле, куда художника дважды заключали, продолжающаяся невозможность добиться признания — все это за два года прошло по нему, как автоматная очередь. Виски его поседел, спина сгорбилась, синие круги обозначались под глазами, которые уже не жгли, а, прозрачные, смотрели туда, куда другие не могли заглянуть. На нем был казенный халат, и я вспомнил по «Письмам», что приют для умалишенных именно в Сен-Реми был избран потому, что плата за содержание составляет здесь один франк в день и больных одевают за счет заведения — дела Теодора после короткого периода сравнительного благополучия опять пошли плохо, братьям приходилось экономить каждое су.

Все так, и при этом странное отрешенное величие было в его фигуре. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что уважаю его. То есть колоссально уважаю, как никого на свете. Понял, что уже давно начал уважать — со второй, а может быть, даже с первой встречи. Пусть он не умеет рисовать, пусть лица мужчин и женщин на его картинах картофельного цвета и с зеленью, пусть поля пашни вовсе не таковы, какими он их изображал. Но все равно в нем что-то было. Что-то такое, по сравнению с чем многое делалось подсобным и второстепенным — даже, например, атомная энергия.

Я превозмог свой трепет и стал говорить, что могу дать огромные деньги за его последние картины. Такую сумму, что он и брат не только снимут дом, но купят. Что они приобретут даже целое поместье, что будут приглашены самые замечательные врачи, которые поправят его здоровье и вылечат от припадков сумасшествия.

Он выслушал меня внимательно, потом поднял глаза, и его взгляд пробил меня насквозь.

— Поздно,— сказал он.— Теперь уже ничего не надо. Я отдал своей работе жизнь и половину рассудка.— Он посмотрел на груды холстов, с трудом нагнулся и бережно рукавом вытер пыль с верхнего. Это были «Белые розы». Губы его дрогнули, и он встряхнул головой.— Иногда мне кажется, что я работал, как должно. Что больше было бы не в силах человеческих и что этот труд должен принести плоды.

Затем он повернулся ко мне.

— Идите. У меня мало времени, я хочу еще написать поле хлебов. Это будут зеленые тона равной силы, они сольются в единую гамму, трепет которой будет наводить мысль о тихом шуме созревающих колосьев и о человеке, чье сердце бьется, когда он слышит это.

Последние слова прозвучали совсем тихо. Неловким движением он повернул мольберт к свету.

И, скажу вам, я отступил, не произнося ни звука, поклонился, вышел в коридор, проследовал через заброшенный сад в город, на вокзал — и был таков. Тихо и скромно, как овечка. Конечно, проще простого было дожидаться, когда Ван Гог выйдет за чем-нибудь из комнаты, зайти туда на одну минуту и взять что надо. Никто не стал бы меня останавливать в воротах. Никто не спросил бы, что я несу, а место в Сен-Реми, где холсты спокойно пролежали бы столетие, было уже подготовлено.

Но не смог. Не смог, даже понимая, что самому Ван Гогу несколько тысяч франков, оставленных на подоконнике, принесли бы больше пользы, чем два его полотна.

Вернулся в столицу Франции и прыгнул обратно к себе. Кабюс встречает меня у Камеры трепещущий, жадно смотрит на чемоданы. Но, правда, в поезде мною уже был подготовлен план, который я тут же и изложил. Объяснил Кабюсу, что не способен больше беспокоить ни самого художника, ни его родственников — пусть так и проживут, как прожили. Теперь надо действовать по-другому. Поскольку мы всё знаем и понимаем, в наших силах совершить грандиознейшую аферу, которая не только вернет затраченное, но обогатит нас на всю жизнь. Не будем тянуть по одной-две картины. Следует избрать время, когда художник знаменит, письма давно изданы и с его вещей сделано множество репродукций. Например, конец тридцатых годов нашего века — про-

изведения искусства уже дороги, но все равно в десятки раз дешевле, чем в 1996-м. Главное же то, что мы станем за них платить товаром, который в наше время почти ничего не стоит, — золотом.

Понимаете, меня осенило, что я вообще напрасно путался с подготовкой приличного костюма, доставанием современных Ван Гогу денег и всяким таким. Ведь можно было явиться в старый Париж чуть ли не в рубище, в первом попавшемся ломбарде заложить золотое кольцо, на полученные деньги одеться, продать затем браслет в ювелирном магазине, купить собственный выезд и так далее по возрастающей. При этом никакого риска, что попадешься, поскольку ничто из тобой предлагаемого не является ворованным и не разыскивается. Простая контрабанда, но не через пространственную, а через временную границу.

Продал я свой флайтер, заложил дом. Кабюс тоже где-то раздобыл ЕОЭнов или, во всяком случае, сказал, что раздобыл, — тут в целом была неясность. Понимаете, проверить энергетический баланс Института я не мог, а без этого как узнаешь, добавляет ли он вообще что-нибудь к моему вкладу. Известно было, что поездки в прошлое требуют огромного количества энергии, но какого именно, зависело от периода. С другой стороны, ему ничто не мешало сказать, что его доля больше моей или такая же, а он всегда говорил, что меньше. Правда, не очень-то я этим интересовался — пусть он даже втрое против меня заработает. Завидовать я вообще никому не завидовал, а тот парень с камнями меня расстроил только потому, что моя глупость вдруг оказалась очевидной... Наличных, кстати, я у Кабюса никогда не видел.

Ну ладно. Прежде всего взяли мы два плана Парижа — тридцатых годов и 1996-го. Задача состояла в том, чтобы найти здание — по возможности небольшое и обязательно принадлежащее частным лицам, — которое простояло бы последних лет шестьдесят без существенных изменений. Искали-искали и нашли. В старину место называлось проездом Нуар, в наше время — бульваром Буасси. Одноэтажный, но довольно массивный домик, который чудом удержался возле прозрачных громадин, ограничивающих Второй Слой с юга. Съездили туда, там, естественно, никто не жил. Мгновенно договорились с владельцами, что снимем его на полгода — они и деньги отказались с нас за это получать.

Недели за две я разместил заказы и собрал килограммов шестьдесят золотых и платиновых украшений с алмазами, сапфирами и прочим. Набил два таких чемодана, что далеко не унесешь. Кабюс приготовился, чтобы в ближайшие дни перебраться в тот домик, наладил мне Камеру — уже четвертый или пятый раз, не помню, — и ваш покорный слуга двинул в свое последнее, решающее путешествие, в год 1938-й. Я выбрал именно 38-й, чтобы не попасть к началу второй мировой войны, когда всем станет не до картин.

В общем-то, все было мне привычно. Без особых волнений возник со своим багажом ночью на бульваре — при мне отлично сфабрикованный паспорт с несколькими заграничными визами. Поехал на вокзал, взял билет до Брюсселя. Оттуда перекочевал в Роттердам, пароходом в Лондон, из Лондона на Гамбург, Кёльн, Лозанну в Швейцарии и опять в Париж. Мотался по Европе больше двадцати двух дней и за это время превратил все привезенное из 1996-го в наличные деньги. Вызвал даже панику на рынке драгоценностей — представляете себе, вдруг выбрасывается такое количество товара сразу.

В Париже разыскал проезд Нуар и наш домик. Хозяева оказались предками молодой женщины, которой предстояло владеть им через шесть десятилетий, но, само собой разумеется, были совсем другие люди. Я объяснил, что пишу роман, что нравится атмосфера старины и хотел бы поработать тут в полном одиночестве. Предложил тысячу франков за месяц — они не пожелали со мной разговаривать. Пообещал пять — они задумались, а когда сказал, что не постою и за пятнадцатью, спросили, можно ли им остаться еще до вечера.

Место было — лучше не придумаешь. Уличка пустая, безлюдная, одни только кошки греются на солнце да шмыгают из подворотни в подворотню. Дом стоит чуть в глубине, за ним глухая стена ткацкой фабрики, с одного боку склад, с другого — унылый сад сплошь в крапиве. Тут даже во дворике можно было бы зарыть в землю целый Кёльнский собор, и никто бы не заметил.

Въехал, разложил по комнатам свое имущество, зашторил окна, спустился в подвал. Смотрю, здесь пол тоже выстлан досками — это для меня и лучше. Набрал себе постепенно инструментов и взялся за работу. Снял доски, принялся вырубать в кирпичном фундаменте

тайник. Тогда как раз появились в продаже первые ламповые радиоприемники — громоздкие такие ящики, несовершенные, с хрипом, сипеньем. Зафугуешь эту махину наверху на полную мощность, а сам внизу долбаешь. Вручную, конечно. В ту пору даже электродрели не было. А кладка слежавшаяся — строили на века. Это в мое время стало, что лишь бы строение от ветра или сейсмических колебаний не свалилось да чтобы светло и уютно. А тогда запас прочности давали раз в двадцать больше, чем надо. Сперва шлямбур поставишь и лупишь по нему кувалдой. Потом ломом зацепляешь кирпич, наваливаешься, и он лезет со скрипом, как коренной зуб. По кирпичу в час у меня получалось, не больше. Иной раз так намахаюсь, что плечевой пояс весь звенит и в пору устраивать забастовку, требовать сокращения рабочего дня.

Возился я, возился — и сам все думаю: ведь небось через шестьдесят лет вперед в этот миг Кабюс сидит с женой в подвале, и оба ждут, что вот-вот проступит по кирпичам линия тайника. Интересно так было, что вот я здесь, они там, в одни и те же моменты, в одном и том же месте, но через время. Я чего-то сделаю, а там отражается.

Долго ли, коротко, но дело было сделано. Почистился и временно перебрался на жительство в отель «Бонапарт» неподалеку от Люксембургского сада, где могли предложить действительно необыкновенные для той эпохи комфорта и удобства.

Отдохнул и вышел в город.

Лихорадочное какое-то было времечко вот этот октябрь предвоенного 1938-го. Недавно Делады вернулся из Мюнхена и заявил на аэродроме, что он и Чемберлен «привезли Европе мир». Чехословакию отдали германскому фюреру, который с трибуны рейхстага торжественно заявил, что его страна не имеет больше никаких территориальных притязаний к кому бы то ни было. А Риббентроп, фашистский министр иностранных дел, тем временем пригласил к себе польского посла в Берлине Липского, чтобы потребовать от Польши город Гданьск, или Данциг, как он тогда назывался.

Но Париж еще не знал этого и праздновал наступление обещанной мирной эпохи. На Елисейских полях стоял чад от автомобилей, светящимися крыльями вертела новая «Мулен-Руж», в своих первых фильмах снялся этот, как его... Жан Габен. Юбки постепенно

делались короче, но то были, естественно, не минюбки, до которых оставались еще десятилетия. Народный фронт отгремел, ничего не боясь, буржуа отплясывали свинг в ночных ресторанах. Лилось шампанское, вошел в моду кальядос, который воспел потом Ремарк в романе «Триумфальная арка».

И конечно, Винсент Виллем Ван Гог был уже в полной славе своей. Все-таки он добился признания, мой вечный неудачник. Лицо, которое я так хорошо знал, появилось на страницах журналов, газет, даже на афишных тумбах. Печатались многочисленные статьи о нем, книги. Цветная фотография позволила заново репродуцировать его произведения. Несколько подлинников висело в Музее Родена, в Музее импрессионистов, а в Лувре как раз открылась большая выставка, куда было свезено около четырехсот вещей из Лондона, Нью-Йорка, из ленинградского Эрмитажа, Бостона, Глазго, Роттердама, из московского Музея изящных искусств, из бразильского города Сан-Паулу, даже из Южной Африки и Японии. То, что он писал и рисовал рядом с деревянным корытом или на холоде, дуя на замерзающие пальцы, то, что сваливал под ободранную койку или, голодный, с пустым, урчащим брюхом, волок на себе, перебираясь из трущобы в хижину, опять в трущобу и в сумасшедший дом, распространилось теперь по всем континентам, по всему миру. Эскизы, которые он набрасывал, упрашивая моряка или проститутку постоять несколько минут, композиции, что начинал, судорожно высчитывая, хватит ли денег на ту или иную краску, повсюду висели на почетных местах, путешествовали только на специальных самолетах и в специальных вагонах, многочисленная охрана сопровождала их во время перевозок. На открытии выставки в Лувре исполнялись государственные гимны, а ленточку перерезал посол республики Нидерландов об руку с министром просвещения Франции. Действительно, сбылись слова, услышанные мною тогда, в последнее свиданье,— что труд его принесет плоды. Ей-богу, мне хотелось, чтоб хоть краешком глаза он мог увидеть вспышки магния во время торжественной церемонии, очереди, что стояли с утра до вечера у входа в левое крыло музея, слышать звуки оркестра и разговоры в толпах. Но все это было невозможно, как невозможны вообще для человека путешествия в собственное будущее. Ван Гога уже почти полвека не было на

земле, никакая сила не могла вырвать его из скромной могилы, в Овере, где рядом с ним лег его брат.

Сам я между тем в силу неясного мне чувства все откладывал и откладывал первое посещение выставки. Пора было приниматься за переговоры относительно покупки картин, но я медлил. Задумчивое настроение овладело мною, было так приятно гулять осенними старыми улицами, выпивая стаканчик вина в маленьких кафе — некоторые рецепты, к сожалению, утерялись теперь, — слышать одинокий звук гитары из глубины сырого двора, улавливать запахи осенних листьев, которые, собрав в кучки, сжигали в садах и скверах. Во мне пробудилось ощущение истории; сравнивая Париж этой осени с тем, каким он был в 1888 и 1895 годах, со спокойной грустью я отмечал неумолимый ход времени. Город, правда, еще оставался старым городом, не существовало пока однообразных новых кварталов и всей системы перекрещивающихся многослойных дорог, которую стали создавать в семидесятых.

Вот так прогуливаясь, однажды утром я забрел на маленькое кладбище. Было светло, солнечно, пели птицы. Знаете, как у них бывает — начнет одна, затем, будто опомнившись, присоединяются еще две-три, а к этим целый десяток. Минуту длится концерт, внезапно все умолкает, и так до того мгновенья, когда кто-то опять не нарушит тишину. Я сел на скамью, прошла нянька с девочкой, неподалеку взад-вперед шагал тощий молодой поэт, шепча про себя стихи. Почему-то здесь мысль о смерти не казалась отталкивающей.

Я посмотрел на скромный каменный крест передо мной и увидел надпись: «Иоганна Ван Гог-Бонгер. 1862-1925». Понимаете, это была могила жены Теодора, о которой Ван Гог говорил в письмах как о «дорогой сестре». Той самой женщины с испуганным взглядом.

Значит, она умерла, сказал я себе. Впрочем, удивляться тут было нечему. Как-никак со времени моего знакомства с ней прошло больше четырех десятилетий. То есть прошло, как вы сами понимаете, для нормальной жизни, для исторического развития, но не для меня, который приехал в 1938 год примерно таким же двадцатипятилетним болваном, каким приходил тогда на улицу Донасьон в 1895-м.

Поднявшись со скамьи, я подошел ближе к чугунной оградке. Чуть покачивались ветки разросшегося жасмина, крест окружали три венка из искусственных

цветов, заключенные в стеклянные футляры по обычаю начала этого века. Я нагнулся, чтобы разобрать слова на полуистлевшей ленте, внезапно дрожь прошла по моей спине, а горло сжалось.

«ВЕРНОСТЬ, САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ» — вот что там было написано.

И — ударил первый гром. Я выпрямился; закусил губу. Неплохая была все-таки семья — Ван Гоги. Один рисовал, другой, отказывая себе, поддерживал его, а третья не позволила миру пропустить, бросить незамеченным то, мимо чего он уже готов был равнодушно пройти. Я вспомнил Иоганну, ее чуть вытаращенные глаза, достоинство, с которым она сказала тогда, что не продаст картины. Действительно, нужна была верность, чтоб заявить, что произведения полусумасшедшего отщепенца и неудачника необходимы человечеству. На самом деле требовалась любовь, чтоб долгие годы день за днем разбирать смытые, пожелтевшие листки, расшифровывать строки нервно бегущего почерка, слова и фразы на дикой смеси голландского, английского и французского, сопоставлять, переписывать, приводить в порядок. Но она взяла на себя этот самоотверженный труд, посвятив ему собственную жизнь, преодолела все препятствия, сумела убедить сомневающихся издателей и выпустила первый томик. Теперь ее давно уже нет, но к современникам доносится горькая жалоба Винсента из Хогевена, Ньюзена, Арля, его гнев и надежда.

Черт меня возьми!.. Смятенный, я вышел с кладбища и неожиданно для себя отправился в Лувр.

Приезжаю. Толпа, топтание на месте, медленное продвижение. Все, конечно, вежливо, доброжелательно... И разговоры. Сравнивают Ван Гога с другими импрессионистами и постимпрессионистами, ищут всяческие взаимные влияния. Одному нравятся портреты, другой восторженно говорит о пейзажах. Я же молчу и думаю, что все это гипноз. Спору нет, он был великий, прекрасный человек, однако, что касается художника, тут я останусь при своем мнении. Ни рисовать, ни писать маслом он не умел и не научился. Я же сам видел, как он работает, это мазня, а не живопись, меня не обманут критики и искусствоведы.

Проходим в вестибюль, приобретаем билеты. Служители по-праздничному приветливы и одновременно серьезные, как в храме. Мраморные ступени лестницы,

стихают разговоры, глуше, осторожнее становится шарканье ног.

Первый зал. Тесно... Я стою и почему-то не решаюсь поднять глаза. Затем поднимаю. Передо мной «Едоки картофеля», рядом «Ткач», «Девочка в лесу», «Старая башня Ньюнэн». Все хорошо мне знакомое.

Смотрю, и вдруг картины расширяются, увеличиваются, срываются с мест, летят на меня. Это как чудо, как фантастика. Грохочет гром, вступает музыка, и я опять там, на окраине Хогевена, в бедной хижине поздним вечером. Люди неподвижны вокруг блюда с картошкой, но в то же время двигаются, они молчат, но я слышу их немногословную речь, ощущаю мысли, чувствую их связь друг с другом. Такие вот они, с низкими лбами, некрасивыми лицами, тяжелыми руками. Они работают, производя этот самый картофель, грубую ткань, простые, первоначальные для жизни продукты. Они и потребляют многое из того, что делают, но какая-то часть их тяжелого труда в форме налогов, земельной ренты и тому подобного идет на то, чтоб у других был досуг, из этой части возникают дворцы, скульптуры, симфонии, благодаря ей развиваются наука, искусство, техника.

Мужчина протянул руку к блюду, женщина тревожно смотрит на него, уж слишком усталого,— почему-то он не ответил на ее вопрос. Старик дует на картофелину, старуха, задумавшись, разливает чай. Ей уже не до тех конфликтов, что могут возникать между молодыми, она знает, что маленькую размолвку или даже ссору поглотит, унесет постоянный ток жизни, в которой есть коротенькая весна, быстрые мгновенья любви, а потом все работа, работа, работа...

Я узнаю лампу, висящую над столом, закопченный потолок, узнаю самого мужчину. Вот сейчас я войду к ним, он неторопливо доест свою порцию, затем встанет, что даст мне возможность поговорить с художником. Он не получил никакого образования, ум его не изощрен и не быстр, но он выходит на темную улицу, зная, что «так надо», что должно помочь нищему чудак, снявшему у них угол.

Эти едоки картофеля как будто не оставили ничего сверкающего, заметного на земле и в общей летописи племен и государств, но их трудолюбие, неосознанное, почти механическое упорство, с которым они боролись за собственную жизнь и жизнь своих близких, позволи-

ли человечеству перебиться, перейти тот опаснейший момент истории, когда все держалось на мускульной силе, когда человек как вид в своем подавляющем большинстве попал в условия, пожалуй, худшие, чем у животных, когда уже кончилась эпоха его биологического совершенствования, но еще не вступили другие факторы. Им было трудно, крестьянам, ткачам с серыми лицами, но они позволили нам сохранить человечность и выйти в будущее, к возможностям глубокого, всестороннего контроля над окружающей средой...

С трепетом, с волнением я начинаю понимать, что же сделал Ван Гог — художник. Он оставил нам их, этих темных работяг, не позволил им уйти в забвенье. Но более того, он намекнул, что будущим изобилием благ, стадионами, театрами, вознесшимися ввысь городами-мегаполисами, каким, например, стал Париж к 1995-му, и всякими другими чудесами, которых еще и в мое время не было, мы обязаны и будем впредь обязаны не льющемуся с нашего светила потоку энергии, не гигантским силам, удерживающим вместе частицы атомного ядра, а человеческому сердцу.

Черт меня побери!.. Бросаюсь в другой зал, третий, обратно в первый. Расталкиваю народ, то застываю, то срываюсь с места. Смотрю на «Звездную ночь», что привезена в Лувр из Музея современного искусства в Нью-Йорке, и мне приходит в голову, что в звездах Ван Гог видел не только светлые точки, как все мы, но прозрел огромные короны, простирающиеся на миллионы километров, уловив всеобщую связь всего со всем, поэтическую зависимость нашей жизни от тех таинственных процессов, что происходят в космосе, — зависимость, которую лишь впоследствии открыл ученый Чижевский. И не только это! Меня осеняет, что, развиваясь от вещи к вещи, Ван Гог предвидел проблемы, которые лишь столетием позже стали перед человечеством, когда природа, будто бы уже покоренная, выкинула новый вольт, доказав, что нельзя быть ее господином, а только другом и сотрудником. Я вижу самодовлеющую ценность бытия, сложность вечно живущей материи, напряженно застывшую в яркости и резких контрастах его натюрмортов, чувствую в больших композициях трепет пульса биосферы.

А на пейзажах льется зеленовато-желтый дождь солнечных лучей, о котором он говорил мне в Арле, по-сумасшедшему закручиваются кипарисы, море пере-

ливается розовостью и голубизной, и все это обещает наступление тех времен, когда человек, освобожденный от заботы о хлебе, поймет наконец, как прекрасен мир, в котором ему суждено было родиться...

Что вам сказать? Целый день я провел в Лувре, а вечером уселся на скамью в Люксембургском саду и стал думать. Все это очень хорошо, картины, вот они, передо мной, я предложу невиданные деньги и, конечно, смогу приобрести большую часть их. Но, с другой стороны, скоро гитлеровцы в рогатых касках затопят Европу, и рядом с теми, кто борется против них, станут произведения великих художников, писателей, композиторов. В Голландии возникнет партизанский отряд имени Ван Гога, томик «Писем» найдут в вещмешке красноармейца, убитого на фронте под Ленинградом. Желто-зеленый солнечный свет будет нужен людям и в трудный послевоенный период, в сложные пятидесятые и тревожные шестидесятые. Так неужели же я окажусь таким последним мерзавцем, чтобы исключить Ван Гога из истории человечества, скрыть его как раз в то время, когда в нем более всего нуждаются?

Я встал, пошел в отель «Бонапарт», взял два своих чемодана, набитых долларами, влез в подземку, вылез около Двойного моста. Спустился под пролет к реке, устроился поудобнее, раскрыл чемоданы и принялся потихоньку бросать кредитные билеты в воду. Отщипывал стодолларовые бумажки по одной, они выскальзывали из моей руки, плыли метров десять, а затем постепенно тонули. Сел рядом оборванный толстенький бродяга. Помолчал, спросил, фальшивые ли. Я ответил, что настоящие. Он осведомился, сколько их тут у меня, я объяснил, что около полутора миллионов наличных и еще на три с половиной чеками. Он некоторое время смотрел, как я распечатываю пачки, и сказал:

— Оставь доллар. Возьмем вина.

Я дал ему долларовую бумажку, он принес большую бутылку молодого корсиканского. С ним я остался ночевать тут же под мостом, в дырявой палатке, а потом прожил там две недели. Отель мне опротивел, ни разу я не зашел ни туда, ни на проезд Нуар, где зиял в подвале развороченный пол. Кормились с бродягой у Орлеанского вокзала. То чемодан кому-нибудь поднесешь, то поможешь шоферу разгрузить машину — неплохо даже зарабатывали. Приятный человек был этот

толстенький. Все хвалил меня, что я спустил деньги в реку. Говорил, от них одна морoka.

Быстро пронеслись четырнадцать дней, настало тридцатое октября, когда меня должен был вызвать 1996 год. Явился я к двенадцати ночи на бульвар Клиши, становлюсь на знакомое место. Настроение отличное, только что устроили с бродяжкой прощальный ужин там, под мостом.

Смотрю на ручные часы — они у меня были, кстати, наши, кристаллические, но в «мозеровском» корпусе, ни уходить вперед, ни отставать не могли. Все точно, еще пятнадцать секунд — и прощай 1938-й.

Набрал в легкие воздух, чуть приподнял руки. Когда тебя в Камеру затягивали, на миг возникало ощущение, будто с вышки бросаешься в воду или, скажем, прыгаешь вверх с ракетным ранцем. Очень ненадолго, конечно.

Ну, думаю, пусть только Кабюс начнет свое всегдашнее нытье, пусть только слово посмеет сказать. Как врублю ему между глаз — узнает, корыстолюбец, как нарушать Всемирный Закон, торжественно подписанный представителями разных народов и эпох!

Пять секунд до срока... две... одна, и...

И ничего!

Удивился, решил, что сам мог ошибиться на минуту — не запомнил точно срок. Еще раз поднимаю руки. Секунды сыплются. Три... одна... ноль.

Опять ничего.

И вы знаете, так я и остался в вашей современности. Вызова не было ни в эту ночь, ни в следующую, ни всю неделю, что я туда приходил на бульвар. То есть остался я там, в 1938 году, а потом уже вместе со всеми, общим порядком, дожил, доехал вот до этого, 1970-го...

Что вы говорите? «Кабюс рассердился»... Честно говоря, мне и самому сначала так подумалось. Договоренность была, что я пробуду в 1938-м три месяца. Вот я и прикинул, что Кабюс с женой к концу этого срока взломали пол в подвале, увидели, что там пусто, и решили меня вообще не выдергивать. Но, с другой стороны, могло быть и совсем иначе. Тут вся штука в изменениях, которые нельзя предвидеть. Помните, у нас был разговор, что даже после того, как сдернут завиток, какие-то последствия твоего пребывания в прошлом все равно остаются. Я вам не говорил, что всякий

раз, когда я возвращался от Ван Гога, Кабюс менялся? На него и с самого начала девушки не заглядывались, результатом же моего первого путешествия было то, что нос у него еще вытянулся и скривился. После сдернутого завитка нос сделался короче, но остался набок. И так оно пошло. Когда я вернулся, прыгнув второй раз, он был уже не Кабюсом, а Бабусом и стал меньше ростом. После третьего путешествия физиономия у него стала совершенно как у хорька — знаете, такая вся собранная вперед. Я даже не скрыл своего удивления, он меня всегда спрашивал при выходе из Камеры, почему я так странно на него смотрю. Один раз заподозрил что-то и стал допытываться, не был ли он раньше красавцем. А после четвертого путешествия он был женат уже не на тощей брюнетке, а на маленькой блондинке, круглой, с тусклыми глазами и низким лбом. Однако Кабюс, конечно, только самый очевидный пример — то, что мне первое в глаза бросалось. Были и другие перемены.

Даже с Ван Гогом, между прочим, кое-что менялось. Смотришь его письма и другие материалы о нем до очередного путешествия, там одно, а когда возвращаешься — немножко не так. Вот сейчас я читаю в книгах, что «Едоков картофеля» художник написал в 1885 году, а когда я первый раз путешествовал, это был 1883-й. Правда, сама картина осталась совершенно той же. И, наконец, еще один важный момент. Чем ближе к своей собственной современности ты ворошишь прошлое, тем заметнее всякие побочные эффекты. То же самое, как если бы веселая компания облюбовала уютную бухточку на реке, а потом кто-нибудь поднялся бы вверх по течению и шулки ради вылил в воду ведро краски. Если он это проделает километров за десять от места, где сидят остальные, никто ничего и не заметит. А если в трех шагах, вода будет вся красная или там зеленая. Но ведь в последний раз я метнул именно в близкое прошлое, да еще наделал там шуму, распродавая драгоценности на несколько миллионов. Поэтому вовсе не обязательно, что Кабюс обозлился и обиделся. Могло быть, что в новом варианте истории он не стал техником при Временной Камере, не нашел лазейки, как замещать энергию, что мы с ним просто не были знакомы или что изобретение Временной Петли укатилось дальше в будущее. Более того, могло быть, что при осуществившихся изменениях, при другой

альтернативе я сам вообще не родился, как тот сержант в Рио. И некого было вызывать.

Так или иначе, я не вернулся в будущее, остался здесь. И, вы знаете, не жалею. Еще не известно, что из меня получилось бы в 1996-м.

Молодежь тогда уже пошла хорошая, об ЕОЭнах мало кто стал думать, мир быстро менялся. Я бы продолжал свои махинации — именно потому, что безопасно было, — зарвался, естественно, и в конце концов закатали бы в мезозой к птеродактилям.

А тут у меня жизнь хорошо сложилась, я доволен. В 39-м война началась, участвовал в Сопротивлении, потом женился, работал. Две дочери у меня, младшая кончает университет, старшая замужем, и внуки есть. Недавно поступил сюда в музей сторожем в зал Ван Гога. Все смотрю, как приходят люди, взрослые или мальчишки в клешах, круглоглазые девчонки. Стоят глядят, и каждому попадает в сердце зеленовато-желтый луч. И так мне приятно, что я не увел тогда картины...

Ага, вот уже звонок, сейчас будут закрывать, надо подниматься... Что вы сказали? Помню ли я, что должно быть от 1970 к 1996 году, какие произойдут события?.. Конечно, помню и мог бы рассказать все. Но только не имеет смысла... Почему? Ну, во-первых, потому, что я сюда попал и своим присутствием оказываю некоторое влияние. Но не это главное. Я же вам объяснял, неужели вы не поняли?.. «Ничего не делать?» Нет, почему же, как раз надо все делать. Будущее всегда есть, но каким оно там впереди осуществляется, зависит от того, как мы поступаем в своей эпохе. Ну, допустим, вы хотите что-то совершить, если выполнили свое решение, идет один вариант будущего, а струсили или заленились — другой, уже без вашего поступка. И так от самых мелких вещей до глобальных. Будущее — это бесконечность альтернативных вариантов, и какой из них станет бытием, полностью диктуется всеми нами. Я-то знал один вариант, но их бесконечность, поэтому ничего нельзя сказать наперед, за исключением самых общих вещей.

Так что вы не спрашивайте, каким будет завтрашний день. Хотите, чтобы он был великолепным и блестящим, делайте его таким. Пожалуйста!

Владимир Григорьев Образца 1919-го

рассказ

Эх, расплескалось времечко крутой волной да с пенным перекатом! Один вал лопнул в кипени за спиной, другой уж вздымается перед глазами, еще выше и круче. Держись, человечиска!

Но как ни держись, в одиночку мало шансов уцелеть. Шквальная ситуация. И крупная-то посудина покивает-покивает волне, глядь, уж нырнула ко дну, с потрохами, с мощными механизмами, со всем человеческим составом. В одиночку, поротно, а то и цельным полком списывал на вечный покой незабываемый тысяча девятьсот девятнадцатый год.

Пообстрелялся народ, попривык к фугасному действию и перед шрапнельным действием страх потерял. Пулемет «максим», пулемет «гочкис» въехали в горницы, встали в красных углах под образами, укрылись холстинами домоткаными. Чуть чего, дулом в окошко, суйся, кому охота пришла. А пуля не останавливает, так, ах, пуля — дура, штык — молодец! Такое настроение.

Что делать, кому богу душу дарить охота? Инстинкт самосохранения. Выживает, как говорится, сильнейший. А кто сильнейший? Винт при себе, вот ты и сильнейший в радиусе прицельного огня.

И так не всегда. Случится, так и организованная вооруженность не упадет от злой беды. Вот тут пятьсот мужиков, один к одному, трехлинейка при каждом, бомба на кожаном ремне болтается, и командир — парень что надо, лихой, глаз острый и своему и чужому диагноз в секунду поставит, да толку-то? С противной стороны штыков раза в три поболее, на каждый по сотне зарядов, и кухня дымит, вон из лесочка похлебкой-то как несет — зажмуришься. Американская тушенка! А тут вот пятьсот желудков, молодых, звериных и трое

суток уж чистых, как душа ангела-хранителя. Защи-
тись-ка!

Пятьсот горластых, крепких на руку, скорых на сло-
во, с якорями на запястьях, с русалкой под тельни-
ком — мать честная, не шути, балтийские морячки,
серьезный народ, и в душе каждого, над желудочной
пустотой, как в топке, ревет одно пламя:

— Вихри враждебные!

Нет, не до шуток нынче. Пятьсот много, а было-то
две тысячи штыков, да сабли прибавь, где они? Ржаве-
ют в сырой земле. Пали товарищи на прорыве к новой
жизни, остались в жнивье, по болотам, в лесах, на по-
лустанках. Теперь и оставшимся черед пришел. Колчак
с трех сторон, с четвертой болото, ложкой не расхлеба-
ешь, поштучно на кочках перебыют с аэропланного по-
лета. Велика, как говорится, Сибирь, а ходу нет, хоть
тайга за спиною. Встало проклятое болото поперек
спешного отступления, как кость посреди горла.

Отрыли моряки поясные окопчики, погрузились в зем-
лю, ждут. Вечер на землю пал, звезду наверху вынесло;
минует осенняя ночь, а поутру и решится судьба бал-
тийского полка. Плеснут русалки на матросской груди
в последний раз вдали от родной стихии и камнем пой-
дут на дно. Ясно.

Без боя швартоваться на вечный причал, однако,
никто не собирается. Такого в помине нет. Характер не
позволяет. Последний запас — пять сбереженных зал-
пов, гранаты в ход, потом в штыковую на «ура» — ина-
че никак.

Вечерняя полутьма все гуще наливается синевой, одна
за другой прибывают звезды на небесном куполе, чи-
стенские — заслуженным отдыхом веет с далеких со-
звездий.

— Хороша погода, — сожалея, вздохнул матрос
Федька Чиж со дна окопа. Он устроился на бушлате,
руки под голову, считает звезды. Других интересов не
предвиделось.

— Погода хороша, климат плох, — мрачно отозвал-
ся комендор Афанасий Власов. — Пора летняя, а тут
лист уже сжелтел. Широты узки.

— Перемени климат, Фоня! — крикнул вдоль тран-
шеи наводящий Петька Конев. — Момент подходящий.
Поздно будет.

— Да, климат, — сказал Чиж. — Плавал я по Сре-
диземному, вот климат. Вечнозеленая растительность.

При социализме она, слышал я, братцы, на весь мир распространится.

— Ну, братишка, тропики нам в деревне ни к чему,— резонно возразил комендор Афанасий и хотел было развивать этот тезис, но тут хлопнули выстрелы, сначала ружейные, потом очередь за очередью из пулемета. Народ в цепи поутих.

— Балуют холуи. Патронов девать некуда,— с чувством высказался Федька Чиж и поднялся осмотреться.

— Дьяволиада,— озадаченно сказал Чиж, насмотревшись вдоволь,— какой-то тип бродит. По нему клет. А ну, посмотри еще кто, может, мерещится.

Люди зашевелились, многим хотелось посмотреть, как человек гуляет под пулями.

Действительно, неподалеку от окопов какой-то человек, петляя взад-вперед, нагибался, приседал и шарил в траве руками, будто делал зарядку или собирал землянику. Иногда он выпрямлялся и неторопливо вглядывался туда, откуда хлестал пулемет.

Матросская цепь поднялась целиком, всем наличным составом, молча ожидая развязки событий. И все же поиски смельчака окончились, видно, успешно.

— И-о-хо-хо! — крикнул он гортанно, извлек из травы какой-то предмет, подбросил его и ловко поймал на лету, после чего еще раз огляделся и пошел, пошел прямо на матросскую цепь. Пулемет, замолчавший было на перезарядку, затарахтел что было мочи, но человек маршировал затылком к нему, не оглядываясь, точно имел бронированный затылок.

Матросы по-прежнему молчали, в упор рассматривая незнакомца. Был он долговяз, но не сутул, одет легко, вроде бы во френч, в движениях точен и свободен. Он как бы примеривался прыгнуть в окоп, но, может быть, рассчитывал и повернуть, а возможно, мог запросто раствориться в воздухе, рассосаться. Предполагать можно было всякое, но в последнем случае все стало бы на свои места — видение, и точка!

— Летучий Голландец, мать честная! — хрипло сказал комендор Афанасий и перекрестился.

— Интеллигент, так его растак,— пробормотал Чиж, не отрывая глаз от видения, а руки от маузера, и тоже перекрестился. Незнакомец замер прямо напротив Федьки и внимательным взглядом пугал матроса.

— Давай сюда, браток,— осмелев, предложил Федька, подвинулся, и видение одним легким прыжком оказа-

лось в окопе. Тогда матросы, кто стоял ближе, бросились к перебежчику, чтобы увидеть его в окопе лично.

— Большевики? — холодно спросил неизвестный, бесцеремонным взглядом ощупывая людей, точно пришел сюда вербовать самых дюжих и выносливых.

— Большевики, сам кто таков? — дерзко крикнул со своего места Петька Конев. — Докладывай!

— Не из тех, не из тех, если быть точным, — корректно ответил пришелец.

— Цыпленок жареный, значит! — распаляясь, жарко выдохнул Конев.

— Задний ход, мясорубка тульская, — властно осадил комендор Афанасий. — Не у попа на исповеди.

— Гражданин, — строго спросил комендор перебежчика. — С какими делами прибыли?

— Требуется отряд красных. — И всех резанул неуместный глагол «требуется», как из газетного объявления. — Судя по всему, он окружен, а мне такой и нужен.

— Судя по всему? — комендор значительно выгнул бровь и оглянулся в темноту на товарищей. — Это так, граждане военные моряки?

В цепи молчали.

— А что собирали в траве?

— Прибор искал. Уронил здесь прибор.

Шестым чувством комендор понял, что лучше уж не трогать ему этого прибора, прекратить опрос.

— Вот что, — посомневавшись, сказал он. — Чиж, проводи-ка задержанного в штаб. Доложи.

И двое, балтийский матрос Федор Чиж, другой — совершенно подозрительный человек, растворились в темноте, завершив тем странную сцену. И тогда по окопам зацвели махорочные огоньки, зашумел разговор.

— Вот как на войне бывает, — говорил комендор Афанасий. — Одному и осколка довольно, другому и кинжальный огонь нипочем. Субординация господ бога!

* * *

Ночь полегла всей своей погожей, легкой тяжестью на землю. Она опустила с вязкими ароматами, незябкой поначалу прохладой, выпустила над горизонтом серп месяца, чтобы замедлить биение сердца человеческого, дать покой живому.

Действие ночи не проникло, однако, внутрь командирского блиндажа, хоть и защищал его всего один

скорый накат. В клубах едкого дыма махорки, под чадной керосиновой лампой командный состав, видно, уже не первый час колдовал над картой, глотая горячий чай без сахара.

— В ночной бой они не пойдут,— назидательно, будто обращаясь к непосредственному противнику, говорил командир полка, латыш Оамер.

— Потерь больше. Выгоднее с утра.

Он хлебнул кипятка и твердо посмотрел на комиссара, потом на заместителя, желая, чтобы ему начали возражать. Но возражений не было, а комиссар Струмилин даже улыбнулся ему углом рта.

— Даешь полярную ночь,— прохрипел он сорванным голосом.— Ночь тиха, ночь тепла...

Он улыбнулся другим углом рта, но тут закашлялся, и лицо его мгновенно осунулось, поблекло.

— О ночном бое можно только мечтать,— сказал он, откашлявшись.— Предлагаю мечтать на улице, чудесный воздух там...

Тут хлопнула дверь, и под лампой встал матрос Федор Чиж.

— «Языка» привел,— сказал он шепотом, чтобы слышали только свои, и взглядом указал на дверь и еще дальше, за нее.— Перебежчика. За дверью оставил, на улице, в кустах.

Лицо матроса дышало загадочностью, энтузиазмом, и не сам факт пленения «языка», от которого теперь уже проку ждать не приходилось, а именно эта жизненная энергия, скопившаяся на лице конвойного, пошевелила души командного состава.

— В кустах оставил? — удивился командир.

— Не убежит,— спешно заверил Чиж, прислонил винтовку к столу, а сам сел на скамейку рядом со стаканом чая.— Свой человек. Идеальный.

Командир, заместитель с сомнением посмотрели друг на друга, а потом вместе уставились на матроса.

— Ты, братишка...— начал было заместитель, но тут в дверь осторожно постучали, и негромкий голос сказал из-за двери:

— Можно войти?

И с этими словами идейный перебежчик собственной персоной объявился в командирском блиндаже.

Нет, никак не походил странный перебежчик на своего. Свои сейчас, как один, по всей республике одного оттиска. Лица серые, что непросохшая штукатурка, глаза воспаленные, нервное спокойствие в углах рта и в теле недостача килограммов на пять-шесть по сравнению с довоенным весом. Снять с пояса маузер, так хоть иконы с них пиши.

А этот кровь с молоком, щеки лаковые, прямо девушка. Сапоги балетные, вошьенные, будто сейчас денщик душу в эти голенища вкладывал. А еще куртка, вроде замшевая, на швах с кокеткою, без единого пятнышка.

Командир смотрел на щеголя прищурясь, как в ярмарку смотрят на породистого жеребца. Взгляд заместителя, примеряясь, проехался по шикарной куртке неизвестного и стал бесстрастным, как будто не встретил на своем пути ничего замечательного; предупредим, однако, что глаза его обретали бесстрастность именно в минуты чрезвычайных обстоятельств. Комиссар тоже смотрел во все глаза — весело, как смотрят мужчины на непочатую бутылку первача; будто кто-то пошутил остро, притом непакустно.

Короче, непутевый вид перебежчика поразил присутствующих, и поразил нешуточно. Напротив, субчик джентльменского вида удостоил личности присутствующих вниманием, до обидного малым. Окинув всех троих единовременным взглядом, он как бы исчерпал вопросы, естественные при первом знакомстве, и интерес его переключился на скудную, походного качества утварь блиндажа. Молчание между тем вошло в состояние невыносимости.

— Вот, значит, как, — подвел итоги перебежчик. — Небогато.

— Вы, судя по всему, привыкли к более роскошной обстановке, — сумрачно заметил командир. Подозрительные предположения уже кружились у него в голове, и он наконец дал им ход.

— Роскошь? — рассеянно удивился перебежчик. — Я категорически против нее. Лишний вес.

— А мы за роскошь, — строго сказал командир. — За такую, чтоб для каждого. Нужники из золота отличать будем!

— А я слышал,— голландское, кафельное лицо гостя исполнилось хитростью,— что за бедность вы. Чтоб все были бедными.

От этих белогвардейских слов золотые очки командира, металлическое будущее коих определилось, подпрыгнули; заместитель же, который до последней секунды ничем не выдавал своего отношения к событиям, сделал шаг назад, в темноту, и глаза его загорелись оттуда огнем. Комиссар Струмилин выпустил в сторону этих огней мощную струю табачного дыма и вот что сказал:

— Кто так говорит, отчасти и прав. Пускай мы за бедность. Но «бедность», «богатство» — эти понятия не имеют точного определения. Они существуют только во взаимоотношении. Не так ли?..

Все промолчали.

— Поэму «Кому на Руси жить хорошо» помните?

— Помню! — воскликнул матрос Чиж, который уже опростал первый стакан командирского чая и теперь желал вступить в общий разговор.

— Так вот,— голос комиссара окреп,— вспомните: бедные ли, богатые, а счастливых нет. А потому отбросим на время промежуточные понятия и скажем так: мы за общество, где человек был бы счастливым. А?

И он вопросительно взглянул на гостя. Но тот и глазом не моргнул.

— Вы сможете определить понятие счастья? — Гость снисходительно усмехнулся.

Комиссар тоже усмехнулся. А замечали вы, если собеседники уже начали усмехаться, оставаясь внешне спокойными, значит, разговор прошел критическую зону и, значит, один из собеседников начал брать верх.

— Ну что же,— глаза комиссара Струмилины смеялись,— начнем. Счастье — такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании идет по его воле и желанию.

Незнакомец теперь в упор смотрел на комиссара, точно тот отсалютовал перед его очами лезвием шашки и бросил ее в невидимые ножны. В правой руке незнакомец держал странную шкатулку, всю усеянную дырочками, ту самую, что подобрал в поле.

— Что это? — спросил командир.

— Орбитальный передатчик,— вскользь ответил незнакомец, не заботясь о доступности сказанного.—

У вас есть еще формулировки? Вы их придумываете? — спросил он тревожно.

— Это Кант. Старина Кант.— И голос комиссара потеплел, как если бы речь шла о его драгоценном живом или мертвом товарище.

— Заметьте акценты: «разумного существа», «все в существовании», «все!», «по его воле». Так вот, мы за счастье. А теперь сами разберитесь в соотношениях с этим бедности и богатства.

— Кант, Кант,— бормотал между тем незнакомец в свою шкатулку,— запомнить, обязательно запомнить.— Из чего мы должны заключить, что интеллигентность, в которой заподозрил его Чижевский еще в окопе, была скорее всего чисто наносной, ибо даже полуинтеллигент должен бы знать имя великого прибалтийского мыслителя, прахом легшего у руин кафедрального собора в городе, где жители ставили по его прогулкам механизмы карманных и навесных часов и никогда не ошибались.

— Ах, товарищи! — внезапно вмешался заместитель из своей тьмы.— Неправильную линию вопроса взяли. Бедность не порок, счастье не радость! Слюни, понимаешь, распускаем. Его, может, и забросили, чтоб он тут дезорганизовывал, зубы заговаривал. А правильная линия — вот она.

Сделав шаг вперед, он оказался у лампы и властно кинул руку вперед, пятерней наружу.

— Документы!

И под дерновой в один накат крышей землянки повисла тишина.

— Документы? — Незнакомец явно не хотел понимать, о чем его спрашивают.— Документы спрашивают,— сказал он в ларчик с дырочками, будто советуясь с кем-то.— Какие документы?

— А вот такие! — страшно вскричал заместитель, чуя, что нет у незнакомца никаких документов, и отработанным движением выбросил руку вперед. В пальцах его белела картонка с крупным, затертым на конце словом «мандат».

Незнакомец затравленно осмотрел картонку, поразмыслил и нехотя произнес те слова, после которых, собственно, и началась фантастика чистой воды.

— Ну если точно такой...— Ответным взмахом руки он выдернул из потайного кармана белый квадрат и поднес его к лампе. Крахмальная поверхность предьявленной картонки была девственно-чистой.

— Эт-то зачем? — еще не понимая, спросил заместитель.

— Документ, — пожал плечами щеголь-перебежчик, и тут все различили, как на бланке крупно проступило «мандат», а затем вышли и остальные слова вместе с фамилией обладателя. Но фамилия-то была заместителева!

Короче, в руках замечательного щеголя оказалась копия документа, и какая копия! Лакированная, на александрийском картоне, не захватанная пальцами караульных. И как только на праздничной картонке вызрела последняя точка, документ пошел по рукам.

— Лихо! — заметил командир, кончив осмотр.

— Лихо! — в один голос подтвердили Чиж и Струмилин.

— Лихо-лишенько. Липа, — изумлялся заместитель.

— Теперь далее, — пресекая эмоции, продолжал таинственный плагиатор. — Беру чернила, выливаю на сапог.

И этот чистюля бесстрашно плеснул полсклянки фиолетового состава прямо на замшевую свою кожанку и голенища сапог.

— Пропади пропадом буржуйское барахло, — радостно одобрил Чиж, матросская душа. — Говорил же свой в доску! — А заместитель, хозяйственный мужик, только крикнул ввиду столь злостной порчи облюбованного добра.

Но нет, не получилась ведь порча народного достоинства. Химический состав, как живая ртуть, сбежал по голенищам вниз и лужицей собрался под ногами экспериментатора.

— Не пачкается, не мнется, — рокотал гость тоном коммивояжера. — Пусть никого не смущает мой свежий вид. Весь на самообслуживании. В общем, бросьте сомнения. Перед вами не шпион, не провокатор. Да и незачем к вам шпионов засылать, все известно. Исход решат вот эти батареи.

Он набросал на листе план позиций белых, и все склонились над чертежом.

— Согласуется с нашими данными, — сказал наконец командир и сухо, очень сухо спросил: — Ваше мнение, что ничего поделать нельзя?

— Самим вам ничего не поделать, — взвешивая слова, подтвердил неизвестный, — помочь может только чудо.

— А чудес на свете не бывает,— подытожил командир, воспитанный на отсутствии чудес, и что-то штатское, семейное проступило в его облике, потерявшем на мгновение официальность. Секрета нет, даже министр, охваченный грустью, лишается своей официальности.

— Этого я не утверждал, насчет чуда,— осторожно возразил неизвестный и отпустил комиссару особенный взгляд.— Не говорил.

Комиссар перехватил взгляд неизвестного, выдержал его, и сумасшедшая, нелепая мысль обожгла голову Струмилина.

— Вот что,— сказал он собранию,— времени до утра в обрез. Разойдемся по цепи. А я с товарищем еще потолкую.

И, сгибаясь в двери, люди поодиночке вынырнули из прокуренного блиндажа в ночной воздух осени. Заместитель выманил за собой Струмилина.

— Ты эту гниду на пролетарской груди не пригревай,— люто прошептал он во мраке, под звездами.— Верь моему политическому чутью.

— Ну, ну,— усмехнулся Струмилин.

— С мировой буржуазией, товарищ Струмилин, перед лицом смерти заигрываешь. Не «ну, ну», а мнение свое куда надо писать буду, коли в живых останусь. Запоешь!

— С богом,— сказал Струмилин и шагнул в блиндаж.

Итак, сумасшедшая, нелепая мысль котельным паром ошпарила трезвый ум комиссара Струмилина.

«Этот человек совершит чудо!» — горячо разлилось под черепом комиссара и быстро там затвердело, приняв форму утюга или сахарной головы, словом, чего-то угловатого и вполне предметного.

Убежденный материалист, Струмилин еще и сам не понимал, каким образом он мог войти в столь чудовищный разлад со всем своим теоретическим багажом. Надеяться на чудо! В цепи его размышлений еще не хватало какого-то важного звена, и, вероятно, в мирной гражданской обстановке отсутствие этого звена пустило бы ход мысли на рельсы другого, короткого пути, в тупике которого состав силлогизмов лязгнул бы на тормозах строкой:

— Человек этот жулик и шарлатан!

Но сейчас, в нервном перегаре, когда часовой стрелке оставалось перейти лишь несколько делений, чтобы

замкнуть контакты адской машины смерти, гибели полка — в пороховом пламени и чаду! — чудесные действия незнакомца, необыкновенный вид и многозначительная игра слов взывали не к ходу будничной логики, а к трепетному движению той заветной интуиции, наличие которой не каждый признает, ибо не каждого господь наградил ею.

«Совершит чудо!» — головешкой тлео в угольных бункерах души Струмилина, и, затаясь, он ждал, когда останется с незнакомцем наедине. И вот он вошел в блиндаж, чтобы утвердиться в невероятном предположении или покончить с ним, уйти от щемящего сердце наваждения.

Дверь хлопнула, пламя коптилки легло набок, и тень перебежчика метнулась по стене, будто ее пугнули врасплох или ткнули в грудь. Сам же перебежчик стоял непоколебимо в тусклом свете горящего керосина и только шептал в дырочки своей чертовой шкатулки, шептал и прикладывался к ним ухом.

Комиссар прислушался. Тень перебежчика, показавшись, встала на место, и Струмилину почудилось, что это она бормочет призрачные, невесомые заклинания, а сейчас шагнет к Струмилину и скажет в полный голос что-то окончательное, роковое, по-русски. Шаманские, на погребной сырости замешенные слова копила в себе эта шкатулка.

«Не немецкий, — быстро определил комиссар. — Не французский. Не английский. Чешский? Нет».

— Ну... — сказал себе комиссар, поправил пояс, строевым шагом подошел к неизвестному, положил ему руку на плечо, взглянул в упор холодным взглядом, хорошо известным в балтийском полку и за его пределами, а также еще одному деятелю, который вел, вел-таки однажды комиссара под дождичком, вел и поставил спиной к гнилому дубу, матерился и прицеливался...

— Вот что, дорогой товарищ! Помогай, сделай что можешь.

Итак, они замерли друг против друга, и зрачки их соединились на одной прямой, на струнной линии, тронь — зазвенит.

— Значит, вы догадались, что я могу помочь? — нехорошо, капризно усмехаясь, спросил неизвестный. Волна злобы подкатила к горлу Струмилина. Лицо его дернулось. — Да не могу я вам помогать. Не велят, —

простонал человек,— фильм запорем. Мы фильм снимаем, монтируем на документальных кадрах. В финале полк красных гибнет. Оптимистическая трагедия. Эффектные кадры. Чтобы найти их, мы сотни витков намотали на орбите, зондировали. Энергии потратили прорву.

— Да снимете еще фильму! Разыграете, в конце концов, с актерами! — в отчаянии закричал комиссар.

— Не снимаем игровых. Игровой лентой на нашей планете не убедишь. Тошнит зрителя от недоверности, от актерских удач. Актер на экране — пройденный этап. Для нашей планеты вообще вся ваша жизнь — наш пройденный этап...

Глубоко вздохнул от этих слов комиссар Струмили́н. Вот оно, недостающее звено логики — «на нашей планете». Из других миров. Жюль Верн наоборот. Из пушки на Землю. Сказка, черт ее подери! Но теперь его интересовала только утилитарная сторона сказки, спасение пятисот душ полка, позарез нужных революции ребят, ради них заложил бы он свою душу не токмо небесной звезде, но и падшему ангелу, самому дьяволу, пади он только с подоблаков на грешную землю.

— А почему такой финал фильма, с кровавой развязкой? — ровно, овладев дыханием, спросил комиссар.

— А бог его знает. Считается эффектным. Я-то лично специалист по счастливым концовкам. Именно в них я достигаю полного самовыражения. Так нет, послали именно меня. Сказали: «Нужно изобразить смерть через зрение оптимиста».

— Нет, я рад, что послали именно вас,— поспешно заявил Струмили́н.— Нам тоже по душе счастливые концовки. А собственно, что у вас за сценарий?

— Сценарий-то роскошный. Переворот в огромной стране. Крушение аграриев. Консолидация тузов зачаточной, но все же промышленности. Движение плебейских масс. Вожди той и другой сторон. Личные трагедии. Исторические решения и ошибки. Взаимосвязанные события в других частях планеты. Батальные эпизоды во всей их красе.

Незнакомец говорил с пафосом и вместе с тем достоверительно, как профессионал говорит с равным профессионалом.

— Прделана колоссальная работа. Многократный зондаж с первоначальным выходом на Землю, постоян-

ный зрительный контроль за важнейшими событиями с орбиты — в наших руках глобальная картина движения всего общественного процесса. Наш математический автомат произвел нужные подсчеты и построил функциональную модель токов основных событий на ближайшие годы. Выяснилась удивительная деталь — победа революции неминуема.

— Это неудивительно, она победит, руку на отсечение! — перебил комиссар Струмилин, глаза его грозно и холодно сверкнули.

— На отсечение вы предлагали и голову, не далее как поутру, — ляпнул вдруг марсианин и тут же осекся: таким холодом повеяло из глазниц комиссара. Он кашлянул. — Так вот какие кадры мы привезем домой. Успех обеспечен потрясающий. Тем более что мы совершенно случайно наткнулись на вашу планету. Так сказать, экспромт.

— Зрелище получится грандиозным, — согласился Струмилин, — но дайте же ему счастливый конец! Вы же специалист, в конце концов, по счастливым развязкам. Не насилуйте себя. Искусство и насилие над художником несовместимы. Организуйте чудо, спасите балтийцев, а потом что хотите, ну, скажем, посетите штаб белых, полковника Радзинского. Чрезвычайно эффектный этюд, уверяю вас, а?

Неземной человек упрямо молчал.

— Да вы хоть представляете, за что сейчас кровь льется? — сердито и устало спросил Струмилин. Ему надоело уговаривать чужака, свалившегося с неба, откуда видно все и вместе с тем ничего.

— С глобальной точки зрения? — учтиво, по-профессорски спросил этот холеный представитель того света. — Ну примерно так. Развитие производительных сил, способа производства вошло в конфликт с общественным укладом.

— Политэкономия! — отмахнулся комиссар. — А кровь, кровь человеческая, сердце, душа живая гомо сапиенса — этих категорий нет в политэкономии, — отчего этот материал идет в смертный бой и чего жаждет? Оттого, что впервые в истории сердце человеческое ощутило реальную возможность идеального общества. Ведь жизнь любого была позорно униженной либо возвышенной, но преступной в принципе. Еще совсем недавно большинство людей было закрепощено. Власть вершили лица, которых народ в глаза

не видел. А высшие проявления человеческой психики?

Внезапным движением Струмилин бросил руку за спину, будто хватаясь за кобур у маузера, ловко выдернул из полевой сумки растерзанную книжонку и прочитал заголовок:

— «Голод, нищета, вымирание русского народа как следствие полицейского режима», издательство «Донская речь». Лет двенадцать назад эту брошюру можно было купить в любом киоске России, сейчас уникальный экземпляр. Почитайте на досуге.

Повинуясь слову «уникальный», межпланетчик покорно принял подарок и бережно сунул его за пазуху, причем куртка как бы сама втянула в себя экземпляр, и, заметьте, ни прорезей, ни щелей в материале видно не было. Недаром замечательная курточка так понравилась заместителю командира, хозяйственному мужику.

— Да, вы уже говорили об обществе, где каждый будет счастлив в соответствии со своей способностью к счастью,— напомнил он комиссару.

— Вот! — подтвердил Струмилин, загораясь, точно будущее уже маячило за хлипкой дверью блиндажа, высунуть только руку наружу и пробуй на ощупь. Он уже видел это общество счастливых, марширующих навстречу ослепительным радостям земного благополучия, этих гармонически развитых, а потому прекрасных телом и душой мужчин и женщин. Побеждает тот, кто рано встает,— победа за пролетариатом!

Мы построим такое общество,— трепетно обещал комиссар.— И в нем не будет места монархам, диктаторам, деспотам, самодурам. Улицей командует уличный совет, городом — городской, страной — государственный совет. Советская власть — выборная, единая и неделимая! С позором рабского существования будет покончено. Такому не бывать. И для того мы идем в наш последний и решительный бой!

С каждой своей фразой комиссар испытывал все больший подъем, и вера в справедливость сказанного комком поднималась от сердца выше и выше и уже ключом была где-то в горле, и теперь имели смысл не сами слова, а то, как они были сказаны,— пружинно, на втором дыхании прирожденного трибуна, каким Струмилин и был, на том замесе отчаянности и убежденности, который не раз был брошен в хаос и гул

тысячной митинговой толпы, в поле, колосющееся штыками, и направлял острия штыков в одну точку, как магнитный меридиан правит компасную стрелку точно на полюс. И будь сейчас перед Струмилиным пусть даже не один заезжий с далекого нам созвездия, а хоть сотня таких молодцов, заряда комиссарской души хватило бы, чтобы электрический ток побежал в хладнокровном сердце каждого из них, и вера комиссара вошла в сердце каждого, и каждый бы сказал:

— Прав товарищ Струмилин!

Крутой лоб комиссара покрылся холодным потом, скулы заострились, но в глазах по-прежнему трепетали язычки ледяного огня, а взгляд уходил далеко, сквозь единственного слушателя, тянул след как бы поверх голов невидимого собрания, так что марсианин скрипнул лаковыми сапогами, повернулся и удостоверился, нет ли кого еще позади. Но нет, никого не было...

— Неужели снимали? — удивился Струмилин, приходя в себя.

— Все снимается, что вокруг. Все. Съемочная аппаратура — вот она, — удовлетворенно оскалился кинооператор и потрепал материал куртки. Комиссар еще раз внимательно посмотрел на нее, подумав, что неплохо бы такую штуковину презентовать Академии наук, что с такой курточкой не один сюрприз можно было бы ткнуть в нос мирового эмпириокритицизма.

— Да, у вас программа-максимум, — сказал марсианин, возвращаясь к главному разговору. — Нам для подобных результатов понадобились эволюция и жизнь многих поколений.

— Так то же эволюция. Э-во-люция, дорогой ты наш товарищ с того света! — загремел жестяным смехом Струмилин. — А у нас революция. Разом решаем проблемы. Оптом и в розницу.

— Нелегко вам будет, ох нелегко, — сочувствовал нашим бедам гость и с острым любопытством глядел на комиссара, как бы ожидая от этого человека, сбросившего с лишним весом и все сомнения, новых открытий, качеств, завидных оттого, что их нет в себе самом. — Ведь это то же самое, что разобрать на части, скажем, паровоз и из полученных частей пытаться собрать электровоз — машину, принципиально новую.

— Превосходно! — азартно крикнул Струмилин. — Разбираем паровоз, плавим каждую деталь и из этого металла куем части электрички. А кузнецы мы хоро-

шие. И дух наш молод. Вводим в вашу же технологическую схему элемент переплавки — и точка! Недаром и по вашим же расчетам наше дело победит.

Глаза комиссара Струмилина весело сияли, он знал силу своей полемической хватки, знал, когда пускаться на прорыв весь арсенал отточенной техники диалектика, и чувствовал, что еще несколько удачных приемов, и он выйдет с чистой победой, и теперь он прямой дорогой вел оппонента к месту, уготованному для его лопаток, как профессиональный борец, чемпион ковра ведет противника, не прикасаясь к нему, на одних финтах искушенного боем тела, ведет в угол, из которого единым броском метнет его в воздух, чтобы, не бросив даже взгляда на поверженного, в ту же секунду сойти с ковра.

— Переплавка — хорошо, — соглашался представитель академического понимания хода истории. Его взгляд по-прежнему фиксировал линию каждого жеста Струмилина, а шкатулка всеми своими дырочками глядела прямо в рот комиссара.

— Но ведь плавиться в огне придется прежде всего человеческому материалу. А в паровозной топке он не холодно.

— Дорога в рай всегда шла через пламя ада, — отрубил комиссар и богохульно усмехнулся, щедро, от уха до уха, улыбкой, от которой сам сатана, хозяин этих неисповедимых троп, подобрел бы к путникам, рискнувшим на подобный маршрут.

— Ну хорошо, — сломался наконец марсианин, — сейчас посмотрим, как вы лично пройдете через огонь, воду и медные трубы. Дайте-ка сюда руку.

Струмилину повиновался, ладонь его легла на дырочки все той же шкатулки, осязая электрическое покалывание в сечении, величаемом хиромантами линией жизни. Потом покалывание исчезло, и как раз в этот момент марсианин сказал:

— Все! Информация о вас! — воскликнул он радостно. — Слушаю. Что? Песни о нем слагать будут? Афоризмами ставит в тупик западную дипломатию? Что, что? Пропадают коэффициенты? Предохранитель сгорел?

Улыбка сползла с тугих, свежих, как пирожки от Елисеева, щек марсианина.

— Коэффициенты пропадают. Техника барахлит, — досадливо сказал он. Ему, видимо, было стыдно за то,

что безукоризненная марсианская техника внезапно ударила в грязь лицом на глазах представителя иной цивилизации. Комиссар же, напротив, обрадовался оплошности, ибо с ней к нему возвращалось моральное превосходство, завоеванное в диспуте, господствующая высота, покидать которую не следовало.

— Черт с ними, с личными коэффициентами,— поспешно заявил он, пользуясь минутой смятения,— поговорим об общих. Подумаем лучше, как перекроить финал вашей пьесы. Так, чтобы не пришлось гибнуть балтийским морякам на потеху кинозрителей. А?

Марсианин вздрогнул. Резко, очень уж резко повернул комиссар от личного к общественному, к конкретным мероприятиям.

— Ну, дорогой товарищ по счастливым развязкам, даешь соответствующий финал! — И с этими лобовыми словами комиссар положил руки на плечи всемогущего перебежчика, качнул его к себе, и так они замерли друг возле друга.

Ну, демонстрируй профессиональные качества, чтоб ахнул зритель. И тот,— комиссар ткнул перстом вверх,— и этот самый.— Палец очертил полную окружность.— А потом прямым ходом в штаб белых. Историческая выйдет сцена. Вот где страсти разыграются. Эх!

— Крупные планы из штаба белых,— печально сказал марсианин, будто ему подсунули на подпись приказ о выговоре самому себе.

* * *

Многотруден путь факта в глупый мозг человека, да, многотруден. Факт движется, и остановить его движение нелегко.

Чтобы доказать неоспоримость одного свидетельства, факта, требуется обосновать десяток предваряющих документов, каждый из коих просит своего десятка источников, подлежащих проверке.

Кривая необходимых доказательств, говоря языком математики, уходит по асимптоте в бесконечность. Вынесет такая кривая в бесконечность, а уж обратно ходу нет. Вакуум.

На месте Струмилина, пожалуй, любой из нас устроил бы разговор вокруг фактов, проявленных

в тайной беседе с перебежчиком. Размахивал бы руками, божился, требовал серьезного отношения и в конце концов сам перестал бы верить собственным показаниям. Струмилин же нет. Он знал призрачную природу фактов, знал, о чем делиться с ближними, а о чем крепко молчать — день, год, потребуется — всю жизнь. И потому вернувшиеся в блиндаж товарищи застали его как ни в чем не бывало склонившимся над картой, на которую уже никто без отвращения и смотреть не мог.

— Ну что перебежчик? Есть интересные показания? — спросил командир, устало устраиваясь на дощатый топчан.

— Послал его в цепь, поднимет настроение у состава. Поговорит по душам о будущем.

— Он там такую агитацию разведет, — сквозь зубы процедил заместитель. — Недорезанный!

— Он астроном, — веско возразил комиссар, — редкий специалист по жизни на других планетах. Он расскажет о братьях по разуму, которые уже пролили кровь за счастливую жизнь, такую, какая будет у нас.

— И это неплохо, — сказал командир. Бодрости в его голосе не чувствовалось.

— И еще, — тихо добавил Струмилин, — кажется, следует на всякий случай повозки запрячь. Раненых приготовить к дороге. Ручаться не могу, но непредвиденности могут возникнуть. Знаете, случаются такие непредвиденности в теплые летние ночи с чистыми звездами на небе.

Все с величайшим любопытством уставились на комиссара, но тот ничего добавить не мог, ибо в самом деле ничего не мог добавить.

И действительно. В перелеске, под разлапистым хвойным навесом, на душистых мхах, в бликах каминного цветения угольков с пеплом марсианин, которому не посчастливилось родиться на благословенной Земле, уже развернул натуральный доклад о жизни иной, делился впечатлениями.

Такое накатило время на Россию: слушала Россия всякого, лишь бы за словом в карман не лез. По царской воле, под влиянием исторических факторов так уж произошло, что с седых времен Великого Новгорода не собиралось в России вече, отсутствовал свой Гайд-парк, кратко говорил народ на бытовые темы, чтобы

в кутузку не загреметь. А тут прихлопнуло, повырастали откуда ни возьмись ораторы на каждом углу, повывалялись бочки, стали на попá трибуною, завился веревочкой мудреный разговор. Хоть к Лобному месту с плакатом становись, руби правду-мать в глаза, возражений нет!

Вмиг научился народ речи говорить и слушать их полюбил. И тут же стал различать: кто свой, а кого — в доску! И ежели свой, выкладывай соображения за милую душу о земле, хлебе, недрах и власти над ними, а хочешь — о звездах, над которыми пока власти нет. Но о звездах, понимаем, не каждый толковать смел, и тому, кто смел, внимали с двойной порцией сочувствия.

— Удивительными показались бы вам порядки на этой планете,— ронял слова беглый астроном, будто и не имел к этой планете отношения, не оставил на ней своего дома.— Многие назвали бы вы непонятым, а то и чуждым. И жителей планеты той нельзя винить в этом, как нельзя винить внуков ваших в том, что им захочется иного, чем вам, большего.

— Понять вас ничего не стоит, задним-то числом! А вот вам их! Но желательно: пример поучительный...

— Чем же они нам пример? — с ухмылкой врезал матрос Конев Петька, который не сумел насолить перебежчику в первом его явлении, но не терял, видно, надежд проявить буйную свою индивидуальность и посадить фрайера на мель по самую ватерлинию аж. Разутые ноги Петьки отдыхали у самого пепелища, и когда угли разом наливались огненным соком, как электрическая рыба, тронутая свежей струей, то на чахлах щиколотках Петьки можно было различить татуированный узор взрывчатых слов.

И, ввязываясь в дискуссию, Петька закатывал трепанный клеш, предъявляя тем свои права на повышенную дерзость и как бы спрашивая: ну а что у вас, дорогие граждане, под покровом брюк отредактировано? Еще неизвестно что!

— Да нет же,— тоскуя, возражал перебежчик,— не навязываю я вам личных примеров. Личные примеры действительны только для тех, кто ищет их.

Марсианин стыдливо улыбнулся Петьке, извиняясь перед ним за отсутствие полемического настроения. Мол, не могу, Петька, с тобой единоборствовать, слаб, прости уж. Извинившись столь деликатно, докладчик

тягуче уставился Петьке в глаза, прилип взглядом к днищам его глазных яблок, шепнул что-то, сделал в воздухе рукой пас, и заноза Конев вдруг уловил электрическое покалывание в суставах, а в сердце мягкость, невыразимое расположение к окружающим, и прежде всего к докладчику, будто тюльпан раскрылся в поросшей бурьяном душе, и тогда он опрокинулся в мох, сонно шепча:

— Хорошо, хорошо...

— Ну так вот, удивительной бы показалась вам эта планета на первых порах,— продолжил на редкость обходительный лектор.— Города там, например, подвешены в воздухе, высоко над землей, а прямо под городами леса, травы, озера. Так что кому на землю захотелось, тот достает крылья и кидается головой вниз. Или нанизывается на магнитную силовую линию и скользит, как по перилам. По таким, знаете ли, материализованным меридианам, морьям это должно быть понятно.

— А деревни? Деревни тоже на воздушных? — беспокойно спросил кто-то, несомненно, землепашествующий.

— Деревни оставлены на земле,— заверил лектор.— А вот сами крестьяне тоже обитают, как вы говорите, «на воздушных». Вернее, крестьян как таковых нет, есть только специалисты по сельскому хозяйству, их там и называют крестьянами. Все растет само по себе и убирается само умными машинами. Собственно, не только крестьян — пролетариев тоже нет уже. Говорят же вам, станки обходятся без людей.

— Как же так? Ни крестьянства, ни пролетариата. Кто же там тогда? Буржуи одни? В чьих руках власть? — недоверчиво спросили из кустов, и по тому, как зашевелилась вокруг темнота, пришла в беспокойство человеческая масса, марсианин догадался, что вторгся в заповедные моменты жизни этих людей.

Зашумела темнота вокруг на разные голоса:

— Без диктатуры куда ж! Паразиты расплодятся, мироед за глотку возьмет! Мужики долг сполнять забудут, в кабаки порхнут! Факт! Факт!

— Без паники, граждане,— накрыл гвалт трубный глас комендора Афанасия Власова. За неимением председательского колокольчика комендор, когда надо, пропускал сквозь мощные заросли голосовых связок струю пара, сжатого до нескольких атмосфер в оркестровой яме его объемистых легких, и тогда накат низкой, но

чрезвычайно широкой звуковой волны выносил вон плескание человеческой речи, закрывая таким способом разгулявшееся собрание или, наоборот, открывая перед ним фарватер, вновь чистый, как гладь океана после мгновенного урагана тропиков.— Тихо, граждане! Все правильно товарищ излагает. Бесклассовое общество, слияние умственного с физическим. Теорию, братишки, подзабыли, брашпиль вам в форточку!

Марсианин, надо сказать, прямо расцвел ввиду такой кинематографической сцены.

— Вот они, типажи! Вот они, кадры. Вот они, личные контакты! Ай-я-яй! — вскрикивал он радостно, тверже сжимал в руке драгоценную шкатулку, и под сердцем его тоже открывались лепестки нежного цветка, примерно такого же, что качался на тонком стебле в душе предавшегося счастливой дремоте Петьки-моремана.

В общем, как видим, повезло всем. Профессиональному марсианскому кинооператору потому, что он с ходу влетел в митинговую гущу беззаветных героев собственного кинофильма и крупный план, кадр за кадром, косяками шел теперь на катушки приемников корабля, тормознувшего среди звезд по поводу действия данного рассказа. Повезло и балтийцам, которые сразу, из первых рук, так сказать, самотеком получили известия о замечательной жизни на других мирах, в существовании которой хотя никто из них и не сомневался, но все же иной раз проявлял колебания ввиду неясной постановки вопроса со стороны административных кругов. А тут вдруг стопроцентный астроном с наипоследними, как подчеркнул комиссар Струмилин, и обнадеживающими данными в кармане! От такого вылетит из башки и страх перед смертью, что уже заказана, запрессована в нарезные стволы озверелого противника на дистанции прямой наводки.

Прав, прав, как всегда, оказался комиссар Струмилин. Задал-таки подпольный марсианин морячкам тонус, который вовсе не каждый обнаруживает в себе перед лицом неповторимой смерти, не чьей-нибудь, а собственной, а потому особо наглядной и убедительной. А тонус есть, значит, дорого, ох дорого заплатит классовый враг за кровь комиссара и товарищей его, потому что в крови этой вскипела вера в новый мир и счастливую звезду его, на которой, как оказалось, тоже летели наиболее сознательные головы братьев по разуму, и по-другому быть не могло, иначе какие же они, к черту, братишки.

Между тем сгусток влажной тьмы, во всем объеме своем именуемый полночью, скатился с восточных широт планеты и теперь клубился над болотами, замкнувшими наш отряд, клубился, опутанный слабыми струями воздуха, которые медленно, но верно волокли емкое тело ночи еще дальше на запад, путаясь в макушках вставших плечом к плечу мачтовых лиственниц. Костер все еще шевелился, ворочался в коротких, как римский меч, языках пламени, рукоятью всаженных в каленое пекло углей.

Представление, начатое марсианином с легкой руки комиссара Струмилина, по-прежнему продолжалось. Ему вполне удалось удержать свое реноме в рамках лектора-эрудита, не расширяя этих рамок до истинных размеров оригинала, так что ни одна живая душа по-прежнему не догадывалась о его подлинном происхождении. Впрочем, никому теперь и дела не было до его происхождения, как и до ворона, что где-то вверху хриплым карканьем отметил приход глухого часа полуночи. Представление только приоткрыло начало своей какой-то главной интриги, и никому не хотелось, чтобы оно внезапно, как в театре, оборвалось, когда по всему было видно, что в запасе главного действующего лица — рассказчика — таится такое количество фактов и наблюдений, которых хватило бы не на одну драму идей и сердец.

Марсианин успел поведать о занятиях на дальней планете, об отдыхе на ней, о насыщенном распорядке дня, показал, как танцуют наши сверхдальние родичи, высоко подпрыгивая и чуть зависая в воздухе, — коснулся тех вещей, что делают жизнь марсиан счастливой, и, чтобы до конца быть правдивым, перешел теперь к минутам, когда марсианину бывает плохо. Такова уж, видно, биология всего живого, не может оно быть счастливо без конца.

— Вот просыпается он утром, — говорил марсианин, — и чувствует: нет настроения, пропало. Жить не хочется. Переутомился, что ли?

Одевается, выходит на площадку, хорошо кругом. Солнце сияет, птица садится на плечо, ветерок. А под ногами, глубоко внизу, пенится морской прибой у кромки золотого пляжа. Надевай крылья — головой вниз! А может, без крыльев? Головой вниз, и делу конец. О-о-о, как скверно на душе!

Друзья! Да где они, друзья? Какие скверные рожи кругом! Жена? Да чем же она может помочь, жена?

Что значит для нее то, от чего сжимается сердце специалиста по счастливым концовкам? Что там у нее на уме?

К черту, хватит, в иные миры, туда, где счастливые развязки без фальши! На ближайшем корабле!..

Вот как худо бывает марсианину. Печальный, грустный такой бредет он по улице от дома к дому, да что ему чужие дома?

Так сообщал марсианин о бедах, хорошо известных и нам, людям. Неизвестно, чем окончилась эта его грустная новелла, так как посреди нее у костра появился комиссар.

— Товарищи,— сказал он,— собрание необходимо закрыть. Прошу вас занять свои боевые позиции.

Погруженные в яркие картины чудной жизни великой планеты, матросы, придерживая оружие, поднялись и один за другим растворились в ночи.

— Вот,— сказал комиссар, убедившись, что у костра никого не осталось,— подбросили, гады, записку. Обещают шомполами всех, кто в живых останется. Так сказать, программное заявление. Так сказать, они не слушают, позвольте вдарить.

— Дайте бумажку,— потребовал марсианин. Он повернул ее текстом к огню, просмотрел, потом текстом же прижал к куртке.

— Крупно,— сказал он в магнитофон.— Дайте это крупно... Как подбросили записку? На кого падает подозрение?

— Подозрение падает на того, на кого ему легче всего упасть,— усмехнулся комиссар, глядя куда-то в сторону от марсианина.

— На кого легче,— соображая, сказал марсианин и пнул носком шикарного сапога чадящую головешку.— Значит, на меня.

Он даже не взглянул на комиссара, чтобы проверить свою догадку. Струмилин молчал.

— На мне оно не продержится, обвинение. Я решил. Я выведу отряд из болот. Так я решил, пока мы тут беседовали с вашими товарищами. Они мне по душе. Я сделаю это, и настроение мое, черт возьми, наконец вернется ко мне. Когда я улетаю от своих,— марсианин ткнул пальцем вверх и быстро отдернул руку, точно ожегся о что-то,— когда я улетаю, настроение у меня было висельное. Я его поставлю на место. Я посчитаюсь с их настроением.— Палец его снова взвился вверх.—

Оптимистическую трагедию вам подавай? А поцелуй в диафрагму не хотите, уважаемые зрители! Программное же заявление предадим углям. Как это у вас там сказано, из пепла возгорится искра?

Скомканная бумажка порхнула над россыпью тусклых огоньков и тотчас обратилась в длинный и чистый язык пламени. В коротком свете Струмилин увидел, как губы марсианина сложились в твердую и мстительную усмешку, какая бывает у безоружного, уже оцепленного врагами и вдруг почувствовавшего в руке холодную сталь револьвера.

На краю болота было не столь темно, как под хвойными покровами леса. Там тьма была материальна, так сказать, очевидна. Кроме нее, ничего не существовало там, только звуки. Здесь же, на краю свободного пространства, тьма наполнилась намеками каких-то контуров, голубоватыми залежами света, осевшего с кривого и тонкого лезвия месяца.

Полк, поднятый по тревоге и в полном составе построенный в колонну, замер перед лицом необъятных трясин. Шеренги, плотно собранные одна за другой, едва угадывались в пыльной осыпи звездного сияния, стояли призрачно, как воинство из баллады, что ждет не дождется полночного смотра любимого императора, являющегося из распахнутого гроба. Только иногда идилия нарушалась: где-то скрипела телега, лошадь пыталась ржать, и тогда слышался сдавленный матерный шепот, вразумляющий непокорное животное.

Штабные, комиссар Струмилин и марсианин расположились неподалеку от колонны, уже в самом болоте, так что под ногами квакала и вздыхала, отпуская сапог, мясистая жижа.

— В моем распоряжении имеется особая сила,— силовое поле вроде электромагнитного. Как бы гравитационное поле,— объяснял марсианин Струмилину. Остальные тоже слушали крайне внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова перебежчика.— Так вот, это поле окружает меня со всех сторон. Ни пуля, ни осколок не пройдет через невидимую защиту. Вот смотрите, я расширяю сферу действия поля.

Мягкая сила потащила людей в разные стороны, и не так, как тащит полицейский, с треском, за шиворот, а как влечет крупная и ленивая морская волна.

— А теперь наоборот,— негромко сказал марсианин,

и та же сила поставила людей на прежние места.— Вот эта сила ляжет вам под ноги через болото. По этой дорожке вы проследуете километра три через самую топь, а дальше и сами выберетесь, не маленькие. Там уже можно. Все ясно?

Все молчали, потому что ясного было мало.

— Ну! — пронзительно крикнул марсианин.

Тонкий луч, шипя, скользнул поверх окошек стоячей воды, от которой тотчас повалил густой ядовитый пар, и в клубах пара высветилось тонкое, как папиросная бумага, полотно обещанной дороги. Захрапели кони, закричали ездовые. Только полк по-прежнему молчал.

Струмилин, не оглядываясь, шагнул к прозрачной ленте, поставил на нее ногу, пробуя каблуком на крепость, а потом прыгнул и, осыпанный искрами, оказался на ней во весь рост.

— А кони не провалятся? — спросил кто-то над ухом марсианина.

— Позаботьтесь, чтобы немедленно началась переправа, — отрезал перебежчик. Через минуту рядом с ним никого не осталось. Полк глухо заворочался в темноте, перестраиваясь в походные порядки, и вот уже первое отделение встало у самого края лунной дорожки, пропуская вперед себя повозки с ранеными, походные кухни, прочую колесную подвижность.

— Давай, давай, — шептали сами собой губы марсианина в спину уходящих людей.

— Попрощаемся, — сказал голос Струмилина совсем рядом в темноте.

Марсианин вздрогнул. Они подошли к краю полотна.

— А для себя-то этой энергии останется? — спросил комиссар.

Марсианин промолчал.

— Ну, руку, товарищ! — сказал комиссар. Последний из отрядов скрывался в клубах дымящегося болота. И взгляды их встретились последний раз в этой жизни.

Рано утром, после сильнейшего артиллерийского обстрела, части белогвардейцев рота за ротой вошли в зону, еще вчера удерживаемую полком балтийцев.

Под барабанный бой, с развернутыми знаменами наперевес, с щеголеватыми молоденькими офицерами впереди, готовыми схватить пулю в живот — ах, чубарики-чубчики, за веру, царя, отечество и другие опу-

стелые, как дома в мертвых городах, идеи,— двигались плотные каре, одетые и обутые на английский манер. Вот так, с барабанным боем, и уперлись в край трясины, не встретив никакого противника. На том этот маленький эпизод великой эпопеи гражданской войны и получил свое окончание.

Разумеется, факт необъяснимого исчезновения крупного соединения красных вызвал определенную растерянность в штабе золотопогонников. Ни одна из гипотез не могла толком объяснить, каким дьявольским способом сумел противник организовать марш через гиблую топь вместе с ранеными и обозом.

— Это все шуточки комиссара Струмилина,— говорил полковник Радзинский за самоваром офицерам, приглашенным на чай.— Как же-с, личность известная. Удивительно находчивый, шельма. Трижды с каюты бежал, мерзавец, из этих же краев. Накопил опыт. А в прошлом году, господа, обложили его в доме одного. Так он, сукин сын, умудрился первым выстрелом нашего боевого офицера, штабс-капитана фон Кугеля, царство ему небесное, успокоить. И в ночной неразберихе, господа, верите ли, взял на себя командование этими олухами, что дом обложили. Ну, конечно, дым коромыслом, пальба, постреляли друг друга самым убедительным образом, смею вас уверить. А самого, каналы, и след, конечно, простыл. Вот и теперь...

Тщательный осмотр брошенного лагеря ничем не помог в расследовании обстоятельств дела. Ни раненых, ни живых, только один труп, брошенный взрывной волной далеко от землянки, обратил на себя недолгое внимание дежурного офицера прекрасным покроем одежды и белоснежными, модельной работы сапогами.

Вот такими и получились финальные кадры многосерийной художественной хроники, скроенной на потребу марсиан по жестокой модели оптимистической трагедии. Безрадостная могилка, выдолбленная в вечной мерзлоте, молодцеватый офицер около, в могилке сам режиссер фильма, марсианин образца 1919-го.

Приходится не сомневаться, что доставленная по месту назначения лента имела громадный коммерческий успех. Как ни надоели марсианам ловкие сюжетные находки деляг от искусства, такой сильный художественный прием не мог не поразить их пресыщенного внимания. Ведь далеко не каждый из режиссеров посягнет на собственную жизнь ради того, чтобы в сюжете

все шло по его собственному желанию, и, уж конечно, не пожертвуют ею как раз те, чья смерть и не вызовет в наших сердцах какую-нибудь печаль. Искреннюю, разумеется. Тут нужен особый размах души, яркое понимание счастья.

Как это объяснял Струмилин марсианину? Счастье... такое состояние, когда все по своей воле, по своему желанию. Кажется, что-то вроде этого. Вот и завернул товарищ марсианин фильму по своему желанию. Криво так усмехнулся в диафрагму своим бывшим приятелям и отдал концы. Что, мол, желали полюбоваться, как пятьсот чужих людей кровью обливаются, а не желаете ли взглянуть, как всего один с жизнью простился, один, да зато плоть от плоти ваш брат, такой же марсианин?!

Между прочим, заключительные кадры, если их не урезали там, в высших мирах, должны были бы отчетливо передать еще один психологический феномен. Печаль, от которой марсианин не мог оторваться даже на скоростях межпланетной ракеты, бесследно испарилась с его лица. Отдавший всю энергию своего силового поля, беззащитный совсем, марсианин встречает ядреную сибирскую зарю детской, счастливой улыбкой. Тут уж сомнений быть не может — встала у человека душа на нужное место. Снаряды вокруг него рвутся, а он только хохочет и землю с плеч стряхивает. Плевали мы, мол, на ваши фугасы. Вот сейчас все кончится, отведут меня, значит, в штаб полковника, вот где сцена разыграется!

И вот, как ни крути, как ни режь, от главного не уйдешь. Красиво умер марсианин, величественно, за справедливое дело.

Перетряхнет эта смерть представления братьев по разуму. Эволюция, эволюция! А может, только через революцию путь к счастью лежит? Через паровозную топку и пламя ада? Вот как в этих кадрах, что мелькают на экранах во всех домах марсиан.

И крепко уверены в этом проходные герои фильма — комиссар Струмилин, ясная и холодная голова, уверены простые ребята — Федька Чиж, комендор Афанасий Власов и пятьсот штыков с ними.

Ушли, ушли те штыки через болота, сопки, через первобытные леса. Ушли, и не чтобы шкуру спасти, а чтобы снова в свой последний и решительный бой!

Сергей Абрамов

В лесу прифронтовом

повесть

Олег устал. Выбрался наконец на узкую просеку, перекрытую черно-белым шлабаумом поваленной березы. Еще полчаса — и он дома. Остановился, закурил, пряча в ладонях синий огонек зажигалки.

Морозящий с утра дождь вдруг кончился или, вернее, прекратился, прервался — на час, на день?

Олег откинул промокший капюшон штормовки, сел на поваленный ствол, с наслаждением затянулся кисловатым дымом «Памира». В радиусе ста километров не было лучше сигарет, да и зачем лучше? А пижонская Москва с ее «Кентами» и «Пэлмэлами», далекая и нереальная Москва — не более чем красивое воспоминание о чьей-то чужой жизни. О жизни веселого парня по имени Олег, который вот уже четвертый год учит физику в МГУ, любит бокс, и красивую музыку, и красивые фильмы с красивыми актрисами, и не дурак выпить чего-нибудь с красивым названием...

Ах, как красива жизнь этого парня, как заманчива, как увлекательна! Позавидуешь просто...

Олег сидел на мокром стволе, курил «Памир», завидовал потихоньку. Дождь опять заморосил, надолго повис в красно-желтом обнаженном лесу: холодный октябрьский дождь в холодном октябрьском лесу. Октябрь — четвертый месяц практики. Еще две недели — и нереальная Москва станет родной и реальной. А призрачным и чужим станет этот лес на Брянщине, сторожка в лесу, до которой — полчаса ходу, и старковский генератор времени, так и не сумевший прорвать барьер между днем сегодняшним и вчерашним, непреодолимый барьер, выросший на оси четвертого измерения.

Олег усмехнулся забавному совпадению: четвертый месяц четверо физиков пытаются пройти назад по четвертому измерению. Если бы изменить одну из «четверок», может быть, и удалось бы великому Старкову доказать справедливость своей теории о функциональной обратимости временной координаты. Но великий Старков, отягощенный неудачами и насморком, не верил в фатальность цифры «четыре», сидел в сторожке, в который раз проверяя расчеты. Бессмысленно, все бессмысленно: расчеты верны, теория красива, а временное поле не появляется. Вернее, появляется — на какие-то доли секунды! — и летят экраны-отражатели, расставленные по окружности с радиусом в километр, а центр ее — в той самой сторожке, где сейчас сопит злой Старков, где Димка и Раф продолжают бесконечный (почти четырехмесячный) шахматный матч, куда Олег доберется через полчаса, не раздеваясь, плюхнется на раскладушку и — сон, сон до утра, тяжелый и крепкий сон очень усталого человека.

Настройку экранов выверяли по очереди примерно два раза в неделю. Два пи эр — длина окружности с радиусом в километр, — шесть с лишним километров, да еще километр туда и километр обратно, и по сорок минут на каждый экран: вот вам пять потерянных часов от обеда до ужина. И так — четвертый месяц...

Олег выкинул окурок, надвинул капюшон, зашагал по мокрому ковру из желтых опавших листьев, по мокрой черной земле, по лужам, не выбирая дороги. Все равно всюду как в песне: «Вода, вода, кругом вода». И холодные капли — по лицу, и в сапогах подозрительно хлюпает, и если у Старкова насморк, то Олег давно уже должен схватить воспаление легких, тонзиллит, радикулит и еще с десятков болезней, вызываемых чрезмерным количеством падающей с неба и хлюпающей под ногами воды.

Они сами вызвались поехать со Старковым, никто их не заставлял, не уламывал. Однажды после лекций Старков подозвал их и спросил как бы между прочим:

— Куда на практику, ребята?

— Не знаю, — пожал плечами Олег. — Может быть, в Новосибирск, в институт ядерной физики...

— Стоит ли... — Старков поморщился. — Проторенная дорожка.

— А где непроторенная?

— Хотя бы у меня...

Это не было самодовольным хвастовством: Старков имел право так говорить. Что ж, он поздно начал: помешала война. В сорок втором семнадцатилетним мальчишкой ушел в партизанский отряд, а в сорок пятом, уже майором действующей армии вернувшись из Берлина, поступил на физфак в МГУ. Вот так и шел в науке — с опозданием на четыре военных года (опять «четыре»: ну, никуда не уйти от этой цифры!), аспирантура, кандидатская, потом лет десять молчания и — блестящая докторская диссертация, в которой он приоткрыл тайну пресловутой временной координаты. Двумя годами позже он уже теоретически обосновал ее, прославив свое имя в скупом на восторги мире физиков. И снова молчание: Старков разрабатывал эксперимент, которым хотел подтвердить теорию, казавшуюся почти фантастикой.

Потом уже, когда они ехали в Брянск, погрузив на железнодорожную платформу генератор и детали экранов-отражателей, Старков объяснил причину своей таинственности:

— Кое-что готово, а что — неизвестно. Не хочу раньше времени будоражить ученую братию. Не получится — смолчим, спишем на «первый блин»...

«Первый блин» и вправду получился «комом». Старков мрачнел, орал на ребят, но, кажется, смирился с неудачей.

— Вернемся в Москву, доработаем. Идея верна, а где-то спотыкаемся. Помозгуем зимой, а будущим летом опять сюда. Идет?

— Идет, — мрачно говорил Олег. — Куда ж мы теперь от вас денемся...

Деваться было некуда: намертво затянуло. Казалось, они не хуже самого Старкова разбирались в теории обратного времени, что-то сами придумывали, что-то считали.

— Не зря я вас в эту аферу втянул, — радовался Старков. — Кажется, толк из вас выйдет.

— А диплом? — горячился Димка. — У нас диплом на носу!

— Считайте, диплом готов: осталось только сесть и написать — плевое дело...

У него все было «плевым делом»: пересчитать режим работы генератора, определить параметры поля, настроить экраны.

— Раз-два — и готово! Не унывайте, парни: все пули — мимо нас...

Дурацкая поговорка, оставленная партизанским политруком Старковым физику Старкову, казалось, решала любую проблему. «Все пули мимо нас!» — значит, все уладится, все будет «тип-топ». Он просто заражал своим бешеным оптимизмом даже там, где и повода для него не было. Иной раз Олег ловил себя на мысли, что потихоньку превращается в такого бодрячка пионера: «Все мы горы своротим, если очень захотим». Понимал бессмысленность этого ничем не оправданного оптимизма, понимал отлично, но противостоять ему не мог.

Есть такой термин: гипноз личности. Так вот, личность Старкова была настолько «гипнотична», что для сомнений просто не оставалось места. А честно говоря, и времени: работа съедала весь скудный запас, отпущенный человеку в сутки минус восемь часов на сон.

Олег усмехнулся: а что же еще придумать можно? Кино в лесу нет, танцев тоже. Ближайшее село — семь километров пешкодралом. Летом — эти семь километров не раз одолевали: посмотреть фильм в клубе или просто вспомнить, что есть на белом свете кое-что кроме леса и физики. «Лесной физики», — шутил Старков. Он и лесное захолустье это выбрал потому, что когда-то здесь воевал. Село, куда они бегали в клуб, было тогда центром, где встречались связные, откуда уходили депеши на Большую землю и где даже староста был партизанским выдвиженцем. Какая погода стояла тогда, Олег не знал, но теперешняя была более чем несносна. Такие условия жизни должны приравняться к особо трудным, тут не обойтись без повышенных коэффициентов, всяких там «колесных», «северных» — и пол-литра молока ежедневно за вредность.

За молоком ходили по очереди в то же село — раз в неделю. За молоком, за картошкой, за хлебом, за мясом и — так далее по прейскуранту местного сельпо. Прейскурант был невелик, приходилось кое-чем разжиться у колхозников: четырех отшельников уважали здесь за стойкость и «непонятность»; жалели и всегда охотно им помогали.

За четыре месяца они, пожалуй, перезнакомились со всеми в деревне, благо и дворов тут было немного — десять или двенадцать. Олег подумал, посчитал в уме,

вспомнил: точно, двенадцать дворов, сельпо и маленький клуб с киноустановкой — вот и все. Центральная усадьба колхоза располагалась подальше, километрах в пяти от села. Что и говорить, там и магазин был получше, и людей побольше, да только физики туда не забирались. Далеко, и смысла нет. А продукты — вот они, полон лес. Бери ружье и стреляй. У Олега была старенькая тулка. Димка щеголял дорогой ижевской двухстволкой. Старков владел истинным сокровищем — карабином. А Раф охоты не признавал.

— Я в душе вегетарианец, — говорил он. — У меня на божью тварь рука не поднимается.

— Конечно, — язвил Димка, — вилку и нож ты ногой держишь. Эквилибрист...

Кстати, об охоте: погода погодой, а завтра надо бы сходить пострелять, тем более что после перенастройки экранов Старков целый день новый режим считает. Значит, карабин даст. Да и как не дать: Олег стреляет «по мастерам», давно норматив выполнил. Старков сам не раз говорил:

— Ты у нас — супермен, брат. Тебе бы не временем, а конем управлять. С кольцом на бедре... Вон ту шишку видишь? Собьешь ее одним выстрелом?

Олег не отвечал, вскидывал карабин, прицеливался — бах! — шишка исчезала с ветки, где-то за деревьями падала на траву.

— Молодец, ковбой, — хвалил Старков. — Воевал бы здесь со мной — в отряде бы тебе цены не было. А посидим мы еще пару месяцев в этой глуши, похлестче меня стрелять будешь.

Сам Старков стрелял мастерски, почти не целясь, навскидку, по любой мишени — птица ли, шишка или подброшенная в воздух бутылка из-под пива. Олег гнусно завидовал ему, но даже ради великой цели перещеголять шефа он не согласился бы на «еще пару месяцев». Хватит и двух оставшихся недель, насиделись. До будущего лета!

В том, что будущим летом они снова вернутся в лесную сторожку, Олег не сомневался. Зимой диплом по теме Старкова, работа на кафедре и в лаборатории. Надо бы экран усовершенствовать: кое-какие идеи у Олега имелись, правда, он еще не говорил о них шефу. А у самого Старкова идей полным-полна коробочка. Не исключено, что новый генератор — Старков явно не

верит уже в этот старый! — заработает на другом принципе. Ну да ладно, не будем загадывать...

Олег выбрался на опушку леса к реке, свернул с просеки, двумя наезженными колесами убегавшей вдоль речки. Чуть в стороне, у некрутого обрыва, врос в землю бревенчатый дом. Олег прошел по мокрой траве к крыльцу, долго обтирал сапоги о ржавую железяку, прибитую к порогу, толкнул дверь в темные сени, с наслаждением сбросил намокшую штормовку, сапоги, в одних носках вошел в комнату.

Все было почти так, как он себе и представлял по дороге. Димка и Раф играли в шахматы, на столе у Старкова привычный беспорядок — исписанные листы бумаги, набор цветных фломастеров, логарифмическая линейка. Самого Старкова в комнате не было.

— Привет всем,— сказал Олег.— Поесть оставили? Димка передвинул ладью и сказал задумчиво:

— В кастрюле на печке... Ты чего так долго? Шеф уже плакался...

— О чем? — удивился Олег, торопливо поглощая полуостывший борщ.

— Боялся, что не успеешь проверить экраны.

— Почему такая спешка? Закончил бы завтра...

— Завтра — опыт. В восемь ноль-ноль.

— Опять?! — Олег даже поперхнулся от возмущения.— На том же режиме? Тогда пусть он сам экраны настраивает.

— Шах,— сказал Димка,— А вот так, так и так — мат... Настраивать не придется: режим пересчитан. У шефа — новая гениальная идея.

— Идея действительно неплоха,— сказал вежливый Раф.— Он нам рассказывал: ускоряем проход минус-вектора и выигрываем стабильность поля... А мата нет, Димка: ухожу конем на эф шесть.

— Где конем? Откуда конь? Ах я дурак...

Олег понял, что от этих очумевших гроссмейстеров толку не добьешься, доел борщ и лег спать. Старый принцип, гласящий о том, что утро мудренее вечера, давно и прочно вошел в быт четырех «отшельников». Железный Старков требовал железной дисциплины, а подъем в шесть утра в эту осеннюю слякоть даже у примерного Рафа вызывал неудержимую сонливость.

Разве с нашим шефом поспоришь, думал Олег. Он если не убеждением, так силой заставит слушаться. Никакой демократии: тирания и деспотизм...

Потом он заснул и ему снился дождь — мелкий, промозглый, мокрые листья на мокрой земле, низкое свинцовое небо и странный, словно стеклянный воздух, в котором луч света, как в призме, ломается пополам.

2

Луч света, сломанный пополам — признак возникшего временного поля, — они уже не раз видели наяву. Да что толку: поле возникало и мгновенно исчезало, выводя из строя экраны в километре от генератора.

— Сегодня все будет прекрасно, — сказал утром Старков. — У меня предчувствие такое...

— А вы не верьте в предчувствия, — мрачно пророчествовал Олег. — Вы в статистику верьте: точная наука.

— Ставлю тебе двойку, ковбой. Напомни по приезду — впишу в зачетку. Статистика требует абсолютно одинаковых условий эксперимента. А у нас каждый раз — иные...

— И каждый раз — стрельба в божий день...

Старков не обиделся. Он и сам любил подтрунить над своими студентами, а к незнанию был просто безжалостен: высмеивал, не думая о последствиях. А какие последствия могут быть? Есть у «жертвы» чувство юмора — поймет, не полезет в бутылку. А нет, так и жалеть нечего.

— В физике ко всему нужно относиться с иронией, — любил говорить Старков, — так легче скрыть невежество и прослыть большим знатоком.

Он свято следовал этому принципу и относился с иронией ко всему, даже к собственным идеям.

— Что же касается предчувствий и пророчеств, — толковывал он Олегу за завтраком, — то нам с вами верить в них просто необходимо. Ты историю вспомни: кто имел дело с Временем? Предсказатели, прорицатели, ясновидцы. И предсказываю: сегодня опыт удался. Не верите? Посмотрим...

И кто его разберет, шутил он или верил в свои предчувствия. Да Олег уже и не пытался разобраться в этом. Посмотрим, сказал Старков. Что ж, посмотрим...

Они стащили с генератора полихлорвиниловый чехол, вывели индикаторы, подключили питание. Старков долго устанавливал настройку поля, то и дело сверяясь с записями. Потом Димка — эту почетную

обязанность он с первого дня присвоил себе — торжественно зажег электрический фонарик, направив его луч туда, где должно было родиться поле обратного времени, развернуться, захватив все пространство между экранами, расставленными в лесу, и — если повезет, конечно, — продержаться хотя бы минуту: это уже будет победа!

— Готов, — сказал Димка хрипло, и Олег подумал, что он волнуется: кажется, и вправду поверил в предвидение шефа.

— Поехали, — скомандовал Старков и включил генератор.

Стрелка на индикаторе напряженности поля дрогнула и медленно качнулась вправо.

— Только бы задержалась, — умоляюще прошептал Раф.

И стрелка послушалась: застыла на секунду на первом делении шкалы, опять дрогнула и уверенно поползла вправо. Тонкий лучик карманного фонаря вдруг согнулся под тупым углом, ткнулся в пол.

— Есть поле, — снова прошептал Раф, и Олег оборвал его:

— Подожди. Смотри...

Оглушительно — так казалось Олегу — тикал секундомер: десять секунд, двадцать, пятьдесят... И случилось невероятное: луч фонаря медленно передвигался по полу, пока не вернулся в исходное положение — параллельно земле, но стрелка на шкале осталась на месте — на красной черте, говорящей о том, что поле стабилизировано.

Первым пришел в себя Старков. Нарочито равнодушно достал сигарету, закурил, сказал презрительно:

— Кто-то здесь не верил в предвидение. Не передумал?

Но Олег не желал играть «в безразличность», не сдержался, стиснул Старкова в объятиях.

— Вы знали, знали, да?

— Откуда? — отбивался Старков. — Отпусти, сумасшедший!

Но на нем уже повисли и Димка, и Раф, подхватили его, подбросили, подкинули еще раз. Они орали что-то нечленораздельное, бесновались, приплясывали. А стрелка по-прежнему прочно держалась на красной черте.

— Ну все,— удовлетворенно сказал Старков, вырвавшись наконец из восторженных объятий своих «подданных». — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Броня крепка, и танки наши быстры». Пойте, мальчики, ликуйте. Сегодня вечером объявляю большой бал-маскарад.

— В честь события склею вам маску Мефистофеля,— подыграл ему Димка.— Накинув плащ, с гитарой под полою...

А вежливый Раф поинтересовался:

— Поле сохраним или выключим?

— Сохраним,— беспечно сказал Старков.— Давайте жить в другом времени.

— А экраны? — не отступал Раф.— Полететь могут...

Старков подозрительно посмотрел на него:

— Что ты так волнуешься за экраны?

— Его очередь настраивать,— мстительно объяснил Олег.

— Чушь, мальчики, чушь! — Старков вставил в самописец новый рулон миллиметровки, еще раз поглядел на стрелку, застывшую на красной черте.— Пошли отсюда. Экраны чинить не будем: полетят — и ладно. В Москве починим. Да,— он обернулся к Рафу,— все же очередь пропускать не след: оставайся-ка ты подежурить у генератора. А через час тебя Дима сменит. Идет?

— А что вы будете делать?

— Дойдем до сельпо, купим кое-какие принадлежности для бала-маскарада.

— Шампанского возьмите,— попросил Раф, устраиваясь на единственном стуле. Перспектива просидеть этот час под крышей явно устраивала его больше, нежели путешествие под дождем в деревню.— Только не больше часа.

— Терпи, парень,— сказал ему Старков на прощанье.— Робинзонада подошла к счастливому концу. Я же говорил: все пули мимо нас.

Разве мог знать провидец Старков, что его любимое присловье обернется для них в этот день страшным и реальным кошмаром?

В сторожке Димка набил рюкзак пустыми бутылками. Олег вооружился спортивной сумкой. Старков — по праву именинника — шел налегке.

Они пошли вдоль реки, чтобы — по предложению Старкова — осмотреть пару экранов и понаблюдать за поведением возникшего возле них поля.

— Не за час, так за два обернемся, — сказал Старков. — А с Рафом ничего не случится — подождет: я ему детектив оставил. Жгучие тайны Питера Чини.

Дотошный Олег приступил к выяснению подробностей удавшегося наконец эксперимента.

— Вот скажите мне, — рассуждал он, — если поле стабилизировано, то в каком времени мы сейчас живем? Если в сегодняшнем, в нашем, то, значит, поле никак не влияет на настоящее. А я склонен предположить именно это...

— Почему? — любопытствовал Старков.

— Сторожка на месте. Пустые бутылки — тоже. Мы идем в сельпо именно сегодня, а не вчера и не завтра. Лес не изменился: те же деревья, та же осень. И дождь льет тот же, что и до опыта. Логично?

— Нет, конечно. К примеру, сторожка была здесь и вчера, и год назад. И осень началась не сегодня. И дождь уже который день поливает. И в прошлом году небось поливал. И лет десять назад. А то, что мы идем в сельпо *сегодня*, так это — иллюзия. Для нас — сегодня, а на самом деле — позавчера. Логично, философ?

— Но что-то должно было бы измениться, — не сдавался Олег.

— Что именно?

— Не знаю. Ваша теория, между прочим, тоже ничего здесь не объясняет, — позлорадствовал он.

— Моя теория, — наставительно сказал Старков, — говорит следующее: временное поле не меняет настоящего, тут ты прав. Но оно может приносить с собой какие-то элементы *своего* времени, вероятно прошлого. Какие элементы — этого я не знаю. Вообще-то в моей теории столько белых пятен, что ее скорее можно назвать гипотезой. — Старков поскромничал, но не удержался — добавил: — Правда, гипотезой, подтвержденной экспериментом.

Они свернули в лес, продрались сквозь кусты орешника, выбрались на узкую лесную дорогу — по ней вчера

Олег добирался домой,— мокрые с ног до головы: во время дождя из чащи кустарника сухим не вылезешь. Олег встряхнулся по-собачьи, выругался сквозь зубы: проклятая погода, проклятый лес,— и вдруг прислушался.

— Где это?

Где-то совсем рядом, быть может метрах в трехстах, надсадно заревел грузовик. Это был именно грузовик: Олег хорошо разбирался в машинах! — и двигатель ревел потому, что не в силах был вытащить тяжелую машину из липкой дорожной грязи.

— Сели,— констатировал Олег.— Интересно, кто это?

— Пошли посмотрим,— предложил Димка.— Все равно по пути.

Они шли, хлюпая резиновыми сапогами по лужам, Димка громыхал стеклотарой в рюкзаке, что-то приглушенно насвистывая. Старков и Олег вели бесконечный теоретический спор о проблемах обратимого времени. Димку спор не интересовал, он слышал его много раз, может быть только в других вариантах, но суть не менялась.

«Псих Олег,— беззлобно размышлял Димка.— Ну чего он лезет в эту трясику? Старков его слушает, ждет, когда он начнет захлебываться, подтащит к берегу и опять отпускает: побулькой, малыш. У Старкова это называется «тренинг мышления». Судя по всему, я к этому тренингу абсолютно неспособен...»

Он шел впереди — Олег и Старков отстали шагов на десять,— и, быть может, именно поэтому он первым услышал голоса людей с застрявшей машины. Машина время от времени надсадно редела, потом шофер выключил зажигание, и наступила тишина, в которую и прорвались фразы, почему-то не русские, а немецкие. Говорили не как преподавательница немецкого в Димкиной школе, а чисто, даже грациозно.

— Пошевеливайся, скотина! — как понял Димка, кричал один надсадно и хрипло, и тоненько, по-скопчески отвечал другой.

— Я послал троих за сучьями, герр оберштурмфюрер. Слышите — уже работают. Через пять — десять минут выберемся.

В лесу раздавался топор дровосека, совсем как в знакомом стихотворении.

— Что за комедия? — обернулся Димка к Старкову.— Киносъемка, что ли?

Старков не ответил. Он отстранил рукой Димку, приложил палец к губам: молчите, мол! — прошел вперед до поворота, остановился, прислушиваясь.

Двигатель снова заурчал, и тот же баритон сказал строго:

— Не мучай машину, болван. Его величество гневается и вполне может залепить тебе пару суток карцера. Ганс с ребятами принесут сучья, и мы вылезем из этой русской грязи.

Олег и Димка с удивлением смотрели на странно побелевшее лицо Старкова: испугался он, что ли?

— Что они говорят? — спросил Олег. Немецкого он не знал.

— Тихо! — вполголоса приказал Старков, и было в этом приказе что-то незнакомое, чужое: пропал Старков-весельчак, Старков-шутник и неунывака, появился другой — властный и жесткий. — Тихо! — повторил он. — Назад в лес!

Они пошли за ним, подчинились — недоумевающе, молча переглядывались, продираясь сквозь мокрый кустарник, остановились у разлапистой высокой березы, еще не потерявшей желтой листвы.

— Ну-ка, давай наверх, — приказал Димке Старков.

И Димка — сам себе удивлялся! — не задавая лишних вопросов, схватился за нижнюю ветку, подтянулся сквозь потоки дождя с дерева, проворно полез вверх.

— Посмотри, кто это, — сказал ему Старков, — внимательно посмотри и быстро спускайся. — Он обернулся к Олегу и пояснил: — Береза высокая. С нее всю дорогу видно: сам проверял...

Димка, уже добравшийся почти до верхушки, издал какое-то восклицание: удивился не удивился, охнул вроде. А Олег подумал, что Старков почему-то темнит, — знает о чем-то, а говорить не хочет. Ну, что он предполагал увидеть с березы? Застрявшую машину? Так зачем такая таинственность? Выйди на дорогу и посмотри... По-немецки они разговаривают? Ну и что? Может быть, действительно киносъемка. На природе, как это у них называется.

Он все еще недоумевал, когда Димка буквально скатился вниз, доложил, задыхаясь:

— Две машины. Одна грузовая, фургон: она-то и села. Другая — маленькая, «газик», по-моему. Вокруг — человек тридцать. Подкапывают землю и слегу под колеса кладут. Только... — он замаялся.

— Что только? — Старков подался к нему.

— Только одеты они как-то странно. Маскарад не маскарад...

— Форма?

Димка кивнул.

— Черная. Как у эсэсовцев. Может быть, и в самом деле кино снимают.

— Может, и снимают... — протянул Старков, замолчал, о чем-то сосредоточенно думая, медленно закурил.

Молчали и ребята, ждали решения, знали, что оно будет: когда Старков так молчал, значит, жди неприятностей — проверено за четыре месяца.

— Вот что, парни, — сказал Старков. — Может быть, я — старый осел, тогда все в порядке, а если нет, то дела плохи: влипли мы с вами в историю. Сейчас быстро идем домой, забираем Рафа и будем решать...

— Что решать? — чуть не закричал Олег.

Старков поморщился:

— Я же ясно сказал: тихо! А решать будем, что делать в создавшейся ситуации.

— В какой ситуации?

— Дай бог, чтобы я ошибся, но, кажется, наш удачный опыт получил неожиданное продолжение. Помоему, эта машина и эти люди в маскарадных костюмах — гости из прошлого. Помнишь наш спор, Олежка?

Олег вздрогнул: чушь, бредятина, не может этого быть! Прошлое необратимо. Нельзя прокрутить киноленту Времени назад и еще раз просмотреть кадры вчерашней хроники. Теория Старкова верна — бесспорно! Но человеческая психика — даже психика без пяти минут ученого! — не в силах поверить в ее практическое воплощение. Ну, существует же где-то предел реального? А за ним — пустота, ноль в степени бесконечность, бабкины сказки или просто фантастика.

Олег оборвал себя: рассуждает, как досужие сплетницы на лавочке у подъезда. Та же логика: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет такой формулы! Все может быть, если это «все» — наука, а не мистика. А где тогда граница между наукой и мистикой? То, что поддается научному объяснению, — наука. Удобное положение... А если завтра оно объяснит какое-нибудь мистическое явление? Мол, так и так: научное обоснование, графики и таблички, точный эксперимент и — никакой мистики. Такое бывает? Еще как бывает! Все сегодняшние достижения ци-

визации когда-то показались бы мистикой даже самому просвещенному человеку. Электрическая лампочка? Ересь, фокусы! Искусственное сердце? На костер еретика врача! Да что там ходить за примерами: временное поле Старкова — тоже в сущности мистика. Или так: было мистикой до сего дня. А сейчас оно действует вполне реально. Вон какой подарочек принесло — берите, радуйтесь... А чему радоваться? Гостям из прошлого? Но они не знают, что попали в будущее. Да и узнали бы — не поверили! А гости, судя по всему, агрессивные. Они существуют тридцать с лишним лет назад, вешают, стреляют, поджигают. Они еще не знают, что их ждет завтра: для них — завтра, для нас — вчера. Они еще уверены в своей непобедимости. Они еще чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Они еще живут — эти сверхчеловечки из учебника новейшей истории...

— Интересно, из какого они года? — вдруг спросил Димка.

— Не все ли равно? — отозвался Олег. — Сорок первый тире сорок четвертый.

— Как раз не все равно. В сорок первом они наступали, а в сорок четвертом драпали. Есть разница?

В разговор вмешался молчавший до сих пор Старков:

— Разница есть, конечно, но для нас она не принципиальна. Год, вероятно, сорок второй — я тогда партизанил в этих лесах. А каратели, может быть, те же самые, что и тогда поджигали и вешали. Главное, что это враги, мальчишки. И мы им — враги. И наплевать им, что вы все еще не родились. Попались на глаза — пристрелят без сожаления.

— Так что же нам — прятаться и дрожать от страха? — Олег спросил это с усмешечкой, но и Старков и Димка знали его «усмешечки»: Олег медленно прихотел в ярость — верный признак.

И Старков сказал спокойно:

— Прятаться — да. А дрожать от страха, ясно, не будем. У нас три ружья против тридцати автоматов. Соотношение один к десяти. А что такое дробовик против «шмайссера»? Улавливаешь?

— Не улавливаю, — зло отрезал Олег. — И с тремя ружьями кое-что сделать можно. Да и от заряда дробы в глаза не поздоровится.

— Если попадешь, — добавил Старков. — А Димка

не попадет, и Раф тоже. А у меня опыт есть, простите за нескромность. И поэтому вы будете подчиняться мне беспрекословно и точно. Вот тогда три ружья смогут принести пользу. Ясно?

Ясно? Конечно, ясно, что ж тут неясного. И нельзя было не подчиниться этому командирскому тону, этой доселе не известной им воле и силе человека, который умел весело шутить и смеяться, умел петь хорошие песни и знал повадки птиц и зверья, любил читать вслух Пастернака и Блока и создавал «сумасшедшие» теории. Но, оказывается, он умел еще быть жестким и сильным, умел приказывать и заставлял повиноваться. Словом, был физик Старков. И не его вина, что он опять превратился в партизанского комиссара Старкова.

— Как ты думаешь,— спросил он Димку,— долго ли они еще провозятся на дороге?

— Минут тридцать — не меньше. Может, и час. Здорово сели: больше чем на полколеса.

— Вот что,— принял решение Старков.— Лезь на елку, следи за ними и жди нас.

— Есть следить и ждать,— отрапортовал Димка, и Старков улыбнулся:

— Вольно, солдат. Не скучай. Мы быстро.

Он хлопнул Олега по спине, подтолкнул вперед, пошел следом, ступая на зависть Олегу почти бесшумно.

— Патроны в ящике под столом,— сказал им вслед Димка.— Берите побольше.

И Олег невольно вспомнил когда-то читанное о патронах, о снайперах, о партизанах в книгах о Великой Отечественной. Она окончилась тридцать лет назад и вновь началась для них — юнцов послевоенных лет, началась неожиданно и страшно в мокром осеннем лесу под Брянском, который знал и помнил войну: до сих пор еще колхозные ребятишки находят то стреляную гильзу, то ржавую каску. Что ж, возможно, сегодня к их «трофеям» прибавятся и другие — поновей...

Раф сидел на табуретке у гудящего генератора и читал Чини, смешно шевеля губами: видимо, переводил текст. Американский сыщик Лемми Кошен успешно боролся с гангстерами вот уже семьдесят страниц, а оставшиеся сто двадцать манили Рафа нераскрыты-

ми тайнами, отвлекая его и от воспроизведенного времени, и от своего реального. Он и забыл, что через полчаса должен смениться.

Войдя в сарайчик, Старков прежде всего взглянул на датчик: стрелка словно заклинилась на красной черте. На экране осциллографа текла ровная зеленая линия: на несколько делений выше расчетной. Поле не исчезало, однако напряженность его выросла раза в полтора. Старков, честно говоря, и не надеялся на такую удачу, когда еще планировал опыт. Но он не ждал и той беды, которую принесла негаданная удача.

Если бы его сейчас спросили, зная о возможности «пришельцев» из прошлого, начал бы он опыт или нет,— Старков не задумываясь ответил бы: нет, не начал. Бог знает, чем грозит пришествие «гостей»! Может быть, они исчезнут так же, как появились. А может быть...

— Почему так рано? — поинтересовался Раф, отрываясь от книги.— Магазин закрыт?

— Закрыт,— сказал Олег.— Дорога к нему закрыта.

— Землетрясение? — сыронизировал Раф.— Лесной пожар? Или речка Незнайка вышла из берегов?

Старков поморщился:

— Не время паясничать. Беда, Раф...

Раф швырнул книгу на пол и встал.

— Что случилось, шеф?

— На дороге застрял грузовик с гитлеровцами,— выпалил Олег.

Раф обиделся:

— Кто из нас паясничает?

Ситуация и вправду была комична: Старков усмехнулся, сказал торопливо:

— Олег не шутит. Гитлеровцы действительно появились из прошлого. Те же, что шуровали когда-то в этих лесах.

Раф был вежливым мальчиком. Вежливым и немногословным. Когда он что-то недопонимал, он задавал вопрос, как правило, самый точный и самый нужный.

— Поле? — спросил он.

И Старков в который раз удивился его способности воспринимать всерьез то, что другой счел бы неумным и грубым розыгрышем.

— Поле,— подтвердил он.— Неожиданный «подарочек» тридцатилетней давности. Неожиданный и опасный.

Но Рафа, казалось, это не взволновало.

— Вы не предполагали такого эффекта?

— Нет,— сказал Старков.

Ему не хотелось ввязываться в теоретические рассуждения, да и времени не было, но от Рафа так просто не отделаешься: он должен сначала все для себя уяснить — подробно и точно, а потом принять решение.

— А если отключить поле? — допрашивал он.

— Не знаю, не знаю,— быстро сказал Старков. Не исключено, что искусственное отклонение поля уберет обратное время, но эффект «гостей» может и не исчезнуть,— и подумал, что название вполне подходит к случаю. Надо будет впоследствии «узаконить» его. И усмехнулся про себя: о чем ты сейчас думаешь, балбес ученый, когда рядом — опасность, не из детектива, брошенного на пол, а самая настоящая, стреляющая и безжалостная.

— Кончай допрашивать, Раф,— отрезал он.— Будем живы, все объясним. Нельзя выпускать их из сферы действия поля: тогда, скорее всего, они вместе с ним и исчезнут.

— Хорошее доказательство удачного эксперимента,— то ли серьезно, то ли шутя проговорил Раф.

Старков сдержался. Очень хотел дать волю если не рукам, то словам, но сдержался: не время ссориться. Пусть говорит что хочет: мальчишка, сопляк. Умный, способный, но — все-таки мальчишка, с гонором, с фанаберией. Пожалуй, для него этот день будет самым сложным — смешочками не отделаешься.

Старков сдержался, но Олег не любил и не умел прятать эмоции. Он рванулся к Рафу, схватил его за ворот штормовки.

— Думаешь, что лепишь, гад? — задыхаясь, крикнул он.— Там Димка один, а ты здесь вопросыки задаешь...

Старков взял его за руки, потянул на себя:

— Не дури. Пошли отсюда. Время дорого.

Олег неохотно отпустил Рафа, повернулся и направился к выходу. Раф одернул штормовку, пошел следом, на ходу обернулся:

— Что же вы собираетесь делать?

— Задержать их,— помедлив, ответил Старков и, словно сам себя уговаривая, подтвердил: — Вероятнее всего, они направляются в деревню. Она всегда была у них на подозрении — по личному опыту знаю. Деревня за пределами поля. А если им удастся про-

рваться? Кто знает, что последует. Задержать их надо во что бы то ни стало. Любой ценой.

— И надолго? — Раф уж стоял в дверях.

— Не знаю, — в который раз повторил Старков.

Он понимал, что эта спасительная формула еще не раз избавит его от ненужных, да и маловероятных, объяснений. То, что они не нужны сейчас ни ему самому, ни ребятам, было ясно: обстановка требовала действий, а не рассуждений. А вот вероятность этих действий представлялась Старкову хотя и не слишком, но все же реальной. Скажем, ноль целых двадцать пять сотых — немалая цифра, как ни крути! А рассуждал Старков так: напряженность временного поля выросла из-за присутствия «гостей». Так сказать, не учтенный расчетом дополнительный фактор. «Гости» принадлежат полю. С полем появились и с полем исчезнут. Так думал Старков, во всяком случае, хотел так думать. Можно было бы попробовать, конечно, отключить генератор, как предлагал Раф, но Старков боялся: оставшиеся семьдесят пять процентов вероятности отпугивали, требовали повышенной осторожности. В конце концов, генератор не рассчитан на такую высокую напряженность: через час-два экраны начнут выходить из строя, поле исчезнет само собой, и вместе с ним, по всей вероятности, исчезнут и «пришельцы», поскольку вне поля Старков не мыслил их существования.

Вот так он и думал, во всяком случае, хотел так думать.

А что касается вздорной мысли не выпускать их из зоны экранов, так не такая уж она и вздорная: поле полем, но не пропадут же «гости», если выйдут из него. То есть по теории-то должны пропасть, но уж как-то не вяжется это с реальностью. Вот вам тридцать живых и здоровых мужиков, едут себе спокойненько, песни распевают и вдруг — исчезли, испарились. Ну конечно же, конечно, они существуют в *своем* времени, только в своем, а в нынешнем их нет, убиты они здесь же или где-нибудь под Орлом или Курском.

Но... и в сотый раз Старков вспоминал это проклятое «но»! А если не исчезнут? Если прорвутся? Что тогда? В нескольких километрах — деревня, еще дальше — другая. Там люди, которые ни сном ни духом не помышляют об опасности. О *такой* опасности! Они и воевать-то давно разучились, а большинство и не умело, как Раф, Димка или Олег. Их надо пре-

дупредить, заставить поверить в реально существующую опасность, какой бы нелепой она ни казалась.

Старков прикинул: кто может пойти? Раф? Пожалуй, он справился бы с этой миссией лучше других: сумеет убедить. Но ведь он сам не очень-то верит в «гостей», куда же ему еще убеждать кого-то!..

Может быть, Олег? Нет, не подходит: не оратор. Думать умеет, стрелять умеет, работать умеет и — еще как, а вот говорить не научился. Это ему попортит кровушки: в науке говоруны подчас стоят больше молчаливых...

Лучше всего пойти самому. Но это значит оставить трех сосунков, не нюхавших боя, на верную гибель. На *почти* верную. Бой не любит новичков, как бы храбры они ни были...

Значит, остается Димка. За это время он небось досыта нагляделся на взвод «гостей», поверил в них так, как и сам Старков. А объяснить колхозникам невероятное существование машины, воскрешающей годы войны, пожалуй, сумеет не хуже Рафа.

Но Димка умеет стрелять, а Раф нет. Значит, все-таки Раф?..

Старков вышел из сарая, где по-прежнему гудел генератор, может быть чуть громче, чем следовало бы! — пошел к сторожке. Навстречу ему бежал Олег, обвешанный оружием: карабин Старкова, собственная тулка, в руке — сумка с патронами. Раф шел сзади, перекинув через плечо двустволку.

— Ловите! — Олег на ходу кинул Старкову карабин, и тот поймал его, ощутив холодную сталь ствола.

Вот когда он вспомнил, что не охотничье это оружие — боевое. И может быть, впереди у них — тот самый бой, где он будет очень кстати, этот семи-зарядный симоновский карабин. А может быть, боя не будет. Старков очень хотел, чтобы его не было...

5

Димка сидел под деревом и ждал. Он уже вдоволь насмотрелся на беспомощно суетящихся эсэсовцев и решил, что дальнейшее наблюдение за ними довольно бессмысленно: ну, потолкают машину, ну, земли под колеса покидают, веток, хвороста — раньше часа им все равно отсюда не вылезти. Дурак водитель затащил тяжелую машину в заведомо непролазную грязь. Не-

бось начальство не наградит его за это железным крестом. Как там у них делалось? За провинность — на Восточный фронт...

Он усмехнулся: вот она — инерция книжных знаний. Это же и есть Восточный фронт — для них, конечно. Или, вернее, был. Вот так он и выглядел, наверно, осенью сорок второго года. Холодно, дождь моросит, дорога непроходимая, мокрота, лес, болота. Взвод карателей направляется на очередную «операцию» в близлежащую деревню. Всего второй год войны, они еще самоуверенны, только торопятся. Офицеры покрикивают, подхлестывая и без того надрывающихся в болотной грязи солдат. Ясно: боятся партизан.

Хороши партизаны, внутренне усмехнулся Димка. Три дробовика, если двустволку считать за два, да один карабин — единственно стоящее оружие. Зато у этих четырех стволов при всей слабости их огневой мощи есть одно преимущество — эффект внезапности.

И вдруг Димка ужаснулся ленивой будничности этой по сути страшной мысли. Какая, к черту, огневая мощь? Они физики, ученые, а не вояки. Они сюда работать приехали, а не стрелять. В людей стрелять, в таких же, как он, из плоти и крови, как Олег, как Старков, как их сельские знакомцы. Димка даже представить себе не мог, что придется — сейчас или через десяток минут! — вскинуть ружье, хладнокровно прицелиться, поймав на мушку черный мундир на дороге, нажать на спусковой крючок... Сумеет ли он это сделать: ведь не научили. В тире стрелять по мишеньке с кружочками — учили. А в людей — нет. И ненавидеть не учили. И никто пальцем не тыкал: вот, мол, враг, убей его. Просто врага не было. Живого... А в учебнике истории вдохновения немного: такая-то дата, такое-то сражение — выучить и сдать.

Димка любил смотреть фильмы о войне. Он умел красиво поговорить о методе «ретроспективы» в военной теме, о режиссерских находках, об использовании хроники в сюжетной канве. Но, в сущности, он оставался тем же самым мальчишкой с Можайки, который бегал в «Призыв» на дневное кино «про войну». Так же переживал в душе за героя. Так же рвался за ним в штыковую атаку. Так же вполголоса пел с ними за дощатым столом в землянке.

Все поколения мальчишек когда-то играли «в вой-

ну». А потом игра начиналась «всерьез», и вчерашние мальчишки уходили на фронт гражданской, финской, Великой Отечественной. А потом — кто вернулся! — те уже смотрели на своих мальчишек, повторяющих их детство, и думали: не дай бог им пережить с наше...

Димкиному поколению повезло. Вот он — «типичный представитель советской молодежи» — успешно закончил школу, тянет лямку в университете, подумывает об аспирантуре. Война оставалась для него только игрой.

Ах, не доиграл он в нее, не закончил: мать позвала из окна или школьный звонок прозвенел. Только осталась живой в нем детская страсть к оружию всех систем: бах-бах, Димка, я в тебя попал, падай, чур, не игра!..

Так вот она, «чур, не игра», Димка. Все просто в раскладе: вот враг, вот свои — действуй, парень.

А как действовать, если этой зимой путешествовал по ГДР, был в Берлине, в Дрездене, в Ростоке, пил пиво с прекрасными парнями с физфака Берлинского университета, пел «Катюшу» и «Левый марш», и никто не вспоминал о войне, о том, что, может быть, отец Димки сражался против отцов этих прекрасных парней с физфака, — никому до этого дела не было.

А сейчас есть дело, Димка? Вдруг один из черномундирников станет отцом кого-нибудь из тех немецких ребят? Ты сумеешь в него выстрелить, убить его?

Да нет же такой проблемы, нет: это только стык времен, а не само время, это иллюзия реальности, а не живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой: это именно реальность, хотя и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты знаешь по книгам и фильмам. Это война, Димка, которая все-таки достала тебя.

И ты будешь стрелять, потому что в семи километрах отсюда люди, не подозревающие, что в их край вернулась война. Ты будешь стрелять ради них, Димка, понял?

Он понял. Он встал и пошел навстречу Старкову с ребятами. Он знал совершенно точно, что сумеет выстрелить — первым, если понадобится. А там, как говорит уважаемый шеф: все пули мимо нас!

— Ну, как там? — спросил его Старков.

— По-прежнему, — сказал Димка. — Где ружьишко?

— Получи, — Олег протянул ему двустволку и сумку с патронами.

Димка деловито откинул стволы, вогнал в них патроны.

— Надо предупредить колхозников,— сказал он.— Пойти должен Раф.

И Старков удивился даже не тому, что для Димки никакой проблемы не существовало (пойдет Раф и — точка!), а тому, как это было сказано: сухо, коротко — обсуждению не подлежит.

И даже Раф не стал по своему обыкновению возражать и ломаться, спросил только:

— А что я им скажу? Они же не поверят...

— А ты скажи так, чтоб поверили,— объяснил Димка.— И пусть подготовятся к нападению: мало ли что...— Он все же не справился с ролью командира, вопросительно взглянул на Старкова: то ли я говорю?

И Старков кивнул утвердительно, добавил:

— Сюда никого с собой не веди. Надеюсь, помощь не понадобится: боя не будет. А сам останешься в деревне: проследишь за подготовкой к обороне, и без паники.

— Зачем? — запротестовал Раф.— Объясню им все и вернусь...

— Ты знаешь слово «приказ»? — спросил Старков.— Так вот, это приказ. И запомни: мы на войне. А ведь даже в мирное время приказы не обсуждаются. Иди. И будь осторожен. Обойдешь их с севера. На дорогу даже носа не высывай. И помни: все пули мимо нас...

Раф недовольно — может быть, подчеркнуто, слишком подчеркнуто,— пожал плечами, поднял воротник куртки, пошел ссутулившись, сначала медленно, потом обернулся, улыбнулся неожиданно, сказал озорно:

— Предупрежу и вернусь. Привет! — И, не дожидаясь ответных реплик, рванул в кусты, только брызги посыпались.

Старков тоже улыбнулся: ну что будешь делать, вернется, конечно, не может не вернуться, он и слова-то «приказ» толком не знает, ему не приказывали — просили, требовали, предлагали, а железное «надо» ему вполне заменяли вольные «может быть» и «неплохо бы».

Вот почему Старков все-таки улыбнулся — не до воспитания, нет времени,— пожал плечами, сказал Димке:

— Придется тебе еще раз заняться акробатикой...

Димка кивнул, отдал ружье Олегу, полез на дерево.

— Все еще возятся,— сказал он.— Сучьев натащи-ли — вагон. А машина буксует.

Надсадный рев мотора то взрывался, то стихал. До них долетели обрывки невнятных команд, криков и ругани.

— Быстро к дороге,— приказал Старков.— И не шуметь!

Они добрались до небольшого холма недалеко от того места, где лесная дорога поворачивала к реке, пробиралась сквозь кусты орешника и, вырвавшись на полевой простор, бежала к деревне. Отсюда хорошо было видно, как все еще дергался в грязи помятый грузовик с промокшим брезентовым верхом и шла вокруг него все та же солдатская суетня. Пожалуй, скоро вытащат, подумал Старков, и до деревни доберутся хотя и позже Рафа, но все же скорее, чем тот сумеет втолковать колхозникам об опасности. Те даже поверить ему не успеют. Будут хмыкать, посмеиваться, покачивать головами, будут с жалостью смотреть на мальчишку и советовать ему приберечь свои шутки до первого апреля. Да что рассуждать: хорошо, если для колхозников вся эта история осталась бы глупой шуткой зарвавшегося физика, который даже и не думал о таких последствиях своего «эпохального» опыта.

Старков лег на мокрую траву, махнул рукой ребятам: ложись, мол, тоже,— раздвинул ветви орешника, выставив синеватый ствол карабина.

«Вот и вернулась к тебе война,— горько подумал он,— не оставляет она тебя: ни в воспоминаниях, ни наяву. Воспоминания привычны: ими можно играть, как детскими кубиками, складывать пирамидки, а надоест — рассыпать. А явь — это похуже. Это неожиданно и потому опасно. Боишься, Старков? Нет, конечно. Хотя их и вчетверо больше нас. Нет у меня к ним жалости, к этим возвращенным Временем фрицам, как и тридцать лет назад тоже не было. Сейчас у нас сорок второй на дворе — запомни. Фашисты идут к Волге. На Северном Кавказе — бои. Ленинград осажден. Отечество в опасности, Старков! Ты помнишь эту фразу? Вспомни ее хорошенько, перевари в себе. В опасности, понял, политрук?»

— Слушать мою команду,— шепотом приказал он.— Не стрелять без приказа. Лежать молча. Пока...

Он боялся, что ребята начнут стрелять раньше времени. Знал, знал, что все равно им придется стрелять — как же быть иначе? — и все же старался оттянуть этот момент. Не потому, что опасался промахов. И в мужестве их не сомневался. Ведь в годы войны

такие же мальчишки и стреляли, и шли в атаку, и стояли насмерть, если требовалось. Но Старкову казалось, что до сознания его ребят все еще не дошла по-настоящему реальность возвращенного Временем прошлого. В их готовности к бою был какой-то элемент игры или, точнее, лабораторного эксперимента. Вероятно, им думалось, что стрелять придется хотя и в живых, но все же не «настоящих» людей,— те уже давно истлели и даже кости их не соберешь в этих лесных болотах. А Старков знал, что с отрезком возвращенного военного времени вернулись и его будни, тяготы, кровь и смерть. И если эти живые, по-настоящему живые гитлеровцы прорвутся к селу, будут и стрельба, и резня, и мертвые дети, и повешенные старики. Не о таком эксперименте он думал, потому и боялся за своих не переживших войны пареньков.

Он подтянул карабин к плечу, прижался щекой к его мокрому прикладу, поймал на мушку медленно, с трудом вращающееся по глине переднее колесо поднимающейся из грязи машины, нажал на крючок. Карабин громыхнул неожиданно сильно в шуршащей тишине дождя. Грузовик резко повело на середину дороги, он влез колесами в наезженные колеи, дернулся вперед и замер, заглох, видимо, шофер выключил зажигание.

«Вот и все,— безразлично и буднично подумал Старков.— Война объявлена...»

6

Раф удачно выбрался из леса, минуя дорогу, побежал напрямик через клеверное поле: черт с ним, с клевером, зато выгадывалось километра полтора. Некоторое время Раф слышал ревуший в лесу грузовик, потом звук исчез: то ли мотор заглох, то ли просто он отошел достаточно далеко от «театра военных действий».

В конце концов, как еще иначе назвать сегодняшнее приключение? Раф искал термины: мини-война, операция «Время». Или так: физики шутят...

Хороши шутки, если тебя подстрелят как зайца. Вопреки предложению Старкова Раф, хотя и подыскивал подходящие термины для «лабораторного эксперимента», все же ни минуты не сомневался в опасности ситуации: горящая спичка все равно взорвет бак с бензином, даже если тот прибыл из прошлого. Конечно, лучше всего было бы затаиться, уйти в лес, не делать

глупостей и не вызывать огонь на себя. Раф не верил в сверхъестественное. Он верил в законы физики. И еще — в собственную логику. А она ему подсказывала, что «гостей из прошлого» держит здесь временное поле и за его пределами они просто не смогут существовать. Исчезнут, вернуться в свой сорок первый или какой там год. Естественно, определенный риск существовал: могут и не вернуться. Вот тогда и следовало что-то предпринимать. Но вероятность «невозвращения», по мнению Рафа, едва ли составляла пять-шесть процентов.

Однако со Старковым не поспоришь: он уперся на своем и не отступит, пока сам не убедится в ошибке. Ну что ж, пусть убедится. Предоставим ему такую возможность. Тем более что колхозников и вправду надо предупредить: даже пять процентов вероятности могут принести беду.

Конечно, можно было бы сразу отключить поле и тем самым проверить прочность железной логики Рафа. Но здесь он понимал и Старкова: пять процентов могли вполне превратиться в сто. Не исчезни «гости», так их потом не вернешь никакими силами: попробуй настрой генератор так, чтобы временное поле совпало именно с тем временем, которое властвует сейчас в зоне экранов. Нет, спокойней подождать, пока один из этих экранов потеряет настройку и перегорит, а тогда исчезнет и поле. Раф полагал, что произойдет это скоро. И может быть, его миссия даже не понадобится и он до конца срока практики будет ходить у колхозников в роли Иванушки-дурачка.

Впрочем, роль эта не слишком волновала Рафа: дурачок так дурачок. Гораздо важнее, чтобы «дурачку» все-таки поверили. Хотя бы наполовину. Или даже на треть. Чтобы никого не застали врасплох эти чертовы пять процентов.

Раф даже поежился от мысли, что «пришельцы» могут добраться до деревни. Глупая мыслишка, нелогичная, но страшноватая. Он отогнал ее, отмахнулся, стал прикидывать, как убедить председателя вооружить людей. Причем вооружить, не раскрывая истинной причины опасности...

Тут он осекся: а почему, собственно, не раскрывая? Пойдет вздорный слух? Ну, вздорный или нет, а слух пойдет все равно. В конце концов колхозники должны знать правду об эксперименте и его последствиях. Но, может быть, не сразу, не сейчас. Правду должен узнать

председатель, мужик умный, воевавший вместе со Старковым и лучше других осведомленный о его научной работе в здешних лесах. К тому же его слушаются и ему верят, и такой хозяин округи наверняка придумает что-нибудь надежное, чтобы предупредить людей о грозящей опасности. Еще лучше помогли бы выстрелы — автоматные, у гитлеровцев «шмайссеры», а не дробовики, но на семикилометровом расстоянии их не услышишь...

Раф выбрался наконец на дорогу, тяжело побежал, скользя на липкой глине, свернул по траве к председателю дому: хорошо, что председатель жил здесь, а не в центральной усадьбе. И хорошо, что сегодня — воскресенье, а стало быть, он дома, а не в поле или на ферме. Должен быть дома...

Раф не ошибся: председатель был дома. Он сидел в комнате под старомодным фикусом и смотрел телевизор. Председательское семейство, состоящее из двух близнецов десяти лет, жены и тещи, сидело чуть поодаль от фикуса и тоже смотрело передачу. Телевизор был новый, недавно купленный в кредит, сверкающий коричневым лаком и никелированными ручками, и председателю было явно наплевать на то, что показывали: важен факт, а не содержание. А показывали металлургический завод. На экране лился расплавленный металл, гремел прокатный стан и сновали рабочие с мужественными лицами. Председатель был очень увлечен передачей и не сразу заметил Рафа, остановившегося на пороге. А когда заметил, сказал приветливо:

— Здорово, студент. Садись и смотри. Интересно.

Он прекрасно понимал, что Раф явился вовсе не затем, чтобы изучать жизнь металлургов. Но в деревне не принято было эдак с бухты-барахты приниматься за дело. Сначала требовалось некоторое вступление, так сказать интродукция, и телепередача вполне подходила для этой цели. Но Раф не имел права соблюдать веками установленный сельский этикет. Он подошел к председателю, оставляя грязные следы на крашеном полу, наклонился, сказал на ухо:

— Беда, Петрович. Вырубай шарманку. Времени нет.

И сумел он сказать эти будничные слова так, что председатель не стал вспоминать об этикете, протянул руку, выключил телевизор, спросил в наступившей тишине:

— Случилось что?

— Случилось, случилось,— быстро проговорил Раф. Председательское семейство настороженно молчало, ожидало продолжения. Раф с сомнением посмотрел на них, потом перевел взгляд на председателя. Тот понял.

— Пойдем со мной,— сказал он.

Встал и пошел в другую комнату, подождал, пока туда вошел Раф, плотно прикрыл дверь.

— Говори.

И опять Раф заколебался: с чего начать? Не придумал ничего лучше, как бухнуть сразу:

— Фашисты в лесу, Петрович!

— Ты сегодня температуру мерял? — голос председателя звучал спокойно, но слышались в нем угрожающие нотки: как так, из-за дурацких шуточек человека от воскресного отдыха отрывать!

— Да не вру я,— заорал Раф и вдруг успокоился, пришел в себя: — Опыт мы ставили. Знаешь?

— Ну, знаю. Старков рассказывал. Время хотите вспять повернуть...

Раф усмехнулся про себя: примитивно, но в общих чертах верно.

— Уже повернули.

— Удался, значит, опыт?

— Даже слишком. В общем, такие дела, Петрович: генератор создает границу между нашим временем и прошлым. На этот раз мы попали, видимо, в сорок второй год...

— Самое пекло здесь было,— сказал председатель.— Вместе с твоим Старковым фашистов били. Я — партизанским «батей», он — комиссаром. Каратели тогда две соседние деревни сожгли. Одни печи остались. Лучше и не вспоминать.

— Придется вспомнить,— жестко сказал Раф.— Чего-то мы не учли в расчетах, и сквозь эту временную границу проскочили наши «гости» из прошлого. А какие — сказал уже.

Председатель задумался.

— А может, все-таки ошибка? Может, марево? В болотном тумане всякое показаться может.

— Не тяни, Петрович,— отрезал Раф.— Все самое настоящее. Увидишь Старкова — подтвердит. Да и наш Димка с дерева наблюдал. И машины немецкие, и форма немецкая. Как в кино.

— В кино по-всякому одеть можно,— вздохнул

председатель. Очень уж ему трудно было поверить в старковское чудо.

— Мы тоже сначала подумали, что кино,— сказал Раф,— только это, отец, совсем не кино.

— Может, рабочим каким немецкую форму выдали? — все еще сопротивлялся председатель. — Со складов, чтоб зря не лежала.

— С каких складов? — уже рассердился Раф. — Из «Мосфильма» или из театра какого-нибудь? И настоящие автоматы выдали? Интересно, зачем?

— Да-а... — протянул председатель, полез в карман, достал смятую «беломорину», коробок спичек, закурил, пустил дым к потолку.

Он никогда не торопился с решениями, долго обдумывал, взвешивал, примеривался, а уж когда решал, то — прочно и твердо. Он курил и молчал, и Раф молчал. Молчал и думал о том, что делается в лесу. Не хотел думать, не верил в то, что думалось, и все-таки думал, думал, думал, и сжималось что-то в груди, натягивалась струночка — не порвать бы...

— Вот что, студент,— сказал наконец председатель. — Сколько их там?

И Раф вздохнул облегченно: поверил-таки. Да и не мог не поверить. Не такой мужик председатель, чтобы не понять, когда шутят — пусть глупо, пусть подло, — а когда всерьез говорят. Понял он — даже не то, что произошло на самом деле, а то, что и вправду пришла беда и что с бедой этой можно сладить только сообща. Как и тогда, в настоящем сорок втором, когда председатель — ровесник Старкова — ушел в партизаны, а после войны строили колхозы на Брянщине.

— Человек тридцать,— быстро сказал Раф. — Грузовик и маленькая легковушка с офицерами.

— А вас трое... — не то спрашивая, не то утверждая, проговорил председатель, и Раф перебил его:

— Да не в том дело! Для наших опасности нет: лес большой, да и не полезет Старков на рожон, — тут он сам не очень верил в свои слова. — Главная опасность в том, если фашисты в деревню прорвутся.

— Могут... — опять не то спросил, не то подтвердил председатель, и опять Раф вмешался:

— Маловероятно: это же чужое время. Оно существует только в пределах действия генератора, а значит, «пришельцы» не смогут из этих пределов вырваться.

Но председателю непонятны были доводы Рафа. Он в науке не слишком разбирался, зато точно знал: есть

машина, есть тридцать человек со «шмайссерами» и никакой дробовик их не остановит.

— Мало или не мало,— сказал он,— а людей предупредить надо. Не поверят, конечно, в ваши штуки со временем. О бандитах говорить будем, о бандитах в бывшей немецкой форме. Где-нибудь старый трофейный склад ограбили, а теперь в село идут. Не очень мудро придумано, но если на серьез братья — поверят. Главное, чтобы подготовились к встрече.

— Вот и я о том же,— закричал Раф.— И побыстрее.

— Горячку не пори,— председатель встал, взял со стула дождевик.— Пошли по дворам.

Они прошли через комнату, где председательское семейство ожидало окончания таинственного разговора.

— Вот что, бабы,— на ходу распорядился хозяин.— Тут дела такие, что лучше вам из дому не показываться. Заприте двери, ставни закройте и сидите тихо.— Подумал, что надо бы объяснить не очень понятный приказ, и добавил: — Тут в округе банда объявилась. Милиция из города выехала уже, по следу идут. Так что лучше погодить. Понятно?

И, не дожидаясь ответа, вышел в сени, сорвал со стены двустволку, взял сумку с патронами, сунул под плащ.

— Теперь они носа не высунут,— шепотом сообщил он Рафу.— Тут меня вроде слушаются — и дома, и в народе... Ты вот что, иди по левой стороне улицы, а я по правой. Говори: председатель зовет, дело есть. Пусть ружья берут. Через десять минут — на околице.

— Послушайте...— сказал Раф. Он не умел и не любил о чем-нибудь просить, а тут надо было, нельзя не просить: что же он, хуже других? — Послушайте... У вас лишнего ружья не найдется?

— Кому?

— Мне. Не взял из Москвы,— соврал Раф.— Забыл, понимаешь. А как же сейчас без оружия?

— Да, брат, без оружия сейчас нельзя,— председатель вроде бы поверил наигранной беспечности Рафа, а может, и нет,— кто знает хитрого мужика,— только снял с плеча двустволку свою.— Держи.

— А ты, Петрович?

— Я у Фрола возьму. У него несколько. Да бери-бери, тебе говорят.— И только спросил невзначай: — Ты с этой системой знаком?

Раскусил он, раскусил напускную беспечность сту-

дента, только не хотел обижать, позорить сомнениями: знал, что не время сейчас,— может быть, бой впереди. И Раф понял это, и был благодарен тактичности председателя, который — известно было! — и кричать любил, и поматериться, и высмеять неумеху. А тут смолчал. И Раф не стал что-то объяснять или оправдываться, кивнул в ответ: знаком, мол. Да и видел он не раз, как легко обращался с такой же двустволкой Димка — дело нехитрое,— закинул небрежно на плечо, толкнул дверь на улицу:

— Пошли...

А председатель остановился вдруг, посмотрел на него просительно:

— Парень, а ты не разыгрываешь?

— Тогда идите домой,— зло сказал Раф,— и досматривайте телевизор. И спокойно, и понятно, и чертовщины никакой нет. А то, что наши в лесу — трое против тридцати, так это так, между прочим, пошутил значит.

— Эх, не понял ты меня,— председатель даже рукой махнул.— За такие шутки я б тебе голову свернул. Я же поверил тебе: не мог не поверить. Только наука ваша для меня — китайская грамота. Вот она, моя наука: когда сеять да когда жать. А выше — ни-ни... Ты не злишь, парень: мы же, как хохлы в поговорке, пока рукой не пощупаем — не поймем... Ну, да ладно, давай поторопимся.

7

Старков ошибался: война не была объявлена. То ли за ревом двигателя не слышен был выстрел, то ли еще какая-нибудь причина, только дверца машины хлопнула и долговязый шофер наклонился над колесом.

— Что там еще? — крикнул ему кто-то из передней машины.

— Должно быть, прокол,— виновато ответил шофер, ощупывая покрывку.

Старков поймал его на мушку: удобная мишень,— задержал прицел и... опустил карабин. Подумал: не время сейчас, получена новая отсрочка, причем совсем уж неожиданно. И сам усмехнулся: хитришь, солдат, испугался по живой мишени хлопнуть, отвык за тридцать лет. Отсрочка отсрочкой, а вот что будешь делать, когда и она кончится.

А отсрочка явно получалась недолгой. От все еще сидевшей в грязи машины донеслись лающие немецкие крики. Старков мысленно перевел.

— Ефрейтор, слышал выстрел? — спросил кто-то из легковушки.

— Никак нет, господин оберштурмфюрер, — ответил ефрейтор, не вылезая, однако, из теплой кабины грузовика.

Это явно не понравилось офицеру.

— Ко мне! — приказал он.

Рыжий ефрейтор выпрыгнул из кабины и, смешно переваливаясь на коротких ногах, побежал по глине к легковушке. Он остановился около нее, согнулся угодливо, и Старков подумал, что его обтянутая черным кителем спина — тоже неплохая мишень. Он-то лишь подумал об этом, усмехнулся про себя — сдержив эмоции, политрук, — и вздрогнул от грохота выстрела. Черная спина ефрейтора дернулась, он неестественно выпрямился, схватился за брезентовый верх легковушки и, не удержав своего тяжелого тела, медленно сполз на дорогу.

— Кто? — в ярости повернулся Старков и осекся: ему весело улыбался Олег.

— Как я его? Теперь начнется...

«Теперь начнется», — тоскливо подумал Старков.

И еще подумал, что парень в общем-то не виноват: немецкого не знает, потому и не понял, что только сейчас получил в подарок минут пятнадцать отсрочки и вот отказался от подарка, накликал беду...

В общем не виноват. А в частности? Старков смотрел на улыбающееся лицо Олега, перезаряжающего ружье, и подумал о той необычайной легкости, с которой молодой парень только что убил человека. Да не человека же, сам себе возразил Старков, — гитлеровца, убийцу. Но это ты знаешь, что он — садист и убийца, ты его помнишь, или не его — ему подобных, ты их знаешь, а Олег? Для Олега все эти понятия — теория, страницы из учебника, и тем не менее...

Старков отмахнулся от этой мысли, забыл о ней. Начались дела поважнее...

— Ахтунг! — крикнул эсэсовец, выскочивший из своей легковушки и уже спрятавшийся в кустарнике. — Партизанен. Файер!

И Старков тоже полувыкрикнул, полушепнул:

— Огоны!

Эсэсовские каратели прыгали из кузова и ныряли

в лес. Старков поймал на мушку одного — в прыжке — и выстрелил: есть! Еще один, еще, еще... Рядом бабахал Олег, то и дело перезаряжая тулку, вполголоса приговаривал:

— Попал... Попал... Ах, черт, мимо...

На Димкиной стороне было тихо, а может, это только показалось Старкову — он и разбираться не стал, некогда, — перезарядил карабин, припал щекой к ложу.

Немцы из-за кустов открыли по ним огонь. Звонко и раскатисто лаяли автоматы, где-то над головой — прицел неточен! — свистели пули и, собственно говоря, отвечать уже не было смысла. Срезанные выстрелами «пришельцы» остались лежать у машины, а остальных просто не было видно. А стрелять по звуку — пустая трата патронов.

Черномундирный оберштурмфюрер тоже не был профаном. Автоматные очереди сразу же прекратились, и внезапная тишина, повисшая над лесом, показалась Старкову странно нереальной, будто кто-то выключил звук, а изображение на экране осталось: та же разбегенная дорога над горкой, те же кусты орешника на обочине, брошенные машины и трупы около них.

Старков посчитал: трупов было семь. Четырех срезал он сам, а трое, стало быть, приходится «на долю» ребят. Скорее всего Олег: Димка, кажется, вовсе не стрелял — то ли испугался, то ли не успел.

— Быстро отходить, — шепнул Старков и, пригнувшись, побежал в глубь леса, петляя среди деревьев.

Он понимал, что их торжество долго не продлится. Звук выстрела из автомата или карабина не спутаешь с выстрелом из охотничьего ружья. А плохо вооруженные партизаны вряд ли сильно напугают карателей. Сейчас Старков не сомневался, что они выловили из прошлого именно взвод карателей. Вот таким же мокрым осенним днем лет тридцать назад ехал этот взвод по такой же мокрой осенней дороге, может быть, так же застрял на полчаса, может быть, тоже встретил партизан — настоящих! — а может быть, и прорвался к деревне. Если так, то кто-то из колхозников наверняка сохранил память об этом заурядном, но страшном эпизоде минувшей войны.

Минувшей? Опять оговорка. Кто знает: точно ли совпадает время в настоящем и в прошлом и равняются ли два часа, проведенных карателями в дне нынешнем, двум часам дня давно минувшего. А может быть, вернув-

шись в сорок второй год — Старков все-таки верил в это возвращение! — кто-то из карателей обратит внимание на то, что их время стояло, что вернулись они в ту же секунду, из которой отправились в долгое путешествие по временной петле. Кто знает капризы времени, его неясные законы, поведение? Да кто, в конце концов, знает, что такое само время? Никто не знает, думал Старков, а его теория — лишь робкая попытка постучаться в толстую стену, за которой — неизвестность, загадка, ночь...

— Стойте! — вдруг шепнул Олег. — Слышите?

Где-то позади хрустнула ветка, зашуршали о траву капли с потревоженного кем-то дерева.

Старков бесшумно шагнул за куст, за ним — Димка и Олег. Через несколько секунд на маленькую полянку, где они только что стояли, осторожно вышел человек в черной эсэсовской форме. Он озираясь, сжимая в руках мокрый от дождя «шмайссер», потом шагнул вперед — и захрипел в не слишком вежливых объятиях Олега.

— Штиллер! — сказал ему по-немецки Старков, уткнув в грудь немцу дуло своего карабина. — Во зинд андере? — И прибавил по-русски: — Остальные где?

Немец отрицательно покачал головой, скосил глаза на старковский палец, застывший на спусковом крючке. Старков понял его и медленно повел крючок на себя.

— Найн, найн, — быстро сказал немец и поднял руки.

— Эс ист бессер, — одобрил Старков. — Мы тебя не убьем. Нихт эршляген. Ты откуда? Фон во?

— Бо-ро-ви-чи, — немец тщательно выговорил трудное русское слово. — Айн кляйне штадт. Гестапо.

— Районный центр, — сказал Старков и снова спросил: — А сюда зачем? Варум, варум? — и обвел рукой вокруг.

— Ихь вайс нихт.

— Не знает, — перевел Олегу Старков и снова пошевелил пальцем на спусковом крючке.

— Аусфалль. Этрафэкспедицион, — пояснил немец.

— Вылазка. Карательная акция, — повторил по-русски Старков.

Немец явно невраг. Командование обычно не посвящало солдат в подробности операций. Карательная акция — достаточное объяснение, тем более что подобные акции — обычное дело для таких вот черномундирных «орлов», нахально храбрых с безоружными женщинами и трясущихся от страха под дулом карабина или автомата.

Старков достал из кармана носовой платок, критически осмотрел его. Платок был далеко не первой свежести, но гигиена здесь не обязательна.

— Открой пасть,— сказал Старков немцу и сам показал, как это сделать.

Тот послушно ощерился, и Старков толково забил платок ему в рот, потом, вытянув из его брюк ремень, кинул Димке.

— Свяжи руки.

Связанного немца положили под елку, и заботливый Димка прикрыл ему лицо пилоткой.

— Чтобы дождь не мочил,— объяснил он.

— Можно, я возьму его автомат? — спросил Старкова Олег.

— Возьми, конечно. Запасные обоймы они держат в подсумке.

— Нашел,— сообщил Олег.

— Вот что, ребята,— подумав, сказал Старков.— Судя по этому викингу, они решили прочесывать лес поблизости. Грузовик почти вытащили, но явно еще задержатся. Поэтому пробирайтесь-ка навстречу Петровичу с его отрядом — два лишних бойца пригодятся. Старайтесь обойти карателей с тыла — лес знаете.

— А вы? — почти одновременно спросили Олег и Димка.

— Пойду к немцам.

— За пулей в голову?

— Все пули мимо нас,— засмеялся Старков.— Схитрю. По-немецки немного умею, но вида не покажу. Постараюсь задержать их подольше,— может, какой-нибудь из экранов сорвется.

— Как это задержать? — удивился Олег.

— Найдем способ,— усмехнулся Старков и добавил отрывисто: — А вы идите, как условились. Это приказ.

Отдав свое оружие ребятам — в последний момент Старков решил, что карабин ему не понадобится,— он снял исподнюю рубашку и, размахивая ею, как белым флагом, пошел наперерез через кусты к застрывшему грузовику.

Увидя человека, размахивающего рубашкой, эсэсовцы, кроме тех, что разбрелись по лесу в поисках партизан, угрожающе подняли автоматы.

— Хальт! — скомандовал один из них.

— Шпрехен зи руссиш? — крикнул Старков.

Из легковушки вылез уже знакомый издали оберштурмфюрер с длинным прямым носом и клоком рыжих волос, спускавшихся по-гитлеровски на лоб. Он иронически оглядел застывшего с поднятыми руками Старкова.

— Кто ты есть? — спросил он лениво. — Партизан? Мы не разговаривать с партизан. Мы их эршиссен. Пиф-паф.

«Могут и расстрелять, — подумал Старков. — Без переговоров. Пиф-паф — и все. Да нет, пожалуй, не расстреляют так сразу. Покуролесят хотя бы из любопытства. Оно у носатого на морде написано. А мне важно затянуть канитель. Задержать, задержать их во что бы то ни стало. Да подольше, пока не полетят к черту экраны». Он уже рассуждал не как ученый Старков, а как партизанский политрук Старков, под дулами нацеленных на него автоматов придумывавший что-нибудь заковыристое.

— У меня есть сообщение, господин офицер, — сказал он нарочно дрожащим от страха голосом, хотя страха-то у него и не было: не все ли равно, как помирать, если приходится помирать.

— Со-об-ще-ние, — повторил по слогам носатый. — Миттейлунг. Хорошо. Геен зи хир. Близко. Еще близко.

Старков подошел, чуть прихрамывая — у него уже было на этот счет свое соображение — и не опуская рук.

— Говори, — услышал он.

Ну как говорить с призраком? Даже не с призраком, а с искусственно материализованным покойником. Да и покойники-то не ведают, что они уже тридцать лет как покойники, а если кто и жив сейчас, так не знает, что ему сейчас придется «эршиссен» Старкова. Странное состояние полусна-полуреальности охватило его. Но дула автоматов отразили искорки солнца, выглянувшего на мгновение из-за свинцовой пелены туч. Сталь этих автоматов была совершенно реальна.

— Я сказать: говори. Заген, заген, — повторил носатый.

— В лесу партизан нет, — сказал Старков. — Была только группа разведчиков. Трое вместе со мной. Двоих вы кокнули.

— Что есть кок-ну-ли?

— Пиф-паф,— ответил, стараясь не улыбаться, Старков.

— Во ист партизаненгрупп? Отряд, часть? — добавил носатый.

— Ушли к железной дороге. В деревне одни старики и дети. А штаб отряда за Кривой балкой. Примерно там,— и Старков показал в противоположную от деревни сторону.— Сорок минут туда и обратно.

Он нарочно выбрал не слишком отдаленный отсюда район. Потерять час-два на проверку носатый бы не рискнул. А сорока минут вполне достаточно. Да и до деревни надо потом добраться: клади еще тридцать минут по такой грязи. Никакие экраны столько не выдержат. Правда, его, Старкова, могут и расстрелять, когда вернутся ни с чем из-за Кривой балки посланные туда солдаты, но что ж поделаешь: людей в деревне надо сберечь. И опять думал это не физик Старков, а политрук Старков образца сорок второго года.

Носатый посмотрел в указанную Старковым сторону.

— Дорт? — удивился он.— Повтори.

— За Кривой балкой.

Носатый пошевелил губами, достал из нагрудного кармана в несколько раз сложенную карту, приложил ее к дереву и, пошарив глазами, ткнул пальцем в какую-то точку.

— Штаб? — повторил он.— Вифиль зольдатен? Сколько охранять?

— Человек десять.

— Цеен. Зер гут.

И тут же усомнился:

— А если ты врать, почему я верить? Где автомат?

— Бросил в лесу, когда бежал к вам.

— Зачем к нам?

— Всякому жить хочется. Я один, а вас тридцать. И леса не знаю. Чужой я здесь.

— А почему партизан?

— Силком взяли, когда из города уходил. А я беспартийный да еще белобилетник.

— Что есть бело-би-летник?

— Освобожден от военной службы по причине негодности. Хромаю. Немцы говорят: ламе.

— Пройти мимо.

Старков, припадая на правую ногу, прошел под навешенными на него автоматами мимо носатого и вернулся на место, где стоял раньше.

Эсэсовец подумал, еще раз взглянул на карту, позвал ефрейтора и быстро проговорил что-то по-немецки, из чего Старков понял, что двадцать человек направляются к Кривой балке, а его особу будут сторожить два автоматчика.

Носатый взглянул на часы и пролаял на своем искалеченном русском:

— Если нет штаба — архенген. Сук видеть? — он кивнул на толстый осиновый сук над головой Старкова. — Висеть, ясно?

— Ясно, — вздохнул Старков и спросил: — А закурить дадите?

Эсэсовец швырнул ему сигарету. Старков поймал и закурил от предложенной автоматчиком зажигалки. Дрянная сигарета, но курить можно, и он не без удовольствия затянулся.

Сорок минут. А там, кто знает, может быть, и поле исчезнет со всей вырванной из прошлого сволочью.

9

Лес они действительно знали: каждый кустик, каждый холм, каждую тропинку в зоне экранов исхледили за четыре месяца — хоть кроки по памяти составляй. Поэтому и Олег, и Димка точно представляли себе, как и куда им нужно добраться. В двухстах метрах отсюда пролегал неглубокий овраг. Если пройти по нему до конца, можно выйти к дороге там, где она тянется из леса к деревне. Туда прочесывающие кустарник эсэсовцы, конечно, сразу не пойдут. Не найдя «партизан» поблизости, они вернутся к машине.

Расчет оправдался. По оврагу ребята прошли без приключений: как они и предполагали, каратели не стали всерьез прочесывать лес, постреляли по кустам где погуще и пошли назад. Тем более что «партизаны» на огонь не ответили. Словом, все шло по плану, задуманному Старковым.

Они уже добрались до опушки, где дорога сворачивала к деревне. Только бы не нарваться на гитлеровцев! За кого могли их принять, если у Олега висел на груди автомат, отобранный у пленного «гостя». Значит — сражение, а исход его неизвестен. И неизвестно тогда, будет ли выполнен приказ Старкова.

Вдали снова заурчала машина. Олег замер: должно

быть, вытащили. Тогда каратели обгонят их через десять минут и прорвутся к деревне.

Даже предупрежденные Рафом колхозники подойти не успеют. Значит, надо что-то придумать. И Олег неожиданно предложил:

— Пробирайся к деревне один. Одному сподручнее и скорее. Меньше шума. Пройдешь в кустах по опушке — не заметят.

— А ты куда? — удивился Димка.

— Вернусь к машинам.

— Так ведь Старков приказал...

— Не всякий приказ следует понимать буквально. Старков приказал присоединиться к вооруженным колхозникам. Мы и присоединимся. Только по отдельности. Сначала ты, потом я. Если Старкову не удастся задерживать машины, попробую я.

— Каким образом? — Димка все еще ничего не понимал.

— Во-первых, у меня «шмайссер», во-вторых, стреляю я без промаха. В-третьих, меня беспокоит судьба Старкова. Словом, спорить не о чем и некогда. Сыпь к деревне напрямик сквозь кусты. А я пошел.

Димка хотел вмешаться, но не успел. Где-то далеко в лесу раздавались короткие автоматные очереди, преследующие единственную цель — напугать до сих пор не обнаруженного противника и успокоить себя. Кто-то кричал, кто-то ругался по-немецки, но слов разобрать было нельзя. Да Олег и не знал немецкого. Его интересовало только поведение Старкова.

До машин он добрался быстро. Пригнувшись, побежал вдоль стены орешника, поравнялся со стоявшей на дороге легковушкой и почти бесшумно раздвинул кусты, выглянул на дорогу. Эсэсовский офицер со сплюснутым длинным носом и рыжим вихром на лбу сидел на пенечке в расстегнутом плаще. Против него, покуривая, стоял Старков, а в стороне два автоматчика. Один из них намертво держал его под прицелом «шмайссера», другой обменивался сигаретами с вышедшим из открытой легковушки шофером. Еще три автоматчика позади уже выкарабкавшегося из трясины грузовика отдыхали на поваленной бурей сосне. Солдаты помалкивали, время от времени озираясь по сторонам. Ясно было, что невольная задержка всех раздражает. И быть может, оберштурмфюрер уже жалел, что отослал отряд куда-то за Кривую балку — название, которое на

немецкий и перевести невозможно. От сорока минут осталось всего четверть часа. Тогда он повесит этого партизана и двинется с отрядом к деревне. Носатый еще раз взглянул на часы и зевнул.

Вот тут-то Олег и принял решение. Мгновенной короткой очередью он срезал двух автоматчиков и шофера. Другая прострочила зевавшего оберштурмфюрера. Все это произошло так быстро, что растерявшиеся эсэсовцы, отдыхавшие позади грузовика, не успели ничего предпринять. Олег перемахнул через кювет с водой и прыгнул в открытую легковушку, что-то крикнув Старкову. Тот, не успев удивиться, сразу понял, что от него требовалось. Вырвав из рук убитого автоматчика его «шмайссер», он дал очередь по эсэсовцам, которые залегли за стволом сосны. «Ко мне!» — крикнул из легковушки Олег, и Старков в два прыжка очутился в машине. Двигатель завелся вполоборота.

Олег врубил сразу вторую передачу и нажал на акселератор. Машина взвыла — много газа, пробуксовала секунду и рванулась вперед.

Быстрота всего происшедшего исчислялась мгновениями. Но эсэсовцы уже опомнились и открыли огонь по машине. Поздно! Страх перед неожиданным налетом «партизан» парализовал их так, что они едва успели воспользоваться прикрытием сосны, чтобы открыть огонь, теперь уже бесполезный. Они даже не сообразили, что в их распоряжении еще оставался освобожденный от грязевых тисков грузовик, и, петляя между кустами, только палили уже совершенно бесцельно по уходившей вперед легковушке — кучка потерявших командира, смертельно напуганных солдат.

10

Оставшись в одиночестве, Димка медлил недолго. Приказ есть приказ. Не понимая и даже не пытаясь понять, что задумал Олег, Димка знал одно: как можно бесшумней, скорей и верней связаться с колхозниками. Продираясь сквозь заросли орешника, он вдруг услышал выстрелы. Где-то впереди, видимо на дороге. Он остановился — закрипели сломанные кусты. Сквозь них он увидел, как промчалась по проселку, как взбесившаяся кошка, желто-зеленая пятнистая легковушка. Почему одна, подумал Димка, ведь без грузовика с солдатами она станет легкой добычей колхозников. Совсем рядом

просвистели пули, и он отметил, что стреляли из леса. Остановился, обернулся, не целясь выстрелил по черной пилотке, мелькнувшей в глубине леса, побежал дальше.

...Он не слишком хорошо соображал, что делал. В нем жила только ярость, но не слепая и пылкая, а холодная и расчетливая. Она, и только она, руководила его поступками. И может быть, потому, что они потеряли привычный здравый «гражданский» смысл, ярость придала им странную, не знакомую доселе логику: спрятаться за кустом, выстрелить, сменить патроны старковского карабина, короткая перебежка и — снова выстрел. Вероятно, так же рождалась логика боя в партизанских отрядах — тогда, в Великую Отечественную. Ведь в отряды эти приходили не кадровые военные, порой такие же мальчишки с «гражданским» здравым смыслом. И смысл этот так же уступал место холодной ярости, ненависти к врагу, а значит — мужеству, бесстрашию, подвигу.

На дороге уже никого не было. Выстрелы раздавались из леса со всех сторон, кроме той, куда уехала легковушка. Она уже, наверно, вышла из зоны экранов — тут метров двести до границы поля, не больше. А что с Олегом, со Старковым? Может быть, это они участвуют в сражении, от которого ушел Димка. Может быть, это их, а не его ищут автоматные очереди эсэсовцев. Он спрятался за ствол дуба, выглянул из-за него. Метрах в двадцати среди мокрой зелени листьев мелькнула черная куртка. Димка выстрелил, перебежал к другому дереву, выстрелил еще раз и вдруг услышал крик за спиной:

— Хальт! Хенде!

Медленно поднял руки вверх — в правой карабин, обернулся.

На него смотрел черномундирный немец, выставив вперед дуло пистолета.

И снова Димка подумал, что ему не страшен ни этот эсэсовец, ни его пистолет. Подумал и удивился: как же это? Ведь эсэсовец — не артист кино, не призрак и пули в его пистолете настоящие — девять граммов свинца...

Димка отвел правую руку назад и с силой швырнул карабин в нациста. Потом сразу пригнулся, прыгнул в сторону, и вдруг что-то ударило его в бок, потом в плечо, обожгло на секунду. Он остановился, удивленный, прижал руку к груди, смотрел, как расплывается под пальцами черно-красное пятно, мокрое и липкое. И все кругом стало черно-красным и липким, погасли звук

и свет. И Димка уже не услышал ни грохота еще одного выстрела, ни шелеста шагов поблизости, ни монотонного шума дождя, который припустил сильнее и чаще.

Председатель с удивлением смотрел на убитого эсзовца в ненавистном черном мундире, на его нелепо скрюченную руку, сжимавшую черный «вальтер», на ствол своего дробовика, из которого еще вился синий дымок.

А Раф бросился к Димке, тормошил его, что-то кричал и вдруг умолк, с ужасом увидев темное пятно крови на груди и тонкую малиновую струйку, ползущую на подбородок из уголка рта.

— Димка, Димка,— бессмысленно прошептал Раф и заплакал, ничего не видя вокруг себя.

И даже не понял, когда председатель грубо оттолкнул его,— а просто сел на мокрую землю, грязным кулаком размазывая слезы по лицу. А председатель привычно — с сожалением, что пришлось вспомнить эту старую привычку,— наклонился над Димкой, прижал ухо к груди, послушал сосредоточенно и улыбнулся:

— Жив!

Потом рванул штормовку, ковбойку, пропитавшуюся кровью майку. Сказал Рафу:

— Эй, парень, приди в себя. У вас в сторожке бинты есть?

— Какие бинты? — всхлипнул Раф. — Ведь бой идет...

И вдруг осекся: кругом стояла тугая непрозрачная тишина, по которой гулко били частые капли дождя.

— Что же это? — изумленно спросил он, посмотрев туда, где только что лежал труп убитого гитлеровца: трупа не было.

Лишь трава на том месте, где он лежал, еще осталась примятой. И валялся рядом выброшенный председателем использованный ружейный патрон.

— Сбежал, что ли? — спросил Петрович. — Не похоже: я не промазал...

Сзади захрустели кусты. Раф обернулся и вздохнул облегченно: на полянку вышли Старков и Олег. Возбужденные, возволнованные, похожие на стайеров, закончивших многокилометровый пробег нога в ногу,

почему-то радостные и, в отличие от стайеров, совсем не усталые. И у того и у другого болтались на груди немецкие автоматы. И тут они увидели Димку на траве и председателя, стоявшего перед ним на коленях.

— Что с ним? — Старков бросился вперед, склонился над раненым.

— Жив-жив, — сказал председатель. — Не суетись. Пусть лучше кто-нибудь добежит до сторожки, бинты возьмет. Или простыню на худой конец...

— У нас есть бинты, — быстро сказал Олег. — Я сейчас сбегаю.

Пока он бегал, Старков с председателем осторожно раздели раненого Димку. Все еще всхлипывающий Раф принес во фляжке воды из ручья, и председатель умело промыл раны. Димка в сознание так и не приходил, только постанывал сквозь зубы, когда председатель бинтовал ему грудь и плечо.

— Хотя рана и не опасная, но парня в больницу надо, — сказал председатель. — И побыстрее. Кто за машиной пойдет?

— А зачем за ней ходить? — откликнулся Олег. — Мы ее рядом оставили. У реки.

— Что оставили? — удивленно спросил председатель.

— Легковушку. Мы ее у фашистов отбили.

Старков с любопытством посмотрел на него. Вообще теперь, когда состояние Димки уже не вызывало особых опасений, Старков мог спокойно размышлять о том новом, что открылось в его ребятах. И пожалуй, Олег «открылся» наиболее неожиданно...

— По-твоему, машина тебя так и ждет? — спросил Старков.

— Ждет, куда денется, — лениво протянул Олег.

Он тоже успокоился, увидев, что Димка жив, и теперь явно наслаждался своим преимуществом: он что-то знал, а Старков — нет. Более того: от его знания что-то зависело — очень важное. Но этим «что-то» была Димкина жизнь, и Олег, не ломаясь по обыкновению, объяснил:

— Я, когда за бинтами бегал, видел ее.

— У реки? — спросил Старков, и Олег понял смысл вопроса, кивнул согласно:

— Точно. Метрах в ста от зоны экранов, — потом кивнул на Димку: — Несите его к дороге, а я машину пригоню.

Легковушка оказалась целехонькой, только верх ее во многих местах был прострелен. Председатель сунул палец в одно из отверстий пониже, спросил Олега:

— В рубашке родился, парень?

— Ага,— хохотнул тот,— в пуленепробиваемой.— И к Рафу: — Садись, плакса, на заднее сиденье — поможешь мне...

Он тронул машину и осторожно повел ее по дороге, стараясь объезжать кочки и рытвины. И, даже выехав из леса, не прибавил скорости: лишние четверть часа не играли для состояния Димки особой роли, а тряска по плохой дороге ощутимее на большой скорости.

— Лихой парень,— сказал председатель.— Такие в войну особо ценились. Так сказать, в первую очередь.

— И гибли тоже в первую очередь,— откликнулся Старков.

— Ну, не скажи: этот умеет осторожничать. Смотри, как раненого повез — не шелохнул.

— Умеет,— подтвердил Старков.

Олег действительно умел. Умел рисковать — на самой грани, на тонком канате, когда спасает только чувство баланса. У Олега было оно — это чувство, и он отлично им пользовался. Как в цирке: канатоходец под куполом качнется в сторону, и публика ахнет, замирая от страха. И не знает дура публика, что все это — только умелый ход, хорошо рассчитанный на то, чтобы она ахнула, чтобы взорвалась аплодисментами — цените маэстро! Он рисковал, этот канатоходец,— еще бы! — но чувство баланса, умение быть осторожным *на грани* не подводит.

Почти не подводит.

— А куда фашисты подевались? — осторожно спросил председатель: он, видимо, считал, что ученый имеет право не отвечать на наивные для него вопросы.

Старков так не считал и охотно объяснил:

— Их время кончилось. Какой-то из экранов не выдержал, сгорел, временное поле исчезло, а вместе с ним — и гости из прошлого. Полагаю, что они сейчас находятся в этом же лесу, только в сорок втором году.

— Живые?

— А может, и мертвые, если навались на партизан.

— Так мы же и партизанили в этих лесах.

— Не одни мы. Возле этого села могли орудовать и другие.

— Значит, исчезли,— повторил задумчиво председатель.— Назад вернулись. А как же машина?

— Машина вышла из зоны действия поля, поэтому оно и не захватило ее.

Председатель все еще не понимал.

— А если бы они вышли, как ты говоришь, из этой зоны, то и они могли бы остаться?

— Могли бы,— кивнул Старков.— Только мы им помешали.

— Это верно,— согласился председатель.— Правда, по-твоему, по-ученому, я понимать не могу. В голове не укладывается.

Старков усмехнулся:

— У меня тоже не укладывалось.

А если честно, так и сейчас не укладывается. Как в добрых старых романах, проснуться и сказать: «Ах, какой страшный сон!» Но добрые старые романы мирно пылятся на библиотечных полках, а «трофейная» машина с простреленным кузовом везет в райбольницу парня рождения пятидесятых годов, раненного пулей, выпущенной в сорок втором.

— А что ты колхозникам сказал? — спросил он.

— Про банду в старой немецкой форме. Ограбили, мол, где-то трофейный склад. Говорят, есть такой в городе. Для кино.

— И поверили?

— Кто же не поверит? Раз сказал,— значит, так. Доверяют мне люди.

— Так ведь же обнаружится, что банды никакой нет. Разговоры пойдут, милиция встрепетается, а бандитов как ветром сдуло.

— Вот ты и растолкуешь, чтоб зря не болтали. Я народ созову, а ты объясняй. Завтра в клубе и соберемся. Я расскажу, почему про банду соврал. Кстати, и не соврал: была банда. Разве не так?

— Так-то оно так,— согласился Старков,— только поймут ли меня?

— А ты попроще, как бывало, помнишь? Ты, комиссар, всегда с народом умел разговаривать. Если не забыл, конечно. Милицию тоже позвать придется. Дело такое — не скроешь.

Старков кивнул согласно, пожал руку, пошел не торопясь к сторожке: генератор надо выключать, зря электроэнергию не переводить, да ребят подождать,— вспомнил реплику Петровича о милиции. Верно ведь — дело-то уголовное по мирному времени. Ну что, подследственный Старков, как оправдываться будем?

А оправдываться придется. За опасный эксперимент. За «отсутствие техники безопасности» — так пишут в инструкциях? За Димку. За Рафа с Олегом. За себя, наконец...

А что за себя оправдываться? Перемудрил, переусердствовал ученый муж. Как там в старом фокусе: наука умеет много гитик. Ох, и много же гитик — не углядишь! За ходом опыта не углядел, за ребятами не углядел. А результат?

Есть и результат — никакая милиция не опровергнет. Его теория доказана экспериментально, блестяще доказана — от этого результата не уйти!

...Старков дошел наконец до сторожки, где по-прежнему гудел генератор. Только самописцы писали ровную линию — на нуле, и на нуле же застыла стрелка прибора, показывающего напряженность поля. Напряженность — ноль. Старков выключил ток, посмотрел на индикатор экранов: опять седьмой полетал, никак его Олег не наладит.

Он сел на табуретку, подобрал с полу английский детектив, брошенный Рафом. С пестрой обложки улыбался ему рослый красавец с пистолетом в руке. Старков вспомнил: красавец этот ни разу не задумался перед выстрелом. Стрелял себе направо и налево, перешагивал через трупы, улыбался чарующе. Ни разу в жизни не выстреливший, — наверное, даже из «духовушки»! — Раф почему-то любил это чтиво. И любил с увлечением пересказывать похождения очередного супергероя. Вероятно, психологи назвали бы это комплексом неполноценности: где-то спрятанная в душе «военная косточка», которая давалась людям не в семилетке или десятилетке, а прямо на поле боя. Ведь и тебя, Старков, и председателя никто, в сущности, не учил воевать, а просто взяли вы в руки винтовки и пошли на фронт. И здорово воевали — такие же мальчишки, как Димка, Раф и Олег. Так вот и оказалось, Старков, что нет никакой разницы между тобой и твоими студентами: бой показал, что нет ее. Нет стариков и нет мальчишек — есть мужчины. Проверка боем окончена.

Он встал и вышел из сарая. Дождь кончился, и серая муть облаков расползлась, обнажая блекло-голубое небо. Где-то в лесу знакомо урчал «трофейный автомобиль», и Старков медленно пошел ему навстречу.

Он открыл верхний люк ракеты и, стоя на ступеньках, до половины высунулся наружу. Небо было ясное, зеленое, с большим белым солнцем. Скафандр быстро нагрелся, стало жарко. «Тут вполне можно было бы обойтись без скафандров,— с досадой подумал он.— В этой скорлупе того и гляди сварись-ся как яйцо...» Он хотел было вернуться, но тут увидел темную точку, передвигающуюся вдалеке по равнине. Он сжал губы и медленно поднялся на последнюю ступеньку. Конечно, вездеход. «Почему они возвращаются так рано? И гонят во весь дух, как видно...» Он вдруг понял, что все время подсознательно ждал беды. Ждал какой-то каверзы от этой милой мирной планеты. «Милая, мирная, мертвая,— бормотал он, глядя на вездеход.— Такая симпатичная покойница, прямо сердце радуется».

Он сам не понимал, почему сердится на эту ни в чем не повинную и, должно быть, очень несчастную планету. Вероятно, его злило, что она, такая красивая и спокойная, оказалась мертвой. Вернее — вымершей. Непонятно, почему и как. За холмами, окружавшими долину, на которую опустилась их ракета, лежали селения; недалеко был большой город, возможно, столица государства. Еще недавно там жили похожие на людей Земли разумные существа, создавшие цивилизацию на довольно высоком уровне. Сохранились здания и фрески, картины и книги. Остались заводы, дороги, машины, летательные аппараты — заброшенная и гибнущая техника. По книгам, найденным в городе, удалось проанализировать язык, представить себе внешность этих семипалых глазастых созданий, по-видимому, более тонких и хрупких, чем жители

Земли; можно было бы в случае необходимости объясниться с ними.

Но в том-то и дело, что почти все живое на этой планете бесследно исчезло. Оставалась пышная растительность всех оттенков цвета — от розового и бледно-оранжевого до густо-багрового, почти черного: такие черно-багровые деревья толпились вокруг большого озера среди холмов, и вода его казалась черной, хотя река, вытекающая из этого озера, была стеклянистой и прозрачной. В озере водились длинные темные угри, в реке и ее притоках плавали стайки веретенообразных, почти прозрачных рыбок. Герберт Юнг ловил и исследовал угрей и рыб; ловил он и земноводных фиолетово-черных ящериц. «А что ему еще делать, Юнгу, если только рыбы да ящерицы и остались на этой планете? Ни людей, ни зверей, ни птиц... Правда, Карел позавчера поймал в городе какого-то зверька. Может, где-нибудь тут и есть жизнь...». Он все смотрел на эту мирную долину, окруженную пологими холмами, и видел, как быстро растет, приближаясь к ракете, пятнышко вездехода. «Да, летят во весь дух... Значит... проклятая планета!». Тут ему стало стыдно. «Ты же изо всех сил добивался, чтоб тебя пустили в этот полет. Хотел побывать где-нибудь первым. Открыть новый мир. Романтика Неведомого. Вот и получай свою романтику. Или ты хотел романтики со всеми удобствами?»

— Казик! Наши возвращаются! — крикнул он, вбегая в кабину Казимира.

— Не кричи! — досадливо сказал Казимир, встряхивая пышными светлыми волосами. — Ты мне все рифмы распугаешь... Минуту! Ага, есть все-таки! — Он удовлетворенно хмыкнул, потом поднял голову. — Так что ты сказал, Виктор?

Его большие синие глаза светились на бледном лице. Виктор знал, что у Казимира железное здоровье и крепкие нервы, что он чемпион Польши по лыжам, и все же каждый раз удивленно смотрел на это бледное узкое лицо, озаренное мистическим сиянием глаз, лицо поэта и ясновидца. Между тем стихи Казимир писал плохие, а способностью к ясновидению и вовсе не отличался.

— Опять стихи Кристине? — спросил Виктор. — Говорю тебе: наши возвращаются. Слишком рано, по-

нимаешь? Я так и знал, что на этой планете стрясется какая-то беда!

Он прошелся по кабине, ероша темные, коротко остриженные волосы.

— Не топчись у меня над ухом,— попросил Казимир.— Мешаешь. И почему именно беда? Может, нашли что-нибудь интересное, вот и вернулись.

Виктор изо всех сил хлопнул дверью — впрочем, он заранее знал, что хлопанья не получится, сработает пористая прокладка, и дверь прикроется неслышно. Казимир даже не обернулся.

«Нашел время писать стихи! — с досадой думал Виктор, шагая по мягкому пружинящему настилу коридора.— Вот ведь характер!». Он, в сущности, завидовал спокойствию Казимира и стыдился своей нелепой тревоги — ведь и в самом деле, может, ничего плохого не случилось...

Но когда из-за поворота коридора показался Владислав, Виктор сразу почувствовал — нет, тревожился он не напрасно. Владислав почти бежал, на ходу приглаживая мокрые волосы.

— Владек! — крикнул Виктор.

Владислав подошел ближе. Его смуглое матовое лицо слегка порозовело от душа.

— Таланов тебя зовет в медицинский отсек,— сказал он.

— Что случилось? С кем? — отрывисто спросил Виктор.

— Карел... с ним неладно. Подожди, Таланов велел рассказать тебе здесь, чтоб при Кареле поменьше говорить. Карел, понимаешь...— Владислав постучал пальцем в лоб.

— Карел? — поразился Виктор.

— Да. Слушай. Мы были уже в городе, когда это у него началось. Шли по большой круглой площади со ступенями — знаешь, где то белое здание, что похоже на яйцо. Карел начал отставать от нас, потом сел на ступеньку. Я подошел, спросил: «Ты плохо себя чувствуешь?» Он покачал головой. Я говорю: «Что ж ты сидишь, человеке? Пойдем?» Он встал и пошел. Но, понимаешь, ходил как-то механически, ничем не интересовался, ни с того ни с сего останавливался. Мы его спрашивали, что с ним, он сначала говорил, что ничего, потом стал как-то странно улыбаться, не отвечал на вопросы. Мы решили вернуться. Везде-

ходе он так осматривался, будто все впервые видел. Потом сказал, что ему все это, наверное, снится.

— Что именно снится? У него были галлюцинации?

— По-моему, нет. Это он о нас говорил, что мы ему снятся, что вездеход ему снится. А в шлюзовой кабине вдруг заявил, что он — это не он. Понимаешь, стоит под душем, трогает себя и говорит со страхом: «Нет, это не я!»

— Так! — Виктор сжал губы, раздумывая.

Ничего подобного он не видел за все время работы на Лунной станции. То есть, конечно, бывали случаи помешательства, но при каких-нибудь тяжелых авариях, катастрофах, под воздействием гибели товарищей, одиночества, ожидания смерти. А здесь ни с того ни с сего... И почему именно Карел, самый уравновешенный и спокойный из всех?..

* * *

— Что ты чувствуешь? — спросил Виктор. — Слабость? Голова болит?

— Слабость? Не знаю, нет... — Карел еле шевелил губами. — Тело не мое.

— Как не твое? А чье же?

— Не знаю. Вот я рукой двигаю, а она не моя. Или, может, моя, а двигает ею кто-то другой.

— Карел, ты же понимаешь, что это чушь, — очень бодро сказал Виктор.

— Понимаю, — согласился Карел. — Конечно, этого не может быть.

Он помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и вдруг резко протянул руку к Виктору. Рука уткнулась в плечо Виктора, и на лице Карела отразилось не то удивление, не то удовлетворение.

— Ты что? — спросил Виктор.

— Я думал, что ты мне снишься, — пробормотал Карел.

— А почему?

— Так... все будто во сне. Или как на картине нарисовано.

Он опять надолго замолчал. Потом вдруг лег и отвернулся к стенке. Виктор отодвинул дверцу стенового шкафа с лекарствами и, поколебавшись, достал маленькую желтую таблетку.

— Глотни, Карел! — сказал он.

Карел послушно приподнялся, проглотил таблетку и опять лег. Виктор вышел в соседнее помещение. Там сидел Таланов.

— В этом состоянии с ним невозможно разговаривать, — сказал Виктор. — Он моментально истощается. Я дал ему таблетку энергина. Минут через десять он, наверное, станет почти нормальным. На время, конечно.

— Что это, по-твоему? — спросил Таланов.

Его темно-карие, глубоко сидящие глаза смотрели испытующе и, как показалось Виктору, недоверчиво. «Ну что ж, он прав, — не без горечи подумал Виктор. — Я ничего в этом не понимаю. А он теперь жалеет, что взял в рейс меня, а не Вендта...».

— Не знаю, — Виктор глядел прямо в глаза Таланову. — Я ведь не специалист в психиатрии. Все это кажется мне странным — такое внезапное и бурное развитие болезни у совершенно здорового, уравновешенного человека... и без предшествующей травмы...

— На Карела и тяжелые травмы не очень действовали, — сказал Таланов. — Я был с ним в том рейсе «Сириуса»... Знаешь, когда погибли Беренс и Фальковский на астероиде и Карел их разыскивал. Случилось это все на глазах у Карела, Беренс был его лучшим другом, а помочь ничем нельзя было... Так вот, если Карел тогда не сошел с ума, пять лет назад...

— Понятно, — сказал Виктор. — Пойдемте к нему, энергин, наверное, уже начал действовать.

Карел сидел, растерянно озираясь.

— Что со мной творится? — голос звучал спокойно, но видно было, что Карел испуган. — Я что, заболел?

— Да, немножко. — Виктор сел к нему на койку. — Как ты себя чувствуешь сейчас?

— Лучше. Что это было?

— Расскажи, что ты чувствовал, — вместо ответа попросил Виктор.

Карел нахмурился.

— Мне трудно, — сказал он. — И потом... я боюсь.

— Чего боишься?

— Мне кажется, если я буду рассказывать, это вернется.

Виктор вздохнул.

— Расскажи,— мягко повторил он.— Нам нужно знать, в чем дело, иначе...

Он не договорил. Лицо Карела исказилось от страха.

— Что иначе? Я все еще болен? Я не выздоровел?

— Послушай, Карел, надо спокойней,— вмешался Таланов.— С тобой бывали вещи похуже, а ты выпутывался. Со всеми бывало всякое, верно?

— Такого не было,— убежденно сказал Карел.— То все было вне меня, понимаете? А это внутри. Поэтому я боюсь. Я теряю себя.

— Ну, объясни, что это значит.

— Не знаю, как объяснить.— Карел помолчал.— Сначала я вдруг подумал, что все это ни к чему. Ну, все, что мы делаем. Просто мне стало неинтересно. И вы, и все кругом, и я сам. Но когда мне говорили: встань, ходи, садись — я это делал. Только уже будто не я, а кто-то другой, внутри меня.

Он тревожно посмотрел на товарищей.

— Это душевная болезнь, да? — спросил он.

— Не думаю,— сказал Виктор.— Откуда у тебя вдруг душевная болезнь? Ты же не новичок в космосе.

Лицо Карела немного прояснилось.

— Это верно,— сказал он.— Но только что же тогда? Понимаете, мне потом стало казаться, что все вокруг ненастоящее. Как во сне. Или будто на картине нарисовано, только движется.

— Это как понять? — спросил Виктор.

— Да не знаю. Ну, плохая картина, такие тусклые краски, словно они выцвели, да и вообще нарисовано неубедительно. А сам я будто высох, уменьшился. И внутри меня кто-то сидит.— Лицо Карела опять свела гримаса страха и отвращения.— Я иду, а это будто кто-то другой идет, не я, не мое тело. Или, может, мое, но ведет его кто-то другой. А сам я как будто невесомый...— Он вдруг застыл, глаза его уставились в одну точку.— Это опять начинается... Не надо было говорить! Я знал, что не надо говорить!

— Успокойся, Карел! — Виктор положил ему руку на плечо и почувствовал, что все большое, сильное тело Карела сотрясается от страшного напряжения.— Это пройдет.

— Пройдет? Думаешь, пройдет? Ты ведь не знаешь, что это, и никто не знает. Зачем ты говоришь, когда не знаешь! Вот, вот, я опять потерял себя! —

Карел побледнел.— Там, внутри, опять кто-то другой! Виктор, друзья, помогите мне, я ведь болен, этого не может быть, того, что я чувствую!

Он лег и уткнулся лицом в подушку. Таланов и Виктор молча переглянулись. Виктор достал из шкафа прозрачную трубку с белыми таблетками.

— Проглоти, Карел,— приказал он.

Карел сел, взял таблетку и проглотил. Потом начал ощупывать себя.

— Виктор, только по совести скажи: я все такой же? — вдруг спросил он.— Ну, я не стал меньше?

— Нет. Это тебе кажется.— Виктор вздохнул.— Я дал тебе снотворное, тебе нужно поспать и успокоиться. Спи, Карел, мы что-нибудь придумаем. Обязательно.

— Или придумайте, или убейте меня,— сказал Карел угрюмо.— Так жить все равно нельзя. Я ведь не знаю, чего хочет этот, другой, внутри меня. Я не могу так.

— Карел, это болезнь. Ты же понимаешь, что никого другого внутри тебя нет.— Виктор говорил тихо и спокойно.— Спи. Главное — не бойся, мы тебя вылечим.

* * *

— Мы можем сделать для Карела только одно: уберечь его от дальнейших страданий,— сказал Юнг,— и доставить на Землю. Там его вылечат.

— Анабиоз? — спросил Таланов.

— А что же еще? — Юнг пожал плечами.— У нас не остается ничего другого. Карел страдает. А в полете ему, наверное, станет еще хуже. И чем это может кончиться, мы не знаем, верно?

— Виктор, ты как? — спросил Таланов.

— Не знаю. Пока не могу понять, что случилось.

— Но ты соглашаешься насчет анабиоза?

Виктор подумал.

— Отложим до завтра. Я буду дежурить эту ночь в медицинском отсеке.

— А это не опасно? — спросил Герберт Юнг.— Карел ведь очень сильный. В случае чего...

— Я дам ему снотворное.

— Будут дежурить двое,— сказал Таланов.— Ты и Юнг. Спать по очереди.

Карел проснулся вечером. Виктор дал ему таблетку энергина, поговорил с ним. Энергин на этот раз подействовал совсем ненадолго. Карел дрожал от страха, он был неузнаваем. Он, конечно, не уменьшился, но лицо его так осунулось и побледнело, что Карел казался совсем другим человеком. И глаза у него были еще более странные, чем днем. Виктор присмотрелся и увидел, что Карел сильно косит.

— Ты хорошо видишь? — спросил он.

— Плохо,— сейчас же отозвался Карел.— Очень плохо. Туман, все струится. Вот тут,— он показал рукой влево,— какое-то переливчатое пятно. И ты расплываешься, я тебя плохо вижу.

Действие энергина проходило, Карел стал говорить тише, бессвязней, все время будто прислушивался к чему-то внутри себя. Виктор дал ему снотворного.

— Ложись пока спать,— сказал он Юнгу.

Через четыре часа он разбудил Юнга.

— Если проснется Карел, дашь ему еще снотворного,— сказал он и сразу уснул.

Ему показалось, что спал он всего минуту. Юнг тронул его за плечо, и он вскочил, протирая глаза. Карел лежал на спине, ровно и глубоко дыша; он слегка раздурманился ото сна и казался совсем здоровым. Виктор взглянул на часы: двадцать минут третьего, он не проспал и двух часов.

— Что случилось, Герберт? — спросил он.

Юнг молчал. Он сидел сгорбившись, весь будто сжался. Прямые светлые волосы, всегда так аккуратно зачесанные назад, свисали на лоб. Виктор поглядел на его бледное, сразу осунувшееся лицо и до боли прикусил губу.

— Герберт, что с тобой? — еле выговорил он.

Юнг поднял на него светло-голубые глаза: в них был испуг.

— Я тоже... я болен, как Карел. То же самое, что он говорил.— Юнг внезапно схватился за голову обеими руками.— Голова стала легкая, как воздушный шар... Может улететь... Да... и все, как во сне...

Виктор подошел к нему. Юнг отшатнулся и закрыл лицо руками.

— Ты можешь остаться один? Я сейчас же вернусь.

— Иди, пока я не гляжу,— глухо ответил Юнг.—

Когда ты ходишь, мне кажется, что ты идешь сквозь меня.

Выходя из кабины, Виктор обернулся: Юнг сидел, зажмурив глаза и держась за голову.

* * *

— Карел позавчера порвал скафандр,— сказал Владислав.— Я забыл. Разрыв был совсем маленький.

— Как же это он порвал скафандр? — спросил Таланов.— Легкое ли дело!

— А я вам говорил, что мы зверька видели в городе. Карел поймал его для Юнга. Зверек был красивый такой, с голубоватой блестящей шкуркой, похож на кошку, только мордочка остренькая, как у лисенка, и глаза большие, темные. Зверек начал вырываться, а у него когти острые, вот он когтем и зацепился за скафандр на плече. Тут Карел, конечно, бросил с ним возиться и начал чинить скафандр.

— Ну вот. Значит, это инфекция,— почти удовлетворенно резюмировал Таланов.

Он замолчал. Все трое подумали об одном и том же.

— И от этого они все погибли, а? — тихо проговорил Владислав.— Тогда...

Таланов и Казимир молчали. Болезнь эта, по-видимому, развивается молниеносно. Уже неважно, кто будет следующим. Два-три дня — вот что осталось им всем в лучшем случае. Потом болезнь. И смерть. В таком состоянии не доведешь ракету до Земли. Первым заговорил Таланов.

— Владислав, мы с тобой поедem сейчас в город. Надо, мне кажется, проверить ходы, идущие вглубь, под почву.

Владислав быстро взглянул на него.

— Вы что-нибудь заметили? — спросил он.

— А ты?

— Ничего определенного. Но вчера, еще до того, как Карелу стало совсем плохо, мы с ним спустились в люк на главной площади и там... ну, словом, там кто-то есть, какие-то живые существа, я в этом уверен. Хотя ничего определенного сказать не могу.

— А все же? — спросил Таланов.

— За нами кто-то следил. Я не видел, скорее чувствовал.

— Почему сразу не сказал?

— Из-за Карела. С ним начало все это твориться... Он тоже как будто чувствовал, что следят, а потом наверху я его спросил, и он ответил, что это нам показалось.

— Да ведь ему все стало казаться сном,— заметил Таланов.

— Ну да, но это потом, а тогда я решил, что мне тоже показалось.

— А теперь ты так не считаешь?

— Не считаю.

Таланов подумал.

— Казимир, можешь ты сочинить небольшую записку на их языке? Написать крупными знаками несколько простых вопросов? На всякий случай.

— Постараюсь.— Казимир поднял сияющие синие глаза на Таланова.— Что надо написать? Мой «Линг», я думаю, быстро справится.

«Линг» — это был электронный анализатор языка, усовершенствованный Казимиром, его гордость и радость. Все знали: Казимир потому и согласился на внезапную и долгую разлуку со своей Кристиной, что не устоял перед блестящей возможностью испытать способности «Линга» на совершенно чуждых языковых системах.

— Я думаю так: «Мы прилетели к вам издалека». Тут надо рисунком показать, откуда мы: отметить путь от Земли до них. Кстати, как все-таки они называют свою планету?

— Боюсь, что на слух этого не уловишь. У них очень сложная фонетическая система, все зависит от высоты и модуляции звука. Не то Энмееен, не то Инемииин...

— А «Линг» что говорит?

— В том-то и дело, что «Линг» не говорит, а пишет,— смущенно сказал Казимир.— Он все это подробно объясняет, а я все равно не могу уловить особенностей произношения. Если б услышать живую речь...

— Да, если б! — усмехнулся Таланов.— Словом, запиши текст. Дальше так: «Хотим срочно поговорить с вами. Мы ваши друзья. Почему вы прячетесь?» Ну, хватит на первый раз. Тем более что непонятно, где и как мы их увидим.

— Сочиняй,— сказал Таланов.— Привет «Лингу». Я пока пойду к Виктору.

Владиславу не хотелось снова видеть больных — впрочем, Виктор все равно держал их теперь в изоляторе и никого туда не впускал. Не хотелось смотреть и на то, как молниеносно перемигиваются зеленые и красные огоньки на белом пульте «Линга». Он остался в кабине и откинулся на спинку сиденья, почувствовав страшную усталость. «Мы все равно ни черта не успеем... К чему это все?» — подумал он и вдруг испугался: а что, если это уже начало болезни? Он вскочил и начал быстро расхаживать по кабине. Потом решил проверить, не кажется ли ему собственное тело чужим, и стал делать гимнастические упражнения. Казимир появился в тот момент, когда Владислав с яростью наносил удары по невидимой мишени. Владислав сразу остановился и почувствовал, что краснеет.

Но Казимир и не думал издеваться над ним.

— Разминаешь мускулы? Правильно! — мечтательно сказал он. — Эх, сейчас бы в наше дорогое Закопане! Снег блестит, лыжи сами идут...

— Неплохо бы... — согласился Владислав и вздохнул. — Написал письмо?

— А как же! «Линг» в два счета...

Таланов появился в дверях.

— Ну-ка покажи, как оно выглядит, — сказал он.

— Вот, пожалуйста! — Казимир протянул ему плотный лист бумаги, разрисованный непонятными знаками: строка покрупнее, над ней вплотную ряд мелких значков. — Надеюсь, это будет им понятно. Если только, конечно, это их язык...

— Чей же еще? — спросил Таланов.

— Кто знает? Может, те, которые живут в подземельях, истребили жителей этой планеты, — задумчиво ответил Казимир. — Убили тех, кто любил свет, потому что сами боятся света, ненавидят его...

— Мрачная картинка, — сказал Владислав.

— А ты представляешь себе что-нибудь более веселое? — осведомился Казимир.

Таланов задумчиво разглядывал письмо.

— Верхний ряд, с мелкими значками, обозначает высоту и модуляцию звука. У них, по-видимому, много гласных и есть разные варианты их звучания, меняющие смысл слова. Очевидно, слух у них более тонкий и изощренный, чем у нас. Без этого верхнего ряда нельзя понять, что говорится в основном тексте. Зато основных знаков немного.

— Нелепо,— заметил Владислав.— Ведь проще иметь побольше основных знаков.

— В наших земных языках тоже сколько угодно нелепостей,— сказал Казимир.

— Ты нигде не встречал в их книгах упоминаний о подземельях, о ходах под городом? — спросил Таланов.

— Нет. Впрочем, я ведь очень мало читал.

— Ладно. Едем, Владислав.

* * *

Они мчались во весь дух по дороге среди холмов. Кустарник, растущий на крутых склонах, хлестал своими гибкими ветвями по стенкам вездехода. Впереди уже показался город со своими непривычными для земного глаза спиралеобразными улицами, овальными и круглыми зданиями без окон и дверей, со слегка поблекшей светящейся росписью на стенах. Белые и бледно-зеленые, как небо, палевые и светло-бронзовые здания выступали среди буйно разросшихся, одичавших деревьев, кустарников и ползучих растений, выющихся по стенам и куполообразным крышам. Весь город был словно залит краской, темневшей и сгущавшейся на большой площади, посреди которой белело овальное здание с округлой крышей и стенами, слабо светящееся, как гигантское серебристое яйцо. Деревья, посаженные на некотором расстоянии от него, своими темно-багровыми ветвями с узорчатой пурпурной листвой уже касались светящихся, плавно закругленных стен. Снизу, от полосы кустарника, тянулись цепкие алые побеги; колыхаясь в воздухе, они безуспешно силились зацепиться за безукоризненно гладкие стены и, достигнув ветвей деревьев, обвивались вокруг них.

Таланов и Владислав вышли из вездехода на главной площади.

— Да, конечно, вся эта история произошла совсем недавно,— сказал Таланов, поглядев на деревья и кусты.— Герберт говорит, что здешние деревья и кусты растут примерно с такой же скоростью, как у нас на Земле, в умеренном климате. Значит, им лет пять—десять, не больше, верно? Ну так где ты это увидел, показывай.

— Я ведь, собственно, ничего не видел,— сказал Владислав, шагая по овально изогнутым широким сту-

пеням.— Просто мне показалось, что за нами кто-то следит. Даже не знаю почему. Я же говорю: ничего определенного.

Они вошли в большой светлый зал. Причудливо изогнутые тени ветвей лежали на смутно серебрящемся полу.

— Ты только внизу это почувствовал, а тут, наверху, ничего не было? — спросил Таланов.

— Только внизу. Будто кто-то глядел на нас. И потом — очень слабый шорох, как будто издалека. А глядели вблизи. Не знаю, как это объяснить.

— Пойдем вниз, — сказал Таланов.

Овальное отверстие хода темнело в глубине зала. Крышка была откинута.

— Это вы так оставили? — спросил Таланов.

— Так и было. Иначе мы бы и не заметили этого хода.— Владислав вдруг остановился.— Впрочем... Помните, мы в первый раз были тут вместе с вами? Я ведь сюда подходил, сейчас я это твердо помню. И ничего не заметил.

— Ты уверен? — спросил Таланов.

— Ну конечно! И Карел был со мной!.. Да, Карел... Но все же, может быть, он помнит...

— Ладно, пойдем вниз.

Таланов начал спускаться по ступенькам, включив фонарик, прикрепленный на груди. Они прошли несколько шагов по подземной галерее. Серебристые плиты потолка и стен в темноте светились ярче, и Таланов выключил фонарик. Они постояли, чтоб привыкнуть к полутьме. Вдруг Владислав прошептал:

— Они опять следят за нами...

Таланов обернулся, прислушался.

— А тебе не кажется? — недоверчиво спросил он.— Я ничего не слышу.

— Я тоже не слышу. Только чувствую взгляд.

— Тебе и вчера на этом месте чудилось?

— Да, кажется, на этом.

Таланов включил фонарик и начал внимательно осматривать стены. Они были всюду одинаковые, слегка светящиеся в остром белом луче фонарика. Таланову показалось, что в одном месте плиты облицовки сходятся менее плотно, он приблизил лицо к стене — и вдруг тоже почувствовал, что кто-то на него смотрит. Он невольно отшатнулся, стараясь понять, откуда это странное ощущение. «Может, так начинается эта про-

клятая болезнь? — с тревогой подумал он. — Хотя нет, у Карела и Герберта было иначе...

— Вы слышали? — прошептал Владислав.

Таланов снова приблизил фонарик к стене. Ну да, вот откуда это ощущение! Слабый и короткий, словно оборванный, не то вздох, не то стон там, за этой стеной. Присутствие кого-то живого. Он начал простукивать стену: да, здесь пустота.

— Вы дальше проходили? — спросил он.

— Да, только недалеко, вон туда примерно. Карелу было уже совсем плохо.

Таланов пошел вперед, светя фонариком и простукивая стену. Дальше шла сплошная кладка. Он повернул направо, в боковой проход, держась у той же стены. Гулкий звук пустоты опять возник через несколько шагов.

— Ты что-нибудь чувствуешь? — спросил Таланов.

— Да, — уверенно сказал Владислав. — Они и тут есть.

Таланов стоял у стены, водя фонариком. Тут и плиты прилегали плотно, и вообще стена в этом месте ничем не отличалась от других участков подземного хода. Только этот звук пустоты да еще странное ощущение Владислава. «Пожалуй, и мое, — подумал он. — Если только это не самовнушение».

— Значит, вы дошли до этого места, — сказал он, вернувшись в главный проход, — и дальше не пошли?

— Да, до этого поворота.

Таланов направил луч фонарика в глубь прохода. Белое яркое пятно пробежало по светящимся стенам, по светлому гладкому полу и где-то вдалеке уткнулось в разветвление ходов. Округленная линия выступа, ход налево, ход направо. Таланов выключил фонарик.

— Пройдем еще немного, — сказал он угрюмо.

Таланов боялся идти дальше, боялся этих незримых существ, исподтишка наблюдающих за ними, боялся, что он и Владислав заболеют, не успев добраться до ракеты. Но здесь, в подземном переходе, они были ближе к разгадке, чем наверху. А времени для поисков и попыток спастись у них оставалось, может быть, совсем мало.

«Карел подцепил болезнь наверху, — думал он, внимательно осматривая стены и пол. — Если это они наслали на нас болезнь, значит, они выходят наверх. Кто

они вообще? Если те, что жили здесь прежде, почему они прячутся под землей?»

— Они опять смотрят,— шепнул Владислав и повел глазами вправо.— Вот отсюда.

Таланов быстро шагнул к стене, полоснул по ней лучом фонарика. Теперь он гораздо явственнее услышал сдавленный стон и легкий шорох. Он постучал по стене — конечно, там была пустота.

— Дело ясное: стены в этих местах прозрачны изнутри,— сказал он.— Они нас видят, а мы их нет. Ловко придумано. Потом — эти существа живут в полутьме. Яркий свет причиняет им боль, поэтому они и выдают себя, если их внезапно осветить.

— Что же теперь нам делать? — спросил Владислав.

— Кто его знает. Если б их хоть увидеть, какие они.

— А какая разница?

— Да, может, там, за стеной, что-нибудь вроде летучих мышей или кротов.

— Да... — пробормотал Владислав.— Верно... А если попробовать приложить наше письмо к этим прозрачным местам в стене? Может быть, они прочтут и как-нибудь ответят?

— Правильно. Сейчас попробуем... Что это?!

Из бокового хода что-то вылетело и с легким, еле слышным стуком упало на плиты. Таланов и Владислав бегом кинулись к боковому проходу и еще успели заметить странный мерцающий силуэт, быстро скользящий вдоль стены, почти неразличимый на ее светящемся фоне. Странное существо неслышно скользнуло за скругленный выступ нового ответвления и, прежде чем Таланов и Владислав успели добежать до поворота, исчезло, словно растаяло в этом призрачном мертвом мерцании.

— Ты ясно видел? — спросил Таланов.

— Ясно. То есть насколько возможно: оно ведь почти незаметное. Я даже не понял, кто это — человек или зверь. Ни ног, ни рук, ни головы — ничего не видел.

— Я видел руку, она мелькнула на мгновение. И голову... Нет, по-моему, это человек, только в какой-то странной одежде.

— Ну да, вроде маскхалата,— сказал Владислав.— Похоже, что так.

На плитах пола лежала матовая зеленоватая пластинка со скругленными углами. Таланов опустился на одно колено, разглядывая пластинку, потом взял ее в руки.

— А ведь это их письмо, Владислав! — сказал он. — Они сами к нам обратились.

— Здорово! — отозвался Владислав. — Как теперь быть? Сразу вернуться на ракету?

Таланов покачал головой.

— Письмо не длиннее нашего. Наверно, тоже сплошные вопросы. Придется показать им наше письмо.

— Мы их собьем с толку, — возразил Владислав. — Подумайте: их язык знаем, а на письмо ничего ответить не можем. Как они смогут это объяснить?

— Наше письмо — ответ. Наверняка они спрашивают, откуда мы и так далее. Вот пускай и посмотрят.

Он постучал по стене и, обнаружив пустоту, приложил к стене письмо, плотно прижав его ладонями. За стеной послышался легкий шорох, потом тихие, слабые возгласы и переливчатая быстрая речь, похожая на щебетанье птиц. Таланов все стоял, прижимая ладони к стене, и смотрел прямо перед собой, словно видя тех за тонкой, непрозрачной для него стеной.

Шорох за стеной усилился; потом послышалось слабое шипенье. На белой светящейся стене появились матово-серые круги и пятна; они все ширились, сливались... Таланов отшатнулся и уронил бумагу: стена становилась прозрачной.

— Ты видишь, Владислав? — шепотом спросил Таланов.

— Да. Они снимают защитный слой. — Владислав тоже шептал.

Оба они боялись шевельнуться. На стене возник небольшой, четко очерченный овал. К прозрачному окну приблизилось лицо... Прямо на астронавтов глядели круглые птичьи глаза без бровей и ресниц. Тонкий изогнутый нос тоже напоминал клюв птицы: рот был узкий, почти безгубый.

Таланов и Владислав не отрываясь глядели на это странное лицо, лишь отдаленно напоминавшее человеческое. Лицо было живым и разумным.

— Все-таки это они... те, которые жили наверху, — шепнул Владислав. — Те же лица, что на картинах и в книгах.

Таланов кивнул. Существо за прозрачной перегородкой заговорило высоким, переливчатым, щебечущим голосом, указывая на табличку, которую Владислав держал в руках. Астронавты переглянулись.

— Либо мы не ответили в письме на их вопросы, либо они предугадали наши вопросы и все сообщили в табличке,— сказал Таланов.— Ах, черт, что же делать?

Лицо за перегородкой исчезло, вместо него возникло другое, очень похожее, только чуть покрупнее и потемнее цветом, в неясном фосфорическом свете оно казалось коричневым. Таланов сделал вид, что пишет на табличке, и попытался знаками объяснить, что надо писать, а не говорить. Перед отверстием появилась семипалая рука и дважды махнула справа налево.

— Вот и пойми попробуй...— пробормотал Таланов.

С той стороны к перегородке приложили исписанную табличку. Астронавты переглянулись и вздохнули. Потом Таланов постучал пальцем в окно. Табличка исчезла, вместо нее возникло лицо. Таланов начал отчаянно жестикулировать, стараясь объяснить, что хочет взять табличку с собой. Существо за стеной смотрело на него круглыми немигающими глазами. Потом исчезло, послышался щебечущий говор.

Астронавты ждали. Вдруг они услышали легкий стук и, как по команде, повернули головы. На плитах пола лежала табличка. Они бросились к боковому проходу и опять успели заметить быстро проскользнувший мерцающий силуэт.

— Почему они прячутся, почему выскакивают из-за стены только в этих своих одеяниях? — пробормотал Таланов, поднимая табличку.— Теперь надо им объяснить, что мы вернемся завтра.

— Я сейчас попробую нарисовать,— сказал Владислав.— Все-таки легче.

Таланов заглянул ему через плечо и усмехнулся. Владислав изобразил двух людей в скафандрах, над ними сияло солнце. Потом шла густо заштрихованная темная полоса. Потом опять двое в скафандрах и солнце.

— Думаешь, поймут? — спросил Таланов.

Владислав с сомнением поглядел на рисунок.

— А кто его знает! — сказал он.

Их все-таки поняли, по-видимому. В овальном окошечке опять появилась рука и махнула справа налево.

— Что это значит: согласны? Или поняли? — вслух рассуждал Таланов.

У окошечка возникло одно лицо, потом другое. Потом оба исчезли. Окошечко стало быстро мутнеть, затянулось пленкой, стало непрозрачным, потом слилось со стеной.

— На сегодняшний день, видимо, конец, — резюмировал Таланов.

* * *

— Понятно почти все, — сказал Казимир. — Первая табличка: «Кто вы? Откуда вы? Друзья или враги? Хотим говорить с вами. Не можем выйти. Боимся...» Вот тут непонятно, чего они боятся. Слово это должно звучать примерно так: «глег». Боятся они глегов — во множественном числе.

— Наверное, их правители. Или полиция.

— Я нигде ничего не читал про глегов. Правительственная стража у них называется иначе — «минени». Правительство называется по-разному, но тоже не так.

— У них, ты говорил, было что-то вроде парламента? — спросил Таланов.

— Да, и что-то вроде президента. Только, по-видимому, с диктаторскими правами. Теперь вторая табличка. Там написано: «Мы сказали: боимся глегов. Глеги неумолимы. Не можем выйти. Спасите нас».

— Вот и пойми что-нибудь! — вздохнул Таланов. — Кого нет? Кто эти глеги и как до них добраться? Ну, утро вечера мудренее. Пойду провожаю больных.

Он вошел в первую кабину медицинского отсека. Там никого не было. Он постучал в дверь изолятора — никто не ответил. Таланов вошел в изолятор. Виктор и Герберт стояли спиной к нему у койки Карела.

— Я спал... — тусклым, безжизненным голосом говорил Герберт. — Или, может быть, не спал... а думал, что сплю.

— А зачем ты взял с собой сюда лучевой пистолет?

— Я шел дежурить... я не знал, что заболею... а потом забыл...

— Что случилось? — еле выговорил Таланов.

Виктор медленно обернулся к нему. Лицо у него было такое же бледное и осунувшееся, как у Герберта.

— Карел... он покончил самоубийством.

Таланов шагнул к койке. Карел лежал, запрокинув голову, лицо его было сведено судорогой страдания. Под распахнутой рубашкой пылало на груди пятно лучевого ожога.

«Зелено-серая рубашка... любимая его рубашка, вроде талисмана,— подумал Таланов.— Где он только не побывал в этой рубашке... Двенадцать лет в космосе... Пятый полет к неизвестным планетам... И такая нелепая смерть. От страха... от страха перед самим собой». Таланов стоял, склонив голову, и чувствовал даже не горе, а холод и невыносимую усталость. Такую усталость, когда все равно. И опять он подумал, что это начало болезни, и напряг волю, чтобы стряхнуть с себя оцепенение.

Виктор не то вздохнул, не то простонал. Таланов с трудом повернул к нему голову. Виктор был очень бледен, почти так же бледен, как Карел, даже губы у него побелели.

— Ты здоров? — с тревогой спросил Таланов.

— Здоров пока,— не сразу ответил Виктор.— Надо перенести Карела куда-нибудь.

— Я сейчас позову Владислава.

— Мы и вдвоем справимся. Не надо никого звать. Вы... вы все равно уже вошли в изолятор. Только наденьте халаты, перчатки и марлевые маски.

— А Герберт?

Герберт Юнг устало покачал головой.

— Я-то не покончу самоубийством. У меня жена и дети. Мне надо выздороветь и возвратиться. А Карел...

— Да, конечно,— торопливо ответил Таланов.— Но все же, может, лучше тебе не оставаться одному?

— Нет, ничего...— тихо сказал Герберт.— Дай мне снотворное, Виктор, вот и все...— У него был такой вид, будто он старается что-то припомнить.— Дай снотворное...

Герберт проглотил снотворное и лег, повернувшись лицом к стене. Виктор и Таланов унесли Карела в его пустую кабину, положили на койку.

— Придется сделать вскрытие,— сказал Виктор, когда они шли обратно.— Я делал анализ крови и его и Герберта, ничего не обнаружил. А по многим признакам эта болезнь сходна с нашими невирусными заболеваниями — с энцефалитом, например. Может быть, вирусы распространяются по ходу нервных волокон, а

не через кровь, как при бешенстве. Значит, нужно исследовать мозг... Нужно исследовать... обязательно...

Он говорил деревянным, безжизненным голосом. Таланов остановился, положил ему руки на плечи.

— Виктор, ты болен? Скажи правду!

— Я здоров,— отводя глаза, возразил Виктор.— Это из-за Карела... и вообще...

— Понятно,— недоверчиво сказал Таланов,— отдохни. Казимир подежурит вместо тебя.

— Мне не надо отдыхать. Некогда,— таким же мертвым голосом проговорил Виктор.— Пускай Казимир не ассистирует. А Владислав пока попробует наладить аппарат для электросна.

Он прошел еще несколько шагов и остановился. Таланов смотрел на него с тревогой. Виктор с усилием проговорил:

— Устал я очень... И потом — если б я послушался совета Юнга насчет анабиоза, Карел остался бы в живых.

— Ну, неизвестно! — решительно возразил Таланов и вдруг запнулся.

Все вокруг окуталось струящимся радужным туманом, очертания предметов потеряли четкость, стали размытыми, начали двоиться. Лицо Виктора тоже расплылось и стало белым туманным пятном. «Вот оно, начинается», — подумал Таланов, стискивая зубы. Он не то что видел — скорее улавливал, что Виктор внимательно смотрит на него.

— Вы сами больны, Михаил Павлович,— как сквозь сон услышал он.

Виктор подхватил его под руку. «Что же будет?» — с вялым испугом подумал Таланов. Шагая сквозь радужный туман, он как-то незаметно очутился в изоляторе и увидел, что Виктор снимает постель с койки Карела. Потом он понял, что лежит на койке. Все окружающее постепенно стало более четким и устойчивым, но словно выцвело и потеряло реальность. Потом пропустили нормальные цвета, белый свет потолочной лампы снова показался не мертвым, а привычным, почти родным. Таланов глубоко, с облегчением вздохнул и сел на койке.

— А... Уже подействовало! — сказал Виктор, обернувшись от стенного шкафа-аптеки.

Тогда Таланов не то понял, не то вспомнил, что Виктор дал ему таблетку энергина, и мир перед ним снова

потускнел — от страха. Он болен, он, начальник экспедиции! Виктор, вероятно, тоже. Ну, хорошо, Владислав — опытный штурман, он довел бы ракету до Земли. Но ведь он тоже заболел. Тогда... тогда все они погибли. Кто знает, к чему ведет эта болезнь? К сумасшествию? К самоубийству?

— Придется дать и вам снотворное,— сказал Виктор.— Я все подготовил для вскрытия, сейчас пойду за Казимиром. Как вы себя чувствуете?

— Как все,— неохотно ответил Таланов.— Ты ведь уже знаешь, как это бывает.

Виктор молча смотрел на него. Таланов вдруг от всей души пожалел этого мальчика. Худощавый, юношески легкий, с ясным, светлым лицом, Виктор выглядел гораздо моложе своих двадцати шести лет. Хороший паренек. Так рвался в свой первый дальний полет! Неужели этот первый полет окажется для него последним? Что ж, и так бывало. По-всякому бывало в космосе.

— Давай снотворное,— сказал Таланов.

Таланов проглотил таблетку, лег, закрыл глаза и начал думать о Земле. Перед тем как уснуть, он увидел серо-желтые дюны, серебристо-зеленое море и светлое небо, услышал мерный плеск и шипение тихих волн, набегающих на плоский песчаный берег. Он уснул, счастливо улыбаясь, будто вдохнув запах моря, хвои и песка, прогретого ласковым и влажным летним солнцем Балтики.

— Маска мне мешает,— сказал Казимир.— И на что она? И комбинезон этот? Мы все успели уже заразиться. Если не заболеем — значит, у нас врожденный иммунитет. И все.

— Не говори глупостей. Тебе и Владиславу, может быть, досталась незначительная доза инфекции, вот вы и здоровы. А если добавить... Герберт жил в одной кабине с Карелом.

— А Таланов?

— Не все одинаково восприимчивы. Потом, когда я в первый раз исследовал Карела, Таланов сидел рядом. А это, может быть, капельная инфекция, мы же не знаем. Словом, не капризничай, Казимир. Дай мне флакон с генцианвиолетом — вон, третий слева. Хорошо. Теперь подготовь препарат из пробирки семь. Осторожней, Казимир! Все — над сосудом с лизолом, помни!

— Этак с ума сойти можно,— пробурчал Казимир из-под маски.

— Не ворчи,— тихо сказал Виктор.

Казимир с тревогой посмотрел на него.

— Ты совсем болен. Ложись и объясняй мне, как и что. Я сам справлюсь.

Виктор провел рукавом халата по лбу, стирая крупные капли пота.

— Пожалуй, ты прав. Я лягу,— сказал он, отступил от стола и зашатался.

Все вдруг окуталось гудящей тьмой и полетело в пропасть. Он очнулся от холода: Казимир брызгал на него водой. «Он без маски»,— с глухой тревогой подумал Виктор, но не смог шевельнуть губами.

— Что тебе дать, скажи? — спрашивал Казимир, наклоняясь над ним.

— На второй полке сверху... ампулы.— Виктор с трудом отвернул лицо от Казимира, говорил в сторону.— Нет, ты не сможешь сделать укол... Дай мне энергин... на третьей полке, белая банка...

— Почему энергин? — спросил Казимир, и его синие глаза расширились и потемнели.— Ты ведь не...

— Не беспокойся, энергин — тонизирующее средство, ничего больше.— Виктор попытался ободряюще улыбнуться, но сам почувствовал, что улыбка получилась жалкая.— И надень сейчас же маску, не валяй дурака.

Энергин подействовал быстро. Виктор встал, хоть и с трудом, подготовил шприц и ампулу. Казимир, болезненно морщась, сделал ему укол.

— Все-таки что с тобой? — спросил Казимир.— Сердце?

— Наверное... Устал я очень, вот и...

— Ну, лежи, лежи. Я уж во время вскрытия поглядел на тебя и испугался: думаю, сейчас упадешь. Ты совсем зеленый был.

— Ты, положим, тоже был зеленый.

— Я-то с непривычки, а ты...

— А я? Думаешь, я только и делал, что вскрывал своих друзей?

— Тоже верно,— пробормотал Казимир, отводя глаза.— Ну, говори, что делать.

«Хотел бы я знать, долго ли мне удастся хоть так продержаться? — думал Виктор, лежа на койке и глядя на Казимира, с сосредоточенным видом хлопчущего

у штатива с пробирками и у микроскопа.— И вообще чем это все кончится? Что все-таки с Карелом? Откуда у него взялся этот абсцесс в правой теменной области? Если у него была раньше травма черепа, то как же его пустили в полет?.. Если он знал, что с ним, тогда... Нет, ничего не известно... Зря все-таки я затеял проводить анализы здесь. Всего не продезинфицируешь как следует. Койку надо выбросить... куда? Пока ее будешь тащить по проходам, нанесешь кучу вирусов. Нет, придется закрыть вход и сюда, в первую кабину. А если я... что тогда? Нет, Казимиру все-таки придется заходить сюда в комбинезоне, в маске, в перчатках. Владислава надо беречь во что бы то ни стало... Энергин действует на меня хорошо, только я с ним переборщил сегодня, отсюда и обморок. Надо будет поддерживать сердце, а то мне без энергина не справиться...»

— Ну, я ввел эту штуку... соль серебра, что ли,— сказал Казимир.— Теперь что? Да ты зачем поднимаешься?

— Надо,— сказал Виктор и сжал губы: ноги у него были ватные.— Я сам должен поглядеть, ничего не делаешь. Да мне и лучше у же.

— Ну смотри,— сказал с опаской Казимир.

— Я и смотрю,— бормотал Виктор, прильнув к окуляру микроскопа.— Я и смотрю...

— Ты переутомился, это ясно.

— Ясно,— повторил Виктор.— Конечно, ясно...

Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Перед закрытыми веками плавали тонкие, слегка изогнутые жгутики. Даже в окуляре электронного микроскопа, разбухшие от танина и облепленные панцирем из солей, они казались хрупкими, легкими, беззащитными. Но нервные клетки под их воздействием плавилась, распадались и исчезали. Маленькие, тоненькие, неумолимые, жадные, плодовые паразиты. Ничто не интересовало их во всей сложнейшей системе человеческого организма — они упрямо и безошибочно продвигались к головному мозгу, выбирали там самые подходящие для себя участки, пробирались в нервные клетки, в их ядра и там начинали командовать по-своему. Им нужна была живая, нормально работающая клетка с ее белками, с ее сложным, точно отлаженным механизмом производства. В ослабевшей, больной клетке они чувствовали себя плохо, а в мертвой, распавшейся умирали. Но до смерти они успевали обзавестись многочислен-

ным потомством, и молодые вирусы шли на штурм соседних клеток, оставляя на своем пути новые, еще более обширные разрушения.

— Казимир, хочешь полюбоваться на них? — проговорил он, не открывая глаз.

— На кого? — удивился Казимир.

— На тех, кто сидел внутри у Карела. На тех, кто залез в мозг Таланову и Юнгу. Познакомься, хоть будешь знать, с кем имеешь дело, в случае чего.

Казимир затаив дыхание посмотрел в микроскоп.

— Вот эти... кривые палочки? — спросил он.

— Они самые. Нейровирусы. Убийцы нервных клеток.

Казимир медленно выпрямился. Лицо его сделалось сумрачным, глаза потемнели, перестали излучать сияние.

— Тяжело на это смотреть, когда знаешь... — Он махнул рукой.

— Готовь препарат из пробирки номер семь. Я пока запишу результаты. — Виктор взял с полки бактериологический справочник, полистал его и начал записывать в тетрадь: «При бактериоскопическом исследовании клеток зрительного бугра после окраски генцианвиолетом были обнаружены обширные разрушения клеток — расплавление, зернистый распад, исчезновение. В ранее исследованных клетках красного ядра и черной субстанции таких изменений не имеется. После обработки таннином с солями серебра в ядрах клеток зрительного бугра удалось обнаружить вирус неизвестного мне типа (в справочнике Вейсса и Зелеранского такого вируса нет)». Он отложил ручку. «Конечно, они есть не только в клетках зрительного бугра. Скорее всего они локализуются в диэнцефалоне, в ретикулярной субстанции...» Ну, хорошо, посмотрим еще этот препарат, из правой теменной области, возле абсцесса...

— Готово, Казимир?

— Можешь смотреть.

«В правой теменной области, вблизи от посттравматического абсцесса и пояса лейкоцитарной инфильтрации вокруг него, — записывал снова Виктор, — обнаружены также обширные разрушения нервных клеток, вызванные вирусами. Разрушения эти местами вплотную примыкают к инфильтрату...» Он задумался. «Да,

Карела ожидали только страдания, невыносимые боли, для него надежды не было... Если он это знал, тогда... Или все-таки если б анабиоз...— У него нехорошо засосало под ложечкой от этой мысли.— Нет, нет, это все необратимые изменения. Он умер бы на Земле во время операции или после. Не утешай себя, что за дешевая трусость! Вовремя не решился на анабиоз, а потом еще и недосмотрел...»

* * *

— До чего мне хочется пить! — простонал Казимир.— Глотка слипается, даже больно.

— Ну нельзя тут пить, потерпи, Казик. Еще немного. Возьми кусок ваты, обмотай, оботри. Потом оставь здесь комбинезон и отправляйся немедленно в душевую. Придешь потом, когда отдохнешь и поешь.

— А как же ты? Я боюсь тебя оставлять.— Казимир еле говорил.

— Не беспокойся, все будет в порядке,— сказал Виктор.— Ты помни, что я сказал: не подходи близко к Владиславу, разговаривай с ним через маску. И он пусть надевает маску, у вас там, в кабине, есть марля. А ты, конечно, перейди спать в другое помещение. Возьми лизол, протри все там — ну, хотя бы в кабине Таланова. Обещаешь?

— Обещаю,— хмуро сказал Казимир.— Черт знает что! Владислав не согласится.

— Владислав — опытный астронавт, он все прекрасно поймет. Ты сам-то пойми как следует: это последний наш шанс. Иначе мы все пропали.

Виктор посидел один, потом встал и, неуверенно ступая, пошел в изолятор. Таланов спал. Юнг сидел на койке, сгорбившись, опустив голову и уронив сложенные руки между колен. Он не пошевелился, когда вошел Виктор.

— Как ты себя чувствуешь, Герберт? — спросил Виктор.

Юнг медленно поднял голову и поглядел на Виктора своими светло-голубыми глазами: он больше не косил, но взгляд был какой-то странный, отсутствующий.

— Не знаю. Я все ясно вижу. И двигаться могу нормально. Как будто болезнь прошла. Но я стал совсем другим, это я чувствую.

— Каким же?

— Совсем другим,— повторил Юнг.— Не знаю, как тебе объяснить. Я понимаю все, что происходит, а мне все равно. Разве мне может быть все равно? Вот Таланов заболел, и все заболеют, наверное, и все мы погибнем, а мне ни вас, ни себя не жалко. И жену не жалко, и детей, а я ведь так их любил.— Он говорил тихо, ровно, без выражения.— Я нарочно думал о том, что с нами случится, представлял себе все подробности — и ничего не испытывал. Пропали все чувства. И вообще мне ничего не хочется: ни есть, ни пить, ни спать.

— Ну, это даже и удобно,— попробовал пошутить Виктор.

Юнг ничего не ответил.

— Давай я тебя обследую,— вздохнув, сказал Виктор.

Герберт был как будто здоров, только тонус организма несколько снизился: сердце работало вяловато, кровяное давление было несколько ниже нормы, сухожильные рефлексы ослабели. «Острый период, очевидно, уже миновал,— думал Виктор, глядя на Юнга.— Как стремительно развивается эта болезнь! Инкубация, очевидно, не более двух суток, острый период тоже. Вирусы уже добрались до мозга и прочно устроились в облюбованных местах. Что дальше? Смерть? Сумасшествие? Частичная неполноценность? Чего нам ждать от этой милой, мирной планеты с ее подземными жителями и загадочными врагами?» Он вдруг вспомнил, как совсем недавно, глядя из верхнего люка ракеты на мирную долину, мечтал о романтике, о необычайных событиях, о встречах с разумными существами иных миров... «Я стал совсем другим,— повторил он про себя слова Юнга.— Кто знает, что дальше будет, а пока... пока я стал взрослым. Да, пожалуй, так это можно называть...» За последние два-три дня он пережил больше горя, ужаса и усталости, чем за все двадцать шесть лет своей жизни. Сейчас он был уже не великовозрастным мальчишкой, мечтающим о подвигах, а мужчиной, вступившим в тяжелый бой. Он был болен, смертельно устал, но знал, что будет держаться до последнего вздоха, потому что отвечает за товарищей. Он подумал еще, что если б Юнг был врачом, его, может быть, тоже подхлестывала бы ответственность и он если не чувством, то разумом понимал бы, что надо действовать. И ему тогда было бы легче... «Фантазия! — оборвал он себя.— Все зависит от характера разрушений в мозгу. Кто

знает, что будет еще с тобой самим? Несомненно, это более легкая форма. И вдобавок энергин на тебя лучше действует, чем на других... Карел, Карел... что же с ним случилось? Посттравматический абсцесс... а может, все-таки не посттравматический? Да нет, не могут же эти вирусы...»

— Герберт, постарайся вспомнить,— мягко, но настойчиво сказал он.— Ты ведь с Карелом не в первой экспедиции вместе. Так вот, ты ничего не слыхал о том, что у него была травма черепа?

Юнг поднял глаза.

— Была,— ответил он без всякого выражения.— Была травма. Карел сказал мне.

— Когда? Когда сказал?

— Незадолго до смерти,— так же равнодушно проговорил Юнг.— Он сказал, что два года назад, в последнем рейсе, они столкнулись с метеоритным роем. Их сильно тряхнуло, он ударился головой о пульт управления, потерял сознание.

— Почему он это сказал? Почему раньше молчал?!

Юнг продолжал монотонно и спокойно:

— Он сказал, что у него начинаются очень сильные головные боли. И что его предупредили врачи: если такие боли начнутся, надо немедленно лечь в клинику на операцию. Иначе — сумасшествие и смерть.

— И поэтому он решил не дожидаться! Но почему же ты нам сразу не сказал?

— Я только теперь понимаю, что он в самом деле это говорил. А раньше думал, что мне это показалось.

— Но как же его пустили в полет, если он болен? Как ему удалось скрыть это от сотрудников Лунной станции? — говорил Виктор, обращаясь скорее к самому себе, чем к Юнгу.— Ведь у него в карточке нет никакого упоминания о травме.

— Наверное, он хотел летать,— сказал Юнг.

— Да, конечно... Во всяком случае, самоубийство Карела не вызвано вирусным заболеванием. А мы боялись...

— Эта болезнь, по-видимому, не может вызвать попыток самоубийства,— спокойно сказал Юнг.— Сначала она ошеломляет, пугает, но зато и лишает власти над своим телом, над своими движениями. Карел смог покончить самоубийством только потому, что ты незадолго до этого дал ему таблетку энергина. А потом... потом становится все равно...

Он сказал это без горечи, но Виктору стало так страшно, что захотелось кричать.

Он услышал глухой стук и не сразу догадался, что стучат в дверь медицинского отсека.

— Впусти меня! — крикнул Казимир за дверью. — Я подготовился!

Виктор открыл дверь. Казимир был в маске и в легком комбинезоне.

— Вот! Отсюда в душевую, как ты требуешь! Там продезинфицирую и себя и комбинезон. Владиславу я уже сказал, чтоб он к душевой и близко не подходил. Пускай моется в шлюзовой кабине. Все!

— Почему не спишь? — спросил Виктор, тяжело опускаясь на сиденье.

— Я не устал. Вымылся, напился, наелся — и все в порядке. Хотим с Владиславом ехать в город, разговаривать с этими подземными жителями. Я уже подготовил словарик и грамматику.

— Так быстро? — удивился Виктор.

— А «Линг» на что? Он знаешь какой! Ну, словом, Владислав послал меня спросить благословения у Таланова. Хотя он, конечно, не будет возражать.

— Он спит, — сказал Виктор. — И вообще он болен. Поезжайте, конечно. И постарайся у них обязательно узнать, что это за болезнь, какой у нее исход, как передается инфекция. Может, у них есть лекарства против нее.

— Обязательно узнаю. Хотя не представляю себе, как это мы будем переписываться через стену.

— А почему они все-таки не выходят?

— Да вот бояться глегов. А мы даже не знаем, кто такие эти глеги и как они выглядят. Может, и нам их надо бояться. А ты что будешь делать?

— Я буду спать, — сказал Виктор. — Приедешь — разбудишь. Очень хочу спать.

— Конечно, спи, — поспешно проговорил Казимир. — Ты устал как черт.

Виктор видел, что Казимир поглядывает на него с опаской, но ему было уже все равно. Он знал, что если хоть немного не отоспится, то не вытянет.

— Иди. Все в порядке, не бойся, — сказал он.

Он вернулся в изолятор, еле передвигая ноги. Юнг по-прежнему сидел не шевелясь и глядел в пол.

— В десять часов двенадцать минут я тебя разбужу. Можешь спать.

— А ты так и будешь сидеть? — спросил Виктор, ложась. — Если хорошо себя чувствуешь, попробуй заняться своими записями. Ты ведь хотел привести их в порядок.

Он еще успел увидеть, как Юнг молча поднялся и пошел к столу. Потом сразу заснул.

* * *

На этот раз беседовать было легче. Там, за стеной, уже подготовились к их приходу: расчистили большое окно, и за ним стояли четверо. Когда глаза немного привыкли к беловатой мерцающей полумгле, Казимир сказал:

— Нет, они, конечно, разные. Нам они кажутся похожими только потому, что сильно отличаются от нас. Как европейцы кажутся вначале похожими, как все японцы или китайцы. Посмотри. Вот этот высокий — старик. А тот, позади, наверное, очень молод... или нет, это женщина... да, определенно женщина!

— Ну что ты! — усомнился Владислав.

— Посмотри. — Казимир продолжал вглядываться в странные птичьи лица тех, кто читал их письмо, прижатое к перегородке.

Окончив читать, они начали оживленно переговариваться. Их жесты и мимика были настолько своеобразны, что нельзя было понять, радуются они или огорчаются. Казимиру показалось, что они чем-то рассержены, потом он решил, что за стеной идет ожесточенный спор. Один из спорящих повернулся к астронавтам и начал что-то горячо говорить, потом вдруг умолк, открыв рот.

— Вспомнил, что мы просили писать, — догадался Казимир.

— Уж очень ты проницательный, — сказал Владислав. — Прямо ясновидец.

— Прочел бы ты столько их книг, сколько я за эти дни, тоже стал бы проницательным... Вот начали писать... Ну, конечно, это женщина! Чего смеешься? Женщины здесь носят высокие головные уборы, и одежда у них более яркая, чем у мужчин.

— Однако вид у этой дамы... — заметил Владислав.

— А ты представь себе, какими уродами кажемся ей мы, — усмехнулся Казимир. — С нашими толстыми носами и губами, с маленькими глазами, большие, неуклюжие... Ну вот и письмо готово.

К перегородке приложили письмо. Казимир напряженно читал его, поглядывая в словарь, а Владислав смотрел на тех, кто стоял за перегородкой. Сейчас и он видел, что они разные. Даже глаза неодинаковые: у старика и у женщины большие, чуть посветлее, не то темно-зеленые, не то темно-коричневые, а у двух других — совсем темные, почти черные. Веки у них все-таки были — тонкие, как пленка, морщинистые, более темного цвета, чем все лицо, — но увидеть их удавалось лишь тогда, когда люди-птицы опускали глаза. Это были первые разумные существа, которых довелось видеть Владиславу. В первых двух полетах на неизвестные планеты он видел только ящериц да рыб и уж думал, что здесь будет то же. Люди-птицы тоже глядели на него, и он чувствовал себя неловко под этим напряженным неотступным взглядом.

— Вот послушай, что они пишут, — сказал Казимир. — Нет, подожди, я проверю кое-что.

Он подчеркнул одно слово в письме, приложил листок к перегородке и показал на скафандр. За перегородкой дважды махнули рукой справа налево.

— Так и есть, — удовлетворенно сказал Казимир. — Слушай. «У нас нет скафандров. В скафандрах глеги не страшны. Но будьте осторожны. Помочь нам можете, если вернетесь сюда и доставите средства против глегов. Когда вы сможете вернуться?»

— Очень деловое письмо, — заметил Владислав. — Остается только выяснить, кто такие глеги и какие средства против них годятся. Может, ядерное оружие?

— Этого им только не хватало! — очень серьезно сказал Казимир. — А насчет глегов я, кажется, догадался. Впрочем, проверим, хоть мой вопрос и покажется им смешным.

— А они умеют смеяться?

— Наверно. Разумное существо без чувства юмора? Немыслимо. — Казимир быстро написал что-то на листе бумаги и приложил его к перегородке.

— Я спросил: «Как выглядят глеги и где их можно видеть?» Вот посмотри, они смеются!

— Скорее удивляются. Ты их просто ошеломил! — Владислав смотрел на широко раскрытые птичьи рты. — Зубов у них, по-моему, нет.

— Сплошная костяная пластинка по краям челюстей. Мало выступает.

— А волосы есть?

— Есть, только не такие, как у нас. Вроде короткой блестящей шерсти на голове и спине. На лице ничего не растет. Ну, чего ты морщишься? Тебе есть что стричь и брить, значит, ты божественно красив. Чего тебе еще? Живи и радуйся. Ага, ответили! Ну, так я и думал! Глеги — это те самые палочки, которыми я любовался вчера под микроскопом.

— Вирусы?

— Ну да. По-видимому, они и под землю ушли, за эти перегородки, спасаясь от вирусов. Но откуда они взялись, эти глеги? С других планет, что ли, завезены? Если они здешние, то пора бы к ним привыкнуть и приспособиться. Сейчас я их спрошу. — Он написал записку, приложил к стене. — Я написал: «Нам надо узнать все о глегах. Иначе не сможем помочь».

— А как мы им вообще сможем помочь?

— Мы-то никак. Мы вообще не знаем, доберемся ли до Земли. Но если доберемся, там этих глегов приструнят. Справились же у нас и с бешенством, и с полиомиелитом, и с гриппом, а уж вирусов гриппа было черт знает сколько. Читал, что делалось с этим гриппом еще лет двадцать назад? Эпидемия за эпидемией. Нет, лишь бы добраться. Посидим в карантине на Лунной станции, вылечат наших больных...

— А ты оптимист! — сказал Владислав. — Почему ты думаешь, что не все заболеют?

— Срок инкубации у этих глегов очень короткий, а мы с тобой пока ходим. Может, у нас иммунитет? Ты поведешь ракету, я с Виктором буду ухаживать за больными, ну и все прочее. Хотя Виктор, по-моему, тоже болен, но как-то держится. Возможно, у него более легкая форма.

— Виктор болен? — протянул Владислав, нахмурившись. — Давно?

— Я еще вчера заметил. Сегодня он потерял сознание. Правда, может быть, это другое, не глеги.

— Что же еще? Виктор здоров как бык, да и молод совсем. — Владислав помолчал. — Однако долго совещаются... Нет, ничего, мы доберемся. Надо добраться. Только вот сюда мы не скоро вернемся. Через десять лет, не раньше. Мы или другие, все равно. Сколько они уже сидят под землей?

— Выясним. Ну, записку они написали короткую, зато деловую. «Через два синими...» Ну, это их мера времени. Синими — это минут сорок — сорок пять при-

мерно, значит, часа через полтора... «Возьмите книгу там же, где письма». Это в боковом проходе, да? «В книге все будет сказано». Что ж, прекрасно! — Он дважды махнул рукой справа налево: существа за перегородкой переглянулись и широко открыли рты. — Это они так смеются, уверяю тебя. Или улыбаются. Ну, давай пока спросим их о чем-нибудь. Сейчас! — Он достал чистый листок. — «Сколько времени вы живете внизу?»

— Ты главное спроси, — хмуро напомнил Владислав. — Что случается с больными? Они умирают, сходят с ума или как? И как передается болезнь?

— Да, ты прав! — Казимир поежился. — Страшно спрашивать... Ну вот, я написал.

Владислав почувствовал, что ему тоже страшно. Они напряженно ждали, глядя, как высокий старик чертит знаки на пластинке тонким белым стержнем. «Стержень белый, а знаки темно-красные, — мимоходом подумал Владислав. — Скорей бы дописывал...»

Пластинка плотно прильнула к перегородке. Казимир начал переводить.

— Под землей они недавно... по нашему счету это примерно лет семь. У них год короче. Насчет болезни я не все понимаю. Почему-то говорят, что они точно не знают. «Раньше умирали только слабые и старые. Сейчас, может быть, иначе, мы не знаем. Все равно это хуже смерти. Вы все прочтете в книге. Я вложу в нее письмо». Видишь, старик уже сидит и пишет. Вот еще фраза. «Глеги входят вместе с дыханием». Значит, капельная инфекция.

— Спроси, много ли их там, под землей, защищены ли они там от глегов и вообще, как им живется? И кто они сами, члены правительства или как?

На этот раз ответ писала женщина, старик только прочел записку и опять начал писать письмо.

— Говорят, что их очень много, что им тесно, они все время роют новые ходы, строят подземные города. Глеги сюда не проникают, но многие переболели, еще когда жили наверху. Книгу принесет тот, кто переболел, чтобы мы посмотрели, к чему приводит эта болезнь. Всем очень плохо под землей, портится зрение, многие болеют и умирают от скудной пищи и недостатка воздуха. Они с нами говорят тайком от правительства, они — ученые. Эти три сплетенных кольца у них на груди — символ знания, я читал об этом. Если очи-

стить планету от глегов, все выйдут наружу и будут жить нормально, а если правительство будет против, люди восстанут и свергнут его. Опять спрашивает, можем ли мы помочь и когда рассчитываем вернуться. Ну что ответить?

— Напиши всю правду. Что мы больны. Что надеемся добраться до Земли. Что там найдут средства против глегов. И что вернемся не скоро, но обязательно. Еще спроси: бывает ли иммунитет против глегов?

— Не знаю, как у них это называется. Ладно, как-нибудь напишу.— Казимир начал чертить знаки, заглядывая в словарь.

Владислав прислонился к стене, глядя в мерцающую белую даль подземного перехода. «Хотел бы я знать, чем все это кончится... Подумать только, что если б Карел не наткнулся на этого зверька!.. Вот так бросить все, уйти под землю из-за страха перед этими проклятыми глегами... Откуда они все-таки взялись — загадочная история... Ну, ничего, скоро узнаем». Он опять посмотрел на подземных жителей, и эти глазастые семипалые существа теперь показались ему более привлекательными. «В конце концов к ним можно привыкнуть. К черной коже и курчавым шерстистым волосам тоже поначалу надо привыкать, а я к Луису Мбонге так привык, что он мне родней брата казался... Читают записку. Женщина закинула голову и скрестила руки на груди. Отчаяние? Горе? Почему я так думаю? Ах да, порывистый жест... и потом содержание записки вряд ли может их обрадовать. У других тоже лица изменились. Ага, пишут... что же они пишут?»

— «Ваша болезнь — тяжелое горе для нас,— переводил Казимир.— Как это случилось? Разве скафандры не защищают? Будем надеяться и верить вместе с вами. Будем ждать. Есть те, против которых глеги бессильны. Но таких очень мало. Желаем вам счастья!»

Астронавты переглянулись.

— Ну что ж,— помолчав, сказал Владислав.— Будем верить и надеяться, ничего другого не остается. Скорей бы они книгу доставили. Если Виктору стало совсем плохо...

— Ох, дьявол! — пробормотал Казимир.— Действительно... А без книги...

— Нет, уж придется ждать... Расскажи им про зверька, может, им это полезно знать.

Прочитав записку Казимира, женщина повторила жест отчаяния. Послышался оживленный щебет. Потом к перегородке приложили записку: «Это был сунними. Он испугался. Вы прочтете о сунними в книге».

— Сунними так сунними,— сказал Владислав.— Кто ж его знал, что он от испуга может порвать скафандр. Эх, Карел, Карел... Кстати, у них, по-видимому, есть скафандры, если даже слово такое в язык вошло. Спроси, как у них с полетами в космос. Они, может, летали или у них кто побывал в гостях?

В ответном послании было сказано, что скафандры у них есть и более легкие защитные одежды тоже, но все они в руках правителей, к ним нет доступа. Никто с других планет тут не бывал, разве что за последние годы, когда они уже сидели под землей. А сами они готовились летать, но все эти приготовления, конечно, прекратились, как только появились глеги.

— Появились! — сказал Казимир.— Раньше их, значит, не было. Откуда же?

— Ну, вот пришел кто-то новый, там, за стеной. А вот и книга. Большая! Ну и работа тебе предстоит, Казимир!

— Не так мне, как «Лингу». Он-то справится, будь уверен!

К перегородке вплотную подвели того, кто пришел с книгой. Он по виду ничем не отличался от других, кроме одежды, более короткой, красно-черной. На левой стороне груди у него была прикреплена большая светлая пластинка вроде бляхи с какими-то знаками.

— Это, кажется, означает, что он из низших слоев общества,— пояснил Казимир.— Им цепляют бляхи с обозначением профессии и места работы.

— Миленький обычай, а? — сказал Владислав.— Смахивает на фашизм.

— Да, тут жизнь, верно, и без глегов была невеселая... Ну, он на вид совсем здоровый, только вялый какой-то. Смотри-ка, что это они с ним делают?

Существо в черно-красной одежде начало раскачиваться, потом приседать механически, как кукла, слегка приоткрыв рот. Астронавты видели, что оно повинуетеся командам женщины. Старик сидел и писал письмо, не обращая внимания на все происходящее.

Красно-черное существо то застывало, вытянувшись, то проделывало разные движения, повинуюсь команде.

Владислав почувствовал, что у него мурашки бегут по спине.

— Вот это что... — прошептал он. — Хуже смерти, да... Он стал марионеткой.

Красно-черное существо раскрыло рот и застыло, вскинув руки. Потом по команде медленно склонилось вперед, упираясь пальцами в пол, и опять застыло.

«Что он чувствует? Что он думает? Или у него совсем нет рассудка?» — думал Владислав. Он посмотрел на Казимира, тот был бледен, синие глаза его расширились и лихорадочно блеснули.

— Напиши им, что мы спешим, — сказал Владислав. — Хватит с нас этого спектакля. И скажи, что мы вряд ли придем еще раз. Насчет книги спроси: можно ли ее взять с собой на Землю?

Прочитав записку, за перегородкой начали оживленно махать руками справа налево. Красно-черное существо тоже махнуло рукой. Потом в книгу вложили письмо и опять вручили ее красно-черному. Вскоре он появился из бокового хода и протянул астронавтам книгу. Владислав взял ее — она действительно оказалась увесистой. Астронавты со страхом и сожалением глядели на посланца из-за стены. Просторная хламида до колен, с короткими рукавами, расцвеченная широкими спиральными бордовыми и черными полосами, открывала тонкую шею с какими-то странными поперечными линиями, похожими на рубцы. Голова была обнажена, и Владислав с удивлением смотрел на блестящую шерсть, равномерно покрывающую череп, маленькие, острые, плотно прилегающие к голове уши и заднюю часть шеи.

— Они, по-моему, как-то ближе к птицам и зверям, чем мы, — сказал он.

— Мы к обезьянам тоже близки, грех жаловаться, — ответил Казмир. — Эх, нет тут ни Юнга, ни Виктора! Им было бы интересней и полезней, чем нам, поглядеть на этого молодца.

Казмир взглядом спросил разрешения у тех, за перегородкой, и ему показалось, что они поняли. Тогда он подошел к красно-черному посланцу, осторожно осмотрел и ощупал его. По строению красно-черный очень напоминал человека, только был более тонок, хрупок, с менее развитыми мускулами, с более узкой грудной клеткой.

— Знаешь, он весь какой-то сглаженный. Все плавно, ровно, нет наших суставов, грудная клетка не выступает, талия незаметная. Вот посмотри, какие руки и ноги,— ровные, всюду одинаковые, как трубки. Даже не видно, где они сгибаются.— Он согнул руку красно-черного, тот пассивно повиновался...— Ага, видишь, там же, где у нас примерно. А не видно. Нет, хорошо, что они не видят нас без скафандров: мы бы им показали чудищами.

— А ну их! — сказал, усмехаясь, Владислав.— Красавчики, нечего сказать. Вся кожа сморщенная, как у стариков. И эта шерсть... бр-р!

— Не говори глупостей! — возмутился Казимир.— Что за узор! кругозора! Кожа у них нежная, приятная. А шерсть шелковистая, как у кошки. Да ты погладь, чудак!

Владислав осторожно погладил красно-черного по шее и сразу отдернул руку.

— Смотри, они смеются! — с досадой сказал он: за перегородкой действительно все открыли рты.— Кончай это дело, надо спешить.

— Да, верно,— огорченно согласился Казимир.— Но, понимаешь, я в первый раз...

— Я тоже в первый раз. Нигде ничего подобного не видел. Пошли прощаться.

Казимир написал: «Мы уходим. Прощайте. Сделаем все, чтоб поскорее вернуться и помочь вам». За перегородкой все подняли руки над головой, потом медленно сложили их ладонями наружу.

— Это прощание,— сказал Казимир, повторяя этот жест.

Владислав тоже поднял руки над головой и сложил их.

— Постой, а этот? — спросил он, указывая на красно-черного: тот неподвижно стоял рядом. Казимир написал: «Почему он не уходит?»

За перегородкой посоветовались. Потом старик написал: «Он должен пройти через другой ход — там убьют глегов. Но вы можете взять его с собой. Он вам поможет».

— С собой?! — поразился Владислав.

— А знаешь, это идея,— сказал Казимир.— Глеги ему не страшны. Он совершенно послушен, ничего не боится, ничему не удивляется.

— Ну, почему ты знаешь? Может, это только ка-

жется так. Он не человек, ну, или вроде человека.

— Нет, мы не должны отказываться! — уже уверенно заявил Казимир. — Кто знает, что с нами станется. Может, все заболеем.

— А он тогда что?

— Да, тогда... А если не все — тогда он поможет. Если даже ты один останешься.

— Пожалуй, — задумчиво пробормотал Владислав. — Они ждут помощи... Скажи, что мы согласны, хотя я плохо представляю, что с ним делать. Спроси, умеет ли он читать и писать и что вообще знает.

Оказалось, что читать и писать он умеет, что его можно обучить всякой несложной работе, он запоминает и повинуется. Зовут его Инни. Надо приказывать ему есть, пить, работать, спать. А то он сам не знает, когда что надо делать, и может умереть с голоду.

— А чем его, кстати, кормить? — спросил потрясенный Владислав.

— Боюсь, что это придется выяснять на практике, — вздохнул Казимир. — Да, дело нелегкое, но рискнуть стоит. К тому же его на Земле, может, и вылечат.

— Тогда он, пожалуй, умрет со страху, — усмехнулся Владислав. — Очнется в чужом мире... Ну ладно, пошли!

Они еще раз попрощались с подземными жителями. Старик крикнул что-то и резко взмахнул рукой: красночерный ответил жестом согласия и пошел вслед за астронавтами.

— Смотри-ка, он даже не оглянулся, — сказал Владислав. — Ему все равно. Ну и ну!

Они опять кружили по светлым спиральям пустого города, и алые, розовые, багровые ветви стремительно шуршали и царапались о стекла, словно цеплялись за вездеход, молча моля о спасении.

— Понимаешь, Владек, — сказал Казимир, — у меня такое чувство, будто мы удираем и бросаем их тут в беде. Конечно, это глупо, но...

— Конечно, глупо, — ответил Владислав. — Без всяких «но». Это ведь, кажется, библиотека? Остановимся?

Круглое золотистое здание, постепенно суживаясь, ступенями уходило ввысь: на самой верхней круглой площадке светились три сплетенных разноцветных кольца.

— Вряд ли я что-нибудь подходящее найду вот так, сразу, — сказал Казимир. — В прошлый раз я просто наугад захватил несколько книг — выбирал, где побольше иллюстраций, вот и все.

— Возьми с собой этого... Инни.

— А что, неплохая идея! — Казимир несколько оживился: ему, очевидно, не хотелось идти в одиночку. — Инни!

Инни послушно вылез из самохода и двинулся за Казимиром. Владислав смотрел, как сгибаются где-то посредине его ровные трубкообразные ноги, и ему все казалось, что Инни вот-вот подломится и упадет. Но Инни поднялся вслед за Казимиром по ступеням лестницы, окружавшей здание, и исчез за овальной вертящейся дверью.

Владислав огляделся. Он впервые стоял один в этом чужом мире — они всегда ходили парами, для страховки. Было тихо, очень тихо и тепло. Небо стало совсем прозрачным, почти бесцветным, лишь по краям, у горизонта, сгущалась светлая зелень. Владислав прислонился к вездеходу — было приятно чувствовать за спиной прочную, надежную броню. Он смотрел на пушистые алые кусты, широким кольцом окружавшие библиотеку, на плавно изогнутые розовато-оранжевые здания, замыкавшие площадь, и ему казалось, что он видит, как внизу, под землей, движутся отвыкшие от света большеглазые люди с птичьими острыми лицами, как они ходят там, постоянно ощущая тяжесть сводов, нависших над ними, как крышка просторного гроба, в котором их заживо похоронили. «Будь все проклято! — с досадой сказал он себе. — Что толку думать сейчас об этом? Надо скорей добираться до Земли и высылать сюда помощь, вот и все... Что толку думать?»

* * *

Виктор поглядел на дверь изолятора.

— Веди его прямо в душевую. Эту хламиду продезинфицируй, обувь тоже и запри в герметический шкаф. Подбери что-нибудь из нашего, хотя уж очень он худой и маленький, все на нем будет болтаться... Пока держи его у себя, обучай языку, научи ориентироваться у нас. Ко мне ходи сам. — Он опять оглянулся на дверь. — Герберту, конечно, и в голову не придет сюда

взглянуть, он готов. А вот Таланов... Словом, ты понимаешь, им нельзя на него смотреть...

«А тебе можно?» — подумал Казимир, глядя на него. Глаза Виктора сильно косили, а лицо покрылось той же синеватой бледностью, что у всех больных.

— Что смотришь? — криво усмехнувшись, сказал Виктор. — Хорош?

— У тебя тоже?..

— Тоже, тоже! — почти грубо выкрикнул Виктор и уже спокойней добавил: — У меня, по-видимому, более легкая форма, я продержусь на ээнергии. И Герберт теперь может мне помогать, он по-прежнему точен и все помнит. Он даже начал приводить в порядок свои здешние записи.

— Что ты говоришь! — удивился Казимир. — Так это же здорово!

— Здорово... В том-то и дело, что я ему сказал — и он послушался. А иначе он и не подумал бы. Профессиональные способности у него, по-видимому, не пострадали, я просматривал, что он сделал. Работает в приличном темпе, точно, продуманно. Но ему на это плевать. Скажут — будет работать, не скажут — будет сидеть, ничего не делая. Не сказать ему: «Поешь!» — останется голодным.

— Да, те же симптомы... — Казимир глотнул, у него в горле пересохло.

— Очень странная болезнь. Когда твой «Линг» закончит работу?

— Скоро. — Казимир поглядел на часы. — Вот я нашего новосела вымою и переодену, к тому времени у «Линга» все будет готово. Ну, в основном. Я проверю неясные места, подправлю — и можно будет читать. Прочтем мы с Владиславом половину — я тебе принесу. А как Таланов, очень мучается?

— Да я стараюсь, чтоб он побольше спал. Хорошо, что электросон есть. Бужу его только, чтоб покормить. Вообще ему плохо. Почти ничего не видит, передвигается ощупью, закрывает глаза, когда я двигаюсь. Говорит, что у него правая половина тела высохла и ничего не весит. И тоже чувствует, что кто-то внутри сидит. Он-то хорошо понимает, что это болезнь. Но от этого не легче, можешь мне поверить. — Виктор изобразил нечто вроде улыбки. — Ну иди... Жду с нетерпением книгу.

— Идем! — сказал Казимир, обращаясь к Инни. — Не понимает, а я не знаю, как произносить их слова. Ну, ладно.

Он резко взмахнул рукой. Инни послушно поднялся.

— Просидел здесь полчаса, а ни разу даже не поглядел по сторонам. Ему все равно, — сказал Виктор, глядя на Инни. — Абсолютно то же, что у Герберта... Да и у меня уже что-то похожее развивается. Смотрю на него, а думаю больше о том, как с ним быть и в чем он может помочь. А недавно я бы ошалел от радости, что вижу разумного обитателя другой планеты... Нет, впрочем, я радуюсь и сейчас. Устал я просто. Иди, иди, Казимир, не трать времени.

Когда красно-черные спирали скрылись за дверью, Виктор, цепляясь за переборку, пошел в изолятор и достал таблетку энергина. Он сел, держа таблетку в руке. «Подожду еще. Надо посмотреть, как будет без энергина...» — Он закрыл глаза и прислонился к переборке. — Симптомы те же... все совпадает. Значит, все дело в энергине? Я более восприимчив к нему? Тогда... тогда вот оно, мое близкое будущее... Герберт и этот жалкий Инни... Нет, я не хочу! — едва не закричал он и открыл глаза. — Опять этот проклятый радужный туман... ничего не видно... кажется, Таланов пошел... велелся...»

Виктор поспешно проглотил энергин, испытывая странное и жуткое ощущение, будто кто-то другой поднял его руку, приблизил ко рту — и таблетку проглотил кто-то, завладевший его телом, а сам он находится где-то в стороне, отдельно от тела, легкий, невесомый и совершенно бессильный.

— Виктор! — позвал Таланов. — Где ты, Виктор? Я тебя не вижу.

Виктор попробовал встать, но не смог. Ему показалось, что стена кабины стоит вплотную перед ним и если он встанет, то войдет в стену. И ног у него будто не было. Напрягая волю, он сказал, ничего не видя, обращаясь в ту сторону, где должен сидеть Герберт Юнг:

— Герберт, подойди к Михаилу Павловичу, я сейчас не могу.

Он скорее угадал, чем увидел, что Герберт встал. Темное продолговатое пятно со струящимися размытыми очертаниями проплыло по кабине среди радужного тумана, прошло сквозь Виктора, и он откинулся

на спинку сиденья, зажмурив глаза. «Что же будет? — подумал он. — Неужели и я выйду из строя?»

— Виктор, почему ты не подходишь? — тревожно спрашивал Таланов. — Это Герберт, а не ты! Что с тобой?

— Я сейчас, сию минуту! — сказал Виктор. — Все в порядке, я готовлю шприц.

Он боялся открыть глаза, но, открыв, вздохнул с облегчением: энергин уже начал действовать. Все стало снова четким, устойчивым, надежным; тот, внутри, не исчез, но словно затаился, ушел вглубь. Виктор встал и подошел к Таланову, с наслаждением двигаясь, шевеля пальцами рук, встряхивая головой. Он видел, как бледный, выпцветший мир вокруг наливается красками, и понимал, что болезнь опять отступила, что он может и должен бороться, пока хватит сил. «И пока хватит энергина, кстати», — горько усмехнулся Виктор.

— Виктор, ты тоже заболел? — спросил Таланов, хватая его за руку и тревожно ощупывая. — Это твоя рука, правда? А это моя? Ты болен?

— Я не болен, я только устал немного, — спокойно и ласково сказал Виктор.

Он взял Таланова за руку и, отсчитывая частые, судорожные удары пульса, глядел на это лицо, лобастое, широкоскулое, смугловатое лицо с крупным волевым ртом и глубоко посаженными карими глазами. Таланов всегда казался Виктору похожим на русского рабочего-революционера из того племени, что в далекие времена совершило великую революцию, а потом отбивалось от натиска интервентов и закладывало основы первого в мире социалистического государства. Виктор как-то сказал об этом Таланову, и тот молча усмехнулся, видимо, польщенный.

— Это правда, Виктор? — спрашивал Таланов, невидящими, косящими глазами пытаясь взглянуть в его лицо. — А что с Гербертом, почему он молчит?

«Завтра ты, наверное, перестанешь этим интересоваться, — с горечью думал Виктор. — Завтра ты будешь все видеть и все понимать, но ни о чем не будешь спрашивать...»

— Я здоров, Михаил Павлович, — повторил Виктор. — Вполне здоров, вы не волнуйтесь. А Герберт понемногу выздоравливает. Просто он тревожится за вас. Мы все хотим, чтобы вы скорее выздоровели.

— А можно выздороветь? — с надеждой и тревогой спросил Таланов. — Виктор, дай мне энергин, я хочу оглядеться вокруг, сообразить, как и что. И на Герберта посмотреть хочу.

«Вот как раз поэтому я и не дам тебе энергин», — подумал Виктор.

— Я убедился, что энергин затягивает и осложняет течение болезни, — мягко сказал он. — Лучше потерпеть. Поешьте, и я опять включу аппарат электро-сна. Вам полезно побольше спать.

— Хорошо, тебе видней, — покорно и устало согласился Таланов, и у Виктора защемило сердце: вот таким Таланов будет завтра. — Ты молодец, Витя. Я рад, что взял тебя в полет. Хотя — глупости: чему тут радоваться... А Владислав? А Казик? — вдруг тревожно спросил он. — Что с ними?

— Они вполне здоровы, — уверенно сказал Виктор, радуясь, что на этот раз не нужно лгать.

Таланов сел и закрыл глаза.

— Я все перепутал, должно быть, — тихо проговорил он. — Давно я болен?

— Со вчерашнего дня. Вторые сутки.

— А... эти, под землей? К ним больше не ездили?

— Ездили Казимир и Владислав. Привезли книгу. «Линг» ее читает, потом будем читать мы. Там все объясняется насчет глегов. Глеги — это вирусы. Они и вызывают эту болезнь.

— Так... значит, от них и прячутся... — пробормотал Таланов. — Я бы лучше заснул, Витя, а то уж очень противно себя чувствую.

* * *

— Значит, они сами это и придумали? Сами напустили на себя глегов, от которых спрятались под землю? Ловкачи! — сказал Владислав.

— Да, вывели глегов в своих чертовых лабораториях, кормили их, воспитывали, обучали, что им делать в организме, куда селиться. Думали, что договорились с глегами, — выпустили духа из бутылки!

— Ну а прививки? Он же пишет, что прививки были сделаны!

— Читай дальше. Вначале все шло так, как им хотелось. Появилась армия рабов-автоматов. Они немного медленней работали и немного меньше жили, но зато

были неприхотливы, идеально послушны. Никогда не возмущались, не удивлялись, не говорили, что им тяжело, а работали до упаду. Им не нужны были ни развлечения, ни природа, ни любовь. Идеал раба! Нет, Владек, не подходи ближе! И не снимай маску! Ты видел Инни? Знаешь, чем это пахнет? Мы все зависим от тебя!

— Ну хорошо, говори. Тут длинное описание болезни. Я и без них уже знаю достаточно. Это Виктор пускай поинтересуется деталями. Читай вслух.

— Сейчас. Нет, у нас с «Лингом» получилась дикая каша. Я уж лучше буду пересказывать. Ну вот. Глеги на свободе расплодились, одичали и перестали обращать внимание на прививки. То есть это они пишат в таком духе, а дело, наверное, в том, что прививка давала гораздо более короткий иммунитет, чем они рассчитывали. Поэтому правители и разделились так зверски с учеными, которые вывели для них глегов.

— Как? Подожди, я этого не дочитал!

— Ты пропустил письмо старика. Он рассказывает, как появилась эта книга — подпольная книга, запрещенная правительством. Всех ученых, работавших над глегами, посадили в герметически закрытую камеру, пустили туда убийственную порцию глегов и держали там часа три-четыре, пока они не начали задыхаться от недостатка воздуха. Они не знали, в чем дело, думали, что их хотят удушить, стучали в двери. А их выпустили. Все они стали глеганни — так называют таких, как Инни. И их заставили выполнять обязанности простых прислужников у правителей. Они ведь совершенно утратили способность сопротивляться чужой воле. А понимают и помнят они всё. Правда, они потеряли и способность горевать, но все же...

— Ох черт! — сказал Владислав.

— Так вот, книгу написал один из них. Ученые — другие, не из этой обреченной группы — выкрали его, объявили погибшим, изменили его внешность, спрятали. И заставили писать эту книгу. Он всю историю хорошо знал и помнил.

— Ну, знаешь! — Владислав покачал головой. — Значит, действительно эмоции у него начисто исчезли. Я бы никогда не подумал, что все это касается лично его... Не могу сказать, чтоб я его особенно жалел: он как-никак активно участвовал в гнуснейшем злодеянии правительства против народа. Но думать о нем

жутко. Как он сидит с переиначенным лицом заперти и пишет, все помня и не умея даже заплакать о себе и о других — о тех, кого он погубил. А он ведь многих погубил, превратил в рабов, а остальных загнал в подземелья, лишил солнца и воздуха, подверг непрерывной пытке страхом.

— Это все верно, — сказал Казимир. — Только я думаю и о другой стороне вопроса. Тебе не кажется, что они — ну, все они: и народ, и ученые, и правители — слишком уж испугались? Что под землю их загнали не так глеги, как собственные их страхи? Они сдались без боя.

— А может, правителям было выгодно, чтоб люди боялись? Может, правители нарочно загнали народ под землю, чтоб выбить из него мысль о восстании? Ведь тут пишется, что вначале были бунты, что нападали даже на правительственный дворец, требуя, чтоб прекратили всю эту гнусную затею с глегами.

— Да, и это, наверное, было. Но все-таки можно было бороться. Ведь у них были силы, была разветвленная тайная организация, ты же читал. Поэтому правители и торопились с глегами, не дали ученым проверить на практике, каков срок иммунитета от прививки: они знали, что вот-вот начнется революция. Так как же народ... Э, что там говорить! Давай читать дальше.

Некоторое время они молча читали. Потом Владислав сказал:

— Послушай, Казик, мне пришла в голову одна любопытная мысль. Под землю к ним глеги не проникают, новых заболеваний нет. Где же они живут, эти глеги? Насколько я знаю, вирусы не могут жить вне чужого организма: они ведь паразиты. А в книге написано: когда уходили под землю, то истребили всех животных и птиц, чтоб уничтожить резервуар для глегов. Это был строжайший приказ, верно?

— Да... — Казимир задумался. — Мне это не приходило в голову. Постой! А тот зверек, который порвал скафандр Карела? Они ведь знают, кто это. Даже называли его — сунними, помнишь? — книгу просматривал наспех, только заполнял пробелы, оставленные «Лингом». Не помню, где я вставил это слово — «сунними». И даже не один раз. — Он начал листать книгу. — Ага! Вот!.. Ну, это довольно странно. Послушай: «Но любимая жена верховного правителя...» У них

многоженство, что ли? Так вот, эта любимая жена проплакала всю ночь, прижимая к себе своего любимого сунними. Значит, это вроде кота — домашний зверек. Ну и потом этот сунними куда-то исчез, а она заявила, что он сбежал. Потом исчезли еще два-три сунними. Когда все ушли в подземелье, то вначале думали, что это максимум на неделю-две. А потом оказалось, что глеги все живут да живут. Где? В сунними. Сунними устроились в пустых домах, одичали, начали плодиться. Питаются они насекомыми и растительной пищей, так что голод им не грозит. Глеги им такого вреда не причиняют, как людям, болезнь у них протекает легко и особых последствий не имеет. Но они поддерживают глегов, не дают им погибнуть. На сунними выходили охотиться, но они быстро привыкли бояться людей и очень ловко прячутся. Ведь надо же было Карелу поймать этого сунними!.. И как только ему удалось это! Они вообще умные и чуткие. А странным мне кажется то, что вот так-таки взяли и выпустили этих сунними. Ведь всюду были караулы, дозоры, санитарные кордоны... Кто и зачем протаскивал сунними сквозь все посты и кордоны? Они ведь не такие уж маленькие, под одеждой их не скроешь...

— Так что же ты думаешь?

— Думаю, что это очередной подлый трюк правителей. Они решили подольше подержать людей под землей. Для этого и понадобилась сентиментальная легенда о любимой жене и любимом сунними.

— Возможно... — протянул Владислав. — Вполне возможно.

— Ну, давай почитаем еще немножко, и я отнесу то, что прочитано, Виктору... Вот, кстати, о возможности бороться. Ты посмотрел бы, как Виктор здорово держится среди больных, сам больной, хорошо понимая, что его ждет. Думаешь, ему не так страшно и не так жалко себя, как этим, здешним? Как бы не так! А ведь у них наверняка было больше возможностей защищаться. Они трусили, это ясно. И сами себя предали. А теперь кричат нам, чужим: спасите нас от своих! Конечно, мы постараемся им помочь, но досада разбирает, клянусь честью!

Через четверть часа Казимир вскочил.

— Пойду! Беспокоюсь за Виктора, как он там...

— Подожди еще минутку. Послушай, они ведь совсем неплохо жили раньше, пока началась эта исто-

рия с глегами. Довольно высокий уровень жизни, правда?

— Да. За счет очень развитой биохимии. Тут они Землю обогнали, насколько я могу судить. Ну, например, они сейчас довольно легко обходятся без естественной пищи, если не считать злаков, заготовленных впрок. И, кстати, делается это не по прямой необходимости, а, по-видимому, тоже входит в расчеты правителей: держать народ в полной зависимости, по своему усмотрению регулировать все снабжение. Ведь они могли бы продолжать возделывать поля и огороды, у них масса этих глеганн, и глеганни не нуждаются в надсмотрщиках: дашь задание, и они его выполняют. Могли бы рыбу ловить, она не заражена вирусами. Дезинфекционные камеры у них есть, глеганни ходят в город, приносят книги, химические препараты и прочее... Вообще-то что за жизнь, Владек! Ни воли, ни радости — ничего, кроме страха и тоски. И потом, они ведь разоряют государство. Все заброшено: и промышленность, и сельское хозяйство. Народ живет в неестественных условиях, болеет, будет вырождаться: можешь себе представить судьбу детей, родившихся под землей. Потом масса мужчин, причем в самом цветущем возрасте, выключена из жизни.

— Почему? — удивился Владислав. — Разве вирусы передаются по наследству?

— Нет, конечно. Но ведь у глеганни не может быть наследства, у них атрофирован инстинкт размножения. Как и инстинкт самосохранения, впрочем. Они не испытывают ни страха, ни желания, ни голода, ни жажды. Их ничто не предостерегает от гибели... Подожди-ка!.. Ну конечно, и боли они не испытывают. Им можно делать любые операции без наркоза, они и глазом не моргнут. Но они могут сгореть живьем, утонуть, умереть с голоду, если за ними не присматривать. Да, кстати! Инни пора покормить, а я не знаю, чем они питаются. Если не найдем в этой книге ничего, надо будет посмотреть то, что мы захватили по дороге в библиотеке.

— А если экспериментальным путем?

— Я сначала тоже так думал. Но ведь он съест все, что ему дать, а потом может заболеть. Кто их знает, какие у них отличия в организме и какие привычки.

Владислав посмотрел на птичье лицо Инни, безмолвно сидевшего у двери в слишком просторном для него комбинезоне Герберта и туфлях с острыми, слегка загнутыми вверх носками: обуви впору ему не нашлось, и Казимир, тщательно продезинфицировав эти туфли, оставил их Инни. Странное существо сидело, опустив руки и глядя перед собой ничего не выражающим взором.

— Мне, признаться, жутко на него смотреть, Казик.

— Конечно. Только я тебе скажу: на Герберта — гораздо страшней, должно быть. Ведь это наш Герберт! А Виктор все время с ним и знает, что его самого ждет то же.

— Да. Подумать только, что Таланов сомневался, брать ли Виктора в полет.

— Это понятно, Таланов привык летать с Вендтом. А Вендт в этих условиях не выдержал бы, это я тебе точно говорю. Это уже не тот Вендт, о котором писали все газеты, когда мы с тобой были зелеными юнцами. Ему сорок шесть лет, а для астронавта с таким стажем и с такой биографией это уже старость.

— Значит, нам с тобой все равно остается лет пятнадцать жизни, не больше? — заинтересовался Казимир. — Грустно.

— Ну, Вендт летает уже четверть века. А ты впервые отправился в дальний рейс, и тебе всего двадцать восемь лет. Что ты хнычешь заранее? Ты, может, и летать больше не захочешь после милого знакомства с глегами.

— Лишь бы не познакомиться с ними слишком близко! А вообще хотелось бы вернуться сюда и устроить веселую жизнь этим подземным жителям...

— Мне вот что пришло в голову, — сказал Владислав. — Неужели у них на всей планете одно государство, одно правительство? Правда, планета их гораздо меньше, чем Земля, но все же? И что делается в других городах и селениях?

Казимир начал листать книгу.

— Кажется, этот ученый-глеганин записал только то, что происходило у них... Нет, что-то есть... Подожди, я тут не понимаю... очень туманно написано. Много собственных имен и слов, которых я не встречал и «Лингу» не дал. Похоже, что есть другое государство... Знаешь, я попробую спросить Инни.

Он сел рядом с Инни; тот не пошевелился. Казимир написал вопрос на листке бумаги, дал листок Инни и жестом приказал читать. Инни довольно быстро прочел и щебечущим тихим говором начал отвечать. Казимир жестом остановил его и дал карандаш, показав на бумагу. Инни покорно начал писать. Владислав следил за этой перепиской, ощущая тупую тоску.

— Нет, это черт знает что! — закричал вскоре Казимир. — Эти правители сами хуже всяких глегов! Ты только послушай, что они натворили! Вернись и собственноручно всех их перестреляю, даю слово!

— Не давай слова, — усмехнулся Владислав. — Наше дело — уничтожить глегов, а в остальном здешние жители сами разберутся, будь уверен. У нас на Земле бывали и похуже вещи, а люди все же разобрались во всем, хоть и дорогой ценой.

— Это ты об атомной эре говоришь?

— Не только. Всякое бывало на Земле.

— Верно. И все-таки здесь черт знает что. Эти правители, когда уходили под землю, заявили, что боятся нападения другой державы. И выслали туда глегов... Ну, что-то вроде бактериологических бомб сбросили. А там — ни прививок, ни подземных убежищ, никакой защиты. Представляешь? Инни не знает, что с ними случилось. Наверное, все превратились в глеганни и тихонько умирают, без всякой помощи и защиты. Они ведь беспомощней, чем дети.

— Ох, дьявол! — с ужасом сказал Владислав. — Вот теперь и у меня такое ощущение, что мы бросаем их на произвол судьбы...

— Вот видишь...

— Нет, все равно ощущение глупое. Ну, что мы можем сделать?.. Послушай, Казик, а у них что же, связь между городами и странами совсем прервана? Хотя да, радио они пользоваться под землей не могут... Ну а телефон, телеграф, другие какие-нибудь средства связи у них были? Спроси Инни!

— Инни не все знает, — сказал Казимир, окончив переписку с Инни. — То есть у него образование было вообще не бог весть какое, по-видимому, а с тех пор, как он стал глеганни, он застыл на прежнем уровне и ничем окружающим не интересуется. В общем, что-то вроде телефона, даже видеотелефона, у них было, насчет телеграфа я не понял или он меня не понял. Но под землей ничего этого нет.

— Это правители нарочно так устроили,— уверенно сказал Владислав.

— Возможно. Так или иначе, они мало что знают теперь о своей планете, даже о своем государстве. Этот город — столица, как мы и думали: под ним были древние подземные ходы и жилища; подземный город спешно расширили и перевели туда тех, кого удалось вовремя изолировать от инфекции. Ну и тех, кто уже переболел. Потом сюда прибыли жители ближних городов, прошли карантин, дезинфекцию...

— Неужели они не пытались узнать, что творится в других местах? Я просто не понимаю, как же так...

— А черт их знает, как действительно! — сердито сказал Казимир и снова начал переписываться с Инни. — Ну, может, ученые не так виноваты, как ты думаешь. Инни говорит, что в горах за большой рекой живут какие-то люди, возможно, даже из этой страны. Но они никого к себе не пускают — очевидно, тоже боятся глегов. Убивают каждого, кто проникнет на их территорию. Группа ученых из столицы выкрала скафандры и отправилась туда, в горы. Многие из них там погибли, другие вынуждены были вернуться. А тут их... ну, превратили в глеганни. Больше никто не решался на такие дела... — Казимир вздохнул и начал медленно перелистывать книгу.

— А они за семь лет так и не научились бороться с этими своими глегами? — помолчав, спросил Владислав.

— Выходит, что нет. Та группа микробиологов, которая создала глегов, сразу вышла из строя, как я тебе говорил. А к тому же работы эти не только не финансируются правительством, но, по сути, и запрещены. Для виду что-то делается в этом направлении, но крайне мало. Это и в книге написано, и Инни подтвердил, что правители не хотят трогать глегов... — Казимир провел рукой по глазам, будто смахивая невидимую паутину.

— А что я говорил? — сказал Владислав. — Тут действительно не поймешь, против кого раньше бороться: против глегов или против правителей.

— Черт знает что,— тихо проговорил Казимир после долгого молчания. — Ведь как-никак эти самые правители... Они тоже люди... Ну, как все, правда? Самим-то им каково в темноте, под землей? Семь лет, а?

— Что ты о них вдруг забеспокоился? — Вла-

дислав усмехнулся.— Они уж наверняка устроились получше, чем все другие. И света и простора у них побольше, это уж точно...

— Больше или меньше, а не на воле, без солнца и воздуха... И все-таки сидят там и других держат.

— Значит, боятся своего народа больше, чем жизни в подземелье. Думали, что в темноте легче задушить все живые силы... Да, пожалуй, наши собеседники правы: без помощи им плохо придется. Надо скорей возвращаться.

Казимир молчал и смотрел куда-то в сторону.

— Владек, тебе долго готовиться к старту? — спросил он потом.

— Нет, могу вылетать хоть завтра. Только расчеты надо сделать — Карел не успел...

— Нам ведь нечего теперь задерживаться... Надо бы поскорей, — сказал Казимир, поднимаясь. — Ну, я пойду к Виктору.

— Ты не расстраивайся чересчур, — посоветовал Владислав. — Смотри, ты даже в лице переменился... — Он вдруг запнулся. — А ты здоров, Казик?

Казимир ответил не сразу.

— Боюсь, что... Все равно мне надо идти к Виктору.

— Я тебя провожу. — Владислав встал и двинулся к нему.

Казимир вскочил, отбежал к двери. Он был бледен, глаза его казались почти черными от расширившихся зрачков.

— Не подходи! — крикнул он. — Ты с ума сошел! Все на тебе держится!

— Ладно, я пойду следом. Иди.

Они шли по коридору, и Владислав видел, что походка друга становится все более неуверенной и шаткой. Немного не дойдя до медицинского отсека, Казимир пошатнулся и оперся о стенку. Он сейчас же обернулся к Владиславу.

— Не смей! Не подходи! — закричал он. — Я сам доберусь! Иди назад! Ты заразишься! Назад!

Владислав видел, что он не открывает глаз и судорожно цепляется за стенку. Белая марлевая повязка трепетала от крика и втягивалась в рот, мешая говорить.

— Я не подойду, успокойся, — сказал Владислав. — Но стань лицом к стене, если ты уж так боишься

за меня. Я пробегу и вызову Виктора, чтоб он тебя довел.

— Виктору еще тяжелее, — уже спокойней сказал Казимир и, болезненно морщась, открыл глаза. — Уходи. Пойми, что тебе нельзя болеть.

— Ты, кстати, преувеличиваешь. Почему так уж нельзя? Вот рассчитаю орбиту, стартуем — и можно будет перевести ракету целиком на автоматическое управление. Это Виктору нельзя, а не мне.

— Виктор все равно болен, — пробормотал Казимир и с усилием пошел, цепляясь за стенку. — Ах, черт, все двигается и расплывается. Слушай, я правильно иду?

— Правильно. Да ты держись стенки.

— Мне все кажется, что я прохожу сквозь стену. Или она сквозь меня.

— Поворачивай направо. Тут уж близко.

Казимир долго топтался у поворота, крича: «Не подходи!» Наконец, сделав отчаянное усилие, шагнул вправо. Дверь медицинского отсека приоткрылась. Виктор поглядел на Казимира, молча подошел к нему, обнял. Владислав поразился, как страшно изменилось лицо Виктора за эти два-три дня: синевато-бледное, осунувшееся, с глубоко запавшими усталыми глазами, оно уже не казалось юношеским и светлым. Виктор заметил Владислава и вздохнул.

— Тебе не надо было сюда идти, — тихо сказал он. — Но раз уж пришел, подожди. Я сейчас вернусь.

Виктор вскоре вернулся, закрыл за собой дверь медицинского отсека и прислонился к ней спиной. Он тоже надел марлевую маску.

— Надо поскорее стартовать, — без всяких предисловий сказал он.

— Завтра. Раньше не успею сделать расчеты.

— Ладно... Если почувствуешь себя плохо, немедленно иди ко мне. И забирай этого... Инни.

— Мне нельзя болеть. Кто же рассчитает орбиту?

— Если начнется болезнь, ты уже не сможешь докончить расчеты. Не будешь видеть.

— И что же тогда?

— Подождем до завтра... Завтра, я думаю, Таланов уже сможет это сделать... если ему приказать...

В голосе Виктора звучала горечь. Владислав похлодел и стиснул зубы. «Таланов... герой космоса... я его

портрет еще в школе повесил над своим столом. Таланов — глгганни...»

— А ты? — спросил он с трудом.

— Я... ну что ж, я постараюсь продержаться, пока... Видишь ли, нам с тобой придется подготовить анабиоз... для всех, кроме тебя, если ты будешь здоров, и меня. Иначе нам не справиться, они погибнут.

— Тебе тоже надо... анабиоз... — с трудом проговорил Владислав.

— Одному тебе будет слишком тяжело... с этим Инни. Правда, можно научить его разговаривать и понимать, хотя без Казимира это будет труднее.

— Я справлюсь один, не беспокойся.

— А если ты заболеешь после старта?

Владиславу стало страшно. Он представил себе, как останется один с молчаливым, ко всему на свете равнодушным существом из другого мира. Как заболевает и сначала будет мучиться, хорошо зная, что его ждет, а потом станет таким же равнодушным, полумертвым и беззащитным... И никого рядом, кроме такого же ходячего мертвеца... на долгие месяцы... И все будешь понимать, все видеть... «Нет, я не выдержу! Лучше умереть!.. Да, но умереть нельзя, тебе нельзя. Ты должен раньше вывести ракету на орбиту. По крайней мере. А потом...»

— Ты же все равно болен, — сквозь зубы сказал он, с отчаянием глядя на Виктора.

— У меня более легкая форма. Может быть, и последствия будут не такими... Как у других. И потому я врач, Владек. Я должен держаться.

Он поднял голову. Владислав поглядел в его серые, ясные, смертельно усталые глаза — и замолчал. Судорога перехватила ему горло.

— Я все сделаю, как ты сказал, Виктор, — проговорил он наконец. — Мы с тобой вместе все сделаем... — Он помолчал и добавил: — Если нам доведется еще летать, я бы хотел всегда отправляться в космос с тобой.

— Спасибо, Владек, — тихо ответил Виктор. — Мы еще летаем, правда?

Они стояли и глядели друг на друга. Марлевые маски почти целиком скрывали их лица; одни глаза жили на этом белом мертвенном фоне. Глаза видели и понимали все.

1. Вероятный пролог

Студент третьего курса физмата Оксиген Аш стал Правителем случайно и совершенно неожиданно для себя. В один из летних дней, прокаленных белым солнцем и оглушенных звоном ситар, Оксиген получил третий неуд по теории вероятности и был поставлен перед проблемой выбора дальнейшего пути. Университетские двери закрылись за ним навсегда, и несостоявшийся математик оказался лицом к лицу со своей судьбой. Ничто не предвещало ее величия, а потому Окси набил полные карманы узкими синими яблоками-скороспелками в маленьком садике и вышел через ворота на центральную площадь столицы.

Площадь, обычно пустынная в полуденный час, на этот раз была многолюдна. Планета Свира переживала очередные беспорядки, и все, кого не обременяли неотложные труды, принимали в них деятельное участие. У бочек с красным силайским пивом толпились мужчины, обвешанные оружием. Женщины в белых косынках медсестер предпочитали ледяной сливочный коктейль с мятными хлебцами. По мостовой в разные стороны проносились бронетранспортеры с повстанцами и служителями порядка. Мальчики-лотошники сновали среди прохожих, предлагая террористам и чиновникам новейшие образцы бесшумных пистолетов и пуленепробиваемых жилетов. Голубые девицы из Уличного страхования жизни бойко заключали блиц-договоры. Кто-то где-то стрелял, кто-то кого-то ругал, кто-то за кем-то гнался, кто-то что-то провозглашал — все это было красочно, захватывающе и волновало безотказно, как скачки на горбатых козлах.

Но Оксиген шел среди толпы задумчивый и печальный. Исключение из университета было для него тяжелой обидой. Ведь он совсем не был глуп — не глупей других, во всяком случае, но ему отчаянно претила теория. Он чудесно обходился без нее. Он любил яблоки, не испытывая потребности узнать, как и зачем они растут. Он любил мастерить забавные штучки из разнородных деталей, но никогда не ведал наперед, что у него получится. Историки назовут это качество духовным аскетизмом гения. Преподавателям оно казалось ограниченностью.

Меланхолично жуя яблоко, Окси дошел до Дворца Свободы. Под полуразрушенной аркой главного входа застрял танк, и полицейские гвардейцы вместе с повстанцами пытались его вытащить. Аш поглазел на дружную, но бесплодную работу и от нечего делать вошел в правительственный сад. Парк был весь изрыт окопами и затянут маскировочными сетями, из кустов ежевики торчали стволы скорострельных орудий. Представители враждующих сторон дремали на боевых постах. Два пулеметчика лениво ругались из-за места под деревом: оба были толстые, оба обливались потом и оба в равной мере не хотели занимать позицию на солнцепеке. Наконец к правому легионеру подошли двое и выбросили пулемет левого экстремиста на самое пекло. Экстремист бросил свое грозное имущество и убежал за подмогой.

В саду пахло бензиновой гарью, порохом и потом, и Оксиген Аш беспрепятственно прошел мимо двух охранников в приемный зал к Великому Кормчему Свиры.

Здесь было прохладнее и спокойнее. Работал буфет, музыкальный автомат наигрывал медленную шору, отравители-профессионалы пили шипучий билу со льдом и делились вполголоса новыми рецептами.

Несколько террористов упражнялись в стрельбе, отбивая носы у мраморных бюстов в нишах. Треск выстрелов раздражал, на террористов время от времени шикали из буфета.

На Аша никто не обращал внимания. Студенческая шапочка была достаточно высоким пропуском во всех партиях. Даже когда он заглянул в секретный блок-кабинет Кормчего, ему крикнули только, чтобы он прикрыл за собой дверь и не устраивал сквозняка. Сквозняка боялись все, невзирая на партийную принадлежность.

В кабинете Верховного правителя не было ни души, и это обрадовало Оксигена. Ему хотелось посидеть одному, наедине со своими невеселыми думами. И поскольку другой мебели в кабинете не было, Окси направился к единственному креслу — Великому Креслу, запятнанному кровью десятков Правителей, продырявленному сотнями пуль, обугленному огнеметами и лезерами, забрызганному всевозможными ядами и кислотами.

Он сел в кресло, не ведая, что творит, и вой сирен, включенных датчиками от сиденья, уведомил планету Свира о приходе нового диктатора. У дверей мгновенно выросла охрана из полицейских гвардейцев. В приемном зале закипела перестрелка между legionерами и повстанцами. В саду заухали орудия. Вынужденное перемирие кончилось. Началась борьба за власть.

Конечно, Окси мог немедленно встать и сразу выйти из игры. Но такова гипнотическая сила Великого Кресла — сев однажды, человек не покинет его добровольно. Напрасно инстинкт самосохранения и здравый разум будут гнать его прочь, домой, к маме — он готов жертвовать собой и миллионами других, лишь бы сидеть, сидеть, сидеть и чувствовать, как натруженная в поклонах спина отдыхает, приобретает холодную прямизну спинки кресла, на которую опирается.

Первую минуту Оксиген Аш усидел с перепугу — он был уверен, что его схватят и накажут за необдуманный поступок, вызвавший такой бедлам. Мало-помалу до него дошло, что, сидя в Великом Кресле, он сам может наказать кого угодно. Для пробы он приказал высечь всенародно университетского математика, поставившего ему неуд. Правда, он забыл назвать свой университет, а потому все математики всех университетов Свиры были через час нещадно биты розгами на городских площадях.

Первую неделю Аш продержался благодаря обилию соперничавших групп на Свире и жестокой конкуренции между ними — каждая боролась за возможность укокошить диктатора и поднять свой авторитет. Они торопились и мешали друг другу. Трое злоумышленников заложили под Дворец Свободы термитную бомбу. Все трое оказались некурящими, а прохожих не было видно. В это время во Дворце шла церемония вручения Верховной памятной зажигалки. В зажигалку была вмонтирована адская машина. Верховный принял дар

и уже поднес его к сигарете, собираясь опробовать, когда террорист-одиночка с крыши соседнего дома выстрелил ему в голову. Пуля выбила зажигалку из рук Верховного, стоящего у окна, и коварный дар упал прямо к ногам некурящих злоумышленников. Злоумышленники возликовали и через минуту взорвались. Термитную бомбу нашли мальчишки и заложили ее под старый фургон, в котором скрывалась ракетная установка, нацеленная на броневедомитель Правительства. В итоге этого дня Оксиген только поранил себе пальцы. Бинты спасли его на следующий день при подписании какой-то декларации, страницы которой были пропитаны ядом, действующим через кожу. Яд впитался в бинты, и личный доктор Правительства, делая перевязку, умер в страшных муках, так и не успев сделать своему высокому пациенту укол цианистого калия под видом антибиотика.

Словом, к исходу первой недели своего правления Оксиген Аш почувствовал некоторую усталость и желание разделить бремя власти. Он объявил о создании правящей Партии Особо Преданных Правителю. К его великому удивлению, на призыв откликнулись весьма охотно. Ряды бунтарей заметно поредели — многие явно и тайно спешили приобщиться к партии. В партиях начался раскол. Повстанцы махнули рукой на Правителя и стали охотиться друг за другом. Теперь стрельба гремела по всей Свири, а в правительственном саду мирно паслись ручные силайские козы с кудрявой розовой шерстью.

В пятницу в скромном бронированном туалете Оксиген Аш нашел клочок мягкой бумаги с кривыми строчками: «Дорогой Окси! Ты имеешь крепкий лоб, и мы имеем выгоду с тобой дружить. Твой процент — кресло с высокой спинкой, общий восторг и долгая жизнь. Мы тихие люди и не переносим шума. Проницательные». У бумаги был странный запах — то ли чернука, то ли иприта.

Прошла медленная секунда. Никто никогда не узнает, какие великие мысли пронеслись в эту секунду в голове Верховного.

Он аккуратно свернул клочок и положил в тайный карман, где еще полмесяца назад носил шпаргалки.

Конец второй недели Оксиген Аш ознаменовал указом, потрясшим всю Свиру. Он протянул братскую руку мира своим противникам. Человек по натуре отходчивый, он собрал остатки оппозиционных партий в еди-

ный Прайд Исключительно Преданных Правителю. На такой шаг еще не отваживался ни один из многочисленных предтеч Аша.

Перед Дворцом Свободы собралась ликующая толпа. Женщины и мужчины, старики и дети размахивали свежими выпусками газет и скандировали: «Аш наш! Аш наш! Аш наш!» Полицейские гвардейцы, привычно сомкнув защитное кольцо вокруг главных ворот, пыхтели и всхлипывали от желания присоединиться к напирающей массе.

Какой-то верзила, оседлав крестовину фонарного столба, завопил: «Отец родной! Аш — наш отец родной!» И когда толпа смолкла нестройно, и уже набрали побольше воздуха груди, чтобы грянул новый клич, снизу пискнуло невидимое: «Врешь, рыжая скотина! Отец отцов! Великий Кормчий!»

«Кормчий!!!» — взревела толпа, и это было имя высшей судьбы...

К началу четвертой недели с беспорядками было покончено. Двухпартийная система, осененная благосклонной мудростью и волей Кормчего, стала прочной основой и гарантией всеобщего счастья и довольства. А столь необходимые и дорогие мятежным сердцам свирян «пики» с успехом заменили ежегодные многодневные карнавалы, где разрешалось использовать не только шутихи и устраивать не только фейерверки. Свободная торговля оружием и боевым снаряжением, вплоть до гаубиц и реактивных минометов во время карнавалов, помогала не только развеяться после годичных трудов, но и разрешать походя всякие мелкие бытовые проблемы. Полицейские гвардейцы следили только, чтобы стволы смотрели в сторону, противоположную Дворцу Кормчего.

Но Оксиген Аш не стал бы настоящим Правителем, если бы остановился на достигнутом. Он постепенно освободил свой народ от тяжкого ярма принятия решений — он все решал самолично, оставив другим радостную обязанность претворять эти решения в жизнь.

Правда, некоторые утверждают, что он по-прежнему получал таинственные советы на мягкой бумаге — доподлинно ничего не известно: истина скрыта бронированной дверью и электронным запором черного туалета.

Зато доподлинно известно, что уже в первом своем основополагающем труде «Указания по палеонтологии, психологии и филологии» Кормчий провозгласил, что

проницательность во время Всеобщего Благоденствия является фикцией, а проницательные люди — фиктивными людьми, в связи с чем необходимо вышеназванное слово из языка свирян изъять, а самих проницательных — ликвидировать. Партия особо преданных занялась явными проницательными, Прайд исключительно преданных взял на себя выявление и уничтожение скрытых. По требованию общественности день публикации «Указаний» был объявлен Днем Спасения.

Зримой гарантией вечного процветания Свиры стали «Указания по руководству, производству и растениеводству», где Правительство установил законы новой экономики. Он доказал, что причиной всех прошлых бед планеты был чернук. Его выращивание приравнивалось отныне к экономической диверсии, а употребление в пищу каралось конфискацией имущества и ссылкой в изгнание. Не сразу осознали свиряне гениальную простоту и мудрость этого. Потребовалась долгая и упорная борьба с общественным пороком и его носителями. Тысячи штатных и добровольных «нюхачей» работали до воспаления носоглотки, эшелоны со ссыльными один за другим уходили в Силай. Но поддержка всех здравомыслящих патриотов обеспечила Правителью победу. Воздух Свиры был очищен от скверны, а желудки свирян — от коварного яда.

Свыше двухсот фундаментальных трудов создал Кормчий в считанные годы. Этой титанической работой он заложил краеугольные камни всеобщего процветания и спокойствия. Конечно, такая работа требовала издержек, ломки старых, отживших понятий, нейтрализации и ликвидации вредителей, угрожающих общественному здоровью. Но цель оправдывала средства. В поэтичных, полных философских откровений «Указаниях по нужным чувствам и полезным искусствам» Кормчий писал: «Чтобы иметь, надо сначала не иметь». Народ Свиры получил, что хотел. Он понял, что Правителью можно доверять, и доверился ему.

И все-таки Кормчий окончательно осчастливил Свиру только на десятом году своего служения согражданам. Именно тогда было начато строительство Стального Кокона, который должен был навеки упрятать всю планету в броневую скорлупу. Строительство Стального Кокона тянулось двадцать лет, и получился он с изрядными пропехами.

Но и здесь цель оправдала средства — духовному

здоровью свирян теперь не грозили никакие залетные инфекции. Отделенные от внешнего мира спасительной скорлупой, они могли теперь процветать без помех.

Шли годы. Космос вокруг обживался. Далекая Земля слала своим поселенцам тяжелые транспорты и материнские наставления. Строительные отряды буравили пустоту, соединяя окрестные планеты невидимыми туннелями автоматических трасс. Очеловеченные миры словно протягивали друг другу руки, чтобы вместе противостоять убийственному равнодушию космического пространства.

Но ни один транспорт не всплывал из минус-времени около планеты, опутанной стальной паутиной, ни одного отъезда не получали гостевые шлюпы, приглашающие соседей на новоселье, ни одному скитальцу, терпящему бедствие, не распахнула своего неба Свира.

И вот уже полтора столетия лет из-под Стального Кокона радио доносит только гимны радости...

2. Директивная часть

— Занятно, крайне занятно.— Инспектор с нежностью погладил свежесбриту щеку.— Но кто же сейчас правит Свирой?

— Великий Кормчий.

— Простите... Полтора столетия... Двадцать... Десять... Да еще лет двадцать, не меньше... Что-то около двухсот получается. Сколько же лет Правителю?

— Двести четыре с хвостиком.

— Ах, вот как...

Инспектор Службы Безопасности 8-й Галактической Зоны Иннокентий Шанин искренне старался заинтересоваться разговором, но мысли его, вопреки желанию, убегали прочь — туда, к трем бессонным неделям погоны за контейнерами с активированным лютием, которые разлетелись по всей Зоне после странной аварии грузового поезда. Шанин уже много раз ставил перед МСК¹ вопрос о запрещении провоза лютения через его Зону. Ему обещали и ничего не делали. И вот результат... Все контейнеры удалось своевременно выловить. А что было бы, попади один такой ящик в гравита-

¹ МСК — Международный Совет Космонавтики.

ционное поле любой из окрестных звезд?! Грузовая трасса в его Зоне — легкомыслие на грани преступления.

— Вы не слушаете, Инспектор?

— Слушаю, товарищ Главный. Но я не понимаю, при чем тут я. Свира не входит в нашу Зону, никаких сведений о возможных контактах с ними у меня нет, я вообще ни одного свирянина в глаза не видел...

— Увидите. Мы в Координационном центре обсуждали много кандидатур, но выбор пал на вас. Это, Инспектор, директива, а не просьба.

— Выбор? Директива?

— Именно так.

— Какой выбор и на что директива? Я битый час слушаю, но до меня никак не доходит, в чем дело. Что случилось на Свире?

— В том-то и дело, что ничего не случилось. За последние сто пятьдесят лет на Свире не случилось ничего существенного. Доходит или еще нет?

— Нет.

Главный сердито фыркнул. В разговор вступил незнакомый.

— Простите, товарищ Главный, но Инспектор Шанин имеет право на подобные вопросы. Ситуация, прямо скажем, необычная, и мне хотелось бы, чтобы все уяснили ее исключительность...

— Арнольд Тесман, директор сектора социальных проблем СДН¹, — представил Главный своего спутника.

Шанин присмотрелся к высокому гостю внимательно. Тесман ему понравился: немолод, но спортивен, лицо моряка, глаза упрямые и добрые, с легкой вызывающей смешинкой. С таким можно договориться, отвертеться от неожиданной и непонятной директивы — разве мало у каждого своих забот, своих проблем, ждущих немедленного решения? А Главный тоже хорош: мало того, что приберегает для своего помощника самые головоломные задания — так теперь решил, видно, сдавать его в аренду в другие ведомства...

— Послушайте, товарищ Тесман, у меня есть контрпредложение. Давайте пока оставим Свиру. Жила она в своем Коконе полтора года лет — потерпит еще пару

¹ Союз Дружественных Наций — международная организация, заменившая ООН после перехода большинства государств Земли и внепланетных поселений на социалистический путь развития.

месяцев. А вы поживите у нас. Вы скандинав, судя по всему. Для акклиматизации могу предложить Ибсен-2 или Григ-8.

— Спасибо за приглашение, но...

— Нет-нет, подождите. Не отказывайтесь сразу. Ведь наша Зона — уникальный уголок. Звездный Мон-мартр, так сказать. Основное население — художники, музыканты, писатели, поэты, скульпторы, представители бесчисленных новаторов. Живут в буквальном смысле в атмосфере своих творений, на земле своих предтеч и кумиров. Несколько миллионов профессионалов, остальные любители. На любой планете — полная свобода творческой фантазии... Ничего от вас не требую и не берусь ничего доказывать. Просто полетим вместе, посмотрим, что где и как. И ручаюсь головой — через месяц Свиря с ее причудами покажется вам самым ординарным цирком, а пресловутый Кормчий — старым глупым фокусником...

Тесман посмеивался, глядя в потолок, в полупрозрачной толще которого плыли разноцветные пузатые солнца и вилась вокруг них серебристая мошकारа планет. Даже на этой сугубо деловой карте угадывалось невероятное пространство — расстояния, чуждые всему живому и покоренные человеком во имя жизни.

— Да, Иннокентий Павлович, теперь мы живем просторно и можем себе кое-что позволить. Сейчас на Земле — около 60 миллионов человек, и это втрое превосходит экологическую норму для планет третьего класса. Земле сделано исключение, но уже сейчас многие считают, что такое положение устарело. А ведь к концу двадцатого века на Земле жило чуть ли не шесть миллиардов человек! Я даже представить себе не могу, как это возможно физически — ежедневно видеть толпы людей — и совершенно незнакомых людей! Каждый день — разные лица... Непостижимо!

Шанин энергично кивнул — у него появилась надежда. Но когда Тесман опустил глаза, в них не было улыбки.

— Однако Свиря — не цирк и не порождение фантазии неумелого новартиста-любителя. Она существует и процветает. Процветает — это вполне достоверные сведения. Существует и единолично правит Кормчий.

— Ну и пусть себе процветает на здоровье! Разве это плохо?

— Иногда плохо... Материальная обеспеченность плюс духовная нищета — страшная смесь... История дала немало примеров тому, чем кончается такое «процветание»... Мы не можем допустить физического или морального самоуничтожения целой планеты. Но официальное вмешательство — крайняя мера. Чтобы пойти на него, мы должны иметь конкретные и веские доказательства недееспособности Правителя перед надвигающейся опасностью. Иначе в глазах народа Свиры мы будем агрессорами, и вместо спасения только ускорим трагические события.

— Но, быть может... быть может, рано еще бить тревогу? Может быть, свиряне еще сами дойдут до сути? Ведь наших прапрадедов в России в тысяча девятьсот семнадцатом году никто не спасал. Сами разобрались. И неплохо разобрались. И еще других научили.

— Вы вправе гордиться своими предками. Но как раз история русской революции, история строительства социализма в России научила человечество братской солидарности. Вы начали первыми и могли первыми закончить свой титанический труд, вы были вправе наслаждаться коммунистическими благами, так сказать, за отдельным столом, — никто не осудил бы вас за это. Но ваши прапрадеды ограничивали себя во всем, помогая другим народам преодолеть трудности переходного периода, оберегая их от капиталистической агрессии. Не так ли?

— Сдаюсь, товарищ Тесман, сдаюсь. Я хотел только сказать, возможно, на Свири уже есть силы, решающие сегодня те же вопросы, что и мы? И надо им просто помочь?

— Возможно. Возможно, хотя сомнительно. Но тогда тем более на Свири нужен наш человек, способный установить связь революционного подполья с Внешним миром.

Шанин задумался. Главный, считая, видимо, свою миссию законченной, внимательно просматривал бортовые журналы мобильных групп безопасности. А Тесман говорил — то ли объясняя собеседнику, то ли думал вслух.

— Правитель... Оксиген Аш начинал весьма традиционно, и весь его политический путь вплоть до строительства Стального Кокона прямо-таки шаг в шаг повторял бурную деятельность всех больших и малых диктаторов прошлого. Все они, терзаемые манией величия

пополам с манией преследования, стремились увековечить себя в сооружениях гигантских и нелепых, и все доводили свои народы до нищеты... Свира после Стального Кокона была на грани экономического краха... Только жесточайшим террором Оксигену Ащу удалось удержать власть... После целого ряда отчаянно смелых, но безрезультатных покушений он вообще перестал показываться народу... И вот с этого момента начинается непонятное. Правитель доводит свои полномочия до абсурдных границ. Он решает все. Сам, правда, ничего не предлагает. Но все, что происходит или будет происходить на планете, включая даже такую мелочь, как время включения ночных фонарей, зависит от его согласия или несогласия. Ему подают обоснованный проект — он говорит, вернее, пишет — «да», «нет», «отложить».

— Но ведь даже прочесть такую массу бумаг невозможно! Не говоря уже о большем... Может быть, он заменил себя машиной?

— Исключено. Машина может хранить огромный объем информации и оперировать им в пределах программы, но все ее могущество — на уровне прошлого человеческого опыта. Она способна самообучаться и самопрограммироваться, но она не способна изменить свой принцип подхода к материалу, что ли, свою позицию, свою логику. Она не способна думать творчески... Точнее, не способна ошибаться... Я что-то сам запутался, но сошлюсь на авторитеты: наши специалисты, анализируя данные прослушивания эфира Свиры, заявили твердо, что логика решений Правителя исключает вмешательство электронного компьютера... Но с другой стороны, это не человеческая логика...

— Простите, что вы сказали?

— Я сказал, что специалисты по логическим структурам в один голос утверждают, что «Слова Кормчего», определяющие каждый день существования Свиры, не могут принадлежать ни машине, ни человеку.

— Час от часу не легче...

— Практически это выглядит так — каждый день газеты Свиры открываются рубрикой «Слово Кормчего», где перечисляется все, одобренное Верховным правителем накануне. Думать над перечнем небезопасно да и бесполезно — его надо немедленно выполнять, о чем заботятся соответствующие органы. Так вот, на первый взгляд, «Слово» — электрический казус, экономическая

и социальная бессмыслица. Найти какой-то ключ, какой-то принцип, какой-то стимул этих законодательных «Слов» невозможно...

— Так, может быть, Правитель — душевнобольной, и Свиroy фактически правит каста толкователей его бреда?

— И такое бывало в истории человеческой — странами долгие годы распоряжались осатаневшие маньяки или тихие идиоты... Но есть в общественном организме нечто, чего не утаить, не исправить насилием, не оживить допингами: экономика. Финал всегда один — развал экономики и за ним политический взрыв. А на Свиры — все наоборот. Нелепые «Слова Кормчего», претворенные в реальность, что называется, буква в букву, сначала стабилизировали хозяйство, а потом медленно, но неуклонно привели его к состоянию, которое, как я сказал, можно назвать процветанием.

— Следовательно, это все-таки не процветание?

— Видите ли, Иннокентий Павлович... Все зависит от точки зрения. Я, простите, заядлый аквариумист. Так вот у нас, рыболобов, есть такой термин — «биологическое равновесие». В замкнутом, отрезанном от мира объеме аквариума устанавливается такое количественное и качественное состояние рыб, растений, грунта, микроорганизмов, при котором нет или почти нет вредных отходов — все вырабатывается и все потребляется внутри объема. Ко всеобщему благополучию всего, в этом объеме живущего. Так вот, такой благополучный аквариум — модель Свиры.

— Вы хотите сказать, что экономика Свиры в течение ста пятидесяти лет стоит на месте?

— Стоит — не то слово. Она движется — но движется по кругу, вроде белки в колесе.

— Но ведь потребности-то растут!

— Отнюдь. Ведь Свира отрезана от мира. Это аквариум. И потребности свирян тоже движутся по кругу. Остановившаяся культура. Отсутствие новых идей — для них нет пищи, и к тому же они жестоко преследуются. Технический и научный уровень Свиры крайне низок — все открытия и новинки ограничиваются сферой потребления. То, что можно иметь. «Иметь» — любимый глагол свирян. Неважно что, неважно зачем, неважно откуда, но иметь. Иметь больше, чем другой...

— Но ведь там же люди живут, а не рыбы! Должно быть какое-то сопротивление, оппозиция, подполье, мо-

жет быть... Я не знаю, что еще... Как будто другим веком повеяло...

— Действительно, другой век. Буквально. Планета с остановившимся временем. Гости из прошлого... Конечно, там есть оппозиция. Ее уничтожают, но она появляется снова... Некоторым удастся бежать. От них — крупницы сведений, которыми мы располагаем.

— Бежать в космос? Через Стальной Кокон?

— Невероятно трудно, но возможно. На Свири почти легально существует контрабанда. Правитель и его «королевская рать» смотрят на нее сквозь пальцы, ибо пользуются негласным каналом связи для своих личных нужд. Полицейская гвардия следит только за тем, чтобы с «внешним» товаром не проникли на Свиру «внешние» мысли...

— Да, рискованная профессия... Но, видимо, игра стоит свеч... Ведь их собственное производство отстало лет на сто... Какие же блага Внешнего мира интересуют свирян больше всего? Или они хватают все подряд?

— Не сказал бы... В основном, их интересует чернук.

— Чернук?

— Да, они увозят на Свиру огромное количество чернука. И еще лекарства. Особую популярность имеют разного рода сильнотонизирующие и геронтологические средства. Еще — всякая бытовая мелочь и украшения. И это, пожалуй, все.

— Ясно... Вернее, совсем ничего не ясно. Какова моя роль?

— Вы должны, Иннокентий Павлович, превратиться в разведчика. Профессия давно позабытая, но, как говорят, окруженная в былые времена ореолом романтики. Скажу откровенно — лично я вам не завидую. Я был против такого варианта, но мои коллеги убедили меня, что иного выхода нет. СДН должен обладать полной и достоверной информацией о подлинной жизни Свиры и, насколько возможно, об Оксигене Аше. Или о том, кто за этим именем скрывается...

— Неужели вы всерьез верите, что Правитель — не человек?

— Верить, не верить... Свиряне, к примеру, бесспорно уверовали в то, что ими правит некое высшее существо. Возможно, такая уверенность исподволь насаждается сверху, но согласитесь — при желании можно привести массу доказательств. И поразительное долголетие, и необъяснимая прозорливость, порой даже меня наводящая на мысль, что Правителю ведомы слу-

чайные зигзаги будущих событий, и нечеловеческая способность к обработке огромных масс информации, и мгновенность решений, недоступная нашему мозгу, и, в конце концов, эта самая злополучная логика — логика, отличная и от человеческого, и от машинного мышления... Разгадать Правителя значит разгадать Свиру. Но мы не ставим перед вами такой задачи. Пока она, видимо, выше наших возможностей. Ваша задача — узнать о Свири и о Правителе все, что в силах ваших. Никакого вмешательства, никаких действий и противодействий. Только смотреть и запоминать...

— А вы уверены, что я смогу проникнуть дальше первой балки Стального Кокона?

— Уверен. Во-первых, вся операция продумана до мелочей и гарантирована от опасных последствий. С вами полетит настоящий свирянин, всего несколько лет бежавший оттуда. Он пытался организовать покушение на Правителя. Он знает все ходы и выходы и поможет вам освоиться на местах. Его надо только держать под наблюдением: с Кормчим у него свои счеты. А во-вторых... Во-вторых, вы родились на Земле, в Сибири, и это очень важно. Вы высадитесь в Силае, а Силай — это свирянская Сибирь. На первое время, видимо, Силай будет вашей базой, и вам легче чем кому-либо будет освоиться и ориентироваться в суровой и дикой местности... Неужели остыла кровь пращуров-первопроходцев? Ваш начальник рассказывал о вас другое...

— Ох, товарищ Тесман, лютый вы человек! И успокоили, и польстили вовремя! Раз все продумано до мелочей без нашего ведома, то куда денешься... Но если можно, для справки — как же все-таки предстанут пред ясны очи полицейских гвардейцев разведчик из Внешнего мира в компании беглого террориста, разыскиваемого по всей Свири? Гвардейцы, конечно, возликуют, а что делать нам — плакать или смеяться?

— Меня искренне радует, Иннокентий Павлович, что вы уже вникаете в детали будущей операции. О них — разговор особый и долгий. Но на первый вопрос я могу ответить и сейчас. На прошлой неделе на соседнюю со Свирой Зейду пожаловали три гостя. Двое из них сейчас в больнице. Несчастный случай. Лежать им еще не меньше месяца, и это для них — нож острый. Такая задержка вызовет подозрения, конфискацию корабля, расследование, которое на Свири почти всегда равносильно смертному приговору. Третий, в свою оче-

редь, не может вернуться один — те двое автоматически будут считаться беглецами, а он — «перевозчиком». В общем, положение у гостей отчаянное. Мы предложили им взаимовыгодное соглашение — вместо двух заболевших на Свиру отправляются двое наших людей. Срок — месяц. Через месяц вы на том же корабле и с тем же сопровождающим возвращаетесь на Зейду. Выздоровевшие к тому времени гости, сделав свои дела, убираются восвояси. Гарантия тайны с их и с нашей стороны. Ваши цели гостей не интересуют — профессия отучила их от любопытства. Они боятся только, чтобы подлог на Свире не обнаружился, и потому согласны изложить вам такие места из своей биографии, которых не добился бы ни один суд. Остальное доделает плаstdубляж лиц и свойственные вам артистические способности...

— С чего мы начнем?

— С Бина. Бин — это кличка, и на языке, который вам предстоит освоить, значит «Двойной» или «Двуликий». Ваш спутник, помощник и консультант, ждет вас на Зейде. И лететь туда надо немедленно.

Шанин закинул голову к потолку, где по-прежнему плавно, как в причудливом древнем танце, кружились кукольные солнца и планеты, и попробовал найти Зейду. Не нашел и встал.

— Я готов.

— Будете заезжать домой?

— Нет. Автопом соберет все необходимое лучше меня.

У двери Главный положил ему руку на плечо, задержал.

— Ты прости меня, Кеша, что я так вот... запродам вроде тебя без спросу. Но дело-то деликатное, понимаешь? А у тебя получится. Может, у тебя и получится. Тяжело только будет...

Главный скорбно пожевал губами:

— Я понимаю, ты вправе обижаться. Без подготовки, без согласования с тобой — сразу директива...

— Какая директива? — искренне удивился Шанин. И поняв, как ловко обработал его Тесман, превратив требование начальства в собственное горячее желание Инспектора, он тихо рассмеялся.

3. Детективная часть

Овальная дверь, нещадно скрежеща в пазах, задержалась судорожно, но не открылась: сервомоторы не смогли справиться с толстым слоем инея и льда, намерзшим по периметру. Потом, видно, кто-то очень сильный налег снаружи на ручку. Дверь затряслась, выгибаясь, и вдруг со страшным лязгом и хрустом ушла в стену. В проеме показалась фигура, огромная и неповоротливая из-за толстой меховой куртки и надвинутого на самый лоб остроконечного вязаного башлыка.

— Пригрелись, паучатая? Я должен оберегать товар и превращаться в мороженный окорок в этом летающем холодильнике, а они здесь греют зады и шпарят в карты! Великий Кормчий!

— А ты и впрямь похож на силайского медведя, Шан. Кличка тебе впору, как обручальное кольцо невесте, — заметил один из сидящих в пилотской кабине, не оборачиваясь.

Другой ловким жестом смахнул с пульта игральную колоду, побарабанил по ней пальцами и развернулся вместе с креслом к вошедшему.

— И добавок как две капли воды похож на настоящего Шана, которому я так неосторожно проломил череп. Он тоже только трезвый ругается, а в подпитии ревет своим нутряным басом «Всем нам висеть на яблоне». Зачем напоминать лишний раз? Вот и допелся... А мы тут, милый, не шпарим в картишки. Мы работаем. Я просто приброесил — напоремся на гвардию или нет?

— Что же вышло?

— Напоремся...

— Оттого, что мы будем висеть в пустоте, везенья не прибавится. Или ты от карт ждешь разрешения включить двигатель?

— Не плавай, если без понятия. Мы не висим. Мы падаем. Падаем на Стальной Кокон, прямехонько в ту дырочку, через которую вылезли в свое время. Это наш постоянный ход. Мы его нашли с Шаном и Сипом, мы его и застолбили. Кроме нас здесь никто не ходит.

— Ясно. Но ведь на тяге-то быстрее будет!

— Быстро можно только на яблоню угодить. Полицейские визиры засекут вспышку за полпарсека. Мы и так выскочили из минусовки чересчур близко. Вспышки при этом, правда, не бывает, но радиоэхо есть. Если

рядом шастали слухачи — мы уже на крючке. Так-то, милый.

Пилот снова сыпанул колоду на пульт и начал раскладывать какой-то сложный пасьянс, прихлопывая каждую карту ладонью и бормоча не то ругательства, не то заклинания. Оттаивающий Шан втиснулся в третье кресло рядом с Бином, с трудом вживающимся в роль Сипа. Сип, по всему судя, был человеком своеобразным, ибо прозвище Гадюка надо заслужить.

— И долго еще так?

— Думаю, часа четыре бортового. Скоро уже можно будет разглядеть фактуру Стального Кокона.

— Если удачно проскочим щель — это уже полдела. На посадку уйдет не меньше трех часов, а это значит, мы успеваем к рассвету совсем впритирку. Но если даже и часок светлого времени прихватим — не страшно. Силай — не Дрома, в силайских буреломах нас за сто лет не сыщешь.

— Дикий край?

— Силай — заповедник преступности, для городского жителя между словом «силаец» и «преступник» нет разницы.

— Добром туда не попадают. Одних ссылают власти, другие сами бегут от властей. Пестрый народ. И все должны держаться вместе — порознь Силай проглотит как муху.

— Опять не сошлось! — взвизгнул пилот и запустил злополучной колодой прямо в лобовой экран. — Великий Правитель! Зачем я только согласился лететь третьего числа? Ведьма всегда учила меня: не ставь на тройку, тройка — твое несчастливое число! А я как полоумный... Напоремся! Напоремся...

— Кончай зудеть, Мож! Хоть ты и Гнус, но не царапай душу. Что раскис? Раз веришь в приметы — надо было раньше думать. Ведь вы уже шесть лет втроем летаете — ты, Сип и Шан. Шесть — это дверь тройки, а вас трое — еще тройка. Целых три тройки!

— И... правда... — Мож уставился на Шана белыми глазами, которые росли и росли, пытаясь вырваться из орбит. И вдруг взвыл дурным голосом: — О-о-о! О-о-о! Пропади все пропадом! О-о-о!

— Ну, понесло... — Сип хмуро поднялся, подошел сзади к дергающемуся пилоту и сильно ударил его ребром ладони по затылку. Потом неторопливо развернул к себе и вклеил две увесистых затрешины. Мож пере-

стал выть, только изредка вздрагивал всем телом.

— Истерика,— бросил Сип встревоженному Шану.— Ничего страшного. Реакция после чаки. Не усек, когда он к ней успел приложиться...

— Чака? Что это?

— А те семена в зеленых пакетах, что в трюме. На Свири она хорошо растет, но не размножается. Семена завозят контрабандой. Из листьев чаки варят настой.

— Наркотик?

— Нет. Сильное возбуждающее. Полностью снимает чувство опасности. Но зато потом начинается такое... Пробовал я это зелье. Не советую. Даже для изучения жизни на Свири.

Мож полез за пульт, нашаривая там что-то и стуча зубами.

Сип следил за ним с неприязнью.

— Чака?

— А твое какое дело?

— Сделай лучше успокаивающий укол.

— Катись ты... Тоже доктор нашелся... Видали мы таких желторотых спасителей... Сам себя спасай, висельник...

Он отхлебнул сразу полстакана мутной коричневой жижи и, распаляясь, зашипел:

— Думаешь, я не вижу, кто ты? Мож все видит! Ты из этих, из недорезанных проников... Вот Шан — свой парень, сразу видно. А ты — проник. Вы все на Правителя зуб держите. А я за Кормчего любому глотку перехвачу!

Он допил стакан и вытер губы, победно усмехаясь своему призрачному отражению в лобовом экране.

«Вот и первый сюрприз Свиры,— невесело подумалось Шанину.— Изгой, гонимый и презираемый неудачник, живая мишень, нищий, у которого Кормчий отнял все, кроме права умереть на виселице,— и тот боготворит Правителя, вместо того чтобы его ненавидеть лютой ненавистью. Ведь этот несчастный действительно готов до издыхания защищать своего мучителя и виновника всех бед... Какое тут «официальное вмешательство»...

— Стальной Кокон,— негромко проговорил Сип.

Ничего внушительного Шан не увидел. Свира выглядела, как и все подобные планеты с близкого расстояния — ощутимо вогнутая тарелка и ничего больше. Поскольку на этой половине была ночь, то никаких

деталей поверхности или причудливых атмосферных образований видно не было: тарелку до краев наполняло черно-синее густое желе. И только присмотревшись, на терминанте можно было уловить что-то вроде серебристого пушка. Этот пушок рос и окружал Свиру уплотняющимся ореолом, на темном круге центральной части проступила сеть светлых прямых линий. Словно марсианские каналы, только погуще.

— Да, в принципе это гигантская стальная сеть, — подтвердил Сип. — Она вращается за пределами атмосферы и практически не изнашивается. Крупные метеоры, конечно, оставляют дыры, но таких камешков немного. Корабль ее тоже пробьет, но неизбежно взорвется... Скорость! Кроме того, сеть заряжена электричеством колоссальной мощи.

— Откуда же энергия?

— Даровая. Из атмосферы. Со Стальным Коконем на Свире навеки кончились грозы.

— А где же патрули и что они делают?

— Внутри сферы Кокона остались десятки бывших обсерваторий, лабораторий и просто строительных спутников. На них теперь находятся базы полицейских гвардейцев и причалы сторожевых катеров. В космос они почти не выходят — нет надобности и опасно. Они летают в стратосфере и несут патрульную службу. Считается, что они охраняют планету от внешней агрессии. Но поскольку никто на Свиру до сих пор нападать не собирался и десантов не забрасывал, brave пограничники грабят возвращающихся контрабандистов. Но главная задача «пернатых» — охота за теми, кто пытается бежать со Свиры... Таким нет пощады.

— «Пернатыми» зовут пограничников?

— Вообще всех полицейских гвардейцев. Охраняющее крыло — герб полицейской гвардии...

— А кто такие «проники»?

— Проники? А, это ты про Можу... Проник — грамматическая хитрость. С тех пор как слово «пронизательный» запрещено на Свире, всех представителей этого клана называют прониками.

— Ты сказал — клана? Так их что — много?

Сип посмотрел на Шанина с искренним удивлением.

— Проников? Добрых девяносто процентов городского населения!

— Ничего не понимаю!

— Поймешь.

Мож, прилипший к приборам и визирам, махнул рукой.

— Ну все. Вышли на старт. Теперь пора рвать когти...

Истерика и возбуждение после очередной дозы чаки прошли, и Мож был снова похож на человека. Только налитые кровью глаза с узкими, как иголочный укол, зрачками выдавали искусственную причину его беспредельной отваги.

— Смотри, Шан, и учись. Пригодится. Мы дотопали до нужной точки. Дальше нас все равно засекут, с двигателями или без. Поэтому сейчас главный козырь — скорость. Низко над лесом нас они потеряют: мешает эхо. Значит, надо прорываться отсюда почти до самой земли на предельной струе, чтобы катера не успели выйти наперерез. А там — выручай парашют и тормозная батарея. Но стучает все равно прилично...

Мож положил руки на клавиши и закрыл глаза, словно молясь.

— Эх, тетя ведьма, выручай!

Пол под ногами дрогнул, и всех троих вдавило в кресла. Неправильное синее пятно впереди, свободное от серебряной паутины, ощутимо прогнулось, поползло во все стороны.

Внезапно на корабль обрушился тяжелый удар, через полминуты — второй, потом третий. После десятиминутного затишья удары возобновились, но стали слабей и чаще. Скоро они перешли в трескотню крупного града и добродушное бормотанье летнего ливня.

— Теперь на Свире осталась только такая гроза, — кивнул Сип на верхний экран кругового обзора.

А гроза была внушительная — таких Шанин еще не видывал. Ни на своих экстравагантных планетах, ни в космосе. Не было ни традиционных вспышек, ни мгновенных ветвистых молний. Со всех сторон, откуда-то издалека, где угадывались острые ребра и пики Коконна, тянулись живые щупальца сиреневого света. Они ловили корабль в свое жадное перекрестье, конвульсивно ощупывали его обгоревшую обшивку, пытались найти хотя бы маленькую щелку внутрь, не находили и, истончаясь, рвались, чтобы со следующим толчком ожить и повторить все сначала.

Корабль начал разогреваться, с Шана, в его тяжелой экипировке, уже давно лил пот, но раздеваться в этой электрической карусели почему-то не хотелось. Шан

ругал себя за малодушие и излишнюю впечатлительность, но стоически терпел жару.

Гроза кончилась, как и началась,— электрические разряды стали реже и сильнее, и, наконец, получив два основательных удара, корабль влетел внутрь Кокона.

Впереди теперь дышало и ворочалось что-то серое и бесформенное, как закипающая опара.

— Облачность — это хорошо,— сказал Сип.

— Для «пернатых» хорошо,— зло парировал Мож.— Они нас видят, а мы их нет. И у нас больше шансов кувырнуться со всего маху...

Сторожевой катер первым заметил Сип. Он закричал, вцепившись в плечо пилота:

— Слева, слева! Слева — крючок!

В левом верхнем углу экрана разгорался и трепетал красный уголек.

Можу не надо было повторять дважды. От неожиданности Шанина выбило из кресла и швырнуло влево, на переборку.

Когда он поднялся, уголька слева уже не было, зато справа заплясали целых три звездочки. Корабль заматался, непрерывно меняя курс, но красных огней становилось все больше, и узкое горло прохода сжималось на глазах.

— Бесполезно,— прохрипел Мож.— Вниз не пробиться...

Выламывая запястья и упершись коленом, он оттянул штурвал на себя с такой силой, что пластиковая баранка выгнулась. Шанин снова не удержался на ногах. На этот раз сверху на него упал Сип. Корабль, словно догоняя свой огненный хвост, вывертывал вверх, к спасительному пролому. Высота уже начала предательски буреть, и на всем обозримом пространстве пересекались, образуя правильные квадраты, черные полосы.

— Так... Так... выглядит... небо над Свирой? — выдавил Шанин в потный затылок Сипа.

— Да,— отозвался Сип, упираясь ему локтем в живот.— Но если здесь родиться и не видеть другого, то и оно покажется прекрасным...

Перегрузка резко ослабла. Мож почему-то тормозил:

— Я так и знал,— безнадежно процедил он.— Мы в бутылке. Они заткнули пробку... Что делать, Шан?

Сип и Шан вскочили. Прямо по курсу полукругом

горело четыре красных факела. Вокруг ближнего время от времени рассыпалось оранжевое ожерелье.

— Приказ остановиться... Они нас поджидали, это точно... Иначе такой стае не собраться... Это Горон... Он один знает нашу дыру... Кто-то продал, и он ждал нас... Что делать, Шан?

Тот Шан, который сейчас блаженствовал в больничной палате на Зейде, был здесь атаманом, и Мож по привычке ждал приказа от нового, поддельного Шана.

— Прорываться! — ненависть перехватила горло Сипу. — Напропалую, в лоб — прорываться! Все равно смерти! Здесь есть шанс — в застенке его не будет. И там будут пытаться. Лучше умереть здесь, сейчас. Все равно смерти!

— Тебе — смерть, — подтвердил Мож. — Они тебя сразу раскусят. А я...

— И тебе — смерти! Ты знал, кого везешь...

— Что делать, Шан? — в третий раз повторил Мож.

— Прорываться! — горячо зашептал Сип. — Идти на таран! Пойми, Шан, у нас нет выхода. Они раскусят нас в первую же минуту. Меня шлепнут на месте, поскольку я уже дважды приговорен, а тебя, как иностранного шпиона, с триумфом потащат в Дрому. Надо умереть достойно, Шан... Таран, только таран!

Шанина страшила не смерть и не пытки — хотя, как всякого нормального человека, такая перспектива его не радовала. Но он представлял, какой козырь даст он Кормчему своим появлением на Свире, какая разнузданная вакханалия клеветы поднимется вокруг него, оправдывая самые черные дела Правителя и давая повод для крайних мер против всего, что осталось на Свире живого и мыслящего. Как ни тяжело и горько это было — он был готов сказать: «Таран!» Но что-то, мгновенно мелькнувшее в памяти, удержало.

— Ты говоришь, Мож, это должен быть Горон? Тот самый, что накрыл вас шесть лет назад?

— Другому некому. Мы задолжали ему, и он решил нас накрыть. Я говорю — они ждали... Зверюги... Другие вычистят все и отпустят... Хоть телегу оставят... А этот долгов не прощает!

— Что он сделает, если попадемся?

— Что? Конфискует телегу со всеми потрохами,

а нас — за решетку... А там... Эх, тетя ведьма, что же ты со мной наделала?!

Шанин знал о Гороне много. Шан, разоткровенничавшись, рассказывал о нем охотно и зло. Этот елейный суб-майор был грозой и проклятием контрабандистов Свиры. Раньше он служил в Дроме и ходил в «топорах» — в петличках личной полиции Кормчего. Но непомерная жадность заставила его сменить весьма почетное, но недоходное место в столице на бесславную, но выгодную работу небесного пограничника. Все без исключения «рыцари удачи» платили ему дань. И горе тому, кто забывал об этом долге. Цепкая память суб-майора работала с точностью компьютера. Он помнил в лицо почти всех своих «пациентов». Он знал все дыры Стального Кокона и кто через них ходит. Ему было известно, когда и чьи контрабандные «телеги» отправляются «на небо». А перекупщики за некоторые услуги докладывали ему, кто, что и сколько «добыл на небе».

Суб-майор Горон мог бы в один день покончить с контрабандой на Свири. Там, в высших сферах, знали об этом лучше, чем кто-либо. Но никто не отдавал и не собирался отдавать ему такой приказ. Гораздо практичнее было поддерживать с суб-майором добрые деловые связи.

— Ложись в дрейф, — приказал Шан.

Мож послушно и облегченно убрал реверс главного хода. Легкая дрожь говорила о том, что двигатели работали, но корабль теперь неподвижно висел над планетой. Мягкий толчок и качанье — это вышел в пространство стыковочный рукав.

— Трус, — тихо выдавил Сип. — Но я живым не дам...

Он вытащил из заднего кармана комбинезона пистолет, перезарядил и положил в нагрудный — ведь придется поднимать руки. Передумал, засунул его за широкий раструб перчатки.

Шанин подошел к нему, положил руки на плечи.

— Я не трус, Сип. Я очень не хочу умирать, но я не трус. У меня есть мысль. Надо попробовать. И если не получится...

Сип глядел недоверчиво.

— У меня к тебе личная просьба, Бин. У меня нет оружия. Если не получится — первая пуля мне. Договорились?

— Кончайте шушукаться,— подал голос Мож.— Если вы на меня понесете, я заложу вас первый. Усекли?

Пол под ногами ушел вниз, потом в сторону. Где-то далеко и глухо царапнул металл о металл.

— А вот и гости дорогие... Стыкуются... Слушайте — мы ремонтники, рабочие внешнего ремонта, ясно? Сбились с маяка, попали не в ту дыру. Ремонтники — и все тут.

— Но Горон же знает всю вашу шайку-лейку как своих детей!

— У нас не принято узнавать друг друга. Такой закон... Ремонтники. Двести семьдесят пятая рембаза, ясно? Она здесь ближе всех. Двести семьдесят пять — и точка. Больше ничего не знаем...

Дверь вздрогнула под ударом, скользнула в стену. В проеме никого не было.

Томительная минута, и маленький седой человечек в неряшливой черной форме с крылышком на лацкане ворвался в кабину с радостной улыбкой гостеприимного дедушки, встречающего долгожданных внуков.

— Вот сорванцы, вот сорванцы,— причитал он.— Совсем молодым жизни не жалко, совсем! На такой скорости — и вниз! А потом ни с того ни с сего — вверх! Ну, думаю, пришла твоя пора, Горон, не иначе иноземцы какую-то пакость затеяли! Приготовился грудью, так сказать... Ан нет, тут все свои по обличью... Отлегло от сердца-то... Бойтся, слава Кормчему, иноземная нечисть, зубами скрежещет, а бойтся... Ибо мы — монолит, один за всех, все за одного... Словом Кормчего могучая Свира всегда начеку без пустых разговоров... Ах, сорванцы...

Старичок все сыпал и сыпал, заглядывая во все углы, а трое молодцов с грустными глазами бульдогов привычно быстро обшарили «сорванцов» и застыли, уперев карабины им в животы.

— А вы, ребята, наверное, ремонтники?

— Да, высокий,— растерянно откликнулся Мож и, встретившись глазами с Шаном, утвердительно кивнул,— Горон.

— С двести семьдесят пятой рембазы, наверное?

— Да, высокий,— тупо отозвался Мож.

— Так-так. Сбились с маяка, попали не в ту дыру?

— Да, высокий,— едва слышно проямлил Мож. Он

начал подергиваться — к нему опять возвращалась истерика.

— Ремонтнички, значит, сорванцы-ремонтнички... Это хорошо, дырки в Коконе надо штопать... А то некоторые висельники повадились через них на Зейду шастать... Я-то сослепу за таких вас принял. Уж очень вы мне старых знакомцев Можы, Сипа и Шана обличьем напомнили. Вы-то ребятки хорошие, а те трое — мразь. Забыли честь и совесть, долг перед великим Кормчим забыли... Ох, добратся бы мне до них! Уж они бы у меня если не яблоню, то урановый курорт заработали... А вы ремонтники, значит... И за этой дверкой инструмент у вас, да? Взглянуть на него можно, да? Любопытный я страсть до всякой техники...

Старичок торкнулся в трюмную дверь — она не поддалась.

— Туда нельзя. Радиация, — сказал Шан.

Старичок, удивленный его наглостью, обернулся и затрясся в беззвучном дробном смехе, держась за сердце.

— Что... ох! Что ты сказал? Ох, уморил... Тот мой знакомец Шан, на которого ты похож... ох! Тоже был большой остряк, пока трепыхался. Радиация! Ох, сорванцы, сорванцы-ремонтнички...

— Я тоже знал одного суб-майора, Гороном звали. Умнейший был человек, догадливый — прямо всю душу до дна видел. Так вот, будь на вашем месте Горон, он бы поинтересовался сначала, какой нынче урожай на яблоки и чем пахнет навар с варенья. Тоже любопытный был...

— Как я? — старичок как-то непонятно быстро очутился рядом с Шаном.

— Да нет, вы непохожи вроде... Тот догадливый был.

— Высокий, — проворковал старичок, заглядывая снизу в глаза Шану. Грустный бульдог, стороживший атамана, перекинул карабин в левую руку и зубами подтянул правую перчатку. На сгибе пальцев и ребре ладони выгнулись свинцовые блямбы — вензеля с крылом и буквами ПГ. «Дешево и рационально, — мелькнуло у Шанина. — Кровоподтеки от ударов выходят как печатки. Сразу видно, что били от имени государства, по закону».

— Когда обращаешься к полицейскому гвардейцу, надо говорить «высокий», — терпеливо повторил старичок.

— Простите, высокий, больше не повторится...

Воспоминанья! Очень уважал я Горона за его ум. Он говорил, к примеру: «Не жадничай, не продавай сына божьего за тридцать серебряных — с него можно иметь гораздо больше». А еще притчи всякие рассказывал...

Старичок моргнул, и Шан снова влип в переборку — на этот раз с рассеченным до кости подбородком.

— Чем же пахнет навар с варенья? — наклонился над ним с ласковой улыбкой старичок.

— Словом Кормчего, — Шан слизнул с губы кровь. — С Горonom поделился бы рецептиком... Он бы меня на руках носил... Умел снимать пенки Горон...

Грустный бульдог поднял правую руку, но старичок остановил его.

— А ты и со мной поделишься.

Старичок перестал улыбаться и с минуту буравил Шана глазками-шурупчиками.

— Вставай. Говори.

— Душно здесь. Горло пересохло! У меня в трюме пиво холодное... Да только на двоих осталось.

— Я тоже до холодного пива охотник. Пошли, ремонтничек. Только если пиво с пригарью — не обесудь. Я обидчивый.

Подалась под плечом Шана трюмная дверь.

— Ну и холодина тут у тебя, дружок. Наверное, весь чернучок подмерз. За такой товар и сотни серебряных не дадут. В отопительных баках сикер?

— Не молоко же! — нагло скривил Шан опухшую губу.

— Зейда, — пнул старичок ящик и плохо отскобленной этикеткой, выглядывающей из-под пакетов пресованного чернука. — Протовит в ампулах. Добрый товар, хоть и синтетика. Настоящего протовита давно нет в природе...

— Протовит — пшено. Есть почище да покрупнее.

— Покажи.

— Сначала разговор.

— Горон знает дело.

— Так ты Горон...

Горон запыхтел, сел на ящики. Теперь он не походил на умильного дедушку. Дряблые брыли глубокими складками неестественно удлинены губы, и этот нечеловеческий огромный рот на желтом крючковатом личике будит память детства. Такие одинаковые плотоядные лица были у глиняных божков, что лежали на сувенирных лотках у развалин какого-то храма — ма-

ленький Кешка был там со школьной экскурсией, но взять на память такое страшилище наотрез отказался.

— Не темни, Шан. Я должен знать, что у тебя на руках — понт или джокер. Выкладывай. Кораллы с Голубого Шара? Силун с Дзойси?

— Мелочь. Все это — мелочь.

— Медвянка из Оранжевого Кольца? — почти шепотом выговорил суб-майор.

— Ладно, Горон. Давай в открытую. У меня женьшень. Настоящий дикий женьшень с Земли. Корни...

Горон оглянулся на закрытую дверь, словно там уже стояли «топоры» и черный броневфургон без окошечек.

— И семена,— выпустил последнюю пулю Шан.

Горон долго молчал, колукая ногтем нитрокраску на ящике.

— Ты загинаешь, Шан. Ты не мог достать женьшень.

— И все-таки он у меня. Корни и семена для посева.

— Ты зря сказал мне об этом. Ты перегнул. Ты, видно, на самом деле способный парень, но я теперь не смогу отпустить тебя. Живым — не смогу. Даже с корабля. Даже отсюда, из этого трюма.

— А я и не прошу отпустить. Мне одному не осилить. Я предлагаю тебе дело, половина на половину.

— Половина на половину?

— Да. Если дело выгорит — ты можешь плюнуть на всех и всю жизнь купаться в серебряных. Ты будешь богаче всех богачей, вместе взятых. И я. Мне тоже хочется пожить с прямой спиной.

Горон хохотнул и вскочил с ящика. Он снова запричитал и заметался из угла в угол.

— Ну, сорванец, вот сорванец... Не ожидал от тебя, ремонтничек, не ожидал... Такой тихий да вдумчивый — и такой недотепа... Ай-ай-ай... Нехорошо... Придется наказать тебя, сердечного, ой, придется... А то ведь болтливый ты такой, ой, болтливый... Совсем язык без костей... Не похож на Шана, нет...

И, подскочив к Шанину, переменился враз.

— Половина на половину, говоришь? Горон будет иметь все! Ты мне не нужен. Я выброшу тебя как стреляную гильзу. Ты не выйдешь отсюда. Я разберу весь корабль на винтики и найду твою захоронку. Весь товар будет мой, весь!

— Не надо разбирать корабль. Он еще пригодится. Можу и всякой мелкоте вроде него. А нам теперь нельзя ссориться, Горон. Мы — как орел и решка у серебряного: один без другого ничто...

Он достал из-под стеллажа на первый взгляд обыкновенный красный саквояж.

— Здесь товар. Открой и посмотри.

Горон впился в саквояж, пытаясь его открыть. Он не открыл его. Он не открыл его через минуту после внимательного и тщательного осмотра. Он не открыл его после возни с кучей хитрых отмычек. Он не открыл его через пять минут, орудуя чем-то, что тщательно прикрывал.

— Я понял. Ты перехитрил меня. Если эта штука вообще открывается, то открыть ее можешь только ты? Шифр?

Вместо ответа Шан провел рукой по крышке. Крышка подскочила и захлопнулась снова при первом же движении суб-майора.

— Мы еще не договорились, Горон.

— Говори, Шан. Такие, как ты, мне нравятся.

— Этот товар не возьмет ни один перекупщик Силая, так?

— Так.

— С этим товаром засыплется любой перекупщик Дромы, так?

— Так.

— Никто из высоких и высших, которых ты знаешь или можешь узнать, не сможет купить у тебя всего саквояжа, так?

— Так.

— Но охотиться за ним, не брезгуя ничем, будет каждый, так?

— Так.

— И если кому-то удастся напасть на след товара или продавца — исчезнут и товар, и продавец, не так ли?

— Так.

— А можно ли сохранить тайну, доверив ее десяткам и сотням людей?

— Нет.

— Значит, продавать товар по частям, в розницу — верное самоубийство.

— Слушать тебя, Шан, одно удовольствие. Но я пока не вижу дела, с которого я что-то буду иметь.

— Надо найти человека, который мог бы купить у нас саквояж. Весь товар оптом.

— Таких людей нет на Свире, Шан. Это говорю тебе я, Горон.

— Такой человек есть, Горон. Единственный на Свире. Кормчий.

Трудно было предположить, что суб-майора может что-то поразить или испугать. Но Горон вздрогнул. Подковообразный безгубый рот его открылся и закрылся, проглотив неведомые слова, а шурупчики-глазки превратились в тонкие иглы.

Шанин услышал свое сердце. Словно кто-то в боксерских перчатках бил изнутри в ребра. Хватит ли Горона на такое? Или страх сильнее жадности?

— Кто же сделает... это?

— Я. С твоей помощью. Я и ты. Половина на половину.

— А если...

— Не смейся. Ты отлично понимаешь, что рискую только я. Даже если я выдам тебя, провалившись, мне никто не поверит.

Горон затих перед красным саквояжем. На сухой желтой коже заблестели капли пота.

— Этого не может никто. Немногие могут похвастать тем, что видели Кормчего. Говорили с ним — еще меньше. Но никто и никогда не являлся к правителю без зова. Таков единственный закон Свиры, который никому еще не удавалось переступить.

— Я буду первым.

— От тебя не пахнет чакой... Ты... ты или сумасшедший... или великий человек.

— В любом случае ты не проигрываешь.

— Если я соглашусь, что я должен делать для тебя?

— Для нас. Для Сипа и меня. Мне нужен помощник и телохранитель.

— Он знает?

— Нет. Но он узнает. Ровно столько, сколько нужно.

— Я против. Я не хочу третьего. Помощника дам тебе я.

— Третьего не будет. Сип — это я. А «помощника» ты за нами все равно пошлешь, верно, Горон?

— Верно. И не одного.

— Мне и Сипу нужно осесть в столице на какое-то время и оценить положение. Окончательный план и его

выполнение — наша забота. Ты должен сделать так, чтобы «пернатые» не путались у нас под ногами...

— Правителя стерегут «топоры».

— Кто их начальник?

Горон оторвался от красного саквояжа, и глаза его тоже были красные. Как на аварийных табло, в них высветилась тревога: удивление, подозрение и тревога. Шанин понял, что сгоряча задал вопрос, который Шан задать не мог.

— Кто начальник? После прогулки на небо у тебя что-то сдала память, Шан... А чемоданчик у тебя хорош... В первый раз вижу такой... Где ты взял его? Или тоже запамятовал?

— Помню! Там, где и товар.

— Ай, сорванец, сорванец! Где товар, говоришь?.. А где брал товар, это уж, конечно, не вспомнишь...

— Не вспомню, Горон.

— Ай, сорванец, сорванец... Насмешил ты меня, насмешил... Чего только с памятью не бывает... А как же все-таки чемоданчик открывается, а?

— Я не знаю. Я просто думаю, чтобы он открылся, и он открывается. И перестань ломать кретина, Горон.

— Грубишь, дружок, грубишь... А я вот о твоих сотоварищах думаю. Скучно им. У Сипа в перчатке пистолет спрятан. Вдруг он со скуки в моих ребятишек палить начнет? Ребятишки у меня нервные. Пришьют на месте — и одним хорошим человеком на Свире меньше будет... А из-за чего? Все из-за твоей забывчивости, Шан... Только нет, милый, нет! Ты стой, где стоял, за мною не ходи.

Горон выглянул в дверь, коротко что-то пролаял. В рубке вскинулась и затихла короткая возня. Выстрела не было. Шан успел сделать только шаг к двери. Пистолет Горона уперся ему в живот.

— Не надо, Шан. Там все в порядке. Береги нервы. Я имею желание согласиться на твое предложение.

Исчез вертлявый дедушка-садист, исчез глиноликий божок. Даже убрав пистолет, Горон остался продолжением своего оружия — точным, молниеносным, неотвратимым.

— И поставим все на свои места. Я мог ответить тебе «да», мог ответить «нет». Ты мне можешь ответить только «да». Это первое. Второе. Я веду игру с умниками и с дураками. Но сам я никогда не остаюсь в дураках. Поэтому твой чемоданчик — прости, мой

чемоданчик — будет у меня, пока не кончится дело. Это избавит тебя и от забот по охране, и от искушения поменять партнера. Или смыться со всеми серебряными прямехонько в небо...

— Наши серебряные за Стальным Коконем — пыль...

— Не знаю, не знаю... Но это не меняет суть.

— Но где гарантия...

— Твоя единственная гарантия — верно служить мне, Шан.

Детектива не получалось. Не получалось героя-разведчика, хитроумным планом загоняющего врага в угол. Эта скользкая бестия Горон легко, одним движением снова оказался наверху. Пришла запоздалая мысль о том, что драться против таких их ржавым оружием — безнадежно. Они владеют им с рождения. Любая тренировка не сможет заменить врожденной способности сеять беду и зло. Нужно другое оружие — оружие, о котором эти люди не подозревают. Основанное на ином принципе. Оружие добра. Но что это такое — оружие добра?

— Что-то ты замолчал, Шан. Я не слышу воплей радости. Ведь я же согласился. Ты уговорил меня, Шан. Я даже принял твой дележ — половина на половину. А мог бы... Но я уважаю смелость. Так что же ты проглотил язык, мой дорогой компаньон? Или...

— Я жду твоих приказаний, Горон.

Вынырнул на мгновенье дедушка-садист, залился дробным хохотом, поощрительно потрепал плечо Шанина. И скрылся, спугнутый жесткой диктовкой Горона-хозяина:

— Мы сейчас перейдем ко мне на катер. Мож вместе с кораблем, чернуком и сикером пусть проваливает ко всем чертям. Ты получишь форму и документы полицейского гвардейца — не «липу», настоящие. На днях мы проводим большую операцию по розыску крупного государственного преступника Канира Урана, по кличке Бин. Мы накроем его. Что с тобой, дружок?

— Ничего. Я слушаю.

— В поимке Бина ты проявишь чудеса храбрости. И я отправлю тебя, как героя, сопровождать преступника в Дрому, с рапортом министру государственного милосердия, высшему Тирасу Уфо, славному командиру легиона «Слуг справедливости», которых в просторечии почему-то величают «топорами». Странно, Шан, что ты

запомнил имя моего дорогого друга Тираса, странно... Тирас примет тебя. Ты передашь ему кое-что. Остальное зависит от тебя. С той минуты тебе придется отрабатывать свою половину доли. А я посмотрю. Я буду за твоей спиной даже в... Впрочем, ты понятливый малый.

— С пустыми руками мне никто не поверит. Я окажусь на яблоне раньше, чем открою рот.

— У тебя будет образец. Это все, чем я могу тебе помочь. А насчет яблони... Отличный код! Мы будем называть наш товар «Силайские яблоки».

Замурлыкал востроглазый старичок, подхватил саквояж и, пропуская Шана в рубку, подмигнул:

— Яблочки силайские...

4. Дедуктивная часть

Весь путь от Силая до Дромы пассажир проспал, и только когда аэробот пошел в посадочный вираж, он недовольно зарычал и напрудил под себя. Полицейский гвардеец с вензелем сержанта, скрипнув зубами, взялся за тряпку.

— Оставь его в покое. Он опять будет биться.

— Но это — я. И я не позволю, чтобы всякая шваль скалила зубы над Бином... Ой.

Сержант схватился за прокушенный палец.

— Говорю, оставь. Ему уже ничем не поможешь. Человек убит в нем давным-давно.

— Но он — это я, понимаешь, я! Я мог бы стать таким, если бы...

— Замолчи. Немедленно замолчи. Сопливый истерик. Ты всё погубишь. Не только себя и меня — всё!

Пассажир тяжело, с подвывом заскулил.

Пилоты не успели еще сбросить трап, как прямо по посадочной полосе к аэроботу подкатилась закрытая машина. Из нее посыпались широкогрудые парни в небесно-голубых мундирах. Не обращая внимания на двух «пернатых» коллег, они споро взялись за дело и через минуту клетка с рычащим и воющим Бином была уже в машине. Шан долго не мог понять, кто у них старший, пока не заметил рядом с водителем скучного человека с двумя серебряными топориками в петлице.

— Окс-капитан, у меня сопроводительный пакет и письмо к высшему Тирасу.

Скучный человек протянул из кабины руку.

— Мне поручено передать их лично.

Рука нетерпеливо дернулась. Секунду поколебавшись, Шан сунул письмо и пакет в ленивые пальцы. Рука исчезла. Взыла сирена, и тяжелый фургон с неожиданной прытью умчался по бетонному полю, оставив растерянных и недоумевающих гвардейцев на произвол судьбы.

— Я не знаю правил этикета в этих кругах, но с точки зрения нормального хамства нас встретили в Дроме сдержанно.

Они шли с летного поля не спеша — спешить им было некуда — и, получив, наконец, возможность говорить, не опасаясь быть подслушанными, не находили слов.

— Обалдуй, — сказал Шан. — Если бы знал, что буду из-за тебя так волноваться — никогда бы с тобой не связался...

— Ты волновался за меня? Или за исход операции?

— Не знаю... Я дилетант в этой профессии. Когда я услышал, как ловко тебя обезоружили, а Горон минутой позже заявил, что Бин — в его руках, я, честно говоря, думал только о том, как тебя выручить. Я был уверен, что нас раскрыли... И чуть было не наломал дров...

— Да, Горон применил старый прием: выдал за Бина беглого уголовника. И начальство это знает. Будет громкий процесс, будет показательная казнь. И да уstraшен будет всякий неотвратимостью возмездия! И ко всему прочему — новые чины и награды...

— Но такой вариант выгоден и тебе. Тебя уже не будут искать. Нельзя казнить одного человека дважды...

— Выгоден... Ты начал говорить, как Горон. А каково мне? Они лишили меня права распоряжаться своей жизнью...

— Не раскисай, Сип. Я понимаю — тебе тяжело. Но ты ничего не исправишь жалобами. Здесь нужно другое... Горон — проникательный?

— Разумеется.

— Ты все-таки когда-либо объяснишь толком, кто такие проникательные? Правящая элита или оппозиция? Народность или социальный слой? Что их объединяет? Каковы их цели? Как их узнают — по кастовому знаку, по паролю, по цвету глаз или волос? Я только и слышу: проник да проник, слышу в разных вариантах,

в самых неожиданных и взаимно исключających значениях! Наваждение какое-то!

Сип долго молчал, расшвыривая камешки с дорожки кованым носком ботинка.

— Проник... Проник есть проник... Ты спрашиваешь — правящая элита или оппозиция, народность или социальный слой... И да и нет. Вернее, ни то, ни другое. Это не вмещается в ваши земные категории. У них нет кастового знака или пароля, определенного цвета глаз или волос, внешне они неотличимы от всех остальных свирян. Теоретически они вне закона, каждому разоблаченному пронику грозит смерть. А практически весь государственный, весь административный и особенно хозяйственный аппарат Свиры — сплошные проникы. Потому что доказать, что проник действительно проник, практически невозможно... Они выходят сухими даже из любых чисток, которые устраивает время от времени Кормчий, — они получают награды за бдительность, а на яблоню попадают как раз те, кто им мешал...

— Заумь какая-то! Много страха и мало смысла. Ты что-то перегибаешь, Сип. Здесь что-то не то. И не так.

— Так, Шан. Просто это сразу трудно укладывается в голове. Мы уже привыкли, а ты — нет. Впрочем, увидишь сам. Поймешь. И привыкнешь.

— Но как ты все-таки узнаешь, что кто-то — проник?

— Спроси что-либо полегче... Как узнаю? Сам не знаю! Конечно, не по внешности. Хотя... Есть что-то, но... Вот стоит ему заговорить — сразу видно. По жестам, по поведению, по речи, по какой-то внутренней злой затаенности — на языке мед, в глазах яд... Тысяча мелочей... Трудно объяснить...

— Пытаюсь изо всех сил. Но, честно говоря...

— Стоп!

Сип приложил палец к губам. Шанин оглянулся, но ничего подозрительного не заметил.

Они потоптались у ворот аэрогавани, глаза, как перегруженный дирижабль безуспешно пытается оседлать причальную мачту. Рядом с ними остановились несколько зевак, по традиции обсуждающих промахи пилотов и их шансы причалить в такой ветер.

— Им «пернатые» помогут. У них крылышки, — ядовито хихикнул кто-то за спиной. Шан обернулся. Все с постными лицами смотрели в небо.

— Надо идти в ближайший участок ПГ и связываться с Гороном. Пусть он сам разбирается, что к чему, и какого лешего нас бросили посередине дороги...

— Не надо, септ-капитан. Все делается согласно приказу. Та команда не имела инструкций на ваш счет.

Потом, через минуту после разговора, ни Шан, ни Сип не могли вспомнить наверняка ни одной четкой черточки, ни одной особенности фигуры, ни одной броской детали одежды — какое-то смутное облако, желе, студень с бесцветным голосом.

— Кто ты такой?

Молчание. Наручные часы, где вместо циферблата — силуэт топора. Какие-то розовые бумажки.

— Вот ваши места в гостинице и суточные на неделю. Вас позовут.

Он растаял в воздухе, не оставив следа. Но еще раньше — едва он появился — растаяла толпа зевак вокруг Шана и Сипа. У жителей Дромы выработалась мгновенная реакция.

— У меня был один знакомый исследователь древней письменности. Он постоянно тренировал воображение. Нарисует две черточки и пристает ко всем: «Что это может значить?» Что это может значить?

— Только одно — даже на улице следует говорить вполголоса. А в гостинице — орать. У них паршивая аппаратура, работает с искажениями. Глупо влипнуть по вине неисправного магнитофона.

— Думаешь, нас собираются пощупать?

Вместо ответа Сип кивнул на такси, которое медленно тащилось за ними, явно желая «случайно» попасться на глаза. Они сели на заднее сиденье и молчали всю дорогу, чем весьма расстроили водителя. И только после остановки Сип вознаграждал его, громко воскликнув: «Слава Кормчему, высшие умеют ценить преданности! «Изобилие» — лучший отель Дромы. Здесь не соскучишься...»

Они стояли на тротуаре, не решаясь войти под гулкие своды гигантской пирамиды, составленной из разногабаритных полушарий. При внимательном изучении полушария оказались банальными овощами и фруктами, вернее, их циклопическими бетонными копиями. Поражало мастерство, с которым архитектор рассчитал все детали своего нелепого сооружения. Оно должно было развалиться без всякого внешнего толчка, само

по себе — но оно высилось, венчая центр столицы, и высилось, вероятно, не одно десятилетие...

— Наше «Изобилие»... Нравится?

— Впечатляет. Похоже на продуктовую сетку: того и гляди... сейчас все посыплется...

— Не посыплется. На века. Гостиница — ровесница Стального Кокона.

— Вот как. А кто архитектор?

— Тише... Об этом не спрашивают. В справочниках говорится, что «Изобилие» построено волей Правителя...

Подозрительный бритоголовый юноша, тоже заинтересовавшийся бетонным десертом, сразу заскучал и отошел.

— Леший их разберет. То ли вправду уличный бездельник, то ли... Всякие тут пасутся... Автор «Изобилия» кончил на яблоне. Сначала Правитель наградил его Медалью Бессмертия — это знак высшего отличия для работников литературы и искусства. А потом...

Фойе встретило гостей сладковатым запахом. Это было тем более странно, что большая часть храмообразного пространства была отдана растительному миру — плодовым деревьям, ягодным кустам, овощным грядкам. Строгие таблички «Руками не трогать» и защитные металлические сетки под током предостерегали, однако, заезжих лакомок от вольного обращения с этим соблазнительным великолепием.

Еще одной странностью была здесь полная невозможность уединиться и отдохнуть: человек все время находился либо в прицельной зоне загадочных клерков, глазающих из-за табличек «Закррито», либо — через стеклянные стены — под перекрестным огнем прохожих. И таблички, таблички — словно в клубе глухонемых. Метрдотель был обозначен трижды — табличкой на телефонном столбике, надписью на фирменной фуражке и разъяснением на нарукавной повязке. Он венчал собой долгий путь по зеркальному лабиринту от хмурой таблички «Вход по пропускам», через властные «Приготовь пропуск», «Разверни пропуск», «Предъяви пропуск», до мигающей светугрозы «Стои для опознания».

У таблички, удостоверяющей, что за барьером — портье, гости простояли минут десять. Портье смотрел сквозь их прозрачные тела в глубины, доступные ему одному. Робкие попытки вывести его из каталепсии

успеха не имели, и Шан довольно вятно пробормотал: «Сип, здесь нет таблички «Руками не трогать», и я сейчас попробую...» Сип наступил ему на ногу. Тем не менее портье протянул руку — ленивым жестом, как голубой окс-капитан в машине.

Розовые бумажки имели волшебную силу. В своем двухкомнатном номере-люксе гости оказались ровно через минуту, слегка обалдевшие от подобострастных улыбок носильщика, выросшего из-под земли, запаленных вздохов скоростного лифта и магнитофонной скороговорки очаровательной горничной, которая оставила после себя аромат нектара и горячий чай с какими-то желтыми орешками.

— Сказка,— проворчал Сип, оглядывая безудержную безвкусицу литерного номера.— Как щедро платит Правитель своим преданным слугам! Сто лет не спал на такой кровати...

Он плюхнулся на свое необъятное ложе, ловко поддел матрац и внимательно осмотрел группу пружинных контактов, от которых в ножку уходил красный провод. Потом включил бра на стене. Вместе со вспыхнувшей лампой в настенной стойке что-то щелкнуло и зажужжало.

— Для любителей ночного чтения,— прокомментировал Сип.— Очень хорошо видно, что читаешь...

Они обследовали номер и обнаружили массу не менее интересных вещей: радиодинамик, который не включался и не выключался; странное вентиляционное отверстие в потолке над люстрой; сушилку в ванной, которая не сушила, но трещала, как автоматическая кинокамера.

Шанину, наконец, все это надоело.

— Эти желтые орешки с чаем вызывают отличный аппетит. У нас, кажется, есть какие-то талоны в ресторан, который я заметил внизу...

— Талоны пригодятся на потом. А сейчас с помощью вот этого чека мы должны стать богатыми людьми...

* * *

Несмотря на рабочий день, улицы Дромы были многолюдны, пестры и бестолковы. Человеку, привыкшему к тишине и успокаивающей медлительности современных поселений Большого мира, здесь было

нелегко. А Шанину в мундире гвардейца было нелегко вдвойне: Дрома кишела «пернатыми», и приходилось бдительно следить за людским потоком, чтобы ответить на приветствие или откозырять самому.

Улицы бесконечно петляли, переламывались, расходились зигзагами у подножия одинаковых, как детские кубики, многоэтажных коробок, упирались в неожиданные тупики, по ним, вплотную друг к другу, скрежеща и цепляясь бортами, судорожными толчками продвигался чадающий бензиновой гарью автомобильный поток. Порой где-нибудь впереди раздавался вой тормозов и хруст сплющиваемого металла. Урчащий конвейер замирал тогда надолго, но никакая сила на свете не могла прекратить его движение совсем.

Зато людской поток на тротуарах тек безостановочно. Каждый прохожий что-то делал на ходу — жевал, сосал, курил, читал — и, может быть, поэтому на всех лицах каменела равнодушная отрешенность от окружающего. Больше всего было жующих — мужчины и женщины, старые и молодые, занятые и гуляющие — все, проходя мимо бесконечных лотков, не глядя покупали что-либо съестное и отправляли в рот. А постоянно пустеющие лотки вновь и вновь наполнялись пирожками, тортиками, мороженым, конфетными кулечками. И нельзя было остановиться, встретив знакомого, — только торопливый кивок; нельзя было оглядеться, присмотреться — «дай пройти, чего уставился»; нельзя было даже замедлить шаг — толчок в спину возвращал к прежней скорости.

— Куда мы все-таки несемся?

— Никуда. Мы уже на месте. Тут можно присесть или постоять без риска быть сбитым с ног... Когда-то здесь был Дворец Свободы — правительственная резиденция. По Слову Кормчего он был снесен и на его месте выстроен Вечный Дворец, увенчанный персональной Башней Кормчего. В ней находится его рабочий кабинет. А Вечный Дворец отдан исполняющим Слово Кормчего министерствам.

И снова пирамида, но уже не из полушарий, а из неправильных конусов, опоясавших тонкую свечу башни, зеркальный купол которой поздно вечером и рано утром полыхал языком пламени на сером небе. И снова — скульптура у главного входа: юный бог в студенческой куртке с надкушенным яблоком в руке.

— Правитель в ту великую минуту, когда он задумал

мался о судьбе Свиры и принял решение взять на плечи бремя Кормчего. Ну как? На что похоже это сооружение?

— Похоже на то, что «Изобилие» и Вечный Дворец строил один и тот же архитектор.

— Тот же? Нет... Но... Разве есть сходство? В чем?

— В характере. Во взгляде, что ли. В мастерстве... Словом, если это не он, то его ученик.

— Да...

Сип долго молчал, разглядывая дворец, словно видел его впервые.

— Да... А ведь действительно... А ты зорек, Шан. Дворец строил сын того, кто поставил злополучную гостиницу.

— И он тоже... яблоню?

— Да. Но это уже совсем другая история... Можно мне задать тебе вопрос без околичностей?

— Разумеется, Сип.

— Что ты собираешься делать?

— Сейчас? Продолжать прогулку.

— А завтра, послезавтра, через неделю?

— Наблюдать, запоминать, анализировать.

— А действовать?

— И действовать. Во всех детективных романах, которые я специально проштудировал перед Свирой, говорится, что главное в профессии разведчика — дедуктивный метод. Действие — частность, а частное по дедуктивному методу должно выводиться из общего. Следовательно, чтобы действовать, надо основательно побездействовать.

— Ты все шутишь. Тебе все это кажется пока забавной игрой. Не спорь. Ты попал в прошлое, в пройденные вами века. И ты не прочь подурочиться, уверенный, что завтра вернешься в свое время. А ведь Горон ждет, когда ты проникнешь к Правителю. И он не будет ждать бесконечно. И он не любит шутников.

— Хорошо, давай серьезно. Мы работаем не для Горона. И если говорить откровенно, я вообще не собираюсь встречаться с Правителем. Потому что меня и моих друзей интересует не то, каким образом этот древний Правитель сумел себя законсервировать на двести лет, а то, каким образом Свиря так долго держится на краю неизбежной экономической пропасти. Уверен, что Правитель не выложит ответа даже за женшень. Придется докапываться самим, изучать производство и рас-

пределение, понять положение и взаимоотношение всех классов и прослоек общества, оценить настроение и степень зрелости народа...

— Для этого надо прожить здесь две жизни...

— Чтобы уловить общее — нет. Иногда его можно почувствовать сразу, на одном дыхании. Как повезет. И как смотреть на все, что происходит вокруг. Ты здесь родился, ты ко всему привык, многое проходит мимо твоего внимания. Глаз постороннего зорче.

— Возможно... Но меня интересует одна частность — собираешься ты посещать Правителя?

— Пока нет. Пока это просто невозможно — мы стоим перед глухой стеной, и эта стена неприступна. Нужно найти хотя бы какой-то дефект в этой стене, дыру или щель, и только тогда...

— А если я знаю такой дефект?

Шан внимательно посмотрел на Сипа. Сип выдержал взгляд.

— У тебя завелись от меня секреты, Сип?

— Нет. Не завелись. Этот секрет был со мной всегда. На Свире, на Зейде, на Земле. Но этот секрет я открою только тому, кто поможет мне выполнить клятву.

— Какую клятву?

— Судить Великого Кормчего.

— Убить?

— Нет. Судить. И приговорить к смерти. И привести приговор в исполнение. Чтобы это не было убийством, нужны хотя бы двое...

Да, еще Тесман говорил, что у Бина свои счета с Правителем. И вот теперь... Отговаривать — бесполезно. Согласиться на соучастие — нельзя. Остаться в стороне — нечестно. Обманывать — подло.

— Когда и кому ты дал клятву?

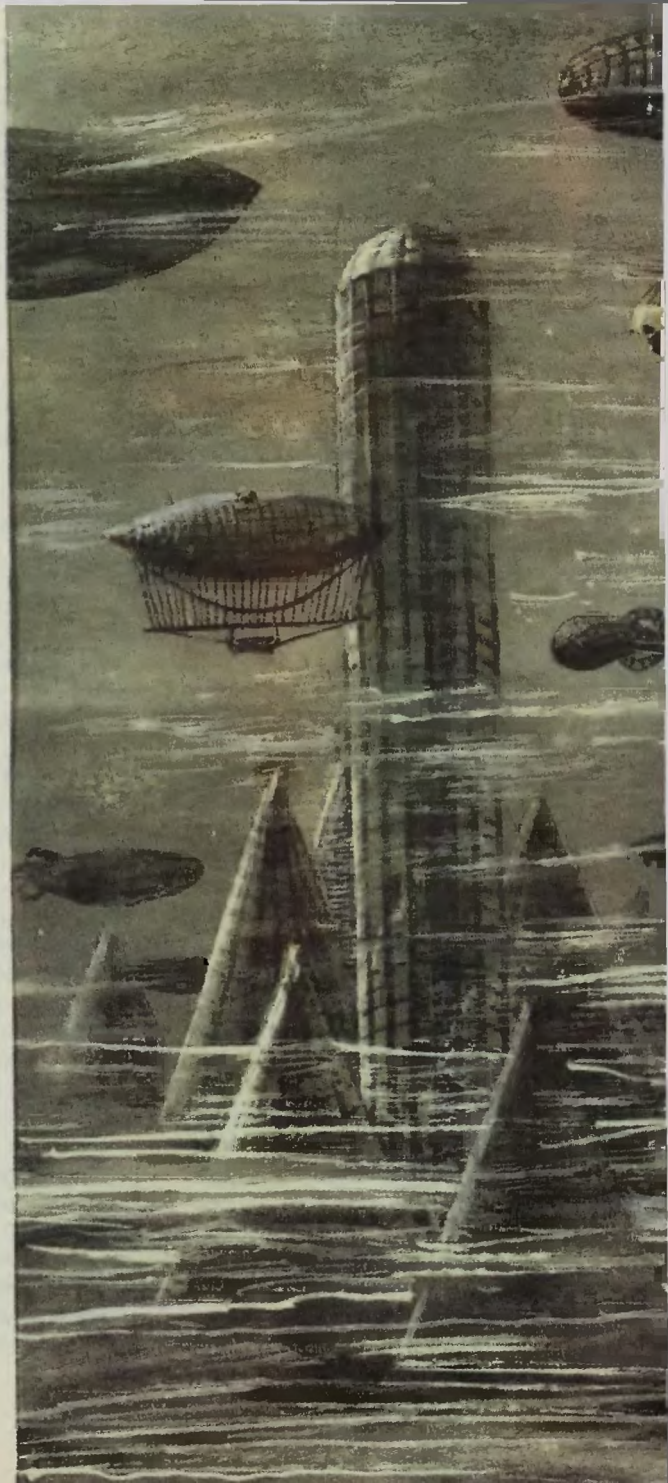
— Не надо об этом, Шан. Я забыл, что ты — человек Земли. Что ты — просто наблюдатель. Что для тебя все наши горести и беды — не более как трудный ребус, который надо решить, научный казус, который надо объяснить. Я забыл. Прости. Я не оставлю тебя, пока... Словом, забудем этот разговор. Я ничего не спрашивал.

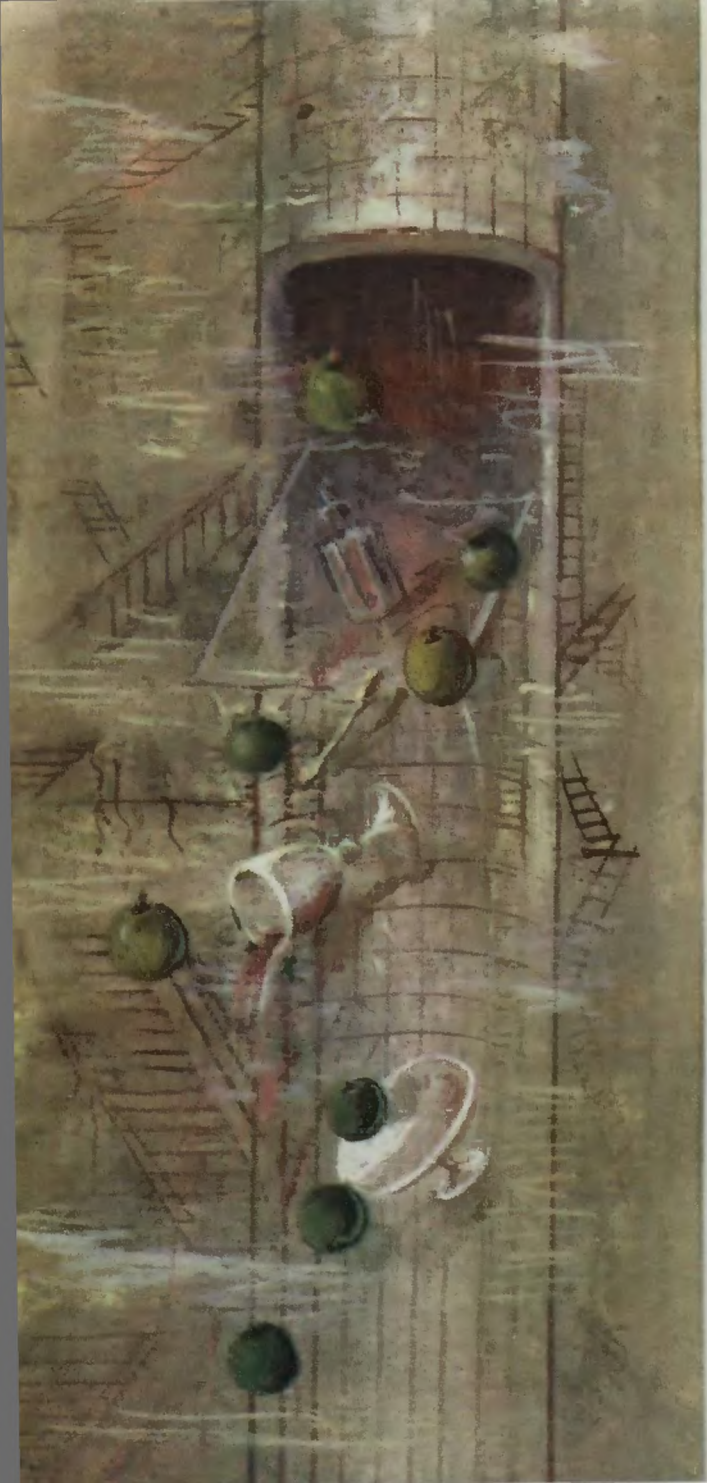
— Бин...

— Я Сип. Прежний Сип.

— Жарко. Давай выпьем пива...

Они остановились под зеленым навесом против рыбного магазина. Пожилой гвардеец с жезлом дружелюб-





но им улыбнулся и подвинул кружку, освобождая место за столиком. Улыбка в Дроме — явление редкое, и Шан улыбнулся в ответ.

— Дежуришь?

— Разве это дежурство, септ-капитан? Хочешь спи, хочешь пиво дуй. А вот я работал в Олоне, воздушные верфи там, — вот где, действительно, держи ухо востро. Известное дело, работяги — у них свой закон. Держатся один за одного, косяком, — с ними лучше не связываться. Только когда подмога пришла — присмирели малость. Да и то...

Пиво было, что называется, на любителя — цвета спелой малины, горьковато-сладкое и почти без пены. Шан взял три кружки — себе, Сипу и говорливому блюстителю порядка.

— Благодарю, септ-капитан. Многовато будет... Ну да ничего, мне уже через час меняться.

— А ты за свою жизнь в разных местах бывал, наверное?

— Да, помотался. Я все больше по охране, для страха стою. Так не стало страха теперь, даже Вечного Дворца не боятся. Шалый народ стал.

— А почему, как ты считаешь?

— От жиру. Я говорю — от жиру. Заелись, на Правителя обнадежились. Он, мол, благодетель, всех накормит. Я последнее время в глуши, в Трижах существовал — молодые затерли. Так и там — дикари, обезьяны земляные, только и могут, что свою сатуру крупноплодную сажать да выкапывать — так и те. Не хотим по шестнадцать часов работать, хотим по десять. А этого не хотите?

Заметно прибодрившись, ветеран грозно потряс жезлом, как боевой дубиной.

— А сюда меня сын перетащил, слава Кормчему. В «топорах» у меня сын... Здесь благодать. Конечно, тоже, как когда...

Что-то стряслось в рыбном магазине. Крик возмущения и боли, звон разбитого стекла, шум свалки, снова крик — тот же голос, но сдавленный, зовущий на помощь, ругань, глухие удары, снова звон стекла. Гвардеец поскукнел и прислушался, не спеша, однако, допил свое пиво.

— Опять что-то не поделили. Вот народ! Всего — выше горла, лопай — не хочу, так нет, каждый в рот соседу смотрит. Зависть, зависть... Не люблю драк. Ни-

когда не поймешь, кто прав, кто виноват — все хороши. Пакость одна.

Шанин почувствовал на себе хмурый изучающий взгляд Сипа. Ему стало неуютно. Никаких действий — это легко приказать. А если бьют женщину? Ребенка? Ты чужой, тебе все равно — утверждало молчание Сипа... Нет, дорогой террорист. Очень не все равно. Очень.

— Надо прекратить это, — Шан одернул ремень. — Пойдем, дежурный.

Они не успели. Кто-то мелькнул в дверях, пытаюсь выскочить на улицу, его перехватили, ударили спиной о притолоку, потом — мимо притолоки. Хрустнуло дверное стекло, посыпалось, окровавленное тело вывалилось на тротуар, а за ним вывалилась толпа разъяренных мужчин и женщин.

Коротышка в кожаном фартуке, увидев гвардейцев, бросился к ним:

— Это проник! Он оскорбил Кормчего! Он сказал про него такое!

Тротуар опустел мгновенно. Ни избиения, ни свидетелей — жара, звенят ситары, недопитое красное пиво на столике — и неподвижная человеческая фигура на тротуаре.

Коротышка уже сориентировался в чинах. Он прилип к Шану.

— Мне этот магазинчик после конфискации остался, почти даром — упекли одного тут. Вот я и всегда на страже. Способствую, так сказать. У меня на тайных проников нюх. Такой от природы дар имею — и все для Правителя. Я уже человек двадцать задержал, септ-капитан. Нюх мое прозвище. Вы запишите себе — Нюх с улицы Благодати...

— Готов, — подошел дежурный. — Вызвал машину, сейчас заберут...

Шанин предполагал в этот день съездить куда-либо на окраину, например, в рабочий пригород Дромы Силку. Было еще рано, до Силки часа три езды экспрессом, но они вернулись в гостиницу. Возвращались в открытом автобусе, который немилосердно дергало в ритме бесконечного автоконвейера. Люди стояли и сидели, отрешенно жуя, и согласно качались в такт рывкам. Обыкновенные лица, красивые и не очень. Добрые и не очень. Умные и не очень. Обыкновенные люди, которые полчаса назад неизвестно за что сообща убили человека.

— Ну, как дедуктивный метод,— спросил Сип, исподобья поглядывая на Шанина.— Помогает?

— Поможет. В свое время. А завтра мы с тобой должны разыскать вот этого человека. Зовут его...

* * *

— Мос Леро...

Чтобы разобрать витиеватую надпись на почерневшей медной пластине, пришлось включить поясной фонарик. Шан махнул рукой таксисту, тот, круто развернув машину, дал полный газ, и через полминуты только серая пыль висела над петлей накатанной дороги.

— Даже фары не включил. Еще врежется где-нибудь. Внизу уже совсем темно. Чудак!..

— Кто знает, Шан. Может быть, это мы начудили, отпустив машину раньше времени...

— Не думаю. Хотя, если хозяин под стать своему логову, думать о приятном отдыхе вряд ли придется...

Они звонили у бронированной калитки, врезанной в крепостной кладки каменную стенку, добрых пять минут, но за калиткой и за стеной царила нежилая тишина.

— Однако Мос Леро рано ложится спать.

Вилла пряталась на дне горной впадины, словно в стакане с отбитым верхом — полупрозрачные острые ребра кварцевых пиков перекрывали все подходы к ней. Лишь на единственной узкой расщелине выползала наверх петляющая дорога. Все ее замысловатые петли просматривались от виллы, как с вертолета.

— По-моему, этот Мос — атаман разбойничьей шайки. Иначе зачем ему такое убежище?

— Не знаю, Шан. В Дроме у него вполне ординарная квартира и, если верить соседке, приличная репутация...

Разыскать Моса Леро по адресу, данному Гороном, не удалось. Его не оказалось дома, а словоохотливая соседка не знала, куда он уехал.

Помогла хмурая консьержка. Она проводила гвардейцев медленным взглядом до самых выходных дверей и уже в спину пробубнила негромко:

— К Мосу, что ли? Давно пора... Где ж ему быть в субботу... На Синей горе вроде дача у него...

До местечка было не больше часа езды, но автобусы туда почему-то не ходили, а разбитные таксисты, гото-

вые мчатъ хоть в преисподнюю, сразу скучнели, стоило упомянуть Синюю гору... Словом, только к концу дня Шану с Сипом удалось уломать какого-то бедолагу за пятикратную цену. Машина долго кружила по окраинам и выбралась на нужную дорогу далеко за городской чертой, но по шоссе водитель погнался с такой скоростью, словно от стрелки спидометра зависело спасение его души. Судя по всему, на Синей горе он бывал, и не раз, такси уверенно выкручивалось из опасных горных виражей. Но остановился он не у самой виллы, а метрах в двухстах от нее и подъехать ближе отказался.

— Теперь наш друг уже на шоссе. Зря мы его отпустили...

Шан снова нажал проклятую кнопку.

И тогда калитка ожила.

Нет, она не открылась. Ее шероховатая окисная поверхность не шелохнулась, но на уровне глаз с тугим щелчком прорезалась треугольная бойница.

— Кто там?

— Нам нужен Мос Леро.

— Его нет, он уехал.

— А кто с нами говорит?

— Служитель.

— Значит, уехал? Жаль. А то вот его старый друг Горон велел передать ему письмо и долг в тринадцать серебряных.

— Что вы сказали?

— Горон велел передать Мосу Леро письмо и долг в тринадцать серебряных.

Калитка молчала добрых две минуты, прежде чем исторгла новый неуверенный вопрос:

— А я... Я буду иметь письмо?

— Нет. Велено передать лично твоему хозяину. Снова молчание. И снова дрожащий голос:

— Я Мос. Мос Леро. Давайте письмо в щель.

— Э, нет, так не пойдет. Докажи, что ты Мос.

— Письмо должно быть в красном конверте с буквой «М» в левом верхнем углу.

— Это другое дело. Пожалуйста.

Шанин свернул конверт трубочкой и сунул в бойницу. Бойница тотчас захлопнулась.

— На атамана не тянет. Трусоват больно,— прошептал он Сипу почти весело. Сип неопределенно пожал плечами.

Солнце давно зашло, но вечные скрещения Стального Кокона еще светились тусклым малиновым накалом. Небо за решеткой было иссиня-черного цвета, и голубым детским шаром светилась на нем Зейда — маленькая луна Свиры. Она почти не освещала окрестность, на пиках полыхали грозные отсветы торжествующей стали, но она была, она светилась, напоминая о том, что есть Большой мир, где живут по-другому...

В лицо ударил прожектор, а через десяток секунд щелчок возвестил, что калитка снова ожила.

— Я вас вижу впервые. Я вас не знаю.

— Меня зовут Шан, его Сип. В письме написано, что кроме долга мы передадим тебе предложение принять участие в сбыте силайских яблок.

— Входите.

— Выключи светильник! Ничего не видно!

— Идите прямо.

Рука Шанина попала во что-то пухлое и влажное, и это пухлое потянуло за собой прямо, направо, налево — прожектора уже не было, но перед глазамиплыли разноцветные круги, лишая возможности если не видеть, то хотя бы ориентироваться в полутемных пространствах.

— Садитесь. Кресла под вами.

Пелена рассеялась, открыв скромную комнату с тремя узкими стрельчатыми окнами, распахнутыми в сад. Вечерний ветер тормозил простенькие пестрые шторы. На некрашеном раздвижном столике стоял запотевший пузатый графин с молоком и три стакана. Из плетеной корзиночки торчали три больших ломтя черного хлеба.

Сип сидел по другую сторону стола. А в центре — Мос Леро. Его кругленькое тельце перенакачанного детского пупса без конца вздрагивало и порывалось подскочить на плетеном стуле, предугадывая малейшее желание гостей. В нем все было чуточку чересчур — чересчур честные глаза, чересчур жизнерадостный румянец, чересчур широкая улыбка, чересчур искренний голос:

— Я человек простой, без претензий, родился в глухом селении, так сказать, от земли. Очень устаю в Дроме — сутолока, гром, чад. Хочется тишины, одиночества, свежего, так сказать, дыхания. Присмотрел вот себе ложбинку с конурой. Досталась по случаю — за свои, конечно, серебряные... Но недорого, слава Корм-

чему — по государственной распродаже конфискованного имущества. И каждую субботу — сюда, в конурку свою... А что у двери вас подержал — не обессудьте. Места дикие, безлюдные — неровен час. Всякие тут шастают...

— А шастают? — успел врезаться Шан.

— Шастают, шастают, ой, как шастают. В прошлую субботу соседа там вон, за той горочкой, подожгли. Выскочил — а в него из пистолета. Хорошо, что в доме друзья были — так целая перестрелка была, еле отбились. А домик сгорел.

— Кто же стрелял?

— А ведьма их знает. Ушли все. Может, дружки хозяев бывших, может, другой преступный народ. А вы ехали — рисковали: не любят здесь «пернатых», в мундире особенно — пуля невесть откуда прилетит. Рисковали, рисковали... И срочность такая была, наверное, да? Убываете куда — в Дроме проездом, да?

— Проездом, Мос. Горон передает тебе твою постоянную долю.

— Должок, Шан, должок.

— Твою постоянную долю, Мос. И с условием.

Шан достал из-под стола маленький красный чемо-данчик, с которым приехал.

— Вот... Вот... Вот...

По мере того как на столе появлялись ампулы с про-товитом, пакеты прессованного чернука, булькающие банки сикера, золотые и серебряные амулеты, честные глаза Моса заволакивала сладкая дымка.

— Ах, Горон, Горон... Нет, старая дружба не ржавеет. Кажется, что общего: я — маленький человек, а Горон — орел, повелитель «пернатых». А не забывает Моса верный товарищ, не забывает. Говорят про него всякое, обижаются некоторые, а я думаю — зря. Большой души человек Горон, и честен, и справедлив, и нежен. А жестким бывает — так профессия такая: защитник, сторож нашего неба. Он и в «топорах» орлом ходил, как же... Я трусоват, характера не хватает, — вот и копаюсь в низине жизненной, а Горон — храбрец, он весь в небе, всегда на высоте.

— Теперь условие, Мос. Ты должен помочь нам. Нам — значит, Горону. Ясно? Мы — это Горон. Так должно быть сказано в письме. Так?

— Сказано, сказано... Но я человек маленький, я всей душой, только...

— Ты должен устроить нам встречу с Тирасом. И как можно скорее — завтра или послезавтра.

— А зачем вам Тирас?

— Ты чересчур любопытен, Мос.

— Не знаю, не знаю... Тирас — министр, второе лицо на Свире, правая рука Кормчего, а что я? Червяк! Как я могу приказывать Тирасу? Меня даже не пустят к нему! Нет, не по силам мне, не по силам. Рад бы услужить старому другу Горону, за подарочек отблагодарить, но... Не смогу, не смогу, что другое, а это не смогу. Конечно, если кое-кого попросить, раскошелиться. Да и то вряд ли. Конечно, если Горон не постоит за расходами... Так это еще столько же надо.

— Ты загнул, Мос. Столько же — чересчур. Половина — куда ни шло. Еще половина!

— Да разве я себе? Я же для людей, мне самому ничего не надо. Тирас ведь не пешка какая. И срочность к тому же. А вдруг Тирас заупрямится, спросит — зачем я им нужен? Что я скажу?

— Мос, ты получил хороший подарок от Горона. Тебе показалось мало. Я добавил еще половину — от себя.

— Я не вижу второй половины.

— Вторую половину ты увидишь после того, как скажешь, когда и где мы встретимся с Тирасом.

— Тирас не пойдет на пустой крючок. Я должен передать ему предложение. А что я ему скажу?

У Шанина пересохло горло. Не спрашивая разрешения, он налил себе полный стакан ледяного молока. Мос услужливо пододвинул хлеб, и это окончательно доконало Шана. Он отставил стакан. Резиновый пупс был неуязвим. Он мгновенно вывертывался из любых положений. И радужная улыбка по-прежнему цвела на его ярко-пунцовых губах. Сип тоже ухмылялся, наблюдал за поединком. И Шан пошел последним козырем — сунул прямо под нос Мосу корешок женьшеня.

Мос вдохнул и забыл выдохнуть.

— Это не тебе. И не Тирасу. У вас не хватит серебряных, чтобы отколупнуть полкусочка от этого корешка. Это — для Кормчего. Ты понял, какая идет игра?

Мос превратился в шар.

Сип перестал ухмыляться и отодвинулся от стола, чтобы были видны обе двери, ведущие в комнату, и как бы невзначай положил руку на пояс с пистолетом.

— Но зачем... зачем вам... зачем нам... нам... Тирас?

— Может, ты сам проведешь нас к Правителю? — со всем возможным сарказмом отпаривовал Шан, беря реванш за час изнурительного словоблудия. — Сам — без Тираса?

Но Мос подскочил, будто не обратив внимания ни на издевку Шана, ни на позу Сипа. Он покатился к внутренним дверям, возбужденно подпрыгивая и одергивая дешевенькую клетчатую пижаму, распахнул их настежь и закричал тоненько:

— Лира! Лирочка! Вставай, детка, мы стали с тобой за счастливых людей — мы имеем дорогих гостей! Чудесные, воспитанные люди! Вставай, мое солнышко, мы будем праздновать из их визита! До самого утра!

И он воздел свои бескостные ручки, приглашая гвардейцев внутрь дома.

За толстыми дверями двойной доски был иной мир. Огромная паукообразная театральная люстра, отсвечивая масляным золотом и позванивая хрустальными подвесками, щедро высвечивала каждый уголок антикварного интерьера: инкрустированный перламутром и розовой слюдой потолок; застывшие волны парчовых портьер, за которыми неярко мерцало золотое плетенье противомоскитных сеток на окнах; необъятные лебяжьего пуха кресла на ножках-копытцах; древние, ручной работы ковры, которые сделали бы честь любому музею, старые картины — подделки под земных художников и местные шедевры, собранные, правда, не из-за живописных достоинств, а как иллюстрации к мифологическим сюжетам; несколько огромных фолиантов в переплете из красного сандала с золотыми застежками, разностильные пуфики, качалки, лежанки, кушетки; медвежьи шкуры вокруг низкого, едва в локоть высоты, необъятного круглого стола из черного эбенового дерева, хрустальные вазы и кубки: тонкий фарфор узкогорлых кувшинов; майолика, резьба по кости, серебряное тиснение, тонированное чернью...

— Это — тайна моего сердца, высокие. Я имею это не для того, чтобы жить, а живу, чтобы иметь это. У всех свои слабости, высокие. Тишина, свежий воздух, красивые и ценные вещи... Вдали, так сказать, от грубого глаза человеческой зависти... Зачем лишний раз дразнить соседей, напоминать им, что они неудачники, простофили, недотепы? Здесь в каждой вещи — мой подвиг, моя борьба, моя месть и победа... Месть и победа, о которых не знает никто... Ну как?

— Потрясающе. Действительно потрясающе. Даже мороз по коже.

— Если бы я сказал тебе, сколько это стоит, тебя бы сожгло пламя, Шан. Но я не хочу твоей смерти. Вы — мои гости, и мы будем праздновать. Ты поймешь, что с Мосом можно делать дела.

В Дрому возвращались на рассвете. Под обшарпанным капотом неказистой машины Моса оказался новенький супермотор двойной тяги, а под задним сиденьем — станковый пулемет. Все четверо оживленно болтали о погоде и летящих мимо пейзажах.

Дрома еще спала. Тишину нарушали только всхлипы дворничьих щеток да урчание мусоросборщиков.

Мос высадил гвардейцев за квартал до «Изобилия».

— Нечего мозолить глаза... Значит, как договорились, Шан, встречаемся сегодня в три на центральном стадионе, ты имеешь с собой вторую половину подарка, а я — место и время вашей встречи с Тирасом. Я приду после начала скачек и сам найду вас.

И, уже собираясь трогаться, снова поманил Шанина пальцем.

— Тираса я вам обеспечу, это точно... Берите его за рога. А если не выгорит — не беда. Я человек маленький, но я кое-что могу. Вам без Моса не обойтись, потому что даже высшие и высшие из высших не бывают там, где бывает Мос. Мос Леро, старший сантехник Вечного Дворца.

5. Часть дезактивная

До начала скачек оставалось минут десять. Шанин разглядывал трибуны Центрального стадиона Дромы. Привыкший к пестроте и буйству земных стадионов, он не без удивления отметил благопристойную тишину под солнцезащитными тентами и обходительную неторопливость болельщиков. Присмотревшись, он понял причину: на стадионе не было молодежи, трибуны не спеша занимали люди за тридцать и далеко за тридцать — чаще разряженные по-воскресному зрелые семейные пары с выводками разновозрастных малышей. Они проходили на свои места, груженные пакетами, основательно устраивались и начинали немедленно что-либо жевать, озираясь и с чувством собственного достоинства приветствуя знакомых.

— Это место свободно?

— Свободно,— опередил Шанина Сип. Шанин толкнул его под бок:

— Разве Сип забыл, что место для Моса? — Сип успокаивающе кивнул — знаю, мол.

Болельщик, ищущий места, повел себя странно. Вместо радости на его лице появилась тревога. Он подозрительно оглядел гвардейцев и задом стал выбираться из ряда.

— Что с ним?

— Все правильно. Психологический этюд. Если бы я сказал «Занято», этот тип немедленно бы уселся, доказывая, что надо приходить вовремя и неизвестно еще, придет сюда вообще кто-нибудь. А если говорят «Свободно», свирянин задумывается — почему все места заняты, а это свободно? Значит, или гвоздь в сиденье, или ножка скамьи сломана, или еще какой подвох. И предпочитает разыскивать другое место. Так что не беспокойся — теперь, кроме Моса, к нам никто не подойдет.

Стадион заволновался, заплодировал. На травяную дорожку выходили опоясанные лентами и увешанные медалями участники, таща за собой на серебряных уздечках упирающихся горбатых козлов. Эти косматые монстры пустыни, кроткие в покое и смертельно опасные в ярости, часто потряхивали рогами, способными одним ударом переломать кости песчаному тигру. Они привыкли к своим хозяевам, присутствие посторонних одновременно пугало и бесило их.

Ожили тарелки медных радиодинамиков.

— Внимание! Внимание! Через несколько минут вы станете свидетелями исторического события — вы увидите финальный этап 51-го первенства планеты по скачкам на чужом горбу. Это древнее, истинно свиринское мужественное состязание, как известно, проводится раз в четыре года. Вспомним с уважением имена Караба и Ярис — они создали теорию этой игры, вспомним их последователей — они среди всеобщего непонимания претворяли теорию в практику, вспомним с благодарностью высокое Слово Кормчего — оно сделало скачки на чужом горбу неотъемлемой частью нашего быта! Скольких людей прославило это достойное занятие в прошлом и настоящем, скольких прославит оно в будущем! Еще живы ученики и последователи великих основателей любимейшего бессмертным народом

Свиры зрелища, а уже возникли новые школы, и изустная молва создает легенды вокруг новых любимцев...

Удивление Шана возрастало. Необычно вели себя не только зрители, но и участники скачек. Они собрались на стартовой площадке тесной кучкой и вступили в оживленную беседу. Искренние улыбки, дружеские рукопожатия, даже объятия и поцелуи. Каждый по очереди рассказывал что-то смешное, и рассказчика награждал дружный хохот. Все участники были одеты в цветные комбинезоны из «чертовой» кожи со множеством вшитых стальных колец по всему телу. У всех были палки неодинаковой длины, которые Шанин принял сначала за плетки.

— Это не плетки, это чины, — коротко и непонятно объяснил Сип. — На конце каждого чина — крючок. Надо взять противника на крючок, то есть зацепиться чином за какое-либо кольцо на комбинезоне. А когда противник на крючке, его легко сбить.

— А почему чины разной длины?

— Таковы правила. Чины разыгрываются по жребию.

На поле выбежал еще один участник. Весь стадион, как один человек, вскочил на ноги и разразился овацией. Коллеги с воплями радости бросились к товарищу и задушили бы его в объятиях, если бы не вмешательство бокового судьи.

— А вот и Хид Одуй, супернаездник, гроза чужих горбов, баловень судьбы, три раза подряд выигравший Всепланетное первенство. Одуй — идеальный свирянин. Такие прямодушные достойны венца! В руках Хида вы видите самый длинный чин — по правилам, он достается победителю прошлого первенства без жеребьевки... Внимание! Сейчас прозвучит сигнал старта!

Трибуны замерли, а на поле ничего не изменилось. Струдившись и обнявшись за плечи, спортсмены трювили анекдоты и без усталости хохотали. Козлы с личными номерами участников на лохматых боках разбрелись по дорожке и лениво щипали травку.

Грохнул орудейный залп — сигнал к борьбе.

И тотчас, без всякого перехода, среди участников началась потасовка. Претенденты на венец били друг друга как попало и чем попало — кулаками, ногами, чинами, головой — падали и поднимались, били каждого, кто пытался вырваться из узкого круга, и каждого, кто оставался в кругу, били сообща и порознь. Нако-

нец Хиду, у которого был номер девять, и кому-то с шестнадцатым номером удалось вырваться. Шанин ожидал, что эти двое тоже схватятся, но снова не угадал — Одуй даже помог подняться шестнадцатому, когда тот споткнулся. Оба плечом к плечу бросились ловить чужих козлов.

Драка в общей группе тоже немедленно прекратилась. Толпа ринулась в погоню за сбежавшей парой.

— Раскол,— констатировал Сип.— Лидеры и оппозиция. Внутригрупповая борьба сменилась межгрупповой. Внутри групп — мир и согласие.

Одуй и его союзник замешкались — козлы, храня верность, приняли новых хозяев рогами и копытами. Пока ловцы пытались оседлать непокорных, основная группа настигла их. Снова началась свалка, на этот раз при активном участии рассвирепевших животных.

Исход новой схватки решился находчивостью Хида. Он оседлал своего собственного козла и, воспользовавшись секундой недоумения, бросил его на толпу. Ему удалось отрезать от толпы человек пять. Доведя козла до бешенства, он прикрывал группу новых союзников, пока все пятеро не оседлали приглянувшихся горбачей. И потом пятерка встала на охрану Хида — на этот раз ему повезло и он оседлал чужой горб с первого раза.

— Правильный ход,— комментировал Сип.— Опыт показал, что группа из двоих не способна противостоять большинству. Одуй увеличил группу лидеров до шести — шестерка вполне боеспособна. Сейчас их задача — оторваться от главной группы и закрепить успех. А еще говорят, что у Хида нет извилин.

Действительно, шестерка в отчаянной круговой обороне прорвала пешее кольцо, пытавшееся взять их на крючок поодиночке. Хида дважды чуть не стащили с горба, но союзники выбивали чины у нападавших и подминали их копытами козлов. Одуй, в свою очередь, своим длинным чином выбивал всякого, кто пытался по их примеру воспользоваться незанятой скотиной.

Шестеро выбрались на дорожку и пустили своих рогатых «иноходцев» во весь опор. Главная группа была деморализована. Человек семь, в том числе и шестнадцатый, лежали на земле без движения, и к ним, увертываясь от обалдевших спортсменов и козлов, пробивались санитары с носилками. Кое-кому удалось все-

таки заполучить чужой горб, и они трусили поодиночке за лидерами, вырвавшимися далеко вперед. Кто еще мог драться — дрался, уже не за обладание козлом, а по инерции. Драчунов растаскивали боковые судьи и уводили под циркулярный душ.

— Шестерка вне конкуренции. Скоро они начнут выяснять отношения между собой.

— Кстати, Сип, Моса-то все нет.

— Придет. Мос не упустит чужого козла.

Шанин оглядел трибуны. От бывлой благопристойности осталось весьма немного: красные, потные отцы семейств срывали галстуки, визжали и вопили, разнокалиберные матроны сладострастно ахали при каждом точном ударе или явном промахе, дети с родительского благословения седлали и кусали друг друга, подражая бойцам на поле. Их возили сюда в воспитательных целях, учиться жить — и они учились.

А события на дорожке развивались.

Лидеры мчались монолитной шеренгой, но постепенно вперед стал выдвигаться пятый номер. Его высокий кругогрудый горбач был явно резвее других, он опережал шеренгу почти на корпус. Наконец одиннадцатому удалось зайти пятому за спину — лишь на мгновение, но мгновения было достаточно, чтобы взять на крючок выскочку. Одиннадцатый рванул в сторону — соперник оказался на земле. Освобожденный козел с удвоенной энергией метнулся вперед, но не тут-то было. Одновременно две руки с двух сторон схватили его за серебряную уздечку — рука Хида и рука одиннадцатого. Козел встал на дыбы. Оба претендента повисли на нем. Протасив смельчаков за собой еще метров двадцать, козел остановился, взрывая и роя копытами землю.

Оставшиеся допустили тактическую ошибку. Они решили, что самые опасные противники уже вышли из игры. Вместо того, чтобы воспользоваться заминкой и оторваться на безопасную дистанцию, они затеяли драку задолго до финиша, едва выбравшись из общей кучи.

Одуй и одиннадцатый среагировали правильно. Забыв тяжбу, они оседлали козла-фаворита вдвоем. Козел выдержал груз и после двойного укола чином даже пошел в галоп.

— Двое на одном горбу! Феноменально! Такого еще не было в спортивной истории Свиры! — захлебыв-

вался диктор, стараясь перекрыть беснующиеся трибуны. — Хиду Одуи и Дани Лиар остается последний виток спирали до финиша! Они еще обнимаются! Может быть, они решили поделить приз пополам? Но венеч не влезет на две головы!

Нет, они не собирались ничего делить. Схватка была короткой и эффектной. Одуи, сидящий сзади и обнимавший Лиара за талию, ловким движением перенес руки ему на шею и стал душить. Обмякшее тело завалилось набок и мешком соскользнуло вниз.

— Снова — Хид Одуи! Он снова обскакал всех! В четвертый раз! Шестнадцать лет безраздельного господства над чужими горбами! Ему, согласно правилам игры, по Слову Правителя будет вручен сегодня высший знак отличия — пожизненный Золотой Чин! Он достоин этого! Мы преклоняемся перед тобой, Одуи!

Одуи, блестя вставными челюстями, раскланивался, махал над головой наспех забинтованной рукой, посылая воздушные поцелуи.

Теперь начал беспокоиться Сип.

— Мосу пора бы появиться. Дело идет к концу.

Они стойчески досмотрели всю почетную процедуру вручений, посвящений и награждений, а Мос все не появлялся.

Не появился он и тогда, когда самые любопытные болельщики полностью удовлетворили свою страсть и потянулись к выходу.

Шан и Сип посидели еще минут пять на пустой трибуне. Больше ждать не имело смысла. Они тоже направились к центральной лестнице.

У ворот Сип наклонился к Шанину и что-то ему прошептал.

— Это мысль!

Перед тем, как выйти из ворот, они зашли на минуту в туалет. Седенький старичок, который шел впереди и уже миновал арку, вернулся, нервно потоптался на месте и тоже толкнулся в дверь с двумя нулями. В дверях он налетел на Сипа и Шана, извинился и юркнул внутрь. Шан переложил красный чемоданчик из левой руки в правую.

— Хвост... Мос испугался, ясное дело. Если бы нам дали достаточно времени — обошлись бы без него. И без Тираса, который о нас, кажется, забыл...

Но о них помнили.

Шан проснулся среди ночи с ощущением, что кто-то ходит по темной комнате. «Сип!» — окликнул он, но никто не отозвался. Он потянулся к сонетке, но чьи-то пальцы вывернули запястье и заломили руку. Коротко охнув, он упал лицом в подушку. Кто-то схватил его за волосы, приподнял. По глазам резанул белый свет.

— Где ты прячешь его, собака? Где? Говори, иначе... Где?

Удар по лицу.

— Куда спрятал? Говори, собака, или прикончим! Где?

Шан захрипел. Его бросили на кровать с вывернутой рукой и рассеченной губой, он ничего не понимал. Голова гудела и кружилась. Отдышавшись, он освободился от скрученного одеяла и сел. По комнате метались яркие пятна фонарей. Вывернутое из чемодана белье. Кожаную папку драли на узкие полосы. Вывертывали карманы мундира. Разбили графин с водой, вода полилась со стола на ковер. Вывернули платяной шкаф и простучивали углы. Что-то делали в ванной, время от времени пуская воду. Судя по шуму, в комнате Сипа творилось нечто подобное.

— Эй, кто вы такие? — Я — септ-капитан полицейской гвардии.

— Очухался?

Свет снова ослепил Шана.

— Слушай, милок, и думай, пока жив. Если ты сейчас не выложишь нам эту штуку, здесь останется тишина и два свежих трупа. А мы уйдем, как пришли. Усек?

— Усек. Далеко не уйдете. У министра государственного милосердия высшего Тираса длинные руки. Мы здесь по его приказу.

В темноте раздались смешки и откровенный хохот. Щелкнул выключатель. В комнате было человек пять в голубых комбинезонах и странных зеркальных шлемах, скрывающих верхнюю часть лица. Тот, что стоял против Шана, отогнул лацкан куртки. Сверкнул золотой топорик.

— Марш в машину!

— Может быть, лучше в брюках?

«Топор» ткнул под горло вроде не очень сильно, но

дыханье вернулось к Шану только возле зарешеченного оконца, на деревянной лавке в душном фургоне.

Где-то близко застонал Сип. Шан нашел его ощущеньем — с него стекала вода. Шан вспомнил странные звуки в ванной.

Сип ободряюще похлопал его по руке.

Они ехали, временами включая сирену и пугая ночной город. Потом долго стояли. В зарешеченное оконце ничего видно не было.

Лязгнул засов. Им толкнули еще двоих: мужчину, который, переломившись пополам, однотонно мычал от боли, и совершенно голую женщину. Женщина ничего не соображала. Наткнувшись в темноте на колени Шана, она вцепилась в них, прижавшись животом и грудью, и так ехала всю дорогу. Шан попробовал поднять ее с пола и посадить на лавку, но она начала отчаянно отбиваться.

Их растолкали по одиночкам. В узком — метр на два — бетонном блоке не было ничего, кроме откидного брезентового стула.

Прошло часа три.

Выпустил Шана очень чистый и очень вежливый человек в штатском, перед которым охранник в коридоре тянулся, как пружина.

— Я прошу простить нас, септ-капитан. Произошло досадное недоразумение — это остолопы перепутали номера. От имени министра и Правительства прошу забыть инцидент. Моральный и физический урон будет вам компенсирован. Я прошу вас пройти в комнату. Там ваша одежда, вы можете привести себя в порядок. Прошу вас.

Шанин мог бы и поверить. Но Шан заметил на сгибе пальца вежливого штатского перстень, печать которого чувствовал на разбитой скуле.

В комнате был стол, аккуратно выглаженный и развешанный на плечики шанинский мундир, горячий чай с орешками, умывальник и Сип, который разглядывал себя в зеркало.

— Принесли извинения?

— Да. Тот же тип, что...

Сип приложил палец к губам.

— Одевайся и прихорашивайся. Если мне не изменяет интуиция, скоро мы будем беседовать с министром милосердия.

Он оказался прав. Еще один штатский, уже не просто вежливый, а источающий благожелательство, попросил, если не очень устали, немного подождать. Сам высший Тирас, с раннего утра пребывающий на посту, хочет удостоить их личной беседой. Они, конечно, могут отказаться, но министр так занят. Иное время для беседы найдется у него не скоро.

— Пожалуй, мы подождем немного, — серьезно сказал Сип. — Нам тоже хочется поскорее увидеть высшего Тираса. И у нас тоже времени в обрез — дела, дела.

Ждать пришлось недолго, не больше получаса. Но путь к Тирасу оказался не прост. Гостей из Силая конвоиры передавали как ценную посылку — из рук в руки, расписываясь в сдаче и получении. Тайные и явные лифты то загоняли их под землю — там в коридорах ощутимо пахло плесенью, — то возносили на высоту, в окна синело.

Шан давно потерял ориентацию в пространстве и удивлялся Сипу, которого охватило непонятное возбуждение. Сип то норовил выглянуть сквозь неплотные створки в лифтовой ствол, то, к неудовольствию сопровождающих, прилипал к какому-то вполне ординарному углу, то подсказывал к бойницам-окнам коридора. Раз за два он принимался что-то считать, загибая пальцы. И его расчеты, видимо, шли удачно. Сип повеселел.

Их вели неофициальным ходом, через огромные залы технических служб с телетайпами, похожими на станковые пулеметы, и счетными машинами, обрабатывающими сверхсрочные материалы подслушивания и подсматривания. Здесь почти не было мундиров — черные тройки, серые пиджаки, белые халаты. И кончили они путь не в приемной с секретарем и телефонами, а в белой игровой комнатке с цветами, низкими креслами и софой, накрытой шкурой песчаного тигра.

Здесь Шана и Сипа оставили вдвоем.

Сип, едва сопровождающий вышел, полез на стенку — отнюдь не в фигуральном смысле слова. Стены были обиты белым бархатом и не простукивались. Сипу пришлось отодрать часть обивки, но он нашел то, что искал. Одна из стен звучала явно глуше других, словно за звонким бетоном был войлок.

— Башня Кормчего, — прошептал он зачарованно. — 308-й распор 9-го яруса...

Шанин понимал, что Сип обнаружил что-то важное, но вопроса задать не мог. И боялся, что не-

сдержанный силаец вызовет подозрение — в том, что за ними следили, не было сомнения. И он постарался попасть в тон Сипу.

— Вечный Дворец... Утес бессмертия и справедливости, который вырос вокруг Башни Правителя на благо Свиры... Здесь можно стать поэтом...

— Можно, — Сипом совсем некстати овладело веселое бешенство. — Нужен только дефект, совсем маленький дефект. Слева под грудью. В сердце...

И Сип снова полез на стену — на ту самую стену, на которой был выложен цветной мозаикой поясной портрет Кормчего — затуманенный думами взор и белая тога, открывающая мускулистое левое плечо и часть богатырской груди.

— Приятно видеть гвардейца, увлеченного чем-то вечным, — пропел грустный низкий голос. — Ты давно интересуешься живописью, Сип?

В проеме маленькой потайной двери стоял Тирас. Его благородное открытое лицо без морщин, печальные серые глаза и аккуратно зачесанные назад седые волосы снежной чистоты как нельзя лучше подходили к титулу «министр государственного милосердия». Он был очень похож на портретные изображения Кормчего. Возможно, художники, лишенные натуры, безотчетно вносили выразительные черты Тираса в абстрактный облик Великого Правителя. А возможна и другая причина.... Нет, это было бы слишком просто. И все равно не объяснило бы главного.

— Ты давно интересуешься живописью, Сип?

— С детства, высший.

Да, Сип явно переменялся за последние дни. Он никогда не был трусом, но раньше в его смелости была угрюмая обреченность. А сейчас в нем была уверенность и вызов. Для простого сержанта это было чересчур необычно. И самое главное, что эта уверенность в тайной власти смущала и пугала имеющих явную власть. Они терялись перед нахальным сержантом. Вот и сейчас Сип не отскочил от мозаики, не вытянулся в струнку перед вторым человеком Свиры, не затрепетал под его ледяной улыбкой — и Тирас, поколебавшись, уступил, даже замечания не сделал.

— Наверное, любовь к живописи у тебя наследственная?

— Возможно. Я не знаю своих родителей. Как многие в Силае.

— У всех сирот Свиры есть один великий родитель. Благодаря ему они не знают горя, а только радость от служения обществу.

— Да, на Свиры многого не знают благодаря Правителю...

Тирас счел возможным пропустить мимо ушей опасную дерзость.

— Чудесный портрет... И какое сходство! Но это копия! И к тому же с дефектом. Вот здесь идет трещина. Я залил ее эпоксидным клеем, и она теперь почти не видна. — Но — дефект есть дефект! Оригинал у меня в кабинете. Он больше по размеру — в полный рост и совершеннее по колориту. Полный эффект присутствия. Постоянное ощущение, что за твоей спиной не портрет, а сам Правитель. Вот что делает настоящее искусство... Кстати, Сип, ты знаешь, кто автор этих шедевров?

— Знаю.

— Знаешь... Воистину неисповедимы пути знания! Даже воля всемогущего бессильна преградить их, признаться. Имя таланта — пусть запретное, пусть грешное — ведомо избранным. А Кокиль Уран был талантлив, очень талантлив... Ты где учился, Сип?

— В Силае, высший.

— В Силае? Странно. Такая эрудиция, такая интеллигентность — и Силай. Впрочем, возможно, голос крови... Великая вещь — голос крови. Тебе, конечно, известно, что государственный преступник Канир Уран по прозвищу Бин — внук Кокиля Урана, великого художника и преступника?

— Его казнили?

Тирас словно не замечал Шанина. Был он не в мундире, а в строгом сером костюме с голубым галстуком, и вел себя так, словно решил отдохнуть от дел, поболтав со старыми знакомыми. Пока, правда, он обращался только к Сипу, — но Шанин чувствовал, что каждое слово этой странной беседы направлено рикошетом в его сторону.

Шанин ждал встречи с Тирасом и готовился к ней. Она должна была решить многое — если не все. Тайна Правителя, тайна Свиры обитала где-то здесь, рядом с Тирасом, и Тирас владел этой тайной — иначе быть не могло. Надо было приручить Тираса. Любой ценой.

Но пока все шло наоборот. Инициативой владел Тирас. Он вел какую-то свою игру, цель и смысл которой открывать не спешил.

А Сип... Сейчас он — плохой союзник. Во-первых, он крайне взвинчен и насторожен. А во-вторых... В таком деле можно работать лишь спиной к спине, безраздельно доверяя друг другу. Шан доверился Сипу. Сип Шану — нет. В результате даже Тирас знает о Бине больше, чем Шан. И если эти скрытые Сипом детали родословной соотнести с его поведением в последнее время, многое становится яснее, а многое — загадочнее. Как это трудно — в чужом мире, когда приходится разгадывать не только врага, но и друга. И еще неизвестно, чей удар — обдуманный выпад врага или неосторожное движение друга — окажется роковым...

— Его казнили?

— Да нет, Сип, его не казнили. С ним еще придется повозиться моим медикам... Трудный случай... Полная амнезия...

— Вы хотите заставить его вспомнить свою биографию?

— В этом нет надобности. Биографию Канира Урана, который уже к тридцати годам был незыблемым авторитетом в области электроники и прикладной физики, а в сорок — приговорен к смерти за покушение на Великого, мы знаем лучше самого Бина. Но его мать и отец, которых Бин никогда не видел, обладали одним семейным секретом. Секретом огромной государственной важности. У меня есть сведения, что им владел и Бин, хотя, на первый взгляд, это попросту невозможно. Супруги Ураны скончались... м-м-м... под нашим наблюдением. Связи с внешним миром они не имели. А Бин в то время даже не подозревал об их существовании. О том, кто его родители и как они кончили, он узнал только через несколько десятков лет. Мои медики пытаются выудить золотую рыбку из мертвого моря, из головы того, кто был когда-то Бином...

— Зачем вы рассказываете нам все это, высший? Государственная тайна — не для любопытных ушей. Даже если это уши полицейских гвардейцев. Зачем нам знать про Бина? Мы свое сделали — отдали его в твои руки. Мы не медики...

Тирас, словно не слыша, подошел к портрету, провел мягкой ладонью по нетускнеющим срезам камня, смахивая несуществующую пыль. Постоял с лицом че-

ловека, изучившего за долгие годы каждую пядь, каждый слип, каждый скол изумительного сочетания естественных и искусственных линий мозаики.

— Дорого бы я дал, чтобы вывести фамильный секрет Уранов. Никто из вас, даже сами Ураны, даже этот несчастный Бин — никто на свете, кроме меня, не может хотя бы представить цену этому секрету. Дорого бы я дал за него.

И он вдруг пружинисто вышел на Шанина.

— А ты, Шан? Ты — дорого?

— Я? Я — ничего. Это меня не касается.

— Брось. Не надо. Мы все трое — интеллигентные люди, мы — аристократы духа, мы выше тайн и махинаций. Не будешь же ты утверждать, что тебя интересуют деньги? Кто тебе поверит?

— Горон.

— Горон... Мой лучший друг Горон — просто мелкий жулик с чрезмерным аппетитом. Он — плебей. Он неспособен на крупное дело. Настоящее дело, достойное гения...

— Горон прислал тебе, высший, ящик особого силайского пива.

— Протовит? Премного благодарен. Протовит вместе с остальным вашим багажом стоит у меня в кабинете. А больше Горон ничего не передавал? Более интересного?

— Нет, высший.

— Странно... А как насчет красного саквояжа?

Тирас не кривлялся. Его красивое лицо было сосредоточенно, как у боксера, ведущего атаку. И в серых глазах, которые принято называть стальными, не было злобы — он просто следил за жертвой, пресекая попытки спастись или перейти в контратаку.

— Не хотите отвечать? Не надо. Я уже знаю, что настоящий саквояж остался у Горона, а у вас — подделка. Не скрою — я думал, что ты явишься в Дрому с настоящим саквояжем. Но Горон решил меня перехитрить. Старый трупоед. Итак, ситуация на сегодняшний день такова: красный саквояж у Горона, ключ от него — у меня. Ведь так, Шан?

— Я не знаю, о чем ты говоришь, высший?

— Я могу напомнить... Ночь. Контрабандная «телега», которую задерживают сторожевые катера. Ваша встреча с Гороном. Ты отдал ему на хранение красный саквояж, добытый за Стальным Коконном. Саквояж, ко-

торый открывается только твоим мысленным приказом. Горон делает тебя и Сипа «пернатыми» и героями поимки давно уже пойманного Бина. И отправляет в Дрому, где вы должны одурачить высшего Тираса ящиком протовита и проникнуть туда, куда не проникал никто за всю историю Свиры.

— Ты знаешь все, высший.

— Я знаю много, но не все. Я не знаю, например, что в красном саквояже. Как видишь, я откровенен с тобой.

— Там нет ничего, что повредило бы Свире, высший.

— Это не ответ.

— Пока я не могу ответить иначе.

— Хорошо... Тогда я задам другой вопрос: зачем вы явились в Дрому?

— Нам нужно видеть Кормчего.

— Видеть Правителя... Скромное желание видеть Правителя... Так нет, дорогой Шан, я, высший Тирас, правая рука и гранитная опора Великого, никогда в жизни не видел Верховного правителя Свиры и никогда не слышал его голоса. И самое горячее мое желание — нет, главная моя цель — видеть Правителя! Видеть! Своими собственными глазами — бога ли, чудовище ли, гору всеведающей протоплазмы или обросший проводами автомат абсолютной власти — видеть! Прикоснуться руками! Осязать! Даже ценою жизни — видеть!

Он выбрасывал слова, как тугие кожаные перчатки, не повышая голоса, не теряя дыхания, скользя неслышно по белой комнате, как по квадрату ринга, — он вел бой, но его противником был уже не Сип и не Шан, а тот, кто возникал из мозаичной стены, путая реальность и фантазию.

— Правитель! Вы хотите видеть Правителя! Вы хотите видеть то, что не может существовать, но существует вопреки здравому смыслу! Зачем вам это? Зачем? Зачем рисковать жизнью ради праздного любопытства? Бросьте ломать комедию! Я знаю, что вам надо. Я догадываюсь, кто вы. Вы оба — такие же контрабандисты, как я — министр милосердия. Играть со мной в дурачка бесполезно. Вас выдает порода...

— Ты идешь по ложному следу, высший.

Это вмешался Сип.

— Я? Ты самонадеян. Не отказывай и мне в спо-

способности мыслить логически. Почему Горон, поймав Бина, не отправил его сразу в Дрому? Ведь его ждала награда! Нет, он поджидал вас и красный саквояж... Ведь не станете же вы доказывать, что ваша встреча с Гороном на орбите — случайность? Это раз. Вам удалось то, что не удастся моим медикам, — вытрясти из мертвой памяти Бина фамильную тайну. Помолчи, Сип, помолчи — ты недаром околачивался в Дроме по картинным галереям. Тебе надо было узнать, в какой части Вечного Дворца находится дверь в Башню Кормчего. Единственная дверь, которая открывается снаружи, а не изнутри, как остальные. Дверь, которую преступный гений Кокиля Урана замаскировал одним из настенных портретов Великого... Ну что, Сип? Ты уже ничего не хочешь сказать?

— Пока нет, высший.

— Тебе нечего сказать. Потому что я попал в яблочко. «Силайское яблоко» — так, кажется, Шан, вы с Гороном зашифровали это? Конспираторы... У меня всюду глаза и уши. Надежные глаза и уши. И вам меня не обойти! Я ждал вас тридцать лет! У меня не было Бина — я проникал в секрет Кокиля Урана, как вода в камень — микрон за микроном. Правитель хитер — он уничтожил чертежи и строительные документы Башни, а потом — тех, кто видел и уничтожал чертежи и документы. Он скопом перестрелял всех строителей, а потом повесил палачей. Он сделал все, чтобы Башня его была неприступна вовеки и никто не мог проникнуть в нее...

Сип поднял над головой руку, сжатую в кулак, и заговорил нараспев с закрытыми глазами, как читают любимые стихи:

— «Ты высок, но есть выше тебя, имя которому народ. Ты силен, но есть сильнее тебя, имя которому народ. Народ отомстит за все». — «Народа нет, есть стадо скотов, которое хочет жрать. Я накормлю его, и оно будет лизать мне руки. Оно слижет кровь и грязь с моих рук и будет молиться мне, а вы сгниете». — «Надежда — солнце для мертвых. От имени всех невинно убитых я проклинаю тебя. Неприступна Башня твоя, но есть дверь. Твои судьи войдут без зова».

— Ты признался, Сип. Ты правильно сделал, что признался. Вы распотрошили Бина... Все считали поэму Ситара Урана «Солнце для мертвых» поэтическим вымыслом. Но я верил, что в ней — ключ к за-

поведной двери. Ситар Уран был из хлипких, он страдал пороком сердца. Да и нервы не те, что у папаша Кокиля. Он держался только благодаря жене. Но кто-то передал Уранам яд. Я не успел узнать главного — как. Как открыть дверь...

— Значит, Ситар и Лана Ураны — твоя работа, высший? А как же Правитель? Разве не он...

Тирас встал посреди комнаты, словно споткнулся на ровном месте. Его рука медленно поползла к голубому галстуку, распустила его, медленно расстегнула ворот сорочки.

— Правитель? Правитель... Что ж, получайте правду. Она вам не повредит. Вам уже больше никто не повредит...

На ладонь Тираса золотой струйкой полилась тонкая цепочка с неправильным треугольником желтого металла на колечке. Таким, как у Горона.

— Этому знаку много сотен лет. Он попал на Свиру издаেকে. Три таких треугольника, сложенные вместе, образуют изображение глаза. Всевидающее Око — символ Ордена проницательных...

— Значит, это не досужие сплетни — про тайный орден и все такое?

— Не сплетни. Это — власть. Истинная власть, а не кукольный театр для доверчивых недоумков. Тайная власть незаметных, неуловимых, двуименных избранников Высшей Воли...

— Что-то не очень понятно. Ведь Правитель...

— Правитель! Будь он трижды проклят! Непредсказуемый промах, нелепая опечатка в священном Великом плане Ордена. Мы, мы усадили Оксигена Аша в кресло. Ордену нужна была кукла, ширма, козел отпущения — и Совет Ордена вытащил этого недоучку из небытия. Оксиген Аш ненавидел, но исправно выполнял указания Ордена — сначала чтобы выжить, потом чтобы упрочить власть, а потом... Потом Правитель решил уничтожить нас, чтобы властвовать без помех. Он объявил проницательных вне закона, он обрушил на проницательных всю карательную мощь Свиры. Самовлюбленный младенец! За нами стоял опыт предков, опыт тысячелетий. Мы, неуловимые и безликие, делали так, что от руки Правителя гибли его сторонники, а проницательные занимали их места. И мы получили власть — фактическую, не фиктивную, как Правителя. Оставалась мелочь — убрать

Правителя и официально провозгласить правление Ордена...

— И тогда Кормчий ушел в Башню?

— Да. Мы допустили строительство Башни, уверенные, что сумеем проникнуть туда, когда потребуется. Но Кормчий перехитрил нас. Вернее, не Кормчий, а Кокиль Уран. Его гений сделал Башню неприступной даже для нас... Тогда началась истинная трагедия Ордена. Сначала мы надеялись, что, выполняя досконально Слова Кормчего, мы очень скоро приведем Свиру к пропасти, и восставший народ сам разрушит Башню. Надеясь на это, мы сделали обнародование Слов Кормчего открыто, дабы никто не заподозрил подлога. Но Свира непонятным образом стал процветать. Нам ничего не оставалось делать, как дожидаться смерти хозяина. Но Правитель и не думает умирать!

Только сейчас, слушая Тираса и Бина, Шанин начал улавливать связность в происходящем. Словно удалось приоткрыть панель сложной игрушки, и стал виден механизм, неожиданные и хитроумные зацепления рычажков и шестерен.

Благополучие Свиры было призрачным, это было равновесие шара на острие иглы. Две силы уравновесились, не умея одолеть друг друга. Орден оказался неуязвим для Кормчего. Но и Правитель, уйдя в Башню, стал неуязвим для Ордена. И вот уже полтора столетия, обладая всеми возможностями реальной власти, проницательные вынуждены выполнять унижительную роль исполнителей воли фиктивного владыки.

Легенда о тайной двери, оставленной Кокилем Ураном для будущих мстителей, стала последней надеждой Ордена. Бин, наследник трех поколений мятежных художников, был единственным, кто знал шифр этого тайного хода. Не об этом ли «дефекте» Башни говорил он Шану, приглашая его в сообщники? Тогда Шанин отказался, он ничего еще не видел и не знал. А сейчас? Как поступить сейчас?

Тирас идет по ложному пути. Он уверен, что ключи от двери — в красном саквояже. Тираса подвела профессиональная логика следователя. Он увидел коварный умысел там, где было простое совпадение.

Псевдо-Бина «поймал» и сопровождал истинный Бин. Тирас не знал этого и знать не мог, а потому он выстроил свою версию происходящего.

Он заподозрил Горона в попытке единолично захватить Башню и обойти его, Тираса. Захватив «гостей из Силая», Тирас намеревался теперь отобрать у Горона «силайские яблоки», ибо был уверен, что без красного саквояжа в Башню не проникнуть.

И надо было держать его в этом спасительном заблуждении как можно дольше, хотя бы для того, чтобы попробовать найти выход...

— Ты прав, высший. Можешь не продолжать. Я понял тебя. Именно ты, а не Горон достоин войти в Башню. Ты заслужил высокую участь облеченного абсолютной властью. Я и Сип поможем тебе осуществить твои смелые планы. Свире нужна свежая кровь...

— Свежая кровь! Это отлично сказано — свежая кровь! Я сразу понял, что вы — из Внешнего мира. Я всегда догадывался, что Правитель — пришелец, и ждал гостей с неба. Ведь вы оттуда?

Сип предостерегающе поднял руку, но Шан, помедлив, подтвердил:

— Да, мы оттуда.

Словно что-то забулькала в комнате — Тирас смеялся счастливым смехом ребенка, нашедшего спрятанную родителями игрушку.

— Мы готовы помочь тебе, высший, но красный саквояж — у Горона...

— Завтра он будет здесь.

— Горон или саквояж?

— Саквояж. А Горон...

Шанин с удивлением смотрел, как медленно отливает кровь от лица всевластного министра, как в глубине серых уверенных глаз прорастают страх и растерянность. На шее вздулись, запульсировали две витые жилы, и с каждым толчком пульса уходила упругая сила из его тела — уже не атакующий боксер, а струсивший мальчишка мялся перед Шаном и Сипом.

Шанин оглянулся. В распахнутых створках туалетного бокса стоял Мос.

— Что же ты замолчал, Тирас? Продолжай. Где брат наш Горон?

— Разве я сторож брату нашему?

— У тебя хорошая память, Тирас. Ты хорошо помнишь все и вся. Но ты забыл сказать мне, что встречаешься с гостями сегодня.

— Я думал, ты в Силае...

— Да, ты хотел, чтобы я был в Силае сегодня. Вчера ты послал меня к Горону за красным саквояжем, уже зная, что я не застану ни Горона, ни саквояжа.

— Горон слишком любил серебряные...

— Горон мог проболтаться мне о том, что в саквояже, и ты убрал его.

— Я думал о судьбе Ордена...

— Нет, Тирас, ты думал о себе.

— Именем Ока...

— От имени Ока говорю только я!

Даже Бин, привыкший с детства к двуликости своих сограждан, слушал неожиданную интермедию оторопело: великолепный Тирас, гроза и проклятье Свиры, великий инквизитор, задумавший свержение Кормчего, дрожал перед «чистильщиком туалетов». А Мос, в потертом рабочем комбинезоне, пучил свою резиновую грудь, и круглую шейку его тоже облежала золотая цепь, но на этой цепочке болтался не золотой треугольник, а круглый черный агат.

Тирас зачарованно следил за руками Моса. Старший сантехник достал из нагрудного кармана еще одну цепочку — с треугольником.

— Знак Горона... Ты сам убрал Горона, Мос! Раньше меня!

— Нет, Тирас, — пухло выгнулись губки старшего сантехника. — Я просто подождал, пока твои люди сделают свое дело. Я прижал их на месте... Ты уже не имеешь этих людей, Тирас. Они мои. И могут подтвердить перед всем Орденом, что Горона приказал убить ты.

Пальцы Моса ловко отстегнули треугольник от цепочки и, произведя какую-то неуловимо быструю манипуляцию, вставили треугольник в агат. На груди его засверкала половина золотого глаза с черным зрачком.

— Око... — выдохнул Тирас. — Вечное Око...

— Нет, это еще не Око. Здесь не хватает твоего треугольника, Тирас.

— Ты не сделаешь этого, Мос! Это вопреки традиции.

— Ты же имеешь хорошую память, Тирас! Трое в одном!

— Мос, я объясню тебе все! У меня есть план! Этим младенцам из Внешнего мира я морочил голову!

Я скажу тебе все — все до конца, клянусь Оком! Пойдем ко мне, я все расскажу!

— Я не злопамятен, министр милосердия. Я человек простой. Пойдем к тебе — только без глупых фокусов, ладно? Ты иди, иди, а я младенцам скажу еще пару слов...

Тирас ушел за стену пятясь. И Мос повернулся к Шану только тогда, когда стена закрылась.

— Вчера я не смог прийти, дорогие гости. Очень извиняюсь. Но мы все-таки встретились. И красный чемоданчик все-таки у меня. Не тот, поддельный, содержимое которого вы спрятали в общественном туалете на стадионе, а настоящий, с ключами от Башни. Спасибо за корешок, добрый женшень, настоящий. Так-то, Шан.

— Слушай, Мос, я впопыхах сунул туда и свою электробритву.

— Знаю, Сип, знаю. Побриться хочешь? Сейчас тебе принесут твою машинку, побрейся. У нас разговор по душам будет, долгий. Говорил я вам сразу — не связывайтесь с Тирасом, зачем он вам? Я человек простой, отходчивый. А Тирас зачерствел, озлился на работе — работа такая. А вот мы с вами быстро столкуемся, верно, Шан?

— Я еще не завтракал, Мос.

— Ах, Тирас, Тирас... Не умеет принимать гостей. Ну да вы не беспокойтесь. Отдохните, побрейтесь, покушайте. А через часик и я вас потревожу, прошу извинения. Ну, оставайтесь. Поскучайте. Хода отсюда никуда нет.

Пока Сип брился, Шан обследовал их новый приют. Ничего особенного в белой комнате не было. Она с успехом сошла бы за гостиничный номер, больничный изолятор или тюремную камеру, если бы не отсутствие дверей. У комнаты не было ни входа, ни выхода. В комнату попадали через раздвигающиеся стены. А как покидали? И можно ли было вообще покинуть эту комнату по доброй воле?

Завтрак, прекрасно приготовленный и роскошно сервированный, прошел в молчании. Шан и Сип понимали, что каждое их слово ловят скрытые микрофоны подслушивающих устройств. Да и говорить не хотелось. Требовался крайний шаг, и каждый должен был внутренне, в одиночку, решиться на него.

Три плечистых молодца исчезли, захватив грязную посуду и остатки мрачного пира.

«Ты готов войти?» — написал Сип на гербовом листе.

«Да. Но как?»

«Тирас ошибся. Дверь не у него, а здесь. В завещании Урана говорится о портрете с дефектом — трещина слева, под сердцем».

«Это — спасение».

«Идти надо немедленно. Сейчас».

«Я готов».

Сип взял электробритву, вынул лезвие и подошел к портрету. Он возился долго, вода включенным механизмом по цветному камню вдоль и поперек. Под пластинами мозаики что-то журчало, тихо щелкало и поскрипывало.

«Вибромагнитный замок, — догадался Шанин. — Как просто! Полтораэта лет самую невероятную тайну человеческих поселений охранял элементарный вибромагнитный замок...»

Окончив манипуляции, Сип аккуратно вставил на место лезвие, уложил бритву в футляр и сунул в карман. Потом, подмигнув Шанину, уперся плечом в плечо портрета.

Дверь не поддавалась.

— Сто пятьдесят лет, — виновато проворчал Сип и налег сильнее. Но стена оставалась стеной.

— Я все-таки Шан, — ободряюще улыбнулся Шанин и отстранил Сипа. Он расставил ноги пошире, слегка присел и попробовал разогнуться, вминая в стену плечо и правый бок. Ноги скользили по паркету, плечо елозило по зеркальной полировке. Шанин уперся в стену всей спиной и руками, согнувшись градусов под сорок к полу, и нажал так, что зарозовело в глазах.

Стена ожила. Сначала по ней словно пробежала легкая судорога. Потом плоскости стены и портрета изменили положение: портрет с фоном медленно уходил вглубь.

Раздался тихий свист, потом шипение. Стало понятно, почему дверь подается так туго — между Башней и Вечным Дворцом не было воздухообмена, а давление в Башне было выше, чем во Дворце.

Дверь открылась внезапно, вздохнув шумно и смачно, словно сожалея о секрете, который перестал быть

секретом. Шан не успел разогнуться и если бы не Сип, вылетел бы в узкий прямоугольный проем.

Оба стояли, не решаясь войти. Башня дышала на них смрадом векового болота.

В проем можно было пройти только по одному. Первым вошел Шанин.

6. Часть дефективная

— Однако...— Только этим всезначным сибирским словом и смог Шанин определить свое первое впечатление от нутра Башни. Ибо предполагал он увидеть если не чудеса, то все-таки нечто из ряда вон выходящее. И не увидел ровным счетом ничего поначалу. Светлый проем двери за их спинами закрылся, и они очутились в царстве темноты, недвижимой застойной тишины и резкой вони. Казалось, здесь гнило само время, украденное в звездных мирах мироздания и убитое в каменном склепе.

Они попали из белой комнаты прямо на зыбкие ступеньки узкой, едва пройти одному, металлической лестницы, прилепившейся к влажной стене. Поручни с легким наклоном уходили куда-то вверх и куда-то вниз. Шанин, не зная, куда направиться, ухватился за них покрепче.

— Хотя бы какой-нибудь завалящий фонарик... Иначе мы угодим черт знает куда... Мне что-то не нравится этот аромат...

Шанин слышал рядом частое дыхание Бина. Похоже, он тоже не знал, куда идти, и всматривался в темноту, пытаясь найти решение.

— Судя по всему, мы в главной канализационной шахте... Внизу должны быть регенераторы. Вверху — вентиляционные окна. И то, и другое нам пока не требуется...

— А лестница?

— Лестница, видимо, аварийная... По идее, она должна соединять уровни Башни... А на каждом уровне должен быть вход в подсобные помещения...

— Сколько приблизительно уровней в Башне?

— Не приблизительно, а точно — двадцать четыре. Мы сейчас где-то между восьмым и девятым. Но в такой темноте... Здесь наверняка было освещение, то ли оно выключено, то ли лампы

давно погорели все. Хотя бы вокруг посветить чем-либо.

— У меня есть зажигалка.

— И ты молчишь?

— Я не молчу. Я пытаюсь ее найти.

Крошечная зажигалка-сувенир была чуть побольше ногтя большого пальца, и сразу отыскать ее в объемистых карманах гвардейского мундира было непросто. Да и загоралась она не пламенем, а веером сыпучих голубых искр.

Но едва Шанин нажал податливую головку и чахлый кустик огня послушно распустился в его руке, на прищельцев обрушился могучий световой удар. Первое, что пронеслось в голове и заставило прижаться к стене — взрыв метана или чего-то подобного, скопившегося над рукотворным болотом. Но шли секунды, вспышка не гасла и не вздымалась ударная волна, круша и корежа конструкции.

Люди разогнулись, осторожно осматриваясь.

Все вокруг светилось. Огромная пылающая труба, к стенке которой лепились они на ажурной паутинке спиральной лестницы, выходила из света и уходила в свет. И опять нельзя было разобрать что-либо ни вверх, ни вниз — бестеновой свет заставлял щуриться, но так же надежно скрывал общую картину, как и темнота.

— Что это? — Шанин повернулся к Бину, но тот разглядывал не шахту, а свою ладонь. Ладонь светилась, а на мерцающей стене словно кто-то нарисовал тушью черную пятерню.

— Люминофор?

Бин понюхал руку.

— Сомневаюсь. Больше похоже на плесень. Плесень вековой выдержки. Твоя зажигалка сработала, как световой запал. А вот сейчас свечение начинает убывать... Надо идти. Кажется, Кормчий не очень ревностно следит за гигиеной своей обители... Впрочем, нам это на руку. Давай спускаться вниз. Во-первых, спускаться легче, чем подниматься, а во-вторых, берлога по плану расположена где-то на первых этажах.

Скользкая плесень на ступеньках и поручнях делала даже спуск медленным и небезопасным. По пути выяснилась еще одна неутешительная деталь: на каждый уровень действительно вели аварийные ходы, но входные люки находились под током и отключить его со стороны шахты было невозможно.

— Не могу понять одного,— бурчал Шанин.— К чему такие излишества? Судя по канализации, в Башне спокойно может разместиться небольшая армия... А Правитель предпочитает одиночество.

— Раньше здесь и была армия. Армия телохранителей. Охрана жила в Башне безотлучно. Это была крепость с гарнизоном. Правитель был болен манией преследования. И, как ты уже понял, у него были на то причины. В каждом он видел неразоблаченного проницательного. Потому стала редеть и личная охрана: ее постепенно заменяли механизмы и автоматика. Правитель Свиры успокоился лишь тогда, когда смог остаться в одиночестве...

Дальше пути не было. Лестница обрывалась в полусотне метров над массивной донной решеткой шахты. Плесень здесь лежала не сплошной пушистой массой, как наверху, а разрослась причудливыми сугробами, деревьями, кустарниками, оживающими при малейшем дуновении.

Овальный люк первого яруса был немного больше остальных. Бин поднес к разъемным рукояткам полюса своей универсальной вибробритвы. Послышалось мерное гудение.

— И этот под током. Десяток киловатт, не меньше. Достаточно прикосновения, чтобы превратиться в подгоревший лангет...

— Что же делать?

Бин ответил не сразу. Он долго возился в аварийном шкафчике рядом с люком, выуживая из плесени какие-то замысловатые рогатины, крючья, гаечные ключи, пилы и резак.

— Так я и думал. Все для механика и ничего для электромонтера. Когда механик выходил в трубу, ток попросту выключали... Проклятье... Даже резиновых перчаток нет...

Он выудил наконец какую-то здоровенную крестовину, похожую на швабру с металлическим ворсом.

— Придется устроить короткое замыкание. Может быть, хоть на время выбьет предохранитель и обесточит сеть... Больше ничего не могу придумать.

— Это опасные шутки, Бин. Во-первых, остается перспектива стать подгорелым лангетом, а во-вторых, появляется опасность врубить общую тревогу.

— Ты можешь предложить что-либо другое? Я за-

ранее готов поступиться приоритетом и принять твой план. Молчишь? Следовательно, других вариантов...

— Погоди... Тихо!

За стеной шахты что-то происходило. Сначала по стене прошла едва уловимая дрожь. Затем вибрация усилилась и стали слышны какие-то приглушенные неравномерные вздохи. Звук становился ясней, дрожь перешла в шум быстро приближающегося механизма, а вздохи — в уханье открывающихся и закрывающихся дверей.

Где-то совсем рядом захрипел битый-перебитый звонок.

Люк откинулся вниз, как щучья челюсть, обнажив убегающий в горло накатанный рельсовый путь. По нему навстречу Шану и Бину выкатился длинный стол, заполненный пряно пахнущими замысловатыми блюдами, бутылками, сифонами, графинами и тщательно, со вкусом, сервированный.

— Какая встреча!

— Гм... Несколько неожиданное гостеприимство...

— Чем мы ответим на приглашение, Бин?

А Бин уже двинулся к столу. Но не успел он сделать и двух шагов, как стол сделал движение, которым норовистый скакун сбрасывает седока — его передние ножки согнулись и разноцветные подносы с яствами и напитками полетели в шахту. Стол принял прежнее положение, снова задребезжал звонок и... Бин успел вогнать в шарнирное крепление конец своей рогатины. Завыли перенапряженные сервомоторы. Стол крупно дрожал, но сдвинуться с места не смог. Рассерженно хрипел звонок.

— Прошу садиться. Такси в преисподнюю подано!

Бин ловко вскочил на крышку люка, а с нее — на стол.

— Скорее!

Шан принял протянутую руку и тоже очутился на столе.

Бин рывком вытащил рогатину из шарнира. Катки с визгом пробуксовали по рельсам, стол дернулся раз, другой, словно примеривался к неожиданной тяжести, неуверенно двинулся вперед.

— Давай, родной, давай... Не стесняйся, мы держимся крепко... Смотри, Бин, слушается!

Стол с каждым метром прибавлял скорость. Лязгнул сзади закрывшийся люк и одновременно погас свет.

— Опять темнота... Может быть, хозяин боится света?

— Не думаю. Просто свет здесь не нужен. Это грузовой путь. Точнее, путь, которым остатки трапезы эвакуируются из апартаментов хозяина в регенератор.

— Я бы не сказал, что это были остатки... К столу даже не прикасались.

— Верно. У хозяина плохой аппетит. И он отправил всю эту роскошь в утиль...

— Или роскошь отправилась в утиль самостоятельно, выждав положенное время.

— Второй вариант мне лично нравится больше...

— Потому что он освобождает от необходимости объяснять свое появление Кормчему?

— Именно. Он дает шанс осмотреться.

— Ты прав. Будем надеяться.

Путешествие было довольно долгим, но однообразным. Время от времени над ними вспыхивали светильники, но в их мертвом свете вставала всегда одна и та же картина: штрек, опутанный толстыми кабелями в цветной изоляции, и бронзовая плита, закрывающая путь вперед. Из плиты выглядывал синий глазок объектива и, забавно ворочаясь в упорах, изучал стол от катков до крышки. Дойдя до верхней кромки, он снова прятался в плите. То, что было на крышке стола, его не интересовало.

Плита поднималась и опускалась, пропуская опознанный механизм, свет гас, и «такси в преисподнюю» продолжало путь.

Этот путь привел их в просторный зал, залитый спокойным матовым светом и заполненный ароматами свежей, хорошо приготовленной пищи. Кухня Правителя сверкала чистотой зеркального металла и полированного пластика. Ее оборудованию позавидовала бы хорошая химическая лаборатория. В герметичных кубках, котлах, змеевиках вершилось таинство кулинарного искусства, трепетали зеленые змейки на экранах осциллографов, праздничными гирляндами загорались и гасли индикаторы датчиков, раздумчиво гудели на разные голоса большие и малые компьютеры. На стене поблескивали часы с циферблатом. Цифры 8, 11, 3, 5 были красные, остальные черные. Часы показывали без десяти одиннадцать.

— Судя по всему, через десять минут второй завтрак. Не позаимствовать ли нам что-либо из ра-

циона Правителя? Или мы обидим хозяина? Как, Бин?

— Я думаю, голодный желудок только подогревает пыл исследователя. Хотя приобщиться к столу Правителя я хотел бы. Из чисто познавательных соображений.

— На другом конце зала, к немалому своему удивлению, они обнаружили точно такой же рельсовый путь и стол, ожидающий заправки.

— Выходит, Правитель не один.

Бин пожал плечами.

Иного выхода, кроме столовых люков, из кухни не было. И здесь люки были под током, как и в шахте.

Бин развел руками.

— Ничего не остается, как пожаловать к главному людоеду Свиры прямо на стол, под видом жаркого. Если учесть, что у нас нет оружия...

— У нас есть фактор внезапности.

— Ты уверен, Шан? Ты можешь поручиться, что Правитель не следит за нами с помощью всей этой электронной бредятины с первых шагов появления в его царстве?

Настала очередь Шанина пожать плечами.

Тем временем часы подошли к одиннадцати. Серебристая лента конвейера пришла в движение. На раструбах с цифрами замигали контрольные лампочки. Из одного раструба выполз на конвейер поднос с рыбными и мясными закусками, из другого — сифон во льду, из третьего — кофейный прибор в прозрачном термостате. Последней на серебристую ленту вошла огромная фруктовая ваза.

— Силайские яблоки... Если верить преданиям — любимое лакомство Великого Кормчего...

— Попробуем?

— Не хочется... А впрочем...

Стол тронулся тихо, люк отворился бесшумно, и рельсы повели не по темному штреку, а по широкому коридору со сводчатым потолком. Пол, свободный от рельсов, был застлан пластовковой дорожкой с изрядно потертым ворсом — по дорожке часто ходили.

Шанин надкусил небесно-синее продолговатое яблоко с некоторой опаской — фрукты на Свире по вкусу мало отличались от земных, но этот сорт он пробовал впервые.

Голубая мякоть обожгла рот пряным холодом, как ледышка. Шанин приготовился жевать ее долго и тща-

тельно, ибо ломтик казался упругим и твердым. Но едва зубы его успели коснуться яблочной плоти, как она брызнула во все стороны жгуче-сладким пенистым соком, а во рту осталась скользкая желеобразная масса, которую можно было глотать не жуя.

Шанин съел одно яблоко, второе, третье — что же, вкус у Правителя недурен, однако...

Казалось, рельсы уходят в тупиковую стену и стол неизбежно наткнется на нее, но в последний момент стена поднялась и опустилась уже за спиной незваных гостей. Стол замер.

Шанин, слегка обалдевший от всех этих путешествий по канализационным шахтам, мусоропроводам, кухням-автоматам, внутренне подобрался и напрягся. Сомнений быть не могло — теперь они находились в самом жилище Правителя, в его интимном приюте, в его личной столовой.

Очень богатая, точнее, невероятно богатая комната, обитая сандаловым деревом. Картины, огромная люстра, инкрустированный стол, тяжелый стул с высокой спинкой. И даже имитация окна с кружевными пышными занавесками.

На Бина напала какая-то оторопь. Он застыл, тяжело опираясь на свою рогатину, белая маска вместо лица — и неотрывно смотрел на дверь в коридор.

— Шан... Можешь меня презирать, можешь надо мной издеваться, но я не могу. Не могу. Сейчас он войдет. Он войдет в эту дверь. Я не могу... Это выше меня.

Шан положил ему руку на плечо, успокаивая.

— Тебе смешно, Шан? Это должно быть очень смешно.

— Мне не смешно, Бин. Я понимаю тебя.

— Это невозможно понять. Это можно только чувствовать. Это не страх, нет — другое... Мне кажется, он войдет, и все кончится — я, ты, Свира, Вселенная — потому что мы узнаем что-то, что убьет саму жизнь. Все лопнет, взорвется, исчезнет. Потому что ни в чем не останется ни капли смысла...

— Разве Кормчий дает смысл жизни, Бин?

— Я знаю, что я говорю чушь. Но я не могу...

— Давай перехватим, Бин, в ожидании хозяина. Эти кухонные запахи разбудили во мне аппетит...

Шанин переставил подносы на деревянный стол. Бин взял несколько яблок, землянин решил подкрепить-

ся поосновательней: налил себе чашку густого кофе и с аппетитом уничтожил какую-то упитанную птичку в приятном сладковато-кислом янтарном соусе. Поскольку кроме единственного стула в комнате не было другой мебели, пришлось есть стоя. Занимать хозяйское место было невежливо.

Время шло. В столовую никто не входил.

— Первый завтрак остался нетронутым. Судя по всему, второй постигнет та же участь. Или Правитель слишком поздно встает, или... Или он вообще не ест.

— Ты забываешь, Шан, о втором столе. Если одновременно сервируется два стола, значит, есть две столовых, и две... не знаю, как назвать... квартиры, что ли. Может быть, Верховный сейчас в другой столовой?

— Пойдем, Бин. Ты готов?

— Да, все в порядке. Прости за слабость. Только... иди вперед, Шан. Так будет лучше.

За дощатой дверью оказалась небольшая прихожая, убранная изысканными вещами, если не считать вешалки из саблевидных рогов горбатого козла. На вешалке висел долгополый голубой плащ с меховой оторочкой и золотым топором на рукаве.

А под вешалкой — совсем некстати — валялись стремянка и заступ.

Кроме двери из столовой, в прихожей было еще две. За одной из них оказалась кабина лифта на все двадцать четыре уровня. А за другой...

— Он здесь... Это его плащ.

Шанин шагнул было к двери, но Бин задержал его.

— Подожди. Теперь я. Я должен. Я должен победить в себе раба. Иначе я никогда не прощу себе. Именем деда, именем отца, именем матери... Я пришел!

Бин рывком распахнул дверь и шагнул в комнату.

Шанин не понял, что заставило Бина остановиться на полушаге. Эта комната тоже была пуста.

Но когда, обежав глазами узкую деревянную кровать под серым покрывалом, письменный стол со включенной настольной лампой и большую, во всю стену, карту, он перевел взгляд вниз — по спине пробежал холодок.

У ног в полу чернело квадратное отверстие. А на дне ямы, на глубине в полтора человеческих роста, лежал скелет в парадном костюме Кормчего Свиры.

Бин опустился на колени, осматривая пол. Тронул что-то коричневое, что мгновенно рассыпалось в пыль.

— Яблоко... Силайское яблоко...

Оксиген Аш думал о Кокиле Уране.

Он расхохотался в лицо смертнику, услышав угрозу. Он не поверил великому художнику. Как все мелкие и подлые люди, правитель Свиры был убежден в мелочности и подлости всех живущих. Он верил во всемогущество страха, лишающего сопротивления, и делал все, чтобы страх перед именем Кормчего не ослабевал. Он не боялся суда совести, ибо считал совесть синонимом слабости. Он не боялся суда народа, ибо твердо следовал заповеди «уничтожь способных судить — и тебя не осудят».

Он не боялся даже таинственных посланий, хотя и знал, что за подсказки рано или поздно придется платить, — он был уверен, что в последнюю минуту сумеет перехитрить проницательных. В странном слоге безымянных записок он чувствовал нечто родственное — не по крови, а по системе ценностей, по взгляду на жизнь, по стилю поступков. В минуты хорошего настроения он даже симпатизировал своему безликому врагу-союзнику. Он ценил тех, кто понимает вкус предательства.

Получив от Кокиля Урана Вечный Дворец со сказочной Башней и похоронив его секреты вместе с гениальным архитектором, Оксиген Аш упивался своим всемогуществом и неуязвимостью. Из своего рабочего кабинета он мог видеть и слышать все, что происходит в самых тайных закоулках Дворца. Скрытые телекамеры переносили Верховного на площади и улицы Дромы. Лифты в двойных стенах и электрокары в подземных коридорах могли в несколько минут сделать мнимое присутствие истинным. Ему нравилось неожиданно возникать за спинами заседающих министров или на скамеечке городского сквера и бесследно исчезать на глазах подданных, окаменевших от ужаса и благоговения.

Правда, ему все больше и больше докучали дела. Но тут помогла студенческая любовь к оригинальным самodelкам. Из трех «вечных маятников», табулятора и пишущей электромашинки он соорудил себе «механического секретаря», который лихо шлепал резолюции на всем, что приносил в кабинет конвейер пневмопочты. Это освободило Кормчего от черной работы, оставив время для всепланетных мыслей и проектов, а также для отдыха и развлечений.

Идиллию власти развеяло первое покушение. Оно произошло именно тогда, когда Правитель закончил титанический труд по стерилизации планеты от всяческих бактерий смуты и недовольства. Усталый, он собирался почтить на лаврах.

В него стрелял его самый любимый и самый доверенный министр.

Оксиген Аш набил Башню личной охраной из отборных тупиц и фанатиков и замкнулся в ней. Внешний мир приобрел безопасную форму телевизионной картинки, а Правитель общался с ним только на языке доношений и приказов. Он разработал для своих министров и министерств единый образец решения, который единообразно визировал: «да», «нет», «отложить». Одно из этих трех слов определяло судьбы людей, открытий, замыслов, строительство и разрушение, добро и зло, жизнь и смерть.

Это было мрачное и скучное могущество — но все же могущество.

Второй раз в Правителя выстрелил спятивший телохранитель, которому начали являться привидения. Оксиген Аш был ранен в плечо, а телохранитель уколошил двенадцать своих коллег, пока его самого не изрешетили очередью из пулемета. Человеческая психика оказалась ненадежным элементом в системе глобальной защиты. А неистребимое племя проникательных, видимо, решило подвести черту и взыскать плату по векселям.

В Башне снова закипела работа. Казармы опустели. На место солдат пришли специалисты по электронике и автоматике.

Шаг за шагом, метр за метром, уровень за уровнем они превращали обитель Кормчего в удивительный, замкнутый на себя механизм, в компактную квази-Вселенную на одного человека, где Правитель мог не зависеть от людской ненависти или любви.

Они делали свое дело и куда-то исчезали. Только Оксиген Аш знал — куда. Но он молчал. Главная шахта регенерации тоже не выдавала секрета.

Пришел день, и Правитель остался один. Казалось, теперь он мог быть вполне уверен, что третий выстрел не прозвучит никогда.

Но теперь он все чаще и чаще думал о Кокиле Уране.

Башня была неприступна. Ничто живое не могло проникнуть внутрь. Но если бы случилось невероятное

и злоумышленник сумел просочиться сквозь запретные стены, он неизбежно заблудился бы в лабиринтах переходов или сгорел в мгновенном плазменном разряде коварных электроловушек.

И все-таки каждый раз, уходя из рабочего кабинета на самом верху Башни, на двадцать четвертом уровне, где телеокна рисовали круговую панораму Дромы с высоты орлиного полета, Оксиген Аш останавливался в нерешительности.

За двумя одинаковыми дверями было два одинаковых лифта.

Внизу, на первом уровне, у Правителя было два логова, повторяющие друг друга, как зеркальные отражения, — каждым углом, каждой линией, каждой царапиной на стене. В близнецах-жилищах стояли близнецы-столы, близнецы-стулья и близнецы-кровати. В близнецах-прихожих висели близнецы-плащи.

Оксиген Аш постоянно менял жилье. Он старался менять его как можно беспорядочнее, чтобы шансы угадать место его ночлега были возможно ближе к нулю.

Он сам не понимал, чего боялся. Для страха не было никаких причин. Из газет, которые каждое утро подавались ему автоматами с первым завтраком, из официальных докладов в министерствах и ведомствах, из секретных рапортов и сводок, подсмотренных и подслушанных у своих приближенных, он узнавал, что каждодневные труды не пропадают даром, а обманные зерна дают буйные всходы. Покорная Свира лизала подножие его Башни, слепо веруя и славословя. Его верховное Слово двигало стрелки часов — каждое решение Правителя рано или поздно оказывалось единственно верным, гениально предугаданным, доказанным жизнью.

Правитель слушал славословия, где под толстым слоем официальной лести и ханжеских клятв в любви проглядывал суеверный трепет перед необъяснимым, смотрел на тени бессонных маятников, которые бесшумно скрещивались и разлетались, как палаш в бесконечном бою, — и что-то вроде мстительной радости поднималось в нем.

— Мыслители. Гении. Скоты... Если бы вы только знали... Но вы никогда не узнаете. Никогда. Будьте вы прокляты!..

Иногда в поле зрения уличной телекамеры попадала какая-нибудь фурия, которая будила в Оксигене полу-

забытые чувства и желания. Верховный правитель Свиры прикинул к экрану с восторгом мальчишки, подглядывающего в замочную скважину.

Одного движения руки достаточно было Оксигену, чтобы незнакомка через пятнадцать минут оказалась у него в Башне. Но одна только мысль о присутствии еще одного живого существа в его механической Вселенной казалась ему непростительной слабостью. А слабость могла обезоружить, пропустить подвох, дать шанс призрачному противнику.

Ибо растоптанная и поруганная тень Кокиля Урана жила в Башне, росла, заполняла потайные ходы и темные закоулки и, стоило только выключить свет, нависала над Кормчим.

Оксиген Аш заблокировал все коридоры и тоннели высоким напряжением и перестал бродить по Башне. Он ограничил свое пространство рабочим кабинетом и двумя жилыми комнатами.

Но каждый раз, выходя из кабинета, он замирал в нерешительности перед двумя лифтами.

Он был почти уверен, что в одной из комнат кто-то есть. Но в какой? Какую кнопку нажать, чтобы избежать засады?

Его кабинет превращался в мастерскую. Уходили в утиль непрочитанные газеты, неделями и месяцами не загорались экраны следящих камер, молчали аппараты подслушивания. И впустую на творческих съездах наперебой восхваляли поэты всезнающий и всемогущий гений Кормчего, ведущего Свиру по тропе всеобщего счастья и благополучия.

Оксиген Аш воевал с Кокилем Ураном.

Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Сдав бесплотному врагу жизненное пространство Башни, Верховный правитель встал грудью за свой последний оплот. Он мастерил сигнализацию, которая реагировала на звук, на свет, на давление, на микроколебание температуры, на запах, на радиацию, на вибрацию и даже на дыхание. Но его враг не имел ни цвета, ни запаха, он не дышал и не касался пола, его нельзя было засечь по излучению или по звуку.

Он был, он все время был где-то очень близко — Кормчий чувствовал его всем существом, как ревматик грозу. Входя в комнату, Оксиген Аш твердо знал, что Кокиль Уран только что вышел из нее. А сигнализация молчала.

Другой бы сдался. Правитель продолжал борьбу. Он срывал только что проложенные линии и реле, топтал сверхчувствительные измерители и улавливатели, превращал в груды хлама собранные по жилке многополюсные анализаторы. И начинал все сначала — новая схема, новый принцип, кропотливый многодневный труд — засечь врага, поймать его след, загнать в угол...

Оксиген долго не мог уснуть, ворочаясь на своем ложе. Его знобило. Свет настольной лампы, чересчур яркой для ночника, проникал сквозь плотно сомкнутые веки, и оттого Верховному мерещились ледяные равнины силайских болот, прокаленные морозом до звона. Надо бы накрыться плащом сверху одеяла, но вставать за плащом не хотелось. Вообще ничего не хотелось.

Наверное, он все-таки дремал, когда услышал над собой негромкие внятные слова: «Он здесь. Он сегодня здесь». Приоткрыв глаза, он увидел, как задралась и завернулась тяжелая серебристая штора на двери.

В комнате царил пронзительный холод, запах разрытой земли и горелого мяса. И странные эти запахи не удивили Аша, он только подумал: «Землей пахнет от могилы, а горелым мясом — от чего?»

И вспомнил от чего.

Он встал и вышел в прихожую за плащом. Плаща на вешалке не было. И он снова не удивился.

Все вокруг было прежним и в то же время неузнаваемо другим: чуть ярче желтели стены, веселей поблескивали анодированные затворы лифта.

Оксиген Аш вошел в лифт и нажал панель с цифрой «б». Через несколько минут он остановился перед дверью, которая давно уже не существовала. Он сам заложил проем плитками гранита и сровнял пластиком с плоскостью и тоном коридорной стены.

Но сейчас дверь была, и снова не удивился этому Оксиген Аш.

Не удивился он, войдя в комнату и увидев там широкоплечего человека, уронившего на руки тяжелую седую голову. Рядом на столе лежал плащ Правителя.

— Так вот ты где, Кокиль Уран... Ты долго прятался, но я тебя нашел!..

— Ошибаешься. Я не прятался. Я ждал.

— Чего ты ждал?

— Суда.

— Ха-ха! Ты еще ждешь суда? Неужели ты не по-

умнел? Я застрелил тебя в упор вот за этим столом, а труп сжег вон в том углу, на трансформаторной шине,— от тебя не осталось горсточки пепла! Если ты действительно сделал тайную дверь, через которую можно проникнуть в Башню, то о ней никто не узнал! И еще я замуровал твой бывший кабинет — ведь ты здесь сделал дверь, не так ли? Ты хотел бежать — иначе зачем она тебе...

— Ошибаешься. Я не хотел бежать.

— А зачем ты брал мой плащ — и тогда, и сейчас?

— Тогда я брал твой плащ, чтобы беспрепятственно проходить мимо охраны. Я делал дверь по ночам. И она совсем в другом месте.

— Ты лжешь!

— Мертвые не лгут.

— Но мертвые и не мстят. Что можешь сделать ты, мертвец, мне — живому? Ты — прошлое, тебя нет, ты исчез, а я существую.

— Мертвые не мстят. Но мертвые будят живых. Живые приходят судить прошлое и воздают по заслугам виновным и невиновным. Они судят прошлое, чтобы будущее не родилось мертвым...

— Ты проницательный, хотя всю жизнь скрывал это! Это они подослали тебя, ты служишь им!

— Нет, Оксиген Аш, я не проницательный. Я просто зрячий. Ты и проницательные — карты из одной колоды. У вас один крап и одна игра — продавать и предавать. Вы строите карточные домики своих интриг и планов, вы пытаетесь убедить себя и других в том, что властны над путями человеческими и счастьем человеческим. Но пути прокладывают ноги идущих, а счастье создают руки творящих. И только добро властвует над жизнью, ибо только добро способно сделать Человека. А вы питаетесь смертью и потому никуда не уйдете от смерти...

— Опять высокопарный бред! Ни одно живое существо не может проникнуть в Башню!

— Судьи уже пришли.

— Это ты провел их?

— Да. Я ждал их.

— Зачем ты взял мой плащ?

— Это не твой плащ. Это плащ Великого Кормчего.

— Но Великий Кормчий — я!

— Нет. Ты уже мертвец...

Холодея от ненависти и ужаса, Оксиген Аш бро-

сился на зодчего, пытаюсь вырвать у него свое законное одеяние, но пальцы прошли сквозь мех и золотое шитье и, судорожно сжавшись, ухватили пустоту...

Верховный проснулся на спине с руками, протянутыми к безжалостно ровному шлейфу света из-под колпака настольной лампы, и в ту ночь уже не мог уснуть.

Утром он встал, и хотя лихорадка не прошла и все тело мучительно ломило, сделал обычную физзарядку, принял душ и побрился. Потом, подумав, надел парадный костюм.

За первым завтраком он позволил себе основательно приложиться к бутылке шипучего билу и несколько захмелел, что бывало с ним не часто. Не поднимаясь из-за стола, он пересмотрел все газеты, что бывало с ним еще реже.

В кабинет Оксиген поднялся только затем, чтобы взять инструменты.

Все время до второго завтрака он провел в спальне: что-то вымерял, высчитывал, размечал. Несколько раз ложился на пол, очертив квадрат по своему росту. Потом вскрыл по очерченной линии настил пола слой за слоем, пока не добрался до утрамбованной земли. И только тогда сделал передышку.

Обед он съел в один присест и снова воздал должное шипучему билу и красному пиву. Показалось мало. Аш вызвал из автокухни дополнительный поднос с двумя бутылками контрабандного муската и корзиной силайских яблок. Одну бутылку выпил сразу.

Набив яблоками карманы парадного костюма, Правитель взялся за лопату. То ли отвык он копать, то ли плотно затрамбовалась земля, то ли хмель мешал работе, но яма росла медленно. Все чаще Правитель делал перерывы, садился на край углубления и грыз яблоки.

— Мы еще посмотрим, дорогой Кокиль... Мы еще посмотрим, кто покойник... Судьи!.. Скоты паршивые... Умники... Мало вас по яблоням развешано...

К ужину яма была по пояс Оксигену Ашу.

За ужином Правитель снова изрядно выпил и запаса целой батареей бутылок на ночь. Вино вернуло иллюзию бодрости, спать не хотелось, и Оксиген, постоянно прикладываясь, проработал без отдыха еще часов десять. Скоро из ямы стало трудно вылезать, и он опустил туда стремянку.

Когда над спящей безмятежно Дромой занялся рассвет и Башня Правителя в первых лучах солнца вста-

ла над городом сверкающим золотым обелиском, яма в спальне Правителя достигла трехметровой глубины.

Оксиген Аш попробовал вылезти из ямы без помощи лестницы, не смог и удовлетворенно вытер залитые потом глаза.

— Готово, Кокилы! Добро пожаловать вместе с судьями! Коммунальная могила системы Оксигена Аша к вашим услугам! В любое время дня и ночи!

С большим трудом он вылез наружу и вытащил из ямы лестницу. Его пошатывало и подташнивало. Яблоки на время снимали тошноту и он грыз их одно за другим, разбрасывая ошметки по полу. Работы еще было много, а силы на исходе.

Перезвон челюсти сообщил, что первый завтрак прибыл. Оксиген Аш подумал, не принять ли душ, но просто умылся холодной водой и выпил подряд два полных стакана билу. Голова приятно закружилась, мышцы расслабились, а кривая настроения резко метнулась вверх.

— А все-таки ты хитрый парень, Оксиген. Парень что надо. С таким приятно жить и работать. И выпить приятно...

Налив себе еще стакан, он нетвердой походкой направился в спальню взглянуть на дело рук своих. Вино расплескивалось ему под ноги, красными пятнами расплывалось по голубому костюму, но он не обращал на это внимания.

— Я буду жить, а вы сгниете...

Оксигена качнуло, вино плеснуло на ботинок, чавкнул под каблуком предательский яблочный огрызок, ногу подсекло и...

Он упал в яму лицом вниз и, хотя не потерял сознания, с минуту ничего не мог сообразить от острой боли. А когда сообразил — понял, что всякие попытки спастись бесполезны. Самостоятельно из ямы выбраться было невозможно. Звать было некого. Ждать было нечего.

И тревога, много лет глодавшая Правителя Свиры, прошла. Отступил и рассеялся беспричинный страх. Оксигену Ашу стало легко и покойно.

Он лег на спину, вытянулся и сложил руки на груди. Над ним близко и недоступно светлел квадрат, похожий на экран неизвестной телесистемы.

Он ни о чем не жалел, никому не завидовал, ни в чем не раскаивался. Ему некого было проклинать и не с кем прощаться.

Великий Кормчий закрыл глаза.
Суд свершился.

* * *

— Ну, с ним, кажется, все ясно. Он кончил, как и начинал. Не лучше и не хуже. Кончил, когда пришел его срок...

Шанин подвинул ногой пластиковую плиту, при-
слоненную к стене. Правителю не суждено было уста-
новить ее на место — западня сработала раньше. Плита,
простоявшая полтора века в ожидании, скользнула вниз
и закрыла яму. Вошла она в квадрат точно, сровняв
с землей и скрыв самокопную могилу хозяина Башни.

— Обидно,— сказал Бин.— Обидно за легенду.
В легендах даже отъявленные негодяи выглядят значи-
тельнее и... красивее, что ли. Мои родители всю свою
жизнь отдали борьбе с властью Правителя. Они пред-
почли смерть предательству. Таких, как они, много...
Но они представляли своего врага иначе... Одно дело —
жертвовать собой в бою с могучим чудовищем, другое —
погибнуть по воле бесталанного ничтожества.

— Они боролись не с Правителем. Хотя, быть мо-
жет, и не всегда сознавали это. Правитель был для них
всего лишь символом, центром мишени. А сама мишень
значительнее и больше Правителя. Она тысячелика
и многоименна — Мос, Горон, Тирас, рыбак с улицы
Благодати, наездники на чужих горбах, «топоры», «пер-
натые», — вся эта масса жадной протоплазмы, пожи-
рающей саму себя и все, что попадаетея окрест. Эта
слепая масса пострашнее всяких чудовищ.

— Может быть. Но я лично боролся с Правителем.
Я хотел отомстить, и только. И не смог — опоздал...

— Да, с местью ты опоздал. Но разве тебе все рав-
но, что будет со Свирой завтра? Ведь мы не знаем глав-
ного: как мог Кормчий приказывать, будучи мертвым.
И даже предсказывать — если принять на веру убежде-
ние, что Слово Правителя рождается в этой Башне. Что
с тобой, Бин? Зачем тебе понадобился плащ Правителя?

— Примерить... Ну, как?

— Хорошо!

— Да, мы с Оксигеном Ашем были, оказывается,
одного роста... Шан, ты очень рассердишься, если я по-
ка похожу в этом плаще? Ну не напрасно же я, в самом
деле, шел сюда по лезвию ножа — через Зейду и Землю!

Должен я что-то сделать такое — поставить точку на этой куче костей?

— Ты мальчишка, Бин. Честное слово, мальчишка. Носи, если хочешь. Хоть всю жизнь носи — плащ бесхозный...

— Всю жизнь?

— Да. Только, откровенно говоря, лично мне ты больше нравишься без плаща.

— В полицейском мундире?

— Нет.

— В балахоне контрабандиста?

— Перестань, Бин. Дался тебе этот хлам. Надо найти кабинет Правителя.

— Слушаюсь, высший. Я готов вас сопровождать на двадцать четвертый уровень, ибо именно там находится творческая лаборатория моего предшественника. По слухам, именно там рождается всеблагое и всепобеждающее Слово.

— А ты повеселел, Бин.

Вдвоем в лифт они втиснулись с трудом. Бин нажал панельку, но не двадцать четвертую, а шестую.

— Хочу посмотреть кабинет деда.

Кабина лифта замерла в решетчатом цилиндре из толстых стальных полос в центре большого полутемного холла. Изнутри цилиндр запирался на массивный сдвоенный засов, но снаружи, со стороны холла, дверца не открывалась.

— Никто не имел права покидать уровень. Комфортабельный застенок для «умников». Десятки талантливейших людей, научная и техническая элита Свиры. Их арестовывали ночами, без суда и следствия они бесследно исчезали, чтобы появиться здесь, отдать свой ум и талант Башне — и исчезнуть окончательно.

— Были среди них проницательные?

— Конечно, нет. Потому что попасть сюда значило умереть заживо, и об этом знали все. На этот раз приказ Правителя проницательные соблюли точно. Ни один из них не попал в Башню. Проницательные остались вовне, чтобы присвоить свои имена изобретениям и открытиям пропавших без вести гениев.

В холле стояло около полусотни кресел, несколько чертежных кульманов с эпидиаскопическими приставками и десяток демонстрационных столов. Когда-то здесь кипели жаркие ученые споры, — а Кормчий с презрительным удивлением рассматривал своих экзотических пленников, которых даже неволя и реальная угроза

смерти не могла оторвать от сладкой жажды творить.

Радиальные коридоры вели к большим бронированным дверям, за которыми угадывались вместительные залы. И на всех дверях была одна и та же надпись: «Лаборатория. Не входить — защита включается без предупреждения!» И дважды перечеркнутый черным человеческий череп...

Короткие радиальные коридоры обрывались, влившись в длинную спираль широкого, как улица, общего коридора. На эту пустынную сейчас «улицу», крытую веселым бело-розовым пластиком, выходили двери поменьше, раскрашенные в разные цвета. На них стояли только цифры — порядковый номер и окошечко автосчетчика. Здесь пленники жили.

Бин в развевающемся плаще Правителя петлял от двери к двери, всматриваясь в цифры счетчиков. Двери были закрыты, а в окошечках везде стоял «0» — в комнатах не было ни одной живой души.

Они дошли до самого конца коридора. Он кончался комнатой номер два. Вместо двери в комнату номер один была гладкая розовая стена.

— Комнаты деда действительно замурованы... Легенда говорила правду...

— Что ты хотел здесь найти?

— Ничего. Я должен был увидеть это своими глазами. Я дал клятву отцу и матери... Вернее, их памяти...

Они постояли еще немного у розовой стены и пошли назад, к лифту. Бин снова хмурился. Настроение его менялось, как цвет моря перед штормом.

— И еще, откровенно говоря, я надеялся найти разгадку потусторонней деятельности Правителя здесь, на этом уровне. На уровне науки. Не знаю как... Впрочем... Нет. Этот уровень изолирован, а лаборатории обесточены. Я смотрел. Значит, адрес чуда — двадцать четвертый уровень... Двадцать четвертый...

Виной тому, что произошло после, была элементарная неосторожность. До сих пор Башня обращалась с ними отменно вежливо, и цепочка счастливых совпадений помогала довольно легко решать ее хитроумные загадки. Но кроме везения их берегла собственная бдительность. Они ждали подвоха и коварства от всего окружающего — и потому вовремя замечали тайные пружины и контакты смертоносных систем.

Убедившись в гибели тирана, они позволили себе расслабиться. Они забыли, что зло, как и добро, пережи-

вает своих создателей и способно сохранять веками убийственную силу. В Башне продолжала жить злая воля Правителя Свиры. Башня только притворялась мертвой, она ждала удобного случая, чтобы нанести удар.

Лифт остановился на двадцать четвертом уровне, но дверь не открылась сама, как на остальных уровнях. Шанин попробовал открыть ее силой, но она не поддавалась. Бин начал шарить на пульте.

— Здесь есть какая-то кнопка, но я не знаю... — Видимо, Бин все-таки нажал кнопку, потому что дверь приоткрылась.

Шанин повернул голову на голос Бина.

Дверь приоткрылась только затем, чтобы в прорези показалось какое-то приспособление, похожее на обрез с оптическим прицелом.

И почти тотчас в кабине грохнул выстрел.

Шанин схватился за голову.

Бин бросился к товарищу.

Землянину повезло: он стоял в профиль к двери, и пуля, направленная прямо в лоб, прошла по касательной, оставив полосу рассеченной кожи. На какую-то секунду Шанин потерял сознание, но не упал, осев на руку Бина.

Перебинтовав рану полосой ткани, оторванной от сорочки, Бин усадил Шанина на откидное сиденье с лицом вверх, осторожно и сильно массируя шейные артерии.

Шанин быстро приходил в себя. Голова еще звенела после удара, а перед глазами догорающим фейерверком плясали цветные искры, но слабость проходила и возвращалась ясность мысли.

— А ведь мы влипли в ловушку, Бин.

— Надо вернуться вниз. Кабинет Правителя от нас никуда не уйдет.

— А если этот объектив дает команду на все уровни? Внизу теперь нас могут тоже встретить выстрелы или что-либо похуже...

— Но надо сделать настоящую повязку, дезинфицировать рану. Я видел внизу аптечку.

— По идее, здесь должно быть нечто посерьезнее аптечки. Не мог же Правитель оставить себя взаперти без медицинской помощи. Наверняка...

— Но я не знаю, где может находиться такая лечебница... И вряд ли где-нибудь есть план Башни. Верховный держал его в голове. А я почерпнул кое-что, анализируя «Солнце для мертвых». В строчках запрещенной

поэмы-легенды зашифрованы реальные, хотя и приближенные данные о Башне. Но многие места непонятны, их можно расшифровать, только пользуясь фальшкартой Вечного Дворца и Башни, которая есть в кабинете.

— Значит, в кабинет...

— Нет. Вниз. Назад. Сейчас главное — твоя рана.

— Знаешь, Бин, у моих предков в Сибири было древнее правило: если сбился, заплутал в тайге — никогда не поворачивай назад. Иди только вперед, иначе закрутит, заманит, заморозит тебя лесной хозяин, уведет в топи и погубит тебя тайга. Мы с тобой в этой Башне, как в тайге, — не знаем, что, куда, как и зачем. И леса за деревьями не видно. Так что надо и действовать по таежному закону: иди прямо. Отступать не годится... Надо как-то обмануть объектив. Разбить его, что ли? Не успеть...

— Объектива я, к сожалению, не видел. Как он выглядит? Как те, которые осматривали стол?

— Нет. Этот короче. И линза не голубая, а почти черная. И по-моему... Да, пожалуй, линза плоская...

— Да... Больше похоже на окуляр фотоэлемента, чем на объектив... И плащ... Зачем Кормчему плащ в помещении с идеально кондиционированным воздухом, а? А плащ этот висит в двух прихожих и, кажется, Верховный одевал его каждый день... Стоит попробовать?

— Не понимаю.

— Минуту.

И прежде чем Шанин среагировал, Бин запахнул плащ на груди и снова нажал кнопку. Все повторилось — дверь приоткрылась, показался обрез с оптическим прицелом и...

Дверь лифта распахнулась настежь.

Кабинет Правительства оказался отлично оборудованной мастерской умельца-фанатика, которые были, есть и будут во все века и на всех планетах. И внутреннее содержание ее было типичным: бестолковое и беспорядочное нагромождение приборов и отходов, разобранных ценных конструкций и аляповатых самодельных монстров.

Шанину не удалось осмотреть кабинет детально. Бин, подозрительно хорошо ориентируясь в этом механическом бедламе (кто знает, может, и у Бина был когда-то подобный «голубой приют»), разыскал аптечку. Он обрабатывал рану тщательно, с профессиональной безжалостностью — до тех пор, пока Шанин не потерял терпение.

— Если больно, надо сказать. — обиделся Бин. —

Я действую по всем правилам, но не чувствую того, что чувствует пациент...

Перевязка подходила к концу, когда Бин заметил что-то в правом углу мастерской. Это что-то неудержимо тянуло его — он постоянно оглядывался, бинтуя голову. И когда закончил — устремился в угол, строго-настрого приказав Шанину посидеть минут десять с закрытыми глазами.

Шанин выполнил приказ не без удовольствия. Его слегка лихорадило. Хотя особой усталости он не чувствовал, время от времени мозг обволакивала баюкающая волна апатии и равнодушия к происходящему. Временами он словно раздваивался: чувствуя и сознавая себя на Свире, в Дроме, в Башне Правителя, он совершенно реально слышал тихий пересвист ангарских сосен, колючий запах саянского горного мака, горький пихтовый дымок невидимого костра и вкус чая, заваренного молодым багульником.

— Только сотрясения мозга еще не хватало, — бурчал Шанин, ощупывая повязку, но глаз все же не открывал. Не хотелось. Хотелось вытянуться на спине, накрывшись чем-либо теплым, и очутиться дома — подальше от всей этой бессмысленной зауми, нелепой жестокости, извращенного мастерства, взаимоистребительного соревнования талантов.

Шанин стряхнул оцепенение и открыл глаза. Бин вошел около сооружения, напоминающего атомные часы службы точного времени. У этих часов тоже было три вразнобой качающихся маятника, но почему-то не было ни одного циферблата. Да и размер внушительный — прозрачный корпус метра на три, почти под потолок. Против часов стоял письменный стол и несколько стеллажей-самоходов, заваленных газетами и бумагами вперемешку с пробниками, кусачками, отвертками, кусками разноцветного провода и прочим нехитрым электромонтажным хламом.

Бин уселся за стол и начал набрасывать какие-то графики, комкая лист за листом. Вид у него был обиженный и ошарашенный. От Шанина он попросту отмахнулся: часы его гипнотизировали.

— Может быть, Оксиген изобрел-таки машину времени?

Бин не ответил, отшвырнув очередную скомканную бумагу.

Вблизи непонятная машина уже не напоминала ча-

сы. Несговорчивые маятники чертили свои кривые совершенно свободно, движимые импульсами крошечных радиоактивных ампул, спрятанных внутри стержня.

Три кривые пересекались в одной точке. Каждый из маятников, проходя под ней, цеплял почти невидимый лепесток релейного контакта.

Реле срабатывало, включая одну из трех пишущих электромашинок — в зависимости от того, какой из маятников прошел над точкой. Литеры в машинках были убраны — кроме нескольких букв, сплавленных в слово. Каждая машинка печатала свое слово. Каждый маятник имел слово. И после каждого слова конвейер пневмопочты продвигался на расстояние одного листа.

Сейчас на конвейере не было бумаг, но маятники качались, верша вечный перебор неисчислимых вариантов, и на вечную ленту конвейера падали приказы, обращенные к пустоте.

...«Да». «Нет». «Отложить».

Занятая игрушка. Нелепая машина. В школьном кабинете она могла наглядно продемонстрировать теорию вероятности самым маленьким ученикам. Но зачем она здесь, в кабинете Великого Кормчего?

Бин расхохотался.

Он смеялся, уронив голову на руки, смеялся над графиком, где из точки пересечения координат задорно выгибалась вверх упругая экспонента, — смеялся, всхлипывая, страшноватым, недобрым и горьким смехом, не вытирая мокрого лица.

— Болваны... Все мы — болваны с гипертрофированным сомнением... И только... Всех нас, молодых и старых, надо собрать, снять все регалии и смокинги... и физиков, и философов, и экономистов... в короткие штанишки... в первый класс... в младшую группу детского сада... в песочники... слюнявчики... Ну и Правитель... Ну и младчина... По носу зазнайкам, по носу...

Он поднял на Шана отчаянные глаза:

— Ну что, землянин, как тебе нравится Свира? Кошмарная тайна нового века, гнездо Пришельца, вечный рай за порогом возможного — как? Вы ведь тоже оказались не на высоте — ваш опыт, ваша история, ваша философия пасовали перед карточным фокусом! Это вам тоже наука, тоже укор — найдя истину и живя бок о бок с ней, вы оказались неспособны защитить ее от грязного шантажа! Ваш гуманизм стал чересчур всеядным и мягкотелым, а защита истины во все века,

прошлые и будущие, требует верности и крови. Да — и крови, если потребуется! Помните это, земляне...

Шанин знал экспансивный характер Бина и многое прощал своему товарищу по опасной работе. Но прощать — не значит мириться. Когда речь шла о Земле и ее морали, Шанин был непримирим.

— Я не очень понимаю, чем вызван твой монолог, Бин, но в любом случае ты не имеешь права так говорить. Ты можешь упрекать меня — я мало похож на супермена-разведчика фантастических книг и ориентируюсь в обстановке хуже тебя. У тебя быстрее реакция и тверже рука. Я могу заявить без всякой лести — только благодаря тебе мы вообще смогли попасть в Башню и раскрыть ее секреты. Но... Не суди Землю, Бин. Придет время, и ты поймешь, что наш гуманизм не мягкотелость, а только справедливое отсутствие жестокости. И мы умеем защищать истину. Не только словом, но и делом...

— Я не хотел обидеть Землю, Шан, дорогой! Но такое надувательство... Мы полтора столетия стояли на коленях перед тремя простейшими маятниками! Полтора столетия! И полтора столетия вся Большая Земля, освоившая и обжившая галактические просторы, ломала голову над самоделкой физика-недоучки! Как это называть?

— Ты хочешь сказать... хочешь сказать, что этот дурацкий гибрид...

— ...и есть могучий мозг, безошибочно правящий Свирой! Вот — посмотри сам: на твоих глазах рождается Слово Кормчего. Одно из решений в ежедневном списке.

На конвейере появился лист, заполненный убористой машинописью. Какой-то проект или предложение — может, приказ заменить дуговые уличные фонари восковыми свечами, а может, план обводнения экваториальных пустынь — двигался скачками под каретки машинок.

— Что выпадет — «да», «нет» или «отложить»?

Шан прикинул расстояние от листа до машинок.

— Пожалуй, «да».

Бин долго присматривался к маятникам.

— Я ставлю на «отложить».

Когда лист проходил под штампом «да», шары включили «нет».

— Ты проиграл, Шан.

— Но и ты еще не выиграл.

— Вряд ли «нет» выпадет второй раз.

Шары выдали второе «нет». Завизированный лист поскакал куда положено, решение начало путь по канцелярским дорогам.

— И ты проиграл, Бин. Игра в рулетку... Бред.

— Не совсем рулетка, Шан. Принцип один, а устройство разное. У рулетки двоичный код: угадал — не угадал, «да» — «нет». Если бы аппарат был устроен, как рулетка, двумя маятниками, он работал бы с КПД пятьдесят процентов — половина его решений была бы правильной, а половина неправильной. И график работы можно было бы представить вот так... прямой линией...

— И что за прок от такого аппарата?

— Совершенно верно: проку от такого аппарата никакого. Но если сделать еще третий маятник — слово «отложить» — то есть, говоря на языке математики, ввести в график константу причинно-следственной неравномерности во времени — начнутся чудеса. Дурацкая прямая превратится в мудреную экспоненту...

— Бин, я учил математику лет двадцать назад.

— Ну... Как бы объяснить попроще... Словом, вред от неправильного решения может уменьшаться за счет последующих правильных решений, так?

— Пожалуй, так.

— А польза от правильных решений соответственно возрастет, так?

— Допустим.

— Так вот, если ввести понятие «отложить» в график... Получается этакая... вот, этакая кривая, которую называют экспонентой. Видишь, как она изгибается?

— Вижу.

— Здесь по вертикали правильные решения. По горизонтали — неправильные. И что ты теперь видишь?

— Что я вижу? Как будто... сначала аппарат вообще будет нести ахинею, потом выйдет на уровень обыкновенного дурака, потом... потом...

— Что — потом?

— Кривая будет с каждым днем все ближе к вертикали, то есть процент правильных решений будет неуклонно расти, вплоть до полной гениальности...

— Или наоборот!

— В зависимости от того, что считать правильным решением, а что неправильным? Ты об этом, Бин?

— Разумеется! Теперь тебе ясно?

— Ясно, Бин. Правитель хотел обмануть историю с помощью математики...

— А заодно избавить себя от скучных хлопот по управлению дрессированной Свирой...

— Последнее ему, пожалуй, удалось. А вот с обманом истории... Никак не могут понять неумные диктаторы, что обмануть историю принципиально невозможно, как построить вечный двигатель. Время всегда найдет трещину в любой стене, будь она из первозданного камня или из пластика, армированного гравилоном. Пора остановить часы Оксигена Аша. Останови их, Бин. Это твое право.

Бин сдвинул прозрачный щит и вошел внутрь аппарата. Оси маятников, поблескивая, плавно разрезали пространство у самого его лица. Достаточно было протянуть руку, чтобы раз и навсегда остановить их заученное качание, их непредсказуемые встречи и расхождения.

— Несколько лет назад я бы сделал это, не задумываясь. Я бы разнес в пух и прах проклятую машину и растоптал осколки. Я бы открыл все двери и ворота Башни, вышел к людям, простер руку и возгласил: «Ликуйте! Кормчего нет! Он повержен! Я спас вас, жители Свиры!»

— А сейчас?

— А сейчас я знаю, что время нельзя останавливать и поворачивать, как заблагорассудится. Этому научила меня Земля. Наука коммунизма должна помочь Свире вернуться к человечеству. Наука и воля народа, а не красивый жест удачливого террориста, который, скорей всего, развяжет руки таким, как Тирас. Ты сам все понимаешь, Шан. Я должен остаться здесь. Отсюда я могу помочь народу — пользуясь беспредельной властью Правителя и непререкаемостью Слова, постепенно уничтожить саму возможность неограниченной власти.

— Послушай, Бин... Извини, но... а что, если плащ Правителя... если однажды тебе вдруг не захочется снимать этот плащ?

Бин медленно задвинул на место прозрачный щит и снова сел за стол. Он не отвечал долго, черкая только что набросанный график. У экспоненты появилась голова с капюшоном, и математическая абстракция приобрела четкий силуэт кобры, вставшей на хвост. Бин смял рисунок.

— Я думал об этом, Шан. Откровенно говоря, в этом — главная опасность. Человек в одиночку может

немногое. Нужны товарищи. Хотя бы один для начала. Такой, на плечо которого можно опереться в минуту слабости. Такой, как ты, Шан.

Снова звякнуло. Из проема выехала кипа газет. Она дрожала в пружинных захватах, готовая провалиться в небытие. Наверное, поэтому Бин взял один экземпляр.

Через полминуты он неопределенно хмыкнул.

— Гм... Очень интересно. Ай да сантехник. Читаю дословно: «Сегодня в своем кабинете двумя шпионами из Внешнего мира, вызванными недобитыми проницательными, был убит наш дорогой товарищ и друг, министр милосердия Тирас Уфо. Вся Свира скорбит об утрате и горит желанием...» Сам понимаешь, каким желанием горит Свира... Наши фотографии. Похоже. Очень похоже. Шан, тебе не уйти. Тебя узнает первый встречный. А мне нужен друг. Такой друг, как ты, Шан.

Бин все еще не поднимал глаз. Он не видел, как внезапно побледневший Шанин тяжело оперся о стеллаж. Из-под повязки на лбу выступила кровь.

— Такой, как ты, Шан. Но тебе надо лететь на Зейду и доложить Земле, что Правителя больше не существует. Тебя ждут друзья, твоя работа, твои проказливые фантазеры — художники. Ты отлично выполнил приказ. Я, я благодарю тебя... за помощь и... Что с тобой, Шан?

— Голова... кружится...

Вряд ли Бин услышал эти слова — они утонули в хриплом вдохе — так всхрипывает подстреленный на скаку олень; и шары маятников гулко сошлись в одной точке, где-то в самом центре мозга, и словно посыпалось битое стекло — это со стеклянным звоном рушился кабинет, Башня, Вечный Дворец, Дрома, вся Свира — рушилось все, превращаясь в груды нестерпимо колючих и нестерпимо блестящих осколков, пока не осталось ничего, кроме этих осколков...

7. Невероятный эпилог

Словно разбилось со звоном толстое стекло, отгородившее душную камеру от наружного мира, и Шанин смог вдохнуть полной грудью, до приятного покалывания в освобожденных легких. Он жадно дышал, уже сознавая и ощущая себя, и с каждым дыханьем тяжелая голова становилась легче, а темная пустота в голове заполнялась скользящими образами и мыслями без слов. Он еще не знал, где он, но знал, что здесь ему

ничто не угрожает и можно не сразу открывать глаза.

Он еще находился под властью только что виденного сна, его мышцы еще подрагивали от шагов и движений, которые он делал во сне, но он уже знал, что это прошедший сон, и что на самом деле существует только действительность, которая сейчас вне его спящего тела.

Шанин открыл глаза и от удовольствия рассмеялся. Над ним был ребристый потолок его «берлоги» — он, Иннокентий Павлович Шанин, инженер-психолог по специальности, Инспектор Службы Безопасности 8-й Галактической Зоны, находился на Базе, в своей собственной каюте, отсыпаясь после трехнедельной гонки за контейнерами с активированным лютением... Все остальное — сон, сон, логичный и осязаемый до неправдоподобия, и тем не менее не что иное, как спонтанная игра перенапряженных центров воображения.

Ему не жаль было расставаться с ночной фантаσμαгорией. Призрак Свиры был скорее страшен, чем забавен. Немножко грустно было, что несдержанный, порывистый и наивный Бин — только выдумка, и с ним нельзя встретиться снова. Верный, несговорчивый Бин...

Логичность и зримость сонного наваждения вообще-то объяснить легко. Писатели в его Зоне пользуются активированным лютением для материализации своих идей и героев. Возможно, нуль-защита на контейнерах не так уж абсолютна, как об этом пишут. Возможно, какие-то неизмеримо малые мощности психогенного излучения все же проникают сквозь нуль-заслон. И какая-то неуловленная приборами доза заставила отдыхающий мозг жить в более активном режиме, чем при обычном сне. Эксперты отвергают такую возможность. Но кто знает...

Главный будет доволен. Сразу после утреннего душа надо позвонить ему и доложить по форме. Главный, конечно, в курсе событий без всяких докладов, но ему ужасно нравится выслушивать официальные доклады. Надо побаловать старика. Он заслужил... А вот Арнольд Тесман... Да, Арнольд Тесман — это уже из сновидения...

Ого, какая щетина! Вот что значит три недели бриться походной электрической вибробритвой, а не «Квантом».

Шанин легко вскочил и бросил тело в привычную карусель утренней разминки. Он поработал не больше минуты — упал в кресло с перехваченным дыханием. И несказанно удивился — неужели за три недели он так ус-

тал и потерял форму? Не может быть... Придется попотеть в кабине автодиагностики, в организме что-то нарушилось.

В ванной он хотел сразу нырнуть в шипучее облако тон-душа, но потом решил оставить сладкое на десерт, а сначала заняться более существенным — бритьем. «Квант» работал отлично: лазерный импульсатор исправно отпускал и прятал микронное лезвие света. Шанин, не торопясь, раскрыл бутон объемного зеркала... и сглотнул.

Лоб был перечеркнут наискось затверделым старым шрамом. И щетина на подбородке была седой. И лицо было в морщинах.

На электронном календаре, который висел над зеркалом, было то же число и тот же год — нет, той же самой была только последняя цифра. Количество десятков было больше на единицу.

Десять лет...

И Шанин вспомнил — и месяцы тяжелой горячки после раны, в которую попала инфекция, и весть о том, что Мож улетел на Зейду в очередной вояж, не дождавшись пропавших попутчиков; и решение остаться на Свире; и годы борьбы; и восстание в Дроме, — и Бина, открывшего изнутри все двери и ворота Башни, и провозглашение новой республики в Вечном Дворце...

Десять лет. Непредвиденная задержка на десять лет.

Мос бежал. Он исчез, растворился в нечистотах, соединив два кусочка желтого металла с черным телом агата. И снова потерялись для непосвященных нити к Ордену — как найти и обезвредить то, что принимает любую форму и любой цвет, кроме собственных формы и цвета?

В долгих боях с бандами, окопавшимися в силайской тайге, Шанина тяжело контузило. Он выкарабкался довольно быстро, но повторная травма головы дала о себе знать много позднее, после полной победы. Его парализовало. Бин потребовал срочной отправки Шанина на Землю или на Зейду. Шанин сопротивлялся — он надеялся, что все пройдет. А потом, видимо, стало совсем плохо...

Шанин всматривался в свое лицо, привычное и новое одновременно. Его не оставляла затаенная уверенность, что рано или поздно это лицо можно будет снять — как маску из теплого мягкого латекса, вылепленную чересчур поспешно.

Содержание

С. Плеханов	<i>Земные заботы мечты</i>	5
А. Днепров	<i>Уравнения Максвелла</i> Повесть	17
Г. Гор	<i>Странник и время</i> Повесть	65
И. Варшавский	<i>Тревожных симптомов нет</i> Рассказ	193
Д. Жуков	<i>Рэм и Гений</i> Рассказ	207
А. Якубовский	<i>Прозрачник</i> Повесть	220
С. Гансовский	<i>Винсент Ван Гог</i>	266
В. Григорьев	<i>Образца 1919-го</i> Рассказ	335
С. Абрамов	<i>В лесу прифронтовом</i> Повесть	362
А. Громова	<i>Глеги</i> Повесть	407
В. Назаров	<i>Силайское яблоко</i> Повесть	459

Библиотека фантастики в 24-х томах
Т. 7

Советская фантастика 50-х — 70-х годов

Составитель Сергей Николаевич Плеханов

Редактор *В. Бармин*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *В. Нефедова*

Корректоры *Т. Филиппова, Б. Тумян*

ИБ № 5187

Сдано в набор 06.01.88. Подписано в печать 31.08.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тип. «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 51,24. Уч.-изд. т. 31,15. Тираж 400 000 экз. (III з-д 300001—400 000 экз.). Изд. № III-2342. Заказ 59. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Можайск, ул. Мира, 93





БИБЛИОТЕКА
ДАНИСИКИ

Советская фантастика
50-70-х годов

